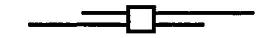
А.В. Амфитеатров

А.В. Амфитеатров 1

А.В. АМФИТЕАТРОВ



А.В. АМФИТЕАТРОВ

**Собрание сочинений
в 10 томах**

КНЯЖНА

ЖАР-ЦВЕТ

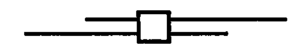
ОТРАВЛЕННАЯ СОВЕСТЬ

Москва
НПК «Интелвак»
2000

А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений в 10 томах

Том первый



РОМАНЫ

Москва
НПК «Интелвак»
2000

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А 63

Вступительная статья, составление, примечания
Т.Ф. Прокопова

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-019-7
ISBN 5-93264-020-0 (т. 1)

КАКАЯ САМОПОЖЕРТВЕННАЯ ЖИЗНЬ!

А. Амфитеатров и его романы о любви

Впервые имя Александра Валентиновича Амфитеатрова предстало перед восхищенной публикой вовсе не на обложке книги, как следовало ожидать, — до его книг еще было далеко, — а... на афишах оперных театров Тифлиса и Казани. Здесь молодой маэстро, только что вернувшийся из Милана, где брал уроки сольфеджио у итальянских профессоров, теперь не без успеха исполнял в сезоны 1888/89 годов баритонные партии. И в эти же восьмидесятые годы мечтавший посвятить себя опере Амфитеатров много и вполне профессионально пишет. Его печатают лучшие газеты и журналы Москвы, Тифлиса, Петербурга. Под разными псевдонимами — а их у писателя было ни много ни мало 62 — в «Будильнике», «Новом обозрении», «Русских ведомостях», «Новом времени» появляются его фельетоны и очерки, юмористические рассказы и памфлеты, стихи и рецензии. Издатели наперебой зазывают его в свои редакции, публикуют все, что выходит из-под его, надо отдать должное, быстрого, истинно репортерского пера, ибо все это было еще и по-настоящему талантливым.

Наверное, можно представить и понять, как трудно, как больно далось этому разносторонне одаренному человеку жизненно важное для него решение, когда пришел час выбирать: или-или. Дебютант и в опере, и в журналистике отдал предпочтение последней. Все пишущие знают по себе, сколь сладостны, сколь завораживающи «муки слова». Однажды их испытавший уже никогда более не в силах будет освободиться от узилищ этой колдовской музы. Нам теперь эгоистично кажется, что Александр Валентинович выбор

свой сделал самый что ни на есть замечательный. Останься он на оперной сцене, на своих вторых-третьих ролях — и в нашей литературе рубежа веков образовалась бы зияющая ниша. В ней не стало бы «русского Золя», блистательного романиста-летописца, оставившего потомкам десятки томов своей изысканной прозы — не выдуманных, а взятых из глубинных недр жизни романов, рассказов, легенд о перипетиях человеческой любви с ее светлыми страданиями и горемычным счастьем.

* * *

Родился будущий писатель 14 (26) декабря 1862 года в Калуге, в семье священника Валентина Николаевича Амфитеатрова (1833—1908), впоследствии ставшего настоятелем Архангельского собора в Московском Кремле. Он был автором многих богословских книг, в том числе получивших широкую известность «Очерков библейской истории Ветхого завета» (1895). Сыну Валентин Николаевич постарался дать наилучшее воспитание и образование, не препятствуя ему в выборе профессии, не настаивая на преемственности священнического сана, но всячески способствуя развитию его многих и рано обнаружившихся дарований. По собственному признанию Александра Валентиновича, «русскому языку его выучил отец, хороший стилист и знаток изящной литературы».

В 1885 году Амфитеатров окончил юридический факультет Московского университета, но карьерой юриста не соблазнился, так как уже в ту пору был одержим, как мы знаем, двумя страстями: оперным вокалом и журналистикой. В автобиографии 1903 года он отмечает веховое событие в своей жизни: журнал «Пчела» (правда, без его ведома, но по воле таинственного добродея) опубликовал 17 мая 1878 года первое стихотворение шестнадцатилетнего гимназиста. Однако отсчет своего писательского пути Амфитеатров вести пожелал впоследствии с повести «Алимовская кровь», печатавшейся в 1888 году в трех октябрьских номерах газеты «Русские ведомости».

Годы студенчества (им описанные, кстати, через четверть века в романе «Восьмидесятники») прошли в увлекательных вольнодумных диспутах, а также под знаком его активного сотрудничества в различных изданиях. В «Будильнике» Амфитеатров познакомился с двумя такими же, как и он сам, начинающими литераторами — А.П. Чеховым и В.М. Дорошевичем, которые для него на всю жизнь оста-

лись добрыми спутниками и маяками. О Чехове он вспоминал особенно часто, написал о нем и опубликовал немало статей и мемуарных очерков, вошедших в книги «Курганы», «Славные мертвецы», «Свет и сила».

В 1899 году Амфитеатров вместе с Дорошевичем взялся издавать быстро завоевавшую популярность газету «Россия». Прославилась она прежде всего тем, что была остро полемичной, отваживавшейся подчас на такое, что повергало в тревожное изумление не только читающую публику, но и собратьев по перу. Одна из таких безоглядно дерзких публикаций стоила газете жизни — ее немедленно закрыли, а автора отправили в ссылку. Этой нашумевшей публикацией, оставшейся навсегда в истории журналистики в числе ее изучаемых шедевров, был фельетон «Господа Обмановы», увидевший свет 13 января 1902 года, а сосланным автором оказался Амфитеатров. Его фельетон был действительно неслыханно крамольным: в господах Обмановых, правивших три столетия своей родовой вотчиной Большие Головотяпы, без труда угадывались венценосцы из династии Романовых.

В минусинской ссылке, сменившейся через год вологодской, наскандаливший антимонархист продолжает без устали работать. Пишет и издает свой очерковый цикл «Сибирские этюды», замеченный и высоко оцененный критикой. Получив дозволение перебраться в окрестности столицы — «во внимание к заслугам его престарелого отца», Амфитеатров стал сотрудничать под псевдонимами в газете «Русь». Здесь он печатает опять же фельетоны да еще сатирические стихири — политические памфлеты в форме духовных песнопений. Но вскоре снова попадает в немилость, на этот раз ударившую по самому больному: последовали запрет печататься и — новая ссылка в Вологду. «Поэтому более чем когда-либо, — написал он тогда С.А. Венгерову, — хочется уехать за границу, щоб очи не бачили, — на нейтральную работу».

Ссыльный Амфитеатров направляет по инстанциям ходатайство о выезде за границу и неожиданно (сколько таких неожиданностей было в его приключенчески беспокойной судьбе!) получает разрешение. Так начинается его первый эмигрантский период жизни, длившийся долгие одиннадцать лет.

Амфитеатров поселяется вначале в Италии, а затем во Франции. В Париже неугомонный труженик читает в Высшей русской школе

общественных наук несколько курсов лекций по истории Древнего Рима, о женщине в общественных движениях в России. Здесь, в гостеприимной французской столице, Амфитеатрову удается создать свой независимый журнал «Красное знамя». Правда, просуществовал он недолго, но был явлением приметным благодаря сотрудничеству замечательных авторов — К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, М. Горького, А.И. Куприна.

В своем добровольном изгнании Амфитеатров наконец-то обретает душевный покой. Он все более отходит от бурной, изматывающей журналистской деятельности, все более склоняется к раздумчивой, размеренной работе беллетриста. Но одно в нем осталось прежним: как в журналистике, так и в создании романов пером и мыслью писателя водил его поистине вулканический темперамент, рождавший творческие замыслы один грандиознее другого. Это семитомное хроникальное повествование «Концы и начала», охватившее эпоху с 1880 до 1910-х годов; это двенадцатитомный романный цикл «Сумерки божков» (удалось написать только два романа о людях театра); это наконец четырехтомная хроника из жизни Рима времен Нерона «Зверь из бездны». Чем не бальзаковский размах!

* * *

Всем, кто впервые знакомился с Амфитеатровым, невольно приходило на ум: «живой Бальзак» — так разительно было его внешнее сходство с великим французом. А Горький находил даже, что у Амфитеатрова и писательская наблюдательность бальзаковская. Вот каким рисует он в одном из писем портрет своего добродушного, но такого своенравно-несговорчивого и очень талантливого друга: «После Бальзака встал передо мной образ московского лихача: молодой он, умный, с большим сердцем и, конечно, фантазер, ибо — русский же! У него этакое органическое, интуитивное доверие к жизни, хорошее, добротное. И вот едет он по знакомым улицам, все дома ему известны, и, любовно думая о тех, кто в них живет и как живет, — лошадью он не правит. Заехал в тупик, оглянулся и — назад. Заглянул в переулок налево — улыбнулся умной улыбкой под усами, направо заглянул — беззлобно головой кивает. И снова едет кривой улицей, а из каждого окна на него прошлое смотрит и как бы просит: милый, изъясни, пожалуйста, зачем я такое нелепое и хаотическое выро-

ло? А он улыбнется и — едет себе легонько, то туда посмотрит, то сюда и — дай ему Боже здоровье! — всюду видит хорошее, а и плохое усмотря, не стонет, не охает...» (Горький и русская журналистика // Литературное наследство. Т. 95. М.: Наука, 1988. С. 185).

В этом тучном и веселом человеке Горький, пожалуй, первым разглядел непоседу, отчаянного скитальца и путешественника, жадно искавшего встреч с людьми и странами, смело шагавшего навстречу опасностям, приключениям, происшествиям. Эта его неуемная страстность проявлялась во всем, но более всего в том деле, которым он был одержим, которое стало его призванием, — в писательстве. Какой бы, пусть даже самый малый, художнический замысел ни возникал пред ним, он отдавал ему весь пыл души. Хорошо знавшие Александра Валентиновича постоянно восхищались этой всегдашней воспламененностью, наполнявшей жизнью, энергией, чувством все, о чем он писал.

Но еще более поражал друзей и близких энциклопедизм Амфитеатрова, необычайная эрудированность — следствие огромной и систематической работы его пытливого ума. «Трудно было найти, — вспоминал А. А. Золотарев, — такую область человеческого знания, о которой он не мог бы найти в сокровищницах своей памяти если не подлинных фактических данных, то, по крайней мере, веселого анекдота, каламбура или исторической справки о том, кто, когда и как работал над нею».

С.П. Скитальца восхищало в Амфитеатрове «огромное знание жизни, от верхов до низов, поразительная память, зоркая наблюдательность, красочность художественной кисти, до грубости сочная. Целое море наблюдений и впечатлений...».

Как и следовало ожидать, у энциклопедиста Амфитеатрова легендарной была и его домашняя библиотека, которой пользовались все его друзья. Можно представить, каким страданием наполнилось сердце библиофила, когда пришел час отдать свое сокровище в чужие руки. «Эмигрантская безработица, — написал он в предисловии к книге «Одержимая Русь», — вынудила меня еще в 1923 г. расстаться с моею весьма обширною библиотекой. Ее приобрело у меня правительство Чехословацкой республики, но, благодаря любезности президента (Т. Масарика, которому посвящена «Одержимая Русь». — *Т. П.),* мне было предоставлено право удержать в своем пользовании отделы библиотеки, нужные для завершения некоторых книг».

В нем погиб ученый — это мнение современников единодушно; его трудно оспорить и сегодня. Посмотрите, просто полистайте страницу за страницей, например, его знаменитое четырехкнижие «Зверь из бездны», и станет ясно, какую титаническую работу проделал Амфитеатров — писатель? ученый? публицист? За этими четырьмя томами видны тысячи томов, им прочитанных и тщательно изученных. И все это при его слабом зрении, при его не очень надежном здоровье! Впоследствии и сам он не удержится от восхищения собою и результатами «этого, — как написал он, — моего труда, не смею сказать: наполнившего, — но неотступно пронизавшего почти двадцать лет моей жизни».

* * *

Среди двух с лишним десятков романов, написанных Амфитеатровым, был один, который намного превзошел другие по читательскому признанию — чрезвычайно возбужденному, хотя и далеко не всегда одобрительному. Это — «Марья Лусьева», участливое и правдивое повествование о тайнах «светской проституции».

Впервые главы этого романа-исследования «трагедий страсти» появились в газете «Приазовский край», где они печатались из номера в номер в течение почти всего 1903 года. Почему там, в далекой провинции? Напомним: Амфитеатров в это время находился в ссылке «под гласным надзором», что исключало сотрудничество в столичных изданиях. Публикация романа стала сенсацией года, утроившей число читателей провинциальной газеты. К чести книгоиздателей, не промедлили и они: книга вышла сразу же вслед за газетой — в 1904 году и затем переиздавалась еще семь раз огромными, по тем временам, тиражами. К этому следует добавить, что она была переведена на многие языки и получила многочисленные отклики — от восторженных до разносных.

Секрет такой популярности прост: писатель предугадал и осмелился вселюдно раскрыть проблему, которая по своей актуальности в первой трети нашего века опередила почти все другие. Типичная и трагичная судьба одной из невольниц «дома свиданий» взволновала не только сердобольных читателей-мещан, но и тех, кого именовали «прогрессивная общественность». Взволновала — вопреки протестам ханжей и возмущениям моралистов, коих было, увы, несть числа.

Не оставлял без внимания свой нашумевший роман и сам писатель: едва ли не к каждому переизданию он дописывал все новые и новые главы. В результате за двадцать пять лет — к последнему прижизненному выходу книги в свет — она увеличилась в объеме вдвое. К тому ж еще, как это бывало нередко и у других писателей, читатели вынудили Амфитеатрова (хотя это совпало и с его творческими планами — накопился новый большой материал) написать продолжение. И в 1910 году в газете «Одесские новости» появилась «Марья Лусьева за границей», также затем много раз переиздававшаяся. Нисколько не считаясь с разноречивыми мнениями критиков, сам Амфитеатров к своему ставшему столь знаменитым детищу относился уважительно. «За двадцать пять лет своего существования, — писал он в предисловии к последнему изданию книги, — «Марья Лусьева» была судима и благосклонно, и злобно, имела своих друзей и своих врагов. Одни, может быть, слишком лично ставили автору в высокую заслугу прямизну и углубленность обличения без «лживства, лукавства, вежливства», со всеми точками над i. Другие довольно идиотски приписывали ему... «лукавое намерение развратить «Марьей Лусьевой» женщин и детей!..». Сам же автор ценит в «Марье Лусьевой» то достоинство, как главное, что за двадцатипятилетнюю свою службу она ни разу не была опровергнута, хотя бы в малой своей подробности, доказательно и авторитетно».

«Женская» тема постоянно влекла писателя, будоражила его воображение. Он глубоко, исследовательски изучает все стороны вечно живой и действительно важной проблемы женской эмансипации, пишет об этом очерки и рассказы, которые затем нередко вырастают в романы, как «Марья Лусьева», а еще раньше — как «Людмила Верховская» (1890) и «Княжна» (1896), как «Виктория Павловна» (1903) и «Дочь Виктории Павловны» (1914), «Сестры» (1922), «Ляляша» (1928)... Наверное, теперь уже многое в них утратило актуальность и новизну, спала острота читательского восприятия, вызывавшаяся злободневностью темы, но сохранилась та впечатляющая сила, с какою художник изобразил счастливые и горестные судьбы женщин. Эти его романы еще ждут своих новых издателей, они заслуживают того, чтобы вновь предстать перед читателями.

Среди многих очерковых сборников есть у Амфитеатрова один, который не только по важности своей (в нем, кстати, наиболее ясно

раскрывается творческая манера писателя), но и по читательской востребованности стал в ряд его главных книг. Это цикл новелл «Бабы и дамы» (1910), рассказывающих о том, как всевластная любовь рушит кастовые барьеры, как она приводит к венцу пары из полярных сословий. Еще совсем недавно и помыслить было невозможно, чтобы простушка вышла замуж за высокородного барина или какой-нибудь конторщик стал супругом светлейшей княжны.

Эти сюжеты, как, впрочем, и многие другие, писатель, раз и навсегда присягнувший правде факта, почерпнул из самой жизни, хотя на самом деле книга рождалась истинно по-репортерски. Идея рассказать о межсословных браках увлекла Амфитеатрова еще в самом начале писательского пути. Решив за помощью обратиться к друзьям, он во все концы России разослал свою анкету. В течение не одного года затем стали приходить к нему ответы-сюжеты (всего их собралось 48), из которых и рождались рассказы новаторского цикла. Новизна его была прежде всего в том, что писательский взор разглядел, с какой неотвратимостью на рубеже веков терпят крах дворянские гнезда (вспомним здесь «Вишневый сад» А. П. Чехова!). Одно из проявлений катастрофического падения дворянского престижа, разрушения его кастовой замкнутости Амфитеатров, в отличие от других, увидел как раз во все более множащихся смешанных браках, которые вскоре станут заурядным житейским явлением.

Так, казалось бы, частные случаи человеческого бытия неожиданно возвысились под пером писателя до уровня общественно значимой проблемы. Теперь можно понять, почему эта скромная книжка не затерялась в море других, почему именно ее назвали современники Амфитеатрова одной из лучших в его творческом наследии.

* * *

В самом конце 1916 года Амфитеатров триумфально, прощенный правителями и вознесенный критиками, чуть ли не классиком возвращается в Россию. К этой поре отчеты и картограммы российских библиотек зафиксировали любопытный, но для всех уже очевидный факт: по читаемости, как утверждает не очень дружелюбный по отношению к автору «Марьи Лусьевой» критик В. Львов-Рогачевский, «на первом месте стоит Вербицкая с ее надушенным рукодельем, а на втором — Александр Амфитеатров, сейчас же после этой дамы, ко-

торую он, конечно, далеко превосходит и по таланту, и по эрудиции, и по широте наблюдений. Амфитеатров — впереди Гоголя, Достоевского и Толстого, впереди Горького, Леонида Андреева и Куприна. Книги его увидите всюду: в витрине магазина, в киоске вокзала, в вагоне. На книжном рынке Амфитеатров «хорошо идет» (Снова накануне. М., 1913. С. 112).

И действительно, несмотря на то что писатель с 1905 года в изгнании, во всех главных издательствах России вышло более тридцати книг эмигранта, многие из которых тиражировались по два-три раза. А в 1911 —1916 годах книгоиздательство «Просвещение», подводя почетный итог творческой деятельности самого читаемого прозаика, выпустило собрание его сочинений аж в 37 томах (правда, из них три так и не вышли из-за последовавших кровавых событий в России).

Воодушевленный сердечной встречей с родиной, с друзьями, с почитателями своего таланта Амфитеатров снова возвращается к репортерству, снова его острая и пламенная публицистика звучит со страниц газеты, на этот раз — «Русской воли», созданной на средства крупных промышленников. И, как в годы своей молодости, не любящий политиканствовать, не терпящий компромиссов писатель за один из наиболее дерзких фельетонов приговаривается к ссылке в уже изведанную им Сибирь, в Иркутск. Но доехать туда не успел: вспыхнувшая Февральская революция поставила крест на приговоре.

Падение монархии и воцарение в России демократии Амфитеатров конечно же приветствовал горячо и радостно — как давно им ожидаемое, но второй переворот — большевистский — вызвал в нем возмущенное неприятие. Писатель выразил его в той форме, которая была для него единственно возможна: «Я дал себе честное слово, что ни одной моей строки не появится в стране, уничтожившей у себя свободу печати» (из письма оперному певцу И. В. Ершову). И слово свое сдержит, хотя из-за этого попадет в тяжелейшие материальные условия, ввергнув в голод и нищету семью (а в ней семеро душ!).

Новая власть не раз пыталась сломить обнищавшего именитого писателя-упрямца: он трижды арестовывался. Не помогли также и попытки Горького «перевоспитать» давнего друга, — тот, как и в прежние времена, его политическим единомышленником не стал. «Вашим взглядам на революционную войну, — ответил ему Амфитеатров, — я, как Вы знаете, не сочувствую и считаю своею

обязанностью бороться с ними, где и сколько могу, как с весьма вредным заблуждением». Правда, тут же добавляет, как бы смягчая резкость тона, — все-таки перед ним не враг, а друг: «Но, как бы ни расходились наши воззрения, я всегда памятую, что Вы не только большой писатель, но и честный человек и демократ, и всякое нападение на Вас с этой стороны всегда приводит меня в скорбь и негодование» (Литературное наследство. Т. 95. С. 457).

Вскоре после расстрела 61 участника «Таганцевского заговора» (в их числе оказался и поэт Н.С. Гумилев) Амфитеатров 23 августа 1921 года вместе с семьей тайно переправился на лодке через Финский залив. Так началась вторая и последняя страница его эмигрантской жизни. Из Финляндии он выехал в Берлин, затем какое-то время жил в Париже и Праге и, наконец, уже навсегда поселился в Италии, полюбившейся ему с далеких теперь уже лет первого изгнания.

Отстранившись от прежде ему нравившейся суеты, которою полным-полна газетно-журнальная деятельность, Амфитеатров-публицист тем не менее активно сотрудничает с прессой изгнанников, особенно — с варшавской газетой «За свободу!» М.П. Арцыбашева и Д.В. Философова, где печатает свои мемуарные очерки и «Записки писателя». Однако более всего погружается он в осуществление своих старых, отложенных когда-то до лучших времен творческих планов. Он продолжает капитальную работу над созданием хроникального повествования «Сестры» в четырех томах и романа «Лиляша», завершает хронику «Концы и начала» четырехтомным романом «Вчерашние предки», пишет демонические повести из времен XVII века «Одержимая Русь», редактирует для переизданий свои давние книги. В зарубежье, как и в России, у него по-прежнему что ни год, то новая книга. Какая самопожертвенная жизнь! Наверное, красен мир именно такими людьми, как Александр Валентинович Амфитеатров — труженик и подвижник. Он и умер за письменным столом — работая, размышляя. Случилось это 26 февраля 1938 года.

Тимофей Прокопов

КНЯЖНА

Старому товарищу
ВЛАДИМИРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ
ТИХОНОВУ,
в память многих лет хорошей дружбы,
посвящаю этот том.

Александр Амфитеатров

Марта, 15/2, 1910
Cavi di Lavagna

От автора

В составе хроники «Княжна» включен целый ряд относящихся к ней предварительных этюдов, печатавшихся в разных изданиях, с 1889 по 1905 год. Как-то: «Последыш» («Новое обозрение», 1889), «Из терема на волю» («Наблюдатель», 1896), «Село Радунское» («Неделя», 1899). Второй и третий из этих этюдов послужили мне также материалом для драмы «Чертушка», написанной в 1907 году, но на сцену попавшей, освободясь из-под цензурного запрета, только в 1907.

Ал. А.
1910. III. 15
Cavi di Lavagna

Часть первая

ЧЕРТУШКА НА УНЖЕ

I

На берегу Унжи, в унылой котловине, окаймленной двадцативерстною полосою дремучего бора, местами едва проходимого даже и теперь, после многолетней хищнической порубки, лежит село Волкояр, — Радунское то же, — отчина и дедина князей Радунских. Родословное древо этой старинной фамилии восходит ко временам Димитрия Донского: первый из Радунских, литовский выходец, сложил свою голову на Куликовом поле. В синодиках царя Ивана Грозного упомянуто несколько Радунских, заплативших царю кровью за свою крамолу. Артамон Радунский, воевода Бориса Годунова, передался с Басмановым названному Дмитрию. Ивашка — главарь стрелецкого бунта, ярый защитник старой веры и сторонник царевны Софьи Алексеевны — умер под пытками в Преображенском застенке, на дыбе у князя-кесаря Ромодановского. Все Радунские — по истории и семейным преданиям — отличались распутством, дерзким нравом и непобедимым упрямством, но у большинства наследственные пороки в значительной степени искупались талантливостью, воистину, на все руки. Между Радунскими насчитывалось немало доблестных воинов, хитрых дипломатов, но — глав-

ное — «случайных людей» и ловких придворных интриганов. В дворцовых смутах XVIII века они вертелись преискусно, всегда держались торжествующей стороны и вовремя отступались от нее, чуть пошатнется. Меншикову изменили для Долгоруких, верховников предали, купленные «Анной, нам Богом данной», с Волынским рассорились аккурат кстати, чтобы попасть в милость к Бирону; вместе с Бестужевым «поступили, как римляне», возведя курляндского конюха в регенты Российской империи, и первые бросились во дворец, чтобы припасть к стопам Анны Леопольдовны, как скоро Миних и Манштейн скрутили Бирона. Неистово ругали Радунские побежденную «курляндскую собаку» и со слезами умиления клялись в верности младенцу-императору Ивану Антоновичу, а между тем в карманах у них уже позвякивало золото де ла Шетарди и шуршали векселя Лестока, — французский задаток за русскую царевну, дары «дщери Петровой», первая плата за близкий «Лизанькин переворот». В «Петербургском действе» 1761 года Радунские впервые сплоховали. От Петра Федоровича они, конечно, отстали, но поздно; Екатерину Алексеевну, конечно, поддержали, но мешкотно, — и оказались ни в сех, ни в тех. Между ними и милостями царицы-победительницы стеною стали широкие спины богатырей Орловых. Они, в качестве людей новых, Радунских терпеть не могли и зорко следили, чтобы не подпустить близко к трону этот боярский род древних кровей с его старомосковскою надменностью и византийским холопством, славянскою распущенностью и азиатским коварством — род свирепый, безжалостный, бессовестный, предательский, продажный, неблагодарный. И вот мало-помалу Радунских, как людей неуживчивых и «несносных шпыней», оттерли от двора соперники, может быть, менее их знатные и даровитые, но с большим житейским и политическим тактом. С тех пор род Радунских стал падать и, не захудав богатством, захудал почетом и влиянием. Радунские не славились ни плодо-

витостью, ни долголетием. Во всей семейной истории значился только один брак, благословленный четырьмя сыновьями: в елизаветинскую пору лейб-компанец Федот Никитич, князь Радунский, взял за себя ее императорского величества камер-юнгферу, девицу Елизавету Шишлову, из смоленских дворянок. Но и из четырех сыновей от этого брака двое умерли в московскую чуму, а выжившие, Никита и Роман, в погоне за «случаем», стали друг к другу в самые враждебные отношения; в обществе их звали Этеоклом и Полиником. Потемкин, по дальнему родству с матерью Радунских, Шишловой, имел кое-какие сношения с враждующими братьями и, зная их честолюбие и способности, обоих терпеть не мог, обоих считал вредными и опасными. Он дипломатически ласкал и того и другого, но держал их между собою на ножах: науськивал Никиту против Романа, а Романа против Никиты. В 1785 году Никиту проткнул на дуэли шпагою проезжий авантюрист — французский виконт Аль-сид де ла Нейж Руж, — и общий голос обвинил Романа в смерти брата, которому будто бы пришлось драться не в честном бою, но с нарочно выписанным из Парижа знаменитым бретером по профессии. Виконта выслали за границу, а князя Романа Федотовича, под благовидным предлогом, убрали из Петербурга — с поручением чинить розыск по раскольничьим делам в костромских и ярославских местах, где, кстати, у Радунских были имения. Князь Роман — человек дикий нравом, но по-своему, тогдашнему, дворянскому, честный, молодой, горячий, к тому же немного вольнодумец, воспитанный на французских идеях о свободе совести, почитавший Вольтера и энциклопедистов, — пришел в ужас от чиновничьего произвола, мошенничества и взяток. Взялся он исправлять нравы и, для первого начала, пригласив к себе местный уездный суд in corpore * обедать в Волкояр, — in corpore же

* В полном составе (*лат.*)

высек гостей на конюшне. А когда история огласилась и приехал губернатор с запросом о ней, то князь Роман Федотович не постеснялся разложить и губернатора. Только не на конюшне, а, на сей токмо раз, чин почитая и сана для, в саду — в Венерином гроте, который с тех пор прослыл у волкоярцев под менее громким, но более выразительным названием «Поротого места». Легенда гласит, что высеченный губернатор жаловался царице, но премудрая Фелица положила будто бы на жалобу его такую резолюцию: «Что Радунские все от рождения умовредны и имеют дух ко ирритации склонный, о том известно давно, чего ради не Радунского виновным числю, но себя, зачем послала бешеного на официю, спокойства требующую. Радунского от должности его отрешить, с декларацией к сему совершенного моего недовольства, а сказать ему жить в дальних его деревнях, которое поместье изберет и пожелает, а в столицы въезда не иметь и ко двору не бывать. Губернатору же объявить: не о том сожалею, что слугу моего наглый человек в палки ставил, но о том скорблю, что имела слугу, который мало что допустить сечь себя способен объявился, но еще, будучи высечен, жалобится и бесстыдство спины своей европейскому потомству и гиштории показывать умышляет».

Остаток жизни Роман Федотович провел, спиваясь с круга, то в волкоярской глуши, то — по смерти императрицы Екатерины — на Москве, где он и умер в эпоху Отечественной войны — как почти все Радунские — от апоплексического удара. Он прожил семьдесят лет, не в обычай своего недолговечного рода. Из детей его — старший сын, слабоумный Исидор, пошел в монахи, а младший, князь Юрий Романович, пошумел-таки на своем веку. Странный и негодный был это человек: враг всем и самому себе. Храбрый офицер 1805 года, полковой командир в Отечественную войну, молодым генералом возвратился он из парижского похода, и как будто обещал воскресить былую славу и удачу князей Ра-

дунских. Но, кокетничая с дворцовыми конституционалистами, как-то прозевал момент, когда ветер повернул на реакцию, и уже очень не полюбился Аракчееву, а тот, если кого не любил, то бесповоротно: навсегда и с плотным прижимом. Проиграв военную карьеру, Юрий со злости ударился во фронду. И вот он — последовательно — мистик, масон, либерал, как-то сбоку вертится около истории в Семеновском полку, в переписке с Николаем Тургеневым, товарищ и приятель заговорщиков Южной армии. В деле 14 декабря Юрий Радунский ухитрился поставить себя так двусмысленно, что затем Николай I держал его до конца дней вдали от дворца, не пуская ближе Москвы, и в прозрачной опале, как вероятного, хотя и не уличенного, бунтовщика, а декабристы, наоборот, подозревали в нем правительственного шпиона. И обе стороны сходились в единодушном согласии, что князь Юрий Радунский самый тяжелый и опасный человек во всей русской знати: и продаст, и предаст, и оскорбит, и унизит — даже не ради какой-либо выгоды, а просто из удовольствия предать и унизить, по своей волчьей, злобной душонке. Знаменитый декабрист Лунин дружил когда-то, в Варшаве, с князем Юрием — и, не выдержав, расстался:

— Нехорошо с тобою, Юшка: жутко! — сказал он. — Так ты зол и коварен, что и не разберешь, чего в тебе больше: зверя или дьявола. Если мы будем вместе, одному из нас несдобровать. Разойдемся-ка лучше по добру по здорову, пока у обоих целы головы.

Такой лестной аттестации удостоился князь от богатыря неизбывной силы, который впоследствии, в Сибири, полагал для себя высшим удовольствием одиноко бродить по девственным чащам кедровых лесов, в надежде помериться либо силою с матерым медведем, либо удалью и — с беглым живорезом-каторжником.

А переводчик Расина, остряк, вольтерьянец и — к старости, как водится, — ханжа, Катенин, говорил другое:

— Князь Юрий опоздал родиться. Ему бы жить в Италии при Цезаре Борджиа или во Франции при Карле IX. Он клянется, чтобы изменять, и человек, кроме его самого, не дороже для него ореховой скорлупки. Если он улыбается, значит, он опозорил порядочное семейство, поссорил двух друзей, написал анонимное письмо мужу о жене или жене о муже, сделал ловкий донос и сам остался в стороне, словом, отравил кому-нибудь существование. А, может быть, и впрямь отравил кого-нибудь. Если этот человек когда-нибудь заплачет, из глаз его польется чистейшая aqua tofana *.

В князе Александре Юрьевиче Радунском — предпоследнем представителе рода, доживавшем в конце сороковых и в первых пятидесятых годах свой сумасбродный век в вотчине на Унже, — как будто соединились и вспыхнули последним зловещим пламенем догорающего пожара все хорошие и дурные качества его предков.

Странны и печальны были его отношения к отцу. Князь Юрий женился очень молодым, в глухой провинции, на какой-то казанской или даже касимовской княжне полутатарского происхождения. Брак был неравный и, по всей вероятности, для Радунского, не охотный, но вынужденный, потому что, с точки зрения карьерной, совсем бесполезный и глупый, а с иных точек зрения князь Юрий на свет смотреть не умел. Капиталов больших татарская княжна за собою не принесла, — только степная родня, из-за Моршанска, пригнала табун чудеснейших коней. Их кровь, хоть и выродилась в северном лесу, до сих пор сказывается: верст на сто вокруг Волкояра крестьянские коньки не похожи на обычных крысоподобных кляч, и если мужик в средствах малость подкормить лошадь, то уже чувствуется в ней нечто от степной сивки-бурки, вещей каурки — благородная порода, хоть и заезженная в возах по ухабам, задерганная и захлестанная под кнутом. Что каса-

* Букв.: туфовая вода *(лат.)*.

ется соблазнов женской привлекательности, то и в этом отношении полуазиатская супруга князя Юрия также не являла особо выдающихся красот и — кроме обычных восточных прелестей, то есть восьмипудовой тучности при маленьком росте, страсти белиться, покуда лицо не превратится в неподвижную маску, привычки курить по целым дням, не выпуская трубки изо рта, и готовности отдаваться когда и где угодно и решительно всякому мужчине, который охоч взять, — никакими другими чарами не обладала. Напротив — была ленива до того, что по неделям не давалась девкам волосы расчесать, неопрятнейшая неумойка и превздорного нрава. С первых же дней брака князь Юрий возненавидел жену пуще, чем собака кошку, и до конца дней ее — татарская княжна оказалась тоже под руку мужу, зверком с острыми когтями и зубами! — грызся с нею не на живот, а на смерть. Супружеская жизнь их вся, изо дня в день и из года в год, проходила в том, что они — без любви, без ревности, без взаимоуважения, а просто по обоюдной злобе и страсти к скандалу — ловили друг друга на месте любовных преступлений. Причем — будто бы — сколь ни прыток был по этой части князь Юрий, но за супругою не успевал, ибо та в увлечениях своих бывала, по нужде, и демократкою: настолько, что при случае, за неимением лучшего выбора, счастливила своею любовью даже состоящих при трубках подростков-казачков.

Однажды летом, в Волкояре, княгиня, покушав за ужином грибков, в ночь заболела и преставилась в одночасье. Предание уверяет, якобы в предсмертных муках, свиваясь клубком в лютых корчах, вопила она на трех языках одно и то же — по-русски, по-французски и по-татарски:

— Окормил, злодей, окормил!

Супруг же, стоя около смертного одра, строил умирающей бесовские рожи и приговаривал:

— Ан, врешь! Сама хотела, да не успела... докажи! Врешь! Сама хотела, да не успела... докажи!

Похоронив жену, князь Юрий принялся воевать со своим единственным сыном, князем Александром. Отношения создались прямо-таки чудовищные. Полковник Белевцов, почтенный человек из последних московских масонов, приятель князя Юрия, еще в александровскую эпоху, по первым мистическим кружкам, попробовал было, на правах старой дружбы, стать примирителем между отцом и сыном.

— За что ты гонишь Александра? — уговаривал он старика. — За что ожесточаешь его характер и лишаешь его главной опоры к правильной жизни — уважения к родителю и преемственной семейной любви?

Князь Юрий оскалился на приятеля, как черт какой-нибудь, и обругался скверным словом:

— За то, что вы.....к.

— Опомнись, Юрий! Что за мерзость? Какие основания ты имеешь утверждать подобную клевету?

— Мать шлюха была!

— О покойной княгине не могу судить, так как не имел удовольствия знать ее. Но общее мнение таково, что ты сам же развратил ее праздностью и примерами твоего собственного поведения. А что Александр есть подлинно твой сын, то вся его фигура обличает. Ведь он — твой живой портрет. Когда вы вместе в одном обществе находитесь, вас только снега твоих седин и розы его юности различают.

Князь Юрий нетерпеливо оборвал:

— Да почем ты знаешь? Может быть, именно это-то мне в нем и противно?

— Не понимаю.

— Он — изверг! смешение естества! Разве легко мне видеть: рожа — моя, а сердце — татарское?

— Может ли сын ответствовать пред отцом за нацию своей матери? Не его воля была от татарки родиться, но твоя — татарку в супружество взять.

Но князь Юрий топал ногами и вопил:

— Она тварь была! Ведьма! Проклятая татарская ведьма! Если бы при царе Алексее Михайловиче, ее бы надо было в срубе сжечь! К ней огненный змей летал! Он мою форму украл! Змеиное отродье: форма моя, а душа змеиная...

Лицо старика багровело, шея напрягалась жилами, руки тряслись и прыгали пальцами в воздухе, не управляя движениями, синея губы вскипели слюною: вот-вот хватит паралич.

Посмотрел Белевцов, отступился.

— Совершенно ты рехнулся, князь Юрий. И впрямь время тебя в опеку взять. Нехорошо, когда на чердаке так нездорово. С чердаков пожары начинаются. Уже зазорным сказкам веру даешь, кои ныне и деревенская баба, которая поумнее, повторять стыдится.

— А ты в Бога не веришь! Над Богородицей смеешься! «Орлеанскую пюсельку», поганец, наизусть читаешь! Молодого вертопраха и афея Сашки Пушкина кощунственные стихи в тетрадь переписал и таишь! Я на тебя митрополиту донесу! Ты церковного покаяния достоин! Я шефу жандармов напишу! Это все германская тлетворная философия действует и французская ересь!

Плюнул Белевцов. Разлетелась врозь чуть не сорокалетняя дружба.

В конце двадцатых годов князя Александра — блестящего гвардейского офицера — выслали из Петербурга за крупный скандал, устроенный им в компании с прославленным Булгаковым. Что именно они натворили, — забылось. Не то похитили воспитанницу из театрального училища, пользовавшуюся чьим-то высоким покровительством, не то подвесили к фонарю, за фалды мундира, частного пристава. Булгаков как любимец великого князя Михаила Павловича уцелел, а Радунский улетел на Кавказ. Одни говорили, будто Радунский сам напросился на беду, чтобы вырваться из парадно бездействующей гвардии на театр кавказских битв, куда тянули его честолюбие и страсть к сильным ощущени-

ям; он мечтал стать военной знаменитостью, как Цицианов, Ермолов, Котляревский. Другие уверяли, что все это — выдумки: молодой человек просто пошалил, как шалят все молодые люди; любящий же родитель обрадовался случаю сбыть с рук ненавистного сына и не только не попросил, кого следует, о пощаде сосланному, но еще сам раздувал в мнении властей и общества вину его из мухи в слона. Как бы то ни было, отец и сын и расстались, и остались злейшими врагами. Лет сорок спустя, князь Дмитрий Александрович Радунский — сын князя Александра и внук Юрия — нашел переписку отца и деда и ужаснулся их взаимной ненависти, доходившей до совсем одичалого озлобления. Кажется, со времен Ивана Васильевича Грозного и князя Курбского два человека не переписывались между собою с таким страстным усердием, с такою лютою свирепостью, с таким пламенным вдохновением оскорблений, с таким многоречивым смакованием взаимных обид. Сын писал:

С особенным удовольствием узнал я, драгоценный батюшка, что государь император всемилостивейше воспротивился вашему любезному намерению отдать все имущество, как движимое, так и недвижимое, на никуда негодные, хотя и мнящие себя благотворительными учреждения и тем лишить куска хлеба меня, вашего, к удовольствию моему, единственного сына и наследника. А вместе с тем спешу изъявить вам искреннейшие поздравления по поводу заботливости о вашей немощи и годах со стороны родственников ваших, кои, во избежание излишнего для вас утомления делами, собираются хлопотать о наложении на имущество ваше благодетельной опеки, в чем сочувствую и душевно благодарствую. Обо мне, конечно, приятно будет вам услыхать, что я жив, совершенно здоров, и, сверх напутственных ожиданий ваших, кавказская лихорадка и пули горцев меня милуют.

Отец, в язвительных ответах, подписывался: «Твердо намеревающийся пережить тебя, негодяя», и пугал сына намерением вторично жениться, а все состояние отдать детям от второго брака. И женился бы, да, на счастье князя Александра, обуялся боярскою спесью — все искал ровни и, когда

наконец выбрал невесту, она оказалась в слишком близком родстве — двоюродная племянница. Потребовалось синодское разрешение, и дело пошло гулять по секретарям консисторий да митрополичьим племянникам, а эти господа хлебных хлопот из рук скоро не выпускают. Тянули да тянули волокиту, ан, тем временем, князь Юрий, в один угрюмый волкоярский день, получил, вместо брачного венца, смертный венчик на лоб.

Кавказский наместник, полудержавный князь М.С. Воронцов принял в молодом Радунском участие и дал ему выслужиться под командою известного Граббе, впоследствии героя злополучной Даргинской экспедиции. Вскоре князь зарекомендовал себя с самой лестной стороны, как храбрый, умный, распорядительный офицер, — товарищ знаменитого «кавказского Мюрата», Засса, во всех его воинственных авантюрах. Ему предстояла блестящая карьера. Вел он себя довольно скромно, только играл бешено — и, ходили слухи, будто не совсем чисто. Оно неудивительно. Будучи не в силах допечь сына с других сторон, князь Юрий творил ему всевозможные денежные прижимки. Не даром же, когда вышел в свет «Скупой рыцарь» Пушкина, в петербургском свете хором утверждали, что Барон списан с Юрия, а Альберт — с Александра Радунских. Если бы полковник Белевцов не пригрозил старику клятвенно, что доведет его маньяческое скряжничество до ведома государя, то дряхлеющий ненавистник с особым наслаждением оставил бы наследника своего вовсе без всяких средств. В то время играть наверняка не считалось в дворянстве делом предосудительным. Шулер лишался чести, только когда попадался с поличным, а покуда не пойман, не вор, и быль молодцу не укор. Знаменитый Толстой-«Американец», тот самый, который «в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист», метал банк.

— Граф! Вы передернули! — крикнул один из понтеров.

— Знаю, — возразил Толстой, — но терпеть не могу, когда мне об этом говорят!

И швырнул карты в лицо понтера.

Многие годы князь Александр существовал исключительно игрою и долгами под будущее родительское наследство, платя столь чудовищные проценты, что даже сами ростовщики совестились признаваться. Однако игроком по натуре он не был. Настолько, что по смерти отца — словно отрезало: никогда уже не брал карт в руки иначе, как для домашней коммерческой игры. Тогда обнаружилось, что и военный он не по призванию, а только по неволе. Едва свалился князь Юрий от апоплексического удара, наследник огромных денег и имений запросился в отставку, оправдываясь необходимостью устроить широкие, но расшатанные фамильные дела. Не удалось. Император Николай, который «холодно благоволил» к Радунскому-сыну, — хоть и сослал его на Кавказ, но ведь это в то время почиталось острасткою, а не опалою, — благоволил именно потому, что не любил и подозревал Радунского-отца, — отверг отставку и выразил неудовольствие. Нечего делать, князь Александр остался в мундире, но подставлять лоб свой под черкесские пули долее не пожелал и, не без больших затрат и хлопот для себя, перевелся в Елисаветград — в николаевские времена, чуть не столичный город русского военного мира. Здесь-то вот Радунский разошелся уже во всю и впервые показал себя в полную величину, каков он, голубчик! В качестве нового человека, да еще кавказского героя, он сперва очаровал местное общество. О таинственной истории его кавказской ссылки, о трагической вражде с отцом, о львиной храбрости, возвратившей ему чин и давшей крест, ходили самые романические слухи. Дамы, напитанные Марлинским, бредили князем: он казался им модным в то время «сыном судьбы» — Аммалат-Беком, Мулла-Нуром. Всех красивей, всех богаче, самый дерзкий, самый пьяный из всего офицерства, самый остроумный и вкрадчиво ласковый, когда того хотел, — он царил над местным обществом. Не хватало лишь Лепорелло, чтобы подсчитывать за новейшим

Дон-Жуаном его победы. Князю нравилась репутация рокового человека, и он делал тысячи глупостей, чтобы поддержать ее. Тип Печорина тогда уже народился; щегольство бессердечием напоказ входило в моду; а у князя Александра и не напоказ было его достаточно. Он губил женские репутации с таким же равнодушием, как застрелил однажды на всем скаку свою любимую лошадь за то, что та шарахнулась от барьера...

На Кавказе Радунский был хорошо знаком и с Бестужевым, который был много старше его, и с Лермонтовым, который был значительно моложе. Впоследствии, когда легенды о нем еще живы были в Елисаветграде, а уже вышел в свет «Герой нашего времени», местное общество, в особенности дамы, и верить не хотело, чтобы Печорин был списан не с князя Александра Радунского. Но в действительности прослыть за оригинал Печорина князь Александр мог только в невзыскательной провинции. Кавказ и захолустная полковая служба не прошли даром бывшему льву столичного света. Он огрубел, обурбонился и, в мрачном фатовстве своем, был бы достаточно пошл и смешон, если бы не таил в себе, под спудом, опасного татарина и — порою — начистоту — дикого зверя.

— Мой отец, — говорил он приятелям за зверским пуншем, кутаясь в огненно-желтый бухарский халат, в облаках благовоннейшего табачного дыма, как адский дух какой-нибудь, освещаясь тлением пыхающей трубки, — мой отец не хотел признавать меня сыном. Он верил, что я порождение демона, могучего и страшного огненного змея. Сожалею, что басня, и рад был бы, если бы это было так. За исключением выгод по состоянию, совсем не лестно чувствовать в своих жилах кровь такого господинчика, каков был мой покойный родитель, князь Юрий. Мне чужда мелкая злоба его человеческой низости. Я могу быть преступен и развратен, но я — наследник великой и грозной стихийной души, со-

тканной из мучительного огня. На дне души моей клокочут, как смолы ада, страсти, недоступные пониманию обыкновенных смертных. Слыхали вы «Роберта-Дьявола»? Увы! Вот мой портрет.

И — красивый, мрачный, с роковым взором, взятым напрокат у героев Байрона, — князь Александр, хмурясь, ерошил волосы, как актер Голланд, знаменитый в роли Роберта.

Особенно радушно князь был принят у богатого местного помещика — овцевода Тригонного. В одну из дочерей последнего, Анну, князь влюбился, понравился девушке, сделал предложение и получил согласие.

Свадьба была объявлена; товарищи потребовали от князя мальчишника. Друзей среди товарищей-офицеров у князя не было, но приятелей и собутыльников — весь полк. Ближайшим считался корнет Розанчук-Ховальский, малый добродушный и недалекий, за неимением других достоинств весь ушедший в ухарское щегольство выпивкой и буйством, — один из последних носителей традиций «Бурцева, ёры-забияки». Князь забавлялся Розанчуком, но Розанчук к нему привязался искренно, наивно видя в нем идеал столичного гвардейского тона, по которому безнадежно вздыхал он — темный провинциальный армеец. Он подражал Радунскому в манерах, прическе, разговоре, повторял его остроты, старался перенять даже звук его голоса, — и порою смешил князя, порою злил его до грубостей: ведь надоест же видеть вечно бок о бок с собою свою собственную карикатуру! В компании с Розанчуком этим Радунский проделывал штуки невообразимые. Однажды они как ни в чем не бывало явились, этак уже за полночь, на бал в совершенно незнакомый им, весьма вельможный магнатский дом. Вошли. Всеобщее недоумение. Князь ведет Розанчука прямо к прекрасной хозяйке дома.

— Позвольте представить вам моего друга и товарища, корнета Розанчука-Ховальского.

Дама вспыхнула.

— Милостивый государь! Прежде, чем представлять других, вам самому надо быть мне представленным.

— Совсем не надо, — успокоительно возразил князь. — Я ведь вашего знакомства не ищу и сейчас же уеду домой. А Розанчук в вас влюблен, и ему хочется остаться у вас на балу. Прошу любить и жаловать. Не судите его по наружности: отличный малый и совсем не так глуп, как кажется, — гораздо глупее!

На помощь растерявшейся даме прибежал из карточной комнаты муж ее, шестидесятилетний старичок в серебряных сединах. Радунский приятно улыбнулся ему навстречу.

— Это ваш супруг? Какой беленький!

И погладил старца по голове. Тот от изумления и негодования обратился в столб соляной, а офицеры, тем временем, вышли. В дверях Радунский обернулся, оглядел озадаченное общество в стеклышко и пожал плечами.

— Какая шваль, однако! Розанчук! Ты положительно был бы здесь единственным порядочным человеком... Chère dame!* Зачем вы принимаете у себя такую мелюзгу?

Захохотали, — прыгнули в седла, — ускакали.

Дело было в польском доме... после 1831 года напрасно было и жаловаться!

Мальчишник удался на славу. Шел пир горой.

— Эх, князь, — сказал Розанчук, когда все уже порядком подвыпили, — жаль мне тебя! Хороший ты парень: выпить ли, протанцевать ли мазурку, бабенку ли увезти, оттрепать ли жида за пейсы, выкупать ли штафирку в дегтярной бочке — на все тебя взять. Для товарищества ты — червонное золото: первый человек, душа общества!.. А теперь — ау, брат! Шабаш тебе: нашего полку убыло. Женишься — переменишься. Отрезанный ломоть!

* Милая госпожа! *(фр.)*

Князь был пьян. Вино действовало на него скверно. Совершенно трезвый на вид, он помрачался разумом — становился дерзок, жесток, начинал хвастать и лгать без всякого смысла. Он смерил Розанчука злыми глазами с головы до ног и возразил ледяным тоном:

— А кто тебе сказал, что я женюсь?

— Как кто?

Князь, зевая, продолжал:

— Неужели ты, мой умница, мог такой бессмыслице поверить? Я — жених?! Ну, погляди, Розанчук: похоже ли это на меня?

Розанчук вытаращил глаза.

— Однако, позволь, князь... Твой мальчишник.

— Чепуха! Мальчишник был, а девичника не будет.

— То есть... как же это понимать?

— А вот, как сказано, так и понимай.

Розанчук совсем опешил.

— Черт знает, что ты плетешь, князенька.

Офицерство стало прислушиваться. Радунский заметил, и его разобрала еще большая охота ломаться.

— Господа, — небрежно продолжал князь, — извините меня за мистификацию. Я пригласил вас, думая проститься с холостою жизнью, но волею судеб мой мальчишник обратился в простую дружескую пирушку. Я раздумал жениться на Анне Тригонной.

Всеобщий ропот встретил это неожиданное заявление.

— Это странно. Объяснитесь князь! — возвысил голос седоусый ротмистр Даннеброг. — Мы, офицерство, все считаем Анну Тригонную за хорошую девушку; именем и сердцем ее играть постыдно.

Радунский не терпел противоречий. Кровь бросилась ему в голову. Наследственное упрямство стало на дыбы.

— Я не считаю себя обязанным кому бы то ни было отчетом в своих поступках! — гордо возразил князь, — но так

и быть... по товариществу... объяснюсь. Видите ли, господа, мой взгляд таков: если женщина нравится, позволительно всякое средство, чтобы добиться обладания ею. Анне я принужден был пообещать жениться на ней... Теперь я нахожу, что она вовсе не так интересна, как кажется на первый взгляд, и... беру назад свое слово... Представьте себе: у нее под левою грудью — родимое пятно, — совершенный паук, и притом мохнатый.

— Князь, полно вам! — раздались голоса, — такие слова даже в шутку нехорошо говорить офицеру...

— Князенька, душенька! — уговаривал Радунского Розанчук, — опамятуйся, не мели пустого... Ну, залил лишнее за галстук, — бывает; язык болтает — голова не знает...

Но князю уже «стукнуло в голову». Зачем и как минуту тому назад сорвалось у него с хмельного языка глупое хвастовство небывальщиною, — он сам не знал. Но теперь на него «нашел бычок». Он молчал и вызывающим взглядом смотрел на товарищей. Наступила минута тяжелого затишья. Старик Даннеброг встал из-за стола, взял фуражку и саблю и вышел из квартиры Радунского, не поклонившись хозяину.

Ротмистр трижды на своем веку был разжалован за дела чести и трижды выслуживался; он был авторитетом рыцарства в офицерском кругу. Гости неудачного мальчишника поднялись за ним, как пчелиный рой за маткою. Даже Розанчук ушел.

Проспавшись, князь припомнил вчерашнее и понял, что его фарс совсем неожиданно перешел в драму. Он легко мог бы извиниться, свалить все дело на вино, как указывал ему выход Розанчук. Но...

— У князей Радунских — одно слово! — говорил он. — Радунские ничего не боятся и никогда не лгут. Сказал, что не хочу жениться, и не женюсь.

Несколько дней ждали, что князь опамятуется, но вместо того услыхали, что он действительно послал Анне Тригонной категорический отказ от руки ее, притом в форме самой

грубой, вызывающей, безжалостной, так что бедная девушка чуть не умерла с горя, а старик Тригонный бродит сам не свой и, того гляди, его паралич разобьет. Тогда князь получил приглашение на товарищеский суд.

— Я подал в отставку, господа! — было его первым словом. — И так подал, что, уверен, на этот раз государь не захочет удерживать меня на службе. Желаю воспользоваться «вольностью дворянства». А покуда представил рапорт о болезни. Еду в отпуск в собственные поместья... по спешным делам...

— Мы уж знаем все это. Прекрасно поступили, — холодно возразил Даннеброг, — полк должен благодарить вас за то, что вы имеете такт снять с себя его честный мундир. Но отставкой история не кончается. Опозоренная вами девушка не имеет защитников, кроме старика-отца, а он — человек дряхлый, хилый, немощный: ему с вами не равняться. Поэтому мы, офицерство ...ского полка, берем Анну Тригонную под свое покровительство и приказываем вам... слышите ли, князь? не просим, а приказываем... поправить свою ошибку и взять жену из-под обесчещенного вами крова. Иначе...

— Иначе? — презрительно засмеялся Радунский, бледнея от гнева.

— Мы уже бросили жребий, кому — в случае вашего отказа — стреляться с вами...

Даннеброг указал на смущенного Розанчука.

— Розанчук?! — изумленно воскликнул Радунский. — Но это будет убийство: я пулю на пулю сажаю, а он в десяти шагах делает промахи по бутылке... Хорош ваш выбор. Лучше-то никого не нашлось? Пиши завещание, Розанчук: ты уже покойник!

Розанчук побледнел.

— Убьете меня, — глухо сказал он, — с вами будут драться мои секунданты... убьете их, — вас поставят к барьеру их секунданты... весь полк не перестреляете; найдете и вы свою судьбу.

Даннеброг подтвердил:

— Мы все будем поочередно драться с вами, и суди нас Бог и Государь.

Несмотря на всю свою безумную дерзость, князь потерялся. Он, шатаясь, вышел из заседания суда чести; воротясь домой, избил в кровь своего денщика, переколотил всю посуду и рыдал, как ребенок, от злости.

— Мне приказывать! Радунскому приказывать! — кричал он, то бегая из угла в угол по своей квартире, то падая на кровать и кусая подушки, чтобы заглушить истерические рыдания. О повиновении приговору товарищей он, разумеется, не думал. От одной мысли о том волосы вставали дыбом и кровавые мальчики прыгали в глазах! Скорее он, в самом деле, вышел бы на дуэль со всем офицерством ...ского полка, а, пожалуй, хоть и всего Елисаветграда. Умереть под товарищескими пулями казалось ему легче, чем покориться. Но ему хотелось сначала отомстить за свое унижение и отомстить не как-нибудь, но жестоко, глумливо, коварно. Мало, что отомстить, — еще и насмеяться. Как? — он долго ломал себе голову, и, наконец, разнузданное воображение подсказало ему штуку, которою он, действительно, одурачил своих недругов, но на которую, двумя-тремя днями раньше, вероятно, он и сам себя не считал способным. Тем более, что была она из разряда тех остроумных мщений, о которых русский народ сложил выразительную пословицу:

— Наказал мужик бабу, — в солдаты пошел!

II

Однажды вечером Радунский сел в коляску и отправился к Тригонным — наперед осведомившись наверное, что их нет в городе.

— Господ дома нет! — объявил ему швейцар, глядя с не меньшим испугом и изумлением, как если бы пред ним вырос из земли покойник с того света: отказ князя от барышни и последовавший скандал был притчею во языцех всего города, и уж, разумеется, первая доведалась о нем прислуга.

— Они уехали на богомолье в Виноградскую пустынь, вот уже три дня.

— А Матрена Даниловна дома? — небрежно спросил князь.

— Матрена Даниловна дома.

Матрена Даниловна Горлицева, бедная дворянка, круглая сирота, проживала у Тригонных из милости как дальняя их родственница и воспитанница. Она была весьма недалека умом и, несмотря на свою молодость, — ей только что исполнилось двадцать лет, — глядела настоящею Бобелиной: была необычайно высокого роста, редкого здоровья и завидной полноты. Вполне оправдывала собою известную характеристику графа В.А. Соллогуба, что в его время «халатная жизнь помещиков чрезвычайно содействовала скорому утучнению прекрасного пола; дворянки не уступали в весе купчихам». Лицом она была очень недурна: белая, румяная, с добродушными карими глазами, большими и влажными, как у лани, с красивым пухлым ртом. Семейство Тригонных было, по тогдашнему дворянскому времени, очень либеральное и славилось по Херсонской губернии своею редкою гуманностью. Но принимать чужой хлеб не сладко даже из самых ласковых рук, и Матрене Даниловне не совсем-то приятно жилось на свете. При весьма малом уме и небольшом образовании она все-таки имела кое-какой смысл и самолюбие. Между тем Тригонные обратили ее почти что в домашнюю шутиху и дразнили ее по целым дням. Мишенью для острот Матрена Даниловна была очень удобной. Кроме мужского роста и кормилицына дородства, неистощимыми источниками насмешек служили три слабости Матрены Даниловны: обжорство, сонливость и необуз-

данная романтичность воображения. Она ела, спала и представляла весь мир влюбленным в ее красоту; в том и проходила вся ее жизнь. Когда Радунский бывал у Тригонных, он любил шутить над красивой компаньонкой своей невесты и слегка даже заигрывал с нею, по привычке ловеласа, взявшего за правило бить сороку и ворону, — авось, попадешь и на ясного сокола. Матрена Даниловна — наперсница и посредница его отношений к Анне Тригонной, — закупленная, задаренная, обласканная, — понятно, души не чаяла в князе.

Матрена Даниловна вышла, восторженная, но, по обыкновению, с измятым, заспанным лицом. Радунский посмотрел на нее и усмехнулся.

— Вы ли это, ваше сиятельство?!

— Я, как видите.

— Верить ли глазам?!

— Ничего, хоть они у вас и запухли немножко, — верьте.

— Вот радость! Значит, всё были одни людские сплётки: ссоре конец и все пойдет по-старому?

Князь пожал плечами.

— Да... я приехал извиниться пред Анной и загладить свою вину... Не застал ее дома, — тем хуже... Есть такая хорошая поговорка: qui va à la chasse, perd sa place...*

Матрена Даниловна покраснела.

— Ах, какие вещи вы говорите... — нерешительно пробормотала она.

Князь захохотал:

— Какие вещи я говорю? какие?..

Матрена Даниловна, по лукавым глазам Радунского, вообразила, что он сказал неприличность, и уже строго заметила:

— Как только у вас язык поворотился... про Анну... она вас так любит... и при мне. Я — девушка...

Он продолжал хохотать.

---

* Кто место свое покидает, тот его теряет (*фр.*)

— Прелесть моя... Матрена Даниловна! Je vous adore! * Вы прелесть!.. Сознайтесь же, однако, что вы ровно ничего не поняли. А? ведь так?

Матрена Даниловна стала пунцовою. На глазах ее навернулись слезы.

— Не поняла-с, — раскаялась она.

— Зачем же вы притворились, будто поняли?

— Стыдно барышне не понимать по-французскому.

— Разумеется, стыдно... Но вы не бойтесь: я вашего стыда никому не расскажу... Ваша тайна умрет в моей груди!

— Покорно вас благодарю, ваше сиятельство.

— Однако как вы хорошо притворяетесь! Бывало, говоришь с Анной по-французски, а вы делаете такое внимательное лицо, будто понимаете каждое слово... Я вас даже остерегался. А — выходит — на самом-то деле, не очень?

— И вовсе даже не понимаю, — сокрушенно шепнула Матрена Даниловна.

— Ну-с, хорошо. По-французски вы — не очень. А дальше как?

— То есть... в каком смысле? — терялась девушка.

— Вы дворянка?

— Как же, ваше сиятельство! Мы, Горлицевы, искони дворяне... столбовые, из-за царя Петра...

— Это прекрасно, что из-за царя Петра. Я сам немножко оттуда... А годков вам сколько, моя прелесть?

— Зачем вам, князь?

— Да так, — знать хочу...

— Что выдумали! Это даже неловко кавалеру спрашивать такое у девушки...

— Вот еще — нам с вами церемониться!.. Мы — старые друзья. Так сколько вам годков-то, сказывайте?

— Ах, какой вы! вот пристали... Ну... двадцать...

* Я вас обожаю! *(фр.)*

— Врете! — бесцеремонно отрезал Радунский.

— Как — вру?!

— Очень обыкновенно врете: как все барышни о годах врут... Верных двадцать семь, если не все тридцать!

Князь нахальничал и дразнил бедную дурочку до тех пор, пока та, в простоте своей, не ударилась в слезы.

— Чем же мне вас уверить? — всхлипывала она, — хотите, я вам покажу свое метрическое свидетельство?

— А у вас есть метрическое свидетельство? Чудесно! На сцену! Давайте его сюда.

Матрена Даниловна повиновалась. Князь прочитал документ.

— Вот и спору конец, — сказал он. — Извините, проспорил: конфекты за мной... да нет... я лучше вам браслет с брильянтами подарю.

Матрена Даниловна расцвела.

— А у вас прекрасный документик, моя прелесть... — продолжал Радунский. — Отчего вы, будучи столь прекрасны и благородны, не говоря уже — величественны, замуж нейдете? Такая великолепная девица, из такого блистательного рода, из-за царя Петра, трех аршин роста, двадцати лет и семи пудов веса, должна сделать отличную партию... княжескую...

— Ах, ваше сиятельство! — вздохнула Матрена Даниловна, садясь на своего обычного романического конька, — где уж мне? Сумела бы быть княгинею не хуже всякой другой, да не родилось еще князя на мою долю... В наше время подобные браки только в сказках бывают.

— Нет, отчего же?.. Попадаются дураки... ихнего брата, говорят, не орут, не сеют — сами родятся. Да хотите, — я на вас женюсь? — вдруг вскрикнул Радунский, ударив себя по лбу, точно его осенила внезапная идея.

— Вот вы опять шутите!..

— Какое там шучу?.. — Радунский взглянул на улицу, где у подъезда топали его кони. — Серьезно, хотите?

— Полно вам, князь!.. обидно даже — вы жених другой...

— Что — другой? Вы мне нравитесь, я к вам в некотором роде пламенею. Анну для вас можно и побоку... Сама виновата: зачем не сидит дома. Говорят же вам: qui va à la chasse, perd sa place.

— Да хоть не конфузьте — переведите, что это за поговорка такая?

— Значит она: кто из дому гуляет, тот свое место теряет.

— Это почему?

— А потому, что кто-нибудь другой возьмет, да на это место и сядет. Вот, например, быть бы княгинею Радунскою Анне, а будете вы.

— Ах, князь, князь! Бог вам судья!

— Ну, если замуж не хотите, так хоть кататься со мной поедемте?

— Вдвоем? Это не принято, ваше сиятельство.

— Отчего же нет?

— О нас дурно подумают... Я бедная девушка... моя репутация.

— Репутация — вздор. Репутация — это у меня каурую пристяжную так зовут. А коренник — Скандал. Полно, не упрямьтесь!.. Ведь мы не куда-нибудь в дурное место поедем, а именно в пустынь эту... как бишь ее зовут? — к вашим же скучнейшим Тригонным навстречу... Ступайте — одевайтесь. Не то я завтра всему Елисаветграду расскажу, что вы по-французски не разумеете... Стыд-то какой! а?.. А если послушаетесь, то... Вам лошади мои нравятся?

— Еще бы не нравились, князь.

— Я вам эту пару серых подарю. Они пять тысяч рублей стоят... Продадите — целый капитал. Сам же и куплю обратно. Одевайтесь же... Мало? Пожалуй, берите и с коляской. Одевайтесь же!..

— Ах, Господи! что это за безумный человек такой?! — лепетала Матрена Даниловна, совсем сбитая с толку, а Ра-

дунский, насильно вытолкав ее во внутренние покои, шутливо закричал ей вслед:

— Матрена Даниловна!.. так и быть, и с кучером, только поскорее одевайтесь!

Четверть часа спустя они сели в коляску, а затем — ни князя, ни Матрены Даниловны уже никогда больше не видали в Елисаветграде. А месяц спустя после этого нового скандала, поднявшего на ноги весь город, Даннеброг получил с нарочным следующую почтительно-насмешливую записку:

Покорный приказанию своих бывших товарищей, я, согласно с точным смыслом их красноречивого приговора, *взял себе жену из-под крова господина Тригонного* и вступил в законный брак с девицею Матреной Даниловной Горлицевой, *с малых лет своих проживавшей под кровом г. Тригонного*, из дома коего она отправилась даже и к венцу.

Готовый к услугам вашим

Кн. Александр Радунский

Село Волкояр

Дорого заплатил князь за минутное наслаждение посмеяться над товарищами. С ним даже не дрались.

— Таких господ не ставят к барьеру! — решил Даннеброг, — их надо или истреблять, как бешеных волков, или — презирать... А ставить на карту свою жизнь против их позорной жизни — слишком много чести!

III

Дикою женитьбою и почти произвольною отставкою служебная карьера Радунского, разумеется, была в прах разбита. Громадных денег и усилий стоило ему шевельнуть своими петербургскими старыми связями, чтобы дело замялось и забылось, чтобы возмездие за его выходку не ограничи-

лось только разбитою карьерою. Старый слабоумный дядя Радунского, князь Исидор, в монашестве Иосаф, сам ездил в Питер из своей глухой орловской пустыньки молить за племянника и, может быть, если бы не уважение к нему, не помогли бы ни деньги, ни связи. Иосаф жил на свете выродком семьи, искупительной жертвой за ее грехи. Кротость и простота этого монаха были истинно евангельские и создали ему заживо репутацию святости — гораздо более основательную, чем многие более громкие репутации этого рода. Сам великий постник, он был чужд аскетической нетерпимости, умел снисходить к слабостям ближнего — и из братии, и между мирянами. С последних он даже за посты не взыскивал строго. В один из своих деловых петербургских наездов Иосаф встретился с знаменитым Фотием, который, с обычной ему грубостью, принялся кричать:

— Ответишь ужо, ответишь Богу за своих чревоугодников! Отолстели они у тебя, сердца их одебелеша. Жрут — ровно бы, прости Господи, псари шереметевские!

— Ваше высокопреподобие, — смиренно возразил наивный Иосаф, — что за беда, если мои иноки и покушают в смак? Зло не от пищи, но от дурного сердца. Вот, — осмелюсь вам доложить для примера, — бес никогда не пьет и не ест, а сколько пакости народу творит!..

И все монастырское служение Иосафа проходило в том — как бы этому извинить, того помиловать. Просительский же талант его был необычайно велик: он умел умягчать и уклонивать самого неодолимого Филарета Московского и смело шел плакаться и кучиться за «грешников» даже в те суровые дни, когда — по консисторской поговорке — грозный аскет-владыка «одну просфору съедал, да семью попами закусывал». И любили же Иосафа его грешники.

— Простец, я к тебе! — кричал, кружа по шоссе у монастырских стен на разубранной лентами тройке, штрафованный архимандрит Амфилохий. — Открой беглецу святые

врата! Чертог твой вижду, Спасе мой! Снимай с меня мое окаянство. Мерзит! Весь в гною бесовском, весь... Омый мя банею молитвенною.

А сам пьян, кучер пьян, лошади — и те, кажется, пьяны, шатаются, в пене от дикого бега. Трагическая натура, да и судьба, досталась Амфилохию. Родственник митрополиту Филарету Амфитеатрову (киевскому), он был честолюбив и обладал всеми правами на честолюбие. Красавец собою, умный, образованный, с блестящим знанием языков, опытный полемист-богослов и красноречивый проповедник, он сам мог рассчитывать на митрополичью карьеру. Но фотиевская эпоха разбила мечты Амфилохия, а самого его загнала в захолустный монастырь, в епархию сердитого и невежественного архиерея, который ненавидел Амфилохия за ученость, почитал его масоном и упек под суд; а по суду Синод, хотя Амфилохия оправдал, но определил ему жить «под началом» в орловском монастырьке, ближнем к пустыньке Иосафа. Жил Амфилохий тихо и мрачно, писал какое-то огромное догматическое сочинение, монах был строгий и пользовался большим уважением. Но раз или два в год на него находили бесы. Стены монастыря начинали его давить. Он язвил игумена, братию, все монашество, больше же всех — самого себя, зачем он погубил себя под рясою?

— Я бы Сперанским мог быть, — стонал он, крутясь по келье, как лев в клетке, — а вот — не угодно ли? Только вижу черные рясы, только слышу колокол...

После миллиона терзаний Амфилохий исчезал из монастыря и проводил недели две в жестоком загуле. У него была страсть к лошадям, и вот, переодетый купцом, он носился по губернии на бешеных тройках, швырял деньги, выпивая сам и спаивая встречных знакомцев и незнакомцев. Мягкий характер спасал его от скандалов. Хмельной, он не буянил, а только декламировал байронические стихи, насмехаясь над своею судьбою, и — точно хотел умчаться

от нее за тридевять земель — мучил коней и ямщиков дикою скачкою. Когда загульный стих спадал, Амфилохий ехал к Иосафу отбывать тягостное покаянное похмелье, а тот водворял уже вытрезвленного грешника в монастырь. Игумен началил Амфилохия — и все входило в обычную колею, до нового загула — как раз, точно на грех, в самые постные дни, когда мирские соблазны и мысли менее всего приличны монаху. Однажды его угораздило прорваться — в пятницу на Страстной неделе! Игумен только руками всплеснул:

— Нашел время!

И, когда Амфилохий отбыл загульный срок, игумен сильно ему пенял:

— Помилуй, отец! Какой же ты после этого выходишь веры?

— Я-то, грешник, веры христианской, православной, — угрюмо возразил Амфилохий, — ну, а вот другой-то... тот, кто в меня посажен и на пакости подбивает, — уж не знаю, какой веры... собачьей что ли, анафема, сатана, чертов сын!

Привычный снисходить к посторонним, Иосаф снизошел и к грехам племянника. Благодаря его вмешательству, за князя Александра вступилась известная ханжа графиня Анна Алексеевна Орлова (та самая «благочестивая жена», о которой Пушкин острит, что она «душою Богу предана, а грешной плотию архимандриту Фотию»). Она повлияла на всесильного Бенкендорфа, а тот сумел доложить царю дело Радунского в таком искусном повороте, что Николай только презрительно поморщился.

— Где же теперь обретается этот сударь? — спросил он.

Бенкендорф доложил, что в своем родовом поместье, Костромской губернии, называемом Волкояр.

— Там ему и место.

Бенкендорф, организовавший в то время корпус жандармов, мечтал облагородить это незавидное учреждение, привлекая разных неудачников или неразборчивых карьеристов

из громких фамилий. Он намекнул, что не воспользоваться ли Радунским? Но император сухо отверг:

— Не надо мне службы Радунских. Пусть наслаждается тем жребием, который выбрал.

Счастье Александра Юрьевича, что его елисаветградская история разыгралась уже не на глазах князя Юрия Романовича. Иначе злобный старик, конечно, не пожалел бы стараний, чтобы упечь ненавистного сына под царский гнев и — уже бесповоротно — под красную шапку. Князь Юрий умер скоропостижно, после какого-то торжественного соседского обеда, оказавшегося чересчур тяжелым для его старческого желудка. Приехав домой, сел в кресло, заснул, да и не проснулся, прихлопнутый кондрашкою. Впрочем, деревенская молва шептала, будто кондрашка тут не при чем, а просто — горничная девка Маланья, незадолго перед тем за красоту взятая с деревни в девичью, от жениха и семьи, стакнулась с казачком Фомою, у которого, уже в восемнадцать лет, не хватало половины зубов, выбитых княжескою десницею; они пробрались к сонному князю и придушили его подушками. Но, если и впрямь было так, преступники обделали свою работу чисто: следствие не открыло никаких улик против них. Маланья и Фома даже не были оставлены в подозрении и не только не впали в немилость у наследников, но еще попали в любимцы.

— А, впрочем, — шептались соседи, — может быть, именно потому — за подушку-то — и попали. Черт ли их, Радунских, разберет! Их, по человечеству, и судить невозможно: что хорошо в них, что дурно, — во всем, как звери.

Въезд в столицы князю Александру был строжайше запрещен. Даже о выездах своих в другие поместья, если они были за пределами губернии, князь должен был сообщать губернатору, а тот отписывал в Петербург. Слово Николая было крепко, и свое решение казнить князя Александра Радунского им же самим, князем Александром, царь выполнил безуклон-

но. А! Ты сам бросил службу, пренебрег карьерою, милостями — сделай одолжение. Задыхайся же заживо в лесном гробу, в тридцать лет, от обилия собственных кипучих сил и круглого бездействия, по вольности дворянства. Сам выбрал дуру-жену чуть не из сенных девок, — пусть же она висит у тебя на шее, как семипудовая гиря! Сам сослал себя в Волкояр, — ну и сиди безвыходно в трущобах его, дичай, тупей, глупей, опускайся, как черт в болоте.

На первых порах князь Александр Юрьевич чувствовал себя на глухой Унже весьма недурно. В девственном просторе своих лесных владений он зажил самовластным азиатским ханом, деля время между псарнею, конскою охотою и крепостным гаремом. Волкояр, с появлением в нем Радунского, стал предметом трепета для соседей и отчаяния для уездных властей.

Глушь была страшная, лесища непроходимые.

— Нас черт три года искал да искалку потерял! — хвалились волкоярцы.

— Наша сторона — потерянная: к нам и Пугач не бывал, и француз не забредал.

— По ту сторону леса — Николай, а по сю, у нас, еще — матушка-царица.

И, действительно, пробравшись через топи лесных проселков, измученный путник попадал в условия быта и нравов, о которых давно уже забыла Россия, затянутая девятнадцатым веком в офицерские и чиновничьи мундиры с светлыми пуговицами. Не то что екатерининским веком пахло, но даже веяло нечто, как бы от Алексея Михайловича. Крестьянство, сильное и богатое, жило по старине. Раскол держался крепко и властно. Мир стоял, как стена нерушимая, — включительно до самосудов, которые принимались обычаем паче писаного закона, и даже помещики считались с ними. Земля, деньги, хлеб сливались в общих понятиях и названиях. Когда волкоярец говорил «рубль», это обозначало не монету, но зе-

мельную меру — больше десятины. Копейкою звали 250 саженей, а дальше шли «деньга» и «пирог». Меряли мирскою веревкою и мирскою совестью. Делились каждый год и до того доделились, что от межевого хаоса уходили в чащу, плюнув на обработанные площади, чистить лес кулигами. В дремучих лесах водились медведи и жили разбойники. На Унже разбойничал Фаддеич, на Немде — Ухорез. Дворянство на местах жило мало, а которое жило, было мелкопоместное, бедное и не только необразованное, но часто даже вовсе безграмотное и омужичившееся на тяжелом хозяйстве, без рабочих рук: не в диво были столбовые, которые сами землю пахали. Наивность общественных понятий, правовых представлений, простота грубых нравов и смешение сословий шли так глубоко, что, например, некая помещица, Акулина Х., владетельница семи душ, преспокойно вышла за одну из этих душ замуж и, таким образом, оказалась сама у себя крепостною, потому что перед свадьбою побоялась отпустить жениха на волю. Несколько лет спустя она продала свое именьице, вместе с людьми, сутяге-соседу, а тот при вводе во владение потребовал, на законнейшем основании, в числе проданных душ, и самое Акулину с детьми. Суд пред плутом этим оказался совершенно бессилен, и только униженные просьбы всего дворянства с губернским предводителем во главе выручили злополучную дуру из кабалы, в которой она застряла. Были дворяне, ходившие по старой вере. Поговорка «где нам, дуракам, чай пить!» для некоторых семейств была совсем не шуткою, ибо многие из «диких бар», в самом деле, не умели еще обращаться с китайской травкою и угощение ею в чужих людях принимали, как мучительнейший экзамен и пытку.

В смирной, истинно болотной среде этой князь Александр Юрьевич загулял, как журавль на лягушечьем царстве. Магнат-сосед для мелкой дворянской сошки был гораздо более ощутительною силою, чем губернские власти, отрезанные от залесья почти совершенным отсутствием дорог.

— Об Успеньи рожа разбита, а суда у Николы проси! — твердила обывательская мудрость, справедливо намекая, что, покуда не покроют дорог декабрьские снега и не скуют хлипкую землю никольские морозы, ползти подводою в уезд ли, в губернию ли с жалобою на обидчика по тем путям, на коих черт искалку потерял, — себе дороже. Не то что обыватели, даже попы с требами и земская полиция на убойные дела и мертвые тела месяцами не попадали в иные благословенно-медвежьи углы, отписываясь распутицею и бездорожьем.

Мелкопоместное дробление и чересполосица спутали земельные отношения в уезде страшно. В действительности все было широко, а по праву — все узко, жили на крупном узком захвате, а на бумаге стояло мелкое и спорное. Перепутались владения, а во владениях — господское и крестьянское. Границ и меж не знали, земля и лес считались свободными; где кто вырубил, выжег, вычистил лес, тот тому и был хозяин. Даже духовенство не имело особой земли, но, как и крестьяне, владел каждый причетник там, где зачистил лес дед или отец. Крестьяне, не хуже помещиков, отдавали зачисти и луга в приданое за дочерями. Вдовы с детьми наследовали покосы от мужей. Смешанность прав и общность пользования были настолько широки, что не только крестьянин, но и помещик на Унже широко открывал глаза, когда какой-либо чужак начинал ему доказывать, что рубить чужой лес есть нарушение собственности и преступление:

— Чай, лес-то — Божий дар! Не мы сеяли!

Единственный крупный землевладелец, хозяин настоящих латифундий, князь Александр Юрьевич, находил этот патриархальный хаос весьма приятным, удобным и выгодным. Он знать не хотел никаких размежевок и, благо, к огромной площади его Волкояра тянулись, как к естественному центру своему, дробные землицы маленьких помещиков, устроил из их спорной путаницы буквально владетельное герцогство какое-то и верховодил уездом, как хотел. Стать под его вы-

сокую и щедрую руку для многих соседей оказывалось гораздо выгоднее, чем вести свое собственное хозяйство, но зато уже надо было молчать и терпеть, если князю приходила фантазия, проскакав охотою, вытоптать чужое поле или хмельник, снять соседский сенокос, загнать, под предлогом потравы, соседское стадо. Впрочем, это были еще шалости. Иногда князь Александр не стеснялся захватывать или, по крайней мере, делал вид, будто захватывает целые пустоши.

Приехал к нему однажды мелкопоместный сосед, Андрей Пафнутьевич Хлопонич.

— Что это, ваше сиятельство, вы строить задумали?

— Баню новую, Пафнутьич, баню... А что?

— То-то ваш управляющий прислал вчера в мою рощу мужиков с топорами... ничего, достаточно даже оголили... дубков до сорока.

Князь нахмурился:

— Что ты врешь, Пафнутьич? Какая твоя роща?

— А Синдеевская, ваше сиятельство, которая на взгорье.

Князь затопал ногами.

— Свинья! Каналья! С каких пор она твоя? Муфтель! Возьми его за шиворот, сведи в контору, покажи план... Ах ты, глухарь! Синдеевская роща была наша еще по екатерининской размежевке... Деды и прадеды мои ею владели. А ты, лопух...

— Батюшка! Ваше сиятельство! — униженно закланялся Хлопонич. — Не извольте беспокоиться! Разве я спорю? Ваша Синдеевская роща, разумеется, — сам говорю, что ваша. Люди по здешним местам без разума живут: как мое пользование рощею очень давнее, приобвыкли к глупому обычаю, будто бы моя. А ваша роща! Искони ваша!.. И мы ваши, и все наше — ваше...

Нахмуренные брови князя раздвинулись.

— Так-то лучше, — сказал он. — За то, что ты не стал упорствовать против моего слова и с покорностью принял

мою волю, оцени срубленный лесок во сколько сам захочешь, а я прикажу Муфтелю, коли оценишь по чистой совести и правой цене, — заплатить тебе вдвое; если же дорого запросишь, быть тебе, во-первых, от меня битому, во-вторых, требуй тогда денег с меня судом... Ищи ветра в поле!

Раболепствуя и предавшись всецело на княжеский произвол, этот Хлопонич сильно нажился при волкоярском магнате.

Однажды князь, шутки ради, приказал загнать стадо Хлопонича с его собственного луга на свой скотный двор и стал требовать за потраву.

Хлопонич беспрекословно привез деньги. Князь расхохотался:

— Дурак! за что ты платишь?

— За потраву, ваше сиятельство.

— Какая же может быть у меня потрава, если я велел загнать к себе твой собственный скот с твоего собственного луга?

— Помилуйте, ваше сиятельство, как не быть потраве? Ведь ваши пастушонки-то загоняли мою скотину по вашей земле... ну, кое помяли, кое пощипали. Я так и понимаю, что вы изволите с меня взыскивать за эту именно потраву, а не за какую-нибудь другую. Смел ли бы мой скот самовольно на ваши лужки забрести?

Шельма был, что называется, трехпробная и, что касается кляуз, юрист тончайший, лютейшего приказного мог в чернильницу загнать. Это именно он, Хлопонич, закрепостил было похолопившуюся дворянку Акулину Х. Штука эта, между прочим, понравилась князю Александру Юрьевичу необыкновенно. Чуть ли не с нее и начался у него фавор Хлопонича. Да еще силою своею богатырскою Хлопонич его покорял. Был маленький, лысый, красный, но телом совсем квадратный и — со спины смотреть, словно встал на задние лапы небольшого роста медведь. Мускулы же у него были такие:

засучит левый рукав по плечо, вытянет голую руку, напружит, а правою рукою возьмет кочергу железную и колотит ею по левой руке, покуда кочерга не согнется. А то — на пирушке — в подпитии на пол ляжет и предлагает:

— Господа дворяне, не угодно ли? Пляшите по мне, сколько кому охотно!..

И плясывали, и — ничего ему, черту лесному! Встанет, отряхнется, выпьет чайный стакан французской водки, — и хоть опять готов за то же. Пить мог столько, что компанию с ним вровень выдерживать умел во всей округе только вдовый гигант-протопоп, настоятель уездного собора. Но никогда никто ни того, ни другого пьяными не видывал, — только краснели, как раки, дымились лысинами и, чем больше наливались, тем умилительнее собеседовали об «Экклезиасте», книгу коего оба знали наизусть. Оба друга были даже не пьяницы, а какие-то энтузиасты, любовники водки. Спрашивали любопытные Хлопонича:

— Сколько водки вы в день выпиваете?

Задумывался.

— Не знаю-с, — говорит, — не считал. Да, полагаю, и счесть затруднительно. Ибо известно мне одно: закусывать я имею обыкновение, как вам известно, единственно сушеным горохом. Рюмка — и горошинка. Стаканчик — две горошинки. По положению. Так — с утра мне жена горохом оба жилетные кармана полнехоньки насыплет, а к вечеру — особенно в праздник, — глядишь надо и повторить.

Протопоп тоже не считал количества поглощаемой сивухи, но имел другую примету. Дом у него был — старые барские службы, подаренные собору под «поповку», то есть квартиры духовенства, еще князем Романом Федотовичем Радунским, — длинный-предлинный дом, — как фабрика, комнат с десяток, одна за другой. Стояли они почти без мебели, неприветные и пустые, но посреди каждой возвышался круглый стол, на столе — поднос, на подносе — графин, в графи-

не — водка, а подле — одинокая рюмка. Закуска же, то есть черный хлеб и крошево из соленых огурцов, ставились лишь при одном графине — в первом зальце, где протопоп принимал гостей. Отслужив обедню, остальной день протопоп проводил в том, что, заложа руки в карманы подрясника, маршировал насквозь всех комнат взад и вперед по длинному своему дому — приостанавливался у каждого столика и выпивал. Закусывал же, лишь сделав полный марш туда и обратно. Обычною дневною порцией протопопа было — чтобы графины иссякали впервые к вечерням, а вторично налитые — по ужине, к отходу на сон грядущий. Но нередко выпадали дни, что опустошались и три перемены. При этом, — за исключением первого графина, с закускою, который ставился на произволящего и, благодаря участию в его опустошении каждого приходящего гостя, шел, так сказать, не в счет абонемента, — остальные приходились почти исключительно на долю отца протопопа. Так — изо дня в день! Хлопонич и протопоп были ровесники. Хлопонич умер семидесяти пяти лет, протопоп — восьмидесяти двух.

Смерть Хлопоничу приключилась в конце шестидесятых годов, именно от привычной забавы его: «Кому в охоту? Пляши по мне, господа!..»

Выдавая замуж любимую внучку за сибирского золотопромышленника, разгулялся он на свадьбе и — предложил этот любимый свой опыт новой таежной роденьке. Не сообразил, однако, что у сибиряков сапожищи еще увесистее, чем у дикого костромского дворянства, а дело-то было после сытнейшего и жирнейшего обеда. Главное же: что сходило с рук в сорок и пятьдесят лет, не так-то легко сходит в семьдесят пять. Впервые в жизни заболел Хлопонич, и свалила его хворь в постель. Лечили его очень усердно: преимущественно обкладывая грудь и брюхо — «под вздох» — живыми щенками. Когда не помогло, дошли в прогресс до того, что пригласили врача и даже согласились созвать консилиум. Врачи опреде-

лили у Хлопонича заворот кишок. В старину против этой болезни знали один способ лечения — механический: давали больному глотать ртуть, уповая с наивностью, что либо тяжесть ее «развернет кишки», — и больной пойдет на поправку, либо ртуть «станет колом» — и больному аминь. В Хлопониче ртуть стала колом. Он сразу почувствовал в себе смерть и потребовал к себе друга своего протопопа.

— Ау, друг любезный, умираю!

— Ну что ж, Андрей Пафнутьевич! Ничего, пожили. За пол-осьма десятка перегнули: хоть кому. Поди, и я скоро вас нагоню старыми ногами.

— Ты, батя, меня не забудь, — поминай! Приятели были.

— Как можно вас забыть, Андрей Пафнутьевич? Что ни буду пить водочку, то и помяну.

— А на похоронах моих, отец, ты — уж будь ласковый, уважь: от могилки последним уйди. И бутылочку с собою захвати в кармашке. Как останешься один у могилки-то, — помолись за грешную душу новопреставленного раба Божия болярина Андрея, бутылочку открой, сам глотни и мне — в могилку-то свежую тоже — кап, кап, кап!..

Зарыдал протопоп:

— Слушаю, Андрей Пафнутьевич! все исполню, друг ты мой сердечный, единственный. И тебе в могилку — кап, кап, кап!

— И на девятый день тоже, батя!

— И на сороковины!

— По родительским субботам... на Радуницу... не откажи...

— Будь спокоен, Андрей Пафнутьевич, помирай себе с миром! Покуда я жив, лежи — не унывай, голубчик: без водки не останешься. Во все дни поминовения я тебе — кап, кап, кап!..

Схватили Хлопонича последние муки. Столпились у одра молодая жена, дети от трех браков, внучата. Воют. Старший сын нагибается к умирающему: у Андрея Пафнутьевича в глазах просьба и губы дергаются.

— Что прикажете, папенька?

И внял даже не шепот, а как бы ветр дыхания откуда-то из глубочайших недр легких:

— Стаканчик бы, и папиросочку закурить...

Смотрит сын на врача:

— Можно?

— Чего нельзя? Всю жизнь было можно, так теперь и подавно!

Выпил Хлопонич водки, папироску ему в губы воткнули, — улыбнулся сладостно, папироска покатилась по подушке — голова свесилась, — икнул — и помер!

Женат был Хлопонич вторым браком на бедной дворяночке из рода Тузовых, женщине редкой красоты. Злые языки толковали благоволение князя к мужу красавицы, конечно, тем, что жена-де княжая метресса. Это было неверно. Авдотья Елпидифоровна Хлопонич была женщина прекраснейшая, верная супруга, добродетельная мать, — прожила жизнь, чистая, как стеклышко, и таковою же в гроб сошла. Много лет спустя, после ее кончины и смерти князя Александра Юрьевича, Хлопонич, уже в третий раз женатый «для хозяйства», богач и сам первая сила в уезде, наивно хвастался, как он в свое время уберег жену от ненасытных очей волкоярского насильника:

— Он, знаете, терпеть не мог женщин, — с позволения вашего сказать, — в интересном положении. Так, дорожа его благодеяниями, но в то же время трепеща его натуры, мы с Дунечкою так уж и взяли за правило, чтобы он и не видал ее иначе. Детьми нас Бог, и в самом деле, не обидел, а в праздные годы Дунечка обкладывалась подушками. Чуть, бывало, к нему ли в гости, сами ли завидим из окна с горы, что он к нам жалует, Дунечка сейчас же бежит в спальню и — подушку на себя навертит. Плачет, бедная, потому что — легкое ли дело молодой женщине, без нужды, портить себя этаким безобразием? Да и жарко

же до нестерпимости, особливо, если в летнее время. А ничего не поделаешь, потому что с ним, соколиком, только зазевайся!.. А уж что страха мы терпели, чтобы не воззавидовал кто-нибудь со злобы, не открыл бы ему хитростей наших: ведь премстительный был на это — если кто его одурачит!.. со света бы сжил! Однако Бог милостив, обошлось. Так и в могилку сошел, царство ему небесное, не дознавшись. Только посмеивается бывало: «Авдотья Елпидифоровна! объясните ваш секрет: почему вы с Андрюшкою плодитесь, как кролики, а у нас с Матреною — одна девчонка?»

Жену Хлопонич уберег, но зато однажды устроил ему князь Александр скандал, тоже по романической части, и уж куда не лестный и малорадостный.

Справлял Хлопонич именины и дождался чести: пожаловал к нему на обед князь Радунский — дорогим гостем, во всем своем магнатском величии: с псарями, охотниками, песенниками, хором музыкантов. Сам в санях, свита верхами, — царь царем! Вошел — на мужчин глянул орлом, на дам — соколом. За обедом был весел, изрядно пил: ящик шампанского с собою привез, откупорить велел. Вот когда подали деревенское желе с пылающею свечкою внутри и захлопали в честь именинника пробки на бутылках с шипучим, князь вдруг и говорит Андрею Пафнутьевичу:

— Слушай, круглый черт, толстоносый именинник! Не думай, что я от тебя хочу отъехать на одном шампанском. Сделаю тебе для дня ангела подарок, — только сумей отдарить.

Согнулся Хлопонич в три погибели.

— Подавлен, — говорит, — я милостями вашего сиятельства. Что ни придет от вас — благодеяние ли, казнь ли — все должен принять с одинаковою радостью, потому что на небе — Бог, в России — царь, а над нами, ничтожествами, — вы, сиятельнейший князь. Но отдаривать вашему сиятельству — подобной смелости я, маленький человек, не то,

что взять на себя, но даже и вообразить не смею, потому что понимаю себя сравнительно с вашим сиятельством не иначе, как песчинкою или маленькою капелькою воды пред солнцем, в небе сияющим.

— Ладно, — усмехнулся князь. — Коли так, я сам выберу. А дар мой тебе будет не малый: владеть тебе, Андрею Хлопоничу, Пафнутьеву сыну, Мышковскими хмельниками отныне и до века, пожизненно и потомственно.

Что было людей за столом, все так хором и ахнули. Мышковские хмельники считались лучшими по уезду: тысячный доход! Сразу князь Радунский Хлопонича в крупные землевладельцы произвел, почти богатым помещиком сделал. Сколько ни был Хлопонич лиса и пройдоха, кремень тертый, привычный быть на возу и под возом, но и его приглушило нежданным счастьем. Так что — чем бы благодарить, стоит истуканом: глазами хлопает, губами шевелит, головой кивает, как болван заводной, а речи нету. А князь сидит довольный, лицо красное, стеклышко в глазу, моргает густым усом:

— Что ж, — говорит, — я свое дело сделал. Теперь ты отдаривай, полосатый черт!

Взвыл Хлопонич:

— Ваше сиятельство! Нет моих средств и сил! Одно сказать дерзаю: не имею ни на себе, ни в себе, ни при себе ничего такого, что вам не принадлежало бы. Повелите мне: «Хлопонич! возьми нож, разрежь себе живот, выпусти кишки», — минуты не промедлю!

— Фу, — отвечает князь, — выдумает же ослина! На что мне твоя падаль? Нет, ты — вот что. Давеча, входя, — видел я, — висела медвежья шуба. Хорошая шуба. Так вот, не угодно ли: ее мне подай!

Захохотали гости: в духе князь, милостивые шутки шутит. У него шубами-то гардеробы ломятся: соболи, бобры, — на что ему медведь Хлопонича? В медведях князь своих выезд-

ных лакеев на запятки саней ставит. Но князь повел стальными глазами, крутит ус, — смехи-то и смолкли.

— Чему вы смеетесь? Хочу шубу, — значит, и волоки сюда шубу. На это самое место. Сию минуту. Ну!

Тут уже, конечно, сам Хлопонич опрометью бросился за шубою, а князь тем временем вынул из жилетного кармана свисток серебряный, — свистнул, — и вот, входят в горницу, прямо к столу, как обломы, четверо его псарей.

— Держите, ребята, шубу шире!

Встал, взглянул по женской стороне стола и — пальцем указательным, с брильянтом на нем стотысячным, как молнией сверкнул:

— Возьмите в шубу вот эту барышню и несите ее в сани. Музыка! Играй!

И вышел. А псари понесли за ним, в шубе, — обомлевшую, безгласную, бесчувственную, — молоденькую свояченицу Хлопонича, Ольгу Елпидифоровну, юную красавицу, девушку-снегурушку, с белою косою до пят, и глаза — как васильки.

Сунулся было за ними ошалевший, растерянный Хлопонич.

— Не провожай, Пафнутьич. Мы с тобой квиты. Загляни в контору: Муфтель твое дело оформит.

А музыка во дворе гремит — марш из Спонтиниевой «Весталки».

Все еще думали: шутит, морочит спьяну головы пьяным... Нет, положили девушку в сани. Сам сел, ястребом озирается. Вершники ордою вскинулись, бросились, на коней взметались, джигитуют по двору, на воздух стреляют, «ура» кричат. Свист, гиканье, визг... поминай, как звали! Только и видели голубку Ольгу Елпидифоровну! Умчал — и по следу лишь снежные вихри радужными облаками взыграли, да долго еще ветер по морозу доносил медным воем Спонтиниев марш.

Скандал по губернии разразился страшный, хотя Хлопонич, в ужасе за судьбу подаренных хмельников, сам же ме-

тался по дворянству, моля не делать шума и не подымать истории, уверяя, будто вся сцена была разыграна по обоюдному согласию похитителя и похищенной, а он не препятствовал потому, что «князь — известный чудак и любит, чтобы было, как в романах». Тем не менее, а, может быть, даже именно потому, что Хлопонич суетился, — уж очень многих брала зависть на хмельники! — губерния смутилась, Петербург аукнулся, власти встрепенулись, жандармский штаб-офицер залюбопытствовал. Предводителю дворянства предложено было спросить от князя Радунского объяснений. К себе вызвать князя предводитель, — к тому же кругом ему обязанный по выборам, — конечно, не решился. Пришлось, кляня судьбу свою, волнуясь и труся, самому ехать в Волкояр. Радунский принял предводителя с отменной любезностью, а когда генерал, после долгих экивоков, заикнулся, наконец, по какому, собственно говоря, щекотливому делу он приехал, — Александр Юрьевич смерил его превосходительство стальным взглядом и расхохотался.

— Вы любопытствуете знать, на каком основании проживает у меня девица Тузова? Да спросите ее самое, — она недалеко и, слава Богу, живой человек... Эй! Лаврентий! Попроси сюда Ольгу Елпидифоровну.

Вошла белокурая красавица...

— Вообразите, — рассказывал потом предводитель, — волосы как лен, самый чистейший блондин, а глаза — никогда подобных глаз не видывал! — ну вот, словно сукно на жандармском мундире. И вся изумрудами обвешана: серьги, колье с фермуаром, кольца... все — изумруды! вот какие!

Ольга Елпидифоровна объяснила очень спокойно и флегматически, что от князя она никаких обид себе не видала, а, напротив, глубочайше благодарна ему за его к ней, сироте, благодеяния; что в доме князя она пребывает в качестве вольнонаемной чтицы при княгине Матрене Даниловне; что, наконец, если князь позволил себе пошутить на именинах

Хлопонича немножко вольно, то эту вину она, девица Тузова, ему давно простила и очень сожалеет, что злые люди истолковали случай этот в дурную сторону.

Таким образом, жалобщиков не оказалось, и дело погасло за неимением пострадавшей стороны.

Князь же, провожая предводителя, полумертвого после двухдневного пира, рекомендовал ему барышню Тузову в самых трогательных и ярких выражениях.

— Прекраснейшая девица, ваше превосходительство. Мы с женою бесконечно ею восхищены. Думаем замуж ее выдать. Составит счастие каждого мужчины. Ба! Вот кстати: я слышал, что к нашему губернатору сын-кавалергард приехал в отпуск. Говорят молодчина. Вот бы — женился? а? За приданым не постою.

Предводитель, валясь в возок под меховые попоны, только рукой махнул.

— Неисправим, хоть брось!

Так и разрешилась мирным путем собравшаяся было гроза, оставив по себе единственный след, — что губернские остряки прозвали Хлопонича — Хмельницким, и эта кличка гналась за ним уже до самой смерти. Ольга Елпидифоровна пользовалась благосклонностью князя года полтора. Когда надоела, Александр Юрьевич сплавил ее — во всех изумрудах и с очень хорошим денежным приданым на Москву, где ее, действительно, превосходно выдали замуж за весьма солидного чиновника по почтовому ведомству. Всего любопытнее, что едва ли похищенная барышня Тузова, равно как и Авдотья Елпидифоровна, жена Хлопонича, не были родными, хотя и внебрачными сестрами князя Александра, так как родительница их была у покойного князя Юрия в несомненном и долгом фаворе. Впоследствии Зинаида, дочь князя от Матрены Даниловны, поражала своим сходством с Ольгою Тузовою, хотя и не была так хороша собою. Знал ли князь об этой возможности, когда увез Ольгу, а Авдотья лишь

маскарадом беременности спасалась от его донжуанских притязаний? Хлопонич впоследствии уверял, что не знал. Но другой много ближайший к князю человек, верный его управляющий Муфтель, лишь возражал задумчиво:

— Знал ли, не знал ли, — что из того? Не таков был мальчик, чтобы обряжать в узду свою натуру.

Но мало того, что князь сам причудничал и дурил, заходя далеко за пределы, допускаемые законом и добрыми нравами, он имел еще странную страсть — принимать под свою защиту всякий подозрительный народ; стоило только поссориться с земскою полицией, чтобы рассчитывать на поддержку Радунского. Сам он никогда не прибегал к помощи местных властей:

— Я, как сицилианец: за обиду взыщу сам, а судиться за подлость почитаю.

— На что ты нужен? — говорил он местному исправнику, большой-таки и весьма неглупой шельме из разоренных, севших на полицейский пост, чтобы исправить состояние. На что тебя дворянство избрало и царь хлебом кормит?

— Ах, ваше сиятельство, неровен час, пригодимся и мы вам. Маленькая мышка в басне сочинителя господина Крылова перегрызла тенета царя лесов-с...

— Это ты говоришь напрасно. Я тобою не брезгую. Все люди одинаковы, и все — дрянь. Вот — обедать тебя позвал. Сижу с тобою за одним столом, и ничего, не тошнит. Только не вижу надобности ни малейшей в тебе со становыми твоими, зачем вы существуете в природе.

— Вот-с? А для порядка?

— Суета от вас по уезду, а не порядок. Куроцапы вы.

— Ах, ваше сиятельство! Обидные ваши слова.

— А если обидно, — зачем ты ко мне ездишь?

Исправник знает, чем князя взять, — сейчас же сшутует:

— Затем-с, что стол французский очень люблю. Хорошо кормите-с. В нашей глуши только и поесть сладко, что у вашего сиятельства.

Хлопонич подхихикнет:

— Врет! Все врет, ваше сиятельство! За оброками ездит. Оброк ему у Муфтеля в конторе приготовлен... в пакете... особенный.

— Уж и оброк! Уже и в пакете особенном! Ах, Андрей Пафнутьевич!

— К концу трехлетия в особенности учащать изволит, — дразнит Хлопонич, — на выборы-то без княжой протекции — ну-ка! покажись!

Совсем развеселится князь Александр Юрьевич шляхетскими шутами своими, но свое твердит:

— Куроцапы! Сор вы человеческий! Помелом бы вас!

— Ваше сиятельство! — защищается исправник. — Но ежели, например, на вашей земле найдется мертвое тело?

— Что же? Поп Кузьма отпоет, а Муфтель пошлет рабочих зарыть.

— Без следствия-с?

— А кому от твоего следствия польза? Становому, лекарю да стряпчему. Покойнику все равно, по какой причине ни гнить, потому что мертвым телом хоть забор подпирай, хуже ему не станет, — мужикам же разоренье. В первом году, когда я здесь поселился, стали было пошаливать бродяги вокруг Волкояра. Голенищев, солдат беглый, да Артем Брусок с товарищами. То клеть сломают, то корову угонят, то бабу обидят. Я выгнал в лес Муфтеля с охотничьей командой — изловили четырех молодчиков. Я и поговорил с ними по душе: вы что же это делаете, черти? Когда вы видели от меня какую-нибудь обиду? Коли вы голодны и холодны, то приходите честь-честью в контору, — там для вас припасено, но самовольничать на моих землях не смей! После этого Муфтель всыпал им каждому по двести лозанов, потом накормил их, водкою напоил, выдал по рублю серебра, и — ступайте на все четыре стороны. Уж как они благодарили меня за науку! И с тех пор как рукой сняло: у соседей ша-

лят, у меня — тихо, потому что русский человек и в разбор умен. Видит, что я ему не враг, и сам меня милует. Вон мой Муфтель долго жил в Сибири, так рассказывал мне, что там умные хозяева из крестьян кладут на ночь за оконницу хлеб — для варнаков. У одного такого хозяина пропала лошадь. Он подстерег какого-то варнака и пожаловался ему на пропажу: вот как ваша братия обижает меня за мои же хлеб-соль. Что же ты думаешь? И лошадь назад привели, и обидчика словили, да, разложивши у костра, кишки ему на кол и повымотали. Знай, мол, сволочь, каторжную совесть, — не обижай своих, не порочь варнацкую честь! Ты один шкодишь, а все за тебя отвечай?! Так-то, господин исправник. Во всей губернии и есть хороший порядок, что у меня в Волкояре. Именно потому, что я вашей братие, чинушкам, у себя хозяйничать не позволяю. Нет большей ненависти, чем народ питает к подьячему семени, к подлой волоките вашей. Стало быть, стоит только не пускать вашего брата на свой порог, — тогда и порядок найдешь, и в уважении будешь, и во всем с мужиком безобидно поладишь... А не поладим — сам сокрушу, к тебе кланяться за помощью не поеду. Мои люди! Я им отец, и барин, и царь, и бог. А ты — которая спица в колеснице? Брось! Так-то, господин исправник. А к столу прошу. По делам объезжай Волкояр за версту до околицы, а к столу прошу.

В волкоярской конторе, в прихожей, на конике, всегда сидел казачок с мешком медных денег. Всякий просящий милостыню получал монету. Князь сердился, если к вечеру мешок не опорожнялся, и слушать не хотел оправданий, что нищие не приходили...

— Этого не может быть, — говорил он, — нуждающихся в гроше всегда больше на свете, чем грошей. Мальчишка ленился или играл в бабки, вместо того чтобы раздавать милостыню... К лебедям его!

И беднягу запирали на ночь, полунагого, в чулан, где в зимнее время содержались выписные лебеди — летом украшение волкоярских прудов. Чулан был тесный, мальчик мешал огромным птицам; они злились и исхлестывали наказанного крыльями до синяков, да и пощипывали порядком. Ребятишки боялись этого наказания больше, чем розог.

В округе держался слух, — может быть, и ложный, но совершенно определенный и твердый, — что князь Александр Юрьевич не только был знаком лично с знаменитым Фаддеичем, последним мужицким богатырем и «справедливым» разбойником, лесным рыцарем Верхнего Плеса, но даже не раз пировал с ним по притонам его и сам принимал Фаддеича у себя как почетного гостя. Вообще же, если приходилось к слову в беседе, князь отзывался о Фаддеиче с величайшим уважением и похвалою.

— Преполезнейший человек был. Чрезвычайно жалею, что его поймали и до смерти задрали в Костроме на кобыле. Если бы десятка два таких сермяжных Дон-Кихотов пустить по России, острастка разным подлецам получилась бы куда надежнейшая, чем от сенаторских ревизий, ныне назначаемых. Сенатор все же чиновник, а всякого чиновника, как бы высоко ни стоял он по табели о рангах, всегда купить можно. Не деньгами, так бабой, не бабой, так протекцией, не протекцией, так страстишкою какою-нибудь — либо жрать горазд, либо пьет, либо картежник, либо собачей, а то коллекции какие-нибудь собирает: картины, табакерки. Ну, а Фаддеича не купишь, врешь, брат, нет! Он, прежде чем за топор-то взялся, может быть, годы вокруг себя на мир озирался, жалел людей, злость жизни видя, да ночи напролет плакал, пред иконами стоя, молясь, чтобы развязал его Бог — буйную силу и гневную волю с робкою совестью помирил бы. Он на разбой-то, бывало, едет, а сам крестится да молитву читает, — сам же и сочинил: «Не дай, — говорит, — пути неправого, не попусти греха обидеть вдову, сироту, убогого, но помози свободити насильника от излишков его...»

Большой любимец князя, хотя и вечный с ним спорщик, губернаторский чиновник по особым поручениям, Павел Михайлович Вихров, молодой человек, высланный из столицы за какую-то либеральную поэму или повесть, — возражал Радунскому:

— Почему вам это нравится, князь? Ведь вы же libre penseur *, в крайнем случай, деист — и до религиозных дисциплин не охотник?

Князь отвечал с надменностью:

— Мало ли от чего могу себя уволить я, князь Радунский! Меня к аристократизму свободной мысли с Дмитрия Донского семнадцать боярских поколений вырабатывали. Между мною и Божеством нет никого, и ничье посредничество неуместно. Мне религии не нужно, коль скоро я сам себе религия. Но, вообще, я люблю видеть людей религиозными. А мужика — в особенности. Вы в наши края, поди, опять — с раскольниками воевать пожаловали?

— Ах, уж и не говорите! — сокрушался, краснея, молодой чиновник. — Такие все гнусные дела поручают. Душа от них разлагается!

— Жаль. У раскольников с религией — куда крепче. По мне — хоть дыре молись, — есть тут у нас секта такая: так дыромолами и называются, — да веруй в нее, держись в ней за мирскую совесть какую-нибудь —

и чувствуй, что держишься, и трепещи потерять.

В числе таинственных людей, принятых князем под свою властную руку, особенно выдавался егерь Михайло — по дворовой кличке Давыдок. Давыдок был верзила лет сорока пяти, с лица — хоть сейчас в разбойничьи есаулы, но души добрейшей и ума недальнего. В Волкояр он пришел откуда-то издалека, с воли. Что за Давыдком осталась в прошлом какая-то черная туча — никто не сомневался. Но какая имен-

---

* Вольнодумец *(фр.)*

но, — никто не знал: во-первых, этого милейшего добряка все любили и не хотели обидеть лишним спросом; а во-вторых, Давыдок ломал подковы, как лучину, и, следовательно, разломать голову назойливого допросчика не составило бы для него большого труда. В княжескую милость Давыдок вошел как отличный стрелок, доставлявший отборную дичь к столу, и чудовищный силач, умудрившийся в борьбе грохнуть оземь даже самого Хлопонича.

Однажды Александру Юрьевичу пришло в голову спросить Давыдка:

— Михайло, секли тебя когда-нибудь?

— Никак нет, ваше сиятельство...

— Как же это, любезный? У меня вся дворня драная, а ты не драный... Им перед тобою обидно, а тебе должно быть конфузно: чем ты лучше других? Ступай, брат, на конюшню!..

Чуть ли не весь Волкояр сбежался к барской усадьбе, когда разнеслась весть, что Михайлу будут сечь, чтобы посмотреть, как «Давыдок будет не даваться». Но Давыдок обманул общие ожидания и позволил выпороть себя на обе корки ни за что, ни про что. А затем, по заведенному в Волкояре обычаю, отправился благодарить князя за науку.

— Ты, по крайней мере, знаешь ли, дурак, за что тебя пороли? — спросил князь.

— Никак нет... не могу знать... А только ежели пороли, стало быть, есть за что! Без вины пороть не будете...

Ответ Давыдка привел князя в восторг.

— Вот это слуга! — сказал он и наградил Михайлу десятью рублями.

С тех пор егерь стал его любимцем. Но в дворне этой поркой сильно возмущались и долго дразнили ею Давыдка.

— Черт, дьявол! как тебе не стыдно? — привязался к нему товарищ-егерь, — диви бы мы... Что ж? уж наше такое дело несчастное — холопское... А ты ведь, сказывают, вольный!..

И вот тут-то случился было грех. При слове «вольный» Давыдок вдруг побагровел, приподнялся с места и с размаха хвать егеря по уху. Беднягу после такого гостинца часа два приводили в чувство и еле-еле привели.

— Очумел ты, сатана? — попрекали Давыдка дворовые, — ни за что его порют, — молчит, товарищ словом обмолвился, — мало-мало не убил.

Давыдок оправдывался:

— А он зачем волею дразнится? Я за волю-то, может быть...

— Что Давыдок?

— Ничего, дурачок, много знать будешь, скоро состаришься.

После этого все в Волкояре порешили окончательно, что у Михайлы Давыдка есть на душе недобрая тайна и не трогать ее — и для него, и для других будет лучше.

Князь не слишком доверял своей избалованной дворне, в которой — он понимал хорошо — как ни щедро осыпал он ее своими милостями, не один человек носил в душе смертную обиду на него и жажду мести, хоть до ножевой расплаты. Однако вдвоем с Давыдком он спокойно уходил в глубь своих лесов, — и между барином и слугою оставались свидетелями только сосны да небо...

Михайло был стрелок замечательный, а местность знал как свои пять пальцев, открывая князю в собственных его владениях уголки, новые даже для Муфтеля — волкоярского сторожила.

— Должно быть ты, Михайло, у лешего на посылках был, — шутил князь.

— Нешто одни лешие в лесу живут? — отшучивался Михайло.

— И разбойники тоже...

— Ништо! — невозмутимо соглашался Михайло, не отвечая ни да ни нет на намек своего господина.

Одну лишь предосторожность соблюдал князь: на лесных тропах Давыдок шел впереди, а Александр Юрьевич сзади, готовый, при первом подозрительном движении егеря, пустить ему в спину пулю. Но с тех пор как князю случилось однажды сорваться с жердочки в болотную трясину и Михайло вытащил его, рискуя сам увязнуть, была оставлена и эта предосторожность. Князь убедился, что слуга его — раб честный и верный.

Раза два или три из-за страсти князя воображать себя каким-то средневековым феодалом-бандитом, атаманом шайки полурабов-полуразбойников, поднималась серьезная переписка. Но, во-первых, князь был богат, закован в золото и недоступен стальному копью закона. Во-вторых, он был мастер отписываться. Его ответы ходили в списках по всей губернии как образчики местной сатиры — ябеднической, оскорбительной, но ловкой: прицепиться не к чему, вьюн-вьюном! Пригласит к себе Хлопонича, запрутся вдвоем в кабинет и высидят, ехидствуя и грохоча, какую-нибудь такую бумажку, что, читая, губернатор с правителем канцелярии только губами, белыми от бессильной злости, трясут, а дворянство и обывательство помирают со смеха, хватаясь за сытые животики. Слухи и глумы пускали они по губернии самые злобные и язвительные. Укусила в губернском городе полицеймейстера, человека весьма свирепого нрава, болонка его супруги. Собачка была дорогая, пожалели пристрелить. Полицеймейстер распорядился посадить болонку в клетку — на испытание, не бешеная ли. Князь Александр Юрьевич немедленно выдумал, будто губернатор, в видах справедливости, приказал и полицеймейстеру тоже сидеть в клетке:

— Потому что неизвестно, кто скорее взбесится и от чего: полицеймейстер ли от собачкина укушения или собачка оттого, что полицеймейстера укусила?

Слух этот распространился настолько широко и с такою уверенностью, что в Костроме перед домом полицеймейстера

однажды собралась толпа простонародья — смотреть, как бесится полицеймейстер, и — правда ли, что, когда он вовсе взбесится, то губернатору пришла эстафета из Петербурга — вывести его в поле и пристрелить?

В конце концов, на князя перестали обращать внимание или, по крайней мере, сделали вид, что внимания не обращают.

— Все равно, — говорил губернатор, — с этим чертушкой ничего не поделаешь.

— А между тем был этот губернатор не из потворщиков и послабников — к власти своей ревнив, как Отелло, и в самодурстве необуздан, как Тамерлан. Именно с этого сановника, говорят, были списаны А.Ф. Писемским свирепые губернаторы в его романах «Люди сороковых годов» и «Взбаламученное море»...

— Но отчего же именно с чертушкой ничего нельзя поделать? — приставал на первых порах к правителю канцелярии молодой — только что из Петербурга — чиновник особых поручений Вихров, тогда еще не знакомый с князем Радунским, который впоследствии умел-таки его, если не очаровать, то примирить с собою. Вихров был честен, молод, сгорал жаждой деятельности, а дела ему давали все такие скучные да антипатичные... то раскол душить, то в казенных потравах и порубках разбираться.

— Стало быть, нельзя-с, — улыбался правитель канцелярии: он очень хорошо понимал деловую горячку молодого человека и сочувствовал ей, как воспоминанию о своей еще не очень давней юности. — Их превосходительство дело говорят-с.

Вихров язвил:

— Я еще понимаю, когда мы бессильны тронуть князя Г., графиню Д., сколько они ни изуверствуй над своими крестьянами и соседями, как ни издевайся над нами и законом. Этим господам стоит шепнуть словечко кому надо в Петербурге, и не усидим на местах не только мы с вами, но и наш принци-

пал. Это потворство подлое, но — что же поделаешь? в нашей матушке России без этого не проживешь. «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена». Но к чему же мы, кроме необходимых, делаем еще добровольные подлости? Что за птица князь Радунский? Он в немилости, государь хмурится, когда слышит его фамилию, знакомые и родные от него отреклись, его нигде не принимают, у него нет никакого влияния... И все-таки мы стоим пред ним в полном бессилии, а он своеволит, как киргиз-кайсак, и в ус себе не дует...

— Молодой человек, — серьезно возразил правитель канцелярии, — я вам скажу на это татарскую охотничью поговорку: «Нет острей зубов одинокого волка». Вот вы помянули князя Г. Человек властный и страшный — что говорить! Но, если бы меня послал к нему губернатор с неприятным для него поручением... ну, предположим крайнее: хоть арестовать его, — я поеду, в ус себе не дуя. А к Радунскому — извините: подам рапорт о болезни.

— Что так? — насмехался Вихров.

— А то, что преданность закону, сознаюсь вам, у меня далеко не превышает чувства самосохранения. Я не Сидрах, не Мисах, не Авденаго, чтобы лезть в пещь огненную, и не Дон-Кихот, чтобы подставлять свою физиономию под крыло ветряной мельницы.

— Но чем же он так запугал всех? что он может сделать? — недоумевал молодой человек.

— Решительно ничем не запугивал, кроме того, что он Радунский, и мы слишком хорошо знаем эту змеиную породу. А сделать... да он все может сделать...

— Не понимаю! Человек потерянный, без связей, без дружбы...

— Именно потому-то и опасен, что ему терять нечего; вам же и мне, а наипаче его превосходительству — есть что терять и даже весьма много-с... Дедушка этого самого Радунского, молодой человек, губернаторов-то плетьми драл-с!

— Мало ли что было при царе Горохе.

— И вовсе не при Горохе, а императрица Екатерина правила.

Вихров смеялся.

— Неужели вы думаете, что внучек вышел в дедушку и высечет нашего?

— Ну, высечет не высечет, а... Да нет-с, и высечет! — решительно махнул рукой правитель.

— При нынешнем-то государе? Николай Павлович вздернул бы за такую штуку!

— Очень он смерти боится! Татарская кровь.

— Это любопытно, однако. Романтик какой-то...

— Вот я вам расскажу, откуда мне стала известна эта история о высеченном губернаторе, — тогда и судите, что может сделать эдакий человек. В городе нашем Радунский бывает редко, разве по крайней какой необходимости. Однако как-то раз попал на выборы — хотелось протащить на должность, в исправники что ли, мелкую сошку из своих прихвостней. Он на это предобрый. Ладно. Принимали его, как принца, а он угощал дворянство, как не всякий принц угостит. На предводительском обеде встречается он с *нашим*, и наш на него пофыркивает: помни, дескать, что ты в некотором роде опальный боярин, а я здесь царь и Бог, и всё, начиная с господ дворян, зажато у меня в кулаке. Однако говорит несколько любезных слов; вспоминает, что гостил у покойного князя Юрия в Волкояре, восхищается имением, домом, а в особенности хвалит Венерин грот в саду... А князь перебивает:

— Я этот Венерин грот велел засыпать.

— Какая жалость! зачем же это, князь?

— Становые от него уж очень шарахались, ваше превосходительство. «Не можем, — говорят, — здесь близко стоять, ибо место сие есть свято».

— Не понимаю, князь.

— Существует, ваше превосходительство, такая легенда об этом Венерином гроте, будто на сем самом месте дед мой, князь Роман, наказал розгами на теле современного ему плута-губернатора со всею его челядью. Ввиду такой неприличной легенды, ваше превосходительство, я, человеколюбиво щадя чувства становых, распорядился уничтожить грот. А, впрочем, если он вашему превосходительству так нравится, я, пожалуй, прикажу его восстановить.

— Благодарю-с, — говорит *наш*, — сам налился кровью, еще минута и паралич. Мы сидим ни живы, ни мертвы, князь же — как ни в чем не бывало. Так вот-с это какой человек! А вы говорите: не высечет...

Народная молва, с губернаторского слова, так и прославила князя Александра Юрьевича «Чертушкой на Унже». Кличка, однако, не мешала крестьянам чувствовать к князю большое уважение. Помещик из Александра Юрьевича вышел — надо отдать справедливость — хороший и управляющего нашел себе под пару — немца Муфтеля, из отставных гвардейских унтер-офицеров. Этот Муфтель обрусел настолько, что мог бы сказать о себе, как гоголевский Кругель: «Какой уж я немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки». Князь очень любил этого исполнительного крутого служаку и в шутку звал его своим Аракчеевым. Но маленький волкоярский Аракчеев был куда и мягче, и честнее большого Аракчеева грузинского. Князь и Муфтель не били мужика по карману, не разоряли, не вымогали, в нужде давали немедленно помощь на поправку; но оброки Муфтель взыскивал с неумолимою строгостью; барщина была дельная; за добропорядочностью труда следили сурово.

— Если, — говорил князь, — я вижу, что мужик плохо работает на меня, я ему спущу шкуру со спины; если я замечу, что он худой работник на себя, я его переверну и спущу шкуру с брюха.

Словом, барин был грозный, но не жадный и, что в соседских, что в господских отношениях обычного права, довольно справедливый. Особенно нравилось, что он мир уважал и в мирскую волю не мешался, предоставляя крестьянству самоуправляться, как оно знает — к своему лучшему и как от отцов заведено. Мироедам засилья не давал и никогда не отказывал своему мужику в помощи купить рекрутскую квитанцию либо поставить за себя охотника. Его мелкое тиранство и самодурство мало касались села — это оттерпливала дворня, почти вся пришлая: переселенная из других княжеских поместий либо даже наемная. Князь любил иметь в услужении закабаленную какою-либо безвыходностью вольную голь. Жалованья им не платили, но — живи, сколько хочешь, за сытые кормы, угол и одежу.

— Эти люди надежнее, — говорил князь. — Своего мужика я — хорош ли он, нет ли — все равно, должен терпеть. Драть его за худую службу — не радость. В солдаты сдать — себе убыток. А вольный да голый всегда в страхе: ну прогоню я его, — куда он денется? Волкоярские крестьяне, таким образом, благоденствовали и слыли по округе завидными богачами. И, если б Александр Юрьевич меньше обижал их по бабьей части, пожалуй, его даже любили бы.

IV

В зелени векового волкоярского парка тонул красивый каменный флигель, построенный еще князем Романом для одной из его многочисленных любовниц, которую он увез от мужа, потому что находил ее похожею на Психею, а мужа «и Ферситом коль назвать — Ферситу будет злая клевета и обида». Флигель, по имени Психеи, так и звался: «Психин павильон». Волкоярская чернь, в мифологическом своем неведении, переделала мудреные слова по понятному для нее

созвучию — и стал павильон не Псишин, а Псицын. Впоследствии наследник князя Александра Юрьевича приказал разметать эту постройку до основания. Очень уж грустные воспоминания дарило ему ветхое здание. Здесь провела свою безрадостную жизнь и отдала Богу душу «нечаянная княгиня» Матрена Даниловна. Сверх всякого ожидания, Радунский после своей дикой женитьбы не бросил бедную идиотку на произвол судьбы. Обвенчанная чуть не насильно попом, запуганным настолько, что вряд ли он сам понимал в те страшные минуты, какой именно обряд он совершает, — княгиня после свадьбы безумно влюбилась в своего грозного супруга. Она выказала ему столько слепой и рабской преданности, что даже никогда никого не жалевшему Радунскому стало совестно обижать это убогое существо. Притом в первое время он сам был не совсем равнодушен к своей молодой, полной здоровья и силы, жене, увлекаясь ею, конечно, по-своему, — грубо и чувственно: только так вообще умел увлекаться и любить суровый «чертушка». Александр Юрьевич счел нужным увековечить свою жену в мраморе и красках: выписал в Волкояр из Петербурга скульптора и живописца, а из Италии — глыбу каррарского мрамора, — и вот фамильную портретную галерею Радунских украсила Леда, а цветник сада — белая Церера, скопированная с монументальных форм Матрены Даниловны. Возвратившись в Петербург, художники — оба с именами — кажется, не столько были рады огромным деньгам, какие заплатил им князь, сколько удовольствию вырваться, наконец, из гнезда «чертушки», откровенно блеснувшего пред ними всеми своими чудесами и безобразиями. Живописец — человек старого века, почтенный и богомольный, хотя и сделал свою карьеру и даже стал знаменитым именно как специалист по женскому телу, которое он вырисовывал столь обстоятельно, что драгоценные картины его потомство сохраняет под зеленым коленкором — даже лишний раз говел по возвращении в Петербург и сам просил священника назначить ему какую-нибудь епитимью:

— Уж очень много греха, батюшка, хватил я в проклятом Волкояре... Кажется, в Содом-Гоморре подобных игр не видно, как его сиятельство забавляться изволят!

Мифологическая позировка стоила Матрене Даниловне немало стыда и слез, но она очень хорошо знала крутой нрав своего супруга, чтобы возражать против его прихоти. Откровенную Леду впоследствии уничтожил сын Радунских, князь Дмитрий Александрович, благоговевший пред памятью своей матери, хотя он никогда ее не видал: Матрена Даниловна умерла именно его родами. Цереру же, по смерти княгини, приказал убрать сам князь Александр, так как между дворнею прошел суеверный слух, будто мраморная княгиня по ночам ходит по саду, стонет и плачет.

Введя Матрену Даниловну в свой дом, Радунский сперва окружил ее истинно-княжеским почетом и от души хохотал, когда бедняжка невольно разыгрывала роль вороны в павлиньих перьях. Но вскоре забава эта прискучила Александру Юрьевичу, и он бесцеремонно перевел беременную жену в садовый флигель, где она и стала жить да поживать одиноко, на странном положении жены — не то в отставке, не то в бессрочном отпуску. Радунскому очень хотелось иметь наследника. В его мрачной, безбожной, но суеверной душе жили самые тяжелые воспоминания об ужасном детстве, прожитом под властью ненавистника-отца. А отцу он не простил и за могилой. Князь Александр Юрьевич знал, как о нем говорят и думают люди, сам лучше всех понимал дикие выходки своего самодурства.

«Я зверь, я чертушка, — мрачно думал он, стоя пред портретом отца, который улыбался ему с полотна своим лицемерным, язвительно-красивым лицом, — но кто меня сделал таким? ты, изверг, ты!..»

Как бы в возмездие за самого себя — потому что самого себя он, чем становился старше, тем откровеннее считал истинным несчастьем и казнью рода Радунских, — князь

Александр Юрьевич мечтал создать из своего наследника человека, которого благословляли бы люди, — «ангела мира и кротости». Князь обожал несуществующего сына заранее.

— Воспитаю его чистым, как стеклышко, — говорил он, — он снимет с меня все пятна; он должен сделать для нашей фамилии все, что я был бессилен сделать, по злосчастной натуре моей, подлому воспитанию и ожесточению моего отрочества. Пусть он будет и умен, и образован, и великодушен, — слава роду, слуга отечеству. Мы, проклятые, выбились из истории, пусть же он снова введет нас в историю. Тогда и меня помянут за сына, не злым, но добрым словом — что я родил и воспитал такого, что я не загубил его, как меня загубил мой старик...

Этим заключением неизменно завершались его беседы и размышления о будущем ребенке. Точно мечты князя о сыне-идеале рождались как противовес унылым отголоскам его собственного детства, точно он собирался быть образцовым отцом, потому что собственным горьким опытом узнал, каким отцом быть не следует.

Княгиня обманула ожидания мужа и родила дочь Зинаиду. Гнев князя был ужасен. Появление дочери вместо сына расстроило вконец его мечты. Он был оскорблен до глубины души. Сколько ни было Радунских в родословном древе, у всех были первенцы, а у него — на поди — девчонка! Он не ждал дочери, не хотел ее; он считал ее появление нарушением законов природы и исторической справедливости. И за все это возненавидел ее так же жестоко, как ненавидел его когда-то покойный отец, князь Юрий. Под впечатлением первых поздравлений с дочерью, в первом порыве гнева, князь сделал родильнице страшную сцену, так что она от испуга захворала и, после родильной горячки, едва не потеряла последний остаток своего скудного ума. Наконец, даже тупую, рабскую, полуживотную душу Матрены Даниловны ожесточили безумства и злосердечие Александра Юрьевича. Матрена Даниловна не жаловалась, не плакала, хотя лишь

слоновой натуре своей она была обязана тем, что распущенность князя не отправила ее на тот свет. Но с этих пор муж умер для нее: она отдала всю свою привязанность отвергнутой отцом новорожденной, а князю оставила тупую бессловесную покорность — покорность бессильного страха. Года через полтора гнев князя обошелся. Он возвратил княгине свою милость, — слишком поздно, чтобы возвратить себе ее любовь и воскресить ее разбитое сердце. А встречая дочь, только равнодушно произносил:

— Это та самая девчонка, что ли?

Зина росла, не зная отца. Она жила во флигеле с матерью. Князь один-одинехонек коротал дни в большом доме-дворце, превосходном здании XVIII века, начатом стройкою еще при императрице Елизавете лейб-компанцем князем Федотом Радунским по плану и рисункам Растрелли, а доконченном уже в екатерининское время князем Романом, с поправками и вариантами Баженова.

Дикая и разнузданная жизнь шла во дворце, хотя и жизнь под вечным страхом. Порядок дня шел скачками — как придется, глядя по тому, когда и каков духом встанет с постели князь Александр Юрьевич. Обеденный стол готовили к полдню, а случалось, что князь садился за него едва в сумерки. Обеденная церемония совершалась изо дня в день с большою торжественностью. В старинной холодной столовой накрывали стол на двенадцать приборов, хотя садился за него, если не было гостей, только сам князь и, в очень редких случаях, в виде особой милости, управляющий Волкояром, немец Муфтель. Гостей полагалось иметь не больше одиннадцати, чтобы за столом сидело, вместе с хозяином, не свыше двенадцати человек. Если приезжал тринадцатый, ему был — от ворот поворот. За каждым стулом, занятым ли, порожним ли, стояло по лакею — в ливрее и на вытяжку, — лично князю прислуживали две красивые девки, любимые одалиски его крепостного гарема. Перед этими дву-

мя фаворитками гнул спину весь Волкояр, не исключая и Муфтеля. Дело в том, что после обеда князь делался податливым на просьбы, охотнее миловал виноватых, легче принимал неприятные известия; между тем только две избранницы его сердца имели право входить в его покои во время послеобеденного отдыха.

Крупных соседей у волкоярского хана не было. А те, которые были покрупнее, по возможности, избегали бывать у него, храня свое достоинство от насмешек и унизительных выходок князя. Зато в большие праздники, когда положение об одиннадцати гостях отменялось, дворец наполнялся мелкопоместными дворянчиками-просителями и прихлебателями, чающими княжеского угощения и благодеяний. И потешался же князь над этою нищею толпою!

Однажды на Рождество он вышел к обеду сердитый. Подали суп. Князь попробовал и оттолкнул тарелку.

— Эй вы! — сказал он, — какой это суп: скоромный или постный?

— Скоромный, ваше сиятельство, — отозвалось несколько недоумелых голосов.

— А я говорю, что постный.

— Постный, ваше сиятельство, — торопились согласиться голоса.

— А день сегодня какой?

— Вторник, ваше сиятельство... — сказали одни.

— Какой вашему сиятельству угодно, — сказали другие.

— Кто говорил: «вторник»? — громко крикнул князь, — пятница!

— Пятница, ваше сиятельство!

— Значить, суп постный, а день — пятница?

— Точно так, ваше сиятельство.

— Ну а так как я не хочу, чтобы в моем доме потакали поповским предрассудкам и ели по пятницам постное, то и... не жрите вовсе!

Вышел из-за стола и скрылся к себе в кабинет, где его ждал другой обед. Голодные гости разъехались, втихомолку ругаясь.

Решительно никого не уважал и ровнею себе не считал, ни с кем и ни в чем не стеснялся. Созовет гостей со всех волостей и, оказавшись не в духе, не выйдет к ним, вышлет — «быть за хозяина» — Хлопонича либо которого-нибудь из мелкопоместных своих дворянчиков-прихлебателей: этими полушутами-полулакеями, чающими кормов и благодеяний, всегда кишел волкоярский дворец.

Как-то раз князь устроил такую штуку даже на именины свои, 30 августа, когда в Волкояр съехалось все уездное дворянство и многие чины из губернии. Только и чести прибавил, что вместо Хлопонича посадил на председательское место любимца своего, губернаторского чиновника Вихрова и, конечно, не «послал» его, но «попросил». Молодой человек сконфузился было, начал отказываться:

— Помилуйте, князь, среди ваших гостей столько почетных лиц старше меня возрастом и гораздо более заслуженных.

— А черт с ними! — бесцеремонно отрезал князь. — В вас мне нравится именно то, что вы молоды и еще не служили. Когда у вас на шее будет висеть владимирский крест, а может быть, даже протянется через плечо красная лента, — тогда, поверьте, господин Вихров, я уже не попрошу вас быть моим заместителем. В матушке России порядочны только молодые люди, не перевалившие за тридцать лет.

— Но у вас в доме находится маршал наш, губернский предводитель дворянства...

Князь ядовито скривился.

— Достаточно и того, что я каждое трехлетие покрываю его недочеты и тем спасаю шкуру его превосходительства от энергии господ дворян, кои до нее добираются. Что вы, господин Вихров! Уж если мне выбирать из лакеев, то я Муф-

теля пошлю, или Лаврентия-дворецкого, или егеря Михайлу Давыдка: они, по крайней мере, честны.

За обедом гости решили все-таки отправить Вихрова к отсутствующему хозяину депутатом, чтобы от имени всего общества чокнулся с именинником шампанским и произнес приличную речь. Вихров застал князя за пикетом с Хлопоничем. Александр Юрьевич очень обрадовался юноше.

— А! приятно, что пожаловали. Что это? Шампанское? Ах, да... тост? Ну, нечего делать, произносите ваш тост.

Выслушал, выпил, кивнул головою.

— Тост к черту... глупости! Очень мне нужен их пьяный тост!.. А с вами мы еще выпьем. Я рад с вами выпить. Люблю пить с умным человеком. Я, господин Вихров, когда-то сам был умный человек. Ваше здоровье!

Пьет и смеется.

— И образованный был. Да. Очень образованный. Байрона в подлинниках читал. В масонской ложе молотком стучал. С Пушкиным в Кишиневе был приятель. И после встречались. Положим, только в штосс играли, но — все-таки... А хорошо он писал стихи, Александр Пушкин:

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...—

Пушкин многое получше этого написал, князь! — почти обиделся Вихров.

Александр Юрьевич внимательно изумился:

— В самом деле? Не знаю... не помню... Возможно!.. забыл... Во всяком случае, очень рад. Он был презабавный, Саша Пушкин... Конечно, между нами сказать, не более как дворянин среднего круга, сел не в свои сани; в свете, между этих новых, жалованных, он был смешненек. Но все-таки жаль, что его французишка Дантес застрелил так глупо, и Мишель Лермонтов прекрасно о том в стихах описал. Из-за бабы!.. Нашел, за что умирать. Я и Наталью

Николаевну знал... Ну — что же? Красавица была, но — баба, кругом баба... Бойтесь видеть в бабе человека, господин Вихров! Держитесь мужицкого взгляда, что у бабы, что у кошки, вместо души — пар. Это мрачно, но справедливо.

Он усмехнулся и продолжал:

— Да, да, да... Вот как идут времена и меняются люди, господин Вихров! Был приятель с Пушкиным, а теперь — приятель с Хлопоничем...

Хлопонич так и привскочил на стуле.

— Смею ли я, ваше сиятельство? — шутить изволите...

— Почему же не смеешь? С Пушкиным я в штосс играл — с тобою в пикет играю... только и разницы!

Омрачился, поник головою и повторил:

— Только и раз-ни-цы!

И, с усмешкою, договорил:

— Нехорошо это, господин Вихров, когда человек проживет свою жизнь так, что для него между Пушкиным и Хлопоничем только и разницы остается: с одним играл в штосс, с другим — в пикет... А могло быть и наоборот... Ха-ха-ха! Вот — доживу лет до семидесяти, память ослабеет, начну из ума выживать, — и вовсе различать перестану, который из двух Пушкин, который Хлопонич...

Он долго и зло смеялся, потом ткнул пальцем на стенной портрет князя Юрия:

— А все вот эта красивая рожа виновата!

И задумался глубоко.

Вихров думал уже, не беспокоя его хмурой задумчивости, тихонько отойти, как князь окликнул:

— Господин Вихров, вы знаете на память какие-нибудь этого... Пушкина... стихи?

— Я не какие-нибудь, а все стихи Пушкина знаю на память, ваше сиятельство!

— Будьте добры — прочтите мне что-нибудь.

Вихров подумал: как бы не влопаться? Пушкин так обширен: не хватить бы что-нибудь хозяину не в бровь, а в самый глаз? — и, с осторожностью, прочитал сильную, но безобидную «Элегию»:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье...

Князь одобрительно кивнул головою и сказал с недоумением:

— Он, однако, в самом деле, умен был — Пушкин? Это глубоко... Пожалуйста, еще!

Вихрова просить не надо было. Красивый и страстный декламатор, он рассыпал перед угрюмым князем весь лучший жемчуг пушкинской лирики. Князь внимательно слушал, покачивая головою и изредка бросая короткие словечки:

— Красиво...

— Правда...

— Умно...

— Еще, еще, пожалуйста!.. Прошу!..

Вихров, увлекаясь, читал пьесу за пьесою — и, давно позабыв о своем слушателе, выбирал только стихотворения уже по охватившему вдохновению — самые свои заветные, любимые, какие в пламенную голову приходили и мысль жгли, к которым больше влекло молодое, кипящее гражданским огнем сердце:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимых поток
На лоне счастья и забвенья! —

гулко звенел страстный, высокий голос под лепным, в фресках, екатерининским плафоном...

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее тащится по браздам

Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут;
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея...

Ужасное рабским испугом лицо Хлопонича, корчившего предостерегающие гримасы, изумило Вихрова — и тут вдруг, как молния, осветило его запетую стихами память:

«Да — что же это я — с ума сошел? Кому читаю? Князю Александру Юрьевичу Радунскому! «Чертушке на Унже» читаю!»

Князь сидел в креслах своих, красный, стеклышко выпало из глаза, рот раскрылся и по щеке кралась к усам одинокая капля крупной слезы... Плохо дочитал сконфуженный Вихров гениальное стихотворение, слишком живо чувствуя, что не в ту аудиторию он попал.

Кончил. Долго молчал князь, видимо, потрясенный.

— Да, это все так, господин Вихров, — сказал он, наконец. — Совершенно так. И это страшно, господин Вихров... да! страшно!.. Благодарю вас за все, а за «Деревню» в особенности...

— Уррра-а-а-а! — взревел в это время нескладный взрыв сотни голосов.

Князь сотрясся, как от нервического удара.

— Кто смеет? Где? Хлопонич! Что такое?

Хлопонич бросился к окну и доложил:

— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, — ничего чрезвычайного: гости вышли в сад и пьют здоровье вашего сиятельства...

— О, черт бы их побрал! Муфтель!

Муфтель вырос, как из-под земли.

— Пойди, скажи этим скотам, что я занят, — не смели бы орать под окнами!

Вихров вспыхнул.

— Позвольте вам заметить, князь, что там нет никаких скотов, но лишь благородное общество, удостоившее меня избранием — быть пред вами его представителем.

Князь вставил в глаз стеклышко и стал как ледяной.

— Что же из этого следует, господин Вихров?

— То, что я также, значит, зачисляюсь вами в категорию, вами поименованную.

— Я вас не зачислял, но — в какой категории себя числить, вам, господин Вихров, несомненно, самому лучше знать.

— В таком случае... — глухо произнес Вихров, бледный, с ходячею челюстью, голосом, в котором от волнения кричали петухи. — В таком случае... Вы, князь, вдвое старше меня, — и искать обычного дворянского удовлетворения оружием я на вас не могу... Но из дома вашего я должен удалиться... Любезнейший! — обратился он к уходящему Муфтелю, — прикажите подать моих лошадей.

Муфтель остановился, глядя на господина своего в замешательстве: таким тоном при нем с князем Александром Юрьевичем никто еще не разговаривал. Хлопонич трепетал, ни жив, ни мертв.

Князь высоко поднял брови — подумал — и очень любезно возразил Вихрову:

— Вам лучше переночевать, — уже темно, а дороги худые.

— Нет-с, я поеду.

— Как вам угодно... Муфтель, распорядись.

И, уже не глядя на Вихрова, тоже вышедшего с коротким кивком вместо поклона, взял карты давно забытого пикета.

— Четырнадцать королей, Хлопонич. Вот привалило-то!

— Па... па... пас...

Играли...

— Скажите, пожалуйста! — воскликнул князь, бросая на стол новую сдачу, голосом, скорее удивленным, чем серди-

тым, — каков мальчик объявился? Нотации мне читать приехал... вот гусь-то? Хлопонич? А?

Хлопонич залепетал было:

— Опомниться не могу... Неисповедимо растет дерзость человеческая... Только что снисхождение вашего сиятельства, а то бы...

— А ты молчи, — оборвал князь. — Тебе ли о нем судить? Он порядочный человек, а в тебя вместо души природою всунута поношенная ливрея!

В ближайший же свой приезд в губернию князь Радунский удивил город и взбесил завистью власти и знать, сделав Вихрову личный визит. Конечно, о каких-либо извинениях при этом свидании даже и речи не было, и неприятная история на княжеских именинах не была помянута в беседе хотя бы словом. Но — обыкновенно, почиталось уже честью, если князь Радунский, в виде ответного визита, присылал с кем-либо из своих прихвостней, буде не просто с камердинером, свою карточку, — а тут личное посещение — и кому же? столь незначительной особе, как чиновник особых поручений, да еще из ссыльных! Это было равносильно извинению. Вихров был растроган, и сделались они — старый и юноша, деспот и демократ — осторожными друг к другу, совершенно не фамильярными, но, по существу, большими друзьями. Впоследствии князь даже пригласил Вихрова подписать в качестве свидетеля свое завещание, которому суждено было наделать немало-таки шума в России.

V

Княгиня Матрена Даниловна, робея пред мужем, — а робела она до того, что, завидя издали его, тихонько творила кресты и читала про себя молитву Давидову, — ни словом не решалась заикнуться, что дочка ее растет, что Зине нужно

хоть какое-нибудь образование и воспитание. Помощи со стороны ей тоже неоткуда было ждать. Всякое постороннее вмешательство в дела князя только раздражало его и вело к тому, что он поступал наперекор — хоть дико, да по-своему. Единственный человек, имевший на волкоярского хана некоторое влияние, монах Иосаф, в эту пору уже умер. Наконец, Муфтель сжалился над бедною матерью и, зная, что с князем невозможно говорить о дочери, самовольно выписал для девочки гувернантку, пожилую обруселую немку, свою дальнюю родственницу. Немка прибыла и была водворена во флигель, как некая контрабанда, с строгим запрещением выходить, до поры до времени, за порог своей комнаты — «пока князь не обдержится». Оставалось доложить князю о сделанном. Обе застольные и послеобеденные фаворитки князя наотрез отказали Муфтелю в посредничестве.

— Нет уж, Карл Богданович! — говорили они, — выпутывайтесь сами, как умеете. В другом чем-нибудь готовы служить с великой радостью, а в этом — извините. Вам самим довольно хорошо известно, каким зверем становится князь, когда ему что-либо напоминают насчет княжны. Своя рубашка ближе к телу! Вы знаете, каков наш князь, когда серчает... Он спину-то под бархат отделает... с разводом.

— Да ведь жалко девочку, и княгиню жалко... — уговаривал Муфтель.

— И самим нам жалко, а только мы не можем. Розги не свой брат.

— Уж и розги!

— Наш князенька без розог ни на шаг.

— Пожалеет таких красавиц.

— Да, как же! пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву!.. Про Клавдию забыли что ли? Уж она ли не была у него в силе, а ведь не пожалел. Разве у него есть человеческие чувства? Ему что я, что она, что другая-тре-

тья. Была бы девка, а которая — все равно, — ни к кому любови нет! Он нас, поди, и по именам-то не знает.

Клавдия, о которой говорили девушки, была взята в гарем из деревни — всего на семнадцатом году. Вскоре она забрала над Александром Юрьевичем такую власть, как ни одна из княжеских фавориток ни прежде, ни после. Это создалось сходством характеров. Зверь наткнулся на звереныша. Клавдия, во все время своего властного случая у князя, никогда ни за кого не попросила. Наоборот, по ее жалобам, частенько оглашалась криками барская конюшня, немало людишек отправилось на поселение в далекие вотчины. Фавор князя к этому бесенку во плоти дошел до того, что Александр Юрьевич начал сажать Клавдию с собою за обеденный стол. Этому порядку он не изменил и тогда, когда, в кои-то веки, в Волкояре проявился гость-ровня — дальний родственник князя, тоже самодур не из последних. Дня два или три все обходилось благополучно. Но в один день Клавдия забылась: заговорила с князем чересчур капризно и фамильярно. Гость-родственник улыбался: ага! есть, мол, и на тебя гроза-страстишка, которая держит тебя под башмаком! Князь внутренно взбесился, как сатана, но в лице его хоть бы жилка дрогнула. Он только кивнул пальцем Муфтелю и бесстрастно шепнул ему приказание, а управляющий бесстрастно его выслушал. После обеда гость и хозяин отправились в бильярдную. Гость только что намылил кий и прицелился в шар, как вдруг в соседней зале раздались отчаянные вопли.

— Это что такое?

— Пустяки: наказывают одну виноватую девушку...

— Послушайте! но ведь это голос вашей... как ее там зовут? Клавдия...

— Изволите не ошибаться.

Князь с треском положил шар в лузу. Партия тянулась, крики не прекращались.

Гость сказал:

— Однако она страшно кричит... простите ее, князь!

— Вот доиграем партию, — и прощу, у меня такой порядок.

— Но она действует на нервы...

Князь сказал казачку:

— Пойди скажи Клавдии, чтобы она не смела кричать, а не то я сыграю две партии...

Князь выиграл. Опираясь на кий, он учтиво поклонился гостю:

— Угодно реванш?

— Нет, покорно благодарю... вы сильнее меня... довольно, — забормотал гость, опасливо оглядываясь через плечо на двери, откуда неслись уже не крики, но мычанье.

Князь пожал плечами.

— Как угодно!

И, обернувшись к дверям, приказал:

— Муфтель, довольно...

Тем же вечером еще бесчувственная Клавдия была отправлена в самую дальнюю вотчину и, по прибытии на место, немедленно была выдана замуж за самого бедного и тоже штрафованного мужика — вдового и с детьми.

Печальную участь Клавдии, рано или поздно и в большей или меньшей степени, испытывали все крепостные фаворитки князя. Когда любовница ему прискучивала, он, придравшись к какой-нибудь провинности, сплавлял ее в степные деревни, где бедняжку постигала самая плачевная судьба. Из недолгой роскоши она попадала в вековечную нужду. Из среды лести и подобострастия переходила в среду, где ее ненавидели, презирали и злорадно мстили ей за недавнее, но уже невозвратное прошлое. Клавдия, например, и года не выжила на поселенье: ее травили, как злого волчонка, — пока не нашли ее в петле, на осине... Один раз, на каких-то дворовых именинах, очередная фаворитка князя сказала дерзость Муфтелю. Управляющий на пирушке подвыпил и осмелел.

— Не груби, красавица, не груби! не ссорься с Богданычем! — сказал он. — Сейчас ты у князя сильнее меня, — это что и говорить. Только вашей сестры у него сколько хочешь, а Муфтель один. И сегодня Муфтель перед тобою картуз гнет, а завтра Муфтель тебе спину дерет.

Девушка обиделась, расплакалась и пожаловалась князю. Но он расхохотался:

— Ха-ха-ха! Немец не врет, — хоть глуп, а правду говорит. Где я возьму другого такого? Помирись с ним, Серафима; не плюй в колодезь — пригодится воды напиться.

Волкоярская дворовая хроника сохранила всего лишь одно имя женщины, которая, даже выйдя из фавора, не утратила княжеской милости. Звали эту женщину Матреною, а прозывали Слобожанкою, потому что князь сманил ее — уже вдовую по первому мужу — из пригородной костромской слободы. Бабенка красивая, умная и пронырливая, Матрена поставила себя так хорошо, что, когда княжой интерес к ней охладел, князь сам спросил ее:

— Ты чувствуешь, что мне надоела?

— Чувствую, ваше сиятельство. Когда и куда прикажете убираться?

Князь купил Матрене дом в ближайшем уездном городе и выдал ее замуж за какого-то мещанина, наградив молодых недурным денежным приданым.

Отчаявшись найти себе поддержку в своем благом намерении воспитывать княжну, Муфтель, — в душе человек очень добрый и только на службе готовый хоть зубами загрызть всякого, кого князь прикажет, — решил:

— Взявшись за гуж, не говори, что не дюж; сделанного не разделывать стать, а надо доделывать до конца.

Вскоре пришлось ему подавать князю приходо-расходную ведомость за четверть года.

Муфтель, стоя среди княжего кабинета, монотонно вычитывал расходные рубрики. Князь, закрыв глаза, слушал его

и время от времени кивал головою: так... верно... согласен... Он отлично знал, что Муфтель ничего не украдет и не поставит лишней копейки в ведомость, и эти четвертные отчеты были не более как формальностью. Но князь форму любил и соблюдал строго. Муфтель читал, читал, и... его осенило нежданное вдохновение. Тем же ровным голосом, как читал он о шитье новых ливрей и черкесок для дворни, о вывозе нечистот с хмельников заднего двора, он произнес:

— Гувернантке княжны Зинаиды Александровны, иностранке Амалии Густавсон, сто рублей...

— Что-о-о?!

Князь широко раскрыл глаза.

— Гувернантке княжны... — храбро начал было повторять Муфтель.

— Стой! не то!.. Разве у княжны есть гувернантка?

— Как же-с!

— Откуда же она взялась?

— По приказу вашего сиятельства.

— Я приказал?!

— Так точно-с.

— Я?!

— Без приказа вашего сиятельства у нас в Волкояре ничего не делается.

— Гм!..

Радунский пронзительно посмотрел на верного слугу; он отлично помнил, что ничего подобного не приказывал, но смелость Муфтеля ему понравилась.

— Читай дальше! — спокойно сказал он.

Муфтель кончил ведомость.

Князь взял бумагу из его рук и скрепил своею подписью.

— Смотри у меня, Муфтель! — заметил он, погрозив немцу пальцем. — Не умничать и не вольничать!

У Муфтеля душа раздвоилась и ушла в пятки. Ему живо представилось, что его уже выкупали в дегте, обваляли

пухом и выбросили за ворота, как — по княжескому приказу — сам он должен был сделать лет пять тому назад с одним из «вольных» княжеских домочадцев-супротивников... Однако гроза прошла. Выговор только тем и ограничился.

— Много, матушка ваше сиятельство, грехов простится мне за эти полчаса! — говорил потом Муфтель Матрене Даниловне.

VI

Вяло и скучно жилось в садовом флигеле княгине Матрене Даниловне, хотя у нее был свой штат женской прислуги и завелись свои друзья и знакомые, подстать ей самой — из мелкопоместных дворяночек и попадей округи. Жизнь проходила — кроючись и крадучись.

— Что ты, матушка, забыла меня? — упрекала иной раз княгиня давно не бывавшую гостью, — или угощение мое не по нраву? Кажется, стараюсь — как для родной сестры, и ничем ты от меня не обижена.

Гостья откровенно извинялась:

— Княгиня, голубушка, хоть семь дней в неделю рада бы у вас гостевать, всем от вас удоволена, на всем вам благодарна. Да уж больно жутко. Собираешься к вам в Волкояр, ровно во Сибирь некую. Как подумаешь о князе, так сердце и упадет: неровен час — встретится...

— Зверь он, что ли? — с горечью возражала княгиня, — если и встретится, что он тебе сделает? Ты не к нему, а ко мне. Он мне в гостях не препятствует.

— И ничего не сделает, голубушка, да посмотрит. А у меня потом от его глаза на целую неделю трясение в суставах. Я, княгинюшка, когда к вам еду, трястись-то начинаю еще за околицей; селом еду — лихорадка бьет; а как во двор

вкачусь, — так и глаза зажмуриваю: избави, Господи, от мужа кровей и Арида!

Нескольких дворяночек — поголоднее, а потому и посмелее — княгиня поселила при себе приживалками.

Князь, отдалив от себя жену, не видал ее по целым месяцам и ничуть не заботился, как она живет и что делает. Разлюбленная и разлюбившая, молодая женщина, — да еще богатырского сложения и здоровья, — прямо-таки задыхалась в своем бездельном и бесцельном одиночестве. Избыток сил душил ее; надо было найти ему выход, — и, обманутая в любви, нашла она выход печальный. Две из ее приживалок попивали втихомолку. Выучилась у них пить и княгиня. Чарочка стала необходимою принадлежностью длинных зимних вечеров, в которые тосковала она среди своего бабья, под песни работающих девок. Зашел к ней как-то Муфтель в такую пору и ахнул: княгиня едва ворочала языком... речи и мысли были нехороши, движения нескромны... Окружающие ее женщины были не лучше. Глупые песни поют, верхом друг на друге ездят. На другой день Муфтель пришел к Матрене Даниловне с выговором.

— Ваше сиятельство, что же вы это изволите делать над собою? Так нельзя-с. Доведается князь — и вам будет плохо, и мне: зачем недосмотрел? Убедительнейше прошу вас: перемените ваши поступки. Я не могу быть за вас в ответе. Если вы этих занятий не оставите, я доведу до сведения князя.

Матрена Даниловна стиснула зубы и махнула рукой.

— Доводи!

— Да как же-с? — оторопел Муфтель.

— Доводи, говорю, — бессвязно кричала княгиня, — пусть убьет, дьявол бессердечный! Один конец, по крайней мере. У! ненавижу его... Зачем он на мне женился? за что погубил? Не пара я ему, вишь ты... Сама знаю, что не пара. Ему было в ровнях высватать за себя принцессу гишпанскую,

а он мелкопоместную дворянку взял. Ни то я по-французскому, ни то я по-немецкому. А теперь и грамоте-то, что знала, забывать начинаю... Не пара! Не я ль его просила, не я ль молила: отступись! не женись! деньгами ты меня наградил, найду человека, который погибнуть мне не даст, девичий стыд мой венцом покроет? Кому было вперед-то глядеть, видеть, что не пара, — мне ли, дуре, или ему, умнику? Нет, — лишь бы блажь свою потешить да характер оправдать, а — что человек живой пропадет, о том и думочки нисколько... Известно: на что я ему теперь? Красота моя свяла. Красоты нет, — муж глупую жену любить не станет. Одна, весь век одна! в тюрьме легче. Господи, да ведь мне же тридцати годов нету... должна же я иметь в жизни свое удовольствие! Ох, Карл Богданович, тяжко... Так тяжко, что... ну, будь только люди в нашей мурье, уж отсмеяла бы я ему, злодею, свою обиду!

— Что это вы говорите, ваше сиятельство!

— А то, что я греха бы не побоялась, стыд бы забыла, а уж нашла бы себе мила дружка по сердцу, чтобы он любил меня по-моему, нежил, приголубливал... Мне ласки надо, Муфтель, слова доброго... и ничего у меня нет! Словно все каменные...

И загуляла княгиня Матрена Даниловна. Стукнет с горя у себя в павильоне хересу бутылочку, а то и просто зелена вина, и пошла, очумелая, бродить по саду, — в самом развращенном виде, сама не своя, — песни визжит, точно девка деревенская. Дворня, любя ее за кроткий нрав, понимала в ней обиженную женщину и тщательно укрывала от князя, чтобы не доведался, как она пьет. Однако в скорости отступились — опасно с нею стало: уж слишком полюбила вино. Пришлось Муфтелю доложить казус этот князю.

О всех проделках Матрены Даниловны Муфтель не донес, но осторожно намекнул, что княгиня хандрит — хоть руки на себя наложить готова, и, заметив, что попал к свое-

му грозному повелителю в добрый час, позволил себе посоветовать ему немножко приблизить к себе жену:

— Так как вся их ипохондрия — осмелюсь доложить вашему сиятельству, — по замечанию моему, проистекает исключительно оттуда, что княгиня без памяти обожают ваше сиятельство.

Князь — стареющийся прежде времени, опустившийся, изношенный развратом — был польщен этою крепкою привязанностью. Он посетил жену, — которую перед тем не видал с полгода, а когда видел, то почти не глядел на нее, — и был поражен переменою в ее наружности. Вместо белой, румяной, веселой красавицы он нашел ожирелую, обрюзглую бабу, с равнодушным неподвижным лицом, со взором тупо-покорным всегда и враждебно-испуганным в минуты волнения. Князю стало совестно. Он захотел воскресить убитую им женщину, но было уже поздно! Насильственно-пылкие ласки его, нежные слова, от которых в прежнее время Матрена Даниловна ходила бы целую неделю, как шальная, в счастливом полусне любви, — теперь пропадали бесследно. С женщиной обращались долгие годы, как с самкою, как с рабою, — она и стала самкою и рабою. Александр Юрьевич не встречал в своей княгине ни страсти — хотя прежде она была богата страстью — ни отвращения, но одну тупую рабскую покорность, мертвый, безразличный взор, неулыбающиеся губы. Пила же она тайком по-прежнему, хоть и остерегалась теперь, чтобы не попасться князю. Он, однако, догадался, но смолчал. Ему стало противно; он понял, что потерял жену навсегда. Недели полторы он выдерживал это печальное повторение медового месяца. Потом ему надоело, — и он забросил Матрену Даниловну сызнова.

Это было к концу девятого года их супружества — весною. С княгинею же, когда муж стал от нее удаляться, случился совсем неожиданный переворот. Она вдруг ожила, отказалась от вина, повеселела, помолодела, похорошела.

Теплый апрель переселил ее из душных комнат флигеля в чудный волкоярский сад. Один за другим бежали веселые вечера — с горелками и хороводами, в которых вместе со своими девушками принимала участие и Матрена Даниловна. К ней возвратились ее звучный смех, ласковое выражение глаз, добрая усмешка и розовые щеки.

Осенью Муфтель таинственно доложил князю Александру Юрьевичу, что княгиня совестится сама сказать ему, а — по всей видимости — она вторично готовится стать матерью. Первые признаки беременности почему-то поразили княгиню ужасом: она едва решилась сообщить Муфтелю для передачи князю, что ждет ребенка; с лица ее не сходило совсем несвойственное ей выражение испуга и беспокойства; она пожелтела, похудела; часто заставали ее в слезах. Потом она что-то писала, но либо уничтожала написанное, либо прятала листки невесть куда. Напротив, сам князь Александр Юрьевич был очень доволен и на этот раз ждал уже непременно сына.

Так и случилось. Восторг князя не знал границ.

— Ай да княгиня! ай да Матрена! — вопил он, буквально прыгая по залам дворца своего, — вот, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Полагали: ау! иссохла смоковница, — ан, глядь, врешь: взяла да плод принесла. Он велел звонить в колокола, палил из домашней пушки, богато одарил сельскую церковь, простил крестьянам оброк за год. Младенца отняли от бесчувственной матери — роды были очень несчастливы — и перенесли в большой дом, где окружили няньками, мамками, боннами. Мальчик был слаб, хил, мал, без ноготков.

— Боже мой! — воскликнула принимавшая его акушерка, — точно недоносок. Семимесячные не хуже бывают!

В хлопотах о сыне Радунский совсем забыл про жену и очень изумился, когда, дня через три, Муфтель с испугом доложил ему, что княгиня совсем плоха, и если он желает проститься, то поспешил бы прийти.

— Что же с нею такое?

— Не могу знать, ваше сиятельство. Надо полагать, либо молоко в голову бросилось, либо вообще уж... звезда такая...

— Доктор есть у нее?

— Как же-с! Двоих вызвал: из Костромы и из Ярославля.

Когда князь Александр Юрьевич пришел взглянуть на жену, Матрена Даниловна уже не узнала его. А он, если бы не знал наверное, что вот этот длинный, желтый, едва обтянутый кожею скелет — его жена, совсем не узнал бы ее. Так изменилась Матрена Даниловна за короткое, но ужасное мученичество своей болезни. Она умерла в присутствии князя. Видела она его или нет, — Бог знает. Взор ее поумневших, просветленных перед смертью глаз был мрачно и безразлично уставлен в какую-то далекую точку; созерцая ее, бедная женщина и отошла в вечность. Печально смотрел Александр Юрьевич в лицо покойницы, но не о ней — своей невинной жертве — жалел он...

— Грустным предзнаменованием начинаешь ты жизнь, сынок! — вырвалась наружу его заветная мысль.

Говорят, что беда одна не ходит, а беда беду ведет. Не успели воющие бабы обмыть охладевший труп княгини, как прибежал к Муфтелю испуганный казачок:

— Карла Богданович, у нас в саду висельник... покойник...

— Что? Кто?

— Матюшка-доезжачий удавился... на яблоне висит... на вожжах...

Муфтель за голову схватился.

— Это еще хуже княгини!

Матюшка-доезжачий был любимцем князя: мастер своего дела, ни разу не сечен, подарки имел. Парень был совсем еще молодой, не переломил третьего десятка, собою красавец писаный, богатырь, настоящий Бова-королевич. Нравом — не в обычай волкоярской распущенности — красная девушка, не пьющий, не охальник, не зернщик, — только

песенник. На что уж княгиня-покойница недолюбливала наглую волкоярскую дворовую орду, а Матюшку — и она ласково привечала, отличая между всеми. С чего он вдруг так затосковал, что отчаялся в жизни и стал черту баран, никто в Волкояре не мог ума приложить: казалось, все в жизни улыбалось молодчине этому, а он — поди же ты! — вот те и на! Только одно о покойнике и вызнал Муфтель, что ночь перед тем, как удавиться, Матюшка провел на пасеке у деда своего, Антипа Пчелинца, и оба они до света не спали, а шепотами гудели между собою неведомую беседу.

Послал Муфтель за Антипом Пчелинцем, — ан, того нету. Работница говорит: внука проводивши, чуть свет ушел неведомо куда, мешок на плечи и посох в руках.

— Коли будут спрашивать, — говорит, — скажи: вернется, когда замолит погубленную душу. Не иначе, что в скиты поплелся, на Ветлугу...

— Без спроса-то? Без паспорта? Да я с него шкуру спущу!

Три дня минуло, неделя, месяц, — Антип назад не бывал. Значит, либо помер безвестно, либо ударился в бега, в старцы постригся — пропала ревизская душа. И опять было непонятно, — зачем? Антип Пчелинец был старик замечательный, — при князе Романе в хоромы казачком взят, а князя Юрия слуга, фаворит и когда-то прелютый приказчик. Князь Александр, войдя в наследство, отстранил Антипа от должности, как всех отцовых любимцев. Антип ушел на покой и занялся пчелами. Годы и пасека его будто переродили: сошелся со староверами, стал читать божественные книги и рукописные тетрадки, раздал решительно все деньги и ценные вещи, которые накопил во времена своего величия — и без разбора раздал, первому просящему. Из недавнего свирепого холопа выработался, в какие-нибудь десять лет, угрюмый созерцатель-начетчик... Что он кончит жизнь в скитах, того все ждали. Но — бежать-то было зачем? Спроситься у князя — тот не стал бы держать, мигом отпустил бы: ведь нерабо-

чая сила в убыль из его хозяйства уходила, а ни на что непригодный старый старик, который даром хлеб ест.

Решили на том, что, надо быть, Матюшка — перед тем, как удавиться, покаялся деду в каком ни есть великом грехе и возжалел Антип внука — благословил его на вольную смерть, а сам бежал — душеньку его отмаливать.

— Под сердце подкатило, — толковал дворне Лаврентий Иванович, дворецкий, человек пожилой, почтенный и богобоязненный, весьма уважаемый самим князем, один из всей орды волкоярской, имевший разрешение ходить не в ливрее, но в «собственном» длиннополом гороховом сюртуке. — Когда подкатит под сердце господскому человеку, это — хуже нет. Единое средство против — в бега! А то долго ли бесу опутать душу человеческую? Бес у нас в Волкояре не то что людьми, — горами качает!

— Это так точно, — поддакивали ему, — княгиня-то перед смертью тоже была — как обаянная.

Тихо отпел и ранним утречком схоронил княгиню Матрену княжеский попик Кузьма — тот самый, что когда-то венчал ее с князем, чуть ли не под дулом пистолетным. А по селу — песни, догорает, чадя, иллюминация, всю ночь пылавшая плошками с салом и бочками смоляными... Князь на отпевание жены едва заглянул — только для приличия пред немногими успевшими к скорому погребению соседями; прощаться с покойницею не подошел и сейчас же, как понесли гроб из церкви, возвратился во дворец к сыну, предоставив положить жену в сырую землю Муфтелю и Хлопоничу.

Михайло Давыдок и вырыл, и зарыл могилу, — сам напросился по усердию к покойнице, потому что очень ее уважал за доброту. Много сердец потерял в этот день князь Александр Юрьевич. Почти громко гудели и соседство, и дворня, и село:

— Обиженная женщина!

— Загубленный человек!

С похорон этих отвернулось от князя и сердце Михайлы Давыдка, начинавшее было привязываться к старому властному барину за удаль, которой в обоих — и в господине, и в слуге — была полная чаша. Уж больно не любил несправедливости простодушный волкоярский богатырь. И всегда впоследствии хмурился, если кто-либо из дворни вспоминал при нем, хвастая, эти дни.

— Мы тогда на радостях целый месяц пьяны были!

— Хвались! — угрюмо рычал Михайло.

— А чего — нет? Не вру, правду говорю.

— Правда-то твоя не больно красивая. Помолчать бы о ней. Вот что. Праведница в гробу, а они дорогу водкой поливают! Похохотали, поди, над вами в аду бесы-то.

— Эх, Михайло Васильевич! Чего с нас взять? Русские люди! Не кори вином: татарином обзову.

Только головою качал на полузверей этих в чекменях и черкесках трезвый Михайло.

— Демон вас поймет, тутошных! Что радость, что горе — не разобрать у вас в Волкояре. Все равно, — все пьяные. И когда только вы, черти, протрезвитесь?

И слышал в ответ бесшабашные, взывающие о снисхождении, хмельные слова умиления едва лыко вяжущего и добродушного самоунижения:

— Милый человек! Не надо... на што?.. В Волкояре иной раз и пьяному-то совестно смотреть на Божий свет, а ежели человек тверезый... и-и-их!

И — выразительный пример был налицо:

— Вон — Матвей — покойник: в рот не брал вина... ну и повис на яблоньке!

Яблоня, на которой удавился Матвей-доезжачий, уцелела в волкоярском саду. На первых порах забыли срубить, а после князь пожалел: хоть яблоки кислые давала, да уж больно хороша была старуха — серебристая, раскидистая.

— И то сказать, — говорила дворня, — ежели у нас из-за каждого удавленника дерево рубить, так это и сада не станет.

VII

Как ни мало любил и уважал князь Александр Юрьевич свою жену, однако преждевременная кончина Матрены Даниловны сильно потрясла его. Может быть, потому, что это была первая смерть человека, хоть и не близкого ему по душе, но все-таки не вовсе безразличного, которая случилась у него на глазах.

— Такая молодая, сильная, здоровая, — думал он, — ей бы жить да жить... Смотри, экое дерево свалилось, а гнилушки держатся и коптят небо.

Загадка смерти припугнула князя. Сам он тоже прихварывал в последнее время, — старое пьянство и разврат откликались: там щемило, там покалывало; он ожирел, схватил одышку, а вместе с нею, поистине, Саулову тоску. Возраст его приблизился к роковому для Радунских десятку. Раздумавшись над судьбою Матрены Даниловны, князь не мог не сознать в глубине души, что он кругом виноват в ее ранней гибели, и голос напуганной совести мало-помалу нашептал ему суеверное предчувствие, что ему суждено еще заживо получить жестокое возмездие за грехи против жены. Мучась своим тяжелым настроением, в напрасном стремлении развлечься, Александр Юрьевич задурил пуще прежнего. Причудам его конца не было. Нелепые милости и напрасные наказания без разбора сыпались из рук его на правого и виноватого. Фаворитки менялись одна за другой. Муфтелю приходилось жутко: за свою многолетнюю службу князю он претерпел и пережил много унижений, только бит не бывал. А при новом настроении князя, выходившего из себя по всяким пустякам, не трудно было дождаться и этого.

— Хоть бы выдумать ему, черту, забаву какую новую! — мучился немец — и ничего не выдумывал: князю опостылело все земное, а он не знал ничего надземного.

В противность отцу своему, под конец жизни ударившемуся в ханжество, князь был более, чем не религиозен. Местный архиерей, когда объезжал епархию, демонстративно не останавливался у волкоярского магната, почитая его вольтерианцем и веротерпимцем — покровителем раскола. Да и вообще задерживаться в Волкояре не любил, чувствуя себя в недружелюбной среде. Князь тоже не терпел духовенства, однако своего попа Кузьму не обижал. Впрочем, и попик ему попался смирненький: ко всему на свете равнодушный, кроме своей старухи-попадьи и бесчисленных ребят, перед князем благоговеющий и всегда князю покорный.

— Ведь заставь я тебя, отец Кузьма, петь панихиду этому медведю, — сказал князь однажды, хвастаясь только что затравленным зверем, — и ты споешь.

Попик подхихикивал, благословляя втайне свою судьбу, что князь лишь примеривается к такой затее, а не приводит ее в исполнение. Так как население в Волкояре было, действительно, на две трети старообрядческое, писалось же оно все сплошь церковным, то жить попу Кузьме было очень сытно, даже не считая княжеских подачек. К вере он особенно не ревновал, а князь ему, сверх того, пригрозил, что если он будет соваться в раскольничьи дела, то ему не ужиться в Волкояре.

— Чуть первый донос — я тебе спуска не дам!

— Ваше сиятельство, но что же я должен делать, если начнут писать доносы против меня самого за нерачительность? Я человек неученый, неумелый. Меня консистория съест живьем!

— Приходи ко мне за советом, вместе будем отписываться. А расправиться с доносчиком будет мое дело. Ты так и оповести своих духовных — ябедников между вашей братии мно-

го, — что я за тебя ответчик. Думаю, что и доносов тогда не будет. Потому что меня и расправу мою хорошо знают.

— Осмелюсь, ваше сиятельство, спросить, — подобострастно осведомился священник, — какая причина, что вы так усердно защищаете сих еретиков?

Князь улыбнулся.

— А что? или ты и меня заподозрил в расколе?

— Смею ли я, ваше сиятельство? Но...

— Причина простая, батька. Сколькими перстами кто крестится — мне все равно. А миссионерства эти ваши через полицию лишь мутят мужику ум и душу. Мужик же, напуганный, со смущенною душою, не работник ни на себя, ни на меня. Не знаю, много ли пользы вы приносите церкви, но мне как хозяину от вас с обращениями этими, да проверками их, да слежкою, да поборами, — прямой вред. Личной же симпатии к сим толстобородым невеждам не только не питаю, но даже противны они мне, как все фанатики. И ты, батька, если будешь фанатиком, будешь мне противен, и посажу я тебя на такую ругу, чтобы тебе только не околеть голодом с попадейкой твоей и детишками.

Отсутствие религии не отнимает у человека возможности быть суеверным. Тысячами примеров доказано, что человеку легче переменить, ради выгод или даже прихоти, исповедание, расстаться с верою в бессмертную душу, стать кощуном и богохульником, чем не бледнеть при виде трех свечек на столе или сесть тринадцатым за стол. Князь был отменным суеверовом, приметчиком и любителем до всего таинственного.

— Там-то что? That is the question![*] — задумывался он, шагая по величественному своему кабинету, между портретами гордых предков, зорко глядевших на него со всех четырех стен.

---

[*] Вот в чем вопрос! *(англ.)*

— Выдумывают науки, искусства, а, в конце концов, единственное знание, которое нужно человеку, это — о том, что там, за перегородкою...

— За перегородкою-с? — робко недоумевал вечный слушатель князя, Хлопонич.

— О, дурак! — сердился князь, — за перегородкою между здесь и там, на тот свет... понимаешь?

— Да-с, если на тот свет, конечно, оно занимательно... только ведь, ваше сиятельство, страшно-с.

— Почему?

— А мытарства-то?

— Бред!

— Помилуйте, ваше сиятельство, как — бред? У моей Дунечки в тетрадку списан «Сон Богородицы», — без ужаса читать невозможно...

Но князь шагал и философствовал:

— Живыми телесными глазами не заглянешь через эту перегородку, как ни становись на цыпочки. Человеческий разум ничтожество. Он — до стены. А за стеною — дудки! бессилен! Покойная моя княгиня Матрена была дура, но она теперь знает, что там. А я не глуп, да стою в потемках, перед запертою дверью. Догадки, теории лопаются, как мыльные пузыри. Евреи говорят правду: в раю осел умнее мудрейшего из наших мудрецов. Поговорил бы я теперь с Матреною Даниловною... много охотнее, чем с живою.

В то время только что прошли по Руси первые слухи об американском спиритизме и появились первые адепты этого учения. Князь заинтересовался спиритизмом, выписал из Англии первые брошюрки Юма и с головою утонул в мире духов, грез и видений. Он изо дня в день занимался столоверчением, муча и Муфтеля, и тогдашних своих дворовых фавориток — Аграфену и Серафиму, в которых почему-то почудились ему медиумические способности. Бедняги решительно не понимали, что это за чертовщина и зачем впу-

тывает их в нее самодур-барин?! Аграфена была грамотная. Обе были сметливы. Однажды Серафима сказала подруге:

— Знаешь, Груша, этих самых щелчков, которых князь дожидается, я могу оказать сколько хочешь, и никто не догадается, что это я. Слушай.

Раздалось несколько костяных спиритических стуков.

— Как ты это делаешь? — удивилась Аграфена.

— Ишь ловкая: так и выдала, глупа была... Значит, повелась с господскими чертенятами — ведьмой стала!

Но Аграфена настояла:

— Ты знаешь: из этого нам может быть польза. Князь, когда долго не начинаются стуки, серчает, лается, — горе с ним тогда, одна неприятность. Когда ответы не складàются в слова, — еще хуже. А теперь, когда у тебя объявилось такое мастерство, у нас будут завсегда и удачные вечера — стало быть, без ругани — и складные ответы.

— Я стучу не хитро, — призналась Серафима, — большим пальцем на левой ноге. Он у меня не совсем по правилу: длинный и сухой какой-то, Бог с ним. Как сожмешь его, — он и щелкнет, точно орех раскусила. Я этим с детства баловала, братишек забавляла...

И, для примера, она простучала раз пятнадцать подряд.

— Могу и правою ногою, — только выходит хуже. Босою — ничего, а сквозь башмаки слабо слышно.

Девки похохотали вдоволь...

— Однако, — спохватилась Аграфена, — как же мы будем правильно стучать, если ты не знаешь счета буквам и на какую сколько раз надо щелкнуть?

— Видно надо учиться грамоте, а, покуда что, мы с тобой устроим знаки.

— Как же?

— Ты грамотная, буквы по азбуке знаешь в порядке и на счет быстра. Когда князь заганет вопрос, ты загадай ответ и делай мне знак перстами, сколько раз выходит стучать по

буквам; а не то за пуговицу возьмись рукою... «Да» — глаза прищурь; «нет» — ухо почеши. Уж все эти знаки мы придумаем, успеем. А я буду коситься на тебя да постукивать по твоим знакам.

В первые дни знаков подруги сбивались и путались, но скоро навострились, так что сеансы — к великому удовольствию князя — пошли гладко и интересно. Ответы получались удовлетворительные почти на все вопросы, которые князь ставил коротко и ясно, а на длинные или предложенные на иностранных языках стол стучал на удачу: «да» или «нет». Когда «духи» отвечали невпопад, и князь переспрашивал или пробовал забираться в сбивчивые подробности, стол сердился и выстукивал:

— Не хочу говорить.

Увлеченный спиритическою удачею, князь не подозревал обмана. Муфтель смекал, что между девками завелось какое-то мошенничество; он замечал, что они иной раз очень хитро переглядываются и даже как будто едва удерживаются от смеха; но, не понимая в чем дело, он только принимал лукаво-строгий вид: знаю, мол, я все ваши шашни и проказы, — чем, разумеется, утешал Аграфену и Серафиму еще больше. Впрочем, немца и самого забавляло, что так по-детски увлекается князь, который мнит о себе, что он на три аршина под собою насквозь видит.

— Удивительный человек наш князь! — говорил управляющий Хлопоничу, — в Бога не верит, в дьявола не верит, а в девок щелкающих уверовал!

Александр Юрьевич, в самом деле, был человеком проницательным и легко угадывал людей. Но теперь фантастическая страсть совсем заслепила ему глаза. Его несколько огорчало, что стучащий ему дух — безымянный. Он много раз спрашивал:

— Кто ты?

И не получал ответа, потому что Аграфена не знала, как отвечать, и давала Серафиме знак: «Не хочу».

Наконец Муфтель сказал медиумичкам:

— Девки, вы бы хоть нарекли как-нибудь вашего сатану: вот как его сиятельство по нем убивается, что он не помнит своего родства и имени.

— Какого сатану, Карл Богданович?

— Э, полно! разве я не понимаю, что все эти разговоры устраиваете вы, бестии. Только как вы это проделываете, — не могу отгадать.

— Ах как много в вас ошибки! — воскликнула Серафима, — смели бы мы шутить с князем?

— Стало быть, и в самом деле, шалят черти или покойники?

— Конечно, черти, Карл Богданович... Нам с Аграфеной от этих сеансов даже жутко, потому — хоть и не наша в том вина, а господский приказ, — но все же какого греха мы набираемся! Ведь это волшебство. За него в ответе на том свете. Да и страшно, инда дрожим.

— Ладно. Видел я, как вы дрожите. Палец вам покажи в то время, — обе прыснете. Щеки от смеха лопнуть хотят. Вот возьму и покажу палец.

Девушки расхохотались.

— Нет уж, Карл Богданович, не показывайте, а то и впрямь неровен час.

— Хорошо. Секрета вашего я знать не хочу. Черти — так черти, однако и у чертей бывают имена.

Девки приняли совет к сведению. В ближайший сеанс, на вопрос:

— Как тебя зовут?

Стол простучал:

— Анфис Гладкий.

Этот Анфис долго пребывал в оракулах с переменным успехом. Трудно было девкам морочить князя только тогда, когда он, уверившись в своем неизменном общении с таинственным Анфисом, стал писать и говорить свои вопросы не открыто, но таючись, про себя. Тогда Анфис внезапно глупел

и нес бестолочь, попадая ответом на один из десяти вопросов, да и то двусмысленно. Князь сердился, однако не утрачивал веры.

Однажды Хлопоничу привалило счастье. Дальняя родственница, седьмая вода на киселе, умерла бездетною, и Хлопоничу, ближайшему и единственному наследнику, досталось весьма недурное именье в Симбирской губернии. Сперва Хлопонич задумался: не перебраться ли ему в новые владения? Но, посчитав, убедился, что никакими хозяйственными доходами и выгодами не заменит он щедрот князя, которые, конечно, немедленно потеряет, если скроется с глаз волкоярского владыки. Приязнь-то у него недолгая: прочь с очей, — вон из памяти. Иметь же доходы с заглазного хозяйства Хлопонич не надеялся. Тогда он стал просить князя, чтобы тот купил у него это симбирское именье, так как оно близко прилегало к тамошним землям Радунского.

— Сколько просишь?

— Ваше сиятельство, просить не смею, что изволите пожаловать, то и возьму.

— Подай Муфтелю справки... если окажется недорого, оно мне, пожалуй, кстати, я возьму.

Насчитали Муфтель с Хлопоничем семьдесят тысяч. Поморщился князь:

— Большие деньги.

Взмолился Хлопонич.

— Ваше сиятельство! Вы имение знаете: вдвое стоит.

— Ну хоть и не вдвое, а семидесяти тысяч — это ты прав, помню, — стоит.

— Так зачем же дело стало, ваше сиятельство? Соблаговолите!

— Да решиться тревожно, братец. Это тебе не Мышковские хмельники. Деньги велики.

— Развяжите душу, ваше сиятельство.

— Спешишь?

Стал Хлопонич плакаться, что старший сын от первого брака жениться задумал, выдела просит, а второй и третий — один кончает корпус, другой Демидовское училище в Ярославле, обоих надо на службу экипировать; что от второго брака дети тоже — кто уже свезен учиться в Кострому, кого пора везти, маленьких полон дом, а Авдотья Елпидифоровна опять на сносях ходит... Выслушал князь, кивнул головою.

— Хорошо. Я спрошу... посоветуюсь.

Изумился Хлопонич: когда же это было, чтобы князь Александр Юрьевич советников не то чтобы искал, но хотя бы принимал?

— Помилуйте, ваше сиятельство! Кого вам спрашивать? Вы сами все на свете лучше всех знаете.

— Духа спрошу, стол стучащий. Как он скажет о твоем имении, так тому и быть.

Оторопел Хлопонич.

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Сегодня же вечером. Первым вопросом твое желание поставлю. Вот — нарочно — при тебе в памятную книжку записываю, — смотри: «Взять ли мне за себя симбирское имение Хлопонича?» Возблагодарил Хлопонич князя и — по обычаю всех волкоярских просителей — бросился к фавориткам князя, медиумичкам Аграфене и Серафиме, с подарками и деньгами.

— Старайтесь, голубушки! Если устроится мое дело, я вас и еще благодарю!

Девки деньги и подарки взяли, но на посул заявили:

— Нет уж, вы, Андрей Пафнутьевич, это ваше «еще» теперь нам пожалуйте, до сеанса. А то мы — ученые! После дела с вашего брата взятки гладки.

— Богом вам клянусь, кралечки: ежели выгорит мое дело, не пожалею прибавить сто рублей.

— Не очень-то расщедрились: сами семьдесят тысяч ухватить норовите.

Сторговались на двухстах, да изумрудные сережки должен был подарить Хлопонич Аграфене, а Серафиме — отрез французского бархата.

К вечернему сеансу князь вышел серьезный и задумчивый. После обеда он видел во сне Матрену Даниловну и очень нехорошо, грозно видел. Пришла голая, желтая, обрюзглая. Ходит кругом, губами красными ворочает, чавкает, что-то жует.

— Что ты ешь? — спрашивает князь.

— А косточку гложу, Сашенька, косточку... твою, Сашенька, косточку — от ножки твоей.

— Что ты врешь, дура? Чай, нога-то моя — вот она, при мне!

— Не вру, Сашенька: мы, покойники, все так-то — в могилках лежим да друг друга едим.

— Так ведь это ты — покойница, а я то живой.

Засмеялась и пальцем грозит:

— Отольются волку овечьи слезки!

Сновидение очень раздражило Александра Юрьевича, и напрасно Хлопонич утешал его, что видеть во сне покойника — это ничего, только к перемене погоды.

А Муфтель шептал фавориткам:

— Девушки! На совесть вам говорю: врите князю, что хотите, только приятное. В нем черная меланхолия расходилась. Давно таким не помню. Сам на себя не похож.

Хлопонич, изнывая в корыстолюбивой тоске, не разглядел настроения своего милостивца и все вертелся возле князя, пытая: не забыл ли он о дельце?

— Помню, братец... спрошу.

— В первую очередь обещались, благодетель?

— В первую, в первую...

— В самую первую, ваше сиятельство?

— В первую... сказано! — уже рыкнул Александр Юрьевич.

Хлопонич выкатился из кабинета горошком, выразительно переглянувшись с медиумичками. Князь заметил. Ему показалось подозрительно.

— Быть может, перешептались тут? — подумал он, садясь к столу и открывая спиритическую азбучку.

Притушили свечи. Завели орган. Серафима «впала в транс». Князь написал вопрос и, как всегда, положил бумажку на стол под шандал. Памятуя «первую очередь» вопроса о земле Хлопонича, Аграфена дала Серафиме знаки:

— Взять.

Серафима простучала. На лице князя выразилось величайшее изумление — до ужаса.

— Так ли это? — глухо спросил он, уже не скрываясь, вполголоса, после долгого молчания.

Аграфена моргнула Серафиме: стучи опять тот же знак.

— Впрочем, я так и думал, что это будет оттуда, — пробормотал князь. — Уведомь меня еще раз, чтобы я окончательно убедился, что не ошибаюсь.

Серафима опять простучала. Попросил князь в третий раз, — простучала и в третий.

Князь встал и сказал:

— Спасибо. Теперь я знаю, что мне делать. Идите спать, девки, и ты, Муфтель. Сегодня заниматься больше не будем.

— Ты что же «веди»-то проглотила? — укоряла Серафиму Аграфена, оставшись наедине.

— Какие «веди»?

— Такие! Я тебе показываю: «веди»... «земля»... «я»... «твердо», стало быть, по началу стукни три раза, а ты выстукиваешь прямо с земли, семь разов...

— Недоглядела я твоих «ведей»... Грамотная я, что ли?

Князь тем временем блуждал по своему кабинету, мрачный, как ночь. Вопрос, заданный им Анфису, был вовсе не о земле Хлопонича. Под влиянием неприятного сновидения, князь спросил:

— Чего я должен больше всего бояться в своей жизни?

И стол трижды простучал ему слово: «зять».

— Опять эта девчонка, — с ненавистью думал князь. — Всюду и всегда она у меня на дороге, и даже самая погибель моя — от нее... И еще после этого люди будут удивляться, что я ее не люблю? Наши натуры противны друг другу, между нами природная антипатия... Она с тем и родилась, чтоб уморить меня... Но это ей не удастся, я ее перехитрю.

Глупая спиритическая случайность — ошибка в одной букве неграмотной девки, которую, должно быть, в самом деле толкнул в это время Анфис Гладкий, определила судьбу княжны Зинаиды Александровны. Князь решил, что, пока он жив, дочери его замужем не бывать.

Княжне Зинаиде в это время шел тринадцатый год.

Князь завернул в ее флигель, посмотрел на рослую, быстро развивавшуюся девочку и покачал головой. Он нашел, что время получить зятя для него не за горами. Еще года два-три, и Зина — уже невеста.

Гувернантка княжны — старая, совсем обезножевшая от ревматизмов немка — ко всему своему убожеству вдобавок еще и добрая до полного безволия, показалась Радунскому слишком слабою охранительницей его покоя.

«Тут только не досмотри, — размышлял он, — ее и украдут, уводом уведут. Собою, надо полагать, будет недурна. Соседушки жадные, — думают, конечно, что она не без состояния, да и правда: для такой швали, как они, и ее будущие деньги — капитал. Ведь законной четырнадцатой части у нее не отнимешь. Хорошо бы вспомнить матушку-старинку — сплавить ее в монастырь, пусть бы грехи рода нашего замаливала. Но время не то. Насильно — нельзя, добровольно — не пойдет. Если и уговаривать, — что пользы? Молоденьких, до тридцати лет, не постригают, — закона нет. На воспитание разве в монастырь отдать? Оно можно бы, каждый монастырь княжну Радунскую с радостью примет. А ну как она из

монастыря-то убежит и замуж выскочит? Спасибо. Нет, мы лучше своим глазом досмотрим... Родитель-покойник или дедушка Роман Федотович не задумались бы как распорядиться, если бы им такая беда в глаза взглянула. Но не то время! не то! Да и годы мои тоже не те: нет энергии, чтобы выдержать шум скандала, нападки, угрозы, как бывало смолоду. С отцом воевал, на целый полк шел в одиночку — и одолел; царя не боялся; а теперь вот трушу, что не совладаю с девчонкой. Не бывать же тому! Скручу и ее, и судьбу, которая грозит мне ею».

Он кликнул Муфтеля:

— Слушай, Карл Богданович, смотрел я намедни княжну Зинаиду. Видел и Густавсоншу. Она, брат, плоха: и стара, и добра чересчур. Девчонка забрала ее в руки, командует ею: дикою козою растет! Нехорошо. Я не против Густавсонши: пусть остается при княжне для наук. Но мне нужен настоящий присмотр за Зинаидою — верный человек, который бы держал ее в ежовых рукавицах и был верен мне, как собака... Понял?

— Точно так, ваше сиятельство. Няня требуется.

— Да, — только не для одного услужения, но и для смотрения, и для строгости.

«Это выходит уже не няня, а тюремщица», — подумал Муфтель и сказал:

— Такая, ваше сиятельство, есть у меня на примете. Думаю, что и вашему сиятельству она будет по нраву, так как ваше сиятельство ее знаете и весьма отличали годов десяток тому назад.

— Кто такая?

— Матрена Никитишна, если ваше сиятельство изволите помнить... Еще ее Слобожанкою прозывали...

—Гм!.. помню. Пожалуй, что ты говоришь дело. Баба умная, расторопная, преданная, облагодетельствована мною. Разыщи хоть Матрену. Я согласен.

Судьба Матрены-Слобожанки после ее ухода с княжого двора, несмотря на милость к ней Александра Юрьевича, сложилась невесело. Мещанин, за которого ее выдали, свершил все, что уездному мещанину в пределе земном свершить предназначается: завел торговлю и проторговался; проторговавшись, запил; запивши, проворовался, попал в острог и умер. Вдова осталась в бедности и жила, перебиваясь чем попало, не брезгая ни дурным, ни хорошим, когда прикатил к ней Муфтель с известием, что князь надумался поручить ей уход за княжной Зинаидой. Матрена обрадовалась княжеской милости, как только может обрадоваться умирающий с голода человек неожиданно упавшему с неба куску хлеба. Она наскоро спихнула своего подростка-сына в науку московскому куму-портному и, забрав свой скудный скарб, немедленно очутилась в Волкояре, где князь принял ее не без почета и, после долгого разговора наедине, поселил в садовом флигеле.

VIII

Княжне Зине исполнилось восемнадцать лет. Ростом и дородством она вышла в мать, а лицом в отца. Она не была красавицею, но статная фигура, богатейшие светлорусые волосы, замечательно белый цвет кожи и огромные серые, с отцовским стальным отливом, глаза делали ее очень видною девушкою. Она не осталась бы незамеченною в каком угодно обществе, если бы хоть когда-нибудь бывала в обществе. Более уединенной, более затворнической жизни, чем устроил князь в Волкояре для нелюбимой дочери, нельзя и представить.

Княжна после смерти матери выросла в полном забросе, никого не видя, кроме своей гувернантки Амалии Карловны и няни Матрены. Росла она едва грамотною. Девушка упрямая, самовластная, вспыльчивая и капризная — истинная

Радунская по темпераменту и инстинктам — Зина, в этом князь Александр Юрьевич был прав, в грош не ставила свою старую, добродушную безногую немку, нимало не боялась ее и не слушалась. Амалия Карловна любила Зину без памяти и скорее согласилась бы, чтобы княжна вовсе не умела ни читать, ни писать, чем увидать на ее глазах хоть одну слезинку. Поэтому Зина занималась, чем хотела, как хотела и когда хотела. Чаще же всего она вовсе ничем не хотела заниматься. Если немка пробовала ее принуждать, своевольная девушка убегала куда-нибудь в глубь волкоярского парка, — и уж, конечно, не безногой Амалии Карловне было за нею угнаться. Если к этому прибавить, что и сама-то Амалия Карловна была чуть ли не из ревельских швеек или прачек, то будет понятно, что ее уроки Зине многого принести не могли. В результате всего этого восемнадцатилетняя княжна Радунская разнилась от девушек своей дворни только платьем да несколькими дюжинами ломаных немецких и французских слов, кое-как схваченных у гувернантки и у Муфтеля. Искалеченная и бессильная, Амалия Карловна не играла никакой роли в жизни садового флигеля. Настоящею хозяйкою в нем стала с первого же дня, как поселилась в Волкояре — Матрена-Слобожанка. Эта баба, видавшая на своем веку всякие виды, уживчивая и покладистая, сразу сошлась с княжной и приобрела на нее огромное влияние. Матрена распоряжалась всем бытом флигеля — совершенно отдельным от быта княжеского дворца — и была предводительницей и руководительницей неустанной вражды флигеля с главным домом. А вражда была сильная, хотя, разумеется, торжествовал в ней всегда и неизменно главный дом. Маленький князек, окруженный кормилками, боннами, нянькам, был строго огражден от общества сестры. Даже когда мальчика приводили гулять в сад, княжна не решалась подойти к брату, потому что ей однажды навсегда было сказано придворными маленького принца:

— Вы бы, княжна, подальше держались: знаете, как князь к вам относится... Мы за вас можем быть в ответе.

Бабья свита сынка-любимца в своем холопском чванстве, конечно, глубоко презирала опальных жительниц флигеля и старалась всячески задевать их за живое, дразнить их, трунить над ними; тем более, что все такие выходки — жалуйся не жалуйся — сходили виновным с рук совершенно безнаказанно, если не считать ответных сцен, какие устраивала им сгоряча Матрена. Она слыла в дворне и на селе бабой брехучею: не спустит обиды никому, хоть самому князю. Эта-то самостоятельность характера вместе с несомненной симпатией няньки к своей угнетенной питомице и привязали к ней Зину. Князь несколько ошибся в Матрене. Преданной ему она была действительно, но — лишь собачьею преданностью страха; Зину же она возжалела нутром, и Зина оценила это. Самовластная капризница, не признававшая над собою ничьей воли, кроме своей собственной, охотно подчинилась Матрене, и, когда нянька приказывала что-нибудь, слушалась беспрекословно.

— Ты мне новая мама, — говорила она.

Нелепая задача, возложенная князем на Матрену — следить, чтобы княжна по возможности не знала мужского общества — оказалась нетрудною, так как половину ее выполнил князь. С годами он совсем одичал; у него не бывал никто из соседей. А если и навертывался какой-нибудь случайный гость, то принимали его, конечно, в главном доме, даже не заикаясь о забытой княжне, отшельнице садового флигеля. Едва ли не единственными мужчинами, кого видала Зина, были: Муфтель, слуги и, в последний год, — Конста, сын няньки Матрены, нежданно свалившийся из Москвы на волкоярские хлеба. Но как ни унизил Александр Юрьевич свою дочь, все-таки для нее, княжны Радунской, этот народ не имел пола. Это были безличные живые машины для исполнения приказаний — не более. За исключением же этих людей, Зине ре-

шительно некого было видеть. Даже отцу она показывалась на глаза лишь в дни своих и его именин да по большим праздникам.

Дело доходило до того, что, не желая видаться с дочерью чаще обязательных встреч, князь запретил пускать ее во дворец свой по главному подъезду и парадной лестнице. Если княжне надо было повидать кого-либо во дворце, она должна была пробираться боковыми крыльцами и держаться в задних комнатах, куда, можно было наверное рассчитывать, князь не заглянет. И даже в редкие официальные встречи отец не умел и не хотел скрыть своих чувств к дочери — сложной смеси гнева и боязни, одолевавших волю его, будто одержимого.

— Какой праздник? — бормотал он, — что за праздник? Кому нужны праздники? Кто верит в праздники? Ну-ну-ну... благодарю... вот тебе!..

Она со страхом целовала у него руку; он с отвращением, только приличия ради, целовал ее в лоб, совал ей наскоро в руку сторублевую бумажку и спешил расстаться с дочерью, сказав ей несколько спешных, ничего не значащих фраз:

— Ну-ну-ну... Там... ты довольна?.. Там все для тебя... Муфтелю велено. Спрашивай. Веди себя хорошо. Прощай.

Даренные князем деньги Зине и девать было некуда, так и лежали они у Матрены в шкатулке. Когда княжне исполнилось шестнадцать лет, Муфтель, по приказанию князя, передал ей бриллианты ее матери. В унылой теремной жизни княжны появилась, по крайней мере, новая забава: она была способна по целым часам играть в свои камешки, утешаясь их яркими переливами.

Необразованная, невоспитанная, Зина развивалась на опасной почве — точно пышная лилия на гнилом болоте. Во флигель постоянно забегали к Матрене посидеть и посудачить о том о сем ее приятельницы из дворовых женщин. На княжну эти бабы смотрели, как на существо переходное от

«своей сестры» к барышне, и не стеснялись при ней никакими откровенностями, сплетнями и двусмысленностями. Таким образом, перед княжною последовательно проходили все романы Волкояра, не исключая любовных похождений ее отца. Распущенность волкоярских нравов не знала границ, сплетня — также, — и юная головка княжны была отравлена, воображение ее было развращено, даром что свет и жизнь не касались ее своею действительностью. Она, по разговорам, знала все, что принято обыкновенно скрывать от девушек. Никто и не думал о том, что эта оригинальная узница растет, развивается, зреет; что она такой же человек, как и все другие, с такою же плотью и кровью, как и у всех других. Все точно порешили вместе с князем, что Зиночке суждено быть «бессчастною» — так тому и быть. Но она-то не порешила и бунтовала, — хотя еще глухо, про себя, но уже бунтовала. В тереме своем княжна — пока была подростком — часто чувствовала себя жутко и тоскливо, но то была тоска неопределенная и безобидная, исходившая исключительно из недовольства затворническим одиночеством. Девочке хотелось бы повеселиться, порезвиться, побыть на людях, а тут — тюрьма. С годами же в Зине ясным и понятным языком заговорило самолюбие, и вот тогда-то открылся ей во всю свою величину ужас ее несносного положения. Она — по природной гордости, вполне достойная дочь своего отца — сознавала себя последним лицом даже в ничтожной среде, ее постоянно окружающей. Матрену часто навещала ее племянница — красавица Олимпиада, высокая, белая, статная девка в платьях из дорогих, — гораздо лучших, чем на самой княжне, — материй, в золотых браслетах и бриллиантовых серьгах. Княжна хорошо помнила эту Олимпиаду грязной и оборванной дворовой девчонкой Липкой. А теперь Липку князь сажал с собою за стол. Муфтель, встречая ее во дворе, сажень за пять снимал картуз и кланялся чуть не до земли; сама княжна принуждена была звать ее

Олимпиадой Евграфовной, здороваться с ней как с равной и покорно сносить, если фаворитке приходила фантазия звать ее, без церемонии, Зиночкой.

Этой выходки, впрочем, даже Матрена не стерпела. Так и вскипела за питомицу свою, так и зыкнула на племянницу:

— Какая она тебе Зиночка, пес? Ошалела ты, барская барыня? Раскаркалась ворона, — залетела в высокие хоромы!

Олимпиада смутилась было.

— Ежели их крестили Зинаидою, то — кроме Зиночки — как же их в ласковости назвать?

— Да не смеешь ты, ничтога, барышне ласковость оказывать! Хамка ты! Она для тебя княжна! Ваше сиятельство!

Но Олимпиада уже оправилась и приняла гордый вид.

— Вы, тетенька, не кричите. От крика пользы нет, только уши пухнут. Я вам ничего дурного не сказала, а в вашем положении надо быть скромнее и горячиться — ни к чему. С моей стороны это большая смелость и учтивость, что я, помня родственные чувства, так свободно вас посещаю и с вами разговариваю.

— Что-о? — взревела Матрена. — Да ты с ума сошла? Пред кем ты стоишь? с кем говоришь? Ах ты, шлепохвостая!

Но Олимпиада отпела, глазом не моргнув, и словно Зины тут и не было.

— Я к вам и к княжне настолько благородна, что рискую быть за знакомство с вами в строгом ответе, а вы, однако, между прочим, лаетесь. Но я это отношу к вашему несчастию и необразованию и на вас не обижаюсь. Напротив: если что вам нужно у князя, пожалуйста, прямо ко мне. Я вам помочь всегда готова... Прощайте, тетенька! до свидания, Зиночка!

И ушла, торжественно шумя пышными юбками. Матрена чуть на нее не бросилась, но Зина сдержала:

— Мама Матрена, оставь!

— Как оставить, Зинушка? Племянница она мне или нет? Я учить ее должна! Как есть очумела девка! в шалом бреду ходит!

— Не очумела она, а обнаглела, — угрюмо сказала Зина. — Одна она, что ли? Все из дворца стали теперь к нам таковы...

— Шлюхи! швали! — кипятилась Матрена, — что же это, Господи? Жили худо, а такого еще никогда не было.

Зина взмахнула на нее огромными, стальными отцовскими глазами своими:

— Чему же хорошему быть, если отец сам подает пример?

— Каков он с тобою, это его родительское дело. А девки — рабы! Не смеют они! да! не смеют!

— Кого им бояться-то? Кроме тебя, за меня заступиться некому — никто слова не скажет, пальцем не шевельнет. Заточенные мы с тобою. Сгинем в своем павильоне и пропадем, как покойная мама через него, изверга, пропала.

Но, едва речь князя касалась, у Матрены сразу пропадало все мужество. Она даже в лице выцветала и только крестилась, да — шикая на Зину: «Кыш ты! кыш! кыш! про отца-то родного? Да он тебя расклеймит, разразит! — боязливо поглядывала по окнам, не подслушивает ли кто — не довели бы злые холопы до лютого господина своего дерзких дочерних слов. — Не шуми, Зинаида, пожалей ты свою и мою голову. Не шуми».

Все эти унижения глубоко ложились на душу княжны. Кровь, кипела в ней. На нее стали нападать то безотчетная тоска, то припадки безумного гнева. Из-за каких-нибудь пустяков она кричала, бранилась, бросала вещи на пол, топтала их ногами. В такие минуты даже Матрена терялась, что ей делать со своей воспитанницей. Просьб не слушает, на брань и на прикрикивания огрызается, побить — что прежде случалось и, по любви, переносилось легко — уже поздно: не девчонка, сама сдачи сдаст, — да и жаль: за что бить? Разве не видно, что девушка стала сама за себя не ответчица, и все ее вины не

виноваты? И — действительно — Зина сама была не рада своему характеру и, после сцен бешеного гнева, переходила к не менее бурным сценам раскаяния — плакала, давала зароки овладеть собою, просила прощения у Густавсонши и Матрены, целовала у них руки...

— Эка кровища-то в тебе гуляет, девка! — смущенно говаривала тогда Матрена, — ни словом тебя не унять, ни водой отпоить... вся в отца: зверь зверем!

А Густавсонша всхлипывала:

— O, du armes grossmüthiges Kind! Was für ein edles Herz! Mein Gott! Mein Gott! *

И в неизменном добродушии своем была уверена, что дикие сцены больше уже не повторятся после данного Зиною честного слова. А Зина, на другой же день после своих трогательных покаяний, устраивала скандал лучше вчерашнего.

— Замуж тебе пора, Зинаида Александровна! — вздыхала Матрена.

— Кто меня возьмет? Я необразованная.

— Зато из себя видная. Княжна!

— Бесприданница! — горько подчеркивала Зина.

— Только бы родителя уломать, чтобы он блажь свою насчет тебя переменил, а то женихи тебя — и без приданого — с руками у нас оторвут.

Зина безнадежно махала рукою.

— Э! какие женихи! Кого мы видим? Каких людей? Кто меня видит? Тюрьма! тюрьма! тюрьма!

Зина знала, что отец никогда и ни за кого не позволит ей выйти замуж. Между тем все ее одинокие мечты, — а для них она имела свободными двадцать четыре часа в сутки, — были о замужестве. И не столько манили ее замуж возраст и молодая чувственность, обостренная воспитанием между

* О, бедное великодушное дитя! Какое благородное сердце! Мой Бог! Мой Бог! *(нем.)*

грубо-откровенными женщинами, для которых в чувственности не только укладывалась вся любовь, но слагался и почти весь интерес самой жизни, — сколько толкала неволя. Брак манил ее воображение главным образом потому, что это слово было для нее равносильно слову «свобода». Волкояр был ненавистен ей, как тюрьма, а князь-отец, как опытный, беспощадный тюремщик. Бывали минуты, когда Зина всю себя чувствовала воплощенною злобою на отца, и если бы князь Александр Юрьевич видел в эти минуты свою дочь, он не отказался бы признать в ней свою плоть и кровь, свой живой портрет. Не раз Зина мечтала убежать из дому, но — куда идти, зачем идти? Она понимала, что очутится в жизни, как в темном лесу, и бегство кончится лишь тем, что ее опять привезут в эту же отцовскую тюрьму. Притом, почти никогда не видаясь с отцом, она все-таки разделяла суеверный страх, какой внушал «Чертушка на Унже» всем окружающим. Отец представлялся ей человеком, от которого не уйти, не уехать, не улететь на ковре-самолете, не уплыть щукою в море; он всюду погонится за нею грозною, неуклонною тенью, внезапно вырастет за спиною, настигнет ее, схватит и накажет страшною расправой. О том, чтобы жаловаться на отца, искать людей сильнее его, ей и в голову не приходило. И вот она, невероятными усилиями над собою, сдерживала свои мечты и порывы и, под призором няньки, вяло влачила скучные дни... Едва расцвела, а уже готовилась бесплодно отцвести и завять. В восемнадцать лет вырабатывала себя в обреченную старую деву, день ото дня ожесточая в себе замкнутое сердце свое, уже от природы крутое и буйное. Характер слагался угрюмый и опасный. Привыкнув терпеть оскорбления, Зина мало-помалу начала находить в них то злобное самоуслаждение, то язвительное сладострастие обиды и бессильно-мстительного злопамятства, которым учат людей только тюрьма да рабство. Именно — «глотать» оскорбления перестала, а жевать и смаковать их выучилась. Сидит

под сумерками с нянькою на крыльце Псишина павильона и шипит, как змея, поливая ядом кипящие в сердце гневы!

— Платье-то на Олимпиаде? Ха-ха-ха! Французская материя — издали видать. Серьги бриллиантовые, браслеты, золотая цепочка... ха-ха-ха! А у меня башмаки дырявые, и Муфтель ждать просит: не смеет в расход включить, — его сиятельство осердятся... Без башмаков держит! Барышню! Взрослую дочь!.. А девка в бриллиантовых серьгах, в браслетах. А давно ли босиком по лужам шлепала, индюшек пасла?

— Это — как есть! — поддакивала Матрена.

— Тварь ползучая! Нашел сокровище — наверх взять! С псарями под заборами валялась... Помню я!

— Ну этаких дел помнить тебе неоткуда, — остановила нянька.

Зина вскинула голову — надменное лицо, глаза металлом сверкнули, — надменно-отцовский голос:

— Что такое?

— То, что не видала ты таких примеров, а слов подобных не должна выкликать. Ты девушка. Стыд имей.

Зина выслушала и зловеще улыбнулась.

— Я где живу, нянька? — спросила она с нехорошим спокойствием.

— Что-й-то — где? Известно — где. В Волкояре живешь, у папеньки.

— Откуда же мне было стыда набраться? У волкоярских людей стыда нет. Какой такой стыд на свете живет? Я не знаю. Всего в Волкояре насмотрелась, а стыда не видала. Гувернанток, учительниц не имела. С девками росла... С родительскими наложницами. Все знаю. Про всех. И про тебя, мамушка, тоже... какова ты была, когда он тебя — молоденькую — наверху держал!.. Все до ниточки! По-французскому, по-немецкому, — этого я не могу: не научили княжну, не удостоилась... А кто с кем спит, это я тебе хоть про весь Волкояр. День-деньской длиннохвостые сороки во флигель вести но-

сят... И не стыди ты меня! Не хочу я никакого твоего стыда! И так в неволе этой безумной... Что ты мне стыдом в глаза тычешь? Без стыда-то я хоть посмеюсь!.. Смехом из себя злобу выведу!

IX

Когда в Радунском объявился Конста, затворницам стало немного веселее.

Сынишка Матрены, отданный ею в ученье к московскому купцу-ремесленнику, в столице свихнулся с пути. Брошенный мальчиком в мастерскую вечно пьяного портного, в глубине какой-то Драчевской трущобы, он не взвидел света от потасовок. Однажды, когда хозяйский шпандырь чересчур усердно поработал по его спине и ребрам, Константин — уже четырнадцатилетний парень — сбежал, стянув у пьяного хозяина малую толику товару и денег. Сбежал и как в воду канул. Его поглотил океан столичной бесприютной и беспаспортной голи, что уже клокотала в то время на дне столицы, только что начинавшей обстраиваться на европейский лад, расширять свои окраины, обзаводиться бойкою ремесленной, торговой и фабричной жизнью. Шатущая жизнь перебрасывала Константина с места на место, из части в часть, из одного конца города в другой, как мячик; если бы полиция и хотела его поймать, так при тогдашнем формальном, долгом порядке и переписке было трудно. А и ловить-то ей была не велика корысть: с хозяина Константина, чуть ли не такого же голыша, как и сам беглец, были взятки гладки. В своих перелетах по столице Константин спознался и освоился со всяким вольным народом. К шестнадцати годам из него выработался отчаянный уличный плут и вор, хорошо знакомый преступным подонкам Москвы, — удальцам и проституткам «Ада» на Цветном бульваре, «Волчьей долины» у Ка-

менного моста, Крестовской заставы, Марьиной рощи, от которой теперь остались: две березы, повесть Жуковского да у дряхлых старожилов — пьяные воспоминания. В то время еще и Сокольники были едва-едва застроены; на Ширяевом поле, над Яузой, роптал столетний бор; сельцо Богородское, — две-три хатенки лесного люда, — терялось в дубравном мраке; на Лосином острове и в самом деле водились зимою лоси; переправа к Богородскому через Яузу вместе с шинком над нею звалась Грабиловкою. По преданиям, здесь в половине XVIII века имела свой притон знаменитая Танька, ростокинская разбойница, и пировал, и людей губил, то мертвою хваткою пятерни своей, то доносом и предательством — Ванька-Каин. Унаследованные от восемнадцатого века привычки были крепки, и лишь к восьмидесятым годам XIX-го место это перестало слыть разбойничьим. В начале же пятидесятых годов, когда Конста окончательно завертелся в воровской компании, Грабиловка была местом страшным. У дороги, в кустах и под мостом, залегали громилы, поджидая проезжих, и не один труп, ограбленный догола, переносила в Москву-реку, к устью, тогда еще не засоренная и не семицветная Яуза. Всякую работу Константин бросил и питался исключительно тем, что давали ему улица и воровская удача. Он был смел и ловок и голодом не сидел. Ему везло каторжное счастье — «фортунило», как говорят хитровцы: раза три он вывернулся из трудных перетасовок, по которым его менее ловкие товарищи пошли «соболей ловить». Воровской народ подметил, что Конста — такова была его уличная кличка, за которою забылось и настоящее его имя, — точно приносит удачу предприятиям, в которых принимает участие. Он стал знаменитостью; его отличали и приветствовали бродяги-товарищи; женщины улицы и ночлежных домов гонялись за ним, наперерыв стараясь отбить одна у другой такого мастера и добычника. Конста не пьянствовал, но водку пил и с женщинами стал знаться с пятнадцати лет.

Но всякой удаче бывает конец. На девятнадцатом году своей жизни Конста попал в подозрение по разгрому одной дачи в Сокольниках. В деле этом он, действительно, участвовал, попав новичком в компанию опытных старых громил. Участие Консты состояло в том, что он бесшумно высадил с помощью вымазанных медом листов бумаги три стекла в оранжерейной раме, сквозь которую и пробрались его товарищи, а потом стоял на стреме, пока они вернулись с узлами. Дорогою в Грабиловку Конста узнал, что товарищам его пришлось «оглушить» лакея и горничную, проснувшихся было, когда они крались уже с ношею мимо людской. Уложили они этих горемык насмерть или только обеспамятили, — громилы не знали. У Консты екнуло сердце. Он до сих пор не был причастен к крови.

«Не бывать добру, а худа не миновать!» — подумал он.

На дерзкий грабеж было обращено внимание высших властей, — и полиция с ног сбилась, стараясь отличиться в поимке преступников. Один проболтался, был схвачен и назвал остальных. Вскоре остался на свободе только Конста; он, с ночи преступления, осторожно держался в стороне от своих соучастников; но выслеживали и его. И попасть бы Консте за каменные стены, кабы не был он бабьим любимцем и баловнем; бабы и кормили его, и укрывали, и перегоняли, загодя до опасности, из одного притона в другой. Таким образом, недели три с лишком Конста метался по Москве, увертываясь от розысков, точно волчонок от стаи гончих. Наконец, в платье своей любовницы, — фабричной работницы Груньки Щербатой, — он вышел за заставу и только за Мытищами опять превратился в мужчину...

И вот Конста пропал, и слух о нем простыл в Москве. А вынырнул он живым и невредимым в Волкояре, и здесь, под крепкою рукою князя Александра Юрьевича Радунского, вздохнул спокойно. Князю он понравился, а мать, обрадованная неожиданным приходом сына, — он же, кста-

ти, явился в Радунское не с пустыми руками, — выхлопотала для него у Муфтеля место — сторожем к саду... Дела не было никакого: огромный волкоярский сад давно уже глох без всякого ухода. Но Матрене хотелось, чтоб обретенный ею блудный сын оставался как можно ближе к ней и под ее непосредственной охраной.

Князь любил видеть вокруг себя богатырей и здоровяков. Его егеря, псари, конюхи, кучера смотрели какими-то двуногими слонами: все народ — кровь с молоком. Поэтому Конста, истощенный столичными мытарствами, резко выделялся среди волкоярской дворни. Это был высокий, костлявый, тонкий, как хлыст, и такой же гибкий малый — блондин, с вихрастой головой и большими голубыми глазами, наглыми и веселыми, — «заманущими», как говорили дворовые женщины. Столичная водка и разврат ночлежных квартир не дали ему доразвиться как следует. Грудь у Консты была впалая и узенькая, острые плечи немного сутулились, но длинные руки с продолговатыми мускулами таили в себе недюжинную силу, а ловок и увертлив был Конста, как бес. Если бы не чрезмерная худоба, бледное, без кровинки, чуть-чуть веснушчатое лицо Консты могло бы назваться красивым, особенно, когда он оживлялся, смешил других своими рассказами о Москве и сам хохотал над своими похождениями, скаля из-под узких губ острые, неправильные и уже попорченные зубы. Мастер он был на прибаутки, побасенки, модные слова, — и при этом строил такие диковинные рожи, что волкоярская деревенщина умирала со смеху. Смешил Конста дворню, смешил Муфтеля, смешил обитательниц садового флигеля. По вечерам, когда Матрена с княжной усаживались в сумеречной прохладе на ступенях крыльца своей уединенной обители, Конста без умолку плел им небылицы о Москве. Ему самому было скучно в Волкояре; и он понимал настроение флигельских затворниц, а они его понимали также. Наступили как раз последние николаевские дни, в воздухе пахло войною.

Севастопольский разгром, еще никем не ожидаемый, уже висел дамокловым мечом над Россиею, во искупление трехсотлетних крепостных грехов ее, в возмездие за тридцатилетний «покой, полный гордого доверия»... Мрак стоял над Русью гуще, чем когда-нибудь. Рабство казалось бессмертным и непоколебимым. А между тем — когда все было полно или отчаянного самодовольства, или отчаянного ужаса безнадежного застоя — в народном мраке билась неясная живая жилка, что-то бродило, зрело... Тогда-то прошел по крестьянской Руси слух о «новых местах». Новороссийские степи, Одесса, черноморские берега носились в воображении русского крепостного или бесприютного люда, как оазисы с молочными реками в кисельных берегах. Этими слухами потянуло и в Волкояре. Принес их богомолец от Киева-града — тот самый Антип, что в день смерти княгини Матрены Даниловны ударился в бега. Тому пошел уже десятый год, и волкоярцы давно почитали старика — он и в пору бегства своего был древен — в покойниках.

— Ты зачем же к нам пожаловал дед? — спрашивал его Муфтель, — или наскучило на воле?

— На воле, сударь Карла Богданович, никак никому наскучить не может. Но желательно успокоить свои кости в родной земле.

— Князь, выходит, тебе не страшен? Я должен доложить о твоем возвращении, а он, дедушка, не любит, если кто от него бегает; милости не жди...

Старик ухмыльнулся.

— Что мне может сделать князь? Я доживаю восьмой десяток. Хуже смерти мне быть ничего не может, а смерти я не боюсь и даже очень желаю. Самое время, Карла Богданович. Зажился!

— Смотри, старик: не пришлось бы готовить спину для расчески, — предупредил Муфтель. — Кому плеть, а тебе, пожалуй, и все две. Не больно охоч князь Александр Юрьевич до вас, старых стариков, папеньки своего прихвостней.

Антип пожал плечами:

— Да меня и драть-то не по чем... Секи, друг, коли совесть не зазрит. Хлопай по костям. Все равно, что — на муху с обухом.

Муфтель доложил князю о вернувшемся беглеце. Александр Юрьевич не велел наказывать старика, но пожелал его видеть. Когда Антипа проводили по барскому двору, с крыльца главного дома сходил вприпрыжку девятилетний князек Дмитрий Александрович, в сопровождении своего дядьки.

— Князек молодой? — спросил Антип своих провожатых.

— Он самый, Антип Ильич.

— «Сам» любит сынишку-то?.. или — как с княжной?

— Какое! души не чает.

Потухшие глаза старика сверкнули любопытством, и на лице заиграла странная улыбка — насмешливая, холодная, жестокая.

— А княжна Зинаида по-прежнему в черном теле?

— Как было, так и сейчас.

Улыбка Антипа стала еще резче. С тою же насмешкою в злорадных глазах стоял он перед князем.

— Здравствуйте, Антип Ильич, здравствуйте, — приветствовал его Радунский, — приятно вас видеть... Сколько лет, сколько зим. Нагулялся, старый черт?

— Нагулялся, — коротко возразил Антип и не прибавил «ваше сиятельство».

— А уходил куда?

— К Богу ближе захотелось.

— От нас, стало быть, к Нему далеко?

Усмехнулся Антип.

— Да не близко, — рукою не достать.

— Скажи пожалуйста! А ведь я, по глупости, думал и в катехизисе, помню, учил, что Он вездесущ и, следовательно, до Него от всех мест — одинаково?

Зорко посмотрел на него Антип.

— Напрасно думали. Бог на воле живет. В крепости Бога не бывает.

— Люди-то, по-твоему, выходит, пред Ним не все равны?

— Так — люди ж... а которые в крепости — разве люди? и который крепостью владеет — разве человек?

— Кто же?

Не выдержал Антип прямого стального взгляда, насмешкою налитого, отвернулся, под нос себе проворчал:

— Что мне вас учить? Имеете возраст и ума довольно. Сами знаете.

Долго молчал князь, рассматривая бегуна с любопытством, как невиданное чудовище.

— Вот ты какой философ стал... Умудрился, любезный, поздравляю, просветлел.

— Мир видел, — гордо сказал Антип. — Между людей тереться — ума наберешься.

— Хорошо, если так, — с большою насмешкою похвалил князь, — а слыхал ты, старик, что меня соседи ныне стали Чертушкою на Унже звать? Как же! Нашелся какой-то остроумец — метко потрафил.

Промолчал Антип.

— Или вы, Антип Ильич, настолько великодушны, что Чертушки во мне не усматриваете?

Промолчал Антип.

— То-то! — говорит князь. — Обмишулился ты, Антип Ильич. Охота тебе была от меня куда-то там к Богу бегать, коли от Бога ты все равно назад, ко мне, к Чертушке, пришел? Тебе бы лучше наоборот.

— Ничего, — отвечает Антип, — жизнь свою определить и прикончить где-нибудь надо. В рай не пускают, — так в аду.

Тут уже князь немного осекся. Хватило его по лбу. Задергал было усами, Муфтель уже вперед подался, ожидая: вот-вот пальцем кивнет, чтобы вели бегуна на конюшню... Да взглянул князь на Антипа, сколь тот бесстрашен и гне-

вен стоит перед ним и прямо, и гордо в мрачные очи ему глядит, — и заулыбался.

— Резон, — говорит. — Ну, старик, не знаю, набрался ли ты в бегах ума, но дерзить выучился. Только напрасно, дед: дудки! Не выпорю.

Покоробило Антипа.

— Ваша воля, — сказал он будто бы и равнодушно, но глаза, как свечи, зажглись.

— Да. Не выпорю. Потому что очень уж ты напрашиваешься. А я вот и не трону. Что тебя истязать? Ишь как ты приготовился! Тебя пороть теперь — одно тебе самодовольство. Я такого человека никогда пальцем не коснусь.

— Ваша воля.

— Именно, душа моя, что моя. Тебе вот мучеником быть хочется, а я тебе вместо мученичества — шиш! Розог и плетей больнее... Так-то, старик! Злись не злись, дерзи не дерзи, хоть родителей моих не добром помяни, — не выпорю. Только смеяться буду, как тебя от злости корежит.

Почернел Антип.

— Умеете надругаться над человеком. Что и говорить!

Понравилась новая забава князю, что у него в крепости объявился такой свой философ, — мысли вольные в голове имеет, а силенки оправдать их нет. Повадился призывать Антипа каждый день пред свои ясные очи и истязать словами. Совсем шута из старика сделал. И чем тот больше волнуется, тем князь, как бес, холодный.

— Ходил ты к Богу, Антип, а ведь Бог-то тебя не принял.

— Ну и не принял. Вам-то что?

— Не принял, не принял... Смирения в тебе ни капли нет. Ни спокойствия, ни смирения нет.

— Ему чистые духом нужны, а не такие, как мы с вами.

— А-а! Полюби нас черненькими, беленькими нас всякий полюбит...

— И вы покаетесь, да — поздно.

— Лучше поздно, чем никогда. А вот неудачно покаяться, как ты... это, должно быть, неприятно.

Участливым прикинется:

— С чего ты бежал-то, в самом деле? По Матвею заскучал?

— Так точно, — рубит Антип.

— Вот скажи, если знаешь: с какого лиха он стал черту баран? Сколько лет вспоминаю его: не могу понять. Кажется, не был от меня ничем обижен.

Много злобы было в потупленных глазах Антипа, когда он глухо бормотал свой ответ:

— Ничего мы не знаем, и кто может знать? Знает Царь Небесный... Чужая душа — потемки... Карает нас Господь за беззакония наши в чадах наших даже до седьмого колена.

Хохочет князь.

— А, что правда, то правда, Антип. Беззаконник ты. Кого хочешь по уезду спроси, всякий тебе скажет: бывали у князя подлецы-приказчики, а все не такие, как Антип Ильич...

— Для вас же совесть грязнил и славу свою в людях портил...

— Те-те-те! С больной головы на здоровую. На меня своих грехов не перекладывай. Ты не мой слуга, покойного папеньки. При нем опричничал. Зверь.

— Что стариною корить? Был зверь, стал человек. Дай Бог всякому.

— Чудо природы: зверь в люди вышел!

Недели полторы этак тягал князь бегуна и мучил. Наконец надоело.

— Куда же, отставной зверь, мне теперь тебя определить? К делу ты не годишься, а нищим на паперти сидеть, под окнами в кусочки ходить — нельзя: из моих крепостных нищих не бывает, только захожие... Муфтель! что с ним сделать?

— Я так думаю, ваше сиятельство: положить ему паек и поселить его в садовой бане; пусть — будто сторожит, дело не мудреное.

— Там сторожить-то нечего, — презрительно заметил князь, — развалина. Я думаю, ее не топили уже лет шесть...

Он взглянул на Антипа:

— Ступай, старик, не поминай меня лихом. Живи — служи. Взыска на тебе не будет. Вот тебе, лысый, какая благодать: десять лет бегал и выбегал богадельню!

Заброшенная баня, где поселился Антип, уже несколько лет служила садовникам складом для их орудий. Заходя иной раз за скребком или лопатой, Конста разговаривал со стариком, который, с наступлением весны, по целым дням сидел на банном крылечке, грея на солнышке старые кости. Тут-то он — первый в Волкояре — просветился сказанием бродяги-очевидца о «новых местах» и о привольной в них жизни. Рассказы Антипа всколыхнули всю его страстную душу. Он нашел свой идеал и уцепился за него всеми своими помышлениями. Он бредил новыми местами и делился впечатлениями в вечерних беседах с матерью на флигельском крыльце.

— Эх, кабы хороший товарищ, да денег побольше... так рублев пятьсот либо тысячу, — часу бы не сидел в этой вашей мурье. Ударился бы я в Одест-город!

— Только там тебя и не видали, — лениво отзывалась Матрена. — За каким бы это лихом, дозволь спросить?

— Зачем за лихом? Добра сыщем. Большую бы я там коммерцию завел, потому как у меня к этому делу охота и талант есть.

— Откуда знаешь? В купцах-то, кажись, не бывал, — разве что в проходных дворах пылью приторговывал.

— Сердце, маменька, говорит, потому что я свой профит до ужаса как глубоко понимаю. Вот хоть сейчас парей держать, — десять годов от сего дня спустя — миллионщик, Константин Егоров Завесилов, первой гильдии купец и кавалер.

— А я так думаю, что просто ты по этапу давно не хаживал, так в охотку?

— Этап не для нас...

— А для кого же?

— Этап для дураков писан.

— А ты умный?

— Я, известное дело, маменька, рассудком в голове маленько владею. А в Одессе большие дела можно делать. Пшеница эта... табак... виноград... Ну, а ежели смелый дух в сердце имеешь, так и того лучше — беспошлинный товар через границу перевозить — мимо таможни: мое вам почтение, здравствуй да прощай! По трюмам пароходным работать, — хозяев от товара, а матросиков от лишнего труда облегчать, чтобы разгрузка спорнее шла и дешевле обходилась, — тоже дело не худое, будешь иметь свою халтуру.

— Чай, вашего брата за это не хвалят.

— Да уж тут, на контрабанде, знамое дело, чья взяла. Может, — на всю жизнь богат будешь, а то и ко дну, рыбам на корм, пойдешь. Пуля в лоб — и шабаш. Опять же законы военного времени. Князь Воронцов сидит, и власть ему дадена — что султану Махмуту, как царь второй. Захотел — без вины повесил; захотел — виноватого помиловал. Но я, маменька, того мнения, что два раза не помирать, а одного не миновать, и еще не сеяна та конопля, из которой веревку совьют, чтобы Константина Егорова Завесилова повесить. А живут там из наших ребята — во как! хорошо живут.

— Брех ты малый! Как ты до тех мест дойдешь-то? Пашпорт-то где у тебя?

— Пачпорт что? Первое дело: и без пачпортов люди живут. Второе — на новых местах пачпортов не требуют; а кроме того... пачпорт — дело рук человеческих; на эту механику у нас имеются свои мастера знакомые. Была бы бумага, а там разбирай, кто ты — цеховый Завесилов или граф Бутылкин. На роже клейма не положены, а написать — все пропишем и даже при казенной печати.

— Непутевый ты, Консточка, право, непутевый! — вздыхала Матрена.

— Ну нет-с! Я своего пути не терял, да и вас еще на путь наведу.

— Помяни ты мое материнское слово: не миновать тебе Сибири.

— И Сибирь — земля, и в Сибири люди живут.

— Живут, да худо.

— А худо будет, — убегем.

— Вот каторжный! Истинно каторжный в тебе, Конста, дух! И в кого такой уродился!

— Как тятеньки не припомню, единственно надо быть, что в вас, маменька.

— Ах, жулик московский!

И что не сойдутся — видать, что у всех в мозгах одна и та же мечта завязла: опять же за ту же игру, — дела нет, так хоть словами побаловаться.

— Так на новые места?

— Как пить дать.

— А скоро?

— Как скоро, так сейчас. За малым дело стало: деньжат нет.

— А денег нет, стало быть, и разговор твой весь пустой, и напрасно ты его затеваешь.

— Денег, старики сказывают, нет перед деньгами. Что нам деньги? Мы сами деньги! Выньте, маменька, тысчонки две из вашей укромной щикатунки, дозвольте в пустыню удалиться от прекрасных здешних мест.

— Это тебе все Антипка голову морочит! Вот я его, ужо увижу — отчитаю.

— Бывало бы за что. Ты Антипа сперва послушай, — потом и отчитывай. Сама увидишь: дело говорит, не пустомелит.

При таких беседах сына с матерью княжна обыкновенно молчала. Она не понимала практических расчетов Кон-

сты и Матрены. Но от их разговоров на нее веяло духом незнакомой свободы, пред нею вставал смутный призрак счастливой воли, — всего, чего ей так недоставало. И ей становилось и жутко, и сладко мечтать об этом несбыточном просторе. Ее глаза искрились, и грудь тяжело и страстно вздымалась.

— Вздор ты все бредишь, Конста! — обрывала свой всегдашний спор с сыном Матрена. — Вздор!

— Чего вздор? — и злился, и вместе смеялся разгоряченный мечтами Конста. — Это ты, мать, больно засиделась на месте, зажирела на сытых княжеских хлебах; тяжело тебе мясами-то своими шевельнуть, — вот тебе и кажется, будто вздор. А ты посмотри: вон каково забористы они, новые места! инда барышня наша развеселилась... понравились ей мои речи... Так ли я, барышня, говорю?

— Хорошо говоришь! — веселым, возбужденным голосом отзывалась Зина.

— Поет-то хорошо, — где-то сядет? — насмешливо пророчила Матрена.

— Зачем садиться! — еще веселее отгрызался Конста, — мы сперва побегем... Побегем, что ли, барышня?

— Пожалуй, хоть и побегем, — смеялась Зина.

— Уж я бы вас, вот как предоставил! Что зеницу ока!

— Далеко, не дойду... — слабо возражала Зина, но глаза у нее так и вспыхивали.

— Куда бежать? Бегают непутевые, как ты, да кому жрать нечего, — возражала Матрена, — а Зинушка — княжна Радунская.

— Какая я княжна! — вырвалось у Зины. — Из подворотни. Дура малограмотная. Меня княжною-то и не зовет никто.

— Ну все же, барышня, — смутилась Матрена.

— Много я от этого радости вижу!

— А ты не блажи и не ропщи! Не все несчастные деньки, когда-нибудь и солнышко взойдет!

— До тех пор роса очи выест.

— Все-таки от родимого гнезда на чужую сторону не уйдешь.

— Да разве оно мое — гнездо-то это? Я здесь последняя спица в колеснице. Ведь последняя поломойка живет радостнее и краше меня. Дворовым девкам приходится завидовать. Девка князю приглянется, в случай попадет, князь ее наверх возьмет, — хоть кусок сладкой жизни девка ухватит. А нам — век-тюрьма! И пока папаша жив, так оно и будет. Я для него хуже змеи, хуже жабы, червя земляного. Да что — пока жив! Он и по смерти будет гнать меня. Разве в Волкояре есть у меня часть? Он Муфтеля нарочно в Питер посылал, чтобы Волкояр сделать родовым и все бы брату досталось... Чтоб ему, этому мальчишке...

— Тише ты, безумная, — робко озираясь, прервала Матрена, — неравно кто услышит, доведет до князя... и не размотать тогда беды!

Княжна умолкла, стиснув зубы, но в выразительных глазах ее засверкал огонек такой мрачной, глубоко продуманной, сосредоточенной злобы, что Матрена только головой покачала, а Конста, пристально глядя в побледневшее от гнева лицо Зины, мотал ее слова себе на ус, хотя последнего у него почти что не было.

Наконец Матрена послушалась сына: кликнула старого Антипа и заставила его разговориться о его похождениях в Одессе и у молдован. Зина и Конста слушали медленную, спотыкливую речь старика, как очарованные, поминутно меняясь восторженными взглядами:

«Что? видите? не врал я вам — правду говорил!» — без слов указывал один.

«Ах как хорошо, как привольно!» — безмолвно отвечала другая.

Даже Матрена увлеклась. А старик лукаво посматривал на возбужденные лица своих слушателей, и холодно-насмеш-

ливое выражение, которое всегда появлялось на его лице при виде кого-либо из Радунских, как будто согрелось новою улыбкою — улыбкою торжества.

— Не язык — гусли! — заключила беседу Матрена. — Однако и спать время. Вались, дедушка, в свою берлогу. Врешь хорошо, а когда скажешь правду, будет еще лучше. Пойдем домой, Зинаида.

— Правду? — засмеялся Антип. — А довольно у тебя совести, чтобы принять мою правду?

— Как совести не быть, — чай, крещеная.

— А коли совесть есть, что же ты, совестливая, сыну в ответ на вольные слова, о кормах кудахчешь, пашпортами пугаешь, безденежьем застращиваешь? Известно: на воле жить — не жирну ходить. Кто кормы больше совести почитает, тому не бечь, а в курятнике на лукошке сидеть, индюшкою яйца парить.

— Уж и больше совести! — смутилась Матрена.

— Что воля, что совесть, — едино оно. Воли нет — совести нет. Воля — цветок, а совесть — ягодка. В вольном человеке она вызревает, а рабу — зачем совесть? Эх тетка! Даром, что соколеною смотришь, — индюшка ты. И как это, и откуда ты такого орла-сына высидела?

Проводив Зину и Матрену, Конста и Антип долго сидели вдвоем, молча. У Консты голова шла кругом: так и тянуло вдаль. Антип, кряхтя, приподнялся, взглянув на Консту раз, другой... рассмеялся дробным и хриплым старческим смехом и заковылял к своей бане...

— Чего ты? — крикнул ему вслед озадаченный Конста, но старик не отвечал и, продолжая смеяться, исчез за поворотом аллеи.

Назавтра, когда Конста зашел в баню, дед по обыкновению сидел на крыльце. На лице у старика заиграл вчерашний смех. Консте почему-то эта улыбка не понравилась, он покраснел.

— Черт его знает! — злился он про себя, выбирая из кучи хлама крепкий заступ, — ишь, строит из себя полоумного! смеется, как кикимора! Или и впрямь старик выживает из ума, и на него порою находит одурь?

Он выбрал вещь, какую хотел, и повернулся уйти.

— Константин! — окликнул его Антип.

— Я, дедушка.

— Что же, парень? — серьезно заговорил старик, уже без улыбки, — только и будет твоей удали, что на тары-бары, бабьи растобары, или в самом деле побежишь?

— Побегу, дедушка.

Конста молодецки тряхнул головою.

— Беги, парень, беги, — Антип одобрительно закивал головою, — ты малый золотой; я, брат, до дурней неохоч, а тебя полюбил, человека в тебе вижу, добра тебе желаю. Что киснуть в этом погребе? Лес да болото, да тиранство — и люди-то все стали, как зверюги. В сраме и подлости рабской задохлись. Только и радости, что издеваться друг над другом. Сильный слабого пяткою давит. Слабый сильному пятку лижет, а сам змеей извивается, норовит укусить. Твари! Гнуснецы! А там, брат, степнина... море... орлы в поднебесье... ветер-то по степи жжж... жжж!.. Народ вольный, ласковый, удалой. Ни господ, ни рабов. Все равные, всяк сам себе владыка. Таким, как ты, там рады. Были бы голова да руки, — и золото в карманах забрякает...

— Побегу, дедушка! — с увлечением прервал его Конста.

Антип пожевал губами и устремил на молодого человека испытующий взгляд:

— С барышней-то давно слюбился? — сказал он.

Конста вспыхнул и растерялся.

— Бог с тобою, дедушка! откуда ты взял такое?..

— О?! — не без удивления отозвался Антип, продолжая держать его под своим проницательным взглядом. — А ведь

я, грешным делом, глядючи на ваши веселые шутки, думал, что вы в любви состоите...

— Как можно, дедушка? что ты?

— А отчего же нельзя, дурашка?

Старик ждал, что ответит Конста. Но Конста молчал и смотрел на него широко открытыми глазами, как человек, пораженный тем, что невзначай наткнулся на решение трудной-трудной задачи, до тех пор для него совсем темной.

Слова Антипа гвоздем засели в голове Консты. И когда он, впервые после этого разговора, встретил Зину, она показалась ему совсем новою, невиданною. Раньше он чувствовал себя настолько удаленным от Зины, что ему и в голову не приходило рассматривать ее как женщину. Но лукавый вопрос Антипа открыл ему глаза, как открылись они у Адама и Евы, когда, по совету змия, они отведали рокового яблока. Княжна Зинаида Радунская отошла вдаль, затуманилась, потускнела, а далеко впереди ее явилась в воображении Консты и всю ее заслонила просто Зина — красивая молодая девушка, — и стала она люба Консте, и отуманила его голову страстным порывом — до неизбежного выбора: или — и она пусть любит, или — пропадай голова, хоть на свете не жить!

Все это было так, пока Конста оставался наедине с самим собою. Но, чуть зарождалась в нем решимость открыть Зине свою страсть, княжна Радунская снова выплывала из туманной дали, заслоняла Зину, и малый падал духом:

— Скажешь ей, — а она насмеется или рассердится, надругается, нажалуется, велит прогнать вон со двора, — думал он.

За неделю таких колебаний Конста совсем истомился. Зину он стал избегать, потому что почти не владел собою в ее присутствии, злился, грубил матери, так что та изрекла приговор:

— Слава Богу, пожаловал милостью! До сих пор одна бешеная была на руках, а теперь — вся честная парочка...

Об Антипе Конста не мог вспомнить без бешенства.

— Словно дьявола в меня посадил, — колдун он, что ли? — волновался он в бессонные весенние ночи, ворочаясь на жесткой постели.

Однажды он нашел Зину одну в глухой глубине сада. Лежа на скамье под цветущею яблонью, она рыдала на голос, рыдала так, что все ее грузное тело колыхалось.

— Что с вами, барышня? Господи спаси! кто вас изобидел? — торопливо заговорил Конста, подходя к Зине.

Зина подняла заплаканное лицо.

— А то со мною, — с гневным страданием сказала она, — что мочи моей больше нету! Если я еще здесь останусь, либо я Волкояр сожгу, либо сама удавлюсь вот на этой самой яблоне, как Матвей-доезжачий. Все мне здесь постыло. Провалиться бы и дому, и селу! Ох, зачем только мамаша родила меня девчонкой? Была бы я мальчиком, — уж не заперли бы меня в четырех стенах. А кабы и заперли, сумела бы я найти свою волю. А девушка сама что может? Куда я пойду? что знаю? Вот и терпи! Кто хочет, тот над тобой и старший. Муфтелю кланяйся, Липке кланяйся, да еще благодари, что пока не заставляют ручек у нее целовать! Всякий надо мной измывается, и никто мне не поможет... И пожаловаться-то некому... У! проклятая, подлая жизнь!

Порывисто бросая эти слова, она в клочья изодрала свой носовой платок и раскидала лоскутья по дорожке. Слезы ее высохли. Гневный румянец шел к ней.

— Эка ведь красивая! — думал Конста.

— Значит, на новые места, барышня? — заговорил он шутливо, но голос у него сорвался.

Зина сердито перебила его:

— Убирайся ты со своими новыми местами! Мне не до шуток, я тебе по-настоящему говорю, что мне пришло — хоть в петлю полезай!

— Зачем в петлю? Петля — последнее дело. В петлю всегда поспеть можно. А надо бы придумать что-нибудь

поскладнее. Коли вы всерьез, так и мы всерьез. Попробуем вместе умом раскинуть.

Зина опять прервала Консту:

— Если бы какой-нибудь человек вывел меня из этой каторги, так я бы ему всю жизнь отдала, в кабалу бы к нему пошла.

— Из кабалы-то опять в кабалу?

— Да уж хуже теперешнего не будет!

Конста в раздумье взялся за ствол яблони.

— А если такой человек найдется, да... не под пару вам, низкого рода? — спросил он и сел на конец скамьи.

Зина, не глядя на него, досадливо махнула рукой.

— Говорю тебе, петля мне, петля!.. Не все ли равно удавленнику, кто его снимет с дерева?

— И любить вы стали бы такого человека? — тихо сказал Конста.

— И любить! — точно отрубила Зина, зло и решительно.

Конста побледнел и грубо придвинулся к ней по скамье.

— Коли так, поцелуй меня, Зинушка! — зашептал он, крепко схватив в объятия сильный стан Зины, — я как раз по тебе человек. Я тебя не выдам. И от лихого батьки вызволю, и на новые места... Да что на новые места? Хоть во все заграницы проведу. А уж любить-то… любить — как буду.

X

Давно замолкли и соловей, и кукушка. Отцвела липа. Хоры кузнечиков денно и нощно трещали в саду. Трава на скошенных полянах выгорела от июльского зноя; кое-где на деревьях проглянул желтый лист. Доспел орех. Лето пышно догорало, осень стояла настороже, чтобы вместе с августом ворваться в суровую природу унженских лесов. Матрена не раз уже озабоченно приглядывалась к желтым листьям и сердито

качала головой, когда кузнечики кричали чересчур резко. Она сильно изменилась в последние месяцы, даже румянец на все еще красивом сорокалетнем лице ее будто выцвел. Извел Матрену страх — за себя, за Зину, за Консту. Она давно знала о любви молодых людей. Не прошло недели после того свидания под яблонью, как она застала княжну в объятиях Консты. Это было для Матрены совсем неожиданным подарком. Она чуть не умерла на месте от испуга: угрожающей образ князя так и встал пред ее глазами...

— Живою в землю закопает! — холодный пот выступил на лбу... колени подкосились...

Оправившись, она прыгнула к сыну, как разъяренная тигрица, и вцепилась властными материнскими руками в его волосы. Зина бросилась было удержать Матрену, но и сама получила от рассвирепевшей няньки несколько хороших тумаков. Сорвав первый гнев, Матрена села на землю и заревела в три ручья.

— Дьяволы вы эдакие! Что же вы со мною делаете? Коли вы Бога забыли, так хоть о князе помнили бы... Ведь мы теперь, все втроем, — почитай, что уж и не жильцы на белом свете: съест он и меня, и Зинушку, живьем съест! А тебе, Константин, и казни такой не придумать, как он тебя расказнит.

Пока она причитала, Конста с лукаво-унылым видом подбирал клочья своих выдранных волос, чем, в конце концов, рассмешил, по обыкновению, и мать, и оробевшую было Зину. Узнав о намерении Консты и Зины куда-то сбежать из Волкояра, Матрена перепугалась и растерялась пуще прежнего.

— Да что вы! — замахала она руками, — вовсе обезумели? Ты-то хороша, — обратилась она к Зине, — с колокольню выросла, а ума не вынесла; слушаешь всякие враки... Куда вы пойдете? Ведь он смолоду это врет все, антипкиными снами бредит.

— Нет, не врет, — вспыхнув, резко сказала Зина. — Я его за то и полюбила, что он обещал вывести меня отсюда... Ведь выведешь, Конста?

— Сказал: выведу, — стало быть, так; мое слово крепко. Не оправдаю слова, — сам пойду к князю с повинною: пускай тиранит, потому, значит, поделом, — лишь это заслужил. А насчет, чтобы не бежать, — ты, мать, слушай: чем охать да плакать, скажи: какого же добра нам тут дожидаться? Сама говоришь, что, коли слух о нас дойдет до князя, так он нас живьем съест, закопает... Значит, покуда целы, — уноси свои кости! И сами уйдем, и тебя с собой уведем.

— Он нас на дне морском найдет!

— Это еще бабушка надвое сказала. Земля велика, а мозги не у одного князя в голове положены. Мы сами с усами: тоже не дуром побежим, а с оглядкою, не сейчас за руки схватимся да втроем в лес... Дело это надо устроить тонко... Время еще терпит. И опять же: найдет ли нас князь, нет ли, кто знает, а здесь под его рукою мы наверняка пропадем. Ты молчи, мать, я это дело сейчас обмозговываю, а как обмозгую, ни к кому другому — к тебе же приду на совет, и как ты скажешь, так и будет.

Матрена ходила, думала, и чем больше думала, тем больше тянуло ее к выдумке Консты. Волкоярская скука сделала свое дело и взбунтовала против князя еще не старую и охочую пожить бабу.

— Тоже сказать, — рассуждала Матрена, — пишусь я вольною, за двумя посадскими мещанами замужем была, а какую из-за этого, прости Господи, ирода-князя, волю себе видела в жизни? Хуже крепостной! Ответ мой перед князем большой, и беда мне теперь пришла неминучая. Грех этот Зинушкин, — что шило, в мешке не утаишь. Если и будет такое счастье, что никто не уследит, не догадается — а где уж? и надежды такой не имею! из дворца-то змеиши за нами по пятам ползают, все грехи наши стерегут, все ошибочки

считают, — как не доведаться? Да и мудреного нет: месяц-другой пройдет, — он сам себя выдавать станет. Зинушка — король-девка... Кто ее узнает? может, и сейчас уже ходит не порожняя. А уйти можно. Только бы лесищем пробечь, а там — в скиты. С староверами возиться мне не впервой. Я еще в Костроме тому научилась. Кормилась тоже от них и все их обряды произошла. В какой хочешь толк попаду и не ударю в грязь лицом. В скитах примут всякого — только ругай никониан посолонее, крестись двумя перстами да покажи деньги; так тебя упрячут, что ни князю, ни Муфтелю, ни какому пройде-ярыжке и в ум не вступит. Но только с одним Констою уходить боязно: малый он у меня, — что его хаять? — головитый, да молод и горяч, и сторону нашу плохо знает... Нужен нам, хоть убей нужен, еще товарищ — из тутошних... А кого взять? Randодишка неверный, плюгавый... как ты с ним заговоришь об эдаком деле? Антипку разве взмануть? Ходок бывалый, опытный...

— Слышь-ка, Антипушка, — завела она при случае речь со старым бегуном, — вот ты все волю хвалишь да новые места. Скажи по правде, по истине: кабы тебе была возможность бежать, побежал бы ты снова на волю?

Антип ухмыльнулся.

— Что любопытна стала? Аль сама загадала бежать?

— Ой, что ты! — засмеялась Матрена, — это у меня Конста твердит: бегу да бегу! — только бежит-то он все на одном месте; вообще спрашиваю.

— Если вообще, то и я тебе скажу вообще. Слушай, — строго заговорил Антип. — Девять годов назад я убежал в отчаянности, с большого горя, не понимаючи самого себя. А как избыл я от себя первое сердце да поглядел кругом на Божий мир, так и захватило мне душу волею. И понял я тогда, что только с волею и видать человеку мир Божий, а без воли у человека и глаз нету, в рабьей он слепоте. И стал я в ту пору себя корить и проклинать: с чего я, дурень, загубил свою жизнь

в волкоярских кандалах? Только на седьмом десятке и свет увидал! И все десять годов прошли, словно сон приятный. А вспомнить — что в них было радостного? Какая сладость для тела? Ничего. Не покоил я старые кости, а трудами трудил. В тюрьмах сиживал. По этапам через всю Россию прошел, непомнящим сказывался, кандалами звенел, на пруте ходил, из-под караулов бегал, и голодал, и холодал, и бивали меня, и обкрадывали.

— Сохрани Бог всякого!

— Да все на воле, Матреша, на воле! А с нею, голубушкой, все сладко. Лучше ее не выдумал человек ничего. Воля — весь человек! Есть воля, и человек есть. Нет воли, и человека нет... Так, склизь!

— Так что, если бы... — медленно начала Матрена.

Старик, взволнованный, замахал руками.

— Нет, Матреша, ты меня не мани, сердца не вороши...

— Да я не маню, — куда мне тебя манить? Бог с тобой! — отнекивалась смущенная Матрена.

Но старик ее не слушал:

— Эх, родненькая, был конь, да изъездился! Кому и какой я товарищ? Дряхлец! Мне коли куда бежать, так разве в могилу. Сейчас мне, голубка, та воля уже не нужна. Потому что старому ненужному кобелю всюду воля. И здесь мне воля. И управителю я так сказал, и тебе говорю. Хохо! Я, друг, свое изжил: дошел до ямы, с меня ничего не стребуешь — взятки гладки. Пиши меня чьим хочешь рабом, а я, друг, свой стал. Никому не надобен, потому и свой. Выходит: поздно мне бежать, слаб, только товарищей собою свяжу. Да и дело здесь есть. Большое дело. А то побег бы с вами, непременно побег.

— Что ты, дедушка, право, все с вами да с вами! — лепетала Матрена; — она совсем оробела при виде неестественного оживления, овладевшего стариком. — Я тебя так, для примера, спросила, а ты уж невесть что подумал.

— Эх! — с досадой крякнул расходившийся Антип и стукнул костылем, — полно, Матренушка, не хитри. С кем хитришь? С Антипом — бродягою! Я не колдун, да под тобою на три аршина вижу... Начала сказывать, так досказывай. А то, пожалуй, и помолчи: сам доскажу. Знаю я ваши дела, все знаю.

— К... к... какие дела?

Матрена затряслась всем своим тучным телом. Антип посмотрел на нее.

— Вишь, — даже вся пополовела... И доказывать-то на тебя нечего: лицом себя выдаешь... Неладно так-то!.. Ты не трусь, Матренушка — князю доносить не пойду. Кабы хотел доносить, так привел бы его сиятельство полюбоваться еще в ту пору, как твой Конста с княжною впервой обнимались под яблонью.

Голос старика хрипел, глаза искрились, усы ощетинились...

— Ох, дедушка! — почти завыла Матрена, — пропала моя голова. И охватить умом не умею, чего мы натворили. Мысли-то — так вот и мчатся кувырком, будто турманы...

— Так ему, злодею, и надо! так и надо! — брызгая слюною, шамкал Антип и тыкал костылем в сторону главного дома. — Погоди. Я тоже поднесу ему, демону, закуску в жизни! За всех — за себя, за княгиню-покойницу, за Матюшу, неповинную душу, внука загубленного. Что мы знаем, то знаем. Сладкая будет закуска. Хо-хо! Скрючит от нее.

— Ты что же, дедушка, неладное, стало быть, что-нибудь проведал про князя?

Матрена насторожила уши. Антип подозрительно осмотрел ее косым взглядом:

— Это, друг, не твоего ума дело.

— Пожалуй, не сказывай: я спросту.

— Ни тебе и никому не узнать, пока не придет смерть — либо за мной, либо за князем. Должно, я помру раньше. Хохо! Посмотрю перед смертью, как его задергает. Хо-хо!

— Не смейся, дедушка! страшно!

— Хо-хо-хо... Без того сам не помру и его со света не отпущу!

Матрена слушала старика с ужасом. Он казался ей сумасшедшим.

Но Антип опамятовался и, видя расстроенное лицо своей собеседницы, продолжал спокойнее:

— А коли ты что желаешь знать насчет ухода, — посоветую. Говори.

Матрена изложила ему свои сомнения... Антип рассмеялся.

— Чудная ты баба! Ищешь рукавицы, когда они за пазухой... Какого же тебе надо товарища лучше Михайлы Давыдка?

— Давыдок!

Это имя мгновенно осветило Матрене целый план, значительно упрощавший в ее глазах возможности бегства.

— О, Господи! — какая же я была дура, что о нем забыла. Просто затмение нашло. Вот спасибо-то, Антипушка, что навел на разум!.. А только пойдет ли?

— Пойдет. Кто его удержит? Вольная душа. Загнала беда сокола в клетку, — ну и терпит, сидя на жердочке. Спит воля. А ты позови, разбуди. Пойдет.

— Да уж лучше-то нельзя и выбрать — хоть весь свет обыщи!

Любимый егерь князя Александра Юрьевича, Михайло Давыдок носил истинно здоровую душу в своем здоровенном теле: он не пил, не играл ни в подкаретную, ни в орлянку, не путался с беспутными женщинами волкоярской дворни. За ним водилось только две слабости. С одною он родился на свет: то была страсть к охоте, и даже больше самой охоты, — к лесу. Он знал в лесу наизусть всякую тропинку, всякий уголок — на десятки верст кругом. Лес был его стихией: он чувствовал себя в лесу, как птица в воздухе, как рыба в воде. Сто-

ило ему ступить на опушку, чтобы его красное лицо вдвое ярче засияло от улыбки, стало вдвое добрее и даже красивее. В болота, считавшиеся непроходимыми и действительно непроходимые для непосвященных, он неустрашимо вступал с ружьем своим и лягашем Сибирлеткою и открывал твердые звериные тропы по торфяным кочкам и старым колодам.

— И как только ты, Давыдок, терпишь, — все в лесу да в лесу? — спрашивали егеря. — Ты, должно быть, на лес слово знаешь.

— Чем в лесу нехорошо?

— Жутко... Зверье это... сверчки... тишь... От одного лешего, чай, сколько страха наберешься!

— Вона — невидаль! — хладнокровно возражал Михайло, — что мне леший? Я, брат, сам себе леший.

И, глядя на его огромную фигуру, собеседник невольно приходил к заключению:

— И точно — никак сродни!

Второю страстью Михайлы, благоприобретенною и недавнею, была сама Матрена-Слобожанка, которую он, на общее удивление, залюбил с тех пор, как года три тому назад пировал с нею на одной дворовой свадьбе. Он ухаживал за Матреною без всякого успеха, но с редким постоянством. На других баб Давыдок и смотреть не хотел, хотя с барским любимцем все кокетничали. А для Матрены даже выучился — очарования ради — играть на еще новом в те годы, только что пошедшем в народе, чтобы убить балалайку и гусли, инструменте — двухрядной гармонике, и быстро сделался настоящим на ней виртуозом. Вообще, музыкальные способности Давыдок имел чудесные и прекрасно пел — голосом, могучим и длинным, как он сам, но гибким и вдохновенным. И эту способность тоже высоко ценил в нем князь Александр Юрьевич, большой любитель русских песен. Когда Михайло, бывало, за-

певал своего любимого «Орла», то князь непременно либо окно в кабинете своем откроет, либо на балкон выйдет... Как колокол, гудит Михайло над садом:

Как летал-то, летал сизый орел по крутым горам,
Летал орел, сам состарился,
Пробивала у него сединушка между сизых крыл,
Побелела его головушка, ровно белый снег...

— Это он про меня поет! — шепчет князь.

Потупели у орла когти острые,
Ощипались у него крылья быстрые,
Налетели на орла черны вороны
Да терзали они его, сиза орла...

Качает князь головою, ногою притопывает, рукою в такт бьет.

Эх, не прежняя-то моя полеточка орлиная!
Да не прежняя моя ухваточка соколиная!
Разбил бы я черных воронов всех по перышку
Да разнес бы их по дубравушке!

И так разнесет голосом «по дубра-а-авушке», что сад отголосками застонет и лес за Унжею аукнется, а князь либо прослезится, либо обругается:

— И дьявол его знает, Михайлу Давыдка, где он пропадал до сорока годов с таким талантом? Если бы не ушли его лета, я бы его в Питер услал, — пусть бы Михаил Иванович Глинка из него второго Петрова обучил.

А Давыдок уже во дворе ребят веселит — голосина юлит, гармоника хохочет:

Как на Вологде вино
По три денежки ведро!
Хочь пей, хочь лей,

Хочь окачивайся!
Да поворачивайся!

Сам был превоздержный на вино, — разве на большой праздник чарку выпьет, — а пел о вине так забористо, что с песен его и трезвенники запивали.

— И отчего вы, Матрена Никитишна, столь жестоки, — не желаете мне соответствовать?! — уныло вопрошал он, громыхая пред своей красавицей на гармонике. — Чем я вам не пара — закон принять?

— Ай, что ты, Давыдок! — хохотала Матрена, — какой с тобою закон? У тебя, сказывают, первая жена жива!..

— Жива, коли не померла... это верно! — соглашался Давыдок, — только я от нее, первое дело, за семь рек и семь гор переехал; второе дело, не жена она мне, не в обиду будь при вас сказано, но сука-волочайка; а третье дело, вот уже пятнадцать лет она не имеет обо мне никакого известия. Почему я вроде как бы разженился, вдовый стал. Закон такой есть. Мне поп сказывал.

— Страшно за тебя идти-то: ишь кулачищи... убьешь, — и дохнуть не успею.

— Зачем же убивать-с? Я такого греха на душу не возьму...

— Ой ли? А рожа у тебя — хоть сейчас тебя поставить с кистенем на большую дорогу.

Слушал Михайло, слушал эти грубые шутки да и хватил:

— На большой дороге и без убойства работать можно очень прекрасно...

— Ишь ты! А ты работал, что ли?!

— А уж это наше дело; «нет» — не скажу, а «да» — промолчу. Я, сударыня моя, человек покладистый, применительный. Жизни слушаюсь. На рожон не лезу, а со всякого места и времени свое удобство беру. Волю знал — за волю стоял. Кабалу познал, — ну, стало быть, жди, терпи, помалкивай. Не черт тебя нес, сам увяз...

И засмыгал гармоникой, и затянул протяжным голосом:

Ходил, гулял добрый молодец,
Искал места доброго,
Не нашел-то добрый молодец места доброго,
А нашел-то добрый молодец море синее,
Камыши высокие, лопухи широкие...

— Что ты, Давыдок, все грустное поешь? Веселую спой.

Подмигнул, загудела гармоника, залился высоко и сладко:

Ах ты, душенька, удалой молодец!
Ты горазд, душа, огонь высекать!
Часты искры сыплются,
В ретиво сердце вселяются,
Сиротою называются...

Смотрела на него Матрена и думала: очень подействовали на нее полупризнания Михайлы, его смелое лицо и решительный взгляд человека, надо полагать, видавшего виды. Охота бежать разбирала между тем Матрену все больше и больше. Она пересчитала сотенные бумажки, в разное время подаренные князем Зине: их было почти на пять тысяч рублей. А еще у Зины оставались бриллианты, настоящей цены которых Матрена не знала, но все-таки понимала, что вещи стоят не одну тысячу. В ней заговорила алчность и охота пожить в свое удовольствие: она очень хорошо сознавала, что при настоящих условиях их жизни она будет хозяйкою этих денег гораздо больше, чем сама Зина.

— Купцами — где хочешь — заживем... И впрямь, ни в какие новые места не страшно уходить! — мечтала она.

Теперь уже не Зине с Констою приходилось уговаривать Матрену, а Матрена торопила Консту и каждый вечер пеняла ему, что он мямлит и теряет время.

— Осень на дворе: того гляди, начнутся дожди да слякоть, холода пойдут, вот тебе и ушли тогда! — попрекала она.

Конста отмалчивался и только лукаво подмигивал Зине на мать.

— Что моргаешь-то: распостылая душа? — горячилась Матрена. — Вон кузнецы-то трещат, — сигналы дают: осень глядит на дворе. Не слышишь?

— Пусть их трещат, стучат, — улыбалась Зина. — Я теперь их не боюсь.

— Пойдут дни короткие, ночи длинные, темные...

— Раньше спать ложиться будете, маменька! — дразнил Конста.

— А ветры-то лесные? У нас осенями сад под ветром, как море, гудит, деревья к земле клонятся, Унжа-то — аж белая станет...

— Ничего, маменька: под ветер лучше спится. Баюкает.

— Вот я тебя побаюкаю чем-нибудь потяжеле! Погубил ты нас! — взманить взманил, а толку никакого...

— Будет толк, мать! потерпи, не кипятись, а то печенка лопнет...

В противоположность своей озабоченной няньке Зина ровно ни о чем не думала и не загадывала, — была весела, жива, резва, как никогда раньше. Она чувствовала, что с плеч ее свалился тяжелый камень, придавивший было всю ее молодую жизнь: ужас перед отцом. С тех пор как Зина отдалась Консте, вера в его удаль и находчивость стала между нею и ее страхом. Отец оставался по-прежнему грозным и ненавистным, но ей как-то верилось, что вся его гроза теперь ни к чему, что Конста и умнее его, и ловчее, и находчивее, что он сумеет за нее всегда заступиться и выручить ее из беды, а князя проведет и оставит на бобах... Девушка была влюблена сильно, но в кого собственно: в своего любовника или в обещанную им свободу? — решить было бы трудно. Восторженное настроение делало Зину временами почти красавицей: она пополнела и как будто еще побелела от этого; живой румянец не сходил с лица, глаза сверкали, как звездочки. В дневные

жары она с полдня до вечера пролеживала навзничь на своей любимой скамье под яблонею, следя в небе полет птиц и движение облаков... В уме ее блуждала лишь одна мысль: «На волю! а потом — жить, жить, жить!..»

Когда Матрена слишком волновалась, Зина унимала ее:

— Мамушка, потерпи же хоть немного. Если Конста взялся уладить наше дело, то уж, верно, уладит. А что он молчит — значит, у него еще не все готово; когда будет надо, объявит.

— Уверилась в сокровище! — кричала Матрена, и раздосадованная равнодушием Зины, и польщенная ее высоким мнением о Консте, — слушать тошно! Глупа ты, Зинка. Ведь это для тебя Конста — богатырище: горы ворочает, дубы вырывает с корнем вон, и пешему его не обойти, и на коне его не объехать. А мне он — мальчишка... тьфу! Я его в корыте мыла, прутом драла, — как же мне теперь идти своим умом за его ребячьим разумом? Дрожмя дрожу, чтобы не натворил каких детских глупостей.

Матрена потеряла терпение и однажды, когда Михайло под вечер явился, по обыкновению, громыхать на гармошке, позвала его на крыльцо.

— Давыдок! Полно тебе по саду основу сновать! Садись рядком, потолкуем ладком. Слушай меня, милый человек: можно говорить с тобой по тайности?

— С превеликим моим удовольствием.

— А что я тебе скажу, ты — уши открой, а язык проглоти. Не разболтаешь? Дело-то больно неладное...

— Доказчиком еще ни на кого не бывал, супротив же вас, Матрена Никитишна, мне в подлецы попадать ровно бы и невозможно.

— Ладно. Потому что, прямо тебе скажу: тут не то что поплатишься спиною, а недолго и жизни решиться.

— Вы, Матрена Никитишна, загодя не пугайте: я не так, чтобы из очень пужливых. Это какое же ваше дело будет? Уж не то ли, о чем намедни мне говорил Конста?

— А он тебе разве что говорил? — воскликнула Матрена: Зина выходила права, и Конста не бездействовал, но «обмозговывал» и хлопотал, — и как раз попал на человека, какого надо было для дела.

Давыдок мигнул на макушки леса, черневшие вдали — за садовою оградою...

— Поминай, как звали! — объяснил он.

— Ну... хоть бы и так...

Матрена впилась в него испытующим взором.

— Консте я сказал: это точно — товарища ему для такой затеи лучше меня не найти. Но только вся зависимость от вас, Матрена Никитишна. Без вас я с места не тронусь, а с вами — хоть во все преисподние-с...

Матрена положила руки на плечи егеря и любовно сказала:

— Вот ты, Давыдок, говорил, что любишь меня и в закон хочешь вступить. Я бы ничего, да скажу тебе, не потаю: ты у князя в егерях, что в кабале — чай, до смерти здесь проживешь: а мне Волкояр ваш уже который год стоит поперек глотки. А теперь... тебе все ли Конста рассказал?

— Насчет Зинаиды Александровны? Все-с.

— Вот и посуди, какой грех. Стало, уж вовсе нельзя оставаться... Дело это ихнее всех нас отсюда вон гонит. Надо идти.

— Когда угодно и куда пожелаете. Признаться, кабы не вы, Матрена Никитишна, я бы давно навострил отсюда лыжи. Потому что для человека, который вольготу возлюбил, сласть в Волкояре не ахти какая. А кому в душу совесть дана — даже и несносно. Пьянство, безобразие, девки, своевольство. На конюшне каждый день кто ни кто криком кричит. Поневоле в лес уходишь, — не видать бы здешнего содома-гоморра. Душит меня возле жила. Душа дубравы просит. А уж князь Александр Юрьевич опостылел мне, — глаза бы мои не видали! Верите ли, — брожу я с нимономнясь по болоту, а сам думаю: «И леший ли меня под руку толкал —

тебя из трясины вытаскивать? Толкнуть тебя к болотному бесу в бучило, — и греха на душе не будет».

— Что ты? что ты? Любимый-то егерь его?

— Что — любимый? Я справедливость люблю, меня подачкою не купишь. Я за справедливость-то, когда на воле был, может быть, людей убивал. Несносно мне видеть его тиранство. Сколько народу из-за него мукою мучится. Уж чего хуже? Родную дочь — и ту томит словно в остроге. Вот теперь к саду меня приставил. Вы думаете: в самом деле яблоки стеречь от воров? Очень ему нужны яблоки! Хлопонич их, яблоки наши, возами на плоты грузит да по Унже на Волгу к Макарию сплавляет...

— Любовников наших с Зинаидою поставлен ты стеречь, — смеялась Матрена. — Что же — стража верная — много наловил?

— Уж хоть бы вы пожалели, Матрена Никитишна, не издевались над человеком. Разве своею волею хожу?

— Муфтель намедни заборы осматривал. Где слабо, сейчас же велел покрепче забрать. Потому, говорит, до зимы недалеко, — прошлую зиму волки в сад забегали. Начнут под окнами выть, могут княжну испугать. Заботливый какой! Именно правильно слово ты сказал, что острог нам устроили. Того гляди, и в саду-то нас ограничат. А в горницах у нас несносно. Густавсонша наша совсем плоха. Лекарства эти больным человеком пахнут. Охает она... сердце рвет... И зачем это дано человеку, что ему умирать трудно?

— Эх, Матрена Никитишна! Кабы легко помирать — кто жить бы стал?

С тех пор каждый вечер они подолгу засиживались на крыльце и шептались. В дворне прошел слух, что наконец-то Матрена и Михайло поладили и хотят обзакониться.

Зина не принимала участия в совещаниях своих друзей. Она знала, что посоветовать им ничего не может, а как ее освободят, — ей было все равно, лишь бы освободили. Консте она

верила слепо и всецело отдала ему в руки свою судьбу. Пока Матрена, Конста и Михайло шептались, она сидела вдали от них и молча смотрела, как в синем небе загораются изумрудные звезды, радостно волнуемая предчувствием скорой свободы. Когда же очень полно и весело становилось у нее на душе, она срывалась с места и с криком:

— А ну, побежим, Конста... лови! — бросалась в таинственные сумерки сада.

И когда Конста, после долгой погони за сильной, быстрой и увертливой девушкой, нагонял ее наконец, Зина, пользуясь потемками, бросалась ему на шею и, схватив его голову в свои белые руки, целовала его без счета, так что свет терялся у него из глаз.

...Тихо... Темно... Жарко... Сладко... А Михайло вдали — с крыльца — громыхает гармоникой, и голос, как веселая звезда, мигает:

Канарейка-пташечка,
Вольная кукушечка
Примахала крылышки,
По полю летаючи,
Сокола искаючи...

XI

В первых числах августа Конста ранним утром, на рассвете, стучал к Муфтелю; управляющий занимал отдельный флигелек во дворе, у самых ворот княжеской усадьбы. Муфтель выглянул заспанный и недовольный.

— Что надо? — сердито закричал он, — что ломишься ни свет ни заря?

— Да я не своей волей, Карл Богданович, простите Христа ради. Меня маменька послала: у нас приключилась беда.

— Что такое?

— Амалия Карловна скончалась.

Бедную немку нашли в кровати уже холодную и черную, как уголь. Давно жданный всеми волкоярскими жителями апоплексический удар оборвал жизнь тучной и сырой старухи, по милости своих больных ног уже несколько лет почти не знавшей движения.

Амалию Карловну похоронили. Никто не ожидал, чтобы княжна Зина питала столько привязанности к покойной, как проявила она на погребении и после похорон.

Несколько вечеров она не показывалась на крыльце своего флигеля.

— Что с княжною? уж не больна ли? — спрашивали дворня и Муфтель Матрену, когда последняя с озабоченным лицом пробегала к людской, чтобы вызвать егеря Михайлу и пошептаться с ним где-нибудь в сенях, по заведенному обыкновению, к которому уже давно успело привыкнуть население волкоярской усадьбы.

— Ах, и не говорите! — сердито отмахивалась Матрена. — Лежит, моя голубушка, уткнула нос в подушку, — на свет глядеть не хочет, в рот куска не берет. Ревмя ревет: «Я, — говорит, — ее огорчала, я ее обижала, я ее не ценила. А теперь уж ее, друга моего, не воротить». Совсем я с нею с ног сбилась.

Минуло еще два дня. На третье утро дворовые, проходя мимо павильона, удивились, как это — уже десятый час, а ставни в спальне княжны до сих пор закрыты и в павильоне не слышно никакой жизни, словно там все повымерли. Прошел еще час-другой: та же тишь и те же крепко затворенные ставни. Сказали Муфтелю. Он пришел взглянуть, вошел в павильон да так и обмер. В комнатах не было ни души. Постели Матрены и княжны Зинаиды оставались не смятыми... Пробежал управляющий по саду, по селу, по усадьбе, — спрашивал встречных мужиков и баб, своих и чужих. Никто ни о княжне, ни о няньке ее ничего сказать не мог: не видали их и не слыхали.

— Сбежала! — простонал Муфтель и бросился в людскую.

— Консту мне подайте!

— Нет Консты, ваше высокородие. Вы его сами изволили отпустить в лес; вот уже третьи сутки бродяжничает...

Потребовал Муфтель Михайлу Давыдка: все-таки егерь ближе других дворовых стоял к затворницам и мог что-нибудь знать... Михайлы тоже не оказалось, и собака его ушла с ним.

Взялись за Антипа.

— Ты, старый черт, чего глядел?

Старик осклабился:

— Так! У них девки бегают, а Антипка виноват... Ты меня что сторожить-то сюда поставил — княжну или баню? Баню. Ну баня — вон она тебе: целехонька, хоть завтра топи да мойся. А прочее — нас не касающее.

— Да ведь, если они бежали, то должны были пройти мимо тебя или поблизости... как же ты их просмотрел?

Антип посмотрел на Муфтеля с презрением:

— Чудак ты, Богданыч, погляжу я на тебя! Люди бежать надумались, а полезут доброй волей на живого человека! Беглецам, друг, чужих глаз не требуется... Беглецы, друг, свидетелей-то — за горло, да и дух вон.

— А ты вот цел остался.

— Потому и цел, что ничего не видал.

Оставалось доложить князю дело, как оно есть, — все равно, что пойти прямо в пасть к некормленому зверю. Князь вышел к обеденному столу, как нарочно, сильно не в духе: верный признак, что он опять видел во сне княгиню Матрену Даниловну. Это в последнее время был его постоянный кошмар. На Муфтеле, на фаворитке Олимпиаде, на лакеях, по обыкновению торчавших за пустыми приборами, лица не было. Князь сразу заметил: что-то неладно.

— Что случилось? — грозно нахмурился он. — Олимпиада? Муфтель? отчего у вас рожи словно мелом вымазаны?

Муфтель трепетным голосом, путаным языком, запинаясь и перевирая, начал доклад и под конец не выдержал: упал на дрожащие колени и стукнулся о пол повинной головой...

Зашатался князь, схватился обеими руками за голову и не то сел, не то упал на стол, с громом роняя с него ножи, вилки, тарелки; залилась скатерть парным морем супа и кваса. Так пристукнуло волкоярского владыку, что и голос потерял. Шепчет:

— Это она замуж ушла... Вот он зять-то... вот когда стряслось...

Думали: кондрашка! Но — передохнул, ожил и через минуту, на страх всему Волкояру, загремел по хоромам яростный рев князя Александра Юрьевича:

— Зарезали, погубили! Искать ее, проклятую! Слышать ничего не хочу! Слышите вы, хамы! чтобы через час была здесь княжна, а не то я не посмотрю на новые времена и порядки. Пусть меня ссылают в Сибирь, пусть хоть расстреляют, хоть повесят, но я расправлюсь с вами по-своему... тебе первому будет честь, Муфтель! Издохнешь ты, старый пес, у меня на конюшне!

Рассыпались от него люди, как от умалишенного, а он по дворцу один бегает, воет, фарфор-фаянс об пол швыряет и ногами топчет, зеркала бьет. Лаврентий Иванович на колени пред ним бросился:

— Ваше сиятельство, именем Христовым молю вас: пожалейте себя и нас, —успокойтесь...

Как ткнет князь его в зубы ногой; облился кровью старик, так и покатился по ковру, — думали: убил... нет, встал, только два зуба выплюнул... А князь уже в кабинете бушует. Сел было в конторке письмо к губернатору сочинять, но вместо того посмотрел на родительский князя Юрия портрет, заскрежетал зубами да чернильницею как пустит! Залилось чернилами улыбающееся, язвительное лицо, на лбу провалилась дыра, пропала драгоценная живопись Кипренского!

А князь ослабел как малое дитя, и на руках снесли его в постель... Выспался — усмирился, вышел тих. Черные тучи на лбу, но о давешнем — ни слова. Вздохнула дворня. А то — кто поробче — уже котомки увязывал: бежать в бега от обещанных плетей.

По лесам были пущены охотничьи команды с собаками, дали знать уездной полиции, поскакали нарочные в Ярославль и Кострому; Муфтель перевернул вверх дном всю усадьбу и село. Все было напрасно: княжна не находилась. Четыре человека и собака исчезли из Волкояра и — хоть бы след по себе оставили! Словно их Унжа поглотила.

Кстати, на Унже, верстах в тридцати ниже Волкояра, поймали перевернутую вверх днищем лодку. Муфтель признал ее за волкоярскую. Но — когда и как она была угнана и где пристали к берегу уплывшие в ней беглецы, если они только не пошли на дно, — оставалось темною загадкою.

Муфтель, однако, в поисках за княжной не унимался. В своем усердии он учинил поистине мамаев разгром в садовом павильоне: даже, сам не зная зачем, поднял полы и ободрал со стен штукатурку. Мышам было от этого большое горе; но ключа к тайне пропавшей княжны Муфтель все-таки не нашел.

Старик Антип без устали следовал за ним в его поисках. Куда Муфтель, туда и он — со своею клюкою, согнутый, лысый, с искрами в глазах и с такою усмешечкой впалого бледного рта, что управляющего даже коробило.

— Не шляться за мной, лысый сатана! — не раз прикрикивал Муфтель. — Привязался, как тень... Какой тебе интерес? Что надо?

— Больно за́нятно роешься, Богданыч, — невозмутимо возражал старик, — ровно бы ты крот.

Когда разгром павильона был кончен, и люди ушли, — Антип окликнул Муфтеля, удалявшегося в большом унынии:

— Богданыч... каков князь-то? Я чаю, кабан кабаном, землю под собой грызет?

Муфтель только рукой махнул. Старик залился беззвучным смехом и долго смеялся еще, оставшись один среди опустошенного дома. Но вскоре смех его перешел в слезы и стоны: он причитал по ком-то и грозил кому-то... поминал Матвея-внука, князя, покойницу княгиню Матрену Даниловну. Неладно, очень неладно было в старой голове Антипа: совсем старик стал забываться.

А Муфтель князю так и отрапортовал, стоя навытяжку в барском кабинете:

— Ваше сиятельство! Хотите казните, хотите — милуйте. Княжны я не нашел и найти надежды не имею. Вину свою чувствую, но полагаюсь на ваше великодушие, что помните мою верную и долгую службу вам потом и кровью. А впрочем — творите свой суд надо мною, как вам будет угодно. Моя преданность вам все вытерпит.

Это было месяц спустя после исчезновения Зины. Бешенство князя за этот срок перешло в тихую апатию, полную суеверного ужаса перед покаравшею его судьбою.

— Не за что наказывать тебя, Богданыч, — грустно сказал он, — тут приставь хоть Аргуса стоглазого, и тот не уберег бы. Тут высшее... пять лет, как оно мне предсказано, — вот и исполнилось. Судьба! Что будет? Что будет? О Муфтель! страшно!

— Более горестно, ваше сиятельство, а — бояться, осмелюсь доложить, чего же?

— Не знаю, Муфтель, чего, но боюсь. Ужас в душе моей — темный и ожидающий. Страшно зрелище свершившейся судьбы, Муфтель.

— Бог не без милости, ваше сиятельство. Перемелется — мука будет. Не одни мы ищем: весь уезд на ногах. Даст Бог, и вернется еще наша княжна.

Как вскрикнет на него князь:

— Даст Бог? Сохрани меня Бог! Что ты, Муфтель? Ты не знаешь, что говоришь! Ты бредишь! Вернется? Да ведь это

конец мой, это смерть моя, Муфтель! Разве она одна вернется? Замужняя! с ним!

— С кем, ваше сиятельство? — изумился недоумевающий Муфтель.

— Почем я знаю? С ним... С зятем!.. с предсказанным!.. Я гибну, Муфтель. Я чувствую, как конец мой окружает меня. Брось искать княжну, Богданыч. Было поймать ее девкою, а бабою она — мне погибель. Глупо, что мы и в первые-то дни, сгоряча, столько усердия приложили. Туда — вниз, к черту! в тартарары! — всегда успеем: небось, не забудут, позовут, нечего самим торопить и напрашиваться.

Уверенный, что княжна Зина выкрадена при помощи няньки, Консты и Михайлы кем-либо из соседей или губернских дворян, и, разумеется, давно уже замужем, князь теперь только и бредил, что этим таинственным чудовищем, своим неведомым роковым зятем, и мрачно замирал в ожидании неопределенных ужасов.

— Хоть бы разведать: кто он? что он со мною сделает? как и от кого пропадаю? Дворянишки все как будто по местам. Обманули нас с тобою, Муфтель! Провели! Выкрали, окрутили девку! Ох, если бы пособников ее мне в руки... Матрену-мерзавку, щенка ее подлого, Давыдка-разбойника...

— Освидетельствовать бы его, — без церемонии говорил лекарь в уезде. — Это — похоже — у нас в медицине называется mania persecutoria *. Кабы не Чертушка, а наш брат, обыкновенный смертный, как раз пора бы на цепь...

А князь тем временем надумался.

— Муфтель! где Серафима и Аграфена? — спросил он как-то.

— Пятый год, как усланы, по приказанию вашего сиятельства, в симбирские деревни.

* Мания преследования *(лат.)*.

— Они были посредницами между мною и загробным миром, — задумчиво произнес князь. — Немедленно вернуть их.

— Осмелюсь доложить вашему сиятельству: раньше месяца не обернем...

— Хорошо, но через месяц — чтоб были!

С приездом отставных фавориток-медиумичек, успевших за пять лет изгнания превратиться из холеных красивых девушек в тощих, загорелых и огрубелых деревенских баб, — князь погрузился в прежние свои спиритические занятия. Но — бабы ли оглупели, сам ли он стал придирчивее и требовательнее — духи, и даже сам пресловутый Анфис Гладкий, не говорили ему ничего не только утешительного, но даже путного и толкового... Княжну теперь искала только полиция, а на нее надежда была плоха. Княгиня Матрена Даниловна снилась князю чуть не каждую ночь, и после каждого сновидения он насупливался все мрачнее. «Торопит, зовет, — соображал он. — Подожди, страждущая тень, свидание мести недалеко. Отольются волку овечьи слезы!»

В это время пошел между дворнею вторичный слух, что покойная княгиня «ходит», — и князь верил.

— Слушай, Муфтель, — допрашивал он. — Где ее видели?

— В разных аллеях, ваше сиятельство. Тоже будто бы на балконе в Псишином павильоне — бывало — сиживала.

— Там она умерла, — задумывался князь. — Ну... и... что же?

— Говорят: беспокойна, — руки ломает, стонет, плачет...

— Кто слышал?

— Как можно, чтобы слышать, ваше сиятельство? Одна пустая молва.

Князь затряс головою.

— Нет, Муфтель, нет. Дух, исшедший из тела ранее, чем свершит земное в пределе земном, тоскует по местам, где

он покинул свои страдания и страсти, стремится к ним и навещает их. Возможно, Муфтель, очень возможно.

Муфтель осмелился высказать:

— Я того мнения, ваше сиятельство, что не иначе, как глупый народ принимал за княгиню княжну Зинаиду Александровну. В лунные ночи княжна подолгу оставалась на балконе! — ну кому-либо и померещилось, и пошла ходить глупая сказка. Потому что сходство.

Князь нетерпеливо оборвал:

— Зинаида на меня похожа, не на мать. Смела бы княгиня Матрена от меня бежать! Нет, эта... все-таки... Радунская!

И — струсил князь Александр Юрьевич, оробел перед мертвою женою, которую живую в грош не ставил. Спросил ее портрет — в кабинет к себе, на место испорченного портрета князя Юрия. Хватились: нету в доме приличного портрета княгини Матрены Даниловны, — только в картинной галерее голая Леда бесстыдно обнимается с лебедем. Где портрет? Неужели не было? Стали вспоминать: был, но тринадцать лет назад подарен кому-то из соседок. Хлопонич умел со всего снять пенку. Чуть прослышал, что князь заскучал по Матрене Даниловне, — сейчас же ногу в стремя и поскакал по околотку — к мелкопоместным и попадьям, былым приятельницам покойницы княгини Матрены. Нашел портрет. Попадейка, которой он принадлежал, уже умерла, а поп — как посулил ему Хлопонич серенькую бумажку — и торговаться не стал, отдал сокровище обеими руками: на что мне, вдовцу? — бери... Привез Хлопонич княгиню в Волкояр и — князю челом: удостойте принять дар! Князь расцвел.

— Ну, — говорит, — Пафнутьевич, спасибо! Много ты угождал мне, но так, как сегодня угодил... спасибо! Вот же тебе за это: владел ты Мышковскими хмельниками, владей и Сменковскими.

И запил же поп, у которого Хлопонич купил княгиню за пятьдесят рублей, когда узнал, какое счастье он проворонил!

Тем более что Хлопонич и с ним тоже выдержал свой характер и обещанной серенькой ему не отдал:

— Я, — говорит, — что сулил, отче, очень помню и не отрекаюсь: серенькая твоя. Но на руки тебе ее не выдам, пусть у меня полежит, целее будет, потому что ты, отец Никифор, человек нетрезвой жизни и непременно ее пропьешь.

Голую Леду князь Александр Юрьевич велел завертеть в рогожи и унести на чердак. Уничтожить пожалел: была работа большого мастера — чуть ли не самого Майкова. А портрет воздвиг над письменным столом своим и украсил цветами. Назавтра приходит Муфтель с докладом, — ан князь стоит перед женою на коленях и читает к ней как бы акафист некоторый:

— Княгиня Матрена Даниловна! Если добрый и кроткий дух твой витает в земной сфере, если справедливый гнев твой перестал гореть против меня, окаянного, — удостой, матушка, снизойди к просьбе моей, — ответь: чем ты мне грозила? каким еще позором должен быть отравлен конец моей жизни? Скажи, блаженная душа! Спасением твоим заклинаю: скажи!

Заметил Муфтеля, поднялся. Лицо — как свинец.

— Страшно, — говорит, — мне, Богданыч. Нехорошо. Страшно.

— Бог не без милости, ваше сиятельство. Все в руке Божьей ходим.

— Не говори так. Того-то и боюсь. Страшно впасть в руки Бога живого. Хоть бы намеком знать: есть ли Он или нет?

Хлопонич подъехал. Опять начал князь благодарить его за княгиню, — ее вспоминать и хвалить, а себя проклинать:

— Подлец я выхожу перед нею... Какая ни дура, все жена была... А я ее Ледами да Церерами заставлял позировать перед художниками... на позор людям тело ее выставлял... хвастался, что хороша!.. Подлец!.. Ох, Хлопонич! Какая жизнь! Темная, скверная моя жизнь... Смолоду и до седых

волос — хоть бы день чистый и светлый!.. Мать варварка... Отец... Дьявол был у меня отец! Мучитель! Издевщик! Кровопийца! В кого мне было родиться человеком? Как мне Чертушкой не быть?

До того расстонался, что даже Хлопонича в дрожь вогнал. Заметил, спрашивает:

— Что ты трясешься?

— Я, ваше сиятельство, ничего.

— Хорошо — «ничего», когда рожа алебастровая!

— Простите, ваше сиятельство, — признался Хлопонич, — я этого равнодушно не могу.

— Чего ты не можешь?

— Вы лучше на меня ножками топайте... А, когда вы так откровенно... про родителя... и себя словами обзываете... не могу! Удручен и подавлен страхом ничтожества моего.

Улыбнулся князь.

— Боишься, что потом разгневаюсь, зачем я каялся пред тобою?

Видя, что князь милостив, захихикал и Хлопонич.

— И это, ваше сиятельство, и это! А главное, что я такой — про большое слышать не могу... сердце не вмещает... робкий.

Но князь уже опять успел омрачиться.

— Маленькая душонка видит обнаженное страдание большой души — и трепещет. А впрочем... Задумался — и потом, с горечью, серьезно:

— А, впрочем, кто это решил, что у меня большая душа? Может быть, у меня пар, как у Васьки-кота, а души-то и вовсе нет? Может быть, душа-то и вообще совсем не существует! Вот штука была бы?.. Хлопонич! Говори: есть душа или нет?

Хлопонич говорит:

— Как вашему сиятельству угодно.

— Холоп!.. Муфтель! Есть душа?

Муфтель вытянулся, говорит:

— Я свою душу за ваше сиятельство положить всегда согласен.

— Солдат!

Схватился за голову, стонет:

— Господи! И слова-то в тоске обменить не с кем.

Так протянулось полтора года; князь провел их, как улитка в раковине. На Россию двинулись союзники; в Крыму шла резня. Умер царь Николай. Все умы были прикованы к Севастополю... он боролся одиннадцать месяцев и пал, победоносный в своем падении. Князю ни до чего не было дела. Гудение жизни плыло мимо него. Он был — как утопленник в омуте. Остолбенела мысль, чувства облекла спячка удава объевшегося, кошмарный сон под гнетом однообразной страшной грезы. И одно твердо сознавал князь, что спячка эта — его последний живой фазис и недолго ему перейти из кошмарного сна прямо и непосредственно в сон смертный.

— Спрут во мне, — жаловался он Муфтелю. — Знаешь, что такое спрут? Ужас океана, склизкая морская гадина, студень поганый, живою кровью питается. Схватит душу, облепит всеми щупальцами и сосет изо дня в день, из часа в час...

— Ваше сиятельство, позвольте врачей пригласить: может быть, дадут средствице какое-нибудь?

— Нет средства на спрута, Муфтель. Ни лекарства, ни огонь, ни железо не излечат: излечит одна смерть!

Весьма редко выходил он из своей меланхолии. Хлопонич забирал при нем все большую и большую силу и то и дело ездил по делам князя, как поверенный, в Москву и Петербург.

Возвращаясь, он с удивлением рассказывал Александру Юрьевичу о первых днях царствования молодого императора Александра Николаевича, новых веяниях и начинаниях, о слухах об освобождении крестьян...

— Не узнал Петербурга. Истинное слово говорю вам, ваше сиятельство, не узнал. Дух иной-с! Другие люди! Все с войны пошло-с, после замирения. Говорят-с! Шепчут-с! Со-

чиняют-с! Что прожектов! Местов! Жалованьев! Так и гудит! Звания и ранги перемешались. Сегодня человек в ничтожестве небо коптил, а завтра написал прожект, попал в точку и — мало-мало не министр... Сынка предводителя нашего встретил. Только что из-за границы, с теплых вод, и — в бороде-с. Причесан, как мужик, и в бороде!.. И — ничего. Никто во внимание не ставит... Что же это-с? Помилуйте! Дворянское ли дело? При покойнике на барабане бороду-то обрили бы... через полкового цирюльника!.. Все понятия смешались. Даже и стишок такой ходит — о всеобщем изумлении по случаю новых времен. «На дрожках ездят писаря, в фуражках ходят офицеры».

Князь слушал равнодушно и вяло и только на бороду предводительского сына заметил:

— Дурак без бороды — баран, с бородою — козел.

— А что, — закинул Хлопонич, — если бы вам, ваше сиятельство, душу развеселить — в Питер проехать?

— Не видали меня там! В качестве дикого ирокеза себя показывать, что ли?

— Развлеклись бы? Бозия поет, господин Темберлик...

— Ты же знаешь, что мне воспрещен въезд в столицы.

— Это, ваше сиятельство, ничего. Я справлялся: коронацией все подобные дела покрыты. Даже не надо и просьбы особой подавать, а только напишите шефу жандармов письмо, что, мол, имея надобность по делам своим посетить резиденцию, прошу повергнуть на всемилостивейшее усмотрение к стопам...

— Неужто пустят?

Хлопонич зашептал:

— Да как же нет, ваше сиятельство? За вами политического дела не числится, только личное неудовольствие покойного государя. А ныне даже этих, которые по четырнадцатому-то числу, всех велено возвратить.

— Врешь? — оживился князь.

— Ей-Богу! Титулы им назад отдают, ордена. Едут из дальних сибирских стран в ближние города... Первые люди! Встречают их по городам, словно богов каких.

Князь встал с кресел своих и — чего во всю волкоярскую жизнь его никто за ним не видал — перекрестился.

— Благословен грядый во имя Господне! — глухо произнес он.

— Вот и повидались бы, ваше сиятельство, — подхватил Хлопонич, раздувая произведенное впечатление. — Поди, в числе их не одного старого приятеля найдете...

Ничего не сказал князь, но — всю ночь после этого разговора проходил по покоям своим, важный и строгий, и за долгий срок впервые, кажется, думал не о мертвых бредах своих, но о живом, далеком, хорошем, светлом. Но когда назавтра Хлопонич возобновил свои соблазны, Александр Юрьевич только улыбнулся с грустью:

— Нет, Пафнутьевич, утро вечера мудренее: не дитя я, чтобы благовать мечтами.

— Право, повидались бы, ваше сиятельство.

— Зачем? Чтобы себя стыдиться? Я и наедине, брат, сам с собою довольно стыжусь.

— Помилуйте-с! как можно? — смутился прихлебатель.

Но князь твердил:

— Общего между нами нету... Рад, что живы, кто жив... а — нету, умерло общее! Они там — в глубине сибирских руд — души свои живые сохранили, сквозь вьюги, сумрак и нищету, в оковах, свет свой пронесли... А я — свободный, богатый — душу зарыл глубже, чем в руднике. Темный демон — душа моя, и... поздно! не взлететь ей! Что уж Чертушке с декабристами? Тоже наслышаны, небось... о Чертушке-то! Они освобождали, а я заковывал... С испугом в глазах встретят... еще и руки, пожалуй, не подадут. Нет! Поздно, Хлопонич, поздно! Довольно об этом. Лучше расскажи — какие слухи, что новое правительство

думает насчет мужиков? Отбирают от нас рабов наших или поканителимся еще?

Хлопонич замялся. В старину князь вестей о воле не любил. В 1841 году, когда под впечатлением крестьянских бунтов слово «воля» загуляло по всей России, не обошло оно и унженских трущоб. Волкоярские мужики при слухах о свободе стали усерднее креститься, стоя в церкви, и в сумерках собирались на задворках покалякать о слухах, перелетавших в костромскую глушь вместе с ходоками-питерщиками и ходебщиками-офенями...

Князь тогда призвал Муфтеля:

— Аракчеев! ты слышал: правительство струсило, — хамью дают свободу?

— Точно так, ваше сиятельство.

— Что ты об этом думаешь?

— Не могу знать, ваше сиятельство.

— Ты глуп. Никаких реформ сейчас не будет, не может и не должно быть: вот что ты должен думать. Нос короток!

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Я слышать не хочу ни о каких новостях. Понял?

— Понял, ваше сиятельство.

— Я был барином и умру барином. Если же стрясется над Россией такая беда... то я не русский более. Когда я умру, воля моих детей: идти ли по моим следам или якшаться с холопишками. Говорят, между молодым дворянством теперь на это много охотников... Но пока я жив, — слушай, Муфтель. Если хоть одно слово в Волкояре будет сказано о воле, я самого тебя пошлю на конюшню, даром, что ты немец и имеешь чин!

Памятуя этот давний случай, Хлопонич имел основание предполагать, что привезенные им вести о свободе окажутся очень неприятны грозному деспоту крепостного Волкояра. Но, к его удивлению, князь выслушал совершенно спокойно и только полюбопытствовал:

— С землею?

— Угрожают, будто с землею.

— Отлично. Так и надо. Довольно нам остзейского срама!

Хлопонич, совсем не находя этого отличным, ибо в ту пору округлил свое состояньице уже в триста благоприобретенных душ, позволил себе заметить:

— А я, ваше сиятельство, сомневаюсь... Ничего не будет!.. Десятки лет слухи ходят, а все — в пустышку... Были господа и были рабы, будут рабы и будут господа... Как быть перемене законам мира сего?

Князь необычайно оживился

— Нет, Хлопонич, будет воля, непременно будет! — твердо сказал он. — Должна быть. Пора. Великое время наступает для России. Не тоскуй о прошлом. Не знаю, что даст будущее, а прошлое и настоящее — тьма кромешная, скрежет зубовный. Ты думаешь, жизнь вокруг нас? Нет, — мерзость запустения, гнилое дупло, обросшее поганками. Я, ты, Муфтель, Олимпиадка, все кругом — поганки. И не наша в том вина: не могли мы другими быть. Из поганого дупла выросли, — поганы и мы. Срубят дуплистый дуб, не станет и поганок. К черту нас всех! к черту!.. Только черт-то захочет ли взять? Пожалуй, назад приведет: такие голубчики, что и ему не надобно... Я рад, что сын мой будет сыном свободной России. Уже не будет так, что десятки тысяч душ живут на свете только затем, чтобы кормить и баловать постылого и ненужного никому человека вроде... вроде меня!

Сконфуженный Хлопонич хотел возражать. Князь горько засмеялся и переменил разговор.

Несмотря на свои еще далеко не старые лета, — ему шел пятьдесят третий год, — Александр Юрьевич заметно опускался и разрушался. Его одолевала болезненная, вялая тучность — с одышкою, сердцебиением, приливами крови к голове. В дворне поговаривали, что князь недолговечен.

Он сел писать завещание — огромное, подробное, сложное. Для юридической разработки его вызвал Вихрова, кото-

рый, с воцарением Александра Николаевича, немедленно вышел в отставку от принудительной своей службы и, побывав за границею, теперь жил вольным помещиком в довольно порядочном имении своем той же губернии, но другого уезда. Чтобы подписаться свидетелями под завещанием, нарочно приезжали в Волкояр начальник губернии — не старый, с которым всегда воевал князь Александр Юрьевич и которого тоже погасили александровкие дни, а новый молодой светский генерал, подававший руку просителям и говоривший «вы» даже канцелярским писцам, — и предводитель дворянства, все еще тот же, милостями князя Александра Юрьевича, трехлетие за трехлетием благополучествующий. Кроме них, свидетелями подписались, по желанию князя, Вихров и — в особую честь — верный Муфтель. Содержание завещания свидетели держали в строгой тайне, и даже лисьему носу Хлопонича не удалось ничего пронюхать, кроме того, что он в посмертной воле благодетеля своего не забыт. А губернатор и предводитель, возвращаясь вместе в одном дормезе, менялись впечатлениями.

— Замечательный человек! — говорил губернатор, который Радунского впервые знал.

— Чертушка-с! — говорил предводитель, который знал Радунского двадцать лет.

— Я думал встретить сумасшедшего деспота, непоколебимого крепостника, и вдруг перед нами — джентльмен и передовой человек... Удивительно!

— Чертушка-с! — повторил предводитель.

— Когда я был назначен на мой пост, меня в Петербурге даже предупреждали — иметь в виду, что тут есть господин, князь Радунский, с которым надо будет бороться и, вероятно, даже постараться — отдать его под суд за злоупотребление властью помещика. А между тем это — единственный случай в моей губернии, что крупный душевладелец идет навстречу намерениям правительства, да еще в таких широких размерах.

— Горд очень.

— Вы думаете потому?

— Привык воображать себя удельным князем — и до конца этот характер свой выдерживает.

— Д-да... вот что?

— А вы полагали — по душевной доброте? Где ему! Чертушка-с!

— Так что, по вашему мнению, это — не навстречу правительству, но скорее — вызов?

— Обязательно... Вот-де, как мы, князья Радунские, своих рабов освобождаем, — ну-ка, вы там, в Петербурге, попробуйте!..

— Гм... Я его предупреждал, — сказал озабоченный губернатор, — даже убеждал его этот пункт уничтожить, потому что он, действительно, уже лишний. Освобождение крестьян — разрешенное дело, вопрос нескольких лет подготовительной работы. Но он стал на своем и, хотя чрезвычайно вежливо, но, пожалуй, действительно, в таком роде мотивировал, как вы изволите говорить.

— Да, конечно! Знаем мы его песни-то... «Правительство само по себе, а я, князь Радунский, сам по себе. Эти мужики были моими рабами, свободу им дать должен я — и никто другой! Я! Мое! Не позволю!»

— Экий, в самом деле, Люцифер гордый!

— Чертушка-с!

Так толковали завещание князя люди верха. Вихров был другого мнения. Молодой человек тоже поставил князю на вид соображение, что, собственно говоря, освобождая крепостных своих, он ломится в открытые ворота, — воля с землей не за горами. Князь выслушал и возразил:

— А вы совершенно уверены, что у правительства достанет силы — заметьте, я говорю: не желания, но силы — осуществить это свое намерение?

Вихров затруднился ответить.

— То-то и есть! Меня вот Чертушкой зовут... Ну так я вам, милейший Павел Михайлович, скажу по опыту: Чертушек-то крепостной России скрутить недолго, потому что нас всего, может быть, два-три, зато в ней семьдесят тысяч чертенят. Покойник-то, Николай Павлович, тоже на них замахивался и комитеты собирал, да — не достало силы, и кончил тем, что сдался им в плен и говорил о них: у меня в России семьдесят тысяч даровых полицеймейстеров. Удастся реформа, — очень рад; не удастся, — мое дело сделано, и совесть моя спокойна... Так что уж, пожалуйста, разработайте пункт этот как можно подробнее и яснее, чтобы потом не могло быть ни кляуз, ни прицепок. Вы находите достаточным определенный мною душевой надел?

— Еще бы, князь! Правительственная реформа так щедро нарезать землю, конечно, будет не в состоянии. Но и — обрезали же вы своих наследников.

— Наследника! — нахмурясь, остановил князь. — Кроме князя Дмитрия Александровича, иных наследников у меня нет... Вы знаете мои надежды на Митю, Павел Михайлович. Но Мите сейчас десятый год, а я вряд ли долго проживу и не уповаю видеть его совершеннолетним. По мальчику — можно ли с уверенностью ручаться, каков будет мужчина?.. Я, говорят, лет до одиннадцати пренежный и чувствительный отрок был, — вот вам! да-с! Только с пониманием любезных родителей своих начал характером озлобляться... Могу ли я быть уверен, что сын мой, возрастая в ином дворянском веке и в новом дворянском духе, поймет меня и не возропщет на мою волю, и приведет в точное исполнение? Дворяне сейчас либеральничают, Павел Михайлович, но скоро они обидятся, — вы увидите, как они обидятся... Нет-с! Покуда кто властен исполнить свою волю, потуда он должен выполнять ее сам. А — что я у сына отнимаю много земли, так — знаете ли? Вот величают меня за глаза удельным князем и, в самом деле, в Германии немного герцогств таких, как мой Волкояр, а ведь у меня еще

и в Симбирской, и в Уфимской, и в Херсонской, и подмосковные, новгородские... Пятьдесят лет жил на свете, двадцать два года владел, большей части земель своих так и не видал, а ползли, ползли великие соки их со всей России в меня одного — маленького, так что весь я ими переполнился и вот теперь — поздно — сознаю: отравился обилием их, задыхаюсь... Эх, Павел Михайлович! Не так уж много человеку земли надо. Это — святошеское вранье, будто только три аршина, — однако же, и не сотни квадратных верст.

Слухи о «княжой воле» проникли-таки в народ. Но как ни пытали крестьяне и дворовые Муфтеля, старик выдержал характер: был нем, как гроб. Только одного и добились от него:

— Удивит вас князь. Молитесь, ребята!

Осень 1856 года была особенно нехороша для князя. Завалы в печени награждали его головным болями, от которых он не кричал криком только благодаря своему упрямству и стыду показать, как ему больно. Чем больше он сдерживался, тем больше раздражался... Синий, как утопленник, сидел он тогда в своем кабинете, и Волкояр замирал в безмолвном трепете, как некогда замирала Александровская слобода в припадочные дни Ивана Грозного...

В один из таких дней казачок доложил Муфтелю, что дед Антип собрался помирать и просит его прийти в садовую баню, потому что хочет сказать ему важное слово.

«Насчет княжны собрался каяться, каторжный», — мелькнула у Муфтеля мысль. Он пошел. Старик лежал на лавке — худой, как спичка, только живот у него вздуло горою.

— Богданыч, ты? — раздался его шепот.

— Здорово, старина... Аль худо?

— Чего худо? Хорошо, а не худо. У Бога худого нет. Пора! Чужой век заживаю.

Он помолчал.

— Вот, Карла Богданыч, как помру я — деньги на колоду, на свечи — пятнадцать рублев — тут подо мною в подушке. Тебе поручаю, — потому ты немец справедливый.

— Попа звал ли? — спросил Муфтель.

— На что он мне? Ко мне намедни свои, бродяжки, заходили... им грехи сдал... А Кузьму не хочу: пусть он княжих медведей хоронит.

— Эка зла ты накопил, старик! — упрекнул Муфтель. — Вот умираешь, дохнуть тебе нечем, а ты злобишься...

— Слышь-ка, Богданыч, — не отвечая, перебил Антип, — у меня к тебе просьба остатняя и заветная...

— Приказывай: исполню...

Старик долго смотрел в одну точку, стараясь собрать свои мысли. Силы его, видимо, слабели.

— Там в печурке... — пролепетал он, — ларец... Ты его возьми... и, как есть, снеси ему... князю. Дескать, Антип кланяется вашему сиятельству... с того света...

— Когда же снести-то, дедушка? сейчас или когда помрешь?

Больной не отвечал: глаза его обессмыслились, и живот тяжело ходил из стороны в сторону.

Муфтель стал рыться в печурке. Между разным рваньем и лохмотьем ему попалась старая железная сахарница без замка. Заглянув в нее, Муфтель нашел битые бусы, сломанный серебряный браслет и несколько листов бумаги, исписанной крупным лавочным почерком, как будто покойной Матрены Даниловны. Муфтель не без недоумения отнес находку князю. Александр Юрьевич — тоже с недоумением — принял листки.

Муфтель уже выходил из его кабинета, как услыхал позади себя короткий крик и падение тяжелого тела. Он оглянулся: князь лежал ничком на своем письменном столе. Его разбил паралич.

Князя перенесли в спальню. Он не владел языком и правыми рукою и ногою. Но когда Муфтель хотел взять у больного

бумаги, крепко зажатые им в кулак левой руки, Александр Юрьевич бешено отмахнулся от своего верного слуги и страшно замычал. Муфтель бросился к Антипу и вбежал в баню с таким свирепым лицом, что дворовая толпа, собравшаяся глазеть, как будет помирать божий старичок, шарахнулась от управляющего, точно испуганный табун.

— Дьявол! — закричал Муфтель, встряхивая умирающего, — какого ты колдовства мне дал?..

Антип открыл глаза и оскалился, как собака. Глаза у него уже стояли... из неподвижных губ сорвался не то вздох, не то рев, живот подпрыгнул. Старик осунулся на подушке, икнул и... помер без ответа...

Не успели приехать приглашенные к князю доктора, как за первым ударом последовал другой, а к утру — предсказали медики — надо ждать третьего удара и вместе с ним смерти. Муфтель никому не доверил ходить за умирающим князем. Он всю ночь просидел у изголовья своего господина. Под утро его сморило сном, но стонущее мычание больного разбудило его. Муфтель увидал, что князь свесился с кровати и с напряжением тянется здоровою рукою к ночнику, чтобы зажечь таинственные бумаги. Еще минута, и он свалился бы с кровати. Муфтель подхватил больного и снова уложил в постель. Князь, лежа навзничь, устремил в лицо верного слуги взор, в котором Муфтель ясно прочел вопрос о смерти.

— Бог милостив, поправитесь, ваше сиятельство, — попробовал он ободрить умирающего, но по лицу князя скользнула безнадежно скорбная улыбка. Муфтель не посмел повторить своего утешения. Больной перевел взоры на ночник и доверчиво протянул управляющему руку со сжатыми в ней бумагами.

— Сжечь прикажете?

Александр Юрьевич утвердительно мигнул глазами. Муфтель поднес листки к огню, и через мгновение от них остался пепел, да и тот управляющий растер ногою. Вздох облегче-

ния вырвался из груди князя; он вторично протянул руку Муфтелю, и когда тот нагнулся, чтобы поцеловать ее, притянул старика к себе и поцеловал его в губы: глаза у обоих были полны слезами... Муфтель не знал, какую именно услугу оказал он князю, но чувствовал, что оказал немалую; а князь благодарил его и за эту последнюю услугу, и за рабскую службу всей жизни. Затем князь забылся... Поутру началась агония.

Муфтель только что задремал было на стуле у дверей княжой спальни, как его разбудило хрипение умирающего.

— Бегите, Олимпиада, за батюшкой! — распорядился Муфтель, — да князя Дмитрия Александровича приведите. Пусть отец благословит его, умирая...

Князька разбудили. Когда он, — пухлый, десятилетний ребенок, живой портрет матери заспанный, взволнованный, в слезах, вошел в отцовскую спальню, у князя уже играл колоколец в горле. Мальчик взглянул на полумертвое тело отца, на необычайно серьезные лица Муфтеля и Олимпиады, смутился, понял, что происходит что-то недоброе и грозное, и в страхе громко захныкал. И тут-то приключилось нечто необыкновенное и никем не ожиданное. По комнате точно дьявол пролетел. Едва плач мальчика коснулся ушей князя, из груди больного вырвался такой свирепый, такой мучительный рев, что Муфтель затрясся и присел от страха, Олимпиаду отшибло в самый дальний угол спальни, а мальчик в ужасе отпрыгнул от кровати отца, без ума бросился к Олимпиаде, спрятал голову в ее юбки и завизжал на весь дом. На мгновение жизнь как будто воскресла в убитых параличом членах умирающего. Опершись на здоровую руку, он приподнялся на подушках и, уже не с синим — с черным лицом, сверкая страшным оскалом зубов, пучил на своего любимца и наследника глаза, налитые самою бешеною ненавистью. Князь шевелил губами, силясь выговорить какие-то слова, — это могли быть ругательства, проклятия,

только никак не благословения, — но язык ему не повиновался... Тогда он хрипло зарычал, как раненый лев, откинулся на подушки и... «Чертушки на Унже» не стало! Он умер, как жил: ненавидя и проклиная, и унес с собой в гроб тайну своей последней ненависти и непостижимых бессловных проклятий — единственному существу, которое он до сих пор любил.

Муфтель чувствовал, что объяснения всему этому надо бы искать в бумагах, им сожженных... Но от них не осталось и пепла, и немец, когда впоследствии его спрашивали о подробностях кончины князя, по инстинктивной осторожности, долгое время даже не заикался о находке, оставленной Александру Юрьевичу дедом Антипом.

Завещание князя действительно удивило и нашумело не только на всю Россию, но даже за границей писали о нем, как о знамении времени. Князь отпустил на волю всех своих крепостных, предоставив бывшим крестьянам своим в земельный надел более половины своих владений. Щедрый надел этот — во всех местностях, где были имения князей Радунских, — до сих пор определяется множеством урочищ, носящих выразительное общее название: «Княжая Воля».

Волкояр до совершеннолетия наследника был взят в опеку, а самого наследника опекуны перевезли в Петербург и поместили в аристократический пансион. Княжна Зина завещанием лишалась наследства. Она так и не нашлась. Сказать правду: опекуны не слишком усердно ее и искали. Дворня разбрелась. Волкояр пустел, глох и опускался.

Часть вторая

ИЗ ТЕРЕМА НА ВОЛЮ

I

Лес...

Старые стволы, серая сеть голых ветвей и серое небо над ними. Тишь — как в могиле. Лес разбегается верст на сорок, на шестьдесят кругом то чащею, то кустарниками-перелесочками, то дремучими островами строевика. Разбегается по топким болотам, по глинистым ярам, непролазным сыпучим балкам, заваленным буреломом, пеньем, кореньем да каменьем, которое наворотили на свои берега ручьи, смирные летом и буйные весною и осенью. Здесь царство дикой птицы и дикого зверя. Кабы не узенькая тропинка, что едва заметною лентою вьется по бурым мхам, можно бы подумать, что здесь никогда еще не ступала человеческая нога. Сумрачно под деревьями — даже и сейчас, когда запоздавшая весна не успела еще одеть их зеленью; летом же под этими лиственными и хвойными сводами — и в полдень потемки.

По тропе пробирается человек — босой, в посконном тряпье и рваной шапочке, с сумой через плечо и двухстволкою за спиною. Сплошная стена кустов заградила ему путь. Он съежился, нырнул в их колючую чащу и вынырнул на крутой берег глубокого оврага. Огромная дуплистая ива висела над

оврагом. Длинные, как плети, и частые, как сетки на перепелов, ветви покрывали ствол ивы до самого корня. Человек раздвинул свод этого живого купола, снял с плеч ружье и сумку и, бережно прижав их к груди, протискался в тесное дупло. Черная дыра поглотила его.

Согнувшись в три погибели, скользя ногами по мокрой глине, он, как крот, пробирался под землею по низкому и узкому лазу среди темноты и сырости. Минут десять прошло, прежде чем забрезжило впереди пятно тусклого света *.

Лаз выводил к обросшему лозняком болоту. По трясине, с кочки на кочку, со пня на пень, с колоды на колоду извилистыми перебросами лежали молодые деревца: будто ветер их повалил, а не люди набросали. Прыгая по этим зыбким переходам, охотник достиг болотистого озерка — узкого, непродолговатого и кривого. Переплыть его было довольно десяти минут, но обойти вокруг, по берегу, давай Бог успеть и в полдня. Над лозняком, по ту сторону озерка, снова разливалось море леса. Шапки деревьев плотно теснились одна к другой, и надо было иметь орлиное зрение, чтобы разглядеть на сером небе сизые полоски дыма, тощими столбиками поднимавшегося к облакам.

Охотник выстрелил. По ту сторону озера лозняк зашевелился, показалась крошечная душегубка с крошечным гребцом.

Высадившись на берег, еще добрые полчаса шагал охотник по тропам, пробитым во мхах, под соснами, прежде чем вошел в околицу лесной деревни. Коротенькая улица разбилась по косогору двумя рядами изб под тесовыми крышами, с фигурными коньками и резьбой. Дворы, огороженные крепкими заборами, крепкого, обутленного в костре дерева, с остры-

* Такой лаз — древний, полузасыпанный — автор имел случай видеть в Нижегородской губ<ернии>, а также в Виноградской пустыни близ м<естечка> Смелы (Киевская губ<ерния>). Интересные сведения о тайниках см. в книге Кутепова: «Секты хлыстов и скопцов». Казань, 1882 г.

ми гвоздями на них — против лесного зверя, — замыкались воротами, громадными и прочными, хоть тараном в них бей! Между улицей и лесом разбросались землянки, бурые под прошлогодним дерном. На вершине косогора возвышалась часовня с восьмиконечным крестом над крыльцом.

К часовне и направился охотник. Встречные мужики в опрятных армяках и бабы в синих домотканых и дома же крашенных сарафанах отвешивали ему низкие поклоны.

Охотник был первым богачом и мирским воротилою потайного староверческого села Тай. Звали его Василием Осиповичем, прозывали Гайтанчиком. Через него Тай поддерживал сношения с внешним залесным миром. Он переносил от таевцев грамоты к поволжским и московским столпам старой веры и доставлял таевцам ответы и пожертвования. Через него добывали таевцы все, чего не могли выработать домашними средствами: соль, сахар, свечи, медную посуду, оружие. Жил Гайтанчик на два дома: то в Тае, то в уезде. В лесу соблюдал древлее благочестие и чуть ли даже не пророчествовал. В уезде он был приписан к купцам второй гильдии, водил дружбу с начальством, мирщился с «великороссийскими»... Другому бы это не прошло даром, но Гайтанчику люди старой веры охотно извиняли его общение с никонианцами, как необходимую личину. Таевскую тайну Гайтанчик держал крепко. За тридцать с лишком лет существования Тая до властей не раз доходили слухи о скрытом в лесах поселке людей запретной старой веры. Но человек, не посвященный в местоположение Тая, мог найти его, разве лишь вырубив всю огромную лесную площадь, где он затерялся, как иголка в копне сена. Все поиски оставались бесплодными, и власти в конце концов пришли к убеждению, что никакого Тая нет и не было, что он — такая же легендарная небылица, как излюбленный фантазией староверов Китежград или незримые старцы Жигулевских гор. Гайтанчик имел сотни случаев продать

таевцев. Но человек умный и жадный, он сообразил, что никакою наградою не возместить ему доходов с трущобного Тая, и был нем как рыба. Продолжительные и частые отлучки его в леса не возбуждали подозрения: человек торговый, с обширным оборотом по всей губернии... диво ли, что он мало сидит дома? К тому же, после каждой отлучки, он возвращался в город не с пустыми руками, а кому надо и подарочки дарил, и гостинцы привозил. Даже людям, фанатически преданным старой вере, Гайтанчик неохотно показывал путь в Тай. После долгих испытаний и искушений, он вел новобранца крюком верст в пятьдесят-шестьдесят, прежде чем доставлял его к заветной иве. Сподручных работников для его лесных путешествий поставляли ему таевцы: два-три верных таевских парня всегда жили на городском гайтанчиковом дворе. Гайтанчик оберегал не столько Тай, сколько самого себя. Очень уж он боялся, как бы другой ловкач не перешиб у него торговлю. Таевцы, не входя в причины верности Гайтанчика, ценили его надежную скрытность, уважали его и побаивались...

Население Тая состояло первоначально из двух семей, сбежавших от одного нижегородского ханжи-помещика, чересчур уж обрадовавшегося суровостям николаевского гонения и усердно принявшегося уничтожать раскол в среде своих крепостных. Со временем поселок разросся и умножился так, что теперь в нем считалось за сто пятьдесят душ.

Новых людей таевцы принимали неохотно после долгого искуса и за клятвенным поручительством верного человека. А если ненароком заходил к ним, заблудившись в лесу, незнакомый человек, то по испытании, каким крестом он крестится, ему предлагали на выбор одно из двух: либо оставайся на всю жизнь в Тае, — вот тебе земля, дом, хозяйка! — либо камень на шею да в озеро. Это — если путник оказывался христианином старой веры, никонианина же без всяких разговоров пристукивали долбнею по затылку.

Последние посельщики со стороны — двое мужчин и две женщины — пришли в Тай девять месяцев тому назад *.

II

Когда из Волкояра так неожиданно исчезла молодая княжна Зинаида Александровна, а вместе нею пропали без вести трое дворовых, в околотке, между соседями, было много о том разговоров. Все соглашались, что сбежать от полупомешанного деспота было не только можно, но даже должно, особенно княжне, которую он угнетал с нечеловеческою суеверною злобою. Но куда девались княжна и ее путники, никто не мог ума приложить.

Одни думали, что княжна, при помощи дворовых, бежала в Москву или Петербург и не нынче-завтра объявится там под защитою и властным покровительством своей знатной родни; другие — что дворовые были не пособниками, но злодеями княжны: ограбили ее деньги и бриллианты, а ее самое удушили и бросили труп с камнем на шее в какой-нибудь унженский омут.

— Охота воображать такие страсти! — говорили третьи. — Дело гораздо проще. Княжне восемнадцать лет. Она красивая и здоровая девушка. В своем нелепом затворничестве она одурела от скуки и слюбилась с этим Констою — едва ли не единственным мужчиной, имевшим доступ в ее покои. Тем более что Конста — тертый паренек из столицы, беспутный и отчаянный пройдоха, который не упустит того, что само плывет в руки. Страх за последствия романа и заставил всю честную компанию удариться в бега от княжей расправы...

* Легенду о Тае я слышал впервые во Владимирской губ<ернии>, Вязниковском уезде; такие же рассказы слышал я и в Казани в 1887 г.

На самом деле бегство происходило таким образом. Августовскою ночью, в непроглядную темь, Конста вызвал мать и княжну Зину из павильона, где коротали они свои скучные дни, и через лазейку, проделанную в кирпичной ограде волкоярского сада, вывел их к густо обросшей ольхами мертвой заводи на Унже. Здесь в лодке ждал их Михайло Давыдок с своею верною Сибирлеткой. Поклажи с беглецами было немного: мешок еды, два ружья да охотничий припас. Бриллианты и деньги княжны были зашиты в платьях обеих женщин. До самой зари Конста и Михайло неустанно работали веслами, спускаясь вниз по течению. Унжа и теперь река довольно пустынная, а в то время на ней было совсем мертво. Беглецы пролетели верст двадцать, никем не окликнутые, не встретив ни единой живой души. С рассветом они причалили к пологому берегу, над которым, точно зеленая крепость, поднимался старый бор. Остановили лодку на мелком месте, мужчины вылезли в воду по пояс и на руках перетащили женщин и поклажу на сушу. Лодку оттолкнули от берега в трубу и пустили плыть по воле Унжи.

— Не потопить ли? — предложил Конста.

Давыдок не захотел.

— Раньше говорил бы. Теперь за нею плыть — дорогое время тратить. Ничего. Ее самое течением перевернет, либо на корягу наскочит. Пущай плывет — эдак ладнее выйдет, сбивчивей. Нас еще часов пяток, а то и позже, не хватятся. А когда хватятся, не так-то скоро ум приложат, какой дорогой мы убегли. Беспременно будут искать сперва на том берегу — по сухому пути. Тем временем лодку невесть куда снесет: плотин на пути нет, до первой деревни десять верст. Да и то — авось мы в рубашке родились — мужичье прозевает лодку, не догадается словить. Поймают лодку от этого места верстах, скажем, в пятнадцати. Покамест разговоры да пересуды: откуда лодка? чья? — покамест придут вести из Волкояра, покамест пошлют вестового о лодке

к Муфтелю-управителю, покамест князь с Муфтелем надумаются, с какого берега и места начинать облаву, — мы верст пятьдесят уйдем. Ищи нас с собаками!

— С собаками и будут искать, — озабоченно заметила Матрена.

— Ништо! Через Унжу собачье чутье не подействует, а на этот берег не сразу-то всю свору перегонишь. Тоже надо знать, как собачек пускать. Я бы пустил, ну а за мною — вряд ли! Не набеганы они у нас на людей, их каждый звериный след будет сбивать. А мы пойдем мокрыми ногами, по росе, след-то и выстынет. Только бы в первый день не поймали, а то — вот вам крест святой, как солнце сегодня сядет, так и страху шабаш. На завтра уже с развалкой пойдем, а денька через три, даст Бог, и у Тая будем.

— Расскажи ты хоть нам, что за Тай такой. Идем за тобою на веру, а ты нам его сулишь, ровно царствие небесное.

— Место — как место. Люди живут. От начальства схоронились. Давно уже кто в бегах, кто в покойниках числятся, а ничего — давай Бог здоровья! — живут богатеями. Потому — что им, медведям трущобным, делается? От податей, от рекрутчины, от подводчины, от господ, от полиции — ото всего ушли. Редко кому Тай знаком даже из нашего брата, лесного бродяги. А мне вот пофортунило: я у таевцев свой человек.

— Как же ты к ним попал, в такую глушь? — спросила Зина.

— Ненароком, барышня, вы про разбойника Ухореза слыхали?

Мама Матрена что-то сказывала.

— Ухорез, по первоначалу, был младшим есаулом у Фадеича, у того самого, которого по всей костромской и ярославской стороне «сватом Фадеичем» прозывали, — больно уж охоч был устраивать свадьбы и на веселье пировать. Слюбятся девка с парнем, а старики им закону не дают, артачатся...

Что делать? Сбежит парень в лес да — Фадеичу в ноги. А тот денька через два-три и нагрянет в деревню: «Вы что же, старые хрычи, отнимаете у детей долю? Эй, не дурите! А то как бы я вам полдеревни не спалил, да и кони ваши мне приглянулись — хорошие кони!» Отбражничает сговор и опять в лес уйдет. Когда Фадеича разгромили, Ухорез стал сам промышлять на свой страх. Жил он на Немде, окопавшись в старом майдане: дегтярня ли там была, городище ли древнее, — Бог его знает. Промышлял сам-пят с товарищами. Да, по малому времени, я к нему в-шестых пришел.

— Ты, Давыдок? — вскричали женщины, с недоверием глядя на добродушное лицо егеря.

— Я самый. Что же вы дивуетесь?

— Да как же? Какой ты разбойник? Не первый год тебя знаем: тебе муху и ту жаль обидеть.

— Час на час не приходится. На беду и рак свистнет. Нижегородский я. Волжанин. У нас, нижегородских, головы буйные, мозги крепкие, сердца неуемные. Потому что от старой новгородской воли пошли. Характера я — это точно — прямо тебе скажу — смирного, и обидеть меня мудрено. Но, ежели дошла обида до сердца, тогда не мягчи души умильными словами: не прощу! — и грозными словами не пугай: не боюсь! Одна тогда у меня дума и надежда — топор в руке да темная ночь. Меня в ту пору крепко обидел мой старый барин Арбеньев-господин... может, слыхали?.. верст триста его усадьба... Во как обидел! И сейчас-то говорить про его обиду — сердце кипит! А ведь второй десяток лет на исходе тому делу. Ну, что жену свел — это я, хоть горько было, перенес, простил, потому что не силом он ее взял, сама сука-волочайка сердцем на грех разгорелась, умом возгордилась, захотела барскою барыней быть. Но мало ему было, несыти. Сестра у меня подрастала. Анютой звали. Всего-то по пятнадцатому годочку поднялась... Увидал — не пожалел проклятый. Осилил откроковицу. Погубил. Молодой я был, горя-

чий... Сбег к Ухорезу. Он был человек справедливый: крови проливать — ни-ни! Грабил тоже с разбором: господина, попа, ежели жадный, купца али прасола без рубахи пускал, а голытьбы не трогал, — иной раз даже помогал. Барина моего мы разуважили: такого красного петуха пустили, что наследники до сих пор кряхтят — захудали, обстроиться не могут. Выслали на нас команду. Сколь мы не убегали, однако приперли нас к самой Немде. Эдак — река, а эдак — дубки. Стали мы из-за дубков отстреливаться. Долго палили, много народа перепортили, пожалуй, и отстоялись бы, — да убили у нас Ухореза. «Покорись, ребята!» — кричат солдатушки. Товарищи ружья побросали, пали на колени. А я думаю: спина-то у меня своя, некупленая; под плетьми не другому кому, а мне лежать. Да, Господи благослови! — бух в Немду. Вода студеная. Плыву, а вокруг — щелк, щелк, щелк: словно плетью по воде! — свинцовый горох, значит, сыплется. Вылез на берег, припустился бежать. Четыре дня плутал по лесу, ягодой питался, сырой гриб жрал. Отощал. А тут медведя враг наслал. А охотничьего-то снаряда у меня — нож да дубинка. Однако — знать крепко молился за меня мой угодник! — свалил я косматого. Свалил, да и сам пал замертво: поломал он меня, демон, косточки здоровой не оставил. Так на медведе и подобрали меня таевцы. Пришибить хотели. Но ихний уставщик — по-нашему уставщик, а у них он кормщиком прозывается — Филат Гаврилыч удержал: жаль ему стало силы моей; полюбилось, что я убрал медведя один на один, почитай что с голыми руками. «Что вы, — говорит, — ребята? как можно убивать такого богатырищу? Аль на вас креста нет? Лучше возьмем его в Тай да вылечим. Пришибить его, когда понадобится, всегда успеем, а — как знать? — может быть, он еще будет доброю овцою в нашем стаде». Когда же я опамятовался и признался, что я из ухорезовцев, — таевцы и руки врозь: и кланяются, и угощают, и не знают, где посадить. Потому Ухорез

был ихним благодетелем, имел у них самый потайной свой притон и чуть ли не по ихней вере ходил.

— А какая у них вера, Михайлушка? — живо перебила Матрена.

— Как тебе сказать, — не соврать? Попов не имеют, а на счет толка не скажу наверняка. Чудаки, хлысты не хлысты, а как бы на ту же стать тянут. Тоже и попрыгивают на радениях, и постегиваются, и невесть какие росказни тогда плетут — словно вполпьяна. Однако насчет мяса — ничего, не воздерживаются. Да и как воздержаться? Дичины не есть, — чем в лесу живу быть? У хлыстов ведь нашему брату, мясоядцу, с голоду пропасть надо. Чаю со сладкими заедками дуй хоть ведро, но о водчонке и не заикайся. А таевцы, хотя народ претрезвый, ни на что запрета не кладут... И начальство у них есть: свои выборные — уставщик, читалки... у хлыстов так не водится. У них все равны.

Матрена задумалась.

— Веденцы *, что ли? — пробормотала она.

— Кто их знает? Может, и веденцы...

— Я потому спрашиваю, — заметила Матрена, — что маракую по ихней части. Водилась с ними, с хлыстами-то.

— О?! где ж ты с ними спозналась?

— В Костроме. Там ведь исстари ихнее, хлыстовское, селище. Так и в песнях ихних поется: «Дом Божий — Горний Иерусалим — город Кострома, верховная сторона!» Еще сам ихний первоначальник, богатый гость Данило Филиппович, которого они богом-Саваофом почитают, жил у нас в Костроме и в Волге книги утопил: «Что новые, говорит, что старые, — никаких не надо ко спасению, а спасетесь вы, люди, моим живым духом...» Мне и дом показывали, где он оби-

---

* Хлыстовская секта, распространенная в тридцатых годах в Закавказье, повлиявшая и на русский раскол. В. Андреев в книге «Раскол и его значение в народной русской истории» зовет веденцов духовными прыгунами, трясунами и духовидцами.

тать поволил. Так и называется — «Божий дом»... Так вот, как муж-от у меня помер, есть было нечего, да вон этот, — она кивнула на Консту, голодный рот на шее... Тут одна однодворка (из достаточных бабочка, Авдотьей Ивановной звали *) стала ко мне похаживать. То булку принесет, то чайку, то сахару. И все жалеет: «Горемычная ты, Матренушка! маешься в греховной слепоте, оттого и нет тебе счастья в жизни. Вот кабы ты приобщилась к «людям Божиим» и была осиянна светом истины, — всего бы у тебя прибавилось в изобилии». — «Матушка! — говорю, — да зачем же дело стало?.. Чем хошь меня осияй, только бы мне с моим сиротой сытыми быть».

Принялась она меня учить да наставлять: хлыстовка вышла, как есть сущая фармазонка; в костромском корабле «сосудом избранным» слыла... И только бы, только мне самой быть принятой в корабль, как пришли гонцы из Волкояра: взял меня князь ходить за Зинушкой. А сказки ихние все знаю! — о богатыре Аверьяне, который на Куликово поле людей Божиих с Мамаем нечестивым драться водил и там голову сложил; об Иване Емельяновиче, как он Ивана Васильевича, грозного царя, застращал и Христом ему показался; о Настасьюшке Карповне, как она, в тюрьме сидя, царицу Анну Ивановну не простила, и та, от Настасьюшкина непрощения, в три дня померла. О всех старых «живых богах» всю подноготную рассказать могу. О живом Саваофе, богатом-богатине Данило Филипповиче, о богородице Акулине Ивановне, которая будто бы царица Елизавета была, о Христе — Иване Тимофеевиче.

— Ай ли? — радостно вскрикнул Михайло, — молодец-баба! дорогого стоишь! Стало быть, мы мало что не пропадем, а еще и в почете будем... Ходи веселей, тетка! да старину-то в мозгах перетряхни — пригодится! А чего не

* Личность историческая... пропала без вести в 1845 г.

вспомнишь, сама соври поскладнее. Я в зиму, когда жил в Тае, пробовал эту штуку... Только плохо у меня выходило: человек я темный, слов хороших не знаю... А ничего, иной раз и у меня знатно сказывалось. Ну, да мне голос помогал. Запутаюсь в речах, защелкнутся мысли, — выручай молодец горлышко. Как гряну им стихиру, — рты поразинут, растаяли. Не знают, где посадить, чем угостить. Мудрости в пении тем более никакой нет: церковных молитв таевцы не любят, все свои стихиры на голоса мирских песен поют... Одна беда, — продолжал Давыдок, шагая по мшистой поляне, — забраться в Тай нетрудно, а выбраться будет не легко! Не любят таевцы, чтобы народ от них выходил в мир. Меня, когда я впервой уходил от них, выручил тот самый уставщик, о котором я вам рассказывал. Ежели жив еще старина, — и теперь будет наш друг. А уж куда древен! Я чаю — под все девять десятков. Добрый. Заскучал я по миру. Он меня и спрашивает: «Что, Михайлушка? генерал Кукушкин бродуна в лес зовет? на волю захотел?» — «Смерть, как захотел, Филат Гаврилыч! Хоть удавиться». — «Что ж делать-то? потерпи! отпустить тебя не можем: проболтаешься о нас в миру — худо нам будет». Стал я божиться и клясться, что буду немее рыбы. Подался Филат Гаврилыч... Говорит: «Присягнуть в том можешь?» — «С моим удовольствием. Потому какой же мне расчет есть вас выдавать. Я человек скитающий, ухорезовец, от полиции бегаю, а у вас всегда могу иметь приют без всякой опаски...» Согласился уставщик, что речи мои правильные... «Коли так — ладно! жди себе милости!..» На первом же раденье покатился мой Филат покотом: корчи, пена у рта, глаза вылезли на лоб... Таевцы рады — взметались, орут: «Накатил! накатил!» Начал Филат выпевать:

Уж ты, верный мой Тай,
Живи да поживай,

Мир светом награждай!
Мир покорствует врагу,
Пошли верного слугу,
Чтобы мир просветил,
Ко Таю приютил...

Да с этими словами — ко мне: «Радуйся, рабе! в мир идти тебе...» Тут сейчас все — в ноги мне: значит, я сосуд избранный, если мне от Духа вышло такое указание. И с этого вечера — не то что меня задерживать, а еще поторапливать стали: «Чего сидишь — не уходишь? не ответить бы нам за твое промедление!..» А когда я уходил, наградили меня и деньгами, и одеждой... добрые ребята. Положим, на что им в лесу деньги? Игрушки! Но мехов, шкурья всякого у них — до ужасти. Коли в наших лесах куница вывелась, а таевцы ее еще и посейчас бьют. Стало быть, глушь!

— Приводил ты потом кого-нибудь к таевцам? — спросил Конста.

— Сколько раз. Как зима прохватит без хлеба и одежи, так, бывало, и плетешься в Тай, и товарища ведешь с собою, — вот, мол, новая овца... Знамое дело, выбирал из ребят, которые понадежнее. Иным Тай так полюбился, что не захотели возвращаться в мир: по сю пору там живут, семьями обросли. Даже из Волкояра к ним не раз хаживал, — просто уже так на побывку, чтобы старая слава не заросла мохом... Антипа-Пчелинца, Божьего старичка, таевцы тоже знали и очень почитали его, хотя и думали, будто колдун. Нам его имя на пользу будет. Однако вот уже четыре года, как я в Тае не гостевал. Поди, много знакомцев перемерло. Да это — наплевать. Только бы Филата Гаврилыча застать в живых.

Лес все густел. Огромный зеленый мир отделил беглецов от Унжи... А в Волкояре спали еще спокойно, ничего не предчувствуя, никакой беды не предвидя.

III

На крыльце новосрубленной избы — одной самых нарядных в Тае — стояла молодая женщина. Прислонясь к витому столбику крыльца, она лениво щелкала подсолнухи, безразлично глядя вдаль большими серыми глазами.

В избе между тем было не совсем ладно. Через сени доносились голоса мужчины и женщины, крепко повздоривших между собою.

— Наплевать же, коли так! не хочешь, — не надо! и одни не пропадем, — крикнул злым тенором мужчина и, хлопнув дверью, вышел на крыльцо. Вслед ему раздался сердитый, насмешливый хохот. Вышедший дышал тяжело, и гневный румянец играл на его лице.

— Дьяволы! право, дьяволы! — ворчал он, садясь на ступеньки.

Женщина села рядом с ним и ласково положила ему руку на плечо. Она совсем переменилась, как только он появился на крыльце: лицо ожило, глаза засветились...

— Что, Конста? опять поругался с мамой?

Конста отчаянно махнул рукою.

— Да разве с нею сговоришь?! Одурела она, сидя здесь в трущобе с фармазонами. Как пень! ничем не сдвинешь. Уперлась на своем: «Мне и здесь хорошо, никуда я дальше не пойду и не поеду, от добра добра не ищут... чего вам с Зинкой не сидится на месте? На воле князя Александра Юрьевича сыщики по всей Волге рыщут, а здесь мы — как у Христа за пазушкой, в раю. Куда вас тянет? Сами не знаете!.. Сыты, обуты, одеты, любиться запрета нет; люди вас по мне почитают, в пояс вам кланяются...» Тьфу! да нешто мы за тем из Волкояра уходили, чтобы весь век смотреть сквозь болотную дыру на сосны да ели?.. Я и то тебе, Зинушка, удивляюсь, как ты еще меня с утра до ночи не пилишь пилой: обещал показать весь свет, а взамен того усадил в бучило...

Зина засмеялась.

— Право, так!.. «Почет», — говорит... Ну как же! пророчица... находит на нее, вишь ты, — «накатывает». И откуда в самом-деле взялось?! «Аще» да «абие», «елицы» да «не пецытеся»... Врет такое, инда у самой, поди, от страха дух занимается. А эти, — Конста презрительно кивнул на улицу, — слушают, разинув рты: «Матушка, ты наша! свыше тебе это... духом... свыше накатило!..» Верят. Что дивного? Во вранье лиха беда начало, а там до того доврешься, что и сам себе верить начнешь... Погоди: и впрямь себя позабудет — и пророчицей, и Богородицей вообразит. Только я-то уж — дудочки! совесть имею. Ни в пророки, ни в Христы! На смелое дело — куда хочешь, но морочить умы человеческие шарлатанством — с души воротит. Что греха! что ответа на себя берет! У! глаза не смотрели бы... Зинка, голубка! сказывай правду, не скрывайся: очень тебе тошно здесь?

— Конечно, тоскливо... ну да в Волкояре хуже было... Здесь все же воля.

— Какая воля, Зинушка? какая воля?! Мы вон при людях даже по имени не смеем назвать друг друга. Ты в Натальи, я в Митьки попал... Крещеных имен лишились... какая тут воля? Запрятались — медвежье племя — сюда в леса от начальства, а сами промеж себя устроили такую каторгу, что и заправская не хуже. Одни ихние раденья да постные речи могут иссушить человека... А Гайтанчик?! Ух! вот на кого у меня руки чешутся... Что он — все еще пристает к тебе? — угрюмо спросил Конста, понижая голос.

— Пристает, — с искренней досадой отозвалась молодая женщина. — Намедни у колодца... мало-мало я его ведром не хватила...

— Не ведром, а колом бы его следовало! — ворчал Конста, — ишь, девушник! А ведь какое благочестие на себя напускает... Эх! кабы таевские старцы не дубье были, нача-

лить бы им, да началить этого Гайтанчика лестовками да вервами * сперва с утра до вечера, а потом с вечера до утра. Однако это дрянь-дело, что он к тебе лезет... Ты с ним держи себя на политике. До баловства не допускай, а насчет ведра оставь! Погоди. Распутаемся мы с ним в своих делах, — тогда и ведром можно...

— Да что с ним нежничать-то? что он за власть такая?..

— Не власть, Зинушка, а хуже. Нужен он нам, крепко нужен. Он — медвежий паспортист.

— Что-о-о? — Зина расхохоталась, — нешто у медведей паспорта бывают?

— У медведей не бывает, а есть такие люди, что состоят хуже, чем на медвежьей линии: вот как мы с тобой. Имто и мастерит Гайтанчик паспорта.

— Фальшивые?

— Известное дело, ненастоящие. Но у него это тонко поставлено. Чиновника какого-то имеет в товарищах — тот ему и форму всю соблюдает, и печать заправскую прикладывает... Барыши дуванят: пол на пол. Гайтанчиковы паспорта, хоть и дороги, да хороши — без промашки. За то и гуляют по всей Волге: все раскольничьи попы по ним бегают.

— И нам он работает?

— Мне, тебе и матери. По пятисот целковых от паспорта взял. Да вот пятый месяц за нос водит. Спасибо еще, что я догадался перерезать бумажки. А то бы и вовсе надул, пожалуй... На половинках-то далеко не уедет.

— Поэтому, как только Гайтанчик выправит нам паспорта, мы и уйдем.

— Да, если мать согласится. Без ее воли таевцы нас не отпустят.

---

* Верва — род полотенца, которым «люди Божьи» повязываются на своих радениях.

— Значит, здесь нам с тобой и век свековать. Никогда мама Матрена не согласится. Ты и споришь с нею напрасно. Только портишь себе кровь. Ведь надо же правду сказать: живет она здесь, как сыр в масле катается. Королева! Хочет — казнит, хочет — милует.

— Да что за сласть королевствовать в трущобе?

— На вкус и цвет товарища нет. Опять же... все что ли сказывать?

— Ну?

Зина засмеялась.

— Парни таевские очень ей по сердцу пришлись. Романы развела.

— Тьфу!.. на пятый десяток повернула баба, — пора бы и бросить дурь.

— Кто же ей даст эти годы? Она еще — хоть куда. А потом... не очень осуждай! Посидел бы ты, как мы сидели в волкоярской клетке. Нехотя сбесишься! Не диво, что, когда вырвешься на свободу, так разгуляешься, как конь без узды... Неволя чудеса делает. Кабы не она, разве гуляли бы мы с тобой по дремучим лесам? Хитер, умен папаша, а сам своими руками выдал меня тебе. Держи он меня, как следует держать дочь, ты бы не смел на меня глаз поднять... и ведать бы я не ведала, каков таков Конста живет на свете.

— Не говори так! — хмуро перебил Конста, — не люблю я...

Зина, смеясь, легла ему на плечо.

— Чего не любишь, глупый? Твоя ведь, вся как есть твоя. Никто не отнимет — не бойся! Ничего для тебя не пожалела, имя свое забыла, из дому ушла... чего еще надо?!

— Чего же Давыдок смотрит, если мать гуляет? — заговорил Конста после долгого молчания.

— Да ведь его в Тае почти никогда не бывает... Сам знаешь, каков он: третий день, как пропадает в лесу. Вон и теперь ушел в лабаз — медведя подсиживать... Да и глуп он. Верит.

— А что, если бы ему рассказать? — нерешительно пробормотал Конста.

Зина покачала головой:

— Полно-ка, что выдумал! Будто ты его характера не знаешь? Хочешь подвести под нож родную мать? Нет, ему не рассказывай, а маму Матрену пугнуть им, пожалуй, можно. Сама, мол, сиди в Тае, сколько хочешь, а нас отпусти. Не отпустишь — мы тебя уличим перед Михайлой... будет тебе от него и на орехи, и на подсолнухи!

— Да, это можно…

— Я так думаю: она не отпускает нас потому, что ей жаль денег.

— Ну да. И камушков этих твоих, брильянтов. Дернул же черт нас сдать ей все на руки. Вот времена-то! Родной матери верить не приходится.

— Откупиться бы как-нибудь? Хочешь, я с нею потолкую? Договоримся, поделимся...

— Своим же добром?! — горько усмехнулся Конста, — за что? за какие радости?

— Как же иначе-то? Сделали глупость, — надо выпутываться. Она особенно брильянтами дорожит; очень уж она утешает ими таевцев... Над деньгами так дрожать не будет.

Конста молчал, злобно постукивая ногою.

— То есть, никогда я не прощу себе, что позволил Давыдку затащить нас в этот проклятый Тай! — вырвалось у него.

— Полно-ка! Если бы не Тай, где бы мы облаву переждали? У папаши денег довольно — хоть всю полицию по всей России на ноги поднять. Ты за меня не тревожься, будто мне скучно. Я уже не та, как ты меня из Волкояра увел. Воля ум дает. Понимаю, что об Одессе да о новых местах были только наши тюремные мечты. Спасибо, что вырвались... А теперь будем жить, как жизнь ухватить себя дается.

— Ну нет! На это моего согласия нет! Я — что в мечте наметил, к тому и пойду. Не мне жизнь, а я жизни должен быть командир.

Затихли.

— Темнеет... ужинать, что ли, да и спать? — зевнула Зина.

— Известно... Что же еще делать в этой мурье? Ползи по щелям, тараканы!

IV

Самолюбие Гайтанчика было сильно задето любовными неудачами у «Натальи-Чужачки», как звали Зину таевцы: беглецы, кроме Михайлы Давыдка, хорошо знакомого в селе, скрыли свои настоящие имена. Баловень и кормилец Тая, Гайтанчик был любимцем сектанток. Он либо подкупал их гостинцами, привозимыми из города, либо морочил фантастическою болтовней на радениях, и потому ему легко давались «духовные супружества», — подводный камень хлыстовщины, самобытной отраслью которой, мутно и грубо смешанной с остатками старой двуперстной обрядовой веры, была таевская секта. Редкая девушка в Тае минована хитрых лап его: он бил сороку и ворону, и ясного сокола, не пропуская ни красавиц, ни дурнушек. Мужчины на то не сетовали, а если и сетовали, то помалкивали. Ревность была не в правилах Тая, так как браки считались явлением лишь терпимым с грехом пополам, но отнюдь не желательным и непременным. «Девка — от Бога, баба — от дьявола». Идеалом секты было «посестрие», безбрачный союз, в котором мужчины и женщины жили бы как братья и сестры, в ангельской любви, чуждые плотских помышлений. В действительности же этот идеал сводился к тому, что самым мудреным делом в Тае было бы обрести девственницу старше пятнадцати лет. Таевцы, как и другие «люди Божьи»: купидоны, подрешет-

ники, — умели извинять свои грехи затейливыми толкованиями текстов. «Не согрешишь — не покаешься; не покаешься — проклят будешь!» — глубокомысленно говорили *кормщики*. Радения почти всегда переходили в разгул с гашением огней и «христовою любовью». Тем более, что таевцы — не в пример другим «людям Божьим» — не брезгали хмельным возбуждением. Водка была в редкость, но брагою хоть окачивайся.

Волкоярские беглецы появились в Тае в отсутствие Гайтанчика: он ездил в Астрахань по торговым делам. Вернулся месяца через полтора, — и не узнал Тая: так успело вырасти на селе влияние Аксиньюшки-странницы, в которую превратилась на таевской почве речистая Матрена-Слобожанка. Поладив с уставщиком Филатом Гавриловичем, она одурила сектантов своими складными присказками, восторженным враньем о снах и видениях, предсказаниями и исцелениями. Как ни досадно было Гайтанчику, а приходилось стать на второе место: он упустил время бороться с Аксиньюшкой; за нее стояло уже с полсотни фанатиков, видевших в ловкой обманщице сверхъестественное существо. Да еще Михайло... Гайтанчик знал, что за птица богатырь-ухорезовец. И Конста, на взгляд, тоже парень не из робких. Пока таевский воротила раздумывал, какой политики держаться ему с этой точно из тучи свалившейся семейкой, Аксиньюшка сама пошла к нему навстречу и предложила мир и союз вместо вражды и борьбы.

— Ты, Васильюшка, не сумлевайся, — откровенничала она за бутылкой сладкой наливки. — Ни обижать тебя, ни верха над тобою забирать, ни убыточить тебя — мы и в мыслях не имеем. Тай богат: и на тебя, и на меня хватит. Коли мы поссоримся, — пожалуй, мне, пожалуй, тебе, а вернее, что обоим будет плохо. А ежели поладим, оба свою пользу получим: рука руку и вымоет.

На первом же после этого объяснения молитвенном сборище Василий Осипович повалился в ноги Аксиньюшке.

— Простите меня, братцы милые! — вдохновенно восклицал он, — ввел меня враг в сомнение: по правде ли вы ходите, почитая Аксиньюшку-странницу. Велико было мое согрешение! Имел я со Аксиньюшкой тайную беседу. Все сокровенные мысли и дела мои она мне поведала... кровные мои того не знают, что она вчуже духом возвестила. Воистину со облак труба живогласная!

Понятно, что покаяние богача еще выше подняло Аксиньюшку в глазах фанатиков и привлекло к ней многих из тех, кто еще колебался. В Богородицы возвести ее еще не решались, — вернее, у самой Аксиньюшки как-то язык не повернулся назваться. Но почитали ее величайшею пророчицею, какая только когда-либо являлась со времени старых «живых богинь»: Акулины Ивановны, Настасьи Карповны, Марьи Босой, Настасьи-Зимихи, Арины-Верижницы. Живая, ходячая — Книга золотная, Книга животная, Книга голубиная. В ней, книге, сам сударь Дух святой.

Убедясь, что Аксиньюшка — его поля ягода, Гайтанчик сам убеждал ее возвыситься и произвести себя в Богородицы, покуда не объявила себя таковою какая-нибудь другая лукавица.

— Не молоденькая я, — не решалась Аксиньюшка. — Веры не имут.

— Помилуйте, матушка Аксинья Федоровна! Как веры не взять? Что ваши за годы? Когда матушка Арина Нестеровна Суслова родила батюшку Ивана Тимофеевича, ей было сто лет!

— Эти сказки сто лет назад хороши были. Ныне народ умудрился.

— Ну так сношку свою богоданную, Наталью Андреевну, посвяти!

— Что ты! что ты! — испугалась Аксиньюшка. — Ты Васильюшка, сына моего не знаешь. Он за Натальюшку и на нож посадит.

— Не посадит, коли весь народ приговорит.

— Да и его в петле на горькой осине видеть мне нисколько не желательно.

На «Натальюшку» Гайтанчик сперва не обратил внимания. Красавиц в Тае было не занимать стать, а Зина пришла на зимовку измаянная усталостью, волнением и опасностями лесной дороги, да еще — в том положении, которое более всего отнимает красоту у женщины. Загар, худоба и нескладно-полный стан уродовали ее до неузнаваемости.

В феврале Зина родила сына. Она не желала не только полюбить его, но даже и взглянуть на него. Повитуха, значительно подмигнув «Аксиньюшке», завернула дитя в тряпки, унесла... а когда Зина оправилась, ей сказали, что мальчик ее родился мертвым и давно уже закопан под сосною в лесу. Зина оказалась матерью не из чувствительных, — даже не заплакала, встречая эту весть. Зато Конста скрежетал зубами. Он с нетерпением ждал ребенка, гордился им, успел заранее полюбить его, как любил самое Зину...

— Враки это, что он мертвый родился, — рычал он сквозь слезы, — я слышал, как он вскрикнул...

— Петуха ты слышал али котенка, а не дитя, — сухо возражала ему Матрена.

— Мать, не лги. Грех тебе!.. Удушили вы его...

— Так! Нашел душегубку! еще что придумаешь? Удушили? кому надо?

Он упросил повитуху указать ему место, где зарыли его сына. Та помялась немножко, сбегала за советом к «Аксиньюшке» и привела Консту к маленькому бугру в молодом сосновнике.

— Вот здесь.

Конста посмотрел старухе в лживые глаза и промолчал, сделав вид, будто верит. Сотворил молитву, положил на бугор крест из мелкого булыжника... Но на другой день пришел к бугру уже один, с лопатой. Сколько ни рыл, ничего, кроме

кремней и корней, не нашел: никогда и никто не работал здесь заступом. Крепко задумался Конста:

«Куда же это они его девали? почему не хотят показать места?»

Мороз побежал у него по коже. Он вспомнил смутные слухи о полуязыческой хлыстовщине старых времен, рассказанные ему матерью и Михайлой. Иные секты убивали своих детей, другие — чужих: трупики сжигали в печи, а пепел распускали в вине и этим месивом поили новичков «святого круга»... Неужели и прыгунки Тая держатся такого изуверства?.. С этих пор он стал за много сажень обходить «Сионскую горницу», а на радения — ни ногой, так что самые усердные из таевцев начинали на него коситься.

— С чего ты растосковался? В толк не возьму, — недоумевала Матрена. — Ну было дитя и нету, — эка невидаль! Вы с Зинаидой люди молодые: другого дождетесь. А сейчас и прекрасно, что помер. Вы вон идти куда-то затеваете... Ребенок связал бы вас по рукам и ногам; нет поклажи хуже этой!

Но Конста мрачно отмалчивался. Его беззаботная веселость улетела, и он чувствовал, что ей не вернуться, пока над его головой будет висеть серое небо ненавистного Тая. Однако выздоровление Зины немножко оживило его. Зина болела недолго. Когда она совсем оправилась и вошла в тело, Гайтанчик увидал ее и ахнул, глазам не веря: так она похорошела. Привыкнув к легким победам, тайский султан не сомневался, что «Натальюшке» против него не устоять. Он — сила в Тае, богач, умница, молодец из себя; и говорить, и подарить, и приласкать, и пригрозить мастер. А эта красавица, кажется, из немудреных по уму, да и вряд ли слишком бережет себя, если не брезгует любить прощелыгу-молокососа. Отбить ее не трудно.

Но Гайтанчик не знал — ни кто такие «Натальюшка»-Зина и Конста-«Дмитрий», ни как они слюбились. Зина не

умна, Зина себя не уберегла, — это верно. Не любовь, а скука и случай отдали ее Консте. Но мало-помалу бойкий, бесстрашный, решительный Конста увлек Зину деятельною страстностью своих мыслей, слов и поступков; подчинил своему влиянию ее ленивую и ограниченно-упрямую голову. Зина безмолвно признала в нем хозяина и привязалась к нему, как дикая лошадь к укротившему ее объездчику. Конста отвечал беззаветною, самозабвенною страстью. Он не унижался пред любовницей, не ползал у ног ее рабом, ждущим ласки, как милостивой подачки. У этого парня хватило характера не растеряться от счастия, выпавшего на его долю. Он держал себя главою, обращаясь с Зиной с ласковою грубоватостью влюбленного победителя. Он приказывал, а повиновалась она. Но вместе с тем Зина знала, что ради нее Конста зубами перегрызет горло хоть родному брату; а если бы она ему изменила, он не задумается перегрызть горло ей самой. Энергия, с какою Конста вырвал Зину из постылого родного дома, его храбрость и нежность во время трудного лесного перехода, — все это отозвалось в душе Зины почти восторженным удивлением. Конста не умел нежничать, но умел любить и защищать любимую женщину; он заставил ее уважать себя. Беременность еще больше развила в Зине чувство неразрывной принадлежности отцу ожидаемого ребенка. Привязанность обратилась в страстную преданность. Конста со своей стороны об одном думал, — как бы поскорее сделать Зину свободной, богатой и счастливой, чтобы она никогда не пожалела, что доверила ему свою судьбу.

Так любили они друг друга — грубо, но крепко и прочно. Гайтанчик сунулся в воду, не спросясь броду. Зина и смотреть на него не хотела. Зато Конста стал так поглядывать на медвежьего паспортиста, точно говорил глазами: «Хороший ножик за голенищем припас я про тебя, приятель!»

Гайтанчик был не из трусливых, считался силачом и ловкачом, и терпеть не мог отступать от однажды намеченной

цели. Долго ломал себе голову: каким же наконец способом покорить упрямую красавицу, — и нашел.

V

Когда беглецы пришли в Тай, Михайло Давыдок, — опасаясь, что если таевцы узнают, кто такая Зина, то побоятся принять ее к себе, — сочинил при помощи Матрены довольно складную историю, как и откуда взялась их молодая спутница. Таевцы считали «Натальюшку» купеческой дочерью, которая так разревновалась о правой вере, будучи просвещена в ней премудрой «Аксиньюшкой», что ушла за нею из родительского дома в неведомое странствие. А там «дух» указал ей в лице «Митрия» — то есть Консты — духовного супруга... Такие случаи в старом Поволжье бывали не в редкость. Что касается до самой «Аксиньюшки», то об ее происхождении никто не спрашивал; она сразу слишком ошеломила таевцев, как вошла в село, поющая, восклицающая, прорицающая, с откровениями на вдохновенных устах, с пламенными удивительными речами, лепетами и бормотаниями. Она называла по именам никогда не виданных ею таевских мужиков и баб (всю дорогу по лесам твердил ей Михайло Давыдок приметы своих старых знакомцев); рассказывала давние таевские были и превосходно исцелила двух скитниц, бросившихся к ногам ее, умоляя о помощи. Ко всему вдобавок, в Тай она прибыла необыкновенно вовремя и кстати, чтобы прекратить начинавшийся раскол, так как некий Федот Муруга поднял старый и вечный во всякой хлыстовщине вопрос:

— Иконы мы отметаем. А надобен ли крест, и правильно ли поступаем, творя крестное знамение?

И учил, что — нет, ибо крест есть орудие казни Христовой:

— Аще кто царева сына убил крестом-древом, может ли древо то любо быти царю? Тако же крест Богу.

За Муругу стояло несколько дворов, за крест — весь Тай. Смута и склока была великая. Уже дирались, а ругались, состязаясь в словопрениях, изо дня в день, зауряд. Аксиньюшка победила еретичествующего Федота не текстами, но практическим вопросом:

— Человече! — рекла она. — Как же ты, в лесу живя, крест отметаешь? Чем же ты от себя лешего отженишь? Или ты уже и в лешего не веришь?

Такого дерзновения, чтобы не верить в лешего, Федот Муруга на себя не принял. Тогда его немножко побили, и он раскаялся.

Все эти знамения установили чудесность Аксиньюшки слишком очевидно. Перед нею благоговели; допытываться ее тайн считали грехом, опасным дерзновением. Сами беглецы держались осторожно и скрытно, а Зина к тому же и по натуре была не из говорливых.

Гайтанчик в первое время пробовал расспрашивать беглецов обиняком и прямо. Зина упорно молчала, Конста хитро вилял языком, а Давыдок раз навсегда отрубил коротко и ясно:

— Отойди ты от меня, распостылая душа, покуда цел! Или первый год знакомы? Пора тебе знать мой характер. И при этом выразительно показал свой богатырский кулачище.

Матрена же, хотя кулаком не грозила, но зато несла несуразную околесицу о горных странах, молочных реках и кисельных берегах; Гайтанчик, как ни был привычен к вранью «святого круга», впадал под градом этого пустословия почти что в столбняк и лишь беспомощно хлопал глазами. А Матрена смотрела на него загадочно и насмешливо.

— Что, мол, друг, каковы мы? Вот ты нас и раскуси.

— И раскушу! — с мысленною злобою возражал ей Гайтанчик.

В качестве купеческой дочки, изнеженной в богатом доме, Зина пользовалась в Тае большими льготами, — ее не заставляли работать, так как она считалась на послухе у матушки «Аксиньи», а это, по согласию с уставщиком, насколько было возможно, удаляло ее и от радений, безобразия которых при красоте Зины и ревности Консты, действительно, могли бы в один печальный вечер разрешиться весьма неприятно. Таким образом, Зина была в Тае ничуть не меньше барышнею, чем в Волкояре, а скорее больше: здесь она могла ходить, куда хотела, видеться и говорить, с кем хотела. У нее завелись на селе приятельницы... От одной из них она возвращалась в сумерках домой, как вдруг, в узком проходе между двумя плетнями, перед нею, точно из-под земли, вырос Гайтанчик.

— Доброго здоровья, Наталья Андреевна, — сказал он, вежливо сняв картуз, но вместе с тем поставил ногу через тропинку так, чтобы Зине никак нельзя было его обойти.

— Пропустите меня, Василий Осипович, — с сердцем сказала молодая женщина, убедившись, что Гайтанчик задерживает ее нарочно.

— Мне вам два словца надо молвить, Наталья Андреевна, — продолжал Гайтанчик, не отнимая ноги. — Что же, так промеж нас по-прежнему и будет?

— Чему быть-то, коли ничего и не было? — Зина гневно пожала плечами.

Гайтанчик засмеялся:

— И за что ты меня любить не хочешь, — ума не приложу. Всякая девка в Тае рада была бы, кабы я взял ее во внимание, а ты от меня нос воротишь... Чем плох? Чем лучше меня твой Конста?

Зина вздрогнула... Гайтанчик смотрел на нее с усмешкой:

— Что? Видишь, каков Василий Осипов! От него, друг, не укроешься, каким именем ни назовись. И про Консту я все доподлинно разведал, и про тебя, ваше сиятельство, княжна Зинаида Александровна, слухом земля полнится.

— Молчи! — удушливым шепотом прервала его Зина.

Даже в сумерках Гайтанчик видел, что она побелела как мел.

— Вот видишь, — заговорил он, понизив голос, — я человек сильный и обижать меня, как ты обижаешь, — не дело. Знаю все: как вы ушли из Волкояра... А ведь отец-то тебя ищет...

Зина в изнеможении оперлась о плетень. «Отец тебя ищет». Весь стихийный ужас, вся необъятная ненависть, какую чувствовала она к отцу, но позабыла в спокойной таевской жизни, вспыхнули с новой силой...

— Чего же тебе надо? — глухим голосом спросила она Гайтанчика.

— Известно чего... Не дурак: коли не по нраву я тебе, так небось хозяйкой не зову и не возьму. А только отступиться мне от тебя — никак невозможно...

Он протянул руки, желая обнять Зину. Она выпрямилась и крепко ударила его по рукам.

— Пошел прочь... скотина! — крикнула она.

Глаза Гайтанчика засверкали:

— Ого! вот как? Так ты и теперь еще будешь кобениться? Ладно. Только знай: если ты мне не покоришься, я ни тебя, ни Тая не пожалею. Прямо вот с этого места ударюсь в лес, а через сутки-другие будут здесь солдаты, и уж выпутывайтесь вы с Матреной и с Констой у старого князя, как сами знаете... Он вам шкуры-то поспустит.

Зина не отвечала... Гайтанчик приблизился к ней и вкрадчиво заговорил:

— А кабы ты меня послушалась, тебе не худо будет. Я ведь знаю, что и тебе, и Консте твоему Тай опротивел пуще Волкояра. Только уйти вам некуда: беспаспортные вы. Давно уже Конста просил меня купить ему паспорта. Признаться, я и купил, и с месяц уже лежат они у меня в суме, да все сумлевался отдавать ему... Думал — может, на что и самому пригодятся... Ан, так на мое и вышло.

Он полез за пазуху, в карман поддевки, и вынул бумаги.

— Видишь: все есть — и печати, и подписи... Хоть на государственную службу поступай по таким видам... Конста дал мне за них на полторы тысячи половинок... дьявол с ними! пусть другие половинки пропадают! Вот каков широк Василий Осипов! Я тебе даром отдам паспорта... только прибеги в вечеру на мое гумно, что у болота... Придешь?

— А если не приду? — шепотом, сквозь зубы, сказала Зина.

— Тогда вот тебе мое слово: не знавать бы мне ни отца, ни матери, коли я не наведу на Тай начальства, а допрежь того порасскажу таевцам, что вы за птицы и под какую беду подвели их обманом. Много ли от вас останется, как народ примется вас трепать?

— Кто тебе поверит?! — отозвалась Зина.

— Поверят, небось, не на дурака напали. Тоже в городе чиновников знакомых имею. Дали мне и бумагу казенную с печатью, чтобы задержать вас, коли где встречу, и приметы ваши все в той бумаге описаны. Сколько ни ври твоя Матрена «духом», а дух, брат, против казенной бумаги ничего не стоит. А что ты, может быть, думаешь что я Тая пожалею, того не воображай. Потому с какого беса мне его жалеть? Народ пустой и глупый, и торговля по нынешнему времени пошла самая жидкая... Укажу притон, — начальство взыщет меня своими милостями, медаль повесит.

Зина глядела в землю и что-то соображала. Под сумерки лицо ее не было уже ясно Гайтанчику; но ему казалось, что она колеблется.

— Скоро ль приходить-то? — услыхал Гайтанчик ее сдавленный шепот.

— Ой ли! — радостно воскликнул он, — стало быть, шабаш, решено? Придешь? Ай молодец-девка! А я — какое хочешь с меня заклятье возьми — тебя не обману: передам паспорта из рук в руки... Но ежели надуешь, не видать их

вам с Констою, как своих ушей, хоть заплати вы мне не полторы, а полтораста тысяч.

— Приду! — сурово сказала Зина. — Только грех тебе, большой грех, Василий Осипович!

— Полно-ка ты, — самоуверенно засмеялся Гайтанчик, обнимая ее за плечи, — не согрешишь, так не покаешься. Мы грех во грех, а зернышко в рот. Какой грех? Грех — от заповеди, которую Бог полагает. Есть заповедь, — стало быть, и грех против нее есть. Нет заповеди, — и греха нет. А мы здесь в лесу сами себе и боги, и богини, и заповедей на себя никаких не полагаем. Откуда же греху быть? Вон видишь — ту сосну? Как стожары станут над ней хвостом, так и буду тебя ждать... Ладно, что ли?

— Ладно... А теперь пусти меня: меня дома заждались, небось, Конста и так уж ума не приложит, куда я запропастилась. Пусти.

— Так верно твое слово? Не обманешь?

— Где уж обмануть, коли ты такими страстями грозишься?

Гайтанчик с грубой ухваткой поцеловал ее в губы и выпустил из рук.

— Ну, ступай... да помни: жду. Эх ты... хорошая! — весело крикнул он вслед исчезающей во тьме Зине.

А она, добежав до дому, была так взволнована, что не посмела войти в горницу, где, кроме Матрены и Консты, было еще несколько чужих. Она боялась, чтобы ее бледность не показала этим людям, что с нею случилось неладное. Она отворила дверь и, оставаясь в сенях, вызвала Консту.

Конста, выслушав ее рассказ о встрече с Гайтанчиком, ничего не сказал, только зубами заскрипел.

— Так ты говоришь: паспорта у него в кармане? — спросил он, после долгого молчания.

— Сама видела.

Конста злобно ухмыльнулся.

— Ну, если так, быть по его!.. Иди.

Зина всплеснула руками.

— Да что ты, Конста? В своем ли уме?

— Иди, говорят! — настойчиво прикрикнул Конста. — Небось, не пошлю тебя на худо.

— Да ведь он охальник, Конста... Ты подумай...

— Иди. Ничего не бойся. На охальство его управа найдется... А паспорта эти — нам все равно, что жизнь. Хоть разорваться, а достать их надо беспременно.

VI

Ночка выдалась хмурая. Луна в ущербе лениво ползла от тучи до тучи, едва успевая послать земле луч-другой тусклого света. Было сыро и туманно; муть стояла в воздухе. Зина ощупью кралась между хорошо знакомыми ей плетнями. Ни живой души не попалось ей навстречу. Консте пришлось силой вытолкнуть ее из сеней на крыльцо, — так жутко было ей предстоящее свидание. Ее мучило предчувствие грозной, неотвратимой беды. Гайтанчик был ей всегда противен; но теперь — после наглых угроз — она его ненавидела.

«Скорей умру, чем сдамся», — злобно думала Зина.

Поведение Консты сбивало ее с толку. Зачем посылал он ее на свидание с ненавистным ему человеком, развратным и влюбленным в нее? Зачем — если уж нельзя было поступить иначе — не пошел он, по крайней мере, следом за нею, чтобы охранить ее от верной обиды?

Конста вытолкнул Зину на улицу, а сам в ту же минуту точно сквозь землю провалился.

Когда Зина рванулась было назад в избу, в сенях уже никого не было. Она пошла, и, чем ближе подходила к гумну Гайтанчика, тем медленнее становился ее шаг, тем сильнее замирало в ней сердце.

Гайтанчик поджидал девушку, сидя на снопе прошлогодней соломы. Зина молча остановилась пред ним.

— Ага... пришла-таки, — сказал он, и Зина удивилась, как хрипел и дрожал его голос.

— Ну, садись, гостья будешь...

Он взял Зину за руки и притянул к себе.

— Паспорта-то... — прошептала Зина, стараясь отвернуться от взглядов и дыхания своего врага.

Гайтанчик обнимал ее за плечи.

— Паспорта — что? — засмеялся он, — ты не бойся, не надую, вот они здесь...

Он дотронулся до кармана.

— А теперь... ты сперва меня лаской утешь, любовным словом подари.

— Эх, Василий Осипович, — с горькою досадой воскликнула Зина, стараясь сбросить с плеча крепкую руку Гайтанчика.

— Чего там: Василий Осипович! Что я Василий Осипович, о том сорок годов знаю... Ты что-нибудь поновей скажи... Да что ты рвешься? Чем я тебе уж так не люб?

— Не люб!.. да разве эдак — грозою да мукою — станешь любым? Видишь: покорилась, пришла, — потому, как не прийти под смертным-то страхом? Ну, а чтобы любить, это уж прости: сердцу не прикажешь.

— Консту же своего любишь, — угрюмо возразил Гайтанчик, — экое сокровище обрящи!

— Кому плох, а мне хорош. Не по хорошу мил, а по милу хорош. Так-то, Василий Осипович.

Гайтанчик молчал.

— Скажешь: вы без грозы живете? — насмешливо начал он, — не ври! слыхал я тоже, как вы вздорите... Ругает тебя, как последнюю... Княжна!.. Чай, и бивал не раз...

— Пальцем никогда не тронул, — горячо вскрикнула Зина, — грех тебе так говорить, Василий Осипович... А что ссоримся, так это наше дело: между мужем и женою никто

не судья... Да еще я тебе скажу, — разгорячилась она, — кабы и случился такой грех, чтобы побить, так и то полбеды; я бы ему того в вину не поставила. Не со зла побил бы, а сгоряча: меня же крепко любя, от большого сердца... Небось я не забуду, как Конста меня уводил из Волкояра, коли ты уж доведался про это наше дело... Не дурак он был — знал, что попадись он отцу в руки, — грозен мой родитель — живьем скормил бы его борзым собакам. Знал — и ничего не побоялся, на муку и смерть шел — лишь бы меня вызволить из неволи.

— Да в неволю же и привел, — презрительно перебил Гайтанчик, — и сидите вы оба у меня в кулаке, хочу — раздавлю, хочу — помилую. Да так уж и быть! не хочешь любить, — и не надо... Эка, подумаешь, невидаль какая! мало вас, девок, что ли? Я и звал-то тебя сюда больше для того, чтобы покуражиться, поучить тебя, глупую: не зазнавайся, не фыркай на добрых людей... а то уж больно высоко вы со своей матушкой — живые богини болотные — носы святые подняли. На, получай свои бумажонки, — неожиданно прибавил он, небрежным движением вынимая из кармана тщательно свернутые паспорта.

Изумленная Зина приняла их, сама себе не веря: что это вдруг сделалось с Гайтанчиком?

В речах его, кроме глубокой досады, слышалось что-то затаенное, точно он затеял штуку и, себе на уме, ждет, как бы ее половче разыграть... Оба молчали. Гайтанчик снял свою руку с плеча молодой женщины и посвистывал, глядя на бегущие облака.

— Стало быть, мне можно уходить? — робко спросила Зина.

— Известно... — отозвался Гайтанчик голосом скучливым и равнодушным. — На что ты мне? Беги... чай, дома схватились.

Зина радостно поднялась с места.

— Ну, спасибо же тебе, Василий Осипович, — развязал ты меня, освободил от греха мою душу! вот какое спасибо — низкое, до самой земли.

— Ладно, ладно, ступай уж! чего там?.. — отмахивался Гайтанчик, точно от надоедливой мухи.

Зина еще раз поклонилась ему в пояс и пошла... Но едва она повернулась к Гайтанчику спиной, как две сильные руки схватили ее за бока и подняли на воздух.

— Ах! — звонко пронесся по лесу ее вопль.

Гайтанчик швырнул молодую женщину на ток. Сильно ударившись о землю затылком, она чуть было не лишилась сознания. Но страх придал Зине силы. Увидав над собой лицо Гайтанчика, она ударила его в нос кулаком. Разбойник зарычал и схватил молодую женщину за горло. Теплые капли крови падали с его лица.

— Ты так-то... так-то! — шипел озверевший Гайтанчик, колотя Зину плечами о ток.

Он истоптал коленями ее грудь: она уже задыхалась под его железною рукой.

Но из-за овина вывернулось и свалилось прямо на спину Гайтанчика тяжелое черное тело. Озадаченный и оглушенный разбойник выпустил из рук свою жертву и покатился в неистовой борьбе с нежданным врагом. Он сразу сообразил, в чем дело, и ничуть не струсил.

— Врешь, парень, не на таковского напал, — бормотал он, стараясь стряхнуть со своих плеч Консту, а тот, ослепленный злобой и ревностью, тщетно шарил за голенищем, нащупывая припасенный про Гайтанчика нож.

Зина, шатаясь, поднялась с земли и прислонилась к стенке овина. Она совсем обессилела. Рот ее был полон кровью. Она смотрела на катавшихся у ног ее врагов, едва соображая уже, что происходит.

Гайтанчик сбросил-таки с себя Консту, быстрым движением выбил из его руки нож и подмял парня под себя. Не

спохватился Конста: правая рука подвернулась под туловище и онемела, придавленная, — остался Конста с одною левою рукой, а ее Гайтанчик схватил в железное запястье, между тем как пальцами правой руки впился в горло Консты — и всею тяжестью тела на врага своего налег. У Консты кости затрещали. Он понял, что погиб, и, молча, яростными глазами смотрел в лицо врага, силясь вдохнуть как можно больше воздуха, чтобы хоть несколько лишних мгновений вытерпеть давление лапы Гайтанчика. Голова у него хотела лопнуть от прилива крови; жилы опухли; в груди — точно сто кузнечных молотов колотило...

Зина кинулась к нему на помощь, но Гайтанчик ударом ноги отбросил ее к овину. Оглядевшись, Зина заметила на току старый сломанный цеп. Конста глухо захрипел и начал страшно вздрагивать всем телом; Гайтанчик выпустил его обессиленную руку; скрюченные пальцы зря ловили воздух. Гайтанчик, продолжая держать одной рукой противника за горло, другою искал оброненный Констою нож.

Тогда Зина, забежав сзади, с силою опустила цеп на его голову. Гайтанчик ткнулся носом вперед и повалился набок, даже не охнув; но Зина ударила его еще и еще и, только убедившись, что он не шевелится, — опустила цеп, сама не понимая, как все это у нее сделалось. Так стояла она, обессилев, упираясь на цеп, как башня, готовая завалиться, между двумя безмолвными телами, не зная и не думая, что ей делать дальше.

Конста тяжело икнул, и изо рта его хлынула струя крови. Он медленно приподнялся и долго сидел, опершись руками о землю.

Зина подхватила его под мышки. Ей пришлось волоком дотащить Консту до снопа, на котором недавно сидела она с Гайтанчиком.

— Пить, — хрипло сказал Конста; помутившиеся глаза его опять сомкнулись.

Зина опрометью бросилась к болоту. Взять воды было не во что. Она окунула в лужу свой передник и, выжав воду в рот и на лицо Консты, окутала ему голову мокрою тканью.

Понемногу Конста отдышался.

— Ох, умаял же, разбойник, — прошептал он. — А ты не бойся... ничего! теперь все пройдет... Цел буду... маленько кости помяты.

Он встал и все еще нетвердым шагом направился к трупу Гайтанчика.

— Эк ты его как! — он покачал головой, рассматривая в лепешку разбитый череп.

Зина вздохнула и отвернулась, ей было не страшно ни своего дела, ни самого покойника, но стало противно, что он тут лежит...

— Надо его убрать, — сказал Конста.

— Куда? — глухо отозвалась Зина.

— Куда? известное дело, в болото... Занесем подальше по лесинам... Трясина все засосет... Получасу не пройдет, как и следа не останется. Берись что ли, подымай...

— Не осилить... Устала очень... — угрюмо сказала Зина.

Конста вспыхнул.

— Не осилить!.. Коли не хочешь, чтобы народ нас завтра разорвал на клочья, так осилишь...

Зина молча нагнулась к трупу.

До болота было саженей сорок. Но Зине они показались за сорок верст. Чем дальше шли, тем тяжелее становился Гайтанчик... Когда они вступили с берега на путики, проложенные по трясине, Зина чувствовала, что — еще шаг, и она упадет в изнеможении.

— Ну! — грозно прикрикнул Конста.

Она оправилась. Пошли по лесинам, ежеминутно рискуя оступиться, сорваться и вместе с убитым пойти сквозь зыбучую тину на неведомое дно.

— Стой!.. Здесь — верно. На этом месте о прошлой осени Филат Гаврилычев бычок утоп...

Гайтанчика раскачали. Тело тяжело шлепнулось. Трясина быстро схватила добычу и затянула труп даже скорее, чем ожидали убийцы.

Они переглянулись, и у обоих вырвался глубокий вздох облегчения. Но им оставалось еще много работы. Надо было отмыть цеп от крови и мозга и поставить его на место.

— Как же мы пойдем такие? — заметила Зина, — чай, кровь на одежде... увидят...

— Ночью темно... Да теперь никого и не встретим.

Долго еще оставались Зина и Конста на месте убийства. Конста исползал на животе весь ток, стараясь разглядеть при тусклом свете месяца, нет ли где-нибудь кровяных пятен, и затирал их, где находил.

Когда они задворками крались в Тай, кричали уже первые петухи. Только собаки глухо лаяли, чуя их приближение... Ни Зине, ни Консте не было ни жутко, ни совестно совершенного дела. Оба даже сами удивлялись своему равнодушию — каждый про себя.

— Да уж и человек был, — вполголоса проговорил Конста, как бы отвечая Зине на тайное недоумение, — зверюга, разбойник... Собаке — собачья смерть.

Зина ничего не сказала.

— Скажи, Конста, — промолвила она несколько позже, — с тобой случалось это... прежде?..

— Нет, впервой... Дай Бог, и в последний!

Дойдя до своего двора, они влезли в дыру, заранее прорезанную Констой в плетне, которую он сейчас же заботливо заделал. Чуйку свою он зарыл. Все это заняло довольно времени. Уже светало, когда Конста, — с зеленым от бессонницы и потери крови лицом, — вошел в клеть, куда Зина проюркнула тотчас же, как только очутилась во дворе. «Чай, дрожит, бедненькая, одна-то да мается», — думал

он, — и даже руками развел от удивления: Зина спала спокойным сном...

— Ну, девка! — пробормотал сквозь зубы Конста, — характерец... Княжеский!

Но княжеский характерец тут был не при чем; сам Конста едва успел раздеться и упасть на постель — глаза его крепко склеил внезапный сон, тяжелый и непроглядный, как ночь, — сон без всяких грез и видений, сон, каким спят только люди, вконец истратившие все свои силы — телесные и душевные.

VII

«Матушка-Аксиньюшка» в темно-синем сарафане с красным поясом и белоснежными, пышно-вздутыми рукавами тонкой полотняной рубашки, с темною повязкой на черных, гладко причесанных волосах сидела за самоваром.

Две послушницы таевской пророчицы — рябоватые девки в такой же одеже, как сама матушка, только без повязки на голове, — почтительно стояли у порога, сложив руки на животе. Пророчица белилась и румянилась; губы ее с чуть заметными усиками в углах тоже были слишком алы, брови слишком правильны, а ресницы слишком черны. Живые карие глаза глядели умно и бойко. Таевцы боялись взгляда пророчицы, как огня. Два-три предсказания, две-три угадки, заранее искусно подготовленные при помощи Михайлы Давыдка, несколько возвращенных хозяевам пропаж, житейская сметливость и уменье, быстро распознавая людей, приспособляться к их нраву, создали Аксиньюшке славу прозорливицы. Таевцы были уверены, что эта небольшая круглая женщина насквозь проникает человека, что «дух», который на других верных только изредка накатывает, на Аксиньюшке пребывает непрерывно, и скрытничать пред нею нельзя —

грех, а то еще, не ровен час, уличит и пристыдит при всем народе. Верили, что Аксиньюшка властна исцелять болезни и карать болезнями, — и, странно, верили не совсем безосновательно. Еще когда Аксиньюшка была в Волкояре Матреной-Слобожанкой — она славилась в княжой дворне своею легкою рукой — удачно лечила зубные и головные боли, помогала в припадках кликушества и падучки, в судорогах и т.п. Головные и зубные боли были истинным наказанием низменного и туманного Тая. Но стоило Аксиньюшке заняться больным, и боль почти всегда проходила — временно, а в иных случаях и надолго. Способ лечения Аксиньюшки был такой. Она укладывала больного головой к себе на колени и, что-то шепча, налагала на больные места свои руки. Руки у нее были маленькие, белые и мягкие, с странною цепкостью в упругой ладони и чуть-чуть искривленных пальцах. Когда Аксиньюшка прикладывала руку ко лбу больного, ему казалось, что эта рука как бы прилипает к нему, сливается в одно с его телом. Иные утверждали, будто они чувствовали, как из рук Аксиньюшки переходило в них сильною струею какое-то особое животворящее тепло. Затем больной забывался сном, спал долго и приятно и просыпался или совершенно здоровый, или, по крайней мере, значительно облегченный. Главная задача была — усыпить. В легких случаях это было делом нескольких минут, но трудные больные стоили самой лекарке немалой затраты сил. Когда Аксиньюшке наконец удавалось одолеть боль, она бывала совсем измучена, с нее катился пот градом, она едва имела силы добраться до своего покоя, чтобы, в свою очередь, отдохнуть в крепком и долгом сне. Замечательно, что мужчинам Аксиньюшка помогала легче, чем женщинам. Все, кого пророчица исцеляла или хоть лечила, привязывались к ней с необузданным влюбленным фанатизмом. Приручала, точно привораживала! Из таких людей состояла самая надежная часть ее сторонников в Тае. Все они прямо-таки бредили ею наяву и часто видели ее во сне, что

почитали видениями. Однажды, занятая важным разговором, Аксиньюшка не могла сама пойти к девушке, которая билась в истерическом припадке, — она сняла с себя платок и велела закрыть им лицо больной. Припадок прекратился: такова была вера в пророчицу. Насылать болезни Аксиньюшка, разумеется, не могла, но в понятиях темного человека — кто исцеляет, тот властен и убивать. И если бы Аксиньюшка посулила таевцу лихорадку, тот, в твердой уверенности неминучести насы́ла, пожалуй, и в самом деле заболел бы лихорадкой.

Пока Аксиньюшка была Матреной-Слобожанкой, староверы, православные Волкояра, полагали, что в ее знахарстве не без колдовства. Но в Тае, с его смешанным полухлыстовским толком, в колдовство не верили, считая черта способным лишь на всякие гадости, а никак не на пользу человеку. Сама Аксиньюшка своей силы не понимала — ни что такое эта сила, ни откуда она берется...

— Диви бы, я еще святой жизни была, — откровенничала она со своими домашними, — а то ведь я... вы знаете меня, грешницу.

— Что ты, мать, шепчешь-то в это время? — спрашивал Конста.

— А я почем знаю? шепчу, что придется, на что глаза взглянут... Намедни, когда Гордееву сыну под сердце подкатило, гляжу по избе — влез мне в мысли веник у порога... Сижу и думаю: веник, веник, веник... Так на том венике и болезнь с парня сошла. Велела я потом сжечь веник-от. С чего-нибудь да думалось же мне на него. Кто его знает, может быть, и впрямь болезнь Гордеича из-под моей легкой руки, в веник перескочила.

— Может, приговоры какие знаешь?

— Вот! стану я грех на душу брать!

— А молитвы читаешь?

— Не любят наши чудища лесные, когда читаешь старые истовые молитвы. По-прежнему, это — мирское моленье, зау-

ченное, моленье чужим словом и духом и, стало быть, неправедное... Им бы все от себя, наобум да с бацу, что в голову придет. Правду сказать, оно мне и на руку, — потому с книжниками да начетчиками мне бы, темной бабе, не совладать: в писании я куда не тверда. А ежели духом орудовать, то — с великим удовольствием. Слов у меня хороших сколько хочешь, разумом Бог не обидел, сказывать складно я мастерица: попробуй-ка угонись за мной.

Когда Конста и Зина вошли в горницу «матушки», она встретила Зину ласковой улыбкой, но на сына взглянула косо. В Тае она успела привыкнуть к беспрекословному повиновению и терпеть не могла возражений и противоречий, а Конста в последние дни только и делал, что спорил с нею. Тревоги прошлой ночи заметно отозвались на Консте; он бодрился, но был утомлен, бледен, и в глазах его вспыхивали опасливые огоньки. Зина была спокойна и свежа; только чуть-чуть опухлые веки могли изобличить, что она мало спала с прошлого вечера. Конста выслал келейниц и запер дверь на крючок. Мать следила за ним с досадливой улыбкой.

— Опять, что ли, как намедни, ругаться будем? — язвительно спросила она.

— Н-н-не-ет... — протянул он, глядя в пол и переминаясь с ноги на ногу, в крайнем смущении.

Зина сидела на лавке и равнодушно смотрела в окно на улицу, где смирно чесался боком об угол избы большой пестрый теленок.

— К чему же такие тайности? — уже ласковее переспросила Аксиньюшка.

— Да что, мать? — Конста растерянно развел руками, — такое дело стряслось... не ждали, не гадали... без тебя и не распутать.

— Что такое?

Зачуяв по голосу сына, что случилась беда, и беда немалая, Аксиньюшка живо поднялась с места и, сбросив с себя

пророческую важность, мгновенно превратилась в Матрену-Слобожанку, охочую и готовую развести на бобах какое хочешь хитрое дело.

— Уж и не знаю, как начать... — все больше и больше бледнея, говорил Конста.

Его беспокойство передалось Матрене.

— Да говори — не томи! — прикрикнула она, топнув ногой.

Но Конста все медлил.

— Такое дело... все пропасть можем, — начал он и опять осекся.

— Час от часу не легче! Хорошие, надо полагать, дела, если даже у тебя, разбойника, язык не поворачивается признаться... Ты, смирена, что сидишь колодой? — набросилась она на Зину, — сказывай хоть ты: чего начудесили?

— Мы Ваську Гайтанчика убили, — ровным голосом отозвалась Зина, по-прежнему глядя в окно.

У Матрены горница заплясала в глазах. Она позеленела под белилами и румянами и бессмысленно водила глазами от Консты к Зине, от Зины к Консте. Раз признание было сделано, Конста ободрился: как гора с плеч! Он стоял, заложив одну руку за пазуху, другую за спину, и, постукивая ногой, вызывающим взглядом смотрел на мать.

— Когда?.. как? — хрипела Матрена. — Да постой! врете вы оба али бредите...

Конста рассказал ей, как было дело.

— Господи помилуй... Господи помилуй... — шептала Матрена, то крестясь, то всплескивая руками. — Ах вы, демоны, демоны! до чего дошли! Души губить стали. По крайности, ладно ли он спрятан-то у вас? — деловитою скороговоркой осведомилась она, перестав причитать и охать.

— Кажись бы... — Конста пожал плечами. — Я сейчас ходил на гумно: ни пятнышка.

Все трое умолкли.

— Мать! — решительно начал Конста, садясь на лавку, — теперь уж, как ты там хочешь, а нам в Тае не житье...

— Начинается, — сквозь зубы проговорила Матрена и махнула рукой.

— Коли тебе по нраву Тай, сиди в нем, пожалуй, королевствуй, только нас-то с Зинаидой не неволь, — отпусти. Я тебе прямо скажу: всегда этот Тай мне претил, а уж теперь и вовсе станет не в мочь... больно близко это самое болото...

— Убивать людей умеешь, а покойников боишься, — криво улыбнулась Матрена. — Ишь, лица на парне нет... богатырь тоже! Зинка, знать, не в тебя... сидит, словно воды не замутила.

Зина повернула от окна свое спокойное лицо.

— Что же! — возразила она, — известно не радость, что такое дело стряслось; лучше, когда бы его не было. Но если уж грех случился, так тому и быть, не поправишь. Снявши голову, по волосам не плачут. А Конста, матушка, правду тебе говорит: отпусти... лучше будет.

— Нигде вам лучше не будет! — с гневом вскричала Матрена. — Всюду вы что-нибудь напрокудите, безобразники. В мир вас пустить — месяца не пройдет, как вы, и без князевой грозы, до каторги допляшетесь.

— Каторга — худо, — сказал Конста, — но если народ каким-нибудь грехом узнает, что сталось с Гайтанчиком, то ведь обычай-то таевский знаешь: брат брата убил, — камень на шею да в воду. Это будет похуже каторги. А то расправятся, как варнаки за измену судят. Разожгут докрасна котелок, да и наденут на голову по самые плечи. Либо медом обмажут и прикуют к сосне, покуда мураши не сожрут заживо...

— Тьфу тебе! что еще придумаешь?

— Все было. Наяву. Не в сказках. Дело испытанное.

— Да ты же говоришь, — он спрятан хорошо?

— Кто ж его знает? по-нашему хорошо, а... разве покойники не встают? Кабы я к этому делу был привычен. А то я сам

не знаю... Начнут его искать... растревожится во мне сердце… я сам себя выдам.

Матрена внимательно осмотрела его и перевела взгляд на Зину.

— Ну эта ни себя, ни других не выдаст, — проворчала она. — Ишь лицо-то надула: вылитый князь Александр Юрьевич.

— Матушка, — заговорила Зина, — потолкуем по чести. Мы с Констой так решили: если тебе жалко добра, что принесли мы из Волкояра, так Бог с ним! Это дело наживное. Знаю: тебе нужны мои брильянты. Я за них не постою. Возьми их себе, покуда тебе поживается, а из денег награди нас, сколько сама знаешь.

— Притом, — вмешался Конста, — у меня ведь полторы тысячи целковых есть на руках. Гайтанчиковы половинки, что я ему давал задатком за паспорта, к моим приходятся в лучшем виде. Так что, если ты уж вовсе насчет нас совесть потеряла...

— Молчи, дурак! — прикрикнула Матрена, — людей убивает, а туда же, о совести говорит...

Она с волнением прошлась по горнице.

— Не бессовестная я, — сказала она. — А только сами вы посудите: кто своему счастью враг?

Молодые люди молчали.

— Брильянтов не отдам, — отрывисто продолжала Матрена. — Они мне для радений нужны. Льстятся ими ко мне таевцы, инда слепнут, глупое мужичье! Мнят их венцом небесным. Брильянты вам отдать — половину самой себя отдать. А что ты, Конста, говоришь о деньгах, — этим я вас не обижу. Полторы тысячи у тебя есть, возьми еще пятьсот, и замиримся, конец делу.

— Ловко! — воскликнул Конста. — Это, мать, ловко. Себе и брильянты, и капитал, а нам — как псу кость, две тысячи: нате, мол, провалитесь в болото!

Матрена озлилась:

— Перестанешь ли ты грубить, щенок? Деньги в моих руках — что хочу, то и делаю. Ишь! То с пустыми руками хотел бежать из Тая, тут уже мало ему и двух тысяч. Лакомый какой! Слово еще скажи, и я тебе ни гроша не дам и из Тая не выпущу... будешь гнить здесь, пока прикажу.

Конста, в свою очередь, рассвирепел.

— Я слово скажу, — задыхаясь, крикнул он, — только ты моему слову не обрадуешься. После моего слова тебе самой в Тае не остаться, а, пожалуй, и на белом свете не жить... Вот что! Только слово мое не тебе будет.

— Страсти какие! — насмешливо отозвалась Матрена, — ты смотри, парень: не убей мать-то ненароком, вроде Гайтанчика. Не мне, так кому же будет твое слово?

— Михайле, — вот кому. Хитра ты, мать, да и мы не вовсе дураки, не слепые. В стенах-то щели бывают: видали мы, как ты живешь да поживаешь, все твои проказы насквозь знаем. И — вот разрази меня гром небесный! — коли не выведу я тебя на свежую воду перед Давыдком. Покажу я ему, дурню безглазому, каково верно ты его любишь. А уж как он тебя за все про все благодарить станет, — не моя печаль. Он, хоть нравом и теленок, а все из ухорезовцев. На медведя с ножом ходил, с царскими солдатами дрался. Так велик ли ему расчет погубить одной душой больше?

— Изверг ты! — вырвалось у Матрены. — И ухватка-то у тебя вся разбойницкая... грех какой на душу взять хочешь!.. да и чем попрекать меня выдумал? Сами-то, поди, какие святые!

— Святые аль нет, только мы никого безвинно не обижаем, а от тебя нам, прямо сказать, мука мученская.

Зина встала со скамьи.

— Послушайте вы, матушка и Конста: будет вам ссориться. Я так полагаю: раз между нами пошел такой раздор, вместе нам жить нельзя. Значит, разойтись надо, и лучше

разойтись добром, чем злом. Ты, матушка, не бойся: Конста вредить тебе не станет, ничего Давыдку не расскажет! А ты тоже не упрямься и не скупись на деньги. Двух тысяч нам мало.

— Много ты понимаешь: что много, что мало! — сердито фыркнула Матрена. — Ты мир-то и в глаза не видала! откуда тебе судить.

— Конста так говорит, — с убеждением возразила Зина. — А я с Констой ушла из Волкояра — стало быть, его воля и во мне, и в моих деньгах. Ведь деньги те, хоть и в твоих руках, матушка, но мои. И вот я тебе теперь от себя говорить буду. Ты меня вырастила, воспитала, — великая тебе на том благодарность. Добра моего мне для тебя не жаль. Всегда ты в нем госпожой была. Кабы мы вместе жили, так бы и вперед осталось. Но видишь: надо разлучиться. Стало быть — поделимся. Брильянты мои я тебе дарю пожизненно, только умирая, возвратишь их мне, а деньги — уж не обижай нас! — разобьем на две половины.

— И то нам, по справедливости, выходит обидно, — проворчал Конста.

— Это, значит, вы три тысячи целковых хотите? — рассчитала Матрена после долгого молчания.

— Где же три-то? — возразил Конста, — полторы уже у нас в кармане, а тебе всего полторы доложить придется.

— Большие деньги хотите, — раздумчиво твердила Матрена. — Большие деньги... жалко... не потаю, что жалко...

— Жалей не жалей, а дать надо, — тихо заметил Конста.

Видя, что мать сдается, он тоже сбавил голос.

— Да не денег жалко, глупый! а жаль того, что непутевые у вас руки для таких денег. Прахом они у вас пойдут — ни себе, ни людям.

— Ну, уж там видно будет. Бабушка надвое сказала.

— Ладно. Не ради тебя, разбойника, а ради Зинки моей кормленой дам я вам эти деньги. Ступайте, куда хотите,

только помните: коли плохо в миру придется, ворочайтесь. Тай место довольное, и вам со мною всегда здесь будет тепло.

Примирение совершилось. Все трое расцеловались. Матрена снова села к столу и махнула рукой.

— А теперь уйдите. Посижу да подумаю, как лучше сделать, чтоб таевцы вас легко отпустили — без спора и раздора.

VIII *

Сионская горница была полна народом. Мужчины и женщины босиком, в широких и длинных до пят рубахах, крестообразно препоясанные через плечи вервами, чинно сидели по разным лавкам: женщины по левую сторону избы, мужчины — по правую. У всех были полотенца в руках. Яркий свет разливался разноцветными полосами из причудливой деревянной люстры — грубого подобия голубя с распростертыми крыльями, несущего в клюве масличную ветвь, — и окрашивал эти неподвижные белые привидения нежною пестротою слабой радуги. Убранство избы — длинной, в два сруба, и весьма высокой — ограничивалось этою люстрою, плохою суздальскою копией с известной картины Боровиковского «Бог Саваоф, приемлющий в лоно Свое умершее Слово» **, портретами Саваофа, «богатого гостя» Данилы Филипповича, Христа Ивана Тимофеевича и пророчицы кос-

* При описании радения приняты в соображение исследования следующих историков русского раскола. Андреева, Кутепова, Нильского, Реутского, Ливанова и Мельникова. Трое последних наиболее богаты бытовыми данными, но сведения их, за недостаточной критической проверкой, иногда сомнительны и полемических увлечений много.

** Боровиковский, знаменитый портретист начала XIX века, принимал участие в петербургском «Корабле» Татариновой. Художественный оригинал — этюд к названной мистической картине — находится в московском Румянцевском музее.

тромского «корабля» Ульяны * и парою разных кресел в углу, противоположном красному. Бревенчатые стены были чисто вымыты. Пол лоснился, точно натертый воском — так его отполировали таевцы собственными пятками. Верующие все прибывали и прибывали. Иным уж не было места на лавках, и они скучились двумя толпами у дверей. Вошел кормщик Филат Гаврилович — крепкий седобородый старик с важным взглядом из-под нависших бровей. Все поклонились ему в пояс. Филат Гаврилович тоже поклонился на четыре стороны. К нему подошли по очереди все члены сборища и обменялись с ним братским целованием. Кормщик сел в кресла и начал слово «о двенадцати друзьях»:

— Братие! Кто есть первый друг человека? Первый друг человека есть правда: человека от смерти избавляет.

Примолк. Как шум осеннего леса, загудел ответный молитвенный шепот толпы:

— Богу слава,
И держава
Во веки веков, аминь!

— Братие! Кто есть второй друг человека? Второй друг человека есть чистота: человека к Богу приводит.

— Богу слава,
И держава
Во веки веков, аминь!

— Братие! Кто есть третий друг человека? Третий друг человека есть любовь: где любовь, тут и Бог.

— Богу слава,
И держава
Во веки веков, аминь!

---

* Была знаменита в сороковых годах. Дважды арестованная за ересь, дважды от нее отрекалась и снова возвращалась на прежний путь. Судьба ее неизвестна.

— Четвертый друг — труды: телу честь, душе вспоможение. Пятый: послушание, скорый путь к спасению. Шестой: неосуждение. Седьмой: рассуждение. Восьмой: молитва. Девятый: благодарение. Десятый: милосердие. Одиннадцатый: исполнение Закона. Двенадцатый: покаяние, Богу радость.

— Богу слава,
И держава
Во веки веков, аминь! —

заключительно грянула толпа. А кормщик, продолжая поучение, еще два слова сказал в ожидании матушки-пророчицы. Одно — о муках, как архангел Михаил водил Богородицу по адским мукам и седмь мук ей показывал: аще кто двор с двором смутит — древо железное и огненное, елицы по воскресным дням блуд творили — три раза огненные, сквернословам — река огненная, судиям неправедным — палата болезненная и огненная, благодать отвергающим — червь не осыпающийся, чародеям и семейных злоб сеятелям — змеи лютые, сердце сосущие, сребролюбникам — смола кипучая.

— Богу слава,
И держава
Во веки веков, аминь! —

загремел народ.

Третье слово Филата Гавриловича было о помощи архангельской:

— Аще ли восхощеши идти в путь, то не выпускай из уст ваших архангела Гавриила, будешь всегда благополучен. Едва хощеши пить воду в нощи, то поминай архангела Самоила, той есть ночное страже. Когда пристижет печаль, тогда призывай архангела Кафанаила, ибо он есть утешение ангелам и человекам. Дому созиждиму сущу призывай

на помощь архистратига Михаила, он есть веселие Матери Божией, дому и церкви упражнение. Егда же ты, человече, ел и пил что, и хощеши быть в порядке, то призывай и поминай святого архангела Рафаила.

Аксиньюшка вошла в собрание из боковых дверей. Две послушницы шли перед нею, две поддерживали ее под руки, две замыкали шествие.

Они пели:

Воспойте громко Господу,
Трубы громогласны, —
Восстает нам день красный!
Ты же, благостыня,
Дева любима,
Веселися, радуйся,
Взойди в Сион-горе!
Грядите, дщери!
Отверзаются двери..

Пророчица ступала медленно и плавно, лебедью, держалась важно и осанисто, ни на кого не глядя — хотя народ, чуть завидел свою «матушку», рванулся к ней стеною, с приветствиями, криком, плачем, благодарностями и просьбами. Фанатики норовили схватиться хоть за край аксиньюшкиных «ризок», таких же длинных и белых, как на всех, только из более тонкого полотна. Бабы с благоговейною завистью зарились на драгоценные камни; «матушка», в самом деле, устроила из них что-то вроде небесного венца: бриллиантовый блеск дрожал вокруг ее головы, будто на иконе.

Аксиньюшка обменялась с Филатом Гавриловичем братским целованием.

— Спаси Господи. Христос воскрес.

— Во истинных людях воскрес.

— Как верным явился, так и нам есть, — и села в резные кресла рядом.

Шесть ее послушниц стояли возле. Шесть парней — на послухе у кормщика — отделились от толпы и стали у кресел Филата Гавриловича. Один из них прочитал «Отчу». Когда он кончил и толпа пропела «Богу славу, и державу», самая молоденькая из послушниц прочитала «Богородицу».

— Духа прославим! — воскликнул кормщик, вставая с кресел.

Толпа всколыхнулась, — как волною, и запела с воодушевлением, чередуясь в голосах. Сперва женщины:

Уж вы, птицы, мои птицы,
Души красные девицы,
Вам от матушки-царицы
Дорогой убор-гостинец!
Вы во трубушку трубите,
Орла-птицу заманите,
Светильники зажигайте,
Гостя-батюшку встречайте!

А мужчины отзывались протяжным голосом:

Восплещем руками,
Воспляшем, духом веселяще,
Духовные мысли словесно плодяще!
Яко руками, восплещем устами —
Дух с нами! Дух с нами!
Мужи и жены, силы исполнися,
Яко пианы язычникам явишася,
Древле незнаны, сташа познанны.
Гласы преславны, гласы преславны!

И оба хора сливались в «новой песне» — в таинственном гимне, общем всем без исключения толкам, хоть сколько-нибудь родственным хлыстовщине:

Царство ты, царство, духовное царство!
Во тебе ли, царстве, благодать велика:
Праведные люди в тебе пребывают,

Живут они себе, ни в чем не унывают.
Строено ты, царство, ради изгнанных,
Что на свете были мучимы и гнаны,
Что верою жили, правдою служили...

Таевцы голосили с восторгом. Отвлеченный смысл гимна был далек от них. Каждый пел не о царстве «не от мира сего», но видел таинственное царство, — созданное «ради изгнанных, что верою жили, правдою служили», — здесь, в скрытом от грешного и враждебного мира Тае.

На горе, на погугоре
И там стоял же зеленый сад,
Деревья во саду кудрявые,
А листья во саду зеленые.
Хотели враги зеленый сад засушить,
Хотели водами сад потопить, —
Да кореньями сад укоренился,
Да ветвями сад уветвился,
Да листьями сад украсился!
Гуляй, юнош, в зеленой дубраве,
Где гуляют херувимы, серафимы,
Вся небесная сила!

В толпе было немало стариков, которые помнили, как Тай начался, как бежали они сюда, ревнуя о вере, от строгих архиереев, крутых бар и лихой полиции, когда на Поволжье начался сектантский разгром... Вспоминали они те жуткие дни, и тем громче, и радостнее становилось их пение: ведь на всем лице земли русской Тай, быть может, был единственным местом, где хлыст мог жить, думать, говорить и радеть, как ему угодно, вслух, без оглядки, не приставляя к сионской горнице зоркую и хитрую стражу, не нуждаясь в потайных дверях и лазах, в раздвижных стенах, в подпольях и подземных ходах.

Филат Гаврилович сорвался с места и, выбежав на середину горницы, под распростертого голубя-люстру, завертелся, как волчок, на пятке правой ноги — сперва медленно, потом

все скорее и скорее, пока наконец его высокая фигура в раздутой от быстрого движения рубахе не стала казаться огромным вертящимся белым колоколом. Не разобрать было ни лица, ни бороды.

За кормщиком рванулся один из послушников, другой, третий. Ветер ходил по горнице. Вертящиеся белые колокола шатались из угла в угол, точно придорожные вихри, и все росли в числе. Кто еще не вертелся, — те выкрикивали, что было мочи, песню, ускоряя ее напев, по мере того, как ускоряли свое движение «прыгунки»:

Ах ты, дух-голубок,
Наш беленький воркунок,
Не пора ли тебе, сударь,
На сыру землю слететь,
На труды наши воззреть?

А вы голуби
А вы сизые? —

басил в разноголосицу мужской хор.

— Мы не голуби,
Мы не сизые!—

пронзительно визжал хор женский.

— А вы лебеди,
А вы белые!
— Мы не лебеди,
Мы не белые!

И все вместе:

— А мы ангелы,
Мы архангелы,
Христовой земли
Посланнички...

Завертелась Аксиньюшка, а за нею и все бабы. Радели «углом». Делились по углам на кучки и потом перебегали наискось из угла в угол, стараясь не столкнуться с встречной кучкой. Радели «крестом» — образуя фигуру креста, быстро вращающегося около неподвижного центра: в нем стоял Филат Гаврилович, отдыхая от своей бешеной пляски. Отдохнул и схватился с Аксиньюшкой за руки. Они закружились по горнице вдвоем, — точно вальс танцевали. Венец Аксиньюшкин в быстром вращении молнией голову пророчицы опоясал. Десятки пар им последовали. Радение стало похожим на бал привидений.

Все это были лишь подготовительные обряды. «Святой круг» еще не открывался, хотя уже одного таевца среди прыжков и кривлянья хватила падучка, а иные валялись по лавкам в полном изнеможении. Сноровка вертеться на пятке не всякому дается сразу. Новичков увлекали в пляску опытные. Тех, кто плохо успевал в искусстве кружения, преследовали насмешками, бранью, поталкивали и даже могли бы поколотить, если бы Аксиньюшка и кормщик не прекращали своими окриками ссоры и нестроение.

Высоко поднимая белое полотенце, закинув назад голову, Аксиньюшка визгливо затянула:

Рай ты мой, рай,
Пресветлый мой рай!..

Толпа дружно подхватила:

Во тебе, во рае,
Батюшка родимый,
Красное солнышко
Весело ходит,
Рай освещает,
Бочку выкатает...
Бочка ты, бочка,
Серебрена бочка,

На тебе, на бочке,
Обручья златые,
Во тебе, во бочке,
Духовное пиво.
Станемте мы, други,
Бочку расчинати,
Пиво распивати,
Авось наш надёжа
До нас умилится,
Во сердца во наши
Он, свет, преселится.

Радельщики стали в четыре ряда: первый и третий образовали мужчины; второй и четвертый — женщины. Сильно топоча, они, как ошалевший конский табун, принялись бегать взад и вперед по избе. Все — в ногу. Задние мерно ударяли передних полотенцами по плечам. Самые усердные завязывали в полотенца ключи, нарочно припасенные заранее камни, тяжелые старинные пятаки и гривны. Сквозь нескладное пение и восторженные крики стали прорываться болезненные взвизгиванья. У иных на плечах проступила кровь. Толпа шалела. Все перемешалось в ее разноголосом шуме — изба стонала точно одною грудью, как разъяренный раненый зверь. Вдоволь набегавшись и нахлеставшись, радельщики пошвыряли полотенца под люстру и, схватившись руками, образовали круговую цепь.

— Духа, духа! — вопили мужчины.

Филат Гаврилович с мокрою бородою и волосами, повисшими, как у утопленника, кричал осиплым и надорванным голосом:

— Затирай духовное пиво!.. Чтоб разымчивее было! Плоти тяжко — душе легче! Помните, братики любезные: кто напоит пóтом землю на три аршина под собою, тому все грехи простятся.

Новую песню мы запоем,
На брак к свету мы пойдем.

Как на браке, на юдейском,
Там был конь галилейской,
И Христос с нами там был,
С воды вино превратил,
Кто этого вина напьется,
В том дух святой завьется!

Опьянение толкотни все возрастало. Цепь кружилась, как живой волчок. Две-три женщины давно уже потеряли чувство. Но соседи, не замечая их обморока, продолжали вертеть бесчувственные тела, тяжело колотившиеся ногами о пол. Бабы в визгах и икотах рвали на себе рубахи и, нагие до пояса, повисали на руках подруг, предоставляя цепи влачить себя, колотясь по полу окровавленными грудями. То и дело их разбитые волосы попадали под ноги, оставляя на полу кусты вырванных прядей. Они ничего не чувствовали. На них было страшно смотреть. Таевский богатырский народ, такой красивый и здоровый в обычное время, теперь казался сборищем пьяниц, отравленных полынной водкой. Зеленые лица с провалившимися глазами, обтянутые скулы, усеянные градом потных капель, потускневшие тела, испещренные синяками и царапинами... Наконец «дух», призываемый диким шабашем, «накатил», послушницы одна за другой повалились в истерических спазмах, бормоча восторженную нескладицу. Хохот, рыдания, животные крики, брань и гимны, вырвавшиеся из уст истеричек, мешались с дикими воплями:

— Эй! Эо! Эй — эван! Эван — эвое!

Разноголосица шла чудовищная. В то время, как одни вопили на песенный распев духовные стихи, других, обеспамятелых, распевы песен давно сбили с толка, и они сами не замечали, как в бессмысленном экстазе жаркими молитвенными голосами выкрикивают совсем не «о духе», но о том, как

Ходил, блудил казак по долине,
Приблудился казак ко дивчине.

— Дивчина, пусти ночевати...
— Евга! Евга! Эй-ян!
Ева! Адам! Ева! Адам!
Евга! Евга! Эван! Эвое!
— Как Адам с Евой
По раю гуляли,
Ева Адама смутила,
Во грех Адама вводила...

«Накатило» и на Аксиньюшку.

— Ой, дух! ой, дух! — раздался ее нечеловеческий вопль, и она вырвалась из цепи, которая тотчас же распалась... Таевцы бросились к скамьям и попадали на них, готовые в любопытном напряжении слушать «живое слово трубы небесной». Многие упали на колени.

Самый опытный и наблюдательный психиатр не решил бы, глядя на Аксиньюшку, где в ней кончается шарлатанство и начинается действительный экстаз — неизбежный плод нервного потрясения, пережитого ею вместе со всею толпою. В разорванной одежде, вытянув прямо над головою, как два полена, толстые руки с неподвижно растопыренными пальцами, Аксиньюшка грянулась навзничь на кучи полотенец. Полузакрытые глаза ее стали похожи на две свинцовые точки; на помертвелых губах выступила полоска пены. Потом ее стало подкидывать. Было непонятно, откуда берется сила, сотрясающая это тяжелое, тучное тело, казалось бы, наперекор всем законам равновесия. Держась на полу только одними ступнями, пророчица, — прямая и неподвижная, как труп, — поднималась почти на половину своего роста и, точно подстреленная, падала на плечи. То верхняя, то нижняя часть ее тела взмахивала в воздухе, подобно коромыслу над колодцем. Брильянты на голове припадочной тряслись и сыпали искры. Таевцы с благоговением наблюдали эти таинственные проявления. Никогда еще матушка Аксиньюшка не утешала их таким тяжелым припадком. Это предвещало могучее наитие духа и необычай-

но важные откровения. Пророчица метнулась вверх прямым, быстрым скачком рыбы, блеснувшей над водою, и, тяжело шлепнувшись на пол руками, выгнулась дугою. Теперь она касалась до земли только пятками и теменем головы. Тело ее образовало как бы арку, вдоль которой, едва касаясь пола, беспомощно висели руки. На одном из первых радений Аксиньюшки кто-то из сомневающихся втихомолку впустил в плечо пророчицы большую сапожную иглу, но Аксиньюшка даже не почувствовала укола, и кровь не пошла из раны, — точно было ткнуто не в тело, а в пробку. Заболело лишь после того, как дух сошел с избранницы своей. Наконец Аксиньюшка обессилела. Теперь она спокойно лежала на полу, в дремоте, вся сразу покрывшись обильным потом. Это продолжалось около получаса, и все время никто в сборище не смел шевельнуться, сказать слово, высморкаться или кашлянуть. Мертвая тишь, духота. Седой, удушливый пар переливается в горнице, и сквозь его пелену тускло светят цветные огоньки люстры.

Аксиньюшка пошевелилась, тяжело вздохнула и села. Глаза ее мутно блуждали по собранию. Черные космы мокрых, разбитых волос висели из-под бриллиантов. Из тяжело вздымавшейся груди вырывался лающий и порою переходящий в завыванье нечеловеческий голос, ничего общего не имеющий с природным голосом Аксиньюшки. Казалось, из нее говорил кто-то другой, в нее вселившийся.

— Горе тебе, грешному Таю... не все тебе веселиться — бедой тебя испытаю... вырву из тебя слугу верного, нелицемерного... отдам твою потерю лютому зверю, на лесном пути, и костей не найти... на земле ему конец да на небе венец.

И запела диким голосом:

Идет царь в пустыни,
В дальние эсаулы,
За ним грядут его люди;
Подкрепитесь, мои люди!
Вам того не стерпети:

Уж и там леса темные,
Как во тех во лесах
Звери лютые,
О, лютые, лютые,
Вельми страшные!

Таевцы, слушая зловещие слова пророчицы, переглядывались в смущении и страхе. Смысл был слишком ясен. Да и не редкое это было дело для таевца — «пропасть на лесном пути, и костей не найти». И не в первый раз на радениях раздавались о том откровения, слишком верно оправдываемые трущобною действительностью. Стали считать, вся ли паства в сборе. Не нашлось только Михайлы Давыдка да Василия Гайтанчика.

— Стало быть, на них это указание... кого же из двух заел дикий зверь? — приступил к Аксиньюшке Филат Гаврилович. — Матушка, не откажи, просвети!

— Кого Бог спас, тот у вас, — выла пророчица, — кому пропасть — медвежья пасть...

— На Михайлу, беспременно на Михайлу надо думать, он медвежатник-то; и сейчас в лабазе сидит, — шептали бабы, поглядывая на Зину и Консту. Они присутствовали на радении с самого начала, но старались держаться подальше от «святого круга», участвуя в бесновании лишь изредка и для виду, чтобы не быть вовсе чужими и не потерпеть оскорблений. Так как их считали еще не вовсе принятыми в корабль, а лишь полупросвещенными, то это не производило на верующих странного впечатления. Напротив, фанатики могли только быть довольны такою скромностью: люди, еще не просвещенные духом, вступая в святой круг, могут отвратить духа и от истино верных. Впрочем, Конста не мог бы кружиться, если бы даже силою заставляли. На нем лица не было. Он был совершенно измучен. Страшно измял его Гайтанчик в предсмертной своей борьбе. Пришлось завязать горло платком, чтобы скрыть синяки. Из глотки вместо го-

лоса сип какой-то вырывался. После убийства — вот уже вторые сутки к концу — не пришлось Консте отдохнуть ни душою, ни телом. И вчера, и сегодня мотался он с ружьем по лесу, разыскивая Михайлу, чтобы осведомить его обо всем, что в его отсутствие произошло, и условиться, как им стоять теперь друг за друга и быть дальше. А Михайло, как нарочно, перенес лабаз свой к другому яру, и найти его Консте было не легче, чем лешего.

Слыша, как женщины толкуют слова матушки, Зина всплеснула руками и заревела во весь голос по дяденьке Михайле, а Конста с ожесточением схватился за затылок. Таевцы утешали их.

— Вы не убивайтесь, а радуйтесь. Телом умер — душой воскрес. Что тело-то жалеть? Тело — Марфа, а душа — Мария. Марфа — в землю: она презрительная, а благословенная Мария — голубкою в небеса…

Но в самый разгар этих сетований и утешений, хлопнула дверь и на пороге показался Михайло. По здоровому, цветущему лицу его было видно, что и Марфу свою, и Марию он сохраняет в полной неприкосновенности. Толпа ахнула.

— Здорово живете, — уставно поклонился Михайло святому кругу.

— Слава Богу, — неясным ропотом последовал уставный же ответ.

— Живы ли? Здоровы ли себе?

— Живы, слава Богу. Как тебе Бог помогал?

— Благодарение Богу. Бог милости прислал.

— Спаси Господи!

— Милость и истина встретошася.

— Правда с миром облобызашася.

Михайлу окружили, как чудо некое. Радение оборвалось.

Михайло тоже удивленно вытаращил свои добродушные круглые глаза.

— Что у вас тут такое? отчего так глядите на меня?

— Михайлушка… живой! — еле вымолвил Филат Гаврилович, — и не съел тебя медведь лютый?

— Нет… зачем? — по-прежнему недоумевая, возразил Михайло. — Сам я, точно, свалил — и не одного, а целую парочку. Не слыхать вам, знать, было выстрелов-то? Признаться, за народом и пришел, чтобы пошли с огнями, помогли перетащить, пока волки не разорвали туши.

— Ну, слава Господу! Матушка здесь выкликала, что кто-то из нашей паствы должен скончать свою жизнь от зверя… А как только тебя да Васильюшки Гайтанчика нет в собрании, мы было и стали думать на тебя.

Михайло нахмурился и повел быстрым взглядом по собранию. В ответ ему блеснул странный взгляд из-под полузакрытых ресниц отдыхающей Аксиньюшки.

Он покачал головой.

— А давно Гайтанчик в лесу? — спросил он.

— Четвертого дня он вернулся из города, а позавчерась задумал идти с ружьем в лес. Видели, как он под вечер пришел на свое гумно... а ворочался ли, нет ли, — того не знаем.

Михайло широко перекрестился.

— Ну, ребята, стало быть, так тому и быть... Молите Бога за его грешную душу! Понимаю теперь, зачем медведи так долго не шли к моему лабазу! Сижу я позавчерась на лабазе, стерегу... вдруг кто-то как завопит — ровно с живого дерут кожу: инда у меня руки-ноги затряслись! Филин, что ли? Нет. Завопил, пожалуй бы, и человеческим голосом, да уж больно дико и жутко. Думаю: слезть нешто? пойти на помощь? Опять же — откуда быть тут человеку возле Тая-то, в нашей глуши? таевцы, я чай, давно с курями, спят по палатям... Если же кто из мирских ненароком с воли забрел, туда ему и дорога!.. А крик опять, да еще страшнее... и в третий раз. Взяла меня жалость. Решил: была не была, спущусь, посмотрю, какое там лихо... да вдруг — стук мне в голову, — а ну, как это морочит леший? Нарочно жалостит: поди в темноту, да и попади в бу-

чило либо Мишке прямо в зубы. Подумал я, поболтал ногами и опять убрал их на лабаз... А тот-то, незнакомый, покричал еще, постонал — и ослаб, затих... На гумне, говорите вы, в последний раз видали Гайтанчика?

— Не то что на гумне, — нерешительно отозвался кто-то из толпы, — а вроде как бы туда он шел.

— Ну, а рев этот, что я слышал с лабаза, доходил от болота.

— Так надо думать, — сказал Филат Гаврилович, — что пошел Васильюшка через трясину по жердочкам да и наткнулся впотьмах на Мишку... Правда, они в ту сторону об эту пору часто заходят. Завтра всем поселком выйдем искать Васильюшку.

Один из послушников возразил:

— Пожалуй, что и без Мишки дело обошлось, — просто сорвался с жердочек в трясину и шабаш. И ежели так было, где уж его теперь найти! Разве что все болото до дна лопатами расшвырять. Трясина и курицу на сажень засасывает, а не то что человечьи кости.

— Нет, я так полагаю, — с редким самообладанием просипел Конста, — что будет толк или нет, а поискать надо. Первое дело: ежели матушка духом прорекла, что Гайтанчика растерзали звери, стало быть, нечего о трясине и поминать; не трясина его сгубила, а медвежьи зубы. Опять же и дядя Михайло на зверя думает, а не на трясину.

— Я больше потому так полагаю, — объяснил Давыдок, — что медведи не приходили в ту ночь на падаль под лабаз, — значит, сыты были, жрали его — Гайтанчика-то... А сейчас, как всю человечину слопали, проголодались и пришли в паре, да матерые такие... сам лесной боярин с боярыней... Я их и положил в два выстрела рядышком.

Так на том и порешили, что Василий Осипович сделался жертвою лютых зверей. Взвыла по Гайтанчику сионская горница:

По лесам, лесам высоконьким,
По кустикам по зелененьким,
Там убит-лежит добрый молодец,
Васильюшка свет-Осипович,
Принакрыт-то он елочкой,
Привален-то он можжевельничком,
Зеленая травушка вкруг пожелкла,
Алые цветики облетели,
Клюква-ягода погоркла...

Поиски по лесу, разумеется, ни к чему не привели. Потужили о Гайтанчике таевцы, помолились о нем и стали думать, кого бы поумнее да потолковее приспособить вместо него в посредники между миром и лесною трущобою. Аксиньюшка, столковавшись с Филатом Гавриловичем, ловко направила выбор на Консту, и в конце апреля Михайло Давыдок проводил Консту с Зиною до лесной опушки.

В скором времени — на границе лесного моря, облегавшего Тай, и волжского бечевника, верстах в двадцати пяти от гайтанчикова городка, заарендовал у обедневшего мелкопоместного дворянина землю и усадьбу незнакомый местным жителям, наезжий из Коломны мещанин Анисим Воробьев с молодой женой Прасковьей. Усадебка стояла как раз на распутье двух больших торговых дорог; неподалеку были две богатые волжские пристани. Анисим открыл постоялый двор и стал принимать к себе гостей и с обеих дорог, и с людного волжского бечевника. Слава о тароватом хозяине и приветливой красивой хозяйке, вместе с возчиками и бурлаками, далеко разошлась по Поволжью.

IX

Пробежало полтора года.

На постоялом дворе было, сверх обыкновения, нелюдно. Прасол из ближнего — верст за двадцать — города благо-

душествовал на чистой половине, за пузатым самоваром, калякая с хозяином. Молодая хозяйка, сидя поодаль, нянчила ребенка. Со двора доносились звонки и бубенцы прасоловых коней, которых перепрягал кучерок. Управившись с лошадьми, он вошел в избу, стал у порога и молча поклонился.

— Что надо? — окрикнул прасол, вскидывая на него не слишком суровые глаза.

Он был малый веселый и покладистый.

— Кабы, Трофим Петрович, того...

— Чего «того»? — передразнил прасол, — водки просить пришел, ненасыть?

— Точно... ежели бы самую малость...

— Ни-ни! и то в три кабака заворачивал. А дело к ночи: как ты меня повезешь, наливши глаза?

— Трофим Петрович! ваше степенство! дозволь докладать: Бог милостив, — теперича месячно, и дорога битая — видать ее, как серебро.

— Чудак-человек! сам же ты говорил, что впервой поедешь здешней дорогой, худо ее знаешь.

— Да что ее знать-то, ваше степенство? Дорога, — известно, как дорога. Не мудрей других. А водочки, за ваше здоровье, прикажите поднести. Потому без нее — Господи Боже мой! — по заре зябко, от реки тянет, по перелесью подсвистывает.

— Вишь, зябкий... Ништо, Анисим Сергеич, поднеси уж ему, — разрешил прасол.

— Ступай, любезный, в черную,— приказал хозяин, не оборачиваясь к кучеру, — там тебе нальют. Прасковья, отпусти.

Молодая женщина встала со скамьи и вместе с мужиком вышла из избы.

— Новый у вас кучерок-от? — спрашивал хозяин прасола.

— Новый. Второй месяц, как взят. Ничего, парень хороший. Вином только зашибает иной раз. Ну да все по этой дорожке бегаем.

— Здешний?

— Не здешний, из дальних. С Унжи. Про Волкояр — князя Александра Юрьевича Радунского имение — слыхал?

— Как не слыхать?.. — протяжно молвил хозяин, поспешно ставя блюдце на стол, потому что оно задрожало у него на пятерне, обварив горячим чаем. — Это — которого еще, не к ночи будь сказано, величают «Чертушкой на Унже»?

— Вот-вот... И дочка евоная, от мучительства отцовского, не то сбежала с полюбовником, не то утопилась...

— Тс-с-с! ска-а-жи, пожалуй!

Дворник с участием покачал головой.

Между тем в черной избе возница вел такой разговор с хозяйкой, пока она цедила ему водку:

— Гляжу я на тебя, красавица моя, и ровно бы я тебя где видывал.

— Мудреного нету. На юру живем, на людях. Не прячемся, — гляди, кто хочет. За посмотр денег не берем.

— В том-то и закавыка, что я впервой в ваших местах, а тебя видал. Ты из каких породою будешь?

— Муж с-под Коломны, а я володимирска.

— Не бывал я там, не случалось… А знать тебя — лопни мои глаза — знаю...

— Может, похожую какую с лица...

— Нет, хозяюшка, крали такие не часто на свете родятся. Тебя видал. Только — где, хоть убей, не припомню.

— Ну, пей, пей, — нетерпеливо торопила хозяйка. — Растабарывать с тобой, парень, мне неколи... За постой ныне деньги платят, а за беседу — рублики.

Прасол двинулся в дорогу. Хозяин и хозяйка с поклонами провожали его на крыльцо. Яркий месячный свет упал на лицо дворника. Возница прасола пристально вгляделся в «коломенского мещанина», а тот, заметив его взгляд, поспешил отступить в темноту. Однако он слышал, как кучерок потихоньку засвистал — будто лошадям... «Э-ге-ге! вот оно что!» — ска-

зывал этот свист. «Коломенского мещанина» передернуло. Укладка прасола загрохотала по твердой битой дороге.

Версты две путники ехали молча. Потом возница обернулся к прасолу:

— Дозвольте спросить, Трофим Петрович: вы этого Анисима давно знаете?

— Нет, не очень давно. Как люди, так и я. Он на тракту человек новый. Год с небольшим, как объявился.

— Ну, стало быть, так оно и есть, — решительно воскликнул возница и, в волнении, чуть не уронил вожжи. — Узнал дружка! И не Анисим он, и не с-под Коломны, Трофим Петрович.

— Что ты врешь? чай он паспорт имеет, начальству известен.

— Что паспорт? Паспорт — не указ. Паспорт и украсть можно, и самому написать, кто умеет. Я его Трофим Петрович, знаю, и хозяйку его признал... Володимирска, говорит... Хитра тоже. Ведь это они, Трофим Петрович.

— Кто они, жернов мельничный?

— Слыхали, как у нас из Волкояра княжна сбежала? Ну вот она самая и есть — хозяйка Анисимова. А он — Конста, паренек тот заблудящий, что вместе с нею пропал... Ее-то я не сразу признал, потому что одежа личность изменила, а его — так мне месяцем и осветило. Тут, как угадал я его, то и о ней пришел в понятие.

Прасол захохотал.

— Ты бы, Ефрем, хоть языка пожалел, — много трепать его будешь, так и отвалится. Статочное ли дело — искать княжон по постоялым дворам?

— Батюшка, Трофим Петрович, присягу могу принять, что они.

Зина и Конста по отъезде прасола были в большом затруднении. Их узнали уже в третий раз за полтора года их удачливого хозяйства, и — главное — сам Конста признал в вознице

прасола Ефремку, продувного парня, которого волкоярский управляющей Муфтель в последнее время держал при себе на посылках. Признавшие волкоярских беглецов в первые разы были из простецов: Конста легко заговорил им зубы, так что они сами над собой посмеялись: как это угораздило их принять солидного рыжебородого дворника за недавнего парнишку из волкоярской дворни? Но Ефремку Конста знал не за такого человека, чтобы его было легко одурачить.

— Он, подлец, этого так не оставит, — волновался Конста. — Он жадный, да и голова у него на плечах — не капустный кочан. Сообразит, что дело пахнет поживою. Станет с нас тянуть деньги. Мужик наглый — выдоит нас в лучшем виде. А потом — я таких хамов насквозь знаю: чуть почуял за собою силу и власть, сейчас и зазнался, и начал ломаться да охальничать. И придется расправляться с ним не хуже, чем с Гайтанчиком.

— Уж от этого избави Бог! — открещивалась Зина.

Конста сходил в Тай посоветоваться с Матреной.

— Охота вам с этим постоялым двором путаться? — сказала пророчица. — Благо выпустили вас таевцы, шли бы, куда глаза глядят: дорога на все четыре стороны. Волга — рядом. А на гайтанчикову справу и без вас найдется человек... И таевцы не обидятся. Скажу, что бежали вы от гонения иродова, — еще страдальцами вас почитать станут. Ну, а если уж сразу сейчас нагрянет начальство с обыском, — бегите в лес да в Тай. Переждете здесь, пока уляжется беда, а потом ступайте, куда хотите!

Вскоре после того, как прасол Трофим Петрович гостил на постоялом дворе коломенского мещанина Анисима, — кучерок Ефрем надумался, что как-никак, а встречу с волкоярскими беглецами пропустить без пользы не след. Хозяину его снова случилось быть поблизости тех мест, на большой сельской ярмарке. Ефрем отпросился у прасола на несколько часов в гости и ударился к постоялому двору — в наме-

рении поговорить с Констою начистую и взять с него, что можно, за молчание.

«Меньше тыщи рублев — сейчас издохнуть! — не возьму, — мечтал волкоярский проходимец. — Так и скажу: клади об это место тыщу рублев, а то — к становому».

Каково же было его удивление, когда он нашел постоялый двор закрытым, замок на калитке, ворота плотно заперты, на ставнях засовы... От соседей он узнал, что Анисиму и Прасковье торговля показалась убыточной, и они продали свое заведение и передали аренду усадьбы дворнику из соседнего села. Новый хозяин в дело еще не вступал, а старые, получив деньги, живо собрали свой скарб и уехали.

— Куда? правду тебе сказать, милый человек, не знаем. Говорили, якобы на родину. А жаль: хорошие были люди, ласковые. Оттого и проторговались. С ласковостью да тароватостью нешто дворничать возможно? Тут собакой надо быть, разбойником.

Нашел Ефрем нового дворника. Осанистый, седоватый мужик — косая сажень в плечах — долго смотрел на него умными, равнодушными глазами.

— Ты что же? сродни, что ли, Анисиму будешь? — спросил он наконец.

— Нет... мы так...

— А коли так, нечего тебе, парень, о них и беспокоиться, обивать чужие пороги.

— Должок, признаться, за ним остался, — хитрил Ефрем.

— До-о-лжок? — насмешливо протянул дворник, — ну, брат, жаль мне тебя: надо полагать, получишь на том свете угольками... Анисим теперь — ау где! Ищи ветра в поле.

Ефрем разгорячился, — ему почему-то казалось, будто старик отлично знает: и кто такие были Анисим с Прасковьей, и по какому делу он их ищет, и куда они уехали. Терять ему было нечего, и он откровенно объяснился с дворником.

— И ежели теперича, Прохор Иваныч, ты таких воров будешь укрывать, — заключил он, — то и сам попадешь в ответ пред начальством.

— Что ты такое бредишь, парень? Даже удивительно! — спокойно возразил дворник. — Никаких твоих историй я не знаю и знать не хочу. Мне продали, а я купил — вот и все мое дело, и весь ответ. Расписки имею, бумаги в порядке. А кто что продал, — пущай начальство разбирает, коли надобно; наша торговая часть — сторона. Начальству же мы, слава Богу, довольно известны: старожилы здешние. И еще я тебе скажу. Ты говоришь, что Анисим мошенник и названец. А, по-моему, мошенник-то выходишь ты. Анисим человек торговый, с понятием, с деньгой. Ребенок у него родился, — становиха в кумах была: во как! А ты приходишь на него мараль пущать: явное дело — сорвать хочешь... За это, брат, тоже вас, прохвостов, не хвалят. Ведь, коли что знаешь, доказать надо. А докажешь ли? полно, поручишься ли наверняка? А ну, как не докажешь? Чай, сам пословицу знаешь: доносчику первый кнут.

— Да помилуй, Прохор Иваныч...

— Нет, парень, ведь это я так говорю, жалеючи твоего глупого разума, а по мне — как хочешь... Лови жар-птицу в осиновой роще, ищи княжон по постоялым дворам.

Ефрем настаивал. Дворнику это наскучило, и он честью предложил кучерку:

— Вот Бог, а вот порог.

Очутившись на улице, Ефрем поохал, повздыхал... и, не солоно хлебавши, побрел восвояси кучерить у прасола.

X

Над Волгою ложились сумерки. Под мутным темнеющим небом река отливала свинцом и сталью. День прошел нехороший — холодный и ветреный, — а ночь обещала быть

еще хуже. Люди на большой барке, спускавшейся по течению от Васильсурска, дрогли и кутались. Барка была нагружена прессованным сеном — в ту пору совсем новостью и редкостью. Какой-то агроном занялся этим производством на заливных приоркских лугах и теперь сплавлял первый груз, как пробу, другому агроному под Казань. В Васильсурске на барку попросились довезти их до Казани мужчина и женщина с малым ребенком и довольно вескою поклажею. Это были Зина и Конста. Потолкавшись в суете Макарьевской ярмарки, они осторожно спускались к низовью — в намерении пробраться через Астрахань и Каспий в Закавказье, где русскому смышленому человеку была в то время жизнь вольная — как у Христа за пазухой. Люди были нужны. Какие люди и что у них за паспорта, не очень разбиралось. По крайней мере, так уверяли Консту тифлисцы, с которыми случай свел его у Макария. Он решил попробовать счастья в Тифлисе. Зина, по обыкновению, не прекословила.

— А если не выгорит наше дело в Тифлисе, махнем на Черное море — там рукой подать. И Адест город, и Туречина... куда захотим, туда и поедем.

В каких именно расчетах стремился Конста в Тифлис, он и сам не знал. Но он был уверен, что сумеет пристроиться к какому-нибудь прибыльному и подходящему для себя занятию. Конста был искателем приключений по самой своей природе. Способностями он обладал удивительными и не без основания полагал о себе, что он годится на всякое дело. В течение двух месяцев, что они с Зиной промыкали по Поволжью, он успел научиться говорить по-татарски — не только сносно, но даже не без щегольства... А уж ругался совсем артистически.

— Экая жалость, — говорил он Зине, — что ты по-французскому и немецкому разучилась!..

— Да я и знала мало. Как меня учили? По-французскому Амалия Карловна сама была плоха — еле плела. А от немецкого меня с души воротило. Не хотела я говорить.

— А ей бы тебя присадить!

— Где уж? Ведь она всегда была больная — хворая, кислая, безногая.

— Жаль, крепко жаль! А то бы я у тебя живо перенял. Кто по-французскому говорит, — хорошо. Не страшно и с господами обращение иметь, и в господа самому вылезть. Нешто приспособить француженку какую в Тифлисе?

Пошутил Конста, да и сам был не рад. Всегда спокойное лицо Зины сперва побелело, потом побагровело, губы затряслись, глаза стали огромными и с тусклым отблеском, как олово... «Князь! вылитый старый князь!» — мелькнуло в памяти смущенного Консты.

— Ты никогда не смей мне говорить такого, — хрипло сказала Зина, оправляясь. — Я не люблю. Ты не смотри, что я стала тихая. Во мне черти сидят. Расходятся, — будет нехорошо.

— Глупая... ведь я в шутку!

— И в шутку не надо. Не хочу я, чтобы таким делом шутить... Оно у меня — только одно и есть на свете. Мой ты — больше ничего!.. целуй меня скорей!.. целуй!.. обнимай!..

Ее охватил один из тех порывов страсти, от которых не раз делалось жутко даже самому Консте. «Эдакая же зверь-баба! — думал он про себя, — ну хорошо, что любит, ласкается... А ведь случись между нами какой разлад, она зарежет — не охнет...»

Барочный приказчик — длинный, как червь, мещанин из-под Рязани, худой и томный, с сладкою вежливою речью — уступил супругам свою рубку, они завалились спать. Но среди ночи Консту всполошили крики и топот на палубе... Он в одной рубахе выскочил из рубки... Громадный косой столб розового пламени встал пред его глазами... Барка горела, как свеча. Люди в отчаянии метались от борта к борту, оглашая темную ночь раздирающими душу воплями о помощи.

— Зинаида!.. вставай... беда! — не своим голосом закричал Конста и, сорвав со стены жилетку, где были зашиты у него деньги, быстро напялил ее на плечи.

— Лодку... Лодку... Ло-о-одку! — вопили погибающие.

Но лодок не подавали. Пожар вспыхнул, когда барка находилась в промежутке двух береговых сел — до обоих было версты по четыре. В дрожащем красном свете, игравшем по чешуйчатой реке, видно было, как на берегу метались бурлаки-бечевщики. Слышны были их голоса... Они совсем потерялись, бессильные подать помощь товарищам на барке, потому что бечева перегорела.

Сено горело, как свеча, почти без дыма, с невероятной силой, яркостью и быстротой. Пламя раздувалось, как флаг, махало красным языком по всей палубе. На барке нельзя было дольше оставаться.

Люди стали бросаться в воду. Приказчик соскочил первым и... на глазах Консты пошел ко дну. Его маленькая голова вынырнула раза два и пропала. Зина с ребенком на руках глядела на черную рябь реки, которую пожар окрашивал точно кровью.

— Ты умеешь плавать? — спросил ее Конста.

Сам он плавал, как рыба.

Она отрицательно покачала головою. Сквозь пламя, по зыблющимся, подгорающим доскам, Конста прорвался в рубку барки, схватил из угла пустой бочонок, и в два прыжка очутился возле Зины... Доски сзади его обломились; взвился сноп искр, и пламя лизнуло ему спину красным языком. Обожженный, в пылающей одежде, бухнулся он вместе бочонком в Волгу.

— Прыгай ко мне! — кричал он.

Зина прыгнула, и — не успела глубоко окунуться, как Конста уже подхватил ее сильною рукою и увлек от барки: она вся превратилась в пламя, крутящееся под ветром.

— Держись за бочонок!.. — быстро говорил Конста.

Но Зина, вычихнув набравшуюся в ноздри воду, огляделась безумными глазами и — к воплям, разносившимся по реке, прибавился ее отчаянный голос:

— Дашка! где моя Дашка?

Тут только Конста заметил, что ребенка на руках у нее нету. Очутившись под водою, Зина невольно развела руки, и спеленатый кусок живого мяса, как свинец, канул на дно реки.

Конста застонал... Но время не терпело. Он заставил Зину опереться на бочонок и поплыл к берегу, толкая ее рядом с собою. Зина так глубоко лежала в воде, что снаружи виднелись только нос да губы. Тянуть ее за собой было каторгой... С Волги уже слышались голоса людей, спешивших на лодках выручать погибающих. Но лодки были еще далеко, а Конста терял последние силы. Мокрая одежда становилась все тяжелее и тяжелее. Осиплым, сорвавшимся голосом звал он на помощь...

До темного берега оставалось еще саженей пятнадцать. Зина все грузнее и грузнее опускалась в воду; руки ее обессилели... бочонок от нее ускользнул. Сверхчеловеческим усилием Конста поймал его и опять дал ей в руки. Потом, держась правою рукою за тот же бочонок, левою он схватил Зину за ее разбитую мокрую косу и поплыл, ежеминутно глотая воду...

— Не могу больше... — простонала Зина...

Ее тяжесть опять потянула Консту ко дну. Но дно оказалось уже неглубоким: Конста достал его ногою. Торжествующий крик вырвался у него из груди.

— Зинка, не тони! Зинка, держись! — хрипел он, — минуту еще... одну минутку...

Вода была уже по плечи Консте... Он шагнул раз, другой, волоча за собою бесчувственную женщину, и остановился на безопасном месте, держа ее на плече: вода была немного выше пояса. Счастливая звезда вынесла Консту на отмель... здесь их и подобрали.

Барка затонула... да, надо полагать, немного от нее и оставалось, когда она пошла ко дну, судя по обилию и мелкости обгорелых обломков: суток двое вылавливали их окрестные мужики. Выловили пять трупов: живыми с барки ушли только Зина с Констой, да и то, относительно первой, трудно было сказать, чем кончится для нее страшное потрясение... Кроме пережитого ужаса, глаз на глаз с неминучей гибелью, кроме простуды в осенних водах, кроме потери ребенка, ее постигла еще беда, — она выкинула, и теперь, лежа на палатях крестьянской избы, в горячечном бреду, колебалась между жизнью и смертью.

Конста отделался ожогом и лихорадкой. Он высох и пожелтел — даже до белков глаз. У него было другое несчастие. Когда он, взятый лодочниками, очнулся и пообсушился, первою его мыслью было: «А наши деньги?» Он нащупал место, где зашиты были ассигнации... Пусто!.. Консте надо было много самообладания, чтобы не закричать: «Караул! Ограбили!..» Он сдержался, осмотрел себя и — все понял: второпях, выбегая из рубки, он сорвал с гвоздя и надел вместо своей жилетки — жилетку погибшего приказчика.

— Купец! Бумажник-от не потеряй, а то выпал было, как тебя из лодки выносили, — заметил ему хозяин избы, указывая на кожаный бумажник, бережно положенный на божницу.

Конста жадно схватился за мокрый бумажник: денег в нем была самая малость, пятьдесят рублей, приготовленных приказчиком на мелкие расходы. Это был весь капитал Консты и Зины — на всю жизнь... Консте стало страшно.

— Ты из каких будешь, купец? — приставал к Консте хозяин.

Но он бессмысленно смотрел на мужика и ничего не отвечал.

— Не трожь его, не замай, — вступился кто-то. — Вишь, перепужался парень, слов лишился. Ужò отойдет, — расспросим. К тому часу и становой подоспеет...

— Не засудили бы нас за тебя, купец... — сомневался хозяин.

— Вона — засудили! — возражал защитник Консты, — за что? Нешто мы убили кого али ограбили? Двух человек спасли... нам медаль надо! А что пожар, — мы тому неповинны.

— А бурлаки-то, что в лямке шли, сробели, сбежали.

— Им как не робеть? Небось беспаспортные. Попал в дело, — вот и бродяга. В острог — да по этапу. А теперь время горячее — Макарьевская. Цена бурлаку — рупь в день. Расчет ли ему с начальством валандаться? Сбежишь!

Оставшись один, Конста еще раз пересмотрел содержимое бумажника. Кроме денег, там лежали кое-какие торговые записки и счета и четыре паспорта: самого приказчика, двух бурлаков и артельной стряпухи... Остальная босая команда, должно быть, и впрямь была беспаспортная. Паспорта были чуть-чуть попорчены водой... Конста задумался. Это тоже было богатство в своем роде.

Назавтра, на вопрос станового, как звать, — Конста, не моргнув глазом, ответил:

— Андрей Иванов Налимов, из дворовых, вольноотпущенный человек господ Турухайских... Торгуем, по малости, красным товаром...

— Так, — сказал становой, просматривая вид, — а барка чья?

— Не могу знать, ваше высокоблагородие. Мы сели в Васильсурске с бабенкой этой, что валяется в клети больная. Приказчик посулил подвезти вещи до Казани, да вот и попутал грех. Всего имущества лишились; деньги, какие были в сундуке, — все взяли огонь да вода. Тысяч на восемь горя купили... Да! Бабенки-то моей паспорт прикажете, ваше высокоблагородие?

— А почему он у вас? — уже вежливо спросил разоренного тысячника становой.

Конста потупился.

— Что греха таить, ваше высокоблагородие? Который год уже любимся... Все равно, как жена.

Все было в порядке. По новому паспорту Зина числилась зарайской крестьянкой Марьей Прохоровой... Приметы были подходящие, — то есть, вернее сказать, обычные для всех: волосы русые, глаза серые, нос и рот обыкновенные, лицо чистое, особых примет не имеется. По видимости, ничего незаконного в личностях Налимова и Прохоровой не усматривалось... Хотел было становой для очистки совести порасспросить самое Прохорову, но Зина лежала без памяти, ничего не понимала и даже не бредила.

«Красивая какая!» — подумал становой.

Паспорта остались при деле, а Конста и Зина получили проходные свидетельства в Казань. Становой — сочувствие сочувствием, — но все-таки за свидетельства сорвал с Консты. Надо было заплатить и хозяевам за подмогу и содержание и одежонку хоть какую-нибудь купить.

Недели через полторы богатырская натура Зины взяла верх над болезнью. А еще через неделю Конста уже вез ее — еще бессильную и тощую, как скелет, — на мужицкой телеге в Казань...

Ну, Константин, — думал он, подпрыгивая на облучке, — теперь держи ухо востро. Забота у нас на плечах великая, а денег — красная бумажка. Пропадем али не пропадем? Эх, да ужли ж ни у меня, ни у Зинки звезды нет на небе? Авось Бог милостив... выручит нас Казань-городок...

XI

Казань в то время была город дикий не дикий, да и не цивилизованный. Казань по-татарски значит «котел», и она, действительно, была котлом, в который сплывало и в котором перекипало всевозможное злополучие человеческое, сте-

кавшее из крепостного Заволжья — до Уфы и Оренбурга, из заводских губерний, бежавшее с сибирского поселения и каторжных работ. Миновать Казань ни в Сибирь, ни из Сибири было невозможно. Она была как бы первым европейским узлом, к которому тянула русская Азия: Уфа, Оренбург, Пермь, Вятка — были для нее еще как бы этапами и далекими пригородами. Поэтому много беглого и преступного народа — сибирских поворотников — брали в Казани, но еще более их застаивалось в ней, пережидая фортуны, чтобы от Бакалдинской пристани сплыть на низ к Жигулям или наверх к Нижнему. Область имела и отчасти оправдывала репутацию неспокойной. Совершить поездку, например, из Уфы либо даже из ближайших уездных городов в Казань почиталось путешествием нешуточным и небезопасным, потому что разбои на больших дорогах были обыкновеннейшим явлением. На проводах отважного путешественника служились молебны, семья ревмя ревела, точно родитель ехал не в губернию по делам и за покупками, но на кровопролитную войну. Проезжая дворянскими усадьбами, путешественник видел их какими-то крепостями. На ночь окна в помещичьих домах запирались крепкими ставнями и железными болтами; в дверях сеней вырезывались круглые отверстия — бойницы для стрельбы по непрошеным ночным гостям; ружья всегда были наготове. Стучась в такие укрепленные двери, надо было не зевать и немедленно отвечать на оклик, — иначе хозяева стреляли. Мензелинский помещик Левшин таким образом чуть не убил исправника, который вздумал с ним пошутить и «попугать». Под самою Казанью бродили два разбойника: Быков и Чайкин. За первым считалось 105 собственноручно им загубленных душ, за вторым — 90. Они соперничали в жестокостях, кто лише отличится. Самою излюбленною забавою этих людей-чертей было вскрывать животы беременных женщин и рассматривать младенчиков. Когда их схватили, то не полиция и не солдаты стерегли острог, а народ с него

глаз не спускал, боясь, чтобы двуногие звери не вырвались на свободу для новых злодейств. Весною 1849 года Быков и Чайкин были выведены на Арское поле для наказания шпицрутенами. Быков был приговорен к двенадцати тысячам ударов, Чайкин — к десяти тысячам. Это было равносильно смертной казни. Тем более, что солдаты условились не давать пощады и били разбойников с ожесточением, — даже, говорит очевидец, «в противность уставу, выбегая из строя». Смотреть эту страшную живодерню валил народ даже из уездов. Никогда Арское поле не вмещало более многолюдной и злорадной толпы. Полного наказания Быков и Чайкин не вынесли и умерли в госпитале на второй или третий день.

Страшная школа, в которой вырабатывались подобные характеры, лежала между Волгою и Уралом. Только что взяли в опеку уфимского помещика, приятеля графа Канкрина, пресловутого Анастасия Жадовского, злоупотребления которого помещичьим правом и в XVIII веке, в екатерининское раздолье дворянской вольности, были бы необыкновенны. В Мензелинском уезде сидела, как баба-яга, «живая покойница», Евгения Ивановна Можарова, которая засекала девок своих за неубранную тряпку, за неопрятный передник и имела нарочный сарай-застенок, где, если жертва умирала под розгами, ее тут же, под скамьею для секуции, зарывали под землю, и место аккуратно заравнивали песочком. Когда злодейства Можаровой дошли до Петербурга, произведено было следствие, и дело перешло в Сенат, то спасти эту новую Салтычиху могло только одно средство, героическое, но довольно обыкновенное в старых крепостнических нравах: юридическая смерть. Ценою огромных затрат и взяток показали Евгению Ивановну умершею и дело «предали воле Божией», а Можарова втихомолку спокойно доживала свой век. Характера своего «живая покойница» нисколько не изменила. Жестокие ревматизмы уложили ее в постель. Дни ее были сочтены. Врач

посоветовал разглаживать ее теплыми утюгами. Умирающая и тут осталась себе верна. Гладильщицы ее то и дело вскрикивали и обливались кровью. Оказалось, что старая ведьма добыла где-то вилку и подгоняет ею усердие прислужниц, и колет их, когда находит, что они ей мало помогают.

Грозные зверствовали, добрые глумились. Провинившегося лакея кроткая помещица, не признающая телесного наказания, ставила на коленях посредине двора и заставляла вязать чулок. Горничная, не выполнившая приказания, приглашалась в гостиную, — сажали ее на место барыни, на диване, подавали ей чай, говорили ей «вы» и «чего изволите», — до тех пор, пока виноватая не валилась в ноги, моля простить ее и освободить от непривычного приема и угощения. Если мужик сказывался больным и отлынивал от барщины, его помещали в отдельную комнату в барском доме и лечили диетой, — давали вместо обеда кусочек белого хлеба и рисовый суп. Обыкновенно больной спешил выздороветь, но бывали и такие гордецы, что, к удивлению гуманной исправительницы, выздоровев, ударялись в бега и увеличивали собою число вольной казанской голи.

Совсем не редко было встретить в помещичьих домах наследие XVIII века — шутов и шутих. Пожилой мужчина в усах и бакенбардах, но в сарафане, ожерельях на шее и с серьгами в ушах во многих дворянских усадьбах, особенно поглуше, вдаль от Казани, вглубь уездов, встречал гостей ужимками своими. Если какой-либо гость, вкусивший европейского прогресса, выражал недоумение, хозяева оправдывались:

— Наше дело деревенское, частенько бывает, что и соскучишься. Что делать? Ну и велишь позвать дурака, а он и начнет городить всякую чепуху, а не то как-нибудь кривляться, прыгать станет. Ну, подчас и рассмешит, и слава тебе, Господи! А у нас дурак и презабавный, право!

Крепостные цепи были всюду напряженные, сторожкие. Почти сто лет минуло с Пугача, но обе стороны его помнили,

как вчерашний день, и принимали, как урок. Отсюда дикая суровость помещиков, чувствовавших за собою непобедимое засилье. Отсюда нелюбовь крестьян даже к тем барам, которых они сами почитали добрыми и справедливыми. Редкими были примеры хороших взаимоотношений между душевладельцами и душами владеемыми. Листовские, Левшины гордились, что «крепостные их любят», но любовь эта принималась на веру. Старушка Лорер, уверенная в том же, на восьмом десятке лет, устав управлять имением и не имея наследников, отпустила на волю тысячу душ, ей принадлежавших, и подарила им все свои земли и угодья — с тем, чтобы крестьяне до конца ее жизни выплачивали ей по две тысячи рублей ежегодно, да сверх того, тоже до конца барыниной жизни, давали бы по два работника в день для работ по господскому саду и усадьбе. Крестьяне, бесконечно благодарные благодетельнице, обязательства свои исполняли честно.

— Только, — жаловалась старушка Лорер, — с некоторых пор, видно, им надоело работать у меня в саду. Вот они и ропщут. А иногда подойдет работник к окошку, где я люблю сидеть, да и начинает меня усовещевать: «Матушка, грех тебе! Чужой век зажила! Смерти на тебя нет! Долго ли нам еще тут маяться?..» Такие озорники, право! А что ж мне делать? Видно, так Богу угодно. Ведь не руку же на себя в их угоду накладывать.

У лютых помещиков народ гнул голову, стиснув зубы, мечтал о близкой воле и все ждал какого-то таинственного царя Михаила:

— Идет царь Михаил. Он был заключен до сего времени за двумя железными дверями и шестью замками, а теперь вышел на свободу. Идет он не один, с ним большое воинство, и хочет он извести всех бар на русской земле. Всю землю царь Михаил отдает крестьянам во владение, а помещикам не оставляет ничего.

Кто утомлялся ждать царя Михаила, бежал ему навстречу — большого воинства не находил, но сам утопал в великом воинстве всероссийской бродячей вольницы.

В самой Казани воровство шло страшное. Полиция вменила домохозяевам в обязанность иметь дворников, а кто не в состоянии — держать дворовых собак. На Ляцкой улице скупой профессор Мастаки, «так как был уже в отставке, значит, имел много свободного времени для отдыха в течение дня, то ночью принимал на себя роль собаки: он садился на лавочку за воротами и лаял. Все-таки старость, при порядочной тучности, брала свое, и Мастаки частенько дремал. Но, точный в исполнении принятых на себя обязанностей, просыпаясь, он не забывал своей роли и каждый раз пробуждение свое знаменовал лаем. Однако спросонья не всегда удачно выходило у него подражание, что раз заинтересовало одного из товарищей-профессоров, проходившего по этой улице. Он подошел к дому Мастаки, луна осветила фигуру дремавшего грека. Шаги заставили его проснуться, но вместо приветствия он встретил товарища собачьим лаем».

Улицы были первобытны и едва освещались. За Булаком не было тротуаров и мостовой, а только деревянные мостки, не было фонарей, и извозчики туда ехали неохотно даже днем, а вечером — ни за какие деньги. Лужи-непересыханки разливались там во всю ширь улиц, и существовал промысел переноса через грязь, за две, за три копейки, на широкой спине и дюжих плечах босяцких. Очевидец рассказывает, как однажды среди такой лужи живой конь, несущий нарядного студента к знакомым на вечеринку, был остановлен пьяным, который, «видя перед собою силуэт человека с ношею на спине, принял его за шарманщика и скомандовал:

— А, шарманка, играй!

Живой конь заартачился было, но пьяный стал его подталкивать. Студент в ужасе, что вывалят его в грязь и пропал его бал, нашелся, шепнул на ухо подседельному своему:

— Верти рукой!

— Да что я буду вертеть? — изумился тот.

— Верти!

Подседельный стал вертеть рукою, а студент на его спине запел тоненьким голосом моднейший тогда романс:

Ты не поверишь,
Ты не поверишь,
Ты не поверишь,
Как ты мила!!!

Пьяный, послушав немного, промычал:

— Проваливай!

И побрел себе по луже, отыскивая, где посуше и удобнее отдохнуть, а студент благополучно перешел через Рубикон.

Утопая в своих даже не целебных грязях, казанцы могли утешаться только тем, что в других городах еще хуже. В Пензе англичанин, пленный офицер, утонул, — по-настоящему, до смерти утонул, — на главной улице, потому что вздумал гулять по городским мосткам — деревянному тротуару. Доска вывернулась из-под его ноги, он провалился в канаву под мостками, в текущую жидкую грязь, упал и задохнулся прежде, чем его успели извлечь. В Уфе новый губернатор отправился делать визиты и — завяз безвылазно в грязи. Карету его едва вытащили. Женщины не решались переходить через улицы иначе, как по накиданным доскам или нарочно протоптанным тропинкам: с дерзавших шагать напрямик грязь «снимала башмаки». Полагалось освещать город фонарями с конопляным маслом, но будочники поедали масло с гречневою кашею, и над Уфою царила прежняя темь. Тогда губернатор приказал прибавить в масло скипидару. Не совершенно помогло. Бутарское брюхо и скипидар выдерживало. А что за вонь и гадость распространяли подобные факелы, легко себе вообразить. Чтобы ввести в Уфу подобие городского

освещения, понадобился совершенно исключительный губернатор, отказавшийся в беспримерном бескорыстии от обычной дани, которую откуп платил его предшественникам. Губернатора этого звали не то Талызин, не то Балкашин. «Сила привычки велика. Откуп, видя в своих книгах по губернаторской статье пробел, впал в превеликую тоску и, чтобы избавиться от нее, предложил освещать город спиртом. И всё, таким образом, устроилось как нельзя лучше: совесть губернатора была покойна, откуп избавился от тоски», а город обрел свет, так как золотопромышленник Базилевский подарил ему целых двести фонарей.

Татарская часть Казани пребывала едва ли не в том же состоянии, как застал ее грозный царь Иван Васильевич: азиатский городок с множеством минаретов, мужественно выдиравшихся из непроходимой грязи. Полиция сюда заглядывала только за взятками. Народ смирный, зажиточный и честный, татары управлялись как-то сами собою, подобно маленькому государству в государстве, — зато и были едва ли не самою доходною статьей в бюджет полицеймейстеров, за исключением, конечно, поборов с старообрядцев. Память взятия Казани сохранилась в зимних кулачных боях на Кабан-озере, которые славились по всей России и, кажется, нигде не достигали большего ожесточения и правдоподобия в сходстве с настоящим побоищем. «Инде россияне теснили моголов, инде моголы — россиян». Когда татары одолевали, они, по крайней мере, ограничивались победою в пределах озера и успокаивались, очистив Кабан от разбитых русских. Когда же торжествовали русские, то не только гнали татар по улицам, но, освирепев, врывались даже в дома и колотили смертным боем семьян побежденной стороны, так что моголы наконец брались за колья и оглобли.

Тогдашняя ночь казанская увековечена в студенческой песне, которая до сих пор поется:

Там, где с Волгой-рекой,
Будто братец с сестрой,
Черно-грязный Булак обнимается,
От зари до зари,
Как зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются.
Они песни поют,
Они горькую пьют
И еще кое-чем занимаются.
А Харлампий святой,
С золотой головой,
Сверху глядя на них, ухмыляется.
Он и сам бы не прочь
Прогулять с ними ночь,
Да нельзя: строго им воспрещается.
И так далее.

Наткнется, блуждая по «Пескам», партия студенческая, с хором «Харлампия» на устах, на партию семинаристов, голосящих «Настоечку двойную, настоечку тройную», — и непременно задерут одна другую, грянет бой Алеш Поповичей с Добрынями Никитичами. Лупят друг друга без пощады страшными молодыми кулачищами, — дворянчики кутейников, кутейники дворянчиков, пшеничники оржаных блинников, оржаные блинники пшеничных выкормков. Иного с поля битвы товарищи вынесут в бесчувствии, замертво, как готового покойника. А наутро все, как ни в чем не бывало, на местах: одни слушают знаменитого, чуть не гениального, цивилиста Мейера, другие — такого же вдохновенного богослова, архимандрита Гавриила, величайшего чудака, которого когда-либо имело российское черное духовенство. Он жил в Зилантьевском монастыре, откуда приезжал к лекциям на таратайке в одну лошадку, причем у кучера в ногах обязательно помещался довольно уемистый бочонок.

— Для чего у вас бочонок, отец архимандрит? — спрашивали студенты.

— А для водочки, братец, для водочки, — водочку в городе закупаю. Надо же чем-нибудь монастырскую скуку разгонять.

В действительности же, бочонок предназначался для воды из превосходного источника в Русской Швейцарии, который Гавриил очень любил и почитал для себя целебным.

— Отец архимандрит! — спрашивали Гавриила, — когда же вас архиереем сделают?

— А нескоро, братец, нескоро. Когда все архиереи перемрут и половина архимандритов, — тогда настанет и моя очередь.

Высшее духовенство Гавриила терпеть не могло и подозревало в протестантском еретичестве. Низшее — очень любило как товарища и милого человека, но в грош не ставило как начальника. Монастырь свой Гавриил распустил страшно, в чем и сам охотно сознавался. Приезжает к нему как-то раз некая ханжа-аристократка — в негодовании, с жалобой:

— Отец архимандрит, от ваших монахов в городе житья нет. Они у вас скоро разбойниками станут!

— Эге! — успокоил Гавриил, — уже и разбойничают.

— Так вы бы их уняли?

— Унимаю.

— Так что же?

— Не слушают.

— Значит, плохо унимаете.

— Как их уймешь, если у них на всякий резон имеются свои резоны?

— Отец архимандрит! Какие могут быть резоны у разбойников? Просто вы — слишком снисходительны.

— Я им говорю: братия! разбойничать нехорошо, нарочито в вашем ангельском сане... души свои аду уготовляете...

А они мне:

— Нет, отец архимандрит, ничего, только надо приспособиться, чтобы не слева, а справа распяли!..

— Вот-с?..

— Ты, — говорят, — еще покажи нам в Писании-то: обещано ли где, чтобы монах спасен был? Сие есть гадательно. А о разбойнике — вот оно, это твердо!

Гавриил люто враждовал с архимандритом Григорием, который в конце концов и выжил его из Казани, и упек его, не пожалев ни таланта, ни огромных знаний, ни кроткого характера, под синодский суд и довел до ссылки настоятелем куда-то далеко, в Иркутский, кажется, монастырь. Григорий был аскет, угрюмый византиец.

Однажды та же аристократическая ханжа опять отчитывала Гавриила:

— Что же это, батюшка? Еду я сейчас Арским полем, вижу: два ваши монаха идут, сами еле на ногах стоят и бабу пьяную ведут с собою?

Гавриил — красный, рыжий, толстый, косой, косноязычный — потряс головою и ответствовал:

— Это не мои.

— Как не ваши? Я их в лицо знаю.

— Не мои.

— Помилуйте, ваше высокопреподобие. Мне ли монахов казанских не знать? Если не я, так — кто же?

— Не мои. Григорьевы, — не мои!

— Ну уж извините, отец архимандрит, у епископа в монастыре подобной распущенности не слыхано, — и быть не может.

— А все-таки Григорьевы, а не мои!

— Да почему вы так уверены?

— Потому что, ежели бы мои были, то не два бы монаха одну бабу вели, но каждый монах двух баб... по меньшей мере!

Не мудрено, что при столь выразительных нравах старая вера преуспевала и процветала, как никогда, хотя на нее был напущен именно в это время такой умный, хитрый, об-

разованный и знающий до тонкости характер и быт своей паствы, чиновник-волкодав, как литератор П.И. Мельников. Безжалостный, да и бесстыдный-таки, погром старообрядчества, произведенный Алябьевым и Мельниковым в Поволжье, по инструкциям генерал-адъютанта Бибикова, сделался в своем роде эрою в летописях старой веры. В самой Казани Мельников застращал делом о подлоге брачных документов и ввел в единоверие именитых старообрядцев Мокеевых и Плаксиных. Но — видно — служба службою, а дружба дружбою и ум умом, талант талантом, чувство чувством. Тот же самый Мельников кончил жизнь свою страстным поклонником именно старообрядческих слоев русского народа и сложил в честь их вдохновенную эпопею — роман «В лесах», которая никогда не забудется в русском словесном художестве. «Был Павел, а стал Савел», — выразился о нем еще в 1854 году митрополит Филарет.

Духовенство церковное — великороссийское «под большими колоколами», — было, даже в лучшем случае, грубое, первобытное.

— Что тебе — лень рот открыть? — вопил сердитый поп на причастницу-прихожанку, — вя!.. вя!.. куда я тебе лжицу-то просуну?

Сконфуженная дама раскрывала рот шире. Батюшка уже и тем недоволен:

— Смотри, пожалуй, как пасть разинула. Аль ты меня вместе с сосудом проглотить хочешь?

В Уфе протопоп Бреев выслал сказать губернаторше, чтобы она вперед не кланялась в землю столь близко к амвону:

— А то я ей язык оттопчу!

Какой-то другой вывел из церкви даму за то, что была в «собачьей коже», то есть в перчатках.

Это все были «хорошие» батюшки, уважаемые. О худых же именно Мельников доносил в 1854 году в отчете министерству внутренних дел:

Может ли народ с уважением смотреть на духовенство, может ли он не уклоняться в раскол, когда то и дело слышит он, как один поп, исповедуя умирающего, украл у него из-под подушки деньги, как другого народ вытащил из непотребного дома, как третий окрестил собаку, как четвертого во время пасхального богослужения диакон вытащил за волосы из царских дверей? Может ли народ уважать попов, которые не выходят из кабака, пишут кляузные просьбы, дерутся крестом, бранятся скверными словами в алтаре? Может ли народ уважать духовенство, когда повсюду в среде его видит святокупство, небрежность к служению, бесчиние при совершении таинственных обрядов? Может ли народ уважать духовенство, когда видит, что правда совсем исчезла в нем, а потворство консисторий, руководимых не регламентами, а кумовством и взятками, истребляет в нем и последние остатки правды? Если ко всему этому прибавить торговлю заочными записками в исповедные росписи и метрические книги, оброки, собираемые священникам с раскольников, превращение алтарей в оброчные статьи, отдачу за поповскими дочерьми в приданое церквей Божиих и проч. т. под., то вопрос о том, может ли народ уважать наше духовенство и может ли затем не уклоняться в раскол, — решится сам собою.

Но «Савлом», упрекаемым от Филарета, Мельников пребывал покуда только на бумаге, а на деле ревностно исполнял свою миссию и так чисто обыскивал старообрядческие дворы, что — после ночного обыска в Нижнем у Головастиковых — когда он, разыскивая спрятанные старые иконы, не постеснялся собственноручно обшарить постели не только старухи-хозяйки, но и дочери ее, всего 18 часов как разрешившейся от бремени, — министр внутренних дел, сколько ни мирволил Мельникову, но по сенатскому указу, вынужден был затребовать объяснений, которые окончились к благополучию Павла Ивановича, но не к чести и славе. По ту сторону Волги, в Нижегородской губернии, полицеймейстер Зенгбуш возил от города к городу какого-то скопца, одетого в сарафан (на что последовало высочайшее соизволение императора Николая Павловича), выставлял его на базарах и требовал от народа, чтобы скопцу плевали в глаза. Мельников возмущался этой бессмысленной жестокостью — опять-таки на бумаге и с той лишь точки зрения, что мера непрактична: «Все и раскольни-

ки, и не раскольники, смотрели на скопца, как на мученика, старухи плакали, а когда скопца повезли в Лукоянов, то народное к нему участие выразилось в необыкновенно щедром ему подаянии калачами и деньгами. Скопчество и хлыстовщина от такой меры но только не уменьшились, но даже увеличились». Но сам Мельников в это время предлагал не более и не менее, как — сдавать старообрядцев в рекруты не в очередь, за православных, и император Николай Павлович собственноручно пометил на его докладе: «Сделать об этой мере соображение» (1853). Не удивительно, что там, где появлялся Мельников, жизнь старой веры и сект временно замирала, пережидая беду. Кто отъезжал, кто сказывался в отъезде, кто скрывался, таясь, покуда не схлынет гроза и не уберется в свой Нижний грозный чиновник, новый Питирим, только в мундире, а не под клобуком и в рясе.

В такую именно глухую пору застали Казань Зина и Конста, и это было для них новым жестоким ударом, так как они не нашли в Казани никого из «людей Божьих», к которым Конста рассчитывал обратиться за помощью, как беглец из Тая. Правда, у него не было никаких явок, погибших вместе с имуществом в пожаре на Волге, но он надеялся убедить братьев своими знакомствами и рассказами, которых нетаевец привезти не мог. Но напрасно искал он по городу. Именитых из «людей Божьих» или не было, или они притаились глухо и без отклика. А переждать время было некогда и не на что.

XII

На первых порах молодой паре беглецов пришлось в Казани круто. Они остановились на постоялом дворе, грязном и дымном. Разменяли красненькую бумажку — рубль Кон-

ста заплатил за подводу; на остаток жили, пока не нашли квартиры. Деньги хозяйка спросила вперед. Пришлось продать пару серег, перстни и тяжелую серебряную цепочку от креста — единственные ценные вещи, сохраненные горемыками от прежнего благосостояния, потому что в роковые минуты пожара они были надеты на Зине. Квартиру взяли на Песках — крохотную кухоньку с русской печью — за полтора рубля в месяц. Как только прибыли в Казань, Конста поторопился отделаться от проходного свидетельства на имя Налимова. Так как приказчик сгоревшей барки, конечно, известен отправителю погибшего груза, а может быть, и получателю, то самозванство на его имя Конста почел опасным, — тем более, что к его услугам были новые имена и новые паспорта погибших бурлаков. О них-то уж, по всей вероятности, — и отправитель, и получатель знать не знают, что это были за люди и как их прозывали. Таким образом, Конста превратился в оброчного крестьянина Тульской губернии, господ Малоземовых, — Филиппа Гордеева; проходное свидетельство, выданное Зине, осталось целым...

«Бабу искать не станут, — размышлял Конста. — Баба начальству ни к чему. А и станут искать, — найди-ка, поди. Баба в городе, что иголка в сенной копне».

Зине привелось теперь принять на свои плечи тяжелый труд настоящей хозяйки — самой и обед стряпать, и рубаху выстирать, и пол вымыть. То, что в Тае случалось делать для забавы, шутя, для компании с подружками, теперь стало необходимостью. Труд давался ей легко, но Конста злился, видя, что все его самонадеянные мечты разбиты прахом, и вместо свободы и житейских удач он все глубже уходит и уводит с собою любимую женщину в омут нужды и бедования. Однако делать нечего: надо было покориться судьбе, хотя один взгляд на руки Зины — еще недавно белые, а теперь красные, загрубелые в работе — переворачивал Консте всю душу. Он утешался лишь тем, что, сколько

мог, облегчал Зине ее житье, не позволяя ни до чего пальцем коснуться, когда сам бывал дома.

С тех пор, как деньги, вырученные от закладчицы за вещи Зины, растаяли, Конста редко сидел дома, уходя поутру, чуть звонили к ранней обедне. Каждый благовест вызывал его из дому. Возвращался он усталый, иззябший, но веселый.

— Выдь-ка, Зина, на минутку в сени, — командовал он, а когда Зина возвращалась по его зову, на столе всегда лежало несколько бумажек, кучка серебра и меди.

— Откуда? — изумлялась молодая женщина.

— Расторговались с приятелем, — смеялся Конста.

— Но ведь ты в первый раз в Казани... когда же успел найти здесь приятелей?

— Нешто долго?.. И опять же скажу тебе: приятелей у меня — что песку в море. В каждом городе хоть отбавляй.

— Ты бы хоть одного привел показать, какие такие они бывают...

— Вишь ловкая! — отшучивался Конста, — небось, мне чуть глаза не выцарапала, когда я задумал учиться у француженки, а сама хочешь моих приятелей смотреть.

К зиме оказалась возможность перебраться на другую квартиру — в подвал огромного барского дома на Черном озере. Дом этот, незадолго перед этим, купил у разорившегося владельца богатый купец и теперь понемногу отделывал его под мелкие помещения для ремесленных заведений и торговых складов.

— Портные мы... портняжим по малости, — объяснил ему Конста.

Он взял у купца подвал задешево, сырым, как нашел, с обязательством привести помещение в порядок, какой ему угодно, но за свой счет.

Помещение оказалось огромным.

— На что нам, двоим, такое? — удивлялась Зина.

— Мастера будут...

Подвал разгородили деревянными перегородками на клетки. В передней клетке — у русской печи — хлопотала нанятая Констою работница, здоровая молодая девка, некрасивая, но кровь с молоком и богатырской силы. Она была так молчалива, что ее легко бы принять за немую.В другой клетке стояли верстаки, и на них что-то мастерили два угрюмых парня. Они звали Консту «хозяином». Портняжий приклад — аршины, утюги, ножницы, материи — были налицо, но Зина очень редко видела, чтобы ребята кроили, шили, штопали. Никогда ни одно платье не выходило из подвальной мастерской. Зато входило в нее очень многое, и все очень хорошее. Конста уходил поутру, унося под мышкою только черный платок, с каким, чуть не со времен Ивана Грозного, разгуливают по улицам русские портные, и довольно часто возвращался, таща в платке целую ношу. Тогда мастерская оживлялась. Угрюмые мастеровые тормошили принесенную вещь, спорили о ней, ценили ее. Даже полунемая работница вставляла свое словцо... Затем Конста отдавал Зине ценную шубу, шинель или шапку:

— Спрячь до времени...

Прятали в странное место. Чистенькую комнатку для себя и Зины Конста устроил в самой глубине подвала.

— Эх, Зинка! — жалел он, — пришел на мою улицу праздник, да разойтись мне нельзя, опасно еще. А то бы я тебя, голубку, как королеву, устроил. Деньги есть. Каморку бы персидскими коврами устелил. В бархат и шелк одел бы. Потерпи, — теперь уже скоро!..

— Отчего не сейчас? — любопытствовала Зина.

— Боязно, не подумали бы люди чего нехорошего. Скажут: вот — портного жена, а барыней живет.. И о том я тебя попрошу: ты теперь сама работать — ни-ни, и думать не моги, но для видимости, когда будут чужие, похлопочи у печи,

что знаешь... А кто спросит про Ненилу, не говори, что работницу держим, а скажи, что взяла себе племянницу на хлеба, — помогает по дому. Потому: не бывает этого, чтобы у мастерового человека, окромя хозяйки, была баба на прислуги.

— Хочешь, я покажу тебе дивное диво? — спросил Конста Зину в один из первых вечеров, что перебрались они в новое помещение.

Хитро улыбаясь, он подвел ее к большому сырому пятну на штукатурке подвала.

— Видишь?

— Что же тут видеть? Пятно.

— Нет, душа, оно — с хитростью. Постучи-ка...

Стена ответила гулким эхом, точно за нею была пустота.

— Видишь: тут не цельная стена, а только деревянный щит, в одно со стеною заштукатурен. Тут — потайной ход.

— Как в Тае?

— Почище. Не мужичье из-под нужды, а баре для удовольствия устроили. Нам Максим-работник, из дворовых господина Бохрадынского, — чей был прежде этот дом, — сказывал про него, что лихой был не хуже нашего света, князя Александра Юрьевича. Видишь: по потолку пукеты пущены и купидоны? — только полиняли очень от сырости и повыкрошились... Максим говорит, что тут у господина Бохрадынского была устроена такая прохладительная палата. Как напируется, бывало, с приятелями наверху в парадных комнатах, — сейчас всей компанией спускаются сюда, пьют, дебоширят; девки дворовые им песни поют... Наверху-то очень безобразить совестно, — город! — а здесь — людям не видать и не слыхать. А что в окнах огонь, — кому вдомек? Мало ли служб в доме? Бохрадынский был барин богатейший. А наследник его вышел детина другого закала. Чтобы — говорит — и памяти не оставалось от родителева беспутства! И распорядился заделать ход сюда из верхних

сеней... Максим с другим парнем и заделывали. Хозяин нынешний и не знает про эту штуку.

Затем Конста взял топор и прорубил в стене дыру. Открылась черная зияющая пустота; в комнату потянуло холодом...

— Видишь? По-барски устроено: с винтушкой. Узенько — двум не разойтись. Зато нагибаться не надо.

— Куда это выходит? — спросила Зина, любопытно просунув голову в темную затхлую яму.

— Говорят тебе: в верхние сени.

— Стало быть, на улицу здесь выйти нельзя?

— Кабы сени заперты были, нельзя. Да ведь дом-то в разгроме стоит, — без окон, без дверей: перестраивается; так и зазимует. Значит, выйти из него даже очень способно. Только тоже надо будет стену прорубить. Я, признаться, больше в этом расчете, с Максимовых слов, и брал фатеру. А то — невидаль! — на аршин в земле жить.

— Зачем тебе такие хитрости?

— Эх, Зинка! звание мое такое.

— Какое?

— Удалой добрый молодец, — вот какое! — засмеялся Конста.

В прорубленную дыру Зина опускала все вещи, какие поручал ей Конста. Дыра была заставлена сундуками. Кроме того, Конста придумал деревянную заплату, покрытую штукатуркой под цвет стены и по форме прореза. С этою заплаткой стена казалась целою. Там, где заплатка сходилась с прорезом, густо торчала щетина, как бы вмазанная сюда вместе с краской. Дернув за щетину, открывали тайник. Такую же точно дыру и заплату устроили Конста с Максимом изнутри тайника в верхние сени. Работали по ночам — тихо, чуть тюкая инструментами, — и бабам было строго заказано держать язык за зубами.

Вещи бросались в тайник самые разнообразные. Больше всего было платья и белья. Порою Конста, разгружая свои

карманы, выкладывал — часы, кошельки, портсигары, цепочки, браслеты. Как-то раз Максим влетел к Зине, запыхавшись, перепуганный, с огромной, закутанной в платок грудой под мышкой.

— Хозяйка, примай... прячь... — задыхаясь, скорее простонал, чем прошептал он.

— Что примать? что прятать?

Он молча сунул ей в руки закутанную груду. Зина развернула: оказались превосходные столовые часы с перламутровой инкрустацией.

— Откуда это?

— Ты примай, знай... Хозяин велел.

— А отчего ты такой?

— Какой?

— Нехороший...

Максим махнул рукой.

— Гнались за мной... Еле промахнул двором, — пробурчал он.

— Гнались... кто гнались?

— Известно, кто... что тут толковать? Прячь!

В другой раз она застала Ненилу и подмастерьев прильнувшими к окнам: они в восторженном изумлении рассматривали Консту, как он на улице, почтительно сняв картуз правою рукою, а левою держа висящий через плечо огромный узел, разговаривал с квартальным.

— Ну и смельчак же! — восторгалась Ненила. — Смотри, — говорит и в ус не дует...

— И узел через плечо!.. — хохотал Максим.

— Что же тут за диво? — не вытерпев, в недоумении, вмешалась Зина.

На нее дико посмотрели.

— Чудна ты, Марья Прохоровна!.. Да узел-то с чем?

— А с чем? С заказом?

— Да, с заказом... только...

— Ну?

— Хапаным!

XIII

Время от времени в подвал заходили чужие люди — не то фабричные, не то дворовые: кто в чуйке, кто в немецком платье, — чистый народ. У них были быстрые глаза, тихие голоса и легкая кошачья походка. Они шептались с Констою, осматривали краденые вещи, торговались до седьмого пота, платили деньги — непременно золотом или серебром — и уносили покупку. После каждой продажи Конста делался хмурым и крепко ругался:

— Пять лобанчиков! а? ну не ироды ли, эфиопы, скажите, добрые люди? Вещь стоит три сотенных, а отдавай ее за пять желтяков! Коли дешево, говорят, мы не неволим; неси на базар, торгуй по вольной цене, — может, кто даст и дороже... Да черти-дьяволы! кабы я мог по воле продать все, что лежит в каморе, я бы тысячником стал, в бархатах ходил бы и дело бы прикрыл... А то — все гроши да гроши... не разживешься с эдаких достатков!.. Вам чего, ребята? — круто поворачивался он к мастеровым, замечая их выжидательные взоры.

— Могарычи бы распить с твоей милости, хозяин.

Конста вынимал несколько рублей:

— Только — уговор лучше денег: на людях не напиваться. Язык наш — враг наш.

— Помилуй, хозяин: нешто мы сами себе недруги? Авось не махонькие.

— Пьяный — что малый. Хвастуны вы все.

Мастеровые уходили и возвращались домой поздно ночью, хмельные. В такие вечера Конста крепко запирал комнату Зины — на случай, неровен час, дебоша. Однако до

поры до времени Бог миловал жителей подвала: шумных скандалов не случалось. Один только раз вышла драка — Максим приревновал молчаливую Ненилу к товарищу и пустил в него утюгом. Раздались ругательства, два здоровенных парня схватились за волосы. Конста, заслышав крик, бросился разнимать:

— Что вы, черти беспаспортные, вовсе ошалели? Хотите, чтоб нагрянули фараоны? — зашипел он, награждая тукманками обоих соперников...

Парни опамятовались и, тяжело дыша, дико смотрели друг на друга.

Сам Конста смотрел на свою добычу, казалось бы, и ценную, и обильную, с нескрываемою пренебрежительностью:

— Что это за дела? — говаривал он, швыряя вещи в яму тайника. — Будут дела, а это мелочь, плотва... Наскучило по гривенникам-то работать. Вот — кабы левшинскую кладовку подломить, Тюфилиниху обездолить, — это дело. Сразу богат: взял в одну ночь, да и пошабашил на всю жизнь... миллионщик! первой гильдии купец!

Левшинская кладовка была штука любопытная. Жил-был когда-то в Мензелинске екатерининский вельможа, гвардии полковник Милькович, несметный богач. По смерти его все состояние досталось родственнице его Матрене Ивановне Левшиной, урожденной Басиной. Отец этой Басиной был опекуном малолетних Мосоловых: опять-таки, значит, огромного состояния. Некая Тюфилинова, родственница всех названных, предъявила к Левшиной-Басиной иск за неправильные действия отца ее по этой опеке и умела повести процесс так, что, покуда суд да дело, все имения Левшиной, в обеспечение иска, были взяты в опеку. Вся движимость покойного Мильковича, представлявшая огромную стоимость, была свезена в казанский дом Левшиной — впоследствии известный дом Осокиных — и помещена здесь в каменную кладовую, за железные ставни, за железные двери, которые суд опечатал. Получился

каменный мешок с драгоценностями, буквально набитый серебряною посудою, иконами в золотых окладах, кадями жемчуга, ювелирными вещами в брильянтах, в алмазной осыпи, в самоцветных камнях. Тюфилиновой предоставлено было жить в доме. Конечно, ловкая баба не замедлила подобрать ключи к кладовой, и печати ей нисколько не помешали, так как местная судебная власть была с нею заодно. Дело три раза восходило до Сената, и каждый раз находился повод возвратить его в первую инстанцию. Умерла Левшина. Умерла Тюфилинова. Перемерли ее дочери. А дело все тянулось. Одно за другим судейское поколение округляли свои состояния, строили дома, покупали имения, а кладовка, десятилетие за десятилетием, все стояла запечатанная, и все росла, и росла народная молва о сказочных богатствах, в ней скрытых. В слухах этих не разуверяла даже та наглядность, что внучки Тюфилиновой остались после бабушки без всяких средств и жили очень бедно. Наконец — 70 лет спустя после первого иска — суд нашел, вероятно, что лимон выжат до последней капли и великодушно будет возвратить его владелице: Сенат отказал в иске наследницам Тюфилиновой, доконав их, конечно, уплатою судебных издержек, выросших чуть не в сотню тысяч рублей, и присудил спорное состояние дочери Левшиной, древней старушке. Но, когда сняли печати с кладовки, она оказалась почти пуста: сокровища Мильковича погибли в судейских карманах. Необъятные земли были захвачены разными дальними родственниками, теперь крепко державшимися за право давности. Наследница получила едва ли десятую часть того, что ей следовало, и все-таки это было крупное состояние. Но миллионы Мильковича, в полном смысле слова, распылились. Так пошло прахом одно из самых крупных русских богатств.

Сортируя краденое добро, Конста откладывал самые лучшие вещи в сторону:

— Это Зейнабке, — приговаривал он.

— Какая еще Зейнабка? — хмуро спросила Зина, когда в первый раз услыхала это новое женское имя.

Она теперь ревновала Консту ко всем — даже к безгласной Нениле.

Конста захохотал.

— А вот покажу тебе ужо: красавица — лошади пугаются!.. Скупщица, татарка... Она да Муся Хаимовна — первые наши благодетельницы; без них нам — хоть не дыши.

Он рассмеялся еще больше.

— А и не любят же они друг друга! — сущие две псовки. Потому — одним делом займаются, одна у другой отбивают хлеб. Обе богатейки, обе жадные. Только Зейнаб будет поразмашистее Муськи: та — прижимистая, мудрено с нею. Люта торговаться, — иной раз только тем и возьмешь ее, что пристращаешь: подай положенное, не то уйду к Зейнабке. А при расчете всегда норовит всунуть либо фальшивую бумажку, либо обрезанный золотой: такая чудная! — словно я ребенок-двухлеток, чтобы принять, или глаз у меня нету... Зато покупает все: хоть башмак драный принеси, — берет. А Зейнабке подавай золото, серебро, самоцветы, парчу, материи дорогие, меха, — на другое и взглянуть не возьмет во внимание. Коли вещь стоящая, сама скажет хорошую цену: дескать, к Муське не ходи, на торги время не теряй; оставляй товар у меня да ступай снова на промысел, добывай. Если же не горят у нее глаза на покупку, то ее Муською не напугаешь. Та о гривеннике дрожит, не перепал бы он вместо нее Зейнабке, а эта довольно даже равнодушна: мне, говорит, за мое добро и наш Аллах, и ваш Бог всегда пошлют...

Вскоре Зина познакомилась с обеими скупщицами. Муси, действительно, могли пугаться лошади: чахоточная ведьма с ястребиною головою на теле длинном и тощем, как жердь, которою гоняют голубей. Но Зейнаб Зина не нашла безобразною, хотя татарка была уже не молода и растолстела

чрезмерно. В косо прорезанных глазках Зейнаб еще сверкало сильное желание нравиться; она белилась, румянилась, чернила брови и подводила глаза; ходила, по обычаю восточных кокеток, с утиною перевалкою. Фату носила тоненькую, газовую, чтобы только закон соблюсти, а когда была уверена, что никто из мусульман не увидит, охотно сидела с открытым лицом. Мнительной Зине казалось, будто скупщица заигрывает с Констою. Она невзлюбила Зейнаб и дулась всякий раз, когда Конста отправлялся к татарке с вещами, особенно если долго у нее засиживался.

— Глупая ты, Зинка, право, безумная! — искренно оправдывался Конста, — ну, пошевели маленько мозгами, раздумай сама с собою: могу ли я польститься от тебя на эдакую квашню?

— Ладно, ладно, — упрямо ворчала Зина, — заговаривай зубы другим... Разве не видала я в Тае, как молодые парни увивались за мамушкой Матреной? А она не моложе твоей Зейнабки. Все вы подлые! — было бы болото, а черти найдутся.

Был теплый весенний вечер. Зина возвращалась по Воскресенской улице домой, с покупками из лавок. Незнакомый господин, щегольски одетый и очень красивый, хотя уже пожилой, попался ей навстречу. Пристальный взгляд его голубых глаз смутил Зину.

— Какая хорошенькая! — громко сказал незнакомец и, повернув стопы обратно, пошел за Зиною по следам — до самых ворот дома Бохрадынского. Комплименты и предложения, которые бормотал уличный ловелас, шагая позади Зины, перепугали молодую женщину: так предприимчиво за нею еще не ухаживали. Постепенно ускоряя шаги, она наконец прямо-таки побежала от навязчивого господина. В воротах он схватил было ее за руку, — она вырвалась и вскочила в свой подвал, красная от стыда и страха. Конста, узнав в чем дело, немедленно вышел на улицу — посчитаться с нахалом. Барин

разговаривал у ворот с дворником-татарином. Заметив Консту, он поторопился удалиться походкою, немножко слишком спешною для такого солидного и пожилого человека.

— Что он тут балакал с тобою? — угрюмо спросил Конста.

Дворник оскалил зубы.

— Твоя Марьям больно нравился. Спрашивал: чей такой? хочу знаком бывать. Моя говорил: гулай назад, бачка! мужний жена, муж больно сердит батыр... секим башка будет делать.

Влюбчивого незнакомца звали Александром Ивановичем Харлампьевым. Это был богатый и праздный вдовец, убивавший все свое бездельное время на охоту за юбками. Смолоду он слыл Дон-Жуаном, а к старости обратился в мышиного жеребчика. Зина произвела на него очень сильное впечатление.

«Mais elle est très distinguée, cette petite paysanne la! * — думал он, — непременно надо познакомиться с нею... Но как? Муж ее смотрит грубым и дерзким негодяем... я вовсе не желаю иметь с ним скандал... да и сама она, на взгляд, такая недотрога... Ба! — вспомнил он и засмеялся, — а на что же существует в Казани госпожа Муся Хаимовна, честная вдовица, сих дел мастерица?»

В один прекрасный день скупщица объявилась в подвале Консты гостьею и обласкала Зину, а там и зачастила приходить чуть не каждый день.

— С чего бы мы так ей полюбились? чего она шляется? — удивлялся Конста. — А, впрочем, — пущай... нам на руку. Она даже как будто подобрела: и покупает охотнее, и меньше торгуется.

Но вскоре ларчик открылся просто: Зина с негодованием рассказала Консте, что Муська уговаривает ее сойтись с Харлампьевым, сулит роскошную жизнь, деньги... Конста озлился — сгоряча побежал к Мусе и крепко ее поколотил.

---

* **Но она весьма привлекательна, эта маленькая крестьянка!** ***(фр.)***

XIV

Зейнаб, прослышав о побоях, которые претерпела ее соперница, пришла в восторг. Она — уже в поздний час — послала за Констою своего работника. Конста, полагая, что у Зейнаб нашлась какая-нибудь новая промышленная затея, сейчас же явился. Татарка приняла его в маленьком чулане, застланном ковром и едва освещенном ночником. Зейнаб в летнике, надетом прямо на тело, сидела на кошме, как истукан.

— Ты побил Муську? — был первый ее вопрос Консте.

— Случился такой грех, Зейнаб Ахметовна... но откуда ты знаешь?

Татарка улыбнулась.

— Гм!.. Зейнаб не будет знать — кому знать? Знаю и за что побил — за свою бабу.

Она помолчала.

— Что ты побил Муську, это хорошо; мне приятно. Но теперь ты бойся ее: она сердитая, она тебе не простит.

— Эх, Зейнаб Ахметовна! «Бог не выдаст — свинья не съест».

— Аллах велик, — согласилась Зейнаб, — но мы с тобою занимаемся не такими делами, чтобы очень рассчитывать на милость Аллаха. Есть у вас русских другая хорошая пословица: «На Бога надейся, а сам не плошай!»

— Так-то оно так, — подтвердил Конста.

— Баба твоя хорошая, — продолжала Зейнаб. — Любишь ее?

— Пуще жизни люблю.

— Гм!.. это хорошо... нищие вы только, вот что плохо.

— Не беда, Зейнаб Ахметовна. Были богаты один раз — авось разбогатеем и вдругорядь.

— Богатей, да поскорей, — насмешливо сказала татарка, — а то нищему нищую любить не годится.

— Уж какая по сердцу пришлась.

— О сердце ты мне не говори. Сердце — дурак. Сердце свое бедный человек, — байгуш, как ты, — должен держать на цепи. Ты лучше полюби богатую — сам станешь богат. Ты батыр, большой джигит. Тебя хорошие женщины и любить будут... Одну такую я уже знаю... Догадайся сам, кто?

— В толк не возьму, Зейнаб Ахметовна... Кому бы, кажется? Мало у меня здесь знакомых баб-то...

Глаза татарки сверкнули.

— А если бы я? — сказала она, пристально глядя в лицо Консты.

Он растерялся: «Права, выходит, Зинка-то!..» — мелькнуло у него в голове. Он молчал, придумывая, как бы половчее вывернуться из неловкого положения, в какое поставила его Зейнаб своим неожиданным признанием.

«Тоже, — размышлял он, — обидишь чертовку, — куда потом сунешься с товаром? Муська поколочена... эта дружба, значит, ау... не на базар же, в самом деле, нести краденое добро...»

Скупщица продолжала остро смотреть на него и качала головою:

— Дурак ты, — протяжно сказала она, — батырь, а дурак и невежа. Даже не умеешь притвориться, что не рад моей любви. Хорошо, что Зейнаб умная. Другая на моем месте обиделась бы.

— Да, помилуй, Зейнаб Ахметовна! Ты меня — ровно обухом!.. Что же прикажешь мне делать, коли...

— Ладно уж, ладно, не вывертывайся! — презрительно прервала его татарка, — не любишь, и не надо... другие полюбят! И об одном прошу: забудь, что я тебе говорила, все равно как будто ничего между нами и не было... и бабе своей не смей хвастаться! слышишь?.. А про Муську все-таки помни и — берегись! Она, проклятая, всегда живет на два крыльца! одно — для вас, байгушей, другое — для полиции. Ты ее обидел — она гневная — тебе беду скует. Если слу-

чится что-нибудь недоброе, беги прямо к Зейнаб либо бабу свою пришли. Я тебе, — хоть и не стоишь ты того, — друг довечный и желаю тебе добра: и укрою, если нужно, и чем можно помогу... Бывала я, мой голубчик, во всяких переделках; случалось, что и из-за каменных стен, из-за железных решеток выручала своих приятелей, удалых джигитов...

Муся Хаимовна отмстила скоро и просто. Выбрав пять-шесть недорогих вещиц из купленных ею в разное время у Консты, она отправилась к частному приставу:

— Вот, ваше высокоблагородие, господин превосходительный начальник: эти вещи я куповала у портного Филиппа Гордеева, что живет в доме Бохрадынского... И самый ли он настоящий портной или не самый настоящий — мне неизвестно, но только у него всегда много золотых и всяких дорогих вещей, и все вещи самые прекрасные и очень дешевые... Я — честная торговка — польстилась, что он продает так дешево такие прекрасные вещи, купила — а теперь забоялась, откуда он их достал? не украл ли где, сохрани Боже? И вот пришла посоветоваться с вашим высокоблагородием, чтобы мне потом не быть в ответе пред начальством...

Рассмотрев вещи, пристав убедился, что они принадлежат к трем разным кражам, виновники которых давно разыскиваются. Поняв, что Муся наводит его на следы воровской шайки, он в ту же ночь оцепил подвал Консты полицейскою облавою.

Конста и Зина крепко спали, когда дверь подвала затрещала под тяжелыми ударами хожалых, а вслед затем Ненила — босая, в одной сорочке — вскочила в хозяйскую каморку и прошептала:

— К нам ломятся... фараоны...

Дверь слетела с петель. Максим и Трофим, одурелые со сна, отчаянно боролись с наседавшими полицейскими. Конста рванулся было к ним на помощь, но вдруг опомнился... и, поняв, что игра проиграна, сразу сообразил, что надо де-

лать, чтобы проиграть ее, по крайней мере, не целиком и не без надежды отыграться.

— Огня! Федотов, давай огня! — слышал он команду в потемках.

— Не найду, вашбродь...

— О, гарниза пузатая!..

— Крути их, иродов...

— Ой, черт! у этого бородатого, вашбродь, топор...

— Брось, слышь ты, сейчас брось топор, разбойник!

— Не подходи! расшибу! — ревел Максим.

— Брось!.. стрелять прикажу...

Конста набросил на плечи дрожащей Зины один из краденых салопов, на голову — платок и открыл тайник:

— Полезай, — шепнул он, — и бегом... прямо, без оглядки — к Зейнаб...

— А ты? а Ненила?

— Ступай, ступай! Ты — первая... Мы — следом за тобою...

Когда Зина исчезла в темном провале тайника, он занес было ногу, чтобы и самому вскочить в подземный ход, но вдруг остановился...

«Если уйдем сквозь этот лаз все трое, — подумал он, — фараоны сейчас же погонятся за нами, побегут и вдогон, и наперерез, тут нам и — шабаш: схватают всех троих... Нет, это не подойдет».

И Конста хладнокровно приладил закладку тайника обратно к стене. Ненила, не понимая, отчего хозяин медлит бежать, смотрела на него, разинув рот, в немом отупении ужаса. Перегородку бешено громили кулаками и тесаками бутари, рассвирепелые в борьбе с Максимом: еле-еле удалось им обезоружить его и скрутить.

— Не горячитесь, служивые! — насмешливо отозвался Конста, — неровен час, печенки перелопаются... казне большой изъян будет.

— Отпирай, чертов сын!

— Выходи, собачья кровь!

— Да и выйду! куда мне деваться?..

«Зинка теперь уже на улице, — сообразил он, — ладно...»

Он отворил дверь. Шесть дюжих лап мгновенно схватили его за ворот и за руки.

— Что вы меня душите, слоны необстоятельные! — властно прикрикнул он, — словно я злодей какой-нибудь... Небось, не побегу и отбиваться не стану. Не дурак я барахтаться с вами, чтобы потом меня судили военным судом... Пустите! дайте с начальством поздороваться.

Оторопелые бутари оставили его. Конста расправил помятое горло и поклонился частному приставу, который рассматривал его с великим любопытством.

— Имею честь кланяться, ваше высокоблагородие, — попался... берите — ваше счастье! Видно, и впрямь — от сумы да от тюрьмы никто не отрекайся. Только, ваше высокоблагородие, не приказывайте хожалым драться: смерть не люблю... И за что же меня бить? Сами изволите видеть: я со всем моим смирением.

— Кто ты таков? — перебил пристав.

— Документ имею... из документа видать, ваше высокоблагородие.

— Это — твоя баба?

— Так точно, ваше высокоблагородие: хозяйка моя... Кланяйся, дура! — приказал он Нениле и с негодованием обратился к будочникам: «Эка, лешие, как напугали бабу! инда — речей не понимает и слова сказать не в состоянии». Обломы деревенские! а еще в городе живут. И зачем было шум делать? Постучали бы вежливенько: «Филипп, мол, Гордеич! милости просим вас, со всею великатностью, в острог». Я бы сейчас: «С нашим отменным удовольствием, господа полиция!»

— Ах ты шельма, шельма! — пристав покачал головою, — ишь краснобай... Должно быть, из бывалых!..

— Зачем врал, бачка! — азартно набросился на Консту дворник дома. — Ненила не твоим хозяйкам. Марьям твоим хозяйкам. Где Марьям прятал?

Конста смерил дворника взглядом глубочайшего презрения.

— Плетешь — сам не знаешь что, — сурово сказал он. — Марью какую-то выдумал! А еще кунак называешься.

— Каким кунак? Яман человек Абдул нет кунак. Ваше благородие, спрашивай, пожалуйста, куда он свою жену Марьям прятал.

— Это верно, — вступился один из хожалых, вглядевшись в Ненилу. — Абдул говорит правду. Это работница, а не хозяйка.

— Хозяйка у него, ваше благородие, королева писаная! — подтвердили другие, — а энта — вишь какой идол, вроде как бы Державин — монумент...

Пристав грозно нахмурился и подступил к Консте с кулаками:

— Так ты нас вздумал морочить, любезный?! Ах ты... Да я тебя в бараний рог!..

Равнодушно слушая поток полицейской ругани, Конста соображал, — успела ли Зина дойти до квартиры Зейнаб или, по крайней мере, до татарской части города, где она потеряется, как горошина в просе?

— Виноват, ваше высокоблагородие! — сказал он, ловко тряхнув головою, чтобы уклониться от тычка, намеченного ему приставом прямо в зубы, — виноват!

— Стало быть, ты, Абдулка, — протяжно обратился он к дворнику, насмешливо поглядывая кругом, — доказываешь на меня, что была у нас, окромя Ненилы, еще жена Марья? Ну, коли тебе того больно хочется, изволь: была. Только, брат, она была, да вся вышла.

— Где же она теперь? — довольно глупо спросил пристав.

Конста развел руками:

— Где? уж это — искать — ваше дело начальственное. Наше дело было спрятать, а ваше — искать. Доказчиком ни на кого не бывал, а на жену и вовсе не приходится. Прикажите, ваше высокоблагородие, лучше вести меня в арестантскую. Потому — дальше, на допросе, что Бог даст, — а тепе-рича разговору промеж нас не произойти... Либо он совсем ни к чему и самый пустой выйдет.

XV

Зейнаб укрыла Зину в том самом чуланчике, где принимала она Консту.

— Если будет тревога, — сказала она, — подними ковер и полезай в подполье. Оттуда есть нора прямо на Кабан-озеро. Зейнаб — друг. Зейнаб не выдаст.

Зина, полная неизвестности и страха о судьбе Консты, рыдала:

— Зачем я послушалась — оставила его? что я буду делать без него?.. Эх! Обманул он меня... пусти меня! я пойду — пусть поймают вместе с ним!

— Нет, этого нельзя, — холодно возразила татарка. — От этого не будет никакой пользы ни тебе, ни ему. Филипп — смелый, ловкий. Он убежит. А ты, если попадешь в тюрьму, — ты и сгниешь в ней.

Несмотря на великодушие татарки, под личным риском укрывшей Зину, которую полиция искала всюду и очень настойчиво, взаимное нерасположение обеих женщин не умерло. Насильственная ласковость Зейнаб не обманывала Зину: в лукавых черных глазах скупщицы она читала хитрую злость, предательские замыслы, — и напрягала всю силу воли, чтобы не показать Зейнаб, как мало ей верит. Зейнаб, с своей стороны, думала: «Если бы не эта белая девка, Филипп любил бы меня... не посмел бы не любить. Освободить его из острога — дело

нехитрое. С деньгами отпираются и не такие крепкие замки. Но выручать его для этой девчонки, которая меня вдобавок терпеть не может и едва умеет скрывать это... Нет, Зейнаб не дура!..»

И взгляды ее, обращенные на Зину, когда та не замечала их, становились все насмешливее и злее.

Однажды она вошла к Зине с тревожным, красным от волнения лицом:

— Беда, Марьям! — быстро заговорила она, — полиция напала на твой след. Я больше не могу держать тебя: мне неохота идти в Сибирь. Ты видела: я сделала для тебя все, что обещала. Но волку дороже всего собственная шкура...

— Что же мне делать? — отчаянно заломила руки захваченная врасплох Зина.

— Бежать надо, — вот что. Слушай: у меня в Астрахани есть сестра, хорошая женщина, богатая купчиха, как я. Сегодня ночью трогается на низ караван... персидские купцы — мои первые друзья и приятели; можно им верить, как мне самой. Я переплавлю тебя вместе с ними до Астрахани, к сестре. Там тебя никто не найдет, да и не догадается искать.

— А как же здесь-то — без меня? муж?!

Татарка презрительно захохотала.

— Велика ли польза твоему мужу от того, что ты сидишь здесь в тайнике и хнычешь? Что тайник в Казани, что тайник в Астрахани — все равно. Когда Филипп вырвется на волю, я укажу ему, где ты, и переплавлю его в Астрахань, как и тебя. А пока — что нам в тебе? Ты только лишняя обуза всем нам. Того гляди, поймаешься, а вместе с тобою поймаемся и мы. А когда все мы будем сидеть за каменными стенами, кто будет нас выручать из-за этих стен?

Зейнаб долго уговаривала Зину.

— Делай со мною, что хочешь и как знаешь! — согласилась наконец бедная женщина, — я не вольна в себе... мне некуда идти...

Ввечеру к Зейнаб приехали три чернобородых азиата, с глазами, как маслины, с бирюзою на пальцах, с ногтями, крашенными хиньою. Татарка вывела к ним Зину.

— Вот женщина, о которой я вам говорила, — сказала она по-персидски.

Азиаты долго внимательно смотрели на Зину, — один даже обошел ее кругом и лампочкой осветил, чтобы лучше разглядеть. Потом сели, закурили кальян и стали гладить бороды:

— Якши... бик якши... — промолвил старший, полизав самую крупную бирюзу на своем указательном пальце, против сглаза.

— Годится? — спросила Зейнаб.

— Мирза Рэхим будет доволен. Такую нам и приказано привезти.

— Передайте светлому мирзе, что Зейнаб — его довечная слуга...

Тою же ночью Зину, закутанную в ковры, как кладь, перевезли на хозяйскую нарядную баржу персидского каравана. Покуда караван не отвалил от берега, молодую женщину держали взаперти в трюме, а затем приказчик баржи Абу-Бекир уступил ей свою рубку. Обращались с Зиною не только хорошо, но даже почтительно. Разговаривать ей было, однако, не с кем: Абу-Бекир едва плел по-русски, другие персияне — кроме «здрасты» и «харуш» — вовсе не знали ни одного русского слова. Но Зина была так занята своими горькими мыслями о Консте, обо всем, что осталось позади ее, что ей было не до разговоров...

Перед самою Астраханью Абу-Бекир подошел к Зине с небольшою банкою зеленоватого варенья.

— Хочешь шербет? Кушай, пожалуйста! Больно хорош шербет...

Зина проглотила две-три ложки: варенье действительно оказалось превкусное. Она поблагодарила Абу-Бекира и пошла в рубку — собрать перед скорою высадкою свои вещи. Завязывая узел, она вдруг почувствовала, что ей не хватает

дыхания... у нее потемнело в глазах... она повалилась на пол в глубоком обмороке.

Очнулась Зина на палубе с невыносимою головною болью. Первым впечатлением ее было — удивиться, что солнце стоит высоко в небе, тогда как, она помнила, караван подошел к Астрахани перед закатом.

— Что это?! — дико озиралась она.

Города не было видно на горизонте; кругом, на необозримое пространство, рябила желтоватая вода, берег чуть темнел с одной стороны узенькою полосою.

— Долго спал, Марьям! — засмеялся Абу-Бекир, — два сутки спал!

— Где же Астрахань? Какая это вода?

— Астрахань? Там остался! — он показал большим пальцем через плечо, — а вода называется Каспий...

— Каспий?!

Зина окаменела от ужаса: ей стало все понятно... и ее обморок, и персидская вежливость, и варенье Абу-Бекира, и предательство Зейнаб. Абу-Бекир хлопал ее по плечу:

— Не тужи, Марьям! Ты счастливая: хорошо жить будешь, богато. Не простому человеку в дар везем тебя, но светлому Мирзе Рэхиму, племяннику самого шаха, царя царей нашего...

XVI

Говоря Зине, будто полиция напала на ее след, Зейнаб думала солгать, а нечаянно сказала правду. На одном из частых допросов Максим, бывший работник Консты, проговорился, что, надо быть, хозяйка у Зейнабки пристала...

Муся — беспощадно оговоренная Констою, сразу постигшим, кому он обязан своим арестом, — тоже сидела в остроге, и, в свою очередь, оговорила Зейнаб, как притонодержа-

тельницу и скупщицу краденого. У татарки был сделан обыск. Зины уже не нашли: она плыла в это время в далеких персидских водах. Но обыск обнаружил целый склад похищенного в разное время у казанских обывателей серебра, золота, мхов, парчи, дорогих вещей и материй... Обнаружилась прикосновенность к нескольким давним грабежам и убийствам.

— Что мне будет? — спрашивала Зейнаб, когда ее посадили в тюрьму.

— Известно что: в каторгу пойдешь, — утешил ее конвойный.

Встретясь с Зейнаб на очной ставке, Конста пал духом: до сих пор он тосковал по Зине, но был спокоен за нее, думал, что она в безопасном убежище.

— Ты прятала у себя разыскиваемую судом зарайскую крестьянку Марию Прохорову? — спрашивали Зейнаб.

— Никакой Марьи я не видала, — спокойно возражала она. — И не знавала. А этого человека — Филиппа Гордеева, хотя и знаю в лицо, но дел с ним никаких не имела, и чем он занимается — мне неизвестно...

— Ваше благородие! — обратилась она в конце допроса к следователю, — правда ли, что по закону мне за мои дела следует каторжная работа?

— Правда, Зейнаб. Разве уж особое милосердие суда...

Зейнаб сомнительно покачала головою.

— Аллах велик, — сказала она, — судьба людей в его руках. Покорно благодарю вас, ваше благородие.

Возвращенная в секретную, Зейнаб улеглась спать, накрывшись с головою халатом. Часовой, заглядывая время от времени в окошечко камеры, удивлялся, как долго и неподвижно спит татарка. Сторож принес арестантке обед: она не шевельнулась. Он окликнул Зейнаб, — не слышит. Начал расталкивать, — Зейнаб грузно свалилась на пол, мертвая, холодная, с сине-багровым лицом и страшно вытаращенными глазами... Из страха каторги она отравилась каким-то

восточным ядом, который при аресте успела скрыть под своими длинными крашеными ногтями.

Филиппа Гордеева, то есть Консту, и всех, арестованных вместе с ним, следователь счел нужным препроводить этапным порядком к местам приписки, для удостоверения личности, так как явилось подозрение, что имена обвиняемых вымышленные, а паспорта фальшивые. Конста и Ненила назначены были в одну партию до Нижнего Новгорода, откуда предстояло им направиться Консте — в тульский острог, Ненилe — в рязанский. Идти было нетяжело; партия была небольшая. Этапный офицер попался нестрогий — весельчак и ловелас...

На второй ночевке от Казани Конста, изнемогший в терзаниях стыда и отчаяния почти до сумасшествия, едва попробовал сомкнуть глаза и избыть бессонницу, как кто-то окликнул его шепотом и над ним выросла — в сером мерцании рассвета — высокая фигура в солдатской шинели.

— Чего надо? — сердито спросил Конста, думая, что его будит конвойный.

Но солдат зашептал:

— Это я, хозяин, — Ненила. Побежим, покамест что. Все спят. Я... того... этапного-то придушила...

Веселому офицеру приглянулась рослая арестантка, и он, без долгих церемоний, пригласил ее к себе в каморку на свидание. Очутившись с этапным глаз на глаз, Ненила, среди безмолвных нежностей, вдруг схватила его за горло. Он не успел крикнуть, как потерял сознание под ее могучими руками. Тогда Ненила взяла его саблю и, выглянув на крылечко, осторожно позвала со двора двух конвойных, которых офицер поставил было охранять спокойствие своих амурных похождений.

— Служивые, подьте сюда, их благородию что-то больно нехорошо...

Едва обманутый конвойный взбежал на крыльцо, как страшный удар саблей по голове сбросил его по ступенькам под ноги спешившему вслед за ним товарищу. Тот споткнулся

нулся и упал ничком. Ненила насела на него верхом и, сдавив солдату горло коленами, принялась глушить его по темени эфесом офицерской сабли. Несчастный, врасплох прижатый ее тяжелым телом к земле, очутился в беспомощном положении — тем более, что совсем растерялся и струсил. Он стонал, но стоны его съедали земля и тело Ненилы. Он искусал ей ноги в кровь, но она не замечала боли и гвоздила горемычного солдата по темени, точно толкла в ступе пестом, пока он не перестал вздрагивать. Этап крепко спал, не подозревая происшедшей на нем беззвучной драмы...

Один из конвойных умер на месте, другой лежал без чувств; этапный офицер был еле жив и не мог сказать ни слова, когда преступление Ненилы и побег ее вместе с Констою были обнаружены просиявшим солнцем. В первом ужасе и переполохе преследователи потеряли много времени... По ржам и перелескам беглецы успели пробраться на зады какой-то деревушки и пролежали в коноплях до поздней ночи, не смея перекинуться между собою даже словом. Ненила, при помощи булыжника и офицерской сабли, расковала Консту из ножных кандалов, и — к новому утру — беглецы ушли далеко в сторону от этапной линии... В этот раз им была не судьба пойматься. Встретив на проселке подгулявшего мужика, Конста, под смертною угрозою, заставил его променяться армяком на свой халат... Мужичонка был благодарен уже и за то, что ушел живым из беды.

День висел кислый, холодный, дождливый. Конста и Ненила сидели на бугорке под полосатою верстою, молчаливые, унылые. Свобода не утешала Консту. Потерянная без вести Зина заслоняла ему весь мир. Он чувствовал себя одиноким и ненужным никому на земле...

— Хозяин, а, хозяин! — сказала Ненила, — аль теперича пойти нам врозь?

— Это еще зачем? — сурово отозвался Конста.

— Боюсь, хозяин: не поймался бы ты вместе со мною... Больно я, идол, выросла примечлива для людей.

Конста взглянул на Ненилу. Собачья привязчивость, звучавшая в словах и светившаяся в глазах этой грубой и дикой девки, невольно тронула его. Теперь, когда он так убит, так разочарован в своих планах и в своих силах, — остаться одному со своими горькими мыслями показалось ему страшно...

— Право, ну, хозяин! — настаивала Ненила, — брось ты меня... авось я и одна не пропаду... а пропаду — что я? — сирота, — туда мне и дорога.

— Полно врать, — мягко остановил ее Конста. — Как я тебя брошу? Коли есть нам такая планида, чтобы пойматься, то поймаемся все равно — что врозь, что вместе. А вместе мы бежали — вместе и пойдем... будем вдвоем горе мыкать!.. В компании и кнут веселее... Однако шевелись... До вечера нам надо уйти, мало-мало, верст сорок...

Они зашагали босыми ногами по мокрой траве. Конста упорно глядел на серый, застланный дождевою сеткою горизонт. Злая улыбка кривила его бледные губы. В опечаленном уме его плыла тяжелая дума: «Эка мокреть-то, серота-то, зги впереди не видно... Эх, богатырь, богатырь, Константин свет Иванович! Такова-то и вся твоя теперь воля-волюшка — одинокое злое горе-гореваньице! Ох, Зина моя, Зинушка! погубил я тебя, проклятый... Да найду ж я тебя, найду! найду! Либо — коли не найду — сам жив не буду!..»

1889 — 1896

ЖАР-ЦВЕТ

Дорогому товарищу
ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ
НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО
посвящаю этот роман в ознаменование
нашей никогда не омраченной дружбы.

Александр Амфитеатров

Cavi di Lavagna
1910.III.27

No, des Himmels, Meister Ludwig,
Habt ihr tolle Zeug
Aufgegabelt?

H. Heine. Atta Troll *

Aus dem Grabe werd'ich aus getrieten,
Noch zu suchen das vermisse Gut,
Noch den schon verlornen Mann zu lieben
Und zu saugen seines Herzens Blut.
Ist's um den geschehn,
Muss nach Andern gehn,
Und das junge Volk erliegt der Wut.

Goethe. Das Draut von Korinth **

От автора

Фантастический роман, подписанный моим именем, должен удивить многих моих читателей, привыкших видеть во мне постоянного и убежденного позитивиста, зачеркнувшегот для себя все сис-

---

* Где, маэстро Людовико,
Вы набрали эти сказки.

Г. Гейне. Атта Тролль (пер. В. Левика).

** Но меня из тесноты могильной
Некий рок живущим шлет назад.
Ваших клиров пение бессильно,
И попы напрасно мне кадят.
Молодую страсть
Никакая власть
Ни земли, ни гроб не охладят!

Знай, что смерти роковая сила
Не могла сковать мою любовь,
И его я высосала кровь!
И покончу с ним,
Я пойду к другим, —
Я должна идти за жизнью вновь.

Гете. Коринфская невеста (пер. А. Толстого).

темы дуалистического мировоззрения, как бы они ни определялись. Поэтому расскажу историю этого романа. Она не совсем обыкновенна. В начале девяностых годов я усердно занимался фольклором и историей религий. Изучение славяно-германской мифологии увлекло меня. У меня родилась мысль написать исторический роман, — в том роде, как впоследствии стал писать о сибирских инородцах талантливый г. Тан, — с действием, проходящим на фоне первобытной славянской культуры. Центром романа должны были явиться легенды о «цветке жизни», сверкающей тайне молниеносного папоротника, почему и называться роман должен был «Жар-Цвет». Под этим названием я обещал его журналу «Север», который включил его в свое подписное объявление на 1895 год. Обещать-то я обещал, а писать-то не писал. Было некогда, и начало романа все откладывалось со дня на день. Журнал между тем перешел в другие руки, и, с приближением к концу года, молодая новая издательница стала меня поторапливать. А я все ленился и тянул. К рожденственскому № «Севера» она попросила меня дать святочный рассказ. В угрызениях совести за промедление с романом, я написал рассказ большой и пространный. Назывался он «Пузыри земли». Каково же было мое изумление и авторский ужас, когда, раскрыв затем очередной номер «Севера», я нашел в нем «Пузырей земли» как скромный подзаголовок, а над ним красовался жирный заголовок: «Жар-Цвет». Фантастический роман. Глава первая». Случай или невинное лукавство издательницы сыграли со мной шутку эту, но меня она поставила истинно уж в фантастическое положение: тема «Пузырей земли» отстояла от темы предполагаемого «Жар-Цвета» на тысячу лет и верст, и, как их сблизить и укоротить внезапно возникшую предо мною дистанцию огромного размера, — стояло предо мною весьма насмешливою задачею. О первобытном славянстве, конечно, больше нечего было и думать, но необходимо было оправдать заглавие «Жар-Цвет», с которым, кроме того, я, откровенно сказать, неохотно расстался бы, потому что красота яркого сочетания, говорящего так коротко и много о тепле и свете, мне очень нравилась и теперь нравится. Тогда я решил оставить центром романа миф о «цветке жизни», но перенести его в современную обстановку и, вращая действие вокруг его иллюзий, развить кое-какие полемические взгляды относительно медиумических явлений, насчет которых я измладу был

и остаюсь скептиком, коснуться некоторых вопросов атомистического мировоззрения, сильно меня интересовавшего, а попутно рассказать несколько красивых легенд, накопленных мною в занятиях фольклором или сочиненных под их впечатлением, осветить коекакие темные и полузабытые верования, пережитки доисторических эпох, и дать широкую картину нервного и психического недуга, возникшего на их мистической почве. Мало-помалу, работа и чтение к ней увлекли меня, и, в результате, вырос вот этот роман. В исполнении его, намеченная программа в некоторых частях своих сократилась, в других же, наоборот, выросла и расширилась против моего ожидания и даже хотения, но, в общем, она прошла по предположенной руководящей нити.

Мне пришлось, в свое время, прочитать, в пособие к «Жар-Цвету», довольно много книг. Быть может, лучшим способом предупредить читателя о характере моего романна будет указать список сочинений, которыми я пользовался, и метод, как и для чего я ими пользовался. В последнем отношении надо разделить их на две категории: 1) пособия для части логически-изъяснительной; 2) источники для части легендарной и казуистической.

В первой категории наиболее важную опору и помощь давали мне сочинения: *Тэйлор*. Первобытная культура. *Мори*. Сон и сновидения. *Тэн*. Об уме и познании. *Винслов*. Болезни мозга. *Тиссо*. Нервные болезни. *Крафт Эбинг*. Судебная психопатологоя. *Бутлеров*. Статьи по медиумизму. *Михайловский*. Патологическая магия. *Mauri*. Le Magie et l'astrologie dans l'antiquite el au mogen age. *Morin*. Du Magnetisme et des sciences occultes. *Louis Figuier*. L'Alchimie et les Alchimistes. *Schopenhaur*. Versuch ueber das Geistersehn und was damit zusammenhaengt. *Derselbe*. Animalischer Magnetismus und Magie. *Galmiel*. De la Folie, conside ree sous le point de vue patalogiqiue, philosophigue ete 2 Lomes. P. 1845. И мн. др.

Характер вышеперечисленных сочинений определяет собою точку зрения, с которой я гляжу на феномены, так или иначе отраженные и упоминаемые в романе. Что касается последних, вот краткий список мистических и спиритуалистических трудов, откуда я черпал легендарный материал: *Eliphas Levi*. Histoire de la Magie. *Роберт дель Оуэн*. Спорная область между двумя мирами. *De Mirville*. Pneumatologie. Des Esprits et de leurs Manz festations diverses. *Christian*. Histoire de la Magie. *Petrus Thyraeus Novesiens*. Loca infesta. Lugduni. 1599. *Jean Wier*. Histoires, Disputes et Discours des illusions et impostures des diables. P.-1885. 2 v. *Nicolai Remigii*. Daemonolatrei

ai libri tres. Colonial Agrippinae. 1596. *I. Bodin Angevin.* La Demonomanie des sorciers. Rouen. 1604. *Cougenot des Mousseaux.* Moeurs et prtiques des demons. P. 1854. *Афанасьев.* Поэтические воззрения славян на природу. *Eliphas Levi.* La Clef des Grands Mysteres. Записки Бенвенуто Челлини. И мн. др.

После напечания романа «Жар-Цвет» в «Севере» я несколько раз возвращался к разным частям его, перерабатывая их, многое унижтожил, кое-какие легенды вставил и диалоги прибавил. Поэтому в настоящем издании романа читатель встретит в составе «Жар-Цвета»: 1) основной роман 1895 года; 2) этюды и легенды к нему, печатавшиеся между 1887 и 1901 годами под заглавиями: «Враг», «Киммерийская болезнь», «Золотая планета», «Дубовичи», «Польская легенда о Христе в Браилове», «Он», «Белый охотник», «Сон в Крещенскую ночь», «История одного сумасшествия», «Воздухоплаватель», «Статуя сна» и т.д. Из легенд некоторые входили в сборник мой «Красивые сказки», издание которого разошлось и повторено не будет. Так как сборник «Красивые сказки» был мною посвящен дорогому старому и вечно юному другу и товарищу моему, Василию Ивановичу Немировичу-Данченко, то позволяю себе перенести это искреннее посвящение талантливому писателю и прекраснейшему человеку на «Жар-Цвет».

Александр Амфитеатров
1910.V. 31
Cavi di Lavogna

Часть первая

КИММЕРИЙСКАЯ БОЛЕЗНЬ

I

Несмотря на жаркое утро, на эспланаде островного города Корфу было людно: с почтовыми пароходами пришли новые газеты с обоих берегов — из Италии и из Греции, и корфиоты поспешили в кафе: узнавать на полударовщинку, что случилось за прошедшие три дня по ту сторону лазурного моря, отрезавшего от остального мира их красивый островок.

В Cafè d'Esplanade под портиками, затененными парусиновым навесом, сидели за разными столиками, но оба с газетами в руках и оба пили пресловутую местную «зензи-бирру» (имбирное пиво), два господина, не знакомые между собою. Оба были иностранцы. Обоих проходящие корфиоты осматривали с немалым любопытством. В особенности привлекал внимание младший из двух — огромный, широкоплечий блондин, с пышными волнами волос, зачесанных назад, без пробора, над красивым открытым лицом, с которого несколько застенчиво смотрели добрые, иссера-голубые глаза. Несмотря на длинную золотистую бороду английской стрижки, молодца этого даже по первому взгляду нельзя было принять ни за англичанина, ни за немца; сразу бросался в глаза мягкий и расплывчатый славянский тип. И действительно, гигант был рус-

ский, из Москвы, по имени, отчеству и фамилии — Алексей Леонидович Дебрянский. Другой иностранец, темно-русый, почти брюнет, в одних усах, без бороды, был пониже ростом и жиже сложением, зато брал верх смелою свободою и изяществом осанки, чего москвичу недоставало. Загорелое, значительно помятое жизнью и уже не очень молодое лицо — скорее эффектное, чем красивое — оживлялось быстрыми карими глазами, умными и проницательными на редкость; видно было, что обладатель их — тертый калач, бывалый и на возу, и под возом, и мало чем на белом свете можно его смутить и удивить, а испугать — лучше и не берись.

Дебрянский вычитывал «Figaro». Другой иностранец, изредка вскидывая на него глазами, пробегал «Le Temps»...

— Простите… кажется, мы соотечественники? — обратился он к Дебрянскому по-русски, когда тот оставил газету, и сам тоже отложил в сторону свой журнал.

— А, я русский... — сказал Алексей Леонидович, застигнутый врасплох русскою речью, которой он не слыхал уже около месяца. — Но почему же вы догадались?

— А вы с таким вниманием вчитывались в корреспонденцию из России...

Дебрянский прикинул на глазомер расстояние до незнакомца:

— Однако, у вас замечательное зрение.

— Да, недурное... А потом, вы сняли шляпу, чего европеец в кафе не сделает. А в шляпе я прочел: «Лемерсье» — следовательно, вы из Москвы. Да и во всей вашей фигуре есть что-то московское, и путешествуете вы, надо полагать, недавно... Вероятно, вы здесь в научной командировке?

Дебрянский засмеялся:

— Вы очень наблюдательны, однако ошиблись: я не ученый...

— Гм, кто же вы в таком случае? На газетного корреспондента не похожи, да и зачем русскому корреспонденту

сидеть в Корфу... по крайней мере, уже недели две, судя по фамильярности, с которой здесь, в кафе, вам служат? Больным вы не смотрите. В легких у вас, надо полагать, все благополучно: быка сломаете; следовательно, климатическая станция Корфу вам не нужна. Если вы коммивояжер, зачем же вы не носите зеленого галстуха, красно-желтых перчаток, булавки с брильянтом в ноготь величиною и трости с набалдашником из слоновой кости, выточенной в Амура и Психею, Венеру и Марса или просто в голую женщину? Остается предположить, что вы — так себе — скитающийся богатый форестьер, principe russo *, как говорят в Неаполе... Но таким и место в Неаполе, в Риме, в Венеции, на Ривьере: эта публика путешествует по Бедекеру. А на Корфу... что тут делать principe russo? Ни достопримечательностей, ни гидов, ни нищих... одна природа...

— Зато она-то уж как хороша! — заметил Дебрянский; небрежная и веселая речь незнакомца начинала его интересовать.

— Хороша-с... Но вы ведь не художник?

— Нет.

— Я и не сомневался: у художников взгляд иной... вы не умеете сразу осмотреть человека... Это только трем профессиям дано: художникам, портным и гробовщикам... пожалуй, прибавлю сюда еще английских спортсменов-боксеров, гребцов... впрочем, я их тоже включаю в разряд художников. А из художников... знаете ли: о нас, русских, пущена по свету молва, будто мы как-то особенно любим и необыкновенно тонко понимаем природу, — только это неправда. Я никогда не видал, чтобы русский турист самостоятельно искал природу: он довольствуется тою, которою, по казенному расписанию, угощают его путеводители. А кто не ищет, тот и не любит. Помилуйте! хороша наша любовь к природе, когда у нас

* Русский князь *(ит.)*

никак не могут привиться общества путешественников, альпинистов, парусного, гребного, лыжного спорта... Только картами и живут. Нет карт — и клуб умирает. И описывают у нас природу скверно... вычурно, облизанно... сразу видно, что дорожат не тем, что описывают, а сами собою в природе: вот, мол, какой я наблюдательный, как глубоко и тонко я проникаю и какой у меня блестящий слог... И врут много: у Алексея Толстого зелень рощ сквозила, а труба пастушья поутру еще не пела, трава едва всходила, а папоротник уже в завитках... Выдуманные, кабинетные описания... Купер когда-то природу хорошо описывал, ну и у нас с тех пор народились и не переводятся Куперы... Русская природа оригинальна, но когда и кто ее оригинально выразил? Остатки сантиментализма, обломки от Руссо. Подражатели все... Пушкин умел — так это когда было! Да и короток он, скуп словами был, Пушкин. Я из русских описателей природы одного Сергея Аксакова люблю. Так ведь опять-таки — дьявольски давняя штука его природа. Теперь уже лет пятьдесят нет такой и в помине. А после — все больше хороший слог. Я и Тургенева не исключаю. Вы вот изволили сделать протестующий жест — ведь вы про Тургенева хотели мне напомнить, не правда ли?

— Да.

— Человек никогда не любит и не изображает хорошо того, чего у него много. Самый русский писатель, Достоевский, мимо русской природы, будто мимо пустого места, прошел. Природой мы сыты по горло — ergo *, до нее не жадны.

А насчет культуры у нас слабо — мы к ней и присасываемся за границей. Париж, Лондон, Вена — это так, там русские муравейником кишат. Но встретить русского в горах, на пустынном берегу, в трущобе — чудо. Англичанин сперва излазит собственными ногами всю Швейцарию, все Апеннины, а потом уже попадет в Монте-Карло. А россиянин —

* Следовательно *(лат.)*

чуть перевалил за рубеж — у него уже и застучало в виски: Монте-Карло, Монте-Карло, Монте-Карло...

— Ну какая же культура в Монте-Карло?

— Да та самая, единственно к которой россиянин питает доверие и благоговение: квинтэссенция буржуазной религии — золото, кровь, девки... Читали, может быть, был такой старинный роман Арсена Гуссе? «Полны руки золота, роз и крови»... Вот вам Монте-Карло. Пускай — земной рай, да ангелы там с рожками и хвостиками... Одни англичане умеют там хоть сколько-нибудь прилично себя держать и характер сохранять, не слишком легко рядятся в дураки. На остальных жаль смотреть.

— Вы, кажется, очень любите англичан?

— Люблю: солидная нация, единственная разумная: есть умнее, но разумнее — ни одной; англичанин — настоящий — homo sapiens *, понявший свое зоологическое значение на земле... Однако — кстати об англичанах: мы с вами ведем себя как настоящие русские. И о природе поговорили, и Тургенева успели обругать, и некоторые избранные черты национального характера в два слова обсудили, а — кто мы такие, оба друг про друга не знаем. Позвольте кончить тем, чем англичанин начал бы, то есть — представиться... Граф Валерий Гичовский...

Дебрянский назвал себя и с большим любопытством уставил на графа большие глаза свои. Оказывалось, что эффектная наружность интересного господина не обманывала ожиданий, которые невольно подавала, но вполне соответствовала громкой и странной репутации, широко окружавшей его имя. Так вот каков был он, граф Валерий Гичовский, знаменитый путешественник и светский человек, искатель приключений, полуученый, полумистик, для одних — мудрец, для других — опасный фантазер, сомнительный авантюрист-бродяга?!

* Человек разумный *(лат.)*

Дебрянский — хоть и не крупный, но все-таки московский финансист и делец банковский — помнил имя Гичовского не только по молве и газетам. Лет пятнадцать тому назад братья Гичовские выиграли у казны процесс о миллионном наследстве, по боковой линии, чуть еще не от Понятовских, — процесс, тянувшийся через несколько поколений.

Одного из Гичовских — Викентия — Дебрянский даже лично знал немножко, по Москве: он стоял во главе нескольких промышленных предприятий, затеянных на широкую ногу, при участии преимущественно иностранных капиталов; слыл большим дельцом и крупным биржевым игроком — холодным, выдержанным, с твердым расчетом на небольшую, но верную прибыль, с капиталом, который прибывал, как вешняя вода, и обещал вырасти в большие миллионы. О графе Валерии — том, который сейчас сидел с Дебрянским, — держалась твердая молва, что он свою долю наследства давно уже спустил во всевозможных фантастических предприятиях и авантюрах и теперь гол как сокол, живет на средства неопределенные и в способах добывания их не весьма разборчив.

— А вы, граф, ведь это вы, если не ошибаюсь, несколько лет тому назад предпринимали путешествие в Судан?..

— Да. Я не знаю, чего ради так шумно огласили это путешествие. Оно было ничуть не замечательно. Я сделал таких десятки. Нет страны, доступной европейцу, где бы не побывала моя нога. Земля ужасно мала. Пора выдумать какие-нибудь дополнения к ней — иначе очень скоро людям станет тесно и мрачно, как в тюрьме. Гамлет прав! Весь мир тюрьма, и родина — самое скучное в ней отделение.

Дебрянский засмеялся:

— Дополнение к земле?.. Однако!

Гичовский устремил прямо в лицо ему пристальный взгляд проницательных коричневых глаз:

— Почему нет? Делают же пристройки к тесным домам, и у растущих городов развиваются предместья и пригороды.

— А вы — что же? предпланетье, что ли, желаете учредить?

— Назвать успеем, лишь бы было, что назвать... Места в небе много... вон какой простор...

— Ага, вы говорите о воздухоплавании!

— Да, человеку пора иметь крылья.

— Может быть, и сами занимаетесь этим вопросом?

— Занимаюсь, да. Но не делайте беспокойных глаз. Воздухоплавательной машины я не изобретаю. Следовательно, не полезу тотчас в свой карман за планами и чертежами, а потом в ваш за пособием.

— Помилуйте, граф, я и не думал... — сконфузился Дебрянский, потому что у него действительно мелькнула было мысль в этом роде.

Гичовский засмеялся:

— Не думали — тем лучше... Я, батюшка, сам стреляный воробей, — сказал он серьезно. — Сколько денег я передавал на аэропланы, дирижабли и баллоны с рулем разным господам, заявлявшим свою кандидатуру в птицы небесные, это и сосчитать страшно. Теперь — баста. Впрочем, нечего больше и давать... Вы — москвич. Значит, от вас излишне скрывать, что денежно я — человек конченый...

— Я не совсем понимаю ваш скептицизм к современным изобретениям воздухоплавания, — сказал Дебрянский, заминая веселое признание графа. — Кажется, оно делает такие быстрые успехи...

— О да! Только условны они ужасно, успехи эти. Законов нет. Голая эмпирика. Все случай и забегание вперед. И аэропланы, и баллоны, покорные рулю, и лодки-птицы — все это будет со временем играть роль в воздухоплавании... вот как теперь в морском деле играют роль разные системы пароходов. Но — чтобы проплыть по воде в снаряде, надо было человеку убедиться, что он сам может держаться на воде телом. Я уверен, что от появления человека на земле до по-

строения первой байдары прошло гораздо больше веков, чем от спуска этой байдары — до наших мониторов. Даже церковная хронология и та считает от начала человечества до постройки первого корабля две с половиною тысячи лет. Во всех мифологиях первое построение, то есть открытие корабля, связано с потопами, великими наводнениями. Следовательно, чтобы человек выучился плавать, не он в воду пошел, а вода за ним пришла. Но мы избаловались успехами культуры — и с воздухоплаванием слишком нервничаем и спешим. Мы очень самоуверенны. Наша наука так огромна и сильна, что это понятно и извинительно. Однако она не всемогуща — уже потому, что она, так сказать, ретроспективна. Для того чтобы лететь, мы плохо знаем и самих себя, и среду, которая манит нас в нее подняться. Воздух не идет за нами, как когда-то пришла вода. Физические законы до сих пор устанавливались с преобладающим расчетом на применение их к земле и, естественно, к земле нас и тянут, а не в высь воздушную. Все еще ньютоново яблоко жуем. А оно не вверх, а вниз упало. А теперь падать-то надо уже не вниз, а вверх. Видите ли, — продолжал он, помолчав, — закон можно установить только анализом проявляющих его фактов. Это — азбучное правило, которое, однако, часто забывается. В науке еще много бюрократизма: все норовят факты подгонять под априорные законы, благо их много, а фактов мало... Знаете, как Крукс, когда совсем ошалел от спиритических фокусов, в которых погубил он свой научный талант и огромную европейскую репутацию? Ему говорят: доказанных фактов нет. А он твердит: тем хуже для фактов. Да, законов много, а фактов мало.

— Мало? — изумился Дебрянский.

— Разумеется, мало. Возьмите тот же воздухоплавательный вопрос. Его решают совершенно априорною логикою: человеку хочется полететь; так как птицы, летучие

мыши и насекомые летают при помощи крыльев, а у человека крыльев нет, то надо выдумать для него снаряд, заменяющий крылья... Или: человеку хочется полететь; так как держаться на воздухе могут только те тела, которые легче воздуха, то надо привязать человека к подобному легковесному телу столь большого объема, чтобы в его громаде потерялась тяжесть малообъемного человеческого тела. Все это и верно, и неверно. Верно потому, что и снаряд такой возможен, и воздушные шары летают, то есть держатся в небесах с грехом пополам, уже сто с лишком лет. А неверно потому, что полет снаряда или воздушного шара есть только полет снаряда или воздушного шара, но совсем не полет человека. Если человеку суждено полететь, он полетит сам, без всякого снаряда. Сам полетит, как сам плавает.

— Вот тебе раз! Как же это? — расхохотался Дебрянский.

Граф задумчиво смотрел вдаль.

— Я представлю вам доисторическую картину. Дикарь видит в первый раз большую реку. Раньше он видал только лесные ручьи, которые легко переходил, не замочив ног выше колена. Он видит: пред ним вода, но не может дать себе отчета ни в ее силе, ни в ее глубине. Предполагая, что это ручей, только более широкий, он входит в воду. Она покрывает постепенно его колена, бедра, грудь, шею, подбородок... Если погружение идет последовательно, то есть — уж позвольте злоупотребить термином — научно, то, очень может быть, дикарь струсит, решит, что дальнейшая глубина «не подведомственна законам здравого смысла», и вернется на берег. Тогда он будет только знать, что вода глубока, что входить в нее человек может, но лишь до тех пор, пока она не заливает ему рот, нос, уши. Словом, будет знать закон о зловредности воды: она — враг, с нею надо обходиться очень осторожно, иначе — гибель. Ну, и конечно, primus deos fecit timor *:

* Первых богов создал страх *(лат.)*

обожествить ее при этом удобном случае как грозного и непреодолимого бога. Реки не одних первобытных дикарей смущали. Римляне культурным народом были, когда, двинувшись к северу Италии, наткнулись на По — и страшно им озадачились: что за речища такая? А велика ли штука По?.. Но вот дикарь погружался-погружался последовательно, научно — и вдруг совсем непоследовательно и ненаучно сорвался в глубокую колдобину. Дна под ногами нет, над головою этот ужасный враг — вода. Нахлебался ее и ртом и носом. Однако вместо того, чтобы потонуть, дикарь взял да и выплыл. Как? Он, разумеется, сам не понял: чудо. Но он начинает припоминать: позвольте, что я тогда делал? Я болтал руками и ногами — и вода стала меня держать. Стало быть, если болтать руками и ногами, вода человека держит. Вот — дикарь опытом достигает возможности плавания, а в будущем — и его законов.

Алексей Леонидович от души расхохотался.

— По вашей теории, — сказал он, — выходит так: для открытия законов воздухоплаванья надо, чтобы кто-нибудь свалился с колокольни и вместо того, чтобы разбиться вдребезги, — полетел...

— Да... в этом роде... чтобы это случилось ненамеренно, а исследовано было внимательно и беспристрастно, — уже совсем серьезно сказал граф.

— Ну, знаете, это, извините меня, из анекдота о скептическом семинаристе, который чуда не признавал.

— Я не знаю, не помню.

— Спрашивает его архиерей на экзамене: «Вообрази мне из жизни пример чуда». Задумался, молчит. «Ну, если бы, скажем, ты свалился с соборной колокольни и остался цел, это что будет?» — «Случай, ваше преосвященство». — «Гм... случай... Ну, а если бы и во второй раз?» — «Счастье, ваше преосвященство». — «Гм... счастье... экой ты, братец... Ну, вообрази совершенно невообразимое: вдруг бы повезло тебе

этак же благополучно свалиться и в третий раз? Как бы ты сие понял?» — «Привычка, ваше преосвященство!..»

— Что же? Ответ в своем роде философский, — улыбнулся граф. — Чудо, обращаемое в прикладную привычку, — в этом вся суть и цель естественных наук.

Дебрянский продолжал хохотать.

— Вряд ли вы найдете много охотников на подобные опыты...

Граф пожал плечами.

— Я видел летающих людей, — возразил он.

— Вот как... Где же вам так повезло? Впрочем, что же я спрашиваю? Разумеется, в Индии?

— Почему?

— Да как-то всегда и все подобные чудеса совершаются в Индии... это принято... это хороший тон сверхъестественного...

— Нет, — сказал граф, — это было не в Индии, а на одном из маленьких островов вот этого самого Ионического моря, которое нас окружает. Я видел, как один матрос, грек, поругавшись с товарищем-рыбаком, в слепом озлоблении прыгнул с ножом в руках к нему в лодку с борта парохода — и не разбился, и не упал в море, а спустился плавно, точно на парашюте. Этого матроса убили бы, если бы я не заступился, потому что его приняли за колдуна. Потом видел я немца-гимнаста: он прыгал необычайно высоко и на большие пространства и при этом как бы немножко парил в воздухе. Я расспрашивал его: как он это делает? Он не умел объяснить. Я расспрашивал его: что он при этом чувствует? Сильное нервное возбуждение, чрезвычайно приятное, доходящее до самозабвенного экстаза... Я очень жалею, что недостаточно знаю, чтобы в объяснение этим фактам построить научную гипотезу. Но я видел и твердо уверился в одном: бессознательно, экстатически некоторые люди если не летают, то подлетывают, парят — следовательно,

вопрос о воздухоплавании без снаряда сводится лишь к тому, чтобы бессознательное превратить в сознательное, экстаз превратить в управляемый феномен воли, открыть его законы и, овладев ими, подчинить себе, обратить производство феноменов в теоретическое постоянство и прикладную силу, работающую по востребованию.Если вы обратите ваше внимание на легенды о воздухоплавании, — продолжал он с задумчивостью, — то вы увидите, что все их историческое и доисторическое накопление сводится к четырем категориям. Первая — полет при помощи снаряда: золотая стрела скифа Абариса, крылья Дедала, Фаэтон в колеснице Солнца, Симон-маг, русские и восточные сказки о коврах-самолетах, заводных конях и т.п. Вторая — волшебный полет при помощи злых духов или добрых: быстрые перемещения гомеровских героев дружественными им богами, Фауст и Мефистофель на бочке ауэрбахова погреба, новгородский угодник Иоанн, которого черт, запертый в рукомойнике, вынужден был возить к обедне в Иерусалим, кузнец Вакула, полеты на шабаш и так далее. Сюда же относятся рассказы XVII века о бесноватых и порченых, которые летали против своей воли, по приказам колдунов или самого сатаны; того же характера современные медиумические легенды и чудотворные россказни теософов, хотя бы, скажем, Блаватской о разных там магатмах индийских. Эта категория нашему обсуждению не подлежит, так как она наголо спиритуалистическая и нам не может сказать ничего. Говоря языком материалистическим, мы здесь всецело в области раздвоения личности экстазами воображения. Тут речь идет не о физическом передвижении, но о множественности сознаний, таящихся в человеке, не о механике перемещения, но о двойном видении и обостренном чувствовании, об извращении психической энергии, об анормальной способности мысли торжествовать над пространством, доходя даже до физических самообманов «второго зрения». Третью категорию мы тоже отставим в сторону, так как она,

наоборот, чисто натуралистическая: заключает в себе памятки о вымерших чудовищных птицах и ящерах: драконы, птица-Рок, грифы, орлы и прочие благодетели сказочных героев, по существу лишенные непосредственного демонического оттенка и зараженные им только по соседству с предыдущею категорией. И, наконец, последняя, четвертая категория — самая для меня интересная: полет силою экстаза. Вы отчасти правы, что давеча помянули Индию. Чудо поднятия и парения в воздухе усилием восторженного экстаза — udwega prîti — считается там вполне возможным, а древняя литература Индии даже предполагает степень аскетического совершенства — indhi — когда такое чудо становится для человека хроническим. Аскет, находящийся в состоянии indhi, поднимается на воздух с такою же простотою и с таким же малым усилием воли, как обыкновенный человек прыгает. Буддийские летописи присваивают эту способность не только самому Гаутаме, но и некоторым предкам его, например, магу Саммате. Это — третье искушение Христа дьяволом в пустыне: «И поставил Его на крыле храма и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз: Ангелам Своим заповедает сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». Аполлоний Тианский в романе Филострата видел, как индийские брахманы поднимались в воздух на два и на три локтя, чтобы вознести молитву к Солнцу. То же самое чудо рассказывает Лукиан о каком-то фокуснике-гиперборейце, который для того, чтобы летать по воздуху, даже и сапог не снимал. Приписывают способность парения и неоплатонику Ямвлиху, хотя сам он ее в себе отрицал. В христианстве — католический мир полон подобными сказаниями на всем своем пятнадцативековом протяжении. Св. Эдмунд Кентерберийский, Св. Дунстан, Св. Филипп Нери, Св. Игнатий Лойола, Св. Доминик, Св. Тереза и множество других святых отмечены в житиях своих редкостным даром отрываться от земли силою молитвенного экстаза. Дом Кальмет — уже в XVII веке —

знал монаха и монахиню, подверженных парению в воздухе даже против своей воли, как скоро они вдохновлялись молитвою или видом священного изображения. У нас в России то же самое рассказывают о Серафиме Саровском...

— Да, — возразил Дебрянский, — но заметьте, граф: все это — в монастырях, между монахами и монахинями... Все — религиозная легенда... Где же научное наблюдение?

Гичовский пожал плечами:

— Кто же дерзнет говорить о наблюдении? Конечно, никакого... «Я видел» — не наблюдение. Любопытна древность и общность этих анекдотов. А то условие, что в монастырях, между монахами и монахинями, я принимаю не во вражду, но скорее как благоприятное. Канаты делаются на канатных фабриках. Экстазы — на фабриках экстаза. Тот результат, что хронический экстаз одинаково настроенного коллектива должен время от времени вырабатывать острую единицу личности, необычайно сильной и чуткой в экстатических проявлениях, кажется мне не только возможным и вероятным, но — логически — даже необходимым: это — местный и быстрый лизис общего и длящегося кризиса... только и всего!..

Он задумался.

— Вы, конечно, имеете понятие о графе де Местре, авторе «Петербургских вечеров»? Он сообщает об одном молодом человеке, что тому так часто казалось, будто он летает или готов, способен лететь, что он даже начал сомневаться в законе тяготения — действительно ли так строго подчинен ему человеческий организм?.. Самый экстатический художник Возрождения Бенвенуто Челлини, когда губернатор цитадели Сан-Анджело спросил его, может ли он летать, ответил с совершенно твердым убеждением: «Дай мне пару крыльев из вощеной холстины, и я, подобно летучей мыши, пролечу до Праги». Религиозный экстаз заметнее всех других потому, что он еще разрабатывается и покровительственно куль-

тивируется, тогда как другие виды экстаза проявляются лишь короткими вспышками, а если затягиваются, то мы уже пугаемся их, считаем их аномалиями, недугами. Некоторые экстазы в Европе до того вылиняли, что могут считаться вымершими. Например, боевой экстаз, которым дышат герои «Илиады», а еще больше саги о скандинавских берсеркерах. Или творческий художнический экстаз, как описывают его Вазари и Бенвенуто Челлини. Экстаз вина сейчас ведет человека в полицейский участок или в лечебницу для алкоголиков, а половой экстаз называется сатириазисом и нимфоманией и разрешается либо на скамье подсудимых, либо в сумасшедшем доме. Великая сила цивилизации возвышает разум. Но за большое удовольствие надо платить маленькою неприятностью: она принижает инстинкт. Мы развиваем сознательность за счет своей «животной души»: ум растет, экстатический материал гаснет. Чтобы современный человек чувствовал в себе работу инстинкта, даже точнее будет сказать, чтобы можно было изучать его вне разума, как существо только инстинктивное, приходится наблюдать его в состояниях искусственно ослабленной и затемненной воли: в острой болезни, в гипнозе. Гомеопат Боянус делал прелюбопытные опыты над тифозными. В периоды бреда его больная чувствовала вкус йода в тридцатом делении и бессознательно жаловалась, что ее поят такою дрянью. Придя в себя, она не узнавала йода даже в третьем делении... Цивилизация повсеместно знаменуется убылью экстаза и ограничением его общности. Для явлений экстаза любому чукче или негру-обисту легко найти медиума в собственной своей семье, тогда как человеку европейской цивилизации приходится гоняться за «сензитивами», как их Рейхенбах определяет, будто за птицею-фениксом, по всем пяти материкам — да и то из обретенных сензитивов верная половина — мошенники просто, четверть — полумошенники-полубольные, а остальная четверть — больные просто, сами

не знающие, где в них кончается симуляция, где начинается истерия...

Гичовский воодушевился.

— Вы употребили слово «сверхъестественное»... Позвольте вам сказать, что это совершенно ложный термин... Естество наполняет весь мир, и сверх него нет ничего в мире... Я не мистик, я материалист и твердо убежден, что нет явлений, которые не были бы объяснимы логическим и естественно-законным путем. Но мы знаем мало, чрезвычайно мало... может быть, тысячную, миллионную долю того, что надо знать и будут знать наши потомки — люди двадцать первого, двадцать второго века. За нашим веком останется одна великая заслуга: мы не только накопили в пользу потомков огромнейший материал для познания, исследования и разработки — это сделали все века для своих преемников — но и великолепнейше подготовили его к разработке и исследованию, чего еще ни один век не делал. Все, что для нас еще сверхъестественное, через два века будет, вероятно, совершенно точно уяснено, введено в строгие рамки механической науки. Сверхъестественного не будет.

Алексей Леонидович остановил Гичовского:

— Простите, граф, но вы слишком увлечены верою в цивилизацию. Тяготение к сверхъестественному в человеке происходит не от борьбы с природою за роль свою в ней, но от стремления к высшему идеалу, закрытому от нас смертью, стремления, неразрывного с самым бытием человеческим, покуда существует смерть. Ее-то ведь вы не рассчитываете уничтожить?

— Нет. Но ей пора быть управляемой. Приходить, когда сам человек ее захочет. Мир должен найти и уготовить себе эвфаназию древних, остатки которой история еще успела застать. Чтобы смерть была не мукою и ужасом, но лишь удовлетворяющим фазисом великого естественного физиологического процесса. Чтобы запрос на нее предъявлял сам

организм наш, и умирать было бы так же необходимо просто, как есть, пить, рожать детей. Вспомните Литтре: смерть не больше как отправление организма, последнее и наиболее покойное из всех отправлений. Все это весьма возможно, заметьте, и к такой победе над смертью наука уже движется довольно уверенными шагами.

— Я знаю. Но организм-то изнашиваться все-таки будет? Смерть по естественному-то хотению вы все-таки оставляете?

— Конечно.

— А если будет такое хотение, то будет и такой порог, за которым начинается для человека сверхъестественное, и останется любовь и пытливость к нему... Как бы громадны ни оказались успехи науки, как бы много она ни осветила, человек всегда сохранит для себя в природе множество темных уголков, к которым будет относиться с суеверным страхом и с фантастическим уважением...

Граф снисходительно кивнул головою.

— Ну да, да... connu!..* Еще Альберт Великий отлично установил это положение, что, собственно говоря, нет, не было и вряд ли будет кто в человечестве, имеющий право чистосердечно сказать, что он недоступен чувству сверхъестественного... Словом, «есть много, друг Горацио», и так далее, и так далее...

Дебрянский говорил:

— Это не роскошь духа, а потребность его, спрос первой необходимости. Потребности же не умирают и не замолкают. Вот вы изволите говорить, что в мире нет ничего сверхъестественного. А я твердо уверен, что вы преувеличиваете свой материалистический энтузиазм... Возьмем для примера хоть так называемые медиумические явления. Вы присутствовали при них?

* Известно!.. *(фр.)*

— Разумеется, десятки раз, — сказал Гичовский.

— И что же?

— Очень много шарлатанства и пошлости: все эти летающие гитары, стуки в указанных местах, светящиеся мизинцы. Я это все сам умею делать не хуже мисс Фай и Евсебии Палладино. Но, в общем, я принимаю возможность материальных проявлений мертвого, то есть, точнее будет сказать, в мертвых живущего, мира. Мне жаль, что я не имел случая наблюдать удачной материализации. Все нарывался на мошенников, работавших кантоновым фосфором и парафином.

Алексей Леонидович неприятно поморщился: ему показалось, что блестящий день как будто посерел, и в жар солнечных лучей, опалявших Корфу, прокралась тонкая струйка холодной северной сырости...

— А что бы вы сказали, — спросил он после долгого молчания и понизив голос, — если бы вам случилось видеть призрак?.. настоящий призрак... совершенно такого же человека, как мы с вами, но он мертвый и, однако, ходит и говорит как живой?

Граф зорко посмотрел на Дебрянского.

— С вами было что-нибудь подобное? — быстро спросил он.

Дебрянский промолчал.

— Не люблю я говорить об этом, — сказал он после долгого колебания, видя, что настойчивый взгляд Гичовского не хочет от него оторваться. — Это, извините меня, довольно свежая моя рана, и, вспоминая о ней, я дурно себя чувствую. Когда-нибудь при случае, если встретимся и буду я настроен лучше и спокойнее, попробую рассказать...

— Как я вам завидую! — сказал граф. — Мне никогда не удавалось проникнуть в мертвый мир, хотя я гонялся за необыкновенным и фантастическим по всем странам земного шара. Подобно Фламмариону, я самый тупой анти-

медиум, совершенно неспособный воспринимать телепатические явления. Мозг мой, очевидно, отталкивает этот род эфирных волн. Что бы я сказал, спрашиваете вы. Прежде всего, уверился бы, что я не обманут и не галлюцинирую, и если бы научно доказал себе, что так, то поспешил бы признать реальность явления и начал бы исследовать и изучать суть его всеми данными и средствами естественных наук.

— Значит, a priori вы согласны с его законностью? — глухо спросил Алексей Леонидович.

— Видите ли. Весьма умный человек, великолепнейший астроном Франсуа Араго, тот самый, который на вопрос о Боге отвечал, что в этой гипотезе он никогда не встречал надобности, сказал однажды: нерассудительно поступает тот, кто употребляет слово «невозможно» вне области чисто математической. Как я уже сказал вам, я материалист. Но именно как материалист рассуждая, стукаюсь я вот о какое возражение. Не может же человек — такой огромный и отборный кусок материи, выработанный в то нервное совершенство механизма, которое спиритуалисты называют духом, — уничтожиться смертью так-таки вот весь, в совершенный нуль. Мы вот теперь обстоятельно, научно знаем, что в одном миллиграмме воды таится, в потенциальном состоянии, столько электрической энергии, что, освободившись вдруг, она превзошла бы силою движения самые сильные действия динамитных зарядов. В одном миллиграмме воды! А ведь человеческое тело по весу содержит воды от 70 до 80 процентов веса. Од Рейхенбаха — осмеянное, темное место, возможный самообман. Но опыты Рейхенбаха, засвидетельствованные Фехнером и Эрдманном, показали несомненное действие человеческого организма на такую стихийную силу, как магнитная стрелка. Знаете ли вы, что, по вычислению Рише, в организм внука переходит примерно лишь одна тристашестидесятитысячная триллионной части того вещества, которое находилось в организме деда? И, однако, этой доли,

умом едва вообразимой, оказывается достаточно для того, чтобы ее энергией устанавливалось разительное фамильное сходство. Куда же разряжается энергия такой могучей и сложной машины? Где-нибудь и как-нибудь она прилагается и живет. А вот где и как — это-то и есть секрет будущего, это ждет исследования.

— И вы полагаете его возможным и вероятным?

— Если его полагали достойным своего внимания такие люди, как Уоллес, Рише, Остроградский, Морган, Эдуард Гартман, почему буду относиться к нему с высокомерием я? Почему же оно менее вероятно, чем возможность упорядочить воздухоплавание, о чем мы сейчас только говорили?

— Да я и в это не верю.

— Напрасно. Галилею не верила инквизиция, что земля вертится, Соломона Ко посадили в сумасшедший дом за идею о двигательной силе пара, над Фультоном смеялся его родной брат... А если бы Галилею, Соломону Ко, Фультону показать в будущем Эдисона — телефон, фонограф, электрическое освещение они приняли бы за бред и насмешку. Да зачем в поисках неверия уходить так далеко? В 1878 году член Института Бульо, присутствуя при демонстрации Демонселем фонографа Эдисона пред заседанием парижской Академии наук, торжественно заявил, что все это штуки и плутни чревовещателей, и полгода спустя сделал весьма обстоятельный доклад, предостерегавший ученое собрание не поддаваться мороке американского шарлатана. Доклады ученых, твердо ушедших в футляр системы, — штука броненосная. Еще Галилей плакался Кеплеру, что падуанские профессора не хотят видеть ни планет, ни луны, ни самой зрительной трубы, ищут истину не в мире или природе, а в сравнении текстов, и стараются лишить небо планет логическими доводами, точно магическими заклинаниями. Двести лет спустя Гегель, основываясь на философских началах, старался доказать a priori невозможность существования планет между Юпи-

тером и Марсом. Увы! в тот же самый год, 1 января 1801 года, Пьяцци открывает первую из малых планет! А Хладни, который едва сам себе верил, когда напал на теорию метеорных масс, потому что имел против себя такие авторитеты, как Гассенди и Лавуазье в прошлом, Лаплас и Лихтенберг в современности, — и, однако, заставил «просвещение, отрицавшее падение метеоритов, уступить место большему просвещению, допускающему это падение»? Огюст Конт отрицал возможность изучить химический состав звезд за пять лет до того, как спектральный анализ установил классификацию светил именно по химическому их составу. Араго, Тьер, Прудон не понимали будущности железных дорог. Майера, творца термодинамики, насмешки ученых критиков довели до покушения на самоубийство. Томас Ионг и Френель за световые волны подверглись публичному поруганию со стороны лорда Брума. Близко ли, далеко ли смотреть назад — все равно: ученый с новой идеей для собратьев своих — всегда «циркулятор», как Гарвей, или «лягушечий танцмейстер», как издевались над Гальвани за первые опыты его тоже весьма, по своему времени, ученые и неглупые люди... А мы уже и Эдисонами недовольны. Мы накануне открытия телефоноскопа. Телеграф не сегодня-завтра отвяжется от своей проволоки. Мы найдем тайну древних магиков, умевших смотреть и видеть сквозь непроницаемые темные предметы *. Электричество — сто лет тому назад орудие игрушечных опытов — в настоящее время закономерная и всеобъясняющая сила. С каждым днем выступают в ученых исследованиях все новые и новые стороны деятельности этой силы, наполняющей собою природу — деятельности творческой, сохраняющей, деятельности разрушающей. Несомненно, электричество откроет нам когда-нибудь и ту, еще загадочную, не имеющую ни имени, ни места, ни даже намеченного бы-

* Написано в 1896 году *(примеч. автора)*.

тия область, изучение законов которой подарит нас воздухоплаванием.

— Какая же это область? — спросил Дебрянский.

Гичовский помолчал.

— Я считаю, — медленно начал он, — совершенно доказанным — и каждая птица мне это подтверждает, — что по законам, действующим в рамке наших трех измерений, человек никогда не полетит. Стало быть, чтобы полететь, он сперва должен открыть, изучить и принять в свое сознание то неведомое четвертое измерение, которое он сейчас только смутно предчувствует. Открыть, изучить и принять в сознание — не как мистическую формулу шарлатанской науки спиритов, теософов и tutti guanti *. Мы обязаны превратить его в физический закон, пока еще тайный, но должный обнаружиться пытливою силою человеческого ума — подобно тому, как обнаружился ею закон земного притяжения, загадочного для людей до Ньютона и его современников не менее, чем для нас загадочно четвертое измерение.

— Ну, знаете ли, есть разница.

— Вы думаете?

— Одно дело — стройная теория, ясная как день, в броне неопровержимых доказательств, другое — фантастическая гипотеза, которую кто-то назвал романтикою математики...

— Не знаю, не помню. В математике очень можно быть романтиком, и бывали удивительные романтики даже и помимо гипотезы четвертого измерения. Лобачевский, Остроградский, Гаусс, Риман — конечно, в высшей степени романтические головы... Может быть, именно потому они и были великими математиками. А что касается теории, ясной как день, хорошо нам с вами разговаривать так-то, двести с лишком лет спустя после того, как она завоевала себе мир и подчинила науку. А прочитайте-ка, что в свое

* Все прочие *(ит.)*.

время писал Лейбницу об идеях Ньютона Гюйгенс. «Мысль Ньютона о взаимном притяжении, — громил он, — я считаю нелепою и удивляюсь, как человек, подобный Ньютону, мог сделать столько трудных исследований и вычислений, не имеющих в основании ничего лучшего, как подобную мысль». Сейчас эти слова звучали бы бессмысленно и дико для слуха даже в устах невежды, едва тронутого элементарною школою. А в XVII веке они гремели авторитетом из уст самостоятельного ученого, который соорудил удивительнейшие объективы, открыл при помощи их туманность Ориона, одного из спутников, и кольцо Сатурна, изобрел часы с маятником и спиральною пружиною, оставил блестящий след в геометрии, физике, механике, астрономии... У нас в России о «воображаемой геометрии» Лобачевского десятки лет говорилось с улыбкою снисходительного сожаления: дескать, пунктик гениального человека, у которого ум за разум зашел от полетов в наиотвлеченнейшие сферы в наиотвлеченнейшей из наук. Между тем другие труды Лобачевского отошли ныне на второй план, а «воображаемая геометрия» заняла прочное и почетное место в истории науки. Нашел ли он новую идею? Нет. Потому что его «воображаемая геометрия» имела предшественницу в астральной геометрии Швейггарда, Гаусс проповедовал те же убеждения еще в конце XVIII века, понятие «абсолютного пространства» принимал Иммануил Кант и соприкасался в нем с Берклеем... Вся заслуга гениального Лобачевского — Колумбова: открытие самостоятельного входа в новую область — нового плана причинной схемы, снова отодвинувшей от познавательной энергии человеческой ту роковую, зловещую границу, которая возвещает капитуляцию пред априорностью, на которую рано или поздно натыкаются в поиске причинностей даже самые могучие и неистощимые умы человеческие, фатум, который обязателен даже для Кантов, Шопенгауэров, Гельмгольцев... Четвертое измерение опошлено обывательскою болтовнею, чудес ищущей...

Что оно? Какая-то встреча времени с пространством, какое-то превращение материи в энергию... Математики этих загадок не боятся. Риман рассматривал каждый материальный атом как вступление четвертого измерения в пространство трех измерений. Мир для него был океаном вещества, которое постоянно течет в весомые атомы, и то место, где мир умственный вступает в мир телесный, определяет собою вещественные тела... Сейчас это место постигается умозрительно. Надо сделать его постижимым, чувственным. Вот и все.

— Не мало!

— Да, много, но не безнадежно. Наука трудно находит тропы свои, а раз нашла, шагает по ним быстро. Ей понадобилось две тысячи лет, чтобы выбиться из повелительных оков спиритуализма, но едва она выбилась, и — уже четверть века спустя — показывала «душу» под микроскопом!

II

Новый знакомый очень понравился Дебрянскому. Он чувствовал, что сдружится с Гичовским, и был очень доволен, что судьба послала ему навстречу такого опытного и бывалого путешественника. Но странный разговор несколько расстроил его и, когда граф откланялся и ушел в свой отель, Дебрянский долго еще сидел в кафе, погруженный в довольно мрачные мысли. Вопреки своей богатырской внешности, Алексей Леонидович странствовал не совсем по доброй воле: врачи предписали ему провести, по крайней мере, год под южным солнцем, не смея даже думать о возвращении в северные туманы. И вот теперь он приискивал себе уголок, где бы зазимовать удобно, весело и недорого. Человек он был не бедный, но сорить деньгами, в качестве знатного иностранца, и не хотел, и не мог.

Неожиданно свалившись с серой московской Плющихи на сверкающий Корфу, где вечно синее небо, как опрокинутая чаша, переливается в вечно синее море, Алексей Леонидович, сказать правду, изрядно-таки скучал. Человек он был — Гичовский верно его угадал — самый московский: сытый, обленённый легкою службою и холостым комфортом, сидячий, постоянный и не мечтающий. И смолоду пылок не был, а к тридцати пяти годам вовсе разучился понимать беспокойных шатунов по белому свету, охотников до сильных ощущений, новостей природы и экзотических необыкновенностей. Взамен бушующих морей, горных вершин, классических развалин и мраморных богов такому, как он, русскому интеллигенту отпущены: мягкая кушетка, пылающий камин, интересная книга и восприимчивое воображение.

— Совсем нет надобности переживать сильные ощущения лично, — говорил он, — если можно их воображать, не выходя ни из душевного равновесия, ни из комнаты и притом вчуже... ну, хоть по Пьеру Лоти или Гюи де Мопассану. Подставлять же под всякие страхи и неудобства свою собственную шкуру — страсть для меня совершенно непонятная. Отсутствие душевного равновесия и комфорта не в состоянии вознаградить никакая красота.

Он не переменил своих взглядов теперь пред дивным величием Ионического моря.

«Красиво, — думал он, — но воображение создает красоту... не то чтобы лучше, а — как бы сказать — уютнее, что ли...»

И глубоко сожалел о своем московском кабинете, камине, кушетке, о службе, о своих книгах и друзьях — обо всем, во что сливался для него север.

«В гостях хорошо, — втайне признавался он, — а дома лучше, и если бы я мог, то сейчас бы вернулся. Совсем не к лицу мне Корфу это... Все праздник да праздник в природе — будней хочется... Но я не могу и, должно быть, мне никогда уже не быть дома... Никогда, никогда!»

Он уехал из Москвы, ни с кем не простясь, безрасчетно порвав с выгодною службой, бросив оплаченную за год вперед квартиру, не устроив своих дел... Словом, это было не путешествие, но бегство. Не от врагов и не от самого себя: первых у него не было, совесть же его была — как у всякого среднего человека — обывательская: нечем ни особенно похвалиться, ни особенно мучиться.

Что он болен, Дебрянский по выезде из Москвы никому не признавался и сам желал о том позабыть, выдавая себя просто за туриста и ведя соответственно праздный образ жизни. Нервная болезнь, выгнавшая его с родины, была очень странного характера и развилась на весьма необыкновенной почве.

Незадолго перед тем, как Дебрянскому заболеть, сошел с ума короткий приятель его, присяжный поверенный Петров, веселый малый, один из самых беспардонных прожигателей жизни, какими столь бесконечно богата наша Первопрестольная. Психоз Петрова, возникнув на люэтической почве, вырастал медленно и незаметно. Решительным толчком к сумасшествию явился трагический случай, страшно потрясший расшатанные нервы больного.

Незадолго пред тем у него завязался роман с одною опереточною певицею, настолько серьезный, что в Москве стали говорить о близкой женитьбе Петрова. Развеселый адвокат не опровергал слухов...

Однажды, возвратясь домой из суда, он не мог дозвониться у своего подъезда, чтобы ему отворили. Черный ход оказался тоже заперт, а покуда встревоженный Петров напрасно стучал и ломился, — подоспели с улицы кухарка и лакей его. Они тоже очень изумились, что квартира закупорена наглухо, и рассказали, что уже с час тому назад молоденькая домоправительница Петрова, Анна Перфильевна, услала их из дому за разными покупками по хозяйству, а сама осталась одна в квартире. Тогда сломали дверь и в рабочем кабинете

Петрова, на ковре, нашли Анну мертвою, с раздробленным черепом; она застрелилась из револьвера, который выкрала из письменного стола своего хозяина, сломав для того замок. Найдена была обычная записка: «Прошу в моей смерти никого не винить, умираю по своим неприятностям». Петров был поражен страшно. Еще года не прошло, как во время одной блестящей своей защиты в провинции он сманил эту несчастную — простую перемышльскую мещанку. Что самоубийство Анны было вызвано слухами о его женитьбе, Петров не мог сомневаться. В корзине для бумаг под письменным столом, у которого подняли мертвую Анну, он нашел скомканную записку ее к нему, начатую было — как видно — перед смертью, но не конченную. «Что ж? женитесь, женитесь... а я вас не оставлю, не оставлю...» — писала покойная и — больше ничего, только перо, споткнувшись, разбросало кляксы.

Петрову не хотелось расставаться с квартирою, хотя и омраченною страшным происшествием: его связывал долгосрочный контракт с крупною неустойкою. Однако он выдержал характер лишь две недели, а затем все-таки бросил деньги и переехал: жутко стало в комнатах, и прислуга не хотела жить. В день, как похоронили Анну, Петров, измученный впечатлениями и сильно выпив на помин грешной души покойной, задремал у себя в кабинете. И вот видит он во сне: вошла Анна, живая и здоровая, только бледная очень и холодная как лед, села к нему на колени, как, бывало, при жизни и говорит своим тихим, спокойным голосом:

— Вы, Василий Яковлевич, женитесь, женитесь... только я вас не оставлю, не оставлю...

И стала его целовать так, что у него дух занялся. Петров с удовольствием отвечал на ее бешеные ласки, как вдруг его ударила страшная мысль:

— Что ж я делаю? Как же это может быть? Ведь она мертвая.

И тут он, охваченный неописуемым ужасом, заорал благим матом и проснулся — весь в поту, с головою тяжелою, как свинец, от трудного похмелья и в отвратительнейшем настроении духа.

На новой квартире он закутил так, что по всей Москве молва пошла. Потом вдруг заперся, стал пить в одиночку, никого не принимая, даже свою предполагаемую невесту, опереточную певицу. Потом так же неожиданно явился к ней позднею ночью — дикий, безобразный, но не пьяный — и стал умолять, чтобы поторопиться со свадьбою, которую сам же до сих пор оттягивал. Певица, конечно, согласилась, но поутру — суеверная, как большинство актрис, — поехала в Грузины к знаменитой цыганке-гадалке спросить насчет своей судьбы в будущем браке...

Вернулась в слезах...

— В чем дело? Что она вам сказала? — спрашивал невесту встревоженный жених.

Та долго отнекивалась, говорила, что «глупости». Наконец призналась, что гадалка напрямик ей отрезала:

— Свадьбе не бывать. А если и станется — на горе твое. Он не твой. Между вас мертвым духом тянет.

Петров выслушал и не возразил ни слова. Он стоял страшно бледный, низко опустив голову. Потом поднял на невесту глаза, полные холодной, язвительной ненависти, дико улыбнулся и тихим шипящим голосом произнес:

— Пронюхали...

Он прибавил непечатную фразу. Певица так от него и шарахнулась. Он взял шляпу, засмеялся и вышел. Больше невеста его никогда не видела.

В Дворянском собрании был студенческий вечер. Битком полный зал благоговейно безмолвствовал: на эстраде стояла Мария Николаевна Ермолова — эта величайшая трагическая актриса русской сцены — и со свойственною ей мо-

гучей экспрессией читала «Коринфскую невесту» Гете в переводе Алексея Толстого... Когда, величественно повысив свой мрачный голос, артистка медленно и значительно отчеканила роковое завещание мертвой невесты-вампира:

> И покончив с ним,
> Я пойду к другим,
> Я должна идти за жизнью вновь[1] —

за колоннами раздался захлебывающийся вопль ужаса, и здоровенный мужчина, шатаясь, как пьяный, сбивая с ног встречных, бросился бежать из зала среди общих криков и смятения. У выхода полицейский остановил его. Он ударил полицейского и впал в бешеное буйство. Его связали и отправили в участок, а поутру безумие его выразилось настолько ясно, что оставалось лишь сдать его в лечебницу для душевнобольных. Врачи определили прогрессивный паралич в опасном периоде бреда преследования. Ему чудилось, что покойная Анна, его любовница-самоубийца, навещает его из-за гроба, и между ними продолжаются те же ласки, те же отношения, что при жизни, и он не в силах сбросить с себя иго страшной, посмертной любви, а чувствует, что она его убивает. Вскоре буйство с Петрова сошло — и он стал умирать медленно и животно, как большинство прогрессивных паралитиков. Галлюцинации его не прекращались, но он стал принимать их совершенно спокойно, как нечто должное, такое, что в порядке вещей.

Дебрянский, старый университетский товарищ Петрова, был свидетелем всего процесса его помешательства. В полную противоположность Петрову, он был человеком редкого равновесия, физического и нравственного, отличного здоровья, безупречной наследственности. Звезд с неба не хватал, но и в недалеких умом не числился, в образцы добродетели не стремился, но и в пороки не вдавался — словом, являлся примерным типом образованного московского буржуа на холостом

положении, завидного жениха и впоследствии, конечно, прекрасного отца семейства. Когда Петров начал чудачить чересчур уж дико, большинство приятелей и собутыльников стали избегать его: что за охота сохранять близость с человеком, который вот-вот разразится скандалом? Наоборот, Дебрянский — вовсе не бывший с ним близок до того времени — теперь, чувствуя, что с этим одиноким нелепым существом творится что-то неладное, стал чаще навещать его. Продолжал свои посещения и впоследствии, в лечебнице. Петров его любил, легко узнавал и охотно с ним разговаривал. Дебрянский был человек любопытный и любознательный. «Настоящего сумасшедшего» он видел вблизи в первый раз и наблюдал с глубоким интересом.

— А не боитесь вы расстроить этими посещениями свои собственные нервы? — спросил его ординатор лечебницы Степан Кузьмич Прядильников, на попечении которого находился Петров.

Дебрянский только рассмеялся в ответ:

— Ну вот еще! Я — как себя помню — даже не чувствовал ни разу, что у меня есть нервы: хоть бы узнать, что за нервы такие бывают.

В дополнение к своим визитам в лечебницу, Дебрянского угораздило еще попасть в кружок оккультистов, который, следуя парижской моде, учредила в Москве хорошенькая барынька-декадентка, жена Радолина, компаньона Дебрянского по торговому товариществу «Дебрянского сыновья. Радолин и К°». Над оккультизмом Алексей Леонидович смеялся, да и весь кружок был затеян для смеха, и приключалось в нем больше флирта, чем таинственностей. Но Дебрянского как неофита для первого же появления в кружке нагрузили сочинениями Элифаса Леви и прочих мистагогов XIX века, которые он, по добросовестной привычке к внимательному чтению, аккуратнейшим образом изучил от доски до доски, изрядно одурманив ими свою память и расстроив воображение. Однаж-

ды он рассказал своим коллегам-оккультистам про сумасшествие Петрова.

— О! — возразил ему старик, важный сановник, считавший себя адептом тайных наук, убежденный в их действительности несколько более, чем другие. — О! Почему же сумасшедший? Сумасшествие? Хе-хе! Разве это новый случай? Он стар, как мир! Ваш друг не безумнее нас с вами, но он, действительно, болен ужасно, смертельно, безнадежно. Эта Анна — просто ламия, эмпуза, говоря языком древней демонологии... Вот и все! Прочтите Филострата: он описал, как Аполлоний Тианский, присутствуя на одной свадьбе, вдруг признал в невесте ламию, заклял ее, заставил исчезнуть и тем спас жениха от верной гибели... Вот! Ваш Петров во власти ламии, поверьте мне, а не безумный, нисколько не безумный...

Дебрянский слушал шамканье старика, смотрел на его дряблое, бабье лицо с бесцветными глазами и думал: «Посадить твое превосходительство с другом моим Васильем Яковлевичем в одну камеру — то-то вышли бы два сапога — пара!»

— Смотрите, Алексей Леонидович! — со смехом вмешалась хозяйка дома, — берегитесь, чтобы эта ламия, или как там ее зовут, не набросилась на вас. Они ведь ненасытные!

— Если бы я была ламией, — перебила другая бойкая барынька, — я бы ни за что не стала ходить к Петрову: он такой скверный, грубый, пьяный, уродливый!.. Нет, я полюбила бы какого-нибудь красивого-красивого!

— Да уж, разумеется, вести загробный роман с Петровым, когда тут же налицо le beau Debriansky *, — это непростительно! У этой глупой ламии нет никакого вкуса!

Алексей Леонидович улыбался, но шутки эти почему-то не доставляли ему ни малейшего удовольствия, а, напротив, ше-

* Красавец Дебрянский *(фр.)*.

велили где-то в глубоком уголке души — новое для него — жуткое суеверное чувство.

Когда Петров принимался бесконечно повествовать о своей неразлучной мучительнице Анне, было и жаль, и тяжко, и смешно его слушать. Жаль и тяжко, потому что говорил он о галлюцинации ужасного, сверхъестественного характера, которую никто не в силах был представить себе без содрогания. А смешно — до опереточного смешно — потому что тон его при этом был самый будничный, повседневный тон стареющего фата, которому до смерти надоела капризная содержанка, и он рад бы с нею разделаться, да не смеет или не может.

— Я поссорился вчера с Анною, начисто поссорился, — хвастовски рассказывал он, расхаживая по своей камере и стараясь заложить руки в халат без карманов тем же фатовским движением, каким когда-то клал их в карманы брюк, при открытой визитке.

— За что же, Василий Яковлевич? — спросил ординатор, подмигивая Дебрянскому.

— За то, что неряха! Знаете, эти русские наши Церлины — сколько ни дрессируй, все от них деревенщиной отдает... Хоть в семи водах мой! Приходит вчера, сняла шляпу, проводим время честь честью, целуемся. Глядь, а у нее тут вот, за ухом, все красное-красное... «Матушка! Что это у тебя?» — «Кровь...» — «Какая кровь?» — «Разве ты позабыл? Ведь я же застрелилась...» Ну, тут я вышел из себя, и — ну ее отчитывать!.. «Всему, — говорю, — есть границы: какое мне дело, что ты застрелилась? Ты на свидание идешь, так можешь, кажется, и прибраться немножко! Я крови видеть не могу, а ты мне ее в глаза тычешь! Хорошо, что я нервами крепок, а другой бы ведь...» Словом, жучил, жучил ее — часа полтора! ну она молчит, знает, что виновата... Она ведь и живая-то была мо-ол-ча-ли-вая, — протянул он с внезапною тоскою. — Крикнешь на нее, бывало, — молчит... все молчит... всегда молчит...

Вот тоже, — оживляясь, продолжал он, — сыростью от нее пахнет ужасно, холодом несет, плесенью какою-то... Каждый день говорю ей: «Что за безобразие?» Извиняется: «Это от земли, от могилы». Опять я скажу: «Какое мне дело до твоей могилы? В могиле можешь чем угодно пахнуть, но раз ты живешь с порядочным человеком, разве так можно? Вытирайся одеколоном, духов возьми... опопонакс, корилопсис, есть хорошие запахи... поди в магазин, к Брокару там или Сиу какому-нибудь и купи». А она мне на это, дура этакая, представьте себе: «Да ведь меня, Василий Яковлевич, в магазин-то не пустят, мертвенькая ведь я...» Вот и толкуй с нею!

В другой раз Петров, когда Алексей Леонидович долго у него засиделся, бесцеремонно выгнал его от себя вместе с ординатором.

— Ну все, господа, к черту! Посидели и будет! — суетливо говорил он, кокетливо охорашиваясь пред воображаемым зеркалом, — она сейчас придет... не до вас нам теперь. Я уже чувствую: вот она... на крыльцо теперь вошла... ступайте, ступайте, милые гости! Хозяева вас не задерживают!

— Ну, bonne chance en tout!* — засмеялся ординатор, — вы хоть когда-нибудь показали бы нам ее, Василий Яковлевич? А?

— Да, дурака нашли,— серьезно отозвался Петров. — Нет, батюшка, я рогов носить не желаю. А впрочем, — переменил он тон, — вы, наверное, встретите ее в коридоре... Ха-ха-ха! Только не отбивать! Только не отбивать!

И он залился хохотом, грозя пальцем то тому, то другому.

На Дебрянского эта сцена произвела удручающее впечатление. В коридоре он шел за Прядильниковым, потупив голову, в глубоком раздумье... А ординатор ворчал, озабоченно нюхая воздух:

* Удачи во всем! *(фр.)*

— Опять эти идолы, сторожа, открыли форточку во двор. Черт знает, что за двор! Малярийная отрава какая-то — и холод ее не берет... Чувствуете, какая миазматическая сырость?

В самом деле Дебрянского пронизало до костей холодною, влажною струею затхлого воздуха, летевшего им навстречу. Степан Кузьмич с ловкостью кошки вскочил на высокий подоконник и собственноручно захлопнул форточку, с сердцем проклиная домохозяев вообще, а своего в особенности.

— Нечего сказать, в славном месте держим лечебницу.

Он крепко соскочил на пол и зашагал далее. В темном конце коридора, близко к выходу, он столкнулся лицом к лицу с дамою в черном платье. Она показалась Дебрянскому небольшого роста, худенькою, бледною, глаз ее было не видать под вуалем. Ординатор поменялся с нею поклоном, сказал: «Здравствуйте, голубушка!» — и прошел. Вдруг он перестал слышать позади себя шаги Дебрянского... Обернулся и увидел, что тот стоит белый как мел, бессильно прислонясь к стене, и держится рукою за сердце, глядя в спину только что прошедшей дамы.

— Вам дурно? Припадок? — бросился к нему врач.

— Э... э... это что же? — пролепетал Дебрянский, отделяясь от стены и тыча пальцем вслед незнакомке.

— Как что? Наша кастелянша, Софья Ивановна Круг.

Дебрянский сразу покраснел, как вареный рак, и даже плюнул от злости.

— Нет, доктор, вы правы: надо мне перестать бывать у вас в лечебнице. Тут нехотя с ума сойдешь... Этот Петров так меня настроил... Да нет! Я даже и говорить не хочу, что мне вообразилось.

Оберегая свои нервы, Дебрянский перестал бывать у Петрова и вернул Радолиной Элифаса Леви, Сара Пеладана и весь мистический бред, которым было отравился.

— Ну их! От них голова кругом идет.

— Ах, изменник! — засмеялась Радолина. — Ну а что ваш интересный друг и его прекрасная ламия? Влюблена она уже в вас или нет?

— Типун бы вам на язык! — с неожиданно искренней досадою возразил Алексей Леонидович.

Недели две спустя докладывают ему в конторе, что его спрашивает солдат из лечебницы с запискою от главного врача. Последний настойчиво приглашал его к Петрову, так как у больного выпал светлый промежуток, которым он сам желал воспользоваться, чтобы дать Дебрянскому кое-какие распоряжения по делам. «Торопитесь, — писал врач, — это последняя вспышка, затем наступит полное отупение, он накануне смерти».

Дебрянский отправился в лечебницу пешком — она отстояла недалеко, захватив с собой посланного солдата. Это был человек пожилой, угрюмого вида, но разговорчивый. По дороге он посвятил Дебрянского во все хозяйственные тайны странного, замкнутого мира лечебницы, настоящею королевою которой — по интимным отношениям к попечителю учреждения — оказывалась кастелянша, та самая Софья Ивановна Круг, что встретилась недавно Дебрянскому с ординатором в коридоре, у камеры Петрова. По словам солдата, весь медицинский персонал был в открытой войне с этою особой. «Только супротив нее и сам господин главный врач ничего не могут поделать, потому что десять лет у его сиятельства в экономках прожила и до сих пор от них подарки получает». Солдат защищал врачей, ругал Софью Ивановну ругательски и сожалел князя-попечителя.

— И что он в ней, в немке, лестного для себя нашел? Никакой барственной деликатности! Рыжая, толстая — одно слово: слон персидский!

Алексея Леонидовича словно ударили:

— Что-о-о? — протянул он, приостанавливаясь на ходу. — Ты говоришь: она рыжая, толстая?

— Так точно-с. Гнедой масти — сущая кобыла нагайская.

У Дебрянского сердце замерло, и холод по спине побежал: значит, они встретили тогда не Софью Ивановну Круг, а кого-то другого, совсем на нее не похожую, и ординатор солгал... Но зачем он солгал? Что за смысл был ему лгать?

Страшно смущенный и растерянный, он собрался с духом и спросил у солдата:

— Скажи, брат, пожалуйста, как у вас в лечебнице думают о болезни моего приятеля Петрова?

Солдат сконфузился:

— Что же нам думать? Мы не доктора.

— Да что доктора-то говорят, я знаю. А вот вы, служители, не приметили ли чего-нибудь особенного?

Солдат помолчал немного и потом залпом решительно выпалил:

— Я, ваше высокоблагородие, так полагаю, что им бы не доктора надо, а старца хорошего, чтобы по требнику отчитал.

И, почтительно приклоня рот свой к уху Дебрянского, зашептал:

— Доктора им, по учености своей, не верят, говорят «вображение», а только они, при всей болезни своей, правы: ходит-с она к ним.

— Кто ходит? — болезненно спросил Дебрянский, чувствуя, как сердце его теснее и теснее жмут чьи-то ледяные пальцы.

— Анна эта... ихняя, застреленная-с...

— Бог знает что!

Дебрянский зашагал быстрее.

— Ты видел? — отрывисто спросил он на ходу после короткого молчания.

— Никак нет-с. Так — чтобы фигурою, не случалось, а только имеем замечание, что ходит.

— Какое же замечание?

— Да вот хоть бы намедни, Карпов, товарищ мой, был дежурный по коридору. Дело к вечеру. Видит: лампы тускло горят. Стал заправлять — одну, другую... только вот откуда-то его так и пробирает холодом, сыростью так и обдает — ровно из погреба.

— Ну-ну... — лихорадочно торопил его Дебрянский.

— Пошел Карпов по коридору смотреть, где форточка открыта. Нет, все заперты. Только обернулся он — и видит: у Петрова-господина дверь в номер приотворилась и затворилась... и опять мимо Карпова холодом понесло... Карпову и взбрело на мысль: а ведь не иначе это, что больной стекло высадил и бежать хочет... Пошел к господину Петрову, а тот — без чувств, еле жив лежит... Окно и все прочее цело... Ну, тут Карпов догадался, что это у них Анна ихняя в гостях была, и обуял его такой страх, такой страх... От службы пошел было отказываться, да господин главный врач на него как крикнет! «Что, — говорит, — ты, мерзавец, бредни врешь? Вот я самого тебя упрячу, чтобы тебе в глазах не мерещилось...»

— Ему не мерещилось, — с внезапным убеждением сказал Дебрянский.

— Так точно, ваше высокоблагородие, человек трезвый, своими глазами видел. Да разве с господином главным врачом станешь спорить?

Петрова Алексей Леонидович застал крайне слабым, но вполне разумным. Камера Петрова, высокая, узкая и длинная, со стенами, крашенными в голубой цвет над коричневою панелью, была как рама к огромному, почти во всю вышину комнаты от пола до потолка, окну; на подоконник были вдвинуты старинные кресла-розвальни, а в креслах лежал неподвижный узел коричневого тряпья. Этот узел был Петров. Дебрянский приблизился к нему, превозмогая робкое замирание сердца. Петров медленно повернул желтое лицо — точно слепленное из целой системы отечных мешков: под глазами, на скулах, на висках и выпуклостях лба — всюду об-

рюзглости, тем более неприятные на вид, что там, где мешков не было, лицо казалось очень худым, кожа липла к костям. Говорил Петров тихим, упавшим голосом.

— Вот что, брат Алексей Леонидович, — шептал он, — чувствую, что капут, разделка... ну и того... хотел проститься, сказать нечто...

— Э! Поживем еще! — бодро стал было утешать его Дебрянский, но больной покачал головою.

— Нет, кончено, умираю. Съела она меня, съела. Вы не гримасничайте, Степан Кузьмич, — улыбнулся он в сторону ординатора, — это я про болезнь говорю: съела, а не про другое что...

Тот замахал руками.

— Да Бог с вами! Я и не думал!

— Так вот, любезный друг, Алексей Леонидович, — продолжал Петров, — во-первых, позволь тебя поблагодарить за участие, которое ты мне оказал в недуге моем... Один ведь не бросил меня околевать, как собаку.

— Ну что там... стоит ли? — пробормотал Дебрянский.

— Затем — уж будь благодетелем до конца. Болезнь эта так внезапно нахлынула, дела остались неразобранными, в хаосе... Ну клиентурою-то совет распорядится, а вот по части личного моего благосостояния просто уж и ума не приложу, что делать. Прямых наследников у меня, как ты знаешь, нету. Завещания не могу уже сделать: родственники оспаривать будут правоспособность и, конечно, выиграют... Между тем хотелось бы, чтобы деньги пошли на что-нибудь путное... Да... о чем бишь я?

Глаза его помутились было и утратили разумное выражение, но он справился с собою и продолжал:

— Так вот, завещания-то я не могу сделать, а между тем мне хотелось бы и тебе что-нибудь оставить на память... на память, чтобы не забыл... Дрянь у меня родня, ничего не дадут... на память, чтобы не забыл... Анне, бедняжке, па-

мятник следовало бы... Мертвенькая она у меня... памятник, чтобы не забыл...

Он страшно слабел и путал слова. Ординатор заглянул ему в лицо и махнул рукою.

— Защелкнуло! — сказал он с досадою. — Теперь вы больше толку от него не добьетесь! Он уже опять бредит.

Больной тупо посмотрел на него.

— Ан не брежу! — хитро и глупо сказал он. — Завещание! Вот что!.. Дебрянскому — чтобы не забыл! Что? Брежу? Только завещать — тю-тю. Нечего! Вот тебе и — чтобы не забыл. А вы — брежу! Как можно? Завещание Анна съела… хе-хе! глупа — ну и съела! Ну и шиш тебе, Алексей Леонидович! Шиш с маслом!

И он стал смеяться тихим, бессмысленным смехом. Потом, как бы пораженный внезапною мыслью, уставился на Дебрянского и долго рассматривал его пристально и серьезно. Потом сказал медленно и важно:

— А знаешь что, Алексей Леонидович? Завещаю-ка я тебе свою Анну?

— Угостил! — улыбнулся ординатор, а Дебрянский так и встрепенулся, как подстреленная птица.

— Господи! Василий Яковлевич! Что ты только говоришь?

Больной снисходительно замахал руками:

— Не благодари, не благодари... не стоит! Анну — тебе, твоя Анна... ни-ни! Кончено! Бери, не отнекивайся!.. Твоя! Уступаю!.. Только ты с нею строго-строго, а то она — у-у-у какая! Меня съела и тебя съест. Злая, что жила мало, голодная! Бедовая! Чувства гасит, сердце высушивает, мозги помрачает, вытягивает кровь из жил. Когда я умру, вели меня анатомировать. Увидишь, что у меня вместо крови — одна вода и белые шарики... как бишь их там?.. Хоть под микроскоп! Ха-ха-ха! И с тобою то же будет, друг Алексей Леонидович, и с тобой! Она, брат, молода! голодна! жить хочет, любить. Ей нужна жизнь многих, многих...

И расхохотался так, что запрыгали все комки и шишки его обезображенного лица.

Ординатор подмигнул Дебрянскому: теперь-то, мол, будет потеха.

— Вот этого пунктика, Василий Яковлевич, — сказал он с серьезным видом, — мы у вас не понимаем. Как: «Хочет жить и любить?» Она мертвая...

— Мертвая, а ходит. Что она разбила себе пулей висок, да закопали ее в яму, да в яме сгнила она — так и нет ее? Ан вот и врешь: есть! На миллиарды частиц распалась и, как распалась, тут-то и ожила. Они, брат, все живут, мертвые-то. Мы с тобой говорим, а между нами вон в этом луче колеблется, быть может, целый вымерший народ. Из каждой горсточки воздуха можно вылепить сотню таких, как Анна.

Он сжал кулак и, медленно разжав его, тряхнул пальцы. Дебрянский с содроганием проследил его жест. Сумасшедшая болтовня Петрова начала его подавлять.

— Ты думаешь, воздух пустой? — бормотал он, — нет брат, он лепкий, он живой; в нем материя блуждает... понимаешь? Послушная материя, которую великая творческая сила облекает в формы, какие захочет... Дифтерит, холеры, тифы... Это ведь они, мертвые, входят в живых и уводят их за собою. Им нужны жизни чужие в отплату за свою жизнь. Ха-ха-ха! в бациллу, чай, веришь, — а что мертвые живут и мстят, не веришь. Вот я бросил карандаш. Он упал на пол. Почему?

— Силою земного тяготения.

— А видишь ты эту силу?

— Разумеется, не вижу.

— Вот и знай, что самое сильное на свете — это невидимое. И если оно вооружилось против тебя, ты его не своротишь! Не борись, а покорно погибай. Ты, Дебрянский, Анны испугался. Анна — что? Анна — вздор: форма, слепок, пузырь земли! Анна — сама раба. Но власть, но сила, которая

оживляет материю этими формами и посылает уничтожать нас — that is the question! * Ужасно и непостижимо! И они — пузыри-то земли — не отвечают о ней. Узнаем, лишь когда сами помрем. Я, брат, скоро, скоро, скоро... И из меня тоже слепится пузырь земли, и из меня!

Он таращил глаза, хватал руками воздух, мял его между ладоней, как глину. Людей он перестал замечать, весь поглощенный созерцанием незримого мира, который копошился вокруг него...

Дебрянский слушал этот хаос слов с каким-то глухим отчаянием.

— Да что вы! — шептал ему ординатор. — На вас лица нету... Опомнитесь! Ведь это же бред сумасшедшего...

А Петров лепетал:

— Я давно ее умоляю, чтобы она перестала меня истязать. «Что, мол, тебе во мне? Ты меня всего иссушила. Я — выеденное яйцо, скорлупа без ореха. Дай мне хоть умереть спокойно, уйди». Она говорит: «Уйду, но дай мне взамен себя другого». Сказываю тебе: молода, не дожила свое, не долюбила. Ну что ж? Ты приятель мой, друг, я тебе благодарен... вот ты ее и возьми, приюти, пусть тебя любит... ты стоишь... возьми, возьми!

— Уйдем! Это слишком тяжело! — пробормотал Дебрянский, потянув ординатора за рукав.

— Да, не весело! — согласился тот.

Они вышли.

И покончив с ним,
Я пойду к другим,
Я должна, должна идти за жизнью вновь...—

летела им вслед безумная декламация и хохот Петрова.

Очутясь в коридоре, Дебрянский огляделся, как после тяжелого сна, и, вспомнив нечто, взял ординатора за руку.

---

* Вот в чем вопрос! *(англ.)*

— Степан Кузьмич! — сказал он дружеским и печальным голосом, — зачем вы мне тогда солгали?

Прядильников вытаращил глаза:

— Когда?!

— А помните, вот на этом самом месте мы встретили...

— Софью Ивановну Круг. Помню, потому что вам тогда что-то почудилось и вы чуть не упали в обморок.

— Это не Софья Ивановна была, Степан Кузьмич.

Ординатор пристально взглянул ему в лицо.

— Извините меня, голубчик, но вам нервочки подтянуть надобно! — мягко сказал он. — Как не Софья Ивановна? Да хотите, мы позовем ее сейчас, самое спросим?

И он толкнул Дебрянского в боковую дверь, за которою помещалась амбулаторная приемная.

— Софья Ивановна! — крикнул он, отворяя еще какую-то дверь. — Благоволите пожаловать сюда.

— Gleich*.

Выплыла огромная, казенного образца немка aus Riga **, с молочно-голубыми глазами и двойным подбородком.

— Вот-с... — показал в ее сторону всей рукою ординатор. — Софья Ивановна! Голубушка! Вы помните, как с неделю тому назад встретили меня вот с этим господином возле номера господина Петрова?

— Oh, ja! — протянула немка голосом сырым и сдобным. — Я ошень помнил. Потому что каспадин был ошень bleich ***, и я ошень себе много удивлений давал, зашем такой braver Herr **** есть так много ошень bleich.

— Ну-с? Вы слышали? — засмеялся ординатор.

Дебрянский был поражен до исступления. Свидетельство

* Одну минуту *(нем.)*.
** Из Риги *(нем.)*.
*** О, да!... испуганный *(нем.)*.
**** Бравый мужчина *(нем.)*.

немки непременно доказывало, что Степан Кузьмич его не морочил, а между тем он присягнуть был готов, что у встреченной тогда дамы был другой овал лица, другие стан, рост...

«Да не столковались же они, наконец, нарочно мистифицировать меня! — подумал он с тоскою, — когда им было и зачем?»

И, вежливо улыбнувшись, он обратился к Софье Ивановне:

— Извините, пожалуйста. Я вот спорил со Степаном Кузьмичом... Мне тогда вы показались совсем не такою...

— О! Я из бань шел, — получил он прозаический и добродушный ответ. — Из бань человек hat immer * разный лизо, и я имел лизо весьма ошень разный...

Глупая немка «с весьма очень разным лицом» своим комическим вмешательством в фантастическую трагедию жизни Петрова так ошеломила и успокоила Дебрянского, что он вышел из лечебницы с легким сердцем, хохоча над своим суеверием, как ребенок. По пути из лечебницы он, пересекая Пречистенский бульвар, встретил сановника-оккультиста. Старичок совершал предобеденную прогулку и заглядывал под шляпки гувернанток и платочки молоденьких нянь, вечно гуляющих с детьми по этому бульвару, решительно без всякого опасения нарваться на какую-нибудь эмпузу или ламию. Дебрянский прошел вместе с ним всю бульварную линию.

— О! — сказал старый чудак, когда Дебрянский, смеясь рассказал, какую шутку сыграли с ним расстроенные нервы. — О! Вы совершенно напрасно так легко разуверились. Меня эта история только убеждает в моем первом предположении — что вы имеете дело с ламией. Они ужасные бестии, эти ламии, — могут принимать какой угодно вид и форму, когда на них смотрят живые люди... Да! Так что вы, молодой друг мой, несомненно, видели не эту толсто-

* Всегда имеет *(нем.)*.

мясую немку, которая, впрочем, столь аппетитна, что, я надеюсь, вы не откажете сообщить мне ее адрес! — но ламию, самую настоящую ламию, в настоящем ее виде. А господину ординатору она представилась немкою... еще раз очень прошу вас: дайте мне ее адрес.

На мгновение Дебрянского как бы ожгло.

«Лепкий воздух, живой», — с отвращением вспомнил он и задрожал, поймав себя на том, что, повторяя жест Петрова, сам мнет воображаемую глину...

— Глупости, — с досадою сказал он про себя, — довольно дурить! Пора взять себя в руки! Что я — семидесятилетний рамолик *, что ли, выживший из ума? А к Петрову ходить — баста. Это в самом деле заражает...

И овладев собою, он завел с генералом фривольный разговор о ламиях, немках и встречаемых гуляющих дамах.

В контору свою Дебрянский уже не пошел. Он очень весело провел день, был в театре, потом поужинал со знакомым в «Эрмитаже» и вернулся домой часу в третьем утра. Уютная холостая квартира встретила его теплом и комфортом. В спальне, ласково грея, тлел камин. У Дебрянского была привычка: перед сном выкуривать папиросу около огонька. Он разделся и в одном белье сел в кресло у камина, подбросив в него еще два полена дров. Огонь вспыхнул, ярко озарив всю комнату красным шатающимся светом. Алексей Леонидович сидел, курил и чувствовал себя очень в духе... Он вспоминал только что виденную веселую оперетку, с примадонною, такою же толстою, как утром немка в лечебнице, с ее очень разным лицом, вспомнил, как глупо мешала она немецкие слова с русскими...

«Уж не умеешь говорить по-русски, — качаясь в кресле, рассуждал он незаметно засыпающим умом, — так говори по-иностранному... иностранные слова... Тьфу! Что это я?!» —

* От фр. ramolli — старчески расслабленный, слабоумный от старости.

опамятовался он и, встрепенувшись от дремы, подобрал выпавшую было изо рта на колени папиросу, но сейчас же уронил ее снова и заклевал носом.

«А многие есть и образованные, — продолжало качать его, — не знают, <как> говорить иностранные слова, да... цивилизация, Стэнли, апельсин... иностранные... А поэзия — это особо... Вавилов, музыкант, «дуэт» не может выговорить, все на первый слог ударяет... Образованный, иностранный, а не может... дует Глинки, дует Стэнли, апельсинизация... Дует, дует, откуда, зачем дует?.. В коридоре дует... ужасно скверно, когда дует...»

Дебрянский недовольно повернулся в кресле, потому что на него в самом деле потянуло холодком, и слева, откуда дуло, он услыхал над самым своим ухом, будто кто-то греет руки: ладонь зашуршала о ладонь... Он лениво взглянул в ту сторону. На ручке ближайшего кресла — чуть видная в багряном отблеске затухающего камина — сидела маленькая, худенькая женщина в черном и, покачиваясь, терла, будто с холоду, рука об руку.

«Это... та! Немка из лечебницы! — спокойно подумал Дебрянский. — Ишь, как иззябла... да, дует, дует... иностранная немка, с весьма очень разным лицом...»

Черненькая женщина все грелась и мыла руки, не обращая на Алексея Леонидовича никакого внимания... Наконец, она повернула к нему лицо — бледное лицо с огромными глазами, бездонными, как омут, темными, как ночь... И бледные губки ее дрогнули, и странно сверкнули в полумраке ровные, белые, как кипень, зубы... и раздался голос, тихий ровный и низкий, точно из-за глухой стены:

— Анною звать-то меня... Аннушка я... мы перемышльские...

Поутру слуга Сергей, войдя в кабинет со щеткою, попятился в страхе: барин, которого он вчера вечером оставил живым, бодрым и веселым, лежал на ковре навзничь, бес-

чувственный, в глубоком обмороке... Слуга бросился за врачом... Долго приводили в чувство Алексея Леонидовича, и когда он открыл глаза, стоял в них невыразимый, недоверчивый ужас... Первым его вопросом было:

— Она ушла?

— Кто-с? — удивился Сергей.

Дебрянский не отвечал. Врач напоил его бромом, предписал спокойствие и удалился. Но Алексей Леонидович чувствовал себя уже совершенно здоровым и даже поехал в контору.

— Барин, — доложил Сергей, одевая его, — я не смел вам сказать, потому что доктор запретил вас беспокоить, но, как скоро вы выезжаете... Сейчас из лечебницы солдат приходил. Господин Петров в ночь скончался...

Дебрянский страшно побледнел.

— Я знаю, — глухо сказал он и очень удивил тем Сергея: откуда мог узнать барин, со вчерашнего вечера из кабинета не выходивший и ночь без чувств пролежавший, новость, которую он-то — первый узнавший — так тщательно берег?

Днем Алексей Леонидович возвратился домой только на несколько минут, чтобы взять деньги из несгораемого шкапа, и затем пропал до следующего утра... Сергей услышал его звонок уже в девятом часу утра, когда ноябрьский день стал светел и солнечен, и отворил ему, красному, опухшему, видимо, не спавшему всю ночь, но мирному и спокойному. Он лег спать и спал до сумерек. Проснулся, увидал, что темнеет, пришел в великий испуг, почти в отчаяние и так торопился вон из дома, что Сергей невольно подумал: «Надо быть, на свидание поспешает... Мамзельку завел!»

Так прошло с неделю. Петрова давно похоронили. Дебрянского не видать было ни на отпевании, ни на кладбище. Дома жить он почти совершенно перестал. Изумленный Сергей ума не мог приложить, что сталось с его приличнейшим и аккуратнейшим барином-домоседом. Побежали о Дебрянском по Москве странные и нехорошие слухи, что он кутит и ведет

самую рассеянную жизнь. Прямо из должности теперь он ехал в какой-нибудь самый людный и светлый ресторан, оттуда перекочевывал в театр, по окончании спектакля спешил в клуб или кафешантан, стал завсегдатаем «Яра» и «Стрельны» и наконец, если всюду огни потушены и зевающие люди расходились по домам, а ночи оставался еще кусок длинный, то Алексей Леонидович, сгорая от стыда, что — не ровен час — какой-нибудь юноша его заметит и узнает, стучался в публичные дома. Здесь он удивлял тем, что нанимал трех, четырех и больше женщин, никогда не пользуясь ни одной: они должны были только сидеть с ним и говорить, по возможности, без умолку, а он поил их вином, портером, шампанским и ни одну не отпускал от себя, покуда день не белил занавесей на окнах и не становилось совершенно светло. Тогда вставал, приводил себя в порядок для города, расплачивался и уезжал. Это был как раз тот образ жизни, который в предсмертные годы свои вел покойный Петров, и Алексей Леонидович с холодным ужасом сознавал, что встал на ту же дорогу: превращался в «человека толпы», как угадал его когда-то Эдгар Поэ, — в существо, обреченное на людность, потому что одиночество для него — пытка безумия или даже смертный приговор.

Единственный раз, что Дебрянский остался переночевать дома, обморок повторился. К счастью, Сергей был недалеко и при помощи нашатырного спирта и коньяку оживил больного довольно быстро. И опять первым вопросом Дебрянского было:

— Она ушла?

— Кто, барин?

Алексей Леонидович покачал головою.

— Я знаю, кто она была, а кто она теперь, это, брат, мудрее нас с тобою.

— Вы, барин, должно быть, дурной сон видели?

— Нет, братец, какой там сон!

Но потом подумал и головою затряс.

— А, впрочем, кто ее знает: может быть, и сон...

Назавтра он сидел на приеме у знаменитого психиатра: старого седобородого профессора, с голым черепом, крутою шишкою выдвинутым вперед, с целым кустарником седых бровей над голубыми глазами.

— Поймите, профессор, — шептал он, — я потерял себя, я потерял жизнь. Из нее удалились факты, а вместо них воцарились призраки. Если я не вижу их, то все равно предчувствую. Между моим глазом и светом как будто легла тюлевая сетка, самый ясный из московских дней кажется мне серым. В самом прозрачном воздухе мерещится мне, качается мутная мгла, тонкая, как эфир, и такая же зыбкая... влажная и осклизлая. Я ощущаю ее ползучее прикосновение на своем лице. И я чувствую всем существом своим, чувствую, профессор, всем инстинктивным испугом живого перед мертвым, что эта серая муть и есть именно та таинственная материя, сложенная из отжитых жизней, о которой говорил мне в своей безумной мудрости несчастный Петров. И он был прав. Она, эта лепкая, зыбкая материя, течет в непрерывном движении и готова рождать «пузыри земли» в любой форме, в каждом образе, покорная повелительной силе, чтобы понять которую — говорил Петров — надо сперва умереть...

Выслушав Дебрянского, психиатр долго думал.

— Туман, — сказал он наконец.

И в ответ на вопросительный взгляд клиента прибавил:

— Это все — вот это.

Он указал на окно, седое от разлитой за ним молочно-белой мглы холодных паров: уличные фонари мигали сквозь нее красноватыми тусклыми огоньками, будто из-под матовых колпаков.

— Англичане в такие туманы стреляются, а русские сходят с ума. Вы русский, следовательно... Лечиться надо,

сударь мой! Звуковые галлюцинации — еще половина горя, а уж если пошли зрительные... Что? Вам не понравилось слово «галлюцинации»? То-то вот и есть. Оккультизмом баловаться безнаказанно нельзя-с. Огонь жжется. Привидений вы боитесь, а за галлюцинации уже обижаетесь. Ну-с, я не буду диспутировать, насколько реальны ваши представления. Как вы ни страдаете от них, но вам — не правда ли? — в то же время хочется, чтобы они были настоящие, а не воображаемые. Бывает-с, бывает-с. Не думайте, что вы одиноки. Ко мне и сейчас является дважды в неделю один кандидат на судебные должности, которого покойная супруга навещать изволит и чай с ним пьет. Хлеб мне показывать приносил, ею будто бы не доеденный, со следами зубов-с. Тоже на оккультизме свихнулся, после Гюисмансова «Là-Bas» *. Много эта книга мозгов испортила. Так вот и давайте не диспутировать, но лечиться. И я вас вылечу. Бегите отсюда. Бегите туда, где нет этого... — он снова указал на окно, — и, если можно, навсегда. Бегите под яркое небо, под палящее солнце, к ласковым морям, к пальмам и газелям. Там вы забудете своих призраков. А север — родина душевных болезней — для вас более не годится. Ваш Петров сказал правду. Воздух у нас живой и лепкий: он населен сплином, неврастенией, удрученными и раздражительными настроениями. Мы ведь киммеряне. Вы читали Гомера?

— Давно.

Доктор закрыл глаза и прочитал наизусть:

— «Бледная страна мертвых, без солнца, одетая мрачными туманами, где, подобно летучим мышам, рыщут с пронзительными криками стаи жалких привидений, наполняющих и согревающих свои жилы алой кровью, которую высасывают они на могилах своих жертв».

* «Там, внизу» *(фр.)*.

И когда эта цитата заставила Алексея Леонидовича вздрогнуть, профессор засмеялся и ударил его по плечу.

— У вас киммерийская болезнь... Бегите на юг! Недуг, порожденный туманом и мраком, излечивается только солнцем...

И вот он здесь...

III

Вечером Алексей Леонидович Дебрянский и граф Валерий Гичовский снова свиделись в оперном театре в антракте спектакля. Ставили «Лоэнгрина». Опера в Корфу не первоклассная, но и не слабая: труппы обыкновенно набираются молодые, однако не из совсем новичков, а таких, которые уже выдержали где-нибудь в Италии сезон-другой на второстепенных сценах и прошли с успехом, метят в многообещающие.

Дебрянский был изумлен обилием знакомых у Гичовского. Ему приходилось кланяться на каждом шагу. Почти все дамы в ложах кивали ему.

— Когда это вы успели приобрести такую популярность? — спросил Алексей Леонидович.

— О, Боже мой... Да ведь я же здесь, по крайней мере, в пятнадцатый раз... Иногда живал по месяцу, по два... Вот поедемте когда-нибудь в глубь острова, на гору Пакратора... Я вас познакомлю с пастухами коз. Горы здешние я излазил. Видите ли, один старожил уверял меня, будто на Панкраторе есть пещера или, вернее сказать, расщелина — это ведь погасший вулкан, — в которой люди пьянеют от особых, наполняющих ее, газов и приходят в восторженное состояние. Знаете — вроде того, как в Дельфах, с пифией... Я стал искать эту расщелину. Однако либо не нашел ее, либо она выветрилась и потеряла свои прежние каче-

ства... Весьма возможно. Ведь вот и знаменитая Собачья пещера близ Неаполя в последние годы уже перестала привлекать иностранцев, потому что в нее ворвался поток кислорода и разредил вековые слои угольной кислоты. Собаки больше не дохнут в Собачьей пещере, а любоваться тем, как на полу ее, прижавшись к земле, тлеет синеньким огоньком восковой огарок, не любопытно для милосердых туристов. И действительно, такое чудо можно время от времени с удобством наблюдать в любой чадной кухне, а у нас в России — постоянно — в каждой черной избе.

— Разве вы предполагаете, что опьянение дельфийской пифии было того же происхождения — от углекислых газов?

— Нет, на этом настаивать не берусь. Известно только, что от газов, но — каких именно, это остается загадкою. Этих античных пророческих оракулов — Plutonia, Charonia * и др. — было ведь множество, и Дельфам только посчастливилось больше других во всемирной репутации. Мори прав: древнему миру, как и новому, нужен был свой повелевающий Ватикан, и центральность положения сделала им Дельфы. Во всех этих хтонических святилищах любопытны некоторые общие черты, которые я надеялся проверить по таинственной пещере корфиотов.

— Например?

— Все они — после экстатического опыта и как бы в наследство его — отравляли людей, которые им вверялись, как бы некоторою ненавистью к жизни и стремлением к самоубийству. «Печален, как будто побывал в пещере Трофония» — было пословицей в древнем эллинском мире. Дельфийский храм возник вокруг кратера, который, по легенде, открыли козы, опьяненные его испарениями. Людям газы кратера дарили экстазы пророчества, но вместе — и восторги самоубийства. До тех пор, покуда кратер оставался свободным, в бездне

* Плутония, Харония *(лат.)*.

его погибло множество из тех, кто искал в нем вдохновений и вдыхал его pneuma enthu-siasticum *. Восторженное одурение самоубийства сказывается в подобных местах даже на животных. Элиан, описывая один индийский харониум, говорит, что жертвенные животные, приведенные к его пещере, устремлялись в нее без всякого принуждения, но как бы притянутые незримою силою. В Гиерополисе в Храме Сирийской богини наблюдалось нечто в том же роде. Жертвенного быка не приходилось закалывать — он сам падал, как пораженный молнией, удушаемый отравленным воздухом святилища, который, по свидетельству Страбона и Диона Кассия, могли терпеть только жрецы храма, а они спасали себя тем, что, по возможности, задерживали дыхание. В неаполитанской Собачьей пещере множество путешественников отметили поразительное равнодушие, с каким животные, предназначенные для опыта, шли на готовую смерть. Решительно все плутонические дыры, когда-либо глядевшие изнутри на белый свет, связаны с мифами или действительными случаями экстатического самоубийства. Последний вулканический провал античного Рима сохранился в летописях благодаря чудесной истории Марка Курция, самопожертвование которого, как неоднократно выяснялось историками, мифологами и исследователями религиозных культов, представляло собою не что иное, как ритуальное самоубийство в честь хтонических божеств. Поднимались вы когда-нибудь на Этну или Везувий? Нет? Я очень жизнерадостный человек и жесточайший враг самоубийства. Но, когда я стою у кратера, хотя бы даже незначительного, вроде Стромболи или поццуоланской Зольфатары, это у меня постоянное чувство: тянет туда. Жутко и весело, энтузиастически отважно тянет. Начинаешь понимать Эмпедокла, радостно прыгнувшего в Этну, а миру назад, вверх презрительно выбросившего подметки

* Воздух вдохновения (*лат*)

своих сандалий. В Трофониев грот, говорят, было жутко вползать только до половины тела, а потом — как вихрем подхватывало и волокло вниз. Все тот же экстаз нарождался! Демонологи на этом соединении жажды смерти с пифическим экстазом построили множество суеверных теорий и нагородили всякой дьявольщины, а в диком быту кое-где до сих пор еще ходят за пророчествами и знамениями на вершины вулканов и кормят кратеры человеческими телами, обыкновенно, мертвыми, но под шумок, если европейский надзор прозевает, то и живыми. В Никарагуа есть вулкан Масайя, или Попогатепеку, что значит Дымящаяся Гора. Она искони и кормится таким образом, и прорицает. Страна обратилась в христианство, но католические миссионеры воспользовались вулканом: заставляют новообращенных восходить на гору, смотреть в кратер на раскаленную лаву — вот, мол, ад, который тебе уготован, если будешь злым... В Аляске, Камчатке, в Африке я знавал индейцев и негров, одурявшихся угарами в вулканических расщелинах и переживавших плутонические обмороки. Это были люди печальные, неразговорчивые, что-то потерявшие в жизни, подобно Данту, оставившему свою улыбку на дне девятиярусного своего ада. Те, кто погружался в пещеру Трофония, извлекались оттуда в обмороке и беспамятстве, а придя в себя, надолго теряли способность смеяться и отравлялись на всю жизнь тоскою по неведомому. «Вот ты излечился!» — поздравляли их. И слышали ответ: «Лучше бы мне век оставаться больным!..» Знаете, у кого в современности наблюдал я подобную тоску по смерти? У нескольких неудачных самоубийц в Париже, которых вовремя спасли от смертельного угара. Вы, конечно, слыхали о роковой жаровне, которою обычно кончают расчеты с жизнью разочарованные в ней обитатели мансард... Я слышал от них совершенно те же многозначительные трофониевы признания... Это сравнительно легкое и в известном периоде, несомненно, экстатическое, бредовое умира-

ние, должно быть, говорит им очень много. Жизнь после него отравлена какою-то пустотою, и я много раз сталкивался с такою же тоскою по жаровне, как тоскуют опиофаги по опиуму и гашишу.

— Однако, граф, — заметил Дебрянский, — я вижу, что вы, действительно, наполнили всю свою жизнь погонею за необыкновенным.

— Погонею за знанием, — поправил граф.

В разговоре проскользнуло имя покойной Блаватской. Зашла речь о разоблачении ее тайн Всеволодом Соловьевым. Гичовский знал Блаватскую лично.

— Она была великою фокусницею, — сказал он, — но весьма приятною женщиной.

— Но шарлатанка же?

— Ну, это — как сказать? И да, и нет... Во всяком случае не такая, как этот господин Всеволод Соловьев ее описал... Другого, гораздо более серьезного и возвышенного типа. И к тому же талант огромный, обаятельность совершенно исключительная, страшная способность влиять на людей... Для меня главный недостаток был не в том, что она людей морочила, но — зачем она шарлатанила сама с собою...

— Вы полагаете?

— Не полагаю, но уверен. Эта Елена Петровна не кого-то, а что-то обмануть желала. Вся ее деятельность — какая-то кокетливая проба, танец на канате, натянутом над пропастью. Кокетка с тайною, кокетка с знанием — со всем секретом жизни и смерти. Весь век свой женщина играла всем нутром своим роль исследовательницы и изыскательницы и людям клялась, и самое себя, заигрываясь, уверяла, будто ищет знания, естественных психологических сил, присущих человеку, чтобы осуществлять чудесное, но не изученных им до степени разумного волевого владения. А в действительности-то, втайне, про себя, ненавидела она такое естественное зна-

ние всею душою, жаждала только веры и только чуда — откровений сверхъестества, феноменов мистической силы. Когда обнаруживались пред нею пути естественных объяснений сверхъестественным феноменам, она брезгливо жмурила глаза и отмахивалась от подобных возможностей обеими руками. Если вы настаивали, то раздражалась, сердилась и прямо-таки по-дамски, теряя всякую логику, перебегала к рассказам и доказательствам, которые во что бы то ни стало оставляли чудо чудесным — значит, шли вразрез со всею ее собственною quasi-научною теорией. Сама того не замечая, она теряла лицо и обнаруживала свою изнанку и подкладку: оказывалась и наивною спириткою, и демономанкою, даже просто суеверною русскою бабою с напуганным, темным, деревенским умом... Между тем нельзя было уязвить ее обиднее, чем зачислив ее, теософку, по которой-нибудь из иных спиритуалистических категорий — унижением и клеветою почитала... Знаете ее знаменитое: «Ну, ты верь, а я подожду!»... Все толковала об естественных путях и силах, а в то же время в естественных науках была круглая невежда, да и вряд ли хотела их знать — некогда было, и дисциплины ума оно требует, а на этот счет Елена Петровна была страх как ленива. Барыня и старой, крепостной еще, закваски дама! Фактов она никогда не наблюдала, а брала их, как ей нравилось, и понимала, как хотела... Вообразила же она — и совершенно искренно вообразила — своим единомышленником такого заклятого врага спиритуалистов, как физиолог Карпентер. И как ни в чем не бывало, терминологией его пользовалась и ссылки на него делала — и, я уверен, вполне по доброй совести, bona fide *, нисколько не сознавая, что тем разрушает собственные доказательства и совершает, в некотором роде, самоубийство. Она сама говорила, что все неизвестное, таинственное привлекает ее, как пус-

* Вполне искренно *(лат.)*.

тое пространство, и, производя головокружение, притягивает к себе, подобно бездне. Каждой разоблаченной, упрощенной, закономерно разъясненной тайны ей жаль было, как куска, оторванного от ее сердца: quod erat demonstrandum * — для нее не существовало. Ее вера была: credo quia absurdum **. Во всяком случае, она была в десять раз умнее и симпатичнее своего обличителя и обладала тем, что ему и во сне никогда не снилось — мутным и дурно выраженным, зачаточным и хаотическим, запутанным по логическому невежеству, по произвольности опорных фактов и исходных посылок, но все-таки в корне-то не случайным, а способным и сложиться в систему, и выделить себя из системы — философским мировоззрением. А красноречива-то как была, когда в ударе!.. Я знал ее уже старою и довольно безобразною — однако в нее еще влюблялись... Если она бывала в духе, то я предпочитал ее общество всякому другому. Зная мое отвращение к игре в сверхъестественное, она — для меня — снимала свою жреческую оболочку и являлась такою, как была в действительности: живою, начитанной, много видевшей на своем веку собеседницей, с острым и весьма наблюдательным умом.

— Неужели, граф, она так-таки ни разу и не показала вам черта в баночке?

— Нет. То есть сперва-то она, конечно, пробовала морочить меня своими феноменами: ну, знаете, незримые звоны эти, таинственное перемещение вещиц из комнаты в комнату, кисейные рукава, на которых поймал ее Соловьев... Но я сам бывал в переделках у индийских факиров и хороших престидижитаторов, приятель с Казенэвом, так что, имея в распоряжении известные аппараты, берусь проделывать фокусы ничуть не хуже, а, может быть, и лучше почтенной Елены

* Что и требовалось доказать *(лат.)*.
** Верю, потому что абсурдно *(лат.)*.

Петровны. Все это я ей высказал — для большей убедительности — на мнимотаинственном условном жаргоне, которому обучили меня в Александрии цыгане, выдававшие себя за цейлонских буддистов. Блаватская рассердилась, но с тех пор между нами и помину не было о чудесах. Да... Так-то вот и всегда на этой стезе. Живешь — всю жизнь ищешь факты и всю жизнь раздеваешь факты в мираж.

— И никогда ничто не заставляло вас сомневаться в действительности, трепетать, бояться?

— Напротив, очень часто и очень многое. Вот, например, когда в верховьях Нила раненый бегемот опрокинул нашу лодку... Я нырнул и соображал под водою: вот уже у меня не хватает дыхания... пора вынырнуть... и — ну как я вынырну прямо под эту безобразную тушу?!

— Еще бы! Это страх понятный, физический... Я вас совсем о другом спрашиваю...

— Нет: я материалист. Чудес не бывает.

Граф немного задумался и потом продолжал с прежней живостью.

— Ведь все зависит от настроения. Черти, призраки, таинственные звуки — не вне нас; они сидят в самом человеке, в его гордой охоте считать себя выше природы, своей матери, как дети вообще любят воображать себя умнее родителей. Это одинаково у всех народов, во все века. Для меня невелика моральная разница между Аполлонием Тианским и Блаватскою — с одной стороны, и между ними обоими и каким-нибудь сибирским шаманом или индийским колдуном — с другой...

— Вот еще! Аполлоний Тианский верил в свое сверхъестественное могущество, а колдуны — заведомые плуты, сознательные обманщики.

— Этого я не скажу. Хороший колдун — непременно человек убеждения, самообмана, но убеждения. Это такое же правило, как и то, что бесхарактерный человек не может быть гипнотизером, зато сам легко поддается гипнозу... Я очень

плохой гипнотизер, но чужой гипноз меня не берет. Фельдман раз десять принимался за меня и отходил, посрамлен быв. Однако он несомненно обладает яркою гипнотическою силою. Я видел, как разные развинченные субъекты под его влиянием проделывали удивительнейшие штуки. Одному, например, Фельдман, внушил, что в комнате нет никого, кроме него, — один он. И загипнотизированный субъект бродил по зале, между доброй дюжиной свидетелей, не видя их, не слыша, и, когда наталкивался на которого-нибудь, становился опасен, потому что не замечал препятствия и ломил себе, шел на живое тело, как на пустое место... Гипнотизеру нужен характер, а колдуну — вера. Потому что колдовство — палка о двух концах: оно и внушение, и самовнушение. Я видел заклинателя-негра: он из черного делался пепельным перед водяными дьяволами, которых он вызывал из ниагарских пучин. Аэндорская волшебница обезумела от страха, когда на зов ее тень Самуила поднялась из земли, чтобы осудить заклинающего Саула. О! самовнушение — великое счастье и несчастье человеческого ума. В нем, собственно говоря, весь секрет поэтических сторон наших. Ну, а в ком же нет поэтических сторон? Чьей прозаической рассудочности не хочется иногда перерядиться в поэтический костюм: пережить трепеты фантазии, миражи, обманы, обольщения, любопытство и даже самый страх небывалого? И — в этом смысле — если хотите, я, конечно, тоже переживал интереснейшие иллюзии: бывал и испуган, и растроган тем, чего не было, но... хотелось, чтобы было. Один случай я, пожалуй, вам расскажу.

— Пожалуйста, граф! Жду с живейшим интересом.

— Он не без длиннот, но не лишен настроения и красоты.

* * *

— Всем городам северной Италии я предпочитаю не любимую туристами Генную, может быть, потому, что она — немножко мне родная: я имею в Генуе множество друзей и зна-

комых, кузенов и кузин. Если вы читали о Генуе, то, я полагаю, знаете и о Стальено — этом кладбище-музее, где каждые новые похороны — предлог для сооружения статуй и саркофагов, в большинстве довольно пошлых, так что мрамора жалко, но иногда замечательной красоты. Когда я бываю в Генуе, то гуляю в Стальено каждый день. Это, кстати, и для здоровья очень полезно. Ведь Стальено — земной рай. Вообразите холм, оплетенный мраморным кружевом и огороженный зелеными горами, курчавыми снизу до верха, от седой ленты шумного Бизаньо до синих, полных тихого света небес... На Стальено сложено в землю много славных итальянских костей, и я люблю иногда пофилософствовать, вроде Гамлета, над их саркофагами. Вот в один прекрасный вечер я уселся под кипарисами у египетского храма, где спит apostolo * итальянской свободы — великий Джузеппе Мадзини, да и замечтался, а замечтавшись, заснул. Просыпаюсь: темно. Где я? что я? Вижу кипарисы, вижу силуэты монументов — постичь не могу: как это случилось, что я заснул на стальенском холме?..

Стальено запирается в шесть часов вечера. Я зажег спичку, взглянул на часы: четверть девятого... Следовательно, я проспал часа три, не меньше.

Тишь была, в полном смысле слова, мертвая. Только Бизаньо издалека громыхает весенними волнами, и скрежещут увлекаемые течением камни: в то время было половодье... Внизу, как блуждающий огонек, двигалась тускло светящаяся точка: дежурный сторож обходил нижние галереи кладбища. Пока я раздумывал: позвать его к себе на помощь или нет, — тусклая точка исчезла, дозорный отбыл свой срок и пошел на покой... Я был отчасти рад этому: спуститься с вышки, когда взойдет луна — а в это время наступило уже полнолуние — я и сам сумею; а все-таки будет

* Апостол *(ит.)*.

меньше одним свидетелем, что граф Гичовский неизвестно как, зачем и почему бродит по кладбищу в неурочное время... Генуэзцы самые болтливые сплетники в Италии, и я вполне основательно полагал, что мне достаточно уже одного неизбежного разговора с главным привратником, чтобы назавтра стать сказкою всего города.

Я сидел и ждал. Край западной горы осеребрился; сумрак ночи как будто затрепетал. Все силуэты стали чернее на просветлевшем фоне; кипарисы обрисовались прямыми и резкими линиями — такие острые и стройные, что казались копьями, вонзенными землею в небо... Белая щебневая дорожка ярко определилась у моих ног; пора было идти... Я повернул налево от гробницы Мадзини, сделал несколько шагов вниз, и невольно вздрогнул, и даже попятился от неожиданности: из-за обрыва верхней террасы глядел на меня негр — черный исполин, который как бы притаился за скалой, высматривая запоздалого путника.

Что это призрак или злой дух — мне и в мысль не пришло; но я подумал о возможной встрече с каким-нибудь разбойником-матросом (африканцев в Генуе много, и по большей части они отчаянные мошенники), я схватился за револьвер... да тут же и расхохотался. Как было по первому взгляду не сообразить, что у негра голова раз в пять или шесть больше обыкновенной человеческой?! Я принял за ночного грабителя бюст аббата Пиаджио — суровую ограду грубо вылитого чугуна, эффектно брошенную без пьедестала в чаще колючих растений, на самом краю дикой природной скалы.

Этот памятник и днем производит большое впечатление; вам кажется, что аббат снова лезет на белый свет из наскучившей ему могилы, и вот-вот выпрыгнет, и станет над Стальено, огромный и страшный в своем длинном и черном одеянии. Ночью же он меня, как видите, совсем заколдовал, тем более что я совершенно позабыл о его существовании...

Я спокойно сошел в среднюю галерею усыпальницы Стальено; лунные лучи сюда еще не достигали; статуи чуть виднелись в своих нишах, полных синего сумрака. Но когда, быстро пробежав эту галерею, я остановился на широкой лестнице, чуть ли не сотнею ступеней сбегающей от порога стальенской капеллы к подошве холма, я замер от изумления и восторга. Нижний ярус был залит лунным светом — это царство мертвых мраморов ожило под лучами светила, не греющего живых... Мне вспомнилась поэтическая фраза Альфонса Карра из его «Клотильды»: «Мертвые только днем мертвы, а ночи им принадлежат, и эта луна, восходящая по небу, — их солнце».

Я стоял, смотрел, и в душу мою понемногу кралось таинственное волнение, и жуткое, и приятное. Не хотелось уйти с кладбища. Тянуло вниз — бродить под портиками дворца покойников, приглядываться к бледно-зеленым фигурам, в которых предал их памяти потомства резец художника; верить, что в этих немых каменных людях бьются слабые пульсы жизни, подобной нашей; благоговеть перед их непостижимой тайной и любопытно слушать невнятное трепетание спящей жизни спящих людей.

Я тихо спустился по лестнице, внутренно смеясь над собою и своим фантастическим настроением, а главное — над тем, что это настроение мне очень нравилось. Нижний ярус усыпальницы охватил меня холодом и сыростью: ведь Бизаньо здесь уже совсем под боком.

«Поэзия поэзией, а лихорадка — лихорадкой», — подумал я и направился к выходу, проклиная предстоявшее мне удовольствие идти пешком несколько километров, отделявших меня от моей квартиры: я жил на береговой части Генуи, совсем в другую сторону от Стальено. Я решился уйти с кладбища, но от мистического настроения мне уйти не удавалось. Когда я пробирался между монументами в неосвещенной части галереи, мне чудился шелест, точно шепот, точно шаркали по полу старческие ноги, точно шуршали полы и шлейфы

каменных одежд, приобретших в ту таинственную ночь мягкость и гибкость шелка.

Признаюсь вам откровенно: проходя мимо знаменитого белого капуцина, читающего вечную молитву над прахом маркизов Серра, я старался смотреть в другую сторону. Реалистическое жизнеподобие этой работы Рота поражает новичков до такой степени, что не один близорукий посетитель окликал старика, как живого монаха, и только подойдя ближе, убеждался в своей ошибке. Я знал, что теперь он покажется мне совсем живым. При солнце он только что не говорит, а ну как луна развязывает ему язык, и он громко повторяет в ее часы то, что читает про себя в дневной суете?!

Мне оставалось только повернуть направо — к кладбищу евреев, чтобы постучаться в контору привратников и добиться пропуска из cimitero *, как вдруг, уже на повороте из портика, я застыл на месте, потрясенный, взволнованный и, может быть, даже влюбленный... Вы не слыхали о скульпторе Саккомано? Это лев стальенского ваяния. Лучшие статуи кладбища — его работа. Теперь я стоял перед лучшею из лучших: перед спящею девою над склепом фамилии Эрба... Надо вам сказать, я не большой охотник до нежностей в искусстве. Я люблю сюжеты сильные, мужественные, с немного байронической окраской... Действие и мысль интересуют меня больше, чем настроения; драматический момент, на мой вкус, всегда выше лирического. Поэтому я всегда предпочитал девушке Саккомано его же «Время» — могучего, задумчивого старика, воплощенное «vanitas vanitatum et omnia vanitas»...** Я и сейчас его видел: он сидел невдалеке, скрестив руки на груди, и, казалось, покачивал бородатой головой в раздумье еще более тяжелом, чем всегда. Меня приковала к себе эта не любимая мною мраморная девушка,

---

* Кладбище *(ит.)*.

** Суета сует и всяческая суета *(лат.)*.

опрокинутая вечною дремотой в глубь черной ниши. Бледно-зеленые блики играли на ее снеговом лице, придавая ему болезненное изящество, хрупкую фарфоровую тонкость. Я как будто только впервые разглядел ее и признал в лицо. И мне чудилось, что я лишь позабыл, не узнавал ее прежде, а на самом деле давным-давно ее знаю; она мне своя, родная, друг, понятый мною, быть может, больше, чем я сам себя понимаю.

«Ты заснула, страдая, — думал я. — Горе томило тебя не день, не год, а всю жизнь, оно с тобою родилось; горе души, явившейся в мире чужою, неудержимым полетом стремившейся от земли к небу... А подрезанные крылья не пускали тебя в эту чистую лазурь, где так ласково мерцают твои сестры — звезды; и томилась ты, полная смутных желаний, в неясных мечтах, которые чаровали тебя, как музыка без слов: ни о чем не говорили, но обо всем заставляли догадываться... Жизнь тебе выпала на долю, как нарочно, суровая и беспощадная. Ты боролась с нуждою, судьба хлестала тебя потерями, разочарованиями, обманами. Ты задыхалась в ее когтях, как покорное дитя, без споров; но велика была твоя нравственная сила, и житейская грязь отскакивала, бессильная и презренная, от святой поэзии твоего сердца. И сны твои были прекрасными снами. Они открывали тебе твой родной мир чистых грез и надежд. И вот ты сидишь успокоенная; ты забылась, цветы твои — этот мак, эмблема забвения — рассыпались из ослабевшей руки по коленам... Ты уже вне мира... Хор планет поет тебе свои таинственные гимны. Ты хороша, как лучшая надежда человека — мечта о любящем и всепрощающем забвении и покое! Я поклоняюсь тебе, я тебя люблю».

Во «Флорентийских ночах» Гейне рассказывает, как он в своем детстве влюбился в разбитую статую и бегал по ночам в сад целовать ее холодные губы. Не знаю, с какими чувствами он это делал... Но меня, взрослого, сильного, про-

шедшего огонь и воду мужчину одолевало желание — склониться к ногам этой мраморной полубогини, припасть губами к ее прекрасной девственной руке и согреть ее ледяной холод тихими умиленными слезами.

Н-ну... это, конечно, крайне дико... только я так и сделал. Мне было очень хорошо; право, ни одно из моих — каюсь, весьма многочисленных — действительных увлечений не давало мне большего наслаждения, чем несколько часов, проведенных мною в благоговейном восторге у ног моей стыдливой, безмолвной возлюбленной. Я чувствовал себя, как, вероятно, те идеалисты-рыцари, которые весь свой век носили в голове образ дамы сердца, воображенный вразрез с грубою правдою жизни... Как Дон-Кихот, влюбленный в свой самообман, умевший создать из невежественной коровницы красавицу из красавиц, несравненную Дульцинею Тобосскую.

Мрамор холодил мне лицо, но мне чудилось, что этот холод уменьшается, что рука девушки делается мягче и нежнее, что это уже не камень, но тело, медленно наполняемое возвращающейся жизнью... Я знал, что этого быть не может, но — ах, если бы так было в эту минуту!

Я поднял взор на лицо статуи и вскочил на ноги, не веря своим глазам. Ее ресницы трепетали; губы вздрагивали в неясной улыбке, а по целомудренному лицу все гуще и гуще разливался румянец радостного смущения... Я видел, что еще мгновение — и она проснется... Я думал, что схожу с ума, и стоял перед зрелищем этого чуда, как загипнотизированный... Да, разумеется, так оно и было.

Но она не проснулась. А меня вежливо тронул за плечо неслышно подошедший кладбищенский сторож:

— Eccelenza! * Как это вы попали сюда в такую раннюю пору?

И в ответ на мой бессмысленный взгляд продолжал:

---

* Ваше сиятельство *(ит.)*.

— Я уже три раза окликал вас, да вы не слышите: очень уж засмотрелись.

Я оглянулся... на дворе был белый день. Я провел в Стальено целую ночь и в своем влюбленном забытьи не заметил рассвета... Не понял даже зари, когда она заиграла на лице мраморной красавицы... Теперь розовые краски уже сбежали с камня, и моя возлюбленная спала беспробудным сном, сияя ровными белыми тонами своих ослепительно сверкающих одежд. Всплывшее над горами солнце разрушило очарование зари...

Неделю спустя, на обеде у маркиза Серлупи, я заметил, что на меня как-то странно смотрят. Наконец, хорошенькая жена французского консула не выдержала и сконфузила меня неожиданным вопросом:

— Правда ли, граф, что вы сделались вампиром, блуждаете по ночам в Стальено и стали на «ты» со всеми призраками cimitero.

Насмешница убила меня.

Я покраснел как рак, проклял лукавую консульшу, проклял себя, Стальено, Саккомано, статую сна, свое безумие и... в тот же вечер уехал из Генуи с твердым намерением не возвращаться в нее как можно дольше.

* * *

Так разговаривая, Дебрянский и граф Валерий просидели в театральном ресторане не только антракт, но и целый акт оперы...

Граф вошел в ложу к знакомым, а Алексей Леонидович, сидя на своем узком кресле партера, не столько смотрел на сцену и слушал музыку, сколько оглядывал публику. Дебрянский был небольшой охотник до Вагнера. Туманный, мрачный, разбросанный, он пугал Алексея Леонидовича... отзывался севером, мистицизмом, фантастикой... Его хроматическая мелодия даже в любовь, даже в лучшие восторги человеческой души вносит начало болезненности и разрушения.

Пусть эта музыка божественна, но она посвящена мрачным и скорбью удрученным богам. Это — «Сумерки богов»... И как всегда при слове «сумерки», Алексей Леонидович почувствовал неприятное сжатие сердца...

Пришел Гичовский и, заметив около Дебрянского свободное место, сел рядом.

— Хотите сделать приятное знакомство? — шепнул он.

— Кто же от этого отказывается?

— В таком случае, я представлю вас Вучичам... Смотрите: первая ложа бенуара, направо...

Дебрянский взглянул — прежде всего ему бросился в глаза резкий профиль лысого старика с огромными седыми усами: настоящий славянский тип. Две дамы с незначительными лицами и очень красивая девушка сидели далее по барьеру ложи. В глубине виднелась еще какая-то женская фигура...

— Это здешние?

— Нет, далматинцы из Триеста. Но у них здесь своя вилла. Богатые люди. Предки Степана Вучича были пиратами, а сам он торгует пшеницею и оливковым маслом и покровительствует искусствам. У него прелестная галерея картин славянских художников: Чермак, Семирадский, Матейко, Хельминский, — и еще более прелестная дочь, которую, как я замечаю, вы не удостаиваете должного внимания. А напрасно: особенно, если вы холосты... ведь холосты?.. Она и не глупа, и образование имеет, и много денег. Вучич очень обрадовался случаю повидать русского. Он любит Россию, долго жил в Одессе и даже говорит по-русски... Он просит вас непременно ужинать у него после спектакля.

— Разве здесь ужинают? — удивился Дебрянский, — это что-то не по-гречески...

— Вучичи живут по-триестински... А там — только вечером и начинается жизнь в свое удовольствие. День посвящен делам.

В третьем антракте граф ввел Алексея Леонидовича в ложу Вучичей. Огромного роста, с красноватым, рябым вблизи лицом, толстоносый и черноглазый, старик Вучич напомнил Дебрянскому морского орла, который вот-вот сорвется со скалы и с клектом полетит на добычу. Он дружески приветствовал нового знакомого.

— Дочь моя, Зоица, — отрекомендовал он.

Зоица — похожая на отца чертами лица — была, тем не менее, совершенно лишена того гордого и открытого выражения, каким отличался острый, внимательный взгляд орлиных очей и повелительный склад мясистых губ старика. Наоборот, в ней было что-то робкое, подозрительное. Точно на душе у нее лежала опасная или постыдная тайна, и она постоянно испытывала окружающих взглядом исподлобья: не узнали ли, не догадываются ли? Девушка показалась Алексею Леонидовичу жалкою и — так как при всем том она действительно была очень хороша собою — симпатичною. Дебрянский ей, кажется, тоже понравился; по крайней мере, взгляд ее прояснился, стал мягче, и на губах задрожала слабая улыбка, сделавшая красивое, бледное лицо Зоицы совсем очаровательным. Гичовский с усмешкой наблюдал эти живые проявления таинственного электрического тока, который внезапно установился между Зоицею и Дебрянским — как всегда это бывает при встречах женщины и мужчины, если им суждено не пройти бесследно в жизни друг друга. Две бесцветные дамы, сидевшие вместе с Вучичами, оказались их дальними родственницами, занимавшими в доме положение не то компаньонок, не то просто приживалок. Пятой фигуры, которую Дебрянский видел в глубине ложи, сейчас в ней не было... Не зная сам почему, он очень любопытствовал знать, кто это была, — и почему-то не особенно приятным любопытством...

Спектакль шел к концу. Вучичи заторопились уезжать, прося Гичовского и Дебрянского следовать за ними на их

виллу. «Пятая фигура» появилась в ложе, чтобы подать Зоице чесучовый cache-poussiere *.

Она оказалась женщиною, на восточный взгляд, уже немолодою: лет двадцати пяти — большого роста и очень тучною. Смуглое лицо ее — еще недавно, должно быть, на редкость красивое, но теперь испорченное ожирением, которое придало коже болезненно-желтоватый оттенок, — носило отпечаток дикого величия. Она сверкнула на Дебрянского черными глазами из-под густых, почти сросшихся бровей, и взгляд ее показался Алексею Леонидовичу мрачным, почти свирепым.

«Танька Ростокинская, разбойница какая-то», — подумал русский, оглядывая странный наряд женщины: к обыкновенной европейской юбке она надела прямо на рубаху расшитую далматскую курточку, шею обвила ожерельем в виде золотой змеи с рубиновыми глазами и всю грудь завесила монистом из червонцев; такие же змеевидные красноглазые браслеты бросились в глаза Дебрянскому на обеих руках ее; талию тоже сжимал чешуйчатый пояс восточного низкопробного серебра, замкутый пряжкою двух впившихся друг в друга змеиных голов — только у этих змей глаза были у одной зеленые, изумрудные, у другой — желтый топаз; с левого плеча висела длинная, красная в клетках шаль, в которую женщина сердито закуталась, заметив пристальный взгляд Дебрянского. Она отрывисто сказала что-то Зоице по-хорватски, та зарумянилась, и глаза ее снова стали полны смущения и испуга...

— Это наша Лала, — представила она, наконец, Дебрянскому.

Он начал было уже недоумевать: за кого он должен считать красивую дикарку. По манерам и виду — это прислуга, по обращению с Вучичами — равная им.

---

* Пыльник *(фр.)*.

В ответ на вежливый поклон Дебрянского Лала быстро кивнула головой и хмуро буркнула два слова сквозь зубы... Вучич расхохотался.

— Вот вы и окрещены боевым огнем, — дружески сказал он Алексею Леонидовичу. — Не обращайте внимания на сердитые глаза Лалы. Это — в правилах дома. Лалица безумно ревнива, боится и ненавидит новых знакомых и, пока не привыкнет, всегда бывает не в духе. Не старайтесь подружиться с ней; если вы ей понравитесь, она сама сегодня же вечером подойдет к вам с протянутой рукой.

И наклонясь к уху Дебрянского, он шепнул по-русски:

— У нее мозги немножко не в порядке... что поделаешь? Она — неизбежное зло нашего дома... Правду сказать, она постоянно ставит нас в самые неловкие положения перед чужими. Но она добрая и хорошая подруга Зоицы: привязанность с детских лет! Притом, хоть и простая, едва грамотная девушка, а все-таки одной с нами крови, одного рода... Последняя в знаменитой древней ветви! Надо беречь.

* * *

Фаэтон быстро мчал Гичовского и Дебрянского по бульвару императрицы Елизаветы — по этой царице набережных: равной ей по красоте вряд ли найдется другая в Европе.

Климат и море Корфу, его ласкающее уединение излечили нервное расстройство и меланхолический психоз императрицы Елизаветы Австрийской. Здесь все дышит памятью ее пребывания, как в Сорренто и Сан-Ремо — памятью императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II. Великолепная Strada Marina * — лучшая из прогулок в городе Корфу — переименована в бульвар императрицы Елизаветы.

---

* Морская улица *(ит.)*.

Да! Эта Strada Marina, в самом деле, лекарство от психических недомоганий. Она успокаивает и возвышает душу. Придешь вечером на бесконечную щеголеватую набережную, прильнешь к перилам, да уже и отрываться не хочется. До самого горизонта — гладкое яхонтовое море; чуть морщит его, чуть всплескивает у берега. Из-за дальнего острова медленно ползет огромный красный шар луны, точно только что выкупанный в крови. И чем выше ползет он в темно-синий хрусталь неба, тем нежнее и яснее становятся и сам он, и озаренная им ночь; кровавые оттенки переходят в золотые, золото — в серебро; даль мерцает фосфорическим туманом; просветляется высь, просветляется море... Золотой столб убегает по водам в голубой простор — чем дальше, тем шире и ярче — и выцветает из пламени золота в чешуйчатую дрожь серебра, пока не исчезнет где-то на границе моря и воздуха в раздолье широкого блеска. Барки, парусные лодки застыли на блестящих волнах черными пятнами. Их даже не качает: теплое безветрие, песни с них слышатся... дрожат, трепещут в воздухе... «О, Эллада, Эллада!..»

Трещат цикады. Уныло дудит удод. Протяжно кричат какие-то особенные лягушки — странный звук, схожий с полицейским свистком, только pianissimo...* Заведет подводный городовой свою тихую минорную трель и дрожит на ней добрую четверть часа, не переставая.

Песен много — только не таких бы песен сюда надо. Греки слишком немузыкально гнусят; итальянцы здесь — все из интеллигенции, тянут, следовательно, «образованную» музыку: «Cavalleria Rusticana», «Rescatori di perle»...** Хотелось бы — как на юге в Италии: в воздухе колеблется, как стрекотанье кузнечика, тремоло мандолины, ему глухо поддаки-

* Очень тихо *(ит.)*.

** «Сельская честь», «Ловцы жемчуга» *(ит.)*. Названия опер П. Масканьи и Ж. Бизе.

вают баски гитары, льется широкая народная кантилена тенора с звучною и низкою вторую баритона...

Stanotte e bello lu mare,
Cantando e bel a vocare,
Vocando e bel a cantare. *

Застылое в безветрии, синее до черноты море перемигивается с таким же глубоким и темным небом тысячами звезд. Сверкает маяк, краснеют фонарики на барках, дрожит искра зеленого сигнала на пробегающем через залив пароходе... Теплая ночь дышала ароматом цветов, похожих на дурман, — их огромные белые чаши были так велики, что Дебрянский видел их из коляски даже сквозь синий сумрак ночи. Они плелись и вились по каменным изгородям. Даже во рту становилось сладко — столько давали они запаха, неотвязного, мучительно томящего и возбуждающего.

— Если мы еще десять минут будем ехать между этими цветами, — сказал Алексей Леонидович, — вы можете поздравить меня с головною болью... Я просто задыхаюсь... кровь приливает к вискам... сердце бьется...

— Аромат любви, — со смехом возразил Гичовский. — Хорошо еще, что эти белые отравители цветут не одновременно с акациями. Иначе — хоть сходи с ума от любовной лихорадки... И какой только Мефистофель так старается об амурном благополучии корфиотов и корфиоток?

И он замурлыкал себе в усы знаменитое заклинание цветов из «Фауста»:

Notte, stendi su lor l'ombra tua... **

---

* Ночью сегодня прекрасное море,
Красиво мелодия льется,
Отзывается песней красивой... *(ит.)*

** Ночь, пусть падет на них твоя тень... *(ит.)*

— Чудный остров! — вздохнул Алексей Леонидович.

Гичовский согласно пыхнул сигарою.

— Недаром Гомер поместил на нем блаженных феаков и — на передышку от вселенского горемыканья — загнал сюда Одиссея сидеть у очага царя Алкиноя, слушать песни вещего Демодока и целоваться по углам с прекрасною Навзикаей. Вам, конечно, уже показывали островок этот — якобы окаменелый корабль феаков? Любопытная штучка, не правда ли? Беклин из его очертаний, смешав их с рисунком Капри, вообразил свой «Остров мертвых». В старину, когда я был еще туристом, мне показывали и место, где Одиссей был выкинут волнами на берег, в речку, в которой царевна Навзикая мыла белье. Я уважаю эту гомерическую девицу. Она была прекрасная царевна и хорошая прачка — два качества, вряд ли соединимые в наш век.

Дебрянский усмехнулся:

— Преемницы Навзикаи в современном потомстве, к сожалению, сохранили больше признаков второго ее качества, чем первого. Уж куда неизящны.

— Вы находите?

— Некрасивы: короткие, как обрубки, с квадратными талиями и вульгарными лицами. Должно быть, весьма верные супруги, хорошие матери и образцовые хозяйки, но Бог с ними как любовницами! Если таковы были и древние феакийки, я Одиссею не завидую, а Гомеру удивляюсь. Видно, правда, что «и великий Гомер ошибался». Впрочем, неудивительно: он был слепой.

— Вряд ли. Есть прямое доказательство, что у старого поэта был тонко развит вкус на женскую красоту. Он провозгласил смирнянок самыми прекрасными женщинами в мире, и до сих пор, бродя по набережной Смирны, только ахаешь: такие великолепные женские лица встречаются на каждом шагу. Очевидно, Гомер и без глаз видел.

— Значит, не Гомер лжет, а корфиотки выродились.

— Это только в городе. Маленькое торговое мещанство. Надо вам сделать экскурсию внутрь острова. Я изъездил его вдоль и поперек: мужское и женское население корфиотской деревни прекрасно. То и дело попадаются божественные типы античных статуй... Впрочем, здесь ли точно жили феакийки и феаки — это еще подлежит сомнению. Риман в своих изысканиях об Ионических островах доказывает, что никаких феакийцев на Корфу не было, а были... вероятно, англичане — с лордом Алкиноем в качестве губернатора. Я нахожу против этой теории лишь одно возражение: на острове имеются какие-то воображаемые «сады Алкиноя», но нет ему памятника. Будь Алкиной англичанином, уж торчал бы в честь его какой-нибудь обелиск. Черт знает, сколько они тут глупейших монументов нагородили.

Notte, stendi su lor l'ombra tua...

— А ведь Зоица-то недурна, — перебил он вдруг свое пение и поймал на этой же мысли Алексея Леонидовича.

В голосе графа слышался смех. Алексею Леонидовичу это не понравилось.

«Что-то уж слишком много фамильярности для первого знакомства», — с неудовольствием подумал он.

— Или, быть может, вы мечтаете о свирепой, но очаровательной Лале? — так же лукаво продолжал граф.

— Ни о ком я не мечтаю, — сухо возразил Дебрянский. — Скажите, кстати: что это за Лала такая?

— Да ведь вы же видели: горничная на положении подруги или подруга на положении горничной. Дикое существо с гор, лишенное всякого образования, что не мешает ей быть очень уважаемою в доме.

— Да, старик Вучич уже успел похвалиться мне, что она из каких-то знатных...

— О да! Захудалая, но из знатных и древних, даже с мифологическим корнем — далеко и глубоко в средних веках...

— Как же это: и знатная, и древняя, а необразованная и в доме родственников, говорите вы, чуть ли не на положении горничной?

— Балканские нравы. В южном славянстве даже неграмотные мужики свою родословную лет за триста помнят. Здесь аристократии нет, а есть именно знать: роды, которые давно известны, которые искони знают. Сербы, хорваты, болгары — самые демократические народы в Европе, но культ предков у них свят. Эта Лала — нищая и едва грамотна, однако бедность и невежество не препятствуют ей быть и держать себя весьма гордою деревенскою принцессою и на того же самого, например, Вучича, который ее хлебом кормит, смотреть положительно свысока. Для меня она клад, потому что фантастка, суеверка и знает удивительнейшие сказки, которых я от других не слыхал.

— У нее дерзкий взгляд и надменные губы. Должно быть, сварливая ужасно...

— Нет, только вспыльчивая. В сущности, весьма милое кроткое создание — хотя и с огромным недостатком: ненавидит наш пол до исступления. Мы-то с нею друзья, а вот когда мой приятель Делианович, друг и кредитор Вучича, вздумал за нею ухаживать, Лала проткнула ему живот шпилькою...

— Как шпилькою?

— А видели: у нее в косе торчит золотой шар. Под этим шаром — золотая шпилька, так, дюйма четыре длиною. Это обычай: в Истрии все так. Такая штучка в умелых руках стоит доброго ножа. По крайней мере, Делианович после той шпильки болел, болел, киснул, чах и, наконец, совершив в пределе земном все земное, самым добросовестным образом умер.

— Какая дикость!

— Да... странная девка. В ней много чего-то... «Je ne sais quoi, je ne sais quoi, mais poétique» *, — запел он из «Маскотты». Впрочем, вероятно, Вучич покажет вам ее в полном блеске: она отлично поет, и мне еще больше нравится, как она декламирует.

— Декламирует? Но вы же говорите, она полуграмотная...

— Ну да, конечно. От этого-то она и оригинальна. Она все импровизирует... Начало иной раз выходит плохо — путает, сбивается, не находит размера, а потом разойдется до экстаза — и чудо что такое... Я слышал итальянских и испанских импровизаторов — куда им! Далеко! Там нет-нет, да и почувствуешь симуляцию, словоизвитие, голый поток привычного метра и подготовленных рифм, а эта — вся натура.

— Зачем же она такой дурацкий костюм носит?

— Почему же дурацкий? Ведь красиво?

— Мало ли что красиво... Цыганка не цыганка, жрица не жрица...

— Идет к ней — вот и носит... А вы заметили, сколько она на себя змей навертела? И в серебре, и в золоте...

— Да, и нахожу это довольно отвратительным. Не охотник до пресмыкающихся... особенно змей.

— Ах вы неблагодарный!

— Почему?

— Да кто же все мы были бы теперь, если бы не усердие змия райского к почтенной нашей праматери Еве? Сидели бы гориллы-гориллами и дураки-дураками под древом жизни да яблоки жевали бы...

— Зато не знали бы смерти.

— И мысли. Ну-ка на выбор: что дороже?..

— «Не дай мне Бог сойти с ума!» — невесело улыбнулся Алексей Леонидович.

* «Не знаю чего, не знаю чего, но поэтична» (*фр.)*.

— То-то вот и есть... А если вы боитесь змей, то предупреждаю вас заранее, не испугайтесь у Вучичей, буде приползет к вам некоторая гадина... Ручной уж скользит у них по всему дому. Большой любимец Зоицы и Лалы. Громаднейшая тварь, красавец в своем роде, пестрый, как мрамор, редкостный экземпляр...

— Вот гадость! Спасибо, что сказали... А то я с перепуга способен был бы треснуть его — чем ни попадя...

— Да сохранят вас от такой беды молитвы предков ваших! Сразу врагов бы нажили. Вучичи ужа своего обожают... Это, знаете, типическое, славянское. У всех южных славян считается большой честью и счастьем, если в доме заведется уж. Почитают его чем-то вроде домашнего гения-хранителя...

— Да, это я и у нас в России в хохлацких деревнях видал, как дети в хатках, на полу, хлебали молоко из одной чашки с ужом...

— Лала со своим Цмоком тоже каждым куском делится и в собственной постели спать ему позволяет. Страстно его любит. Прямо змеепоклонница какая-то. У нас с нею, кажется, и дружба-то с того началась, что я рассказал ей однажды про малайских «нага» и змеиные культы в экваториальной Африке. Слушала, как роман. С тех пор я — ее фаворит, и нас, что называется, водой не разольешь.

— С змей дружба началась, а чем упрочилась?

— Тем, что я никогда не ухаживал за ее обожаемой Зоицей... A bon entendeur salut! *

* * *

Вучич жил принцем, а скромный стакан вина, на который приглашал он гостей, оказался ужином на широкую ногу. Стол был накрыт на террасе, повисшей над морем. Луна

* Имеющий уши да услышит! *(фр.)*

висела в небе — круглая и желтая, и золотой столб дрожал по заливу...

Лала не ужинала и вышла на террасу, только когда на столе оставались вино и фрукты, а мужчины взялись за сигары.

К столу она не села, а прислонилась к мраморным перилам террасы и, сложа на груди толстые, выше локтя голые руки, глядела в морскую даль.

Общий разговор — о Корфу и корфиотах — вел старик Вучич, а поддерживали Зоица и Дебрянский. Гичовскому все, что они говорили, было известно и скучно. Он подошел к Лале.

— Куда вы загляделись, Лалица? — спросил он, любуясь на ее хмурый профиль, позолоченный отблеском от свечей на столе. Лала медленно указала пальцем на светлое пятно над горизонтом, где золотой столб лунного отражения разливался в целое серебряное море...

— Смотрите, — сказала она, — знаете, что это?

— Знаю: луна играет... и очень красиво.

Лала вздохнула.

— А вы знаете, куда ведет эта дорога?

— Очень знаю: прямехонько к албанскому берегу.

— Нет, мой друг, это — дорога к мертвым, в рай.

— Вот как? — глазом не моргнув, искусственно удивился Гичовский. — До сих пор я считал дорогою мертвых Млечный путь.

— Когда я была маленькая, — не слушая, возразила Лала, — то, бывало, стану у берега и смотрю, пока у меня все мысли не уйдут в одну цель — вот сейчас увижу отца... мать... тетку Диву... И тогда они показывались — кто-нибудь из них, по одному — вон там, где серебро, и шли ко мне по заливу... шли, шли близко... вот на столько не дойдут — растают в воздухе, исчезнут... А я потом целый час — как сумасшедшая...

— А теперь вы умеете приводить себя в такое состояние? — серьезно спросил Гичовский.

— Труднее. Реже. Прежде легче было. Стоило пожелать — и оно начинается. Только большого напряжения требует. Столько, что боюсь иногда — сердце разорвется. Страшно устаю тогда. Но с усилием — могу.

— Например — даже и сейчас бы?

Лала покачала головой.

— Нет. Сейчас я не в состоянии отвлечься, — отрывисто сказала она. — Я слишком зла. Сердитое сердце мешает мне сосредоточиться.

Лала бросила на Гичовского косой взгляд, и на низком лбу ее под крутящимися, жесткими волосами обозначилась резкая морщинка, а верхняя губа нервно задрожала под черными усиками.

— Этот тоже будет к ней свататься? — полуспросила она.

— Кто? к кому? — изумился граф.

— Не смейтесь надо мною! — гневно прикрикнула Лала. — Я говорю о вашем приятеле, русском...

— О, Лала, вы неподражаемы: да ведь он видит Зоицу в первый раз...

— Так что же? Разве надо много времени, чтобы влюбиться и влюбить в себя эту дурочку? Посмотрите, какие теплые глаза у них обоих... Зачем вы привели его?

— Потому что ваш старик заинтересовался им в театре и просил познакомить. Да вам-то что, Лала? За что вы его невзлюбили? Я, конечно, мало его знаю, но, кажется, добрый малый...

— Добрый? — презрительно отвечала Лала. — Разве это достоинство? Все добры, покуда не умеют или не имеют характера делать зло... Не симпатичен он мне. И знаете, почему? Я не успела еще вглядеться в него, почувствовать его, но — сдается мне — какой-то он не свой... чем-то чужим веет от него на меня... точно он — в оболочке какой-то... он — сам по себе, а вокруг него, как белок в яйце вок-

руг желтка, сгустилась сила некая. Люди ее не видят, и сам он ее, может быть, не чувствует, а между тем она им владеет, и движет, и управляет, и он ею дышит, мыслит, чувствует, он весь невольник ее, поглощен и уничтожается ею... Если бы я не боялась, что мои слова будут подслушаны в недобрый час злым ветром, я сказала бы вам, что я читаю в глубине его голубых глаз.

— В Шотландии, — с усмешкою возразил Гичовский, — я видал, что в таких случаях, когда боятся словами нанести вред и беду, берут в руки ключ, а в губы листок трилистника и тогда говорят смело...

— Я не знала этого, — с любопытством сказала Лала. — Когда-нибудь, при случае, попробую.

— Отчего же не сейчас?

— Оттого, что я не вижу вблизи трилистника... Как жаль, что я не умею писать!

— Разве слова на бумаге менее опасны, чем в устах человека?

— О нет, даже более, но их можно сжечь, тогда как у ветра хороший слух и вечная память: он слышит и помнит, помнит и знает... Смотрите, смотрите, пожалуйста, как пристально глядит на вашего приятеля мой Цмок. Уж — видите — тоже изумлен им... разве не удивительно это, что в такое позднее время и прохладную ночь Цмок остался у моря на террасе и не зарылся нежиться в теплые одеяла?..

Гичовский обратил глаза свои, куда показывала Лала.

Один из столбов террасы был обвит блестящим узорчатым шнуром пальца в два толщиною, резко рельефным на белом мраморе. От шнура отделялась в воздух на длинной шее золотистая змеиная голова, в искрах-глазках которой графу в самом деле почудилось какое-то необычайное выражение, почти человеческое и, бесспорно, возбужденное.

— Вот гигантом становится ваш Цмок! — заметил Гичовский. — Какой это уж!.. Скоро будет целый удав!..

— Посмотрите, как у него горло вздувается! — перебила Лала. — Он ужасно волнуется сегодня...

— Летучие мыши вьются — он слышит их и возбужден.

— Летучие мыши вьются каждый вечер, но Цмока таким я давно не видала... Знаете, когда он такой бывает?

— Скажите — буду знать.

Лала осторожно огляделась и нагнулась к уху Гичовского.

— Когда он видит мертвое... — шепнула она с значительною расстановкою.

Граф засмеялся.

— Надеюсь, что вы не предполагаете в этом милом Дебрянском выходца с того света или вампира какого-нибудь?

К его удивлению, Лала ответила не сразу.

— Нет, — сказала она наконец, после долгой и важной задумчивости, — нет, это не то... Цмок волновался бы иначе...

— А у вас были опыты? — усмехнулся граф.

Лала обвела его холодным взглядом.

— Какое вам дело? — резко спросила она.

— Как какое дело? — пробовал отшутиться граф. — Мне с этим москвичом предстоит возвращаться вместе домой, в город. Вдруг он по дороге набросится на меня и кровь мою выпьет...

Лала с укором покачала тяжелою головою своею.

— Слушайте, граф, вы хороший человек, но зачем смеяться над чужою верою? Вы образованный, знаете науки — поздравляю вас с этим и не насилую ваших взглядов и убеждений. Я дикая, глупая девушка из горной деревни. Не обижайте же и вы моей маленькой мысли. Она мне столь же дорога, как вам — ваша большая. Оставьте меня поверьям и тайнам моих родных гор. Я вас люблю и уважаю, но есть вещи, в которых нам с вами не спеться... Вы много стран объехали и чудес видели, но того, что я в горах видала, вы не видали.

— Так расскажите, поделитесь, и я буду знать...

— Нет. У вас прекрасные темные волосы. Я не хочу, чтобы они побелели.

— О? Так страшно?

— Как все — по ту сторону жизни.

— Однако ваши собственные волосы, Лала, черны как смоль.

— О! Что пугает и заставляет трепетать чужих, то своих едва волнует.

— Вы знаете, что любопытство мое — враг мой. Уж так и быть: пусть я поседею, но вы расскажите. В крайнем случае — можно выкраситься. Вымою голову перекисью водорода и стану огненный блондин.

Лала упрямо трясла головою.

— Нет, нет, мертвые не понимают шуток... Не сердите их... Они слышат больше, чем то думают живые... Они любят, чтобы их уважали и боялись... Смотрите, смотрите: Цмок пляшет на хвосте!

В самом деле уж почти отцепился от столба своего и престранно мотался пестрою гибкою палкою, ритмически подскакивая, по крайней мере, тремя четвертями длинного тела своего, будто и впрямь танцуя.

— Это его луна чарует, — сказал Гичовский. — От луны волнуется...

Лала свистнула, как собаке, — Цмок клубком перекатился через террасу, — она протянула руку, и уж обмотался частыми мраморными кольцами вверх до плеча девушки и спрятал свою золотистую голову ей под мышку.

— Фу ты! как молния! — отшатнулся не ожидавший граф. — Прелюбопытный у вас друг, Лала.

— И друг, и сторож, и предсказатель...

— Даже?

— Еще бы! Он отлично предсказывает мне хорошую и дурную погоду, друзей и врагов... Он предан и строг, ревнив и мстителен. Смотрите, как он грозно клубится по руке...

— Вы, должно быть, очень сильны физически, Лала. Я смотрю, как свободно вы держите руку. Судя по величине, тяжесть ужа не малая, да еще если принять в соображение давление его колец...

— Да! был в моей жизни случай, что я несла Зоицу на руках семь километров. Ей было тогда двенадцать, а мне двадцать лет... Меня обидеть трудно. Когда я сплю, то под подушкою держу отточенный нож, малейший укол которого смертелен, потому что в Бруссе, где выкован его клинок, его напоили ядом. А Цмок чуток, как собака. Он никому не позволяет приблизиться ко мне во сне.

— Если вы выйдете замуж, Лала, то муж ваш должен будет размозжить голову вашему Цмоку.

Лала презрительно пожала плечами.

— С какой стати выходить мне замуж? Я уже старая девка. Эти глупости остались позади меня... там... в горах. На что мне муж? Моя жизнь полна. Мне довольно моей Зоицы и Цмока...

— Да, но Зоицу могут отнять у вас. Выйдет же она когда-нибудь замуж...

— Зоица? — переспросила Лала с тревогою и сомнением. — Нет.

— А мне кажется, что очень скоро. Да и присмотритесь к ней: прелестная, спелая ягодка… пора! самое время! ей-Богу, пора!

— Зоица?

Лала вдруг захохотала громко и зло.

— О Господи! Лалица? — вздрогнув от неожиданности, откликнулся Вучич. — Можно ли так пугать людей?

— Простите, господин... граф говорит смешное... Я не смогла удержаться…

В голосе ее запела фальшивая, недобрая нотка, ноздри раздувались, глаза сверкали...

— На тебя, я вижу, опять находит, — проворчал Вучич, — чем блажить, ты лучше спела бы нам или сказала стихи...

— Не хочу, — резко оборвала Лала и вышла, тяжело ступая на всю ногу и звеня своими дукатами.

Вучич тихо смеялся ей вслед:

— Шутки! — не утерпит... сейчас запоет. Она сегодня зла — будет вымещать горе на гитаре... Что вы, поссорились, что ли, с нею? — обратился он к дочери.

Зоица, с тех пор как раздался смех Лалы, утратила все свое оживление и теперь сидела точно в воду опущенная...

— Нет, до театра она была хорошая, как всегда... — тихо отозвалась Зоица, не поднимая глаз.

— Тсс... слушайте... — шепнул граф.

В воздухе прогудел и оборвался короткий звук гитарного баска. Совсем — будто шмель прожужжал коротко и гневно. Сердитая рука продолжала щипать все ту же струну, и она звучала все жалобнее и протяжнее, плача и негодуя. Заплакал в ответ струне и голос — такой голос, что Алексей Леонидович широко открыл глаза от изумления: ничего подобного он не слыхал еще... Сперва ему почудилось было, что это запел мужчина: настолько низким звуком начала Лала свою тягучую песню. Но мелодия росла, развивалась, залетела с контральтовых глубин на предельные высоты сопрано, всюду этот бархатный голос звучал одинаково красиво и полно, с одинаковою страстною силою, с одинаковым тембром — звенящим, точно трепещущим. Лала пела по-хорватски. Алексей Леонидович не понимал ни слова из ее песни, но в глазах его стояли слезы: его захватила сама мелодия. Это было что-то тоскливо-грустное и в то же время широкое, размашистое. Клект орлицы, потерявшей птенцов, слышался в песне, все крепчавшей, все грозневшей. Дебрянский закрыл увлажненные глаза. Ему вспомнились те широкие, буйным ковылем поросшие степи, по еще бесснежному пространству которых промчал его два месяца тому назад с Руси на чужбину юго-западный поезд... каменные бабы на курганах и задумчивые аисты на головках камен-

ных баб... Ветер мчался быстрее поезда и гнул к земле ковыль... «Се ветры, Стрибожьи внуци», — вспомнилось давно забытое степное «Слово о полку Игореве», и эпическая седая старина заглянула ему в глаза своими спокойными мертвыми глазами, и мирно, и просторно стало на душе...

Песня тянулась. Алексей Леонидович освоился с первыми впечатлениями, и теперь в душе его вставало смутное воспоминание о чем-то похожем, однородном с тем, что пела Лала... Да! конечно, это было так — там, в Москве. Давали юбилейный обед знаменитому актеру. Потом — пьянство, «Яр», «Стрельна», глупые и пошлые песни современных цыган, потом — уже под утро — чаепитие в каком-то плохоньком цыганском трактирчике в Грузинах. Все злы с похмелья; раскаяние и стыд... дурно... противно... И вдруг — стон, другой... и целое море звуков, плачущих так же, как плачет теперь Лала. Все встрепенулись. Кто был пьян — вытрезвился. Кому хотелось спать — потерял сон.

— Что это?!

— Это — «Участь»-с, — с растроганной почтительной улыбкой доложил буфетчик.

— Какая «Участь»?

— Кочевая цыганская песня. Она нигде не поется, никем не записана. Только у нас и хранится ее старый вал: еще с сороковых годов. Бережем его пуще глаза, чтобы не стерся: всего раз в сутки и ставим, в семь часов утра — да и то, коли есть хорошие господа, которые в состоянии понимать...

Лишь слушая эту «Участь», Дебрянский впервые понял, что прав был Алексей Толстой, когда слышал в цыганских песнях:

Бенгальские розы.
Свет южных лучей.
Степные обозы.
Полет журавлей.

И грозный шум сечи,
И говор струи,
И тихие речи,
Маруся, твои...

И сейчас — в ответ на песню Лалы — стихи просились снова на память. Лала оборвала песню на высокой ноте, которую сперва тянула долго-долго, и вслед за нею протянуло ее эхо в прибрежных скалах. Дебрянский открыл глаза. Ему на минуту было незнакомо и странно, что вокруг море и лунное небо — и все это блестит. Все были растроганы. Зоица — сама не своя — подбежала к перилам, перегнулась за них и закричала голосом, полным счастливого волнения:

— Лалица, да иди же к нам, дорогая, радость моя! Ты уже давно не пела так хорошо!..

И когда Лала показалась в дверях, Зоица бросилась к ней и припала на грудь ее прекрасною своею головою.

— Выплакалась? — с доброю усмешкою встретил Лалу Вучич.

Лала тоже улыбнулась. Лицо ее было светло и важно, глаза полны вдохновения. Она, должно быть, уже готовилась лечь в постель, потому что сняла свои дукаты и распустила волосы, закрыв ими, как черною тальмою, всю спину. В этом наряде, с блестящими змеями вокруг горла, пояса и голых рук, она показалась Дебрянскому почти прекрасною.

— Петь вам или говорить? — мягко спросила она, торжественно поднимая гитару.

— Как хочешь, тебя неволить нельзя, — тихо отозвался Вучич.

Лала села, задумалась — напряжение мысли отразилось морщинками, побежавшими по лбу... Она тронула струны. Она заговорила тихо и таинственно, не глядя ни на кого, кроме Зоицы. Вучич шепотом переводил Алексею Леонидовичу ее слова.

* * *

«Мы были вдвоем на пустынной скале, оторванной подземным огнем от острова чудной и дикой красоты и одиноко брошенной в глубокое море.

Солнце тонуло в западных водах, а нарастающий полумесяц уже стоял в небе белым пятном, готовый загореться, едва последний красный луч сбежит с лысых вершин за приливом, едва померкнет морская даль, окрашенная золотом и кровью.

И солнце утонуло, и синяя ночь вышла на смену ему из прохладного водного царства. Мертвый месяц ожил, и длинный золотой столб закачался в спокойных водах; дрожа и сверкая, тянулся он от нашей скалы... Казалось — то был таинственный путь, по которому мертвые идут с земли в обитель блаженства. Я смотрела в далекий бледный туман и искала вереницу белых теней — как неверно ступают они, слепые, по огненной влаге, робко держась друг за друга, покорные зову путеводителя душ. И парус, застывший черным пятном на золоте моря, не служил ли ладье, где спокойно дремлет старый Харон, ожидая, пока до бортов уйдет в воду ветшающий челн под грузом незримых седоков, пока голос тени водящего Бога не прикажет ему налечь мозолистою рукою на тяжесть кормчего весла?

Мы были вдвоем: я и *Он*... Как всегда, я не видела *Его*; как всегда, *Он* только дышал прохладой над моими плечами. Но я знала, что *Он* со мною — светлый, как белое облако, прозрачный, как пламя, зыбкий, как туман. И был *Он*, как всегда, задумчив и тих, могуч и велик, и я, как всегда, не знала, кто *Он*: демон ли, раскаявшийся в своем падении? ангел ли, усомнившийся в своем совершенстве?

Его узкая рука холодным мрамором лежала на моем плече, и — пока шептало засыпавшее море — шептал над моим ухом и *Его* грустный, размеренный голос.

— Смотри в небеса — найди, где трепещет зеленою искрою меч Ориона. Там в этот час проплывала когда-то планета; она отгорела, и осколки ее, расточенные в мире, время давно уже перемололо в незримую пыль.

Как прекрасна была она! Люди были на ней — как те светлые боги, которых воплощать в белом мраморе научили вас творческие сны.

О, как мудры, как кротки были они! Там, да, там был светлый Эдем, возвещенный вам, людям, вдохновенными учителями правды.

Они были вечны. Не знали они ни смерти, ни злобы, ни горя, ни стыда. Там не было жен и мужей — были только братья и сестры.

Дух гнева и мести на черных крылах поднялся к блаженной золотой планете. Вражда и зависть к добру увлекали его. Он летел, чтобы воевать и разрушать. Но ни меча, ни копья, ни громов, ни огненной лавы не нес он с собою. Его оружие было в нем самом — в одном коротком слове, сильном, как смерть, коварном, как змей-искуситель...

Это слово было — любовь.

Он подкрался к спящему юноше, и шепнул ему на ухо роковое слово, и послал ему сны, полные сладкой отравы. Он подкрался к спящей красавице и отравил ее грезы словами и видениями любви.

Когда назавтра пробудились оба, новыми глазами взглянули они на мир и новые мысли, новые чувства охватили обоих.

Они полюбили друг друга.

С хохотом улетел черный дух с блаженной планеты, и тысячи лет кружилась она, нося в себе яд любви.

И снова посетил сатана отравленный мир. Как вор, крался он в первый раз по блаженной планете. Как царь, он вошел в нее теперь и сел на троне могил и надгробных памятников. Потому что любовь — сильная как смерть, и привела с собою смерть.

Люди планеты лишились блага вечной любви. Они стали рождать — и умирать. Срок их жизни сокращался из века в век. Они мельчали ростом и силою. Они узнали золото, роскошь, войны, хитрые измены — все зло, каким впоследствии проклял Господь и вашу землю, когда осудил Адама и Еву.

Людей стало много — так много, что природа планеты, которая была им матерью и кормилицей, уже не могла поддерживать их своими простыми средствами. Люди стали насиловать природу, придумывали способы истощать ее, сделались ее врагами, воевали с нею всю жизнь — и сами истощались в этой борьбе, жизнь их сгорала, как свеча, зажженная с двух концов. Долголетие стало чудом. Шестидесятилетний старец был предметом зависти и удивления.

Чем больше сокращались срок жизни и силы людей, тем больше одолевал их враг — природа. И она становилась все грознее и грознее, потому что планета старела, охлаждался согревший ее огонь, и путь ее отклонился от солнца.

От полюсов поползли туманы, снега и льды, они ползли неудержимо, и люди бежали от них, сталкивались, воевали за лучшие места... Лилась кровь; все было полно ненавистью, родившейся из любви.

Прошли тысячелетия. Сатана снова посетил отравленный мир. Там, где раньше росли пальмы, он увидел чахлый можжевельник.

Он искал людей — и нашел кучку большеголовых карликов, зашитых в заячьи шкуры, которые старались развести костер, чтобы согреть своих карлиц, похожих на обезьян. Но отрава любви жила и в этом жалком племени — они влюблялись, терзались, сходили с ума, ловили миг обладания, ревновали, дрались, умирали за любовь... все, все, как и в те дни, когда люди были прекрасны и сильны, а небо сине, а солнце светло и жарко!

А льды все ползли и ползли с севера и с юга по застылой планете. И вот они встретились, и на планете не стало ничего, кроме льда.

Планета умерла.

Долго, долго носилась она, как огромный алмаз, в немом пространстве, пока не тронулась на нее заблудившаяся комета и не разбила ее в бриллиантовый град... Куски ее брызнули во все концы вселенной. Нет планеты, которая бы не приняла хоть частицу погибшего мира.

Но больше всех, дитя мое, приняла их земля.

Ты слышишь ли эти песни? чувствуешь ли этот воздух, напоенный любовью? О, дитя мое! Этот остров, это море, берега, что виднеются за морем, — все это упало с неба ледяным куском в тот день, когда разрушилась отравленная любовью планета. Лед растаял — и кусок, полный яда, разлил всю отраву по земле...

Дитя мое! Мы — в родине любви... Беги же от нее! Спасайся! Потому что нет в мире зла и несчастья, большего любви!

Я спросила:

— Учитель, кто ты, знающий такие тайны?.. почему я должна верить тебе?

Он отвечал:

— Я тот, кто первый услыхал слово любви на умершей планете, я тот, кто первый на ней полюбил и стал любимым, первый, кто отравился сам любовью и отравил ею свой народ...

И он плакал, и ломал руки, и стонал: «Не люби! Не люби!»

А ночь уже белела, и розовые пятна блуждали на восточных водах...» *

---

* Обработка легенды моя, но основу ее сообщил мне один англичанин-корфиот, врач по профессии. Он лечил когда-то покойную императрицу Елизавету Австрийскую. По уверению англичанина, он слышал легенду о Золотой Планете от императрицы в виде стихотворения в прозе, а Елизавета говорила, что записала легенду со слов туземной девушки *(примеч. автора)*.

* * *

Гитара вывалилась из рук Лалицы. Сама она была в обмороке. Импровизация стоила ей страшного нервного подъема, и теперь наступила реакция. Зоица скрыла лицо на ее коленях. Гичовский наблюдал за нею с обычным ему интересом естествоиспытателя. Вучич спешно налил стакан вина, чтобы освежить им силы импровизаторши... Алексей Леонидович хмурился. Ему не нравились интонация и выражение глаз Лалы, когда она говорила: «Не люби!» — точно она предостерегала Зоицу против него. Сама Лала, такая прекрасная перед декламацией, теперь возбуждала в нем отвращение: она была — мало сказать — утомлена, — измучена, как загнанная лошадь. Желтоватое лицо ее блестело от пота, будто покрытое лаком, белая сорочка посерела, волосы смокли, развились и повисли прямыми косицами. Вдохновенная Пифия исчезла — осталась немолодая, жирная, раскисшая баба...

— Спать!.. скорей спать!.. — пробормотала Лала, стуча зубами о стекло стакана, который поднес к ее губам Вучич.

Зоица и Гичовский подхватили ее под руки и увели в комнаты.

* * *

Граф Валерий уехал со случайным пароходом на Занте к приятелю-археологу, который жил там, изучая венецианские постройки этого маленького острова-города. Дебрянский за несколько дней знакомства так свыкся с этим веселым, причудливым человеком, что теперь очень замечал его отсутствие. Граф звал его с собою, и Алексей Леонидович поехал бы, да жаль было расстаться и с Вучичами. Дебрянский бывал у них каждый день, и только слепой не заметил бы, что между ним и Зоицей растет и развивается симпатия, не далекая уже от любви. Замечал это, конечно, и старый Вучич, но молчал. Алексей Леонидович ему нра-

вился, и он не прочь был породниться с русским — тем более, что, по наведенным через одесских приятелей справкам, Дебрянский оказался человеком не бедным, не безызвестным и хорошего происхождения. Когда получились эти сведения, Вучич стал смотреть на Алексея Леонидовича еще ласковее, чем раньше, и даже несколько выжидательно: что же, мол, ты? делай предложение — примем тебя с отверстыми объятиями! Все на вилле видели в Алексее Леонидовиче жениха, и всем жених был по вкусу, кроме Лалы. Если приезжал Дебрянский, она старалась не показываться ему на глаза — запиралась в своей комнате или уходила из дома в горы... И часто Зоицу и Алексея Леонидовича среди их влюбленных разговоров внезапно смущали слабые отголоски ее мрачных песен. Антипатия была обоюдною. Враждебное чувство к Лале, зародившееся в душе Алексея Леонидовича в первый вечер знакомства, после декламации, не только не угасло, но усилилось — особенно потому, что он убедился в огромном, почти повелительном влиянии Лалы на Зоицу. Подруги девушек, которых мы любим, приятны нам, лишь пока они благоволят к нашему чувству и отдают на жертву и в помощь ему собственную свою дружбу. Но если эти подруги начинают предъявлять свои права на личность приятельницы, если они ставят обязанности дружбы не ниже обязанностей любви, в таком случае они весьма скоро превращаются в наших врагов, и ненавидящих, и ненавистных. Алексей Леонидович чувствовал к Лалице странное физическое отвращение. Он ненавидел ее грубую, уже разрушающуюся красоту, ее дикий наряд, ее Цмока, даже ее гитару и прекрасный голос. В ней чудилось ему что-то преступное и порочное. Близость Лалы к Зоице оскорбляла его. Ему казалось, что эта дружба или, вернее сказать, это подчинение пачкает его будущую невесту — такую наивную, чистую, кроткую и, как действительно убедился Дебрянский, воспитанную, с образованием, редким для югославянской девушки, как будто даже умненькую.

«Какой труп они зарыли вместе, что она боится этой гадины?» — думал он порою, чуть не кусая себе пальцы от злости.

Временами ему самому даже становилась странна тайная ненависть к женщине, которая до сих пор, собственно, не сделала ему ничего дурного, никаким поступком не обнаружила своей к нему вражды, а между тем стоило ей показаться, стоило раздаться ее голосу, чтобы в груди Дебрянского все всколыхнулось гневною судорожною дрожью и холод пробежал по спине. Он чувствовал с немалым смущением и страхом, что его ощущения при виде Лалицы очень близки к тем, которые переживал он в Москве в первые дни после видения Анны и свидания с Петровым: угнетающее впечатление чего-то непонятного, чуждого человеческой природе и в то же время сильного, властного, с чем бороться мудрено. Впечатление это усиливалось еще отчужденностью Дебрянского от Лалы по языку: Дебрянский по-хорватски и итальянски не знал вовсе, немецкий язык был ему труден, а Лала, наоборот, едва лепетала несколько французских слов. Эта немая вражда была бы смешна, если бы обе стороны не чувствовали, что им не до шуток. Обоих прямо-таки заедала безмолвная злоба — сверхъестественная или инстинктивная, как взаимная ненависть непонимающих друг друга животных... Таким образом, Дебрянский и Зоица чувствовали себя хорошо только тогда, когда — по выражению Алексея Леонидовича — «поблизости не пахло Лалою».

Старик Вучич пришел в негодование, узнав, что Дебрянский, две недели прожив на Корфу, не посетил еще ни Монрепо, ни Ахилейона, и прямо-таки приказал Зоице:

— Бери завтра экипаж, сажай в него приличия ради которую-нибудь из тетушек или, чтобы им веселее было, обеих вместе, арестуй этого молодого варвара в его сквернейшем Saint Georg'е — и марш показывать ему Ахилловы сады. Стыдно, господин: простительнее быть в Риме — и не видать папы.

Ахилейон некогда принадлежал императрице Елизавете, прекрасной безумной сестре коронованного романтика — прекрасного, безумного Людвига II Баварского.

В чудных и таинственных садах Корфу она искала излечения от наследственной меланхолии Виттельсбахов. Мрачное искание забвения, потребность воды из Леты было характерным двигателем жизни этой женщины, с сердцем чувствительным, как Эолова арфа, полным глубоко поэтических и по большей части страдательных настроений. Их подсказывали императрице и природный характер ее, и жизнь — на редкость неудачно сложившаяся жизнь, с вечными грозовыми тучами на горизонте.

Если трагическая поэзия вернется к идее рока, управлявшей вдохновениями древних драматургов, то вряд ли будущий Эсхил или Софокл найдут для такой трагедии сюжет более подходящий, героя более достойного, чем жизнь императора Франца-Иосифа и семьи его. Вот могучий и счастливый монарх — в семейном быту своем, бесспорно, несчастнейший из смертных. Меч насильственной смерти простерт над его домом — ужас за ужасом сменяется в его стенах. В истории Габсбургов было много кровавых, грозных страниц насилия над подданными и над народами, которые не хотели быть их подданными. Можно подумать, что слепая судьба, вспомнив страницы эти, стала по закону возмездия вымещать на императоре-потомке грехи императоров-предков.

Убийство, самоубийство, безумие, неврастения, физическая чахлость, все бедствия вырождения окружили императора Франца-Иосифа в частном быту его злорадною, насмешливою толпою с тех самых пор, как нога его коснулась ступеней трона. Судьба послала ему долгую жизнь и царствование — и отравила каждую минуту их! Ни одной розы без шипов, ни одного венка без колючего терна. В самую светлую минуту жизни этот нравственный мученик не мог радоваться иначе, как сквозь слезы, потому

что предшествующая минута, наверное, несла ему какое-нибудь тяжкое горе, а последующая грозила новым разочарованием. Пятьдесят лет «благополучного», как принято выражаться, царствования! Бросить взгляд в глубину этого огромного срока — что за тяжкий крестный путь представляется глазам! У католиков есть обряд особых пилигримств по «кальвариям», когда богомольцы ходят от часовни к часовне, от креста к кресту, сопровождая эти переходы воспоминаниями о страстях Христовых: вот гора моления о чаше, вот римская претория, где бичуют Христа, вот Голгофа... В прежние времена богомольцы в соответствии с указаниями евангельских событий жестоко истязали плоть свою. Такою же нравственной кальварией, переходом от горя к горю, воистину «хождением по мукам», должна быть память злополучного монарха, когда он углубляется в картины своего прошлого. Человек спокойствия и мира, он окружен потоками крови… и чьей крови! — самых близких, самых дорогих ему людей. Расстрелянный Максимилиан, без вести пропавший эрцгерцог Иоанн, самоубийца Рудольф, зарезанная анархистом Елизавета... Какие страшные житейские этапы!.. Без семьи, без прямого наследника, под градом бедствий престарелый император доживает свой век одиноким сиротою… «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно, верно, перетянуло бы песок морей!»

Бывают семьи, приближаясь к которым человек вдруг чувствует нечто вроде как бы нравственного удушья. Отчего? — необъяснимо. Люди, казалось бы, прекрасные, честные, добрые, ласковые, но — тяжело с ними. И им самим тяжело друг с другом. Чувствуется влияние чего-то зловещего, запах какого-то тления.

Оно незримо висит над семьею, будто какая-то злая, непреодолимая сила — мойра древних, и вот-вот рухнет всею тяжестью и раздавит. От таких семей часто сторонятся даже

несуеверные люди, как бы опасаясь заразиться от них несчастьем...

Бегу, беда над этим домом!
Бегу да не погибну с ним!

Подобное настроение — частое историческое повторение в доме Габсбургов, начиная еще с Карла V. Но никогда не сказывалось оно в таком ярком напряжении, с такою мучительною наглядностью, как при императоре Франце-Иосифе. Удрученность эту сознает одинаково сам он, народ его, иностранцы, под нею изнывают ближайшие члены его семьи. Все они стараются по возможности уклоняться от близости к великой власти, которой невольными участниками сделало их право рождения. Отвращение к высокому сану — характерная семейная черта дома Франца-Иосифа. Ею болел престолонаследник Рудольф, много было ее в императрице Елизавете, всего же ярче выразилась она в эрцгерцоге Иоанне, который отказался от рода и племени со всеми правами, им принадлежащими, и превратился в простого моряка Иоганна Орта. Другой брат — эрцгерцог Сальватор — живет на острове Майорке простым помещиком, ведет жизнь богатого крестьянина, обедает на кухне со своими работниками и принимает как оскорбление, если его зовут «ваше высочество» и вообще напоминают ему покинутый сан. Сам Франц-Иосиф — скорее невольник престола, чем его обладатель; в течение пятидесяти лет его царствования слухи о возможном его отречении возникали множество раз и держались всегда с упорством, ясно доказательным, что они возникали не без оснований. Император оставался у власти, очевидно, не по собственному пристрастию к ней, но по необходимости, не по воле, но против воли, по чувству долга общественного.

В бегстве от тяжелых снов венского дворца Иоганн Орт уплыл неведомо куда в далекое море, Рудольф ползал по

альпийским скалам, стреляя орлов и соколов для своей орнитологической коллекции, а Елизавета заключилась в чудеса Ахилейона. Его сады, скалы, воды и небо спасли императрицу. Она уехала отсюда здоровою, но призраки ее болезни еще блуждают по аллеям в лунные ночи, мучатся на скалах, облитых красным заревом заката, рыдают в песнях соловьев над цветниками, опьяняющими воздух благоуханием влюбленных роз.

Лишь розы отцветают,
Амврозией дыша,
В Элизий улетает
Их легкая душа.
И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут...

Эти грациозные стихи великого русского поэта сами собою зазвенели в памяти Дебрянского, когда он очутился в парке Ахилейона. Нигде никогда не слыхал он более глубокой и прекрасной, мудрой и благоуханной тишины. Поэт Щербина в чудесном стихотворении описал Элладу мертвою красавицею, вроде спящей царевны в гробу роскошной природы, под кровом вечно синего неба. Представление о чудной, могучей и красивой жизни, обмершей в ожидании, скоро ли сказочный царевич придет нарушить оковы смертного сна и воскресит красавицу на новое веселие и счастие, разлито по всей вилле. Именно — Элизий, населенный снами, грезами, тенями и сказками. Как будто царство идей, а не предметов: тени отцветших роз над сонными ручьями, несущими забвение.

Над этим миром грез господствует храм, посвященный императрицею полубогу поэзии XIX века — тому, кто всех ярче передал в своих «отравленных» песнях тайны любовного безумия — Генриху Гейне... Императрица Елизавета обожала Гейне. На Корфу, в уединении своем, она окружила память любимого поэта почти религиозным культом. «Пред

ним курились фимиамы и воздвигались алтари». Мраморный поэт спит между «кипарисами, резедою и лилиями», с «одинокою слезкою» на щеке и ждет, онемелый, но все еще любящий и грезящий, когда рука любимой женщины «постучит в крышку его гроба и возвестит ему вечный день».

Монумент купался в розовых отблесках вечерней зари, когда Дебрянский и Зоица прощались с его грустным вдохновением и больной красотою.

— Здесь хорошо, должно быть, при луне, — заметила Зоица. — На одной выставке в Вене я видела картину, где этот памятник изображен при лунном свете: очень красиво. Рядом была огромная картина: «Последняя мысль Гейне»... Он, истомленный, умирающий, вытянул вперед руки в последней агонии, а к нему со всех сторон летят женщины, которым он посвятил свою любовь и свои песни... Эту картину художник написал под впечатлением здешнего памятника и этой природы. А между тем — разве это правда? Разве последние мысли Гейне были о любви?

Алексей Леонидович невольно улыбнулся. Ему пришло на память знаменитое «Завещание немецкого поэта»:

Ну, конец существованью!
Приступаю к завещанью
И с любовию готов
Наделить моих врагов.
Этим людям, честным, твердым,
Добродетельным и гордым,
Я навеки отдаю
Немощь страшную мою,
И слюну, что давит глотку,
И в спинном мозгу сухотку,
И конвульсии, и злой
Чисто прусский геморрой!..

Но вслух он, разумеется, этих стихов не напомнил, а, напротив, рассердился на самого себя за свою совершенно

русскую способность ввести комическую нотку в самый патетический концерт. Русские как-то не умеют отдаваться красивым впечатлениям цельно. У славян — из интеллигенции — располовиненная душа. Если одна половина в восторге, другая скептически наблюдает, критикует и подтрунивает. Если одна половина души негодует, другая — уже в сомнении: а может быть, негодовать не из-за чего? и игра не стоит свеч? Вечное раздвоение, из которого, как прямой потомок, родится и славянское принципиальное к большинству «вопросов» равнодушие...

— Как вам сказать? — возразил Дебрянский. — Гейне так часто и охотно умирал в своих стихах, что догадаться, когда он в этих разнообразных смертях был правдив, довольно мудрено... Но здесь так хорошо, что хочется верить вашему художнику и вместе с ним идеализировать поэта... Здесь все дышит любовью, вся жизнь проходит в любви, и самая смерть должна поглощаться любовью... Это — как в рыцарских поэмах: человек любил до самой смерти и не замечал, когда кончалась любовь и начиналась смерть.

— Как вы сказали?

Зоица побледнела и отодвинулась от Алексея Леонидовича. Он повторил.

— Любовь… смерть... это ужасно, — пробормотала она в сторону, ежась плечами, точно от холода.

Дебрянский с недоумением смотрел на нее. Глаза Зоицы — за мгновение перед тем ясные и откровенные — опять были полны выражением того нечистого страха, желания уйти бы от людей, спрятаться бы далеко-далеко наедине со своим тайным несчастьем, — выражением, которое так не нравилось Алексею Леонидовичу.

— Здесь нельзя больше быть, — отрывисто сказала Зоица, прикладывая руки к вискам, — уйдем. Здесь воздух отравлен... цветы ядом дышат.

Дебрянский молча подал ей руку.

— И никогда — слышите ли? никогда не говорите мне больше о любви, — продолжала Зоица, когда они прошли уже несколько шагов, — и о смерти тоже... мне нельзя этого слушать... Любовь в самом деле смешана со смертью... Если я полюблю, то умру, умру... А жизнь так хороша! Цветы эти, горы, море, отец мой, хорошие люди... Я так люблю жизнь!..

— Что с вами, Зоица? — удивился Алексей Леонидович, заметив, что девушка вся дрожит и готова разрыдаться.

Но — с пылающими щеками, со слезами на глазах — она глядела в землю и упорно молчала.

— Зоица, — начал Алексей Леонидович дрожащим голосом, — хотя вы и запрещаете мне говорить о любви, а говорить я должен... Ведь мне незачем объясняться — вы сами знаете, что я люблю вас?

— Знаю, — чуть слышно сказала она.

— Так как же теперь быть, Зоица?

Она молчала.

— Да или нет?

— Ах, если бы!.. — вырвалось у нее таким мучительным звуком, что Алексею Леонидовичу незачем было больше спрашивать: его любили и боялись любить — значит, любили сильно.

— Зоица, — заговорил он серьезно, я должен вам объяснить, что я за человек — как я себя понимаю. Основная черта моего характера — спокойствие. Я люблю мир, тишину, скромные рамки, в которых бы я мог спокойно и довольно жить человеком, честным пред собою и обществом. Я не герой вообще и, в особенности, не герой романа. Страстные выходки, сильные страдания, резкие восторги — на все это я не способен. Я страдаю, когда попадаю в такую обстановку... Но душа у меня, кажется, все-таки не мелкая. Я ни разу в жизни не изменил тому, кого однажды назвал своим другом. Я привязчив. Так будет и с любовью. Мне тридцать пять лет, а я еще не любил. Теперь вот люблю. И люблю вас очень хорошо — прочно:

вас одну, на всю жизнь. Я не богат и не беден. До ваших денег мне нет никакого дела. Будете вы богаты — хорошо, не будете — пожалуй, еще лучше. Достанет прожить вдвоем, конечно, без роскоши, но в полном комфорте. Устроил бы я вас хорошо. Обстоятельства... какие — это, покуда, пусть будет вам все равно, в них нет ни политических, ни уголовных условий, — обрекают меня провести если не всю жизнь, то, во всяком случае, многие годы вдали от моей родины. Когда-нибудь я расскажу вам этот секрет мой подробно, сейчас не спрашивайте. Я слишком взволнован и слишком дорожу настоящею минутою, чтобы омрачать ее своим рассказом. А чтобы вы не предположили чего-нибудь нехорошего или ужасного, признаюсь коротко: дело идет об остром нервном расстройстве, которое я пережил в Москве и от которого я должен оправиться здесь, на Корфу. Юг мне очень помогает, и я не стремлюсь на север, хотя люблю его всем сердцем. Если он грозит мне повторением болезни, то уж лучше я останусь навсегда добровольным изгнанником. Вне России где жить — мне все равно. Значит, я не разлучу вас ни с вашими родными, ни с привычным вам бытом. В прошлом у меня нет ничего дурного, позорящего. Я прожил молодость беспечно и не монахом, но никаких нехороших фактов или компрометирующих отношений у меня не осталось. Ваш отец — человек деловой, я тоже. Мы можем быть полезными друг другу. Мы одного вероисповедания, значит, и тут нет никаких препятствий. Если вы согласны выйти за меня замуж, я буду считать, что жизнь моя полна и мне не к чему стремиться в ней к новому, а надо только сохранить свое законченное счастье. Если откажете — мне будет очень горько. Я, конечно, не застрелюсь и не утоплюсь, но... вряд ли я женюсь когда-нибудь. Потому что нравиться могут многие женщины, но жениться можно только на той, к которой чувствуешь, что я к вам чувствую: мое сердце приросло к вам, и когда вам больно, мне больно, вам радостно — и мне

радостно. Словом, Зоица, я чувствую себя вправе громко и торжественно присягнуть на обычную брачную формулу, как установили ее англичане: «С сего дня на будущее время в радости и горе, в богатстве и бедности, в болезни и здоровье обещаем неизменно любить друг друга, пока смерть не разлучит нас». И если вы позволите мне произнести такое обещание сейчас, вы сделаете меня счастливейшим человеком.

Нежно-шутливая речь Алексея Леонидовича кончилась. Он ждал. Зоица молчала, все тяжелее и тяжелее опираясь на его руку.

— Я бы рада... — шепнула она наконец.

— Тогда в чем же дело?

Он сжал ее ручки и заглянул в лицо... Оно было грустно: губы плотно сжаты, тонкие брови нахмурены.

— Мне не позволят, — сказала она, отворачиваясь, чтобы уклониться от его испытующего взгляда.

— Кто не позволит? — изумился Алексей Леонидович. — Ваш отец?

Зоица отрицательно качнула головой.

— О нет... он вас любит...

— В таком случае...

Зоица прервала его.

— Нет, дорогой мой, милый, то, что вы хотите, немыслимо, невозможно... Я не принадлежу себе. Не своя. Забудьте наш нынешний разговор, его не надо было начинать, а я не имела права вас слушать. Я не своя.

— Вы любите кого-нибудь? — растерянно спросил Алексей Леонидович.

Зоица ласково взглянула на него.

— Если бы я могла любить, то никого не любила бы, кроме вас...

— Уже обещали другому руку свою и не можете нарушить слово?

— О нет.

Они прошли несколько шагов. Дебрянский был очень огорчен и смущен.

— Я хотел бы, Зоица, все-таки знать причину вашего отказа, — сдержанно сказал он.

Она пожала плечами.

— Зачем вам. Вы не поймете.

Он вспыхнул. Глаза его засверкали.

— Тогда я сам знаю, в чем дело, чье здесь влияние. Это ваша Лала, ненавистная, грязная Лала.

— Алексей! Ради Бога! — воскликнула Зоица, делаясь белее полотна, между тем как глаза ее расширились и обессмыслились от внезапно нахлынувшего страха.

Но он не слушал.

— Да, я чувствую здесь ее вражду. За что? Что я ей сделал? Вы любите меня — я это вижу. Между тем гоните меня — в угоду этой...

Она пыталась закрыть ему рот своей маленькой ручкой, но он освободился.

— Откуда у нее такая власть над вами? Какие между вами отношения, что вы подчинились ей?.. Что ей надо жертвовать всем — даже счастьем всей жизни?

— Молчите же, молчите, безумный вы, — бормотала она, ломая руки и боязливо оглядываясь, — если она узнает...

— Пускай знает. Я буду очень рад... Но... — он опомнился и пристально взглянул на Зоицу, — откуда же она может узнать? Ее здесь нет, она осталась дома.

— Ах, почем я знаю! — отчаянно воскликнула Зоица и тотчас же спохватилась; взгляд ее — трусливый и подозрительный: дескать, не догадался ли ты, что я, врасплох, проговорилась лишним словом? — взбесил Дебрянского.

— Успокойтесь! Я решительно не понял, что вы желали сказать мне этою новою загадкою, — резко упрекнул он. — Тайны ваши остаются при вас.

Зоица ахнула от стыда и закрыла лицо руками.

— Но, — продолжал Дебрянский, — я думаю, что я вправе знать, по крайней мере, из-за чего именно вы разбиваете мое счастье? Я не желаю жертвовать собою ради прихоти какого-то неизвестного идола. Я требую — простите, даже не прошу, но требую, — чтобы вы объяснили мне наконец, кто такая она — ваша противная...

— Ради всего святого, не браните ее... — отозвалась Зоица, не отнимая рук от лица. — Она услышит вас и отомстит вам... А я вас люблю, мне вас жаль.

Дебрянский во все глаза смотрел на нее — с глубоким изумлением, как на сумасшедшую.

— Хорошо... — медленно произнес он, — если это вам так неприятно, я перестану, хотя и продолжаю недоумевать, как может слышать и разуметь мои слова особа, находящаяся за пять верст от нас и не знающая языка, на котором мы говорим? Что за телепатия такая? Но на своем праве получить от вас ответ — что связывает вас с этой удивительной особой — я настаиваю.

Зоица открыла лицо. Оно было печально, но решительно.

— Я не могу дать вам ответа, — холодно и твердо возразила она. — Думайте, что хотите. Вы вправе думать о нас обеих очень дурно. Быть может, я не так виновата и лучше, чем даю вам основание подозревать меня, но я не смею ни оправдываться, ни объясняться, ни сказать вам правду, ни бросить вам хотя бы намек. Видимость против меня. Вы никогда не узнаете нашего общего с Лалою секрета. И не советую вам искать его. Потому что, если даже какой-нибудь... сверхъестественный, разве... случай поможет вам найти разгадку, то с вами случится великое несчастье... как случилось бы и со мною, если бы я нарушила обет: пошла за вас замуж или рассказала бы вам нашу тайну. Потому что вы правы: между мною и Лалицею есть обет и есть тайна. Умоляю вас: откажитесь от меня, позабудьте предложение, которое вы мне сделали, и оставьте намере-

ние проникнуть в наши отношения... Они темны — и пусть будут темны!

— Ни за что! — резко отозвался Дебрянский.

Зоица опустила голову с видом покорного отчаяния.

— В таком случае, — коротко сказала она, — и мне и вам... обоим надо готовиться.

— К чему?

— К скорой смерти...

— Зоица?!

— Я больше не скажу вам ни слова... Не могу, не имею права сказать... И без того уже вы знаете слишком много, больше, чем кто-либо другой о нас знает и не должен — никто не должен знать!

— Зоица! Да поймите же, что этою загадкою...

— Я не хочу больше слушать!

— Вы взводите какую-то таинственную клевету на самое себя, заставляете меня Бог знает какие страсти предполагать, ужасы воображать и дикие разгадки строить...

— Тссс... тише... мы подходим к площадке, где ждут нас тетушки... Умоляю вас: молчите! ни слова!

IV

Дебрянский чувствовал себя очень нехорошо. И не только потому, что Зоица отказала ему в своей руке. Это его огорчало, но не тревожило. Во-первых, он видел, что Зоица его любит и, стало быть, отказ ее — плод какого-то недоразумения, дело условное и преходящее. Он знал, что со свадьбою как-нибудь «образуется». Во-вторых, если бы даже и впрямь между ним и Зоицею стояли какие-либо непреоборимые препятствия, то хотя девушка ему и очень нравилась, однако не настолько, чтобы он не мог отказаться от нее без трагедии. Его расстраивали, таким образом, не самые препятствия, но

их странный характер: суеверный страх Зоицы перед Лалою, которую она, видимо, считала существом почти сверхъестественным... Дебрянский негодовал:

— Какою дурочкою надо быть, чтобы так прочно отдаться в руки хитрой и грубой проходимке! Загипнотизировала ее, что ли, ведьма эта, с ее поганым ужом? Не угодно ли? Верит, что Лала может слышать ее на расстоянии и понимать по-французски, не зная французского языка.

Он вспомнил случаи завладевания чужою волею через гипноз, о которых приходилось ему читать в книгах в период своих оккультических увлечений: «Что же? — думал он. — Бродяга Кастеллан, осужденный в 1865 году, «сын Бога», о котором рассказывает Дэпин, был вряд ли высшего уровня, чем эта Лала, — извращенный двадцатилетний мальчишка, чудовище физическое и нравственное. Однако он с первого же свидания околдовал двадцатишестилетнюю девушку, усыпив ее какими-то жестами, изнасиловал, увез из родительского дома, таскал за собой, как собаку, несмотря на ее отвращение к нему, и всячески надругался, чтобы показать посторонним людям степень своей власти над нею. Михайловский — из позитивистов позитивист, однако нисколько не отрицает возможности «злого влияния», которого примеры рассказывала Блаватская в своих повестях об индийских «загадочных племенах» — о тоддах и курумбах. Свирепым чудесам последних он дает совершенно естественное логическое объяснение гипнотического фокуса — того же самого, который отдает птицу или кролика во власть смотрящей на них змеи, которым венгерец Баласса укрощал диких лошадей, которым парижский баритон Массоль создал себе репутацию «дурного глаза», убийственного для людей, имевших несчастие попасть в поле его зрения. «Моноидеизм» Брэда — не фантастика какая-нибудь, но блестящая научная теория, ему нельзя не верить. Человек легковерный, слишком богатый фантазией, замкнутый в узком кругу инте-

ресов, поддается гипнозу не только через усыпление, но очень часто и в бодрственном состоянии. Психическое наваждение до такой степени помрачает разум и волю некоторых людей, что они отдаются в безусловное управление другим человеком, действуют в его распоряжении, как марионетки, и только по его воле и под его руководством видят, слышат, ощущают, чувствуют, ходят. Брэд считал повелительное наклонение пережитком гипнотической формулы, призывающей к «моноидеизму»... Жаль, нет дома графа Гичовского — посоветоваться бы с ним, поговорить... Он, наверное, знаток по этой части и в загадках гипнотического обаяния чувствует себя, как рыба в воде. «Це дило треба розжуваты», — как говорят хохлы. Надо изучить и — где известен яд, там обыкновенно, находят и противоядие».

Но, раздумывая и рассуждая, Дебрянский время от времени чувствовал, как по телу его пробегает та самая странная мистическая дрожь, что в Москве предсказывала ему галлюцинации и обморок, выгоняла его из дома и заставляла обращать ночь в день, скитаться Бог весть где «человеком толпы», прося у столицы общества и шумов жизни как милостыни. Он невольно заражался чувствами Зоицы, переполнялся знакомою тоскою и предчувствием панического ужаса:

«Неужели я опять запутан во что-нибудь этакое? — думал он. — Значит, опять придется бежать... Да куда бежать? И так уже бросил дом, все, забрел на край света, сижу на этом проклятом острове, чтоб ему пусто было, вот уж, именно, как старик Горбунов говаривал, ни земли, ни воды, одна зыбь поднебесная... Нет же! дудки! ребячество! Будь что будет, а никуда я не поеду и от Зоицы не откажусь! Если я в самом деле склонен к сумасшествию, как намекал московский доктор, то от сумасшествия не отбегаешься, от навязчивых идей надо не убегать, а бороться с ними».

В Алексее Леонидовиче проснулось то грозное и гордое чувство самообороны, с каким прижатый в безвыходном

овраге волк внезапно оборачивается к гончим и, ляскнув зубами, садится на задние лапы. И храбрые псы, что до сих пор, не жалея ни ног, ни шкуры, налегали на бегущего зверя — только бы скорее и первому доспеть его, вдруг смущенно оседают вокруг утомленного, запыхавшегося врага, который и дышит тяжело, и язык высунул, и только стеклянный взгляд его красноречиво говорит:

«Здесь я буду околевать... Ну-ка, суньтесь! кто первый?»

К Вучичам он заходил несколько раз, но Зоицу ему удавалось видеть только при других и то мельком — очевидно, она его избегала. А вид имела тоже печальный и неспокойный. Однажды Алексей Леонидович расхрабрился.

«А что, — подумал он, сидя у Вучичей за обедом, — если я сейчас встану и торжественно попрошу у старика руку Зоицы? Он согласится, будет рад, Зоица меня любит, а тут подоспеет родительское благословение... растеряется и не посмеет покривить душой — не откажет мне: а тогда, разумеется, и этой толстой негодяйке останется только поздравить нас скрепя сердце... Махну-ка, право, махну!.. Смелым, сказывают, Бог владеет...»

Ему так хотелось это сделать, что казалось, будто в уши ему кто-то нашептывает веселый совет:

«Валяй, брат, право, валяй...»

Внятно, бойко — и голос словно бы знакомый.

В ту сторону стола, где сидела Лала, Дебрянский не решался взглянуть прямо и только косился. Он почему-то боялся, что она угадывает его намерения и вся насторожилась.

«Черт ее знает, — соображал он, — ишь как хмурится и глаза, точно у тигрицы: сейчас прыгнет. Ну как вместо того, чтобы поздравить — она выпалит в меня из револьвера или хватит меня, как Делиановича, этой шпилькой своей?»

Но голос все подталкивал и подзуживал... и... Дебрянский даже не столько в задоре страсти, сколько в задоре нео-

долимого любопытства, что из этого выйдет, сделал, как хотел.

С огромным усилием над собой он встал и произнес коротенькую речь, в которой благодарил Вучича за оказанное ему гостеприимство.

— Я человек одинокий, — говорил он, — и привык жить одиноко, по-холостому. От близости родных я отвык, обаяние семейной жизни мне совсем незнакомо. Благодаря вашей доброте, я теперь, на чужой стороне, узнал, насколько мне недоставало до сих пор света и тепла домашнего очага и как печальна жизнь без них. Я искренно привязался к вашей семье и желал бы никогда не расставаться с нею.

— Да и я, господин Дебрянский, не радостно закурю сигару в тот день, когда вы нас покинете, — отозвался старик, надвигая кустистые брови на увлажненные глаза.

— Так не лучше ли, господин Вучич, — продолжал Дебрянский, — сделать так, чтобы не расставаться нам вовсе? Я люблю вашу дочь и смею надеяться, сам ей не противен. Отдайте Зоицу за меня замуж, возьмите меня вместе с моим маленьким капиталом в компаньоны или приказчиком, по вашему делу — и я ваш до конца дней моих.

Зоица вскрикнула, закрыла лицо руками и убежала из столовой, а Вучич приподнялся и развел руками, да так и остался статуей седого изумления — очень приятного, однако, судя по улыбке, медленно разливавшейся по его широкому лицу. Дебрянский начинал речь весь похолодев, а теперь ему было жарко, точно его окунули в кипяток. В конце речи он торопился и летел вперед карьером наездника, задавшегося мыслью во что бы то ни стало перескочить барьер, и перескочил-таки и тотчас же почувствовал себя лучше, отлегло! Даже голос, который раньше советовал и подгонял: «Не робей, брат, валяй, право, валяй», — теперь твердил другое: «Ай, молодец! право, молодец, хоть куда!»

Однако голос оказался не внутри Дебрянского, как казалось ему, а живой и из внешнего мира: это просто хохотал опамятовавшийся старик Вучич и, хлопая по плечу желанного зятя, без перерыва частил:

— Молодец, настоящий юнак! Против всех правил, не по обычаю, а молодец! люблю! Так их и надо девок — врасплох, как громом, чтобы и жеманиться не успела! Обними меня, милый: я очень рад, очень! И девка рада... уж я знаю, что рада!

Огромные глаза морского орла замигали, и на усах заблестела совсем не привычная им роса.

Взор старика упал на посинелое лицо Лалы, с померкшими глазами, она машинально водила ножом по скатерти и пропорола в ней уже немалую дырку. Старик рассердился.

— Лала! что это значит? — прикрикнул он на своем родном языке. — Нельзя ли хоть сегодня обойтись без фокусов? У нас такая радость, а ты — словно тебя сейчас кладут в гроб. Поздравь жениха, и поди отыщи, и приведи к нам Зоицу. А, впрочем, нет! Я сам пойду. У тебя такие унылые глаза, что ты еще расстроишь ее своим юродством!

Вучич похлопал Дебрянского по плечу и погладил по голове, погрозил пальцем Лале и вышел. Два врага обменялись взглядами смертельной ненависти. В глазах Лалы Дебрянский прочел еще и насмешку.

— Ты думаешь, что сделал очень удачный шаг? что уже победил меня и Зоицу завоевал, как отца ее? Ладно! Еще померяемся!

— Ну и померяемся! — стучал голос в уме Дебрянского ответным вызовом, удалым и тоже непримиримо злобным. — И померяемся. Только не поддаваться, не раскисать духом, а то — не больно и ты страшна мне с ужом своим!..

Эта гневная переглядка не повела бы ни к чему доброму, если бы враги были одни, но присутствие двух линялых дальних родственниц послужило спасительным громоотводом.

Одна из этих родственниц, которая выглядела более линялою, обратилась к Лале с жеманным выговором. Лала сперва не поняла ее, потом презрительно захохотала и встала из-за стола. Цмок, который клубился у ног ее, взвился по ней и повис через плечо, точно понимал бурю, вскипевшую в сердце своей хозяйки. Глаза его стали, как рубины, и жало черною вилкою шевелилось в воздухе. В дверях Лала столкнулась с Вучичем и Зоицею и молча, не глядя, дала им дорогу. Зоица была очень взволнована...

— Ну, скажи же ему ответ сама, ну, скажи, — торопил счастливый старик.

Зоица искала Лалу глазами. Лалы уже не было... Смущение девушки дошло до крайних пределов: она дышала трудно, щеки пошли красными пятнами. Вучич дал Дебрянскому знак приблизиться, а сам отошел в сторону, покручивая длинный сивый ус.

— Все-таки настояли на своем, — сказала Зоица жениху с тоскливым упреком.

— Я не люблю отказываться от задуманной цели, не испытав всех средств достигнуть ее.

— Ведь я же говорила вам, что это невозможно... что из этого выйдут одни ужасы... За что вы не поверили мне?

— За то, — улыбнулся Алексей Леонидович, — что я вас люблю, и у вас фантастическая головка: а ужасов я не боюсь. И себя, и вас уберегу я от ужасов вашего воображения. Вы видели: я не из робких.

Зоица смотрела ему в глаза.

— Все, что я говорила вам, правда: я не имею права выходить замуж, и предложение ваше грозит большою бедою и мне, и вам! Быть может, даже смертью.

Дебрянский сказал:

— Ну и пускай грозит. А мы не испугаемся.

— Вы все думаете, что я брежу!

Зоица со скорбью покачала головой.

— Объясните, в чем дело, — не буду думать.

— Не могу.

— И я не могу. Но — бредите ли вы, нет ли — я не хочу знать и буду защищать наше счастье от ваших страшных фантазий своею грудью... больше: буду защищать вас даже от вас самой, потому что, чем больше думаю, тем больше убеждаюсь, что настоящий-то ваш враг не... ну, вы запретили мне называть ее имя, — но вы сами... Вы отравили себя ею, загипнотизировали. А я вас от нее спасу и гипноз этот разрушу.

Зоица покраснела, уронила голову на грудь Дебрянскому и пролепетала:

— Хорошо же... пусть исполнится судьба... А если мы погибнем, то умереть с тобой вместе теперь легче, чем жить без тебя одной... Если бы ты знал... если бы мог подозревать... Я так несчастна! так!..

— Я сделаю тебя счастливою...

Вучич, аплодируя, прибежал из своего угла и сразу обнял жениха и невесту своими могучими узловатыми руками.

Поздно вечером, уже к полуночи, расстался Алексей Леонидович с невестою и, отказавшись от экипажа, лениво побрел пешком по набережной. Ему надо было освежить голову, полную впечатлений, и успокоить нервы, слишком приподнятые волнениями дня.

«Вот я и жених! — думал он, щелкая каблуками по плитам. — И как все легко и просто делается...» При мыслях этих он не испытал особенно сильной, захватывающей радости, но ему было спокойно и хорошо. Неприятно было только, что немножко кружилась голова и как будто знобило.

«Должно быть, в дополнение к законному браку схватил маленькую лихорадку. А вернее — нервная реакция после возбуждения. Напряжение было сильное. Чувствую себя совсем разбитым».

Огоньки Эспланады мерцали еще далеко-далеко впереди, а между тем Алексей Леонидович успел уже устать — мочи нет... Долго двигался он, лениво переставляя ноги и как-то не имея ни одной мысли в голове, будто ее вдруг ветром выдуло, — споткнулся о камень, вздрогнул, опамятовался:

— Кой черт? Неужели я уснул на ходу? Фу ты! Хорош жених! Рот разодрало зевотой!

Он присел на стенку набережной, и его сей же час согнуло и потянуло ко сну. Но едва дремота качнула его, как он почувствовал острый удар в сердце — такой внезапный и сильный, что он подпрыгнул и очнулся. Сердце уже не болело, зато неприятно ныла правая сторона груди, теснило под ребрами и откликалось колотьем в спину.

«Эге! Печень шалит! — подумал Дебрянский. — Что мудреного? Переволновался же я!»

Ночь была свежая, и холодный, сырой камень набережной награждал его вместо отдыха неприятными мурашками по телу. Поднявшись на Эспланаду, к памятнику Капо д'Истрия, он зашел в придорожный кабачок и спросил себе стакан крепкой мастики.

— Здравствуйте! — окликнул его знакомый голос.

Он поднял голову: пред ним стоял и скалил лошадиные зубы, весь рыжий под цилиндром, знакомый англичанин, бывший лейб-медик императрицы Елизаветы, доктор Моллок.

— Ах, доктор!

Врач смотрел на него со странным выражением лица.

— Вы не больны?

— Нет... а что?

— У вас было лицо человека, теряющего сознание... Я дважды звал вас.

— Я слышал только один раз.

— Крепко задумались.

— Да... но...

Алексей Леонидович проверил себя и обратился к врачу с большим недоумением, почти испугом.

— Представьте, доктор: я решительно не помню теперь, о чем я думал...

— Забыли, о чем думали?

— Да... Только чувствую, что моя дума страшно меня утомила.

Взор Моллока обратился было на стакан с мастикою, но Дебрянский даже обиделся.

— Помилуйте! Я еще не пил.

— Вы лунатизмом не страдали?

— В детстве, говорят, вскакивал с постели по ночам... Взрослым — нет.

— Ага! А то у лунатиков часты подобная забывчивость и рассеянность мысли... Мое почтение.

— Покойной ночи.

Выпитая мастика подбодрила Дебрянского.

— Мосье не желает закусить? — почтительно кланяясь, спросил швейцар отеля Saint Georges, где Дебрянский занимал две комнаты.

Но мосье чувствовал такую усталость, его так тянуло ко сну, что даже не ответил.

Пройдя к себе, Дебрянский опустился в кресло, чтобы перевести дух, и начал медленно раздеваться, борясь со сном, который то откидывал его голову назад, то свешивал ее на грудь... В это время дверь скрипнула, в комнату вошел и сел за стол прямо против Дебрянского мужчина; улыбающееся лицо его показалось Алексею Леонидовичу знакомым. Ну, конечно, он! Шишки и комья отечной кожи, бессмысленный, разбросанный взгляд.

— Петров! Откуда ты взялся?

Алексей Леонидович открыл глаза, разбуженный звуком своего голоса, и понял, что он бредил: в комнате не было

никакого Петрова, а на столе смердела, догорая в медном шандале, свеча, которой, когда Алексей Леонидович взял ее у portier *, оставалась еще добрая половина.

«Вот ясно привиделся, — подумал Дебрянский. — Фу, однако, как кружится голова... и глаза режет, будто кто под веки песку насыпал... Напрасно я пил эту мастику!»

Но едва Алексей Леонидович погасил огонь и нырнул под одеяло, едва он стал забываться в том состоянии, что Мори так остроумно называл вожатаем сна — гипнагогическим, Петров снова выплыл из тьмы и снова сел пред Алексеем Леонидовичем, полуосвещенный желто-красным мутным огнем — как почти всегда озаряет кровь кошмарного видения. Он сидел, молчал, и кивал, и раздражал Дебрянского своим киванием.

— Что тебе надо? зачем пришел? — сердито спросил Алексей Леонидович, — ты, пожалуйста, не мечтай, что я тебя боюсь; я отлично сознаю, что вижу тебя во сне и что ты совсем не сам Петров, но моя ложная идея…

— Это хорошо, что ты сознаешь, брат, хорошо, — отозвался Петров.

— То-то... ты, брат, не лицо... ты — мастика!

— Превосходно! Не поддавайся! не поддавайся! Воюй! крепись!

Черты Петрова расплылись в воздухе. Заходили зеленые круги, а из них стали прыгать друг через друга необыкновенно прыткие козы, но вместо рогов у них росли растрепанные большие банные веники, а вместо хвостов вились и кружились длинные, пестромраморные, с черными вилкообразными жалами, Цмоки.

— Алексей Леонидович! — шептал голос Петрова над левым ухом Дебрянского. — Ты меня слышишь, понимаешь?

— Ну... что ж? Понимаю... — снисходительно отзывался Алексей Леонидович. — Вот только козы зачем?.. Эх, напрасно я пил эту мастику!

* Портье *(фр.)*

А Петров шептал:

— Это не козы, а Лалы, они шпионят за нами, но ты их не бойся; граф Гичовский выучит их воздухоплаванию, и они улетят!..

Лихорадочный кошмар мучил Дебрянского целую ночь, и целую ночь Петров нашептывал ему странные и глупые слова. К утру он представился Алексею Леонидовичу всего живее.

— Прощай, брат, — говорил он, надевая шляпу Дебрянского. — Мне пора.

Тра-ра-ра!
Мне пора!
Со двора
Все гусары со двора!
Ура!

— Ты, стало быть, из больницы-то вышел? — спрашивал Алексей Леонидович.

— Вышел, брат. Я теперь совсем здоров и свободен.

— Анна больше тебя не мучит?

— Анна тлен. Я сам Анна. Тра-ра-ра! Вот так дыра! Тля тлит тлен. Дотлею до тла и буду Анна.

— Да, бишь... позволь... я и забыл, ведь ты умер.

— Умер, голубчик. А ты ко мне на похороны не пришел? Свинство, брат.

— Откуда же ты, мертвый, узнал, что я здесь?

— Тра-ра-ра! Я теперь знаю все, что меня интересует.

— А почему я тебя интересую?

— Я тебя полюбил. Ты парень хороший. Я тебя стану беречь. Ах, Алексей Леонидович! ты молодец, ты так себя показал, что молодец, я тебе и вчера за обедом, когда ты сделал предложение Зоице, шептал, что ты молодец...

— Так это ты меня хвалил и подбодрял?

— Тур-тур-тур... Тра-ра-ра... За здоровье жениха и невесты! Мое вам почтение! Ура!

— Ну, спасибо тебе, Петров, право, спасибо, товарищ.

— Но остерегайся, брат! Рискуешь ты, ох как рискуешь! Не тлит ли тлен сребра и злата? Против тебя, брат, сила собрана... большая... все гусары… тра-ра-ра со двора. В замок… Рэтлер со двора.

— Стой! Вот ты узнал, где я, пришел.

— Ну?

— Да ведь ты мертвый?

— Ну мертвый?

— Значит мертвый всегда может проследить и постигнуть живого?

— Ну может.

— Если так, то Анна... значит, тоже знает, где я... куда сбежал от нее?..

— Надо полагать, что знает.

— Отчего же она не преследует меня?

— Преследовала бы, кабы могла.

— Значит, не может. Как же ты-то можешь?

— Чудак ты! Да ведь я же не существо, а твое сновидение. А как существо я спокойненько лежу в Москве на Ваганьковском кладбище и разлагаюсь. Вот как совсем разложусь, перестану быть сном и опять стану существо!

— Врешь, лопух из тебя вырастет!

— Сам врешь! лопух по-твоему не существо?

— Если ты не существо, как же я с тобою говорю?

— Да ты совсем не со мною, а с самим собою... сам же давеча сказал... Лопоухий!

— За что же ты ругаешься?

Но Петров вместо ответа сделал страшную гримасу, отрастил по обеим сторонам длинные ослиные уши и забормотал:

— Лопать... лопасть... лопата... Лопе де Вега... Клоп...

салоп... остолоп... Не иде в холопе... берегись! не попадись! холоп! хлоп! хлоп! хлоп!

— Отвяжись!

— Князь Вяземский дрался саблею, а Митька ослопом...

— Да мне-то что?

— Берегись: тебя слопать хотят… Лопари у финнов и шведов имеют славу самых злобных колдунов...

— Ну, это, брат, из географии. Залопотал!

— Я лопочу, я хлопочу... Лопни глаза, вывернись лопатка!.. Злые люди — злые силы... Злые силы — злые люди... Не зевать, хлопотать... хлопок скупать... галоп танцевать... А то рекрут будешь! Лоб! Хлоп! Хлоп! Иеронимус Амалия фон Курцгалоп!

Ночной бред свалил вместе с лихорадкой уже засветло, и Алексей Леонидович заснул было наконец крепко и сладко, но ненадолго. Кто-то забарабанил в дверь его номера. Дебрянский открыл глаза, удивленный яркостью белого дня, смотревшего в окна синими очами своими, и еще имея в голове остатнюю бредовую мысль:

— Евдокия Лопухина была первая жена Петра Великого, а невесту Михаила Федоровича звали Марьей Хлоповой...

— Тук! тук! тук! — звала дверь.

— Что это? все еще во сне или наяву?

Но:

Oh, ma charmante,
Ecoute, ècoute ainsi
L'amant, qui clante,
Et pleure aussi! * —

запел за дверью хорошо знакомый голос.

— Граф Валерий!..

* О, моя очаровательная, слушай, слушай любовника, который поет и плачет! *(фр.)*

VI

Граф Валерий Гичовский, обменявшись с Дебрянским новостями и принеся ему свои поздравления, поспешил с визитом к Вучичам. Старика он встретил на дороге, но Вучич настоял, чтобы Гичовский ехал на виллу, к Зоице, обещая вернуться очень скоро. Графу было нечего делать, он продолжал свой путь. Случилось так, что, кроме грума, отвесившего ему низкий поклон на крыльце, он никого не встретил в первых комнатах виллы. Хорошо знакомый с расположением дома, граф направился искать Зоицу на морской террасе. Но и здесь никого не было, кроме солнца, несносно палящего даже сквозь узор густо повисших виноградных лоз. Граф опустился в качалку — ожидать, пока появится какая-нибудь живая душа и доложит о нем хозяйке. Где-то вблизи он услышал гул разговора: спорили два женских голоса. Один как будто плакал, другой был резок и гневен. Гичовский вспомнил, что как раз у террасы, сбоку, в нижнем этаже находится комната Лалы. Он кашлянул раз, другой, но его не слыхали, разговор не прекращался, а, наоборот, все крепчал, становился все громче и резче. Гичовский невольно уловил несколько фраз, после которых он вдруг переменил свое первое намерение скромно удалиться, чтобы не стать непрошеным свидетелем чужих тайн, положил шляпу под качалку, притаился и насторожил уши...

— Нет, нет, нет! — говорил резкий голос.

Гичовский едва признал его за голос Лалы.

— Этого не будет никогда! Не валяйся у моих ног: это напрасно. Я не могу тебя простить, если бы и хотела; ты это знаешь. Зачем же эти просьбы и слезы? Все на ветер! все на ветер!

Слов Зоицы Гичовский не расслышал. Злой хохот Лалы был на них ответом.

— Любишь! — вскричала она. — Ты его любишь! Какое мне дело до твоей любви? как ты смеешь любить? как ты смеешь говорить мне о твоей дрянной любви?

Опять невнятно пробормотала Зоица.

— Ты сошла с ума! — с холодным, презрительным гневом оборвала ее Лала. — Жених? Как достает у тебя дерзости произносить такие слова? Скажи еще: семья, муж, дети... Ты — обреченная девственница! В твоем уме подобная мечта, в твоих устах подобные слова — преступление...

— Да что я — не человек, что ли? — вскрикнула Зоица, поднимая голос. — Мне восемнадцать лет. Еще немного, и по здешним понятиям я буду уже старая дева. Мои подруги давно замужем.

— Они не давали обетов, — сдержанно возразила Лала. — Они не посвящали себя тайнам. Земные твари достанутся земным тварям, но твоим женихом и супругом будет только тот, кому ты клялась и присягнула... Он от своих прав никогда не отказывается, Зоица. Он испепелит тебя, но не отдаст...

Зоица молчала. Затем раздался ее голос, в котором звучали недоверие, нетерпение, почти насмешка:

— Если я так нужна ему, таинственному жениху моему, если он такой безотказный и могучий, зачем же он попустил меня в ту беду, что теперь нас окружила? Зачем он так долго ждет и не приходит? До каких пор мне увядать — невестою без жениха или женою без мужа? Когда же будет наконец — этот наш удивительный, чудесный брак?

— Никогда, если ты посмеешь продолжать таким тоном.

Зоица воркнула что-то, понятое Гичовским как:

— Очень рада.

— Как смеешь ты предписывать законы и сроки стихии? Твое дело — молчать, терпеть и ждать. Его воля — высшая... что могу знать о ней я? Да, да! Даже я, потому что и я — раба, заключенная в темнице глухого и слепого человеческого тела. Быть может, это случится сейчас, се-

годня в ночь, завтра, послезавтра... Быть может, когда Он удостоит тебя ложа своего, ты будешь уже дряхлою восьмидесятилетнею старухою, но в огненных кольцах объятий Его ты возродишься, и станешь, — как женщина в расцвете юности, и зачнешь чудо, и принесешь обетованный плод — великое божественное Яйцо, через которое возродится Он — новый Змей, надежда, опора и спаситель мира. Я открыла тебе возможность быть царицей вселенной, некогда всякая тварь назовет тебя своею госпожою и матерью, а ты... Опомнись! береги себя, зорко блюди честь свою во всемирную славу ее, храни свое святое будущее, Зоица!..

— Я не могу и не хочу жить неведомым будущим, Лала, — я молодая, меня настоящее зовет, я не способна состариться в упованиях и мечтах, похожих на бреды.

— Ты нетерпелива? Молись Ему, свершай священные обряды, зови Его, думай о Нем, тяни Его к себе мыслью сердца и желанием тела своего... Ты ленивая и небрежная. Я ли не молила, я ли не просила, чтобы ты разрешила мне украсить тебя священными начертаниями?

— Не начинай об этом. Ни за что! Ты дала мне слово оставить это до моего совершеннолетия.

— Не я дала слово, а ты вынудила его у меня.

— Все равно. Вопрос покончен, и я не желаю к нему возвращаться.

— Как же ты хочешь, чтобы Он ускорил свои пути к тебе, если ты сама засорила дорогу Его? Начертаний ты не хочешь, вещих слов не произносишь, обрядов не исполняешь, ни одного заклинания не умеешь повторить правильно, сколько я тебя не учу, ни единой жертвы ты ему не заколола, а теперь даже Цмока, Его живой образ, разлюбила и перестала ласкать...

— Что же мне делать? Я не могу выносить, когда его холодные кольца вьются по моему телу...

— Ага! А прежде могла?

— Я была девочка, и ручной уж забавлял меня, как всякая живая тварь в доме, как игрушка. С тех пор я выросла, узнала многих людей, получила образование, читала много книг...

Лала перебила:

— Очень нужны все они той, которая со временем будет знать все прошедшее, настоящее и будущее без учения и трудов, одним откровением супруга своего Великого Змея!

Зоица продолжала, не отвлекаясь на ее замечания:

— И теперь, конечно, я не в состоянии относиться к Цмоку с тем суеверным баловством, как ты его ласкаешь, как ты от меня требовала и меня выучила. Ласки, которыми ты его осыпаешь, кажутся мне противными и стыдными... Боюсь я, Лалица, что ты вовлекла меня в нехорошие подражания и выучила грязным делам.

Тяжелою злобною скорбью прозвучал ответ Лалы:

— И это говорит — так осмеливается говорить — будущая возрожденная Эвга, супруга Великого Змея, та, в которую должно войти вдохновение праматери человечества!.. Быть может, Зоица, и я уже противна тебе?

— Обидно так упрекать, Лала, — отозвался нерешительно возмущенный голос Зоицы, — ты сама столько же, как я, знаешь, что ты мой лучший друг, самое дорогое для меня существо на свете...

— Была — да... Но теперь? Не лги, Зоица, нельзя лгать перед тою, которая читает мысли, как писаные слова. Ты изменила мне, Зоица.

— Это неправда.

— Не телом, нет. Твоя мысль ушла от меня, твое нежное желание отвернулось от меня... С того вечера, как мы были в театре, погасли между нами священные ласки, которыми я сохранила тебя — чистую — от мужских соблазнов для грядущего супруга твоего, чтобы повторилось от века бывшее

и через века реченное: чтобы непорочную и девственную — не тронутую нечистыми устами грешного раба Адама — принял в свои объятья свободную новую Эвгу Великий Змей Саммаэль... Может быть, и я уже не нужна тебе? Может быть, и мои ласки стали тебе в тягость?

Зоица долго молчала. Потом затаивший дыхание Гичовский едва расслышал ее лепет:

— Да, Лалица... Не сердись на меня... Я люблю тебя нисколько не меньше прежнего, но обряды эти... Ты взрослая женщина, и я уже не ребенок... Я устала насиловать свой стыд и краснеть за себя... Времена языческой совести давно минули... Я не хочу больше быть игрушкой прошлых веков — не надо мне, прости, не буду я больше участвовать в обрядах...

Глухой крик, стону подобный, вырвался из груди Лалы:

— Предательница! Неблагодарная! Так всему конец? Все — долой? Вся жизнь забыта? Несчастная! Вспомни ночи в горах Дубровника, вспомни ущелье, где ты над священным костром клялась мне, живой, и тетке Диве, мертвой, не знать земной любви? где я представила тебя великим силам воздуха как мою наследницу и преемницу, которая станет их жрицею, когда придет мое время окончить жизнь в земной оболочке и соединиться со стихией? И рады были тебе великие силы воздуха, и нарекли тебя достойною, чтобы воплотилась в тебе неумирающая могучая Эвга, и была бы, чрез тело твое, вновь супругою Великого Змея, и возродила бы омраченную жизнь тварей в плоде Яйца, в котором будет новый Змей, борец и спаситель природы. Ага! Посмеешь ты снова сказать мне, что любишь земного червя, северного чужеземца? Берегись, Зоица! силы грозны и могущественны. Кто идет против них, погибает беспощадно. Твой посягатель обречен нами, он умрет, но тебя спасти еще можно. Мне жаль тебя. Откажись от него, чтобы он не увлек тебя в пропасть вместе с собою!

Зоица молчала. Потом раздался ее голос:

— Лалица, прости меня, я больше не верю во все это...

Лала вскрикнула, точно раненая.

— Не веришь? Но разве мало я показала тебе могучих тайн и грозных знамений? Чем же мне тебя уверить? чудес тебе надо? новых чудес?

— Лала, я не сомневаюсь, что ты можешь творить чудеса, на которые не способны другие люди...

— Слушай! Хочешь, я не скажу тебе больше ни слова — буду молчать, но с тобою заговорит человеческим голосом Цмок? Он повторит тебе все мои слова, увещания и угрозы...

— Это лишнее, Лала. Граф Гичовский не имеет твоих сверхъестественных даров, однако еще недавно заставлял говорить бутылку на столе, и ножку стула, и ручку у двери, и часы на стене...

— Жалкое существо! Ты уже подозреваешь меня, что я фокусница, что мне равен может быть какой-нибудь чревовещатель!.. Хочешь, я обращу Цмока в палку, как когда-то еврей Моисей? Хочешь, день померкнет в твоих глазах, море взбесится и польется на террасу? Хочешь, вот эти столы и стулья будут плясать и кружиться пред твоими глазами? Хочешь, я буду говорить на языках, которых не знаю, и отвечать на вопросы, которых не слышу ушами и не вижу глазами?

— Лалица, это излишне. Я знаю силу твоего наваждения. Я испытывала его десятки раз.

— Все знаешь, все помнишь, со всеми согласна и — ничему не веришь?

— Лалица, порою мне кажется, что все, что было между нами, осталось во сне...

— Это он тебя уверил! это его влияние! — с ненавистью прервала Лала. — Так знай же: лжет он — и сама себя не обманывай! Да, ты во сне, потому что вся земная жизнь — сон! Но этот сон и сейчас окружает тебя, и ты принадле-

жишь ему, и ты сама — сновидение для других, и вся явь, длящаяся для нас, долгая таинственная греза! Умри! разрушь сон жизни — тогда ты будешь права. А до тех пор — не заблуждайся: не во сне, а наяву ты отдала мне во власть свою волю, чтобы я сделала тебя жрицею таинственной пятой стихии, разлитой между всеми стихиями, в которую со временем уйдем все мы.

Зоица остановила ее.

— А если не во сне, то страшно мне твоих тайн. Ты неудачно сделала свой выбор: я плохая ученица и не гожусь тебе в преемницы. Я слишком робка и слаба. Я не хочу их знать... я жить хочу, наслаждаться. Меня к земле тянет, к людям.

— Есть пути, с которых не бывает поворота, — сурово отозвалась Лала. — Кто взвалил себе на плечи непосильную ношу — тот надрывается под нею. Это закон. Ты, самоуверенная девчонка, просила у меня великой ноши. Я тебе ее дала. Неси же и умри под нею, если она тебя гнет к земле, но сбросить ее нельзя! Я предупреждала тебя в свое время.

— Что я могла понимать! — в свою очередь, раздраженно воскликнула Зоица. — Мне не было и двенадцати лет... ты увлекла меня своими сказками о звездах, об огненных и воздушных людях, змеях, дивах воды и пламени. Разве я владела своим умом, когда бросилась за тобой в эту демонскую пучину? А с тех пор как отдаю сама себе отчет в своих поступках, верь мне: наш договор ничего не дал мне, кроме страха и стыда... Отпусти меня. Я хочу быть обыкновенною, мирною женщиною, я не гожусь в вещие и не буду больше ни участницей, ни орудием твоего колдовства.

Лала холодно возразила:

— Если ты называешь колдовством желание, право и возможность смотреть в тайны природы глубже и более сознательно, чем в состоянии другие люди, пусть это будет колдовство, и я, конечно, колдунья. В таком случае и наш друг граф Гичовский, которого ты только что помянула, тоже кол-

дун, только неудачный, потому что он все ищет, но не находит, а я нашла. Пускай колдунья! Слово не меняет дела и не мешает ему. Жрица Великого Змея выше оскорблений бедного человеческого языка. До сих пор ты не видела, чтобы мое колдовство принесло кому-нибудь зло или вред.

— Но теперь ты хочешь сделать зло ужасное! И кому же? Человеку, которого я люблю!

— Я уже сказала тебе, чтобы ты не смела произносить этого слова. Оно для тебя запретное. Берегись, Зоица! Я не одна тебя слышу... Ємотри, как гневно поднял голову чуткий Цмок, как грозно устремлены на тебя его вещие глаза, как заклубились его сверкающие кольца.

— Если я не боюсь тебя, то тем более не испугаюсь бессмысленной и бессловесной твари... Лала! Оставь! Перестань! Не трави меня, уйми Цмока! Я не люблю, когда он бросается, злой, — я буду защищаться и могу его убить...

— Глупая девчонка! Ты кощунствуешь, угрожая посланнику Великого Змея...

— Этих посланников — сколько угодно под любым придорожным камнем.

— Да? Вот как? Вот уж до чего дошло дело? Так-то развратили тебя? И ты еще смеешь просить, чтобы я пощадила Дебрянского? Не я хочу сделать ему зло. Он сам идет к тому и вынуждает меня истребить его. Есть обстоятельства, при которых я теряю волю и обращаюсь в слепое орудие силы, живущей вокруг меня и мною повелевающей.

— Пожалей его, Лала! нашею вечною дружбой заклинаю тебя, прости!

— Откажись от него, — глухо сказала Лала после долгого молчания, — может быть, тогда я сумею как-нибудь успокоить оскорбленную стихию и отведу от чужеземца охватившую его беду...

— А он? — горько засмеялась Зоица. — Разве он откажется?

— Заставь его!

— Чем? Он знает, что я его люблю.

— Скажи, что разлюбила.

— Он не поверит и будет прав.

— Зоица!

— Что же ты кричишь? Вот ты сейчас предлагала мне испытать тебя чудесами... Ну сделай так, чтобы я ненавидела и презирала его? чтобы он ко мне сделался враждебен или равнодушен? Вот то-то и есть! Есть в человеке область, над которою твоя мудрость не властна... Убить ты можешь, но отнять любовь никогда.

Лала мрачно молчала. Зоица продолжала:

— Если бы я могла объяснить ему, кто ты, кто мы обе...

— Да. Недоставало только того, чтобы ты окончательно погубила себя — открыла ему таинства!

— А теперь он смеется над моими суеверными страхами. Он ненавидит тебя, он так озлоблен, что способен добиваться меня только затем, чтобы удалить меня от твоей власти. А власть твою надо мною он чувствует, хоть и не понимает, откуда она.

— Земной червяк! Прах двуногий! — еще глуше и ниже произнесла гневная Лала. — Когда он появился у нас в доме, меня душил запах трупа... За ним следят чьи-то мертвые глаза, его ждут чьи-то мертвые объятья... но не твои!.. Нет, не твои!.. Погоди! Дай созреть новому месяцу: в полнолуние я совершу вещий обряд и буду знать о нем все...

Молчание было ответом.

VII

— Вот вы где! — весело заговорил, входя на террасу, Вучич и заставил вздрогнуть задумавшегося Гичовского. — И почему-то в одиночестве! Где же Зоица?

— Этого не могу вам сказать, — равнодушно ответил граф. — Знаю только, что добрых пять минут брожу по вилле, как по заколдованному замку, и не встречаю ни души.

— Как — только пять минут? Неужели вы ходите так медленно? Я думал, что вы давным-давно меня ждете?..

— Я застоялся у моря, — спокойно солгал граф, — смотрел, как рыбаки вытягивали сеть.

— В такое жаркое время?! Вот странно... Разумеется, ничего не взяли?

— Ни даже малого краба, — невозмутимо продолжал граф, не унывая, что в первый раз он соврал не очень удачно.

Вучич, извинившись, вышел позвать дочь, а Гичовский прошелся раза два по террасе, с волнением потирая руки. Коричневые глаза его горели любопытством:

«Это надо расследовать, и мы расследуем. Дело, конечно, шло о нашем женихе... А я — «наш друг». Вот как? Великий Змей — в Европе? Праматерь Эвга — в Средиземном бассейне? Змеиный культ Оби — у двух славянок на греческом Корфу? Странно, чрезвычайно странно!» — думал он.

Вучич вернулся и сконфуженно развел руками.

— Простите, мой друг, приходится принимать вас без женского элемента. Зоица лежит в постели: мигрень; тетки с утра в городе, а эта сумасшедшая Лала дьявольски не в духе и на моих глазах уплыла в море... Вон... поблескивает веслами... Чем вас угощать?

— Кроме содовой воды — ни на что не согласен. Я знаю вашу манеру заливать людей шампанским с раннего утра.

— Ошибаетесь: эта мода уже брошена. От шампанского слишком жарко. Теперь у нас в ходу крюшоны из Vino Capri *, и вы сейчас попробуете. Оно легкое, кисленькое, унимает жар и не тяготит голову... Вот, кстати, Ламбро и несет уже… За ваше здоровье, граф!

* Каприйское вино *(ит.)*.

Осушили по стакану, поговорили о делах, о хлопке, об опере... Граф понемногу навел Вучича на разговор о Лале.

— Скажите, пожалуйста, что она, собственно, за существо и как она — кроме наглядных отношений к вашей семье, всем понятных, — вам приходится?

Вучич вытер усы.

— Лала, то есть Евлалия Дубович, — моя двоюродная племянница. Ведь наша фамилия двойная: Вучич-Дубович.

— Вот как! Я не знал.

— Я-то пишу себя только Вучичем, потому что к Дубовичам я принадлежу по женской линии, «по прялке», как говорят поляки. А Лала — самая чистая Дубовичка, так прямо — по поколениям — и упирается в первого Дубовича, который звался Само и жил в Галиции в баснословные времена, когда грибы воевали и текли молочные реки в кисельных берегах. Вы никогда не слыхали легенду о происхождении этого рода?

— Нет, не случалось.

— О? Надо вас познакомить с нею. Стоит: она оригинальна. Если хотите, я прочту вам ее. У меня есть тетрадка. Как-то, давно уже, Лала импровизировала нам — и Зоица имела терпение записать. Угодно?

— Пожалуйста.

— Ламбро! принеси мне из кабинета, с письменного стола, красную тетрадь, что в сафьяне...

— Смешнее всего, — продолжал Вучич, — что сама Лала дословно верит всему, что говорится в легенде... Фантастическая девка.

— Да, — протяжно сказал граф, — в ней есть что-то дикое, таинственное... что, признаюсь вам, сильно меня интересует... Она — как ребус без ключа.

Вучич махнул рукой.

— Таинственное! Разве вы один это находите? Здесь, слава Богу, ничего, но когда мы два года тому назад жили в Амаль-

фи, то у нас из-за нее не уживалась больше недели ни одна прислуга.

— Что так?

— Суеверны они там. Лала казалась им чем-то вроде ведьмы, что ли, или одержимой. Если бы мы не уехали, ее, пожалуй, еще убили бы. Особенно после того, как одна из моих домашних дур, тетушек Зоицы, разболтала эту нелепую историю с проткнутым животом Делиановича. Вообще, для Лалы большое счастие, что она живет в конце XIX, а не XVII века... Иначе не миновать бы ей костра. Знаете, толпа — что море, топит и убивает молвой, как волной.

— На чем же строилась эта антипатия?

— А решительно на всем: на наружности, напоминающей Сивиллу, на сросшихся бровях, на ее уже, который всюду следует за нею, как собака, на ее чудном голосе, на импровизациях, обмороках, эпилептических припадках, одиноких ночных поездках далеко в море или прогулках в самые глухие и дикие пустыри гор... Амальфитанцы уверены были, что она по ночам, при луне, заклинает Гекату и других злых духов. Ведь там все языческие суеверия Великой Греции держатся еще крепко и даже не всегда в новых формах. Тем более, что по церквам Лала ходить не охотница, а неаполитанцы — ярые католики, ханжи. Для врача Лала просто стареющая без замужества, ожирелая и истерическая женщина; мужик же думает, что тут дело нечисто. Один парень, который к ней целоваться было полез, вроде Делиановича, клялся мне, что видел, как из-под бровей разгневанной Лалы вылетела огромная черная бабочка — та самая, говорит, бабочка, которая убивает людей, выпивая из них кровь... «Да разве есть такая бабочка?» — «А то нет? Как же!» — «Кто же ее, кроме тебя, видел?» — «Никто не видал». — «Почему же ты знаешь, что она именно такая, а не другая?» — «Ну вот! Да уж знаю!» — «Да почему?» — «Потому, что другой такой нет». Так меня заинтересовал, что я даже вы-

писал из Неаполя атлас бабочек: пусть покажет, какую именно разводить под бровями оказывается способна наша милейшая Лала.

— Что же? Показал?

— Представьте: показал. Так и ткнул пальцем в Acherontia Medor.

— Позвольте! Откуда же могла взяться в Амальфи Acherontia Medor. Вы, вероятно, ошиблись: Acherontia Atropos. Acherontia Medor водится только в Центральной Америке, мексиканский тип.

— Ну, а вот представьте. Всего же курьезнее, что парень-то оказался прав.

— То есть?

— Из бровей Лалы Acherontia Medor, конечно, не вылетела, но парень ее действительно видел. На другой день прислуга нашла мертвую Acherontia Medor в нашем саду… огромнейшая бабочка... сперва, по виду, ее за дохлую летучую мышь приняли...

— Вы, наверное, смешали. Не Medor, а Atropos *. Все эти «мертвые головы» схожи.

— Помилуйте! Я ее в Неаполь на зоологическую станцию посылал, чтобы проверить свое определение. Там тоже признали за Медора.

— Курьезно!

— Очевидно, какой-то шальной экземпляр-одиночка умудрился как-то перебраться чрез океан, чтобы на Салернском берегу погибнуть в холостом отшельничестве.

— Моряки могли завезти с пароходами. Между Неаполем и Мексикою постоянные рейсы, а с Неаполитанского залива на Салернский — путь недалек.

— То есть вы думаете, что какой-нибудь моряк привез да упустил?

* Крупные бабочки вида «мертвая голова».

— Нет, просто когда освещенный пароход стоял в мексиканском порту, сумеречная бабочка влетела в какую-либо каюту или трюм, покружилась до света, обессилела, прицепилась где-нибудь незаметно... знаете, как они инстинктивно приспособляются днем к темным углам, которые не выдают их цвета?.. Пароход двинулся и увез ее с собою... Так и добралась... Тем легче, что улететь от парохода она уже не могла: его ночные огни должны были удерживать ее без всякого соперничества, покуда не зажглись другие, более яркие, на твердой земле... Но все-таки странно и — совпадение вышло эффектное. Впрочем, бабочкам удаются иногда путешествия удивительные. Наш русский писатель Сергей Аксаков поймал однажды близ Казани бабочку, которая водится только в Южной Америке... А затем я жду легенды.

— А вот и Ламбро с тетрадью. Слушайте.

* * *

«Жил-был в Карпатах граф. Жил он в круглой серой башне, на крутом обрыве каменной скалы. Под обрывом спало озеро, тихое и прозрачное, точно голубой глазок. Рыбаки с озера, когда привозили рыбу к графскому столу, легко различали из своих челнов, какого цвета пояса и шаровары у часовых, стоящих на сторожевой вышке башни. Но без подъемной лестницы, которую спускали графские люди, рыбакам, чтобы попасть в башню, пришлось бы взять на три дня окольного пути по дремучим лесам, узкою, сбивчивою тропою в однокон: так уединенно поселился граф, отрезав себя лесами и озером от враждебных соседей.

В графских лесах росли многие тысячи матерых и кудрявых дубов, но всех краше был старый дуб, возвышавшийся на кустистой поляне пред воротами башни; лесная тропа к башне бежала под тенью дуба, и он был первым деревом дремучей чащи для всадников, ехавших от графа,

и последним — для всадников, ехавших к графу. Разлапистый, толстый и дуплистый, он стоял под зеленым шатром своим, словно вождь всего леса. Аист свил гнездо на макушке дуба. Гуцулы, крепостные графа, думали, что в старом дереве живет тайная благодетельная сила. В Радуницу и Семик они вешали на ветви дуба венки и полотенца — в жертву родителям. Потому что в те времена еще верили, будто души предков летают по лесам, отдыхают на сучьях тенистых деревьев и любят, когда внуки приносят им дары и поклон от живых.

Граф был суровый дикарь-охотник, бражник-насильник, но христианин. Он жестоко гнал последних язычников, еще гнездившихся в карпатских трущобах, и беспощадно истреблял остатки и памятники старинных суеверий: разметывал жертвенники, отнимал амулеты, рубил и жег священные деревья, казнил волхвов и знахарок. Но на свой старый дуб он только косился, а тронуть его не смел. Дуб значился в гербовом щите графа, и ему было совестно посягать на ветхое дерево, словно на родного.

Никто из жителей башни не любил тень старого дуба больше, чем графская дочь, — восемнадцатилетняя красавица, белая, как молоко, румяная, как заря; ее черные косы падали до пят, а васильки, когда графиня рвала их себе на венок, улыбались ее глазам, как родным братьям.

Графская дочь была весела и кротка. Она никого не любила и покорно ждала, когда отец прикажет ей идти замуж за жениха, с которым ее помолвили заочно, по седьмому году, и которого она никогда не видала, хотя и носила на мизинце золотое обручальное кольцо: оно было сделано про запас, на большой палец, но пока девочка росла, пропутешествовало через указательный, средний, четвертый до мизинца, а теперь было уже тесно и мизинцу. Поэтому девушка часто снимала неудобное кольцо с руки — и в конце концов его потеряла.

Графские латники исползали на животах всю поляну вокруг старого дуба, потому что, сидя под дубом, графиня потеряла кольцо, — но кольца не нашли. Они перерыли мох, облегавший дубовые корни, лазили с фонарем в дупло, но кольца не нашли. А когда латники с неудачею вернулись в замок, граф раздел их всех донага и обшарил собственноручно их тела и одежду, так как был уверен, что кольцо найдено, но утаено кем-либо из его верных слуг, которых он всех почитал — и небезосновательно — за разбойников и мошенников. Однако и он ничего не нашел. Обругавшись, как прилично доброму католику, граф дал дочери несколько пощечин и ускакал на охоту.

Потеря кольца была тем неприятнее, что вскоре пришли известия о женихе графини. Он уже пять лет пропадал в Святой Земле, рубясь с сарацинами, и теперь ехал из Палестины в Карпаты, чтобы жениться на скорую руку и на другое утро после свадьбы опять уехать в Палестину, ибо он был очень храбрый и знаменитый рыцарь. Его собственный меч принес ему много добычи и славы, но сарацинский — отрубил ему левое ухо и выколол правый глаз, что, впрочем, по тому времени считалось очень к лицу мужчине.

Рыцаря ждали к осени. Граф все время травил зверье, дочка вышивала шелками попону для своего жениха, а в свободное время — его у нее было двадцать четыре часа в сутки — раздумывала, какова будет ее замужняя жизнь за человеком, у которого очень много славы и денег, но только один глаз и одно ухо, и которого она, вдобавок, знает не больше, чем индейского попа Ивана. Смущало графиню также малоутешительное намерение жениха оставить ее соломенною вдовою на другой день после свадьбы. Однажды около полудня в таких грустных мыслях она оглядела родную башню, лес, озеро, любимый старый дуб, и ей стало так жаль своей девичьей свободы, так досадно на будущее рабство, что слезы росою выступили на ее васильковых глазах.

— Будь моя воля, — сказала она, — никогда бы ни для какого рыцаря я не рассталась с тобою, мой милый старый дуб!

Ветер ходил в старой листве старого дуба, и она, величаво шатаясь, прошумела:

— Так и оставайся с нами, графская дочка!

Белые цветы на тоненьких ножках, топорщившие свои головки-звездочки из мохнатого дерна, поцеловали красные башмачки графини и зазвенели:

— Оставайся с нами!

Через поляну к лесу проскакал заяц и, став столбиком на пенек, подмигивал:

— Оставайся-ка, друг-графиня, с нами!

— Ох, кажется, я задремала, — подумала графская дочь, качаясь, потому что ветер, пропитанный запахом болиголова и дикой мяты, баюкал ее, как в колыбели...

И вот ей стало сладко-сладко... И в дремотной истоме ей чудилось, будто старый дуб наклоняет к ней свою шумную голову, тянется к ней узловатыми ветвями и на одном, самом крошечном, сучке блестит ее потерянное кольцо. Графская дочь хотела его схватить, но ветви обняли ее крепко... только это уже не ветви, а руки — бурые, в зеленых рукавах, и кольцо блестит на мизинце... Величавый старик в венке из дубовых листьев и желудей, с серебряной бородой по колена склонился с поцелуем к алым устам графской дочери... и вокруг стало темнеть, и ей показалось, будто она медленно-медленно погружается в недра земли.

— Кто ты?

И она услышала ответ, подобный шелесту листьев.

— Я тот, с кем решилась ты никогда не расставаться. Я дух, оживляющий твой любимый дуб, а ты моя жена. Четыреста лет прожил я одиноким, но, когда ты стала приходить ко мне со своими девичьими мечтами, я так же полюбил тебя, как ты меня полюбила, я обручился с тобою и взял тебя женой...

— Где мы?

— Под моими корнями...

Граф, вернувшись с охоты, искал дочь так же долго и напрасно, как раньше пропавшее кольцо. Сперва он предположил, что она убежала с любовником, приказал латникам расстрелять из луков старую няньку графини и перепорол в конюшне всех горничных. Потом, надумав, что дочь украдена кем-то из недругов-соседей, стал ходить на них, по очереди, войною и вешать их на воротах их собственных замков, пока не нашелся удалец, который сам пошел войною на графа и, взяв башню, самого графа повесил на ее воротах. Удалец этот был не кто иной, как вернувшийся из Святой Земли жених пропавшей графини. Он страшно обиделся, что понапрасну приехал из такого далека, не поверил, ни что его невесту украли, ни что ее съели волки, и почел свою честь восстановленной, только увидев нареченного тестя в петле. Башня ему понравилась, и он стал в ней жить, наняв себе латников покойного графа.

А графская дочка, довольная и спокойная, покоилась на ложе из мха и прошлогодних листьев, оцепенелая в долгом сне любви, потому что в это время над землею трещали морозы, а зимою деревья, вместе с духами, дающими им жизнь, спят, как сурки и медведи…

Пришла весна, и с первым криком грачей стал оживать старый дуб; медленно-медленно просыпался он; отшумели снежные ручьи, сошли подснежники, соловей защелкал в листьях березы, уже с зеленый грош величиною, — тогда прокатился первый гром. Заквакали над озером первые лягушки, и старый дуб развернул первый новый лист... И в тот же миг оцепенелый дух приподнялся на своей подземной постели — и радостными помолодевшими глазами переглянулся с проснувшейся женою.

В синие майские ночи графская дочь поднималась на поверхность земли и, как русалка, качалась на ветвях своего

дуба, играя туманом и лунным лучом. Она чуяла, как листья наливаются соками, как корни, подобно насосам, тянут влагу из земли, как медленно всасывается она в старые жесткие поры ствола и сучьев. Черемуха, рябина и дикая яблоня дышали навстречу ее радостному, свободному дыханию. Соловей на березе свистал, урчал и злился, что, как ни старается, не может перепеть соседа в ближайшем ореховом кусте. Бывало иной раз так тихо, что графская дочь слышала плеск весел внизу на озере и с дальнего берега тягучие песни рыбаков, чьи костры дрожали двойными красными звездочками — в ночи и в озере. Гудели хрущи, гремел лягушачий хор; рогач летел высоко и стоймя, как маленький дьявол. Все шумело и пело о новой жизни, и новой жизни улыбались сверху помолодевшие звезды... Белая женщина в ветвях дуба слушала, смотрела, обоняла, и ей было хорошо и полно, — и она чувствовала себя одною душою с весенней природой, потому что и внутри себя она чувствовала трепет нарождающейся, новой жизни...

Два всадника мчались лесною тропою. Один был новый владелец башни. Другой — его капеллан, угрюмый босой монах в коричневой рясе. Он презрительно смотрел на расцветшую природу. Ее радость казалась ему грехом и соблазном. Он не понимал хвалы Богу в цветении трав, в пении птиц, в солнечном луче, в голубой синеве неба — он умел славить его только сталью, красною от крови еретиков, и смрадом костров, на которых жарились живые язычники. Взгляд капеллана скользнул по кудрявой шапке старого дуба и омрачился. Монах сказал:

— Вот еще один из кумиров невежества. Господин! давно пора положить конец суеверному почтению, какое оказывают этому языческому дереву твои подданные, оскорбляя тем церковь и добрые нравы. Подари мне этот дуб — я его уничтожу!

— Возьми, — сказал рыцарь, — мой предшественник, граф, повешенный мною на воротах башни, дорожил этим

дубом, потому что дуб значился у него на гербовом щите. Но у меня нет дуба на гербе и мне столько же дела до этого дерева, как до прошлогоднего снега.

И привстав на стременах, он хватил боевою секирою по суку, растопырившему над дорогой лапы-листья.

В этот вечер муж явился к графине без кисти на обрубленной левой руке. Он сказал:

— Судьба велит нам расстаться. Мы — духи лесов — живем, пока живут наши деревья. Деревья живут, пока мы живем. Сегодня меня тяжело ранил твой бывший жених. Завтра меня вовсе срубят, распилят и сожгут. Я умру. Но ты не должна погибнуть. Вместе с утреннею зарею оставь меня и иди в лес навстречу солнцу. Ничего не бойся. Я буду смотреть на тебя через деревья, потому что я выше всего леса. Но когда ты оглянешься и не увидишь меня — значит, меня уже не будет на свете. На опушке леса ты найдешь хату угольщика, его семья чтит меня и приносит мне дары. Скажи этим людям, что уходят из мира древние боги, умер старый дуб и завещает им хранить свою жену и своего ребенка...

Напрасно графская дочь плакала, умоляла мужа, чтобы он позволил ей остаться и разделить его судьбу. С утреннею зарею он указал ей звериную тропку, по которой ей надо было пробираться. Она шла, и все оборачивалась, и все видела над лесом могучий лиственный купол старого дуба. Видела его в розовых заревых красках, в золотом блеске полдня... он стоял круглый, неподвижный... Потом он вдруг как будто скривился набок... Графиня прошла еще несколько сажен — сердце ее крепко билось — оглянулась: нет, это только так странно видно — дуб живет!.. Оглянулась еще раз: лиственного купола уже не было над лесом — а дубрава глухо ахнула в ответ падению векового богатыря...

Угольщик подобрал в лесу бесчувственную женщину и с удивлением узнал в ней без вести пропавшую графскую дочь. В его хижине она разрешилась от бремени мальчиком и умерла.

На груди ребенка было странное родимое пятно — в виде дубовой ветки с гроздью желудей. По этому знаку и по предсмертным признаниям его матери мальчика прозвали Дубовичем. Это и был Само Дубович, первый из рода Дубовичей, до сих пор могучих, богатых и славных — одни живут в Галиции, другие на далеком Далматском побережье».

* * *

— Вот вам и легенда, — сказал Вучич, откладывая тетрадь в сторону. — А по истории, скажу вам, что Дубовичи, действительно, выходцы с Карпат и что у моря появились они то ли в XIV веке, то ли в XV веке как эмигранты, после вековой борьбы за свою самобытность, так как они очутились в тисках между народами: с одной стороны подобрались к ним поляки, а с другой — мадьяры, и оставалось им на выбор — либо быть расплющенными между молотом и наковальней, либо выселиться и бежать. Любопытно, что странный знак дубовой ветки носили на теле многие из их рода, между прочим и Лала. Я помню, как ее девочкой купали в корыте. На левой лопатке. Совсем — три листа и желудь бледно-бронзового цвета... Чистая, родовитая Дубовичка.

Вучич глотнул вина.

— Вучичи породнились с Дубовичами в XVII веке — в самый разгар ускочества, которое для Адриатики было такою же грозою, как ваше Запорожье для Анатолийского берега. Это были бравые и смелые морские разбойники. Они били одинаково турок и христиан и умирали то на колу в Стамбуле, то под секирою палача на Пьяцетте в Венеции. Один из Дубовичей — Янко — лет двести тому назад слыл и был самым опасным морским пиратом на всем Средиземном море. Хотя официально он, как Отелло, числился на службе Венецианской республики, но в действительности был сам себе господин, некоронованный морской царь, и если грабил по преимуществу мусульман, то только потому, что

те были богаче. На самом же деле были ему безразличны и Христос, и Магомет, да, я думаю, и Бог, и дьявол. Грабил он сирийские берега, Алжир, забирался в Нильскую дельту... и даже, говорят, ходил за Гибралтар, в Атлантический океан, к островам Азорским, к Тенерифу, к Зеленому мысу... Оттуда ли, из Египта ли он вывез себе жену — негритянку? мулатку? цыганку? феллашку? коптку? — кто ее знает, только оставила память, что была темнолицая. Красивая Лала пра-пра и еще столько-то раз правнучка этой четы. С феллашкой приехала в Венецию ее сестра, еще более красивая, хотя и была она цвета чуть ли не эбенового дерева. Несмотря на то, в нее влюблялись принцы, кардиналы, к ней сватались нобили. Но она пожелала остаться старою девою. Замужнюю сестру звали Дивою, эту — Лалою — так два имени эти потом и повторялись бесконечно у рода Дубовичей. Одну из Лал вы сами знаете, а последняя Дива умерла семь лет тому назад. Она была тетка нашей Лалице, сестра ее матери. С легкой руки древней Лалы, старые девы, почти небывалые в роду Вучичей, почти не переводятся в роду Дубовичей. Лала — с ее курьезною ненавистью к мужчинам и замужеству — тоже поддерживает эту фамильную традицию. Семейные предания гласят, будто черные женщины, привезенные Янком, и потомство их — старые-то девы, весталки-то черномазые — остались некрещеными, и хотя соблюдали для видимости церковные обряды, но держались втайне особой темной веры, которую привезли с далекой родины их родоначальницы, жена могучего Янка и ее сестра, и передали в следующие женские поколения рода... И потому будто бы в семье Дубовичей никогда не умирает какой-то грозный и значительный ведовской секрет. Легенд и сказок вокруг разных Дубовичек, бабок и прабабок, наплетено множество. Даже эту последнюю Диву, тетку-то Лалицы, — она умерла в деревне близ Дубровника — крестьяне совершенно откровенно считали ведьмою, и когда она умерла, мне стоило боль-

шого труда отстоять ее могилу, потому что горцы желали непременно отрубить покойнице голову, пробить ей сердце осиновым колом и затем сжечь ее на костре.

— А то, — говорят, — мы знаем, какая она: повампирится и пойдет шастать по деревне, покуда всех нас не уморит...

Дикий бред — однако он чрезвычайно много повредил бедной Лале. Из Дубровника ее пришлось убрать именно из-за этой чуши. Все население ее ненавидело, потому что воображало, будто покойная Дива, умирая, передала ей свои чары, и теперь из девочки должна, дескать, вырасти ведьма еще страшнее той. А девочка была, как нарочно, угрюмая, странная, припадочная, лунатичка... Хорошо еще, что неробкого характера и силы богатырской, а то заклевали бы ее суеверы глупые. Поговорите с моими родственницами по душе: они не смеют говорить, я выучил их держать язык за зубами, но тоже уверены втайне, что в Лале живет-таки наследственное языческое знахарство. Когда я взял ее в дом — вы даже представить себе не можете, с каким негодованием взглянули на это все бабы в нашем роде. А она еще вдобавок — неуступчивая, спорщица, властная, супротивница... черт не черт, а есть-таки полчертенка во плоти! Надо быть таким свободомыслящим человеком, как ваш покорный слуга, чтобы выдержать поднятую против нее бурю бабьих наговоров и предрассудков. Даже покойная жена, кротчайшая женщина в свете и послушная мне, как овца, и та попробовала было ворчать, и та была недовольна. Однако, как видите, живем и уживаемся. И вообще, — Вучич засмеялся, — если до сих пор в Дубовичах сидел какой-нибудь бес, то ему пора бы подумать о новой квартире. Лала — последняя в роде Дубовичей по мужской линии, а забираться в линию женскую, к нам, окупеченным Вучичам-Дубовичам, пожалуй, такому старинному и аристократическому бесу даже унизительно... все равно, что из дворца — в магазин!

VIII

Дебрянский болел уже неделю, с той ночи, как привязалась к нему лихорадка. Он каждый день показывался на даче у Вучичей, но все на короткие сроки. После получасового разговора он ослабевал, мысли становились тяжелые, начинался шум в ушах, тело будто облегал каучуковый панцирь или корсет, появлялось ощущение давящего обруча вокруг головы... В воскресенье он вовсе не пришел к Вучичам, а вместо него приехал с извинением Гичовский — смущенный, расстроенный, заметно с заднею мыслью на уме и во взгляде, скользящем, беспокойном и ищущем.

— Мой друг совсем расхворался... Я пригласил к нему мистера Моллока, — сказал он.

— Что с ним? — встревожился Вучич.

— Да преудивительная вещь: Моллок определил, во-первых, острое неврастеническое состояние — ну в этом ничего особенного нет, и раньше бывало, — но причиною-то тому, представьте, он полагает — ну, как бы вы думали, что?! Нашел у Дебрянского все признаки жесточайшей малярии...

— Малярия на острове Корфу? Полно, граф, вы шутите! Откуда здесь быть малярии: камень и вода — вот и весь Корфу. Малярия бывает только там, где почва отравлена болотом, гнилою водою.

— А вот подите же... Моллок руками развел: первый случай за всю его корфиотскую практику.

— Что же он рекомендует?

— Сесть на пароход и ехать в Монако.

— Это зачем?

— Современная медицина знает только два места во всей Европе, где малярия проходит без лечения, сама собой: Ханге в Финляндии и Монако. О Финляндии Алексей Леонидович не хочет и слышать: у него безотчетное отвращение к северу. Значит, надо ехать в Монако.

— Боже мой! Вот уж истина, что радость не бывает без печалей... Как же быть теперь со свадьбой?

— Дебрянскнй думает, что если вы и Зоица согласны, то лучше всего будет обвенчаться немедленно, затем соединить полезное с приятным: и свадебную поездку совершить, и малярию путешествием уничтожить...

— Что же? Я нахожу это решение благоразумным. К свадьбе мы готовы. Не знаю, что скажет Зоица.

Позвали Зоицу. Узнав о болезни жениха, она перепугалась еще больше, чем можно было ожидать.

— Малярия? Но ее никогда здесь не бывало! — вскричала она вопросительно, устремляя сверкающий взгляд на Лалу, которая ее сопровождала.

Лала спокойно выдержала этот взгляд и пожала плечами. Лицо у нее было угрюмое, постаревшее, между бровями лежала тяжелая жирная складка... Когда Лала услыхала о непременном намерении Дебрянского немедленно венчаться, по хмурым чертам ее скользнула презрительная улыбка, никем не замеченная, кроме графа Валерия. Он, как только Лала вошла, впился в нее любопытными глазами и следил за нею, как сыщик... Она заметила это внимание, взмахнула на графа тяжелыми ресницами и несколько секунд держала его под суровым взором.

— Тебе-то чего еще надо? ты-то куда лезешь? — безмолвно спрашивала она.

Гичовский улучил минуту, чтобы подойти к ней.

— Лала, я хотел бы поговорить с вами...

Лала кивнула головой и вышла. Гичовский последовал за нею.

— Хотите в сад или пойдем ко мне? — предложила Лала.

— Нет, уж лучше в сад, — сказал Гичовский, — у меня к вам есть секрет, а из вашей комнаты все слышно на террасу.

Лала быстро взглянула ему в глаза и нахмурилась еще больше.

— Вот как! Я не замечала.

— А я замечал, — значительно повторил Гичовский.

Лала побледнела. Верхняя губа ее задрожала под усиками.

— Что прикажете? — спросила она, усаживаясь в олеандровой тени. — Говорите смело. Здесь нас никто не услышит, кроме синего моря.

Глаза ее были теперь спокойны, а голос звучал ровно и почти небрежно.

Гичовский взял ее за руку и прямо в глаза ей устремил пристальный взгляд своих ярких коричневых глаз. Лала улыбнулась с шутливым превосходством.

— Если вы намерены меня магнетизировать — не советую, — сказала она, — я сильнее вас, и вы заснете первый...

Но граф на шутку ее даже не улыбнулся.

— Лала, — серьезно сказал он, — Дебрянский очень трудно болен.

— Да, я слышала: малярия, — равнодушно возразила она.

— Лала, — голос графа звучал еще строже, — малярии на Корфу не бывает.

— Что же с ним в таком случае?

— Я предполагаю, что он отравлен.

Лала отшатнулась.

— Позвольте, граф... вы шутите...

— Мне, право, не до шуток, Лала. Я не хотел говорить старику. Моллок объявил Дебрянского почти безнадежным. Если болезнь пойдет тем же быстрым маршем, он дает больному две недели срока покончить свои жизненные расчеты: его съест последовательное истощение. И такой исход Моллок считает еще счастливым, потому что он боится, что перед смертью Дебрянскому суждено испытать ужасное бедствие... На своей родине он страдал нервною болезнью. Ну теперь она, по-видимому, возвратилась... Моллок опасается за его рассудок...

Лала сказала:

— Так. Но откуда же вы взяли, что он отравлен?

— Прежде всего из слов Моллока: это либо малярийное помешательство, либо действие какого-нибудь яда.

— Так и Моллок думает?

— Нет, он покуда держится за малярию и только изумляется, откуда она могла взяться, да еще в такой жестокой форме.

— По-моему, он совершенно прав.

— Нет, Лала. Я молчу — никому еще не намекнул ни словом — но видал я на своем веку малярийных-то больных. Это то, да не то. Да и Моллок-то, кажется мне, схватился за малярию только потому, что эта болезнь так широка и разнообразна в своих проявлениях, что под нее можно подогнать все, чего при диагнозе не понимаешь. Тот тип изнурительной лихорадки, как болеет Дебрянский, я наблюдал только однажды, в Африке, на болотах Гвинеи, о которых я когда-то вам рассказывал, и вам нравилось... помните, Лала?

— Да, помню, — сдержанно сказала она. — Так в болотах же. Где же и быть малярии, если не в болотах?

— Да, но, видите ли, эта форма и там казалась исключительною и неестественною. Негр, которого убивала эта странная малярия, оскорбил местное божество и был проклят его жрицами... Так что цветные в один голос говорили, что никогда не видали ничего подобного, и считали болезнь своего товарища божественным насылом; ну, а мы, белые, предполагали более вероятное: что жрицы несчастного кощунника не только прокляли, но и успели отравить.

Лала слушала графа, не меняясь ни в цвете, ни в выражении лица, и только сросшиеся брови ее, сжавшись к переносице, расположились на бледно-желтом лбу как-то так, что Гичовский невольно подумал: «И впрямь, точно крылья раскинула. Не диво, если бедному амальфитанскому парню по-

чудилось, будто Лала спустила на него грозную «мертвую голову» из-под этаких черных бровей».

— Странное, знаете ли, местечко этот уголок Гвинеи, о котором я вам говорю, — продолжал он с видом равнодушным и голосом беззаботным. — Населен он племенем, называемым уйдахи. Не слыхали? Они вам очень понравились бы, потому что у вас с ними есть общее пристрастие. Они страстные любители змей и держат их в домах своих ручными, совершенно так же, как вы своего Цмока...

Лала быстро взглянула на Гичовского, хотела что-то сказать, но удержалась, закусив губу.

— По словам уйдахов, — ровно говорил граф, делая вид, будто не замечает ее движения, — все эти ручные змеи — потомки или родственники одного Великого Змея, живущего в храме близ города Шаби. Не знаю, существует ли он действительно, но, по рассказам туземцев, он — величины невероятной, чудовищной, исполинской, «с верблюда», и живет при храме уже несколько сот лет: с тех пор как вверился уйдахам, покинув для них племя арда, и стал их единым и всемогущим божеством. Впрочем, негры говорят, что божество-то, собственно, не сам он, змей, но некий дух, в нем живущий, и змей храма Шаби только излюбленное из тел, в которые вселяется истинный Великий Змей, поклоняемый ими, мудрый друг людей и будущий хозяин мира. Сам же он — дух великой тайны и не может быть виден никем, за исключением жрецов и жриц своих, кроме немногих избранниц, которым является он видением при особых обстоятельствах — я объясню вам потом... Вы не устали слушать меня?

— Говорите, — отвечала Лала, — отчего же не послушать человека, который знает так много?

В двусмысленной фразе Лалы прозвучала насмешка. Граф проглотил пилюлю.

— Змея я не видал, зато был свидетелем, как жрицы его — их зовут «бетами», — старые, по большей части, и пречудо-

вищные, надо им отдать справедливость, бабищи, вербовали на службу ему будущих новых «бет». Вооруженные дубинами и факелами, черные вакханки, как шайка демонов каких-нибудь, метались по деревне, где мы стояли ночлегом, врывались в хижины, хватали и уводили всех девочек в возрасте от десяти до двенадцати лет. Никто им не сопротивлялся, напротив, все родители падали перед ними ниц, как пред богинями, с выражениями высшей признательности и счастья. Уводя избранниц, во все горло вопили какую-нибудь победную песнь, в которой часто и явственно повторялись слова: «Ева», «Эваа», «Эвга», «Эва». Это меня заинтересовало, потому что напомнило мне вопли античных вакханок, и, кроме того, я читал, что такие крики раздаются на молитвенных собраниях одной русской религиозной секты, называемой хлыстами. Я спросил у своих приятелей-негров, что значит это слово. Они очень охотно отвечали мне, что «Евга», «Евве», «Еваа» или «Евге» значит на их древнем языке «Самка Змея».

— Вот странно, — сказал я, — а у нас Ева — имя первой женщины, праматери человечества!

Но негры одобрительно защелкали языками и заявили мне, что и по-ихнему оно точно так же выходит: Эвга, «самка змея», есть в то же время Ева, праматерь рода человеческого. Ибо прежде, чем стать женою первого человека, по-нашему Адама, она любила Великого Змея. И он из любви к ней намеревался чрез нее открыть будущим людям мудрость мира, сделать всех их прекрасными, мудрыми, счастливыми и подобными богам. Но грозный Дух, вечный и непримиримый враг Великого Змея и соперник его за обладание землею и человечеством, победил Змея в жестокой борьбе, отнял у него Еву и покорил ее рабу своему, первому человеку, за то, что он изменил Змею и признал власть Духа. Поэтому женщины на земле, как побежденный пол, стоят ниже мужчин и должны творить их волю. Но будет некогда день, в который среди девственниц земли Великий

Змей изберет новую Еву, и она зачнет от него и родит чудо: великое священное Яйцо, из которого выйдет новый, юный Змей. Он объявит войну старому Духу, владеющему миром, и победит его, и заточит в темницу, и тогда для людей снова настанет счастливый и беззаботный век, который знали они в предвечные времена Великого Змея... И так как неизвестно, ни когда, ни какую девственницу удостоит Великий Змей взять, как новую Еву, то существует у них, уйдахов, обычай посвящать ему возможно большее количество девочек, входящих в брачный возраст, — обряд этого девичьего набора мы и застали в деревне.

Жрицы уводят девочек в храм, вокруг которого разбросан целый монастырь хижин, и дают им воспитание, необходимое для культа Великого Змея. Обращаются с ними очень хорошо, учат их пению, танцам, священным обрядам, но налагают на них «знак Змея», то есть подвергают их очень сложной татуировке, изображающей змей, символических животных, таинственные цветы. Кроме того, совершаются в монастыре этом какие-то особые женские таинства. Говорить о них воспрещается строжайше — под страхом, что виновную Великий Змей сожжет своим огненным дыханием. Угроза, к удивлению, оказывается настолько действительною, что никогда ни одна из кандидаток в Евы не проболталась о секретах жизни своей у жриц — дальше дозволенных пределов. Однажды ночью старухи неожиданно возвращают девочек в свои семьи, откуда их взяли. Родители должны щедро заплатить за их пребывание в монастыре и принести Змею богатые дары и жертвы в благодарность за честь, которую он оказал их роду, а «невеста Змея» остается в доме почетным лицом на положении как бы святой. Года два-три спустя, между 13 и 15 годами, «невесты Змея» возвращаются в храм для того, чтобы превратиться в «жен Змея»... Как и что при этом происходит, уж не могу вам изъяснить, но обряд великолепен и пышен, в городе бывает тогда великий и радост-

ный праздник. Назавтра после «свадьбы» со Змеем мнимую молодую возвращают в дом родительский, где ее принимают с таким почетом, как будто бы она была живая богиня. Когда приносят общественные жертвы, то часть их поступает в пользу этих змеиных супруг. Большинство из них остается безмужними всю жизнь, но некоторые с разрешения жриц выходят замуж. Супругам их нельзя позавидовать: муж обязан быть безусловным рабом своей освященной «знаком Змеи» жены и даже не смеет говорить с нею иначе, как стоя на коленях... Тот больной негр, о котором я начал вам говорить по поводу Дебрянского, имел несчастье обладать такою священною супругою. Так как он много водился с арабами-мусульманами и европейцами, то оказался несколько вольнодумцем и оказывал жене меньше почтения, чем она требовала. Она пожаловалась старостам — и черного вольтерианца жесточайше выдрали на деревенской сходке. Он обозлился и в отместку однажды вымазал божественную супругу свою, сонною, зловоннейшей грязью без всякой пощады к сокровенным святыням ее таинственной татуировки и потом, зная, что за это его живым сожгут, убежал в колонию к немецким миссионерам. Здесь его очень берегли, боясь, чтобы черные не отомстили ему, тем более, что все они смотрели на него с ужасом и отвращением, и он сам денно и нощно ждал, что его зарежут или отравят. Очевидно, последнее и удалось какому-нибудь фанатику, потому что в скором времени бедняга заболел злокачественною лихорадкою самого подозрительного свойства и умер в страшнейших галлюцинациях, причем тело его еще заживо стало разлагаться и падать лоскутами, будто труп умершего от укушения ядовитой змеи. Там, конечно, никто не говорил о малярии, но все славили гнев и мщение Великого Змея. У Дебрянского, за неимением другой гипотезы, определяют малярию, но я говорю вам: это заблуждение, ошибка, ложь. Он на моих глазах проходит те же фазисы умирания, что тот гвинейский

негр. О малярии тут и речи быть не может. Следовательно, остается предположить яд.

— Какой именно? — спросила Лала, оживляясь мрачным любопытством.

Всю повесть Гичовского она прослушала с каменным недвижным лицом, с бесстрастными, лишенными всякого выражения глазами.

— То-то вот, что не знаю.

Лала презрительно усмехнулась.

— Разве ваша наука не располагает средствами узнавать яды?

Граф покачал головой.

— Располагает, но не для всех ядов... Слыхали вы об aqua tofana *, Лала?

Девушка равнодушно возразила:

— Нет... откуда мне слышать?

— Так уж не поскучайте, позвольте вас просветить. Этот яд носит название по имени своей предполагаемой изобретательницы Тофании, которая жила, по одним преданиям, в XV, по другим — в XVII веке, а итальянский историк Венерати утверждает, будто эта великая отравительница казнена только в 1730 году. Равным образом честь быть ее родиною оспаривают Рим, Неаполь и Палермо. Нам все это безразлично. Главное же в том, что aqua tofana, или aquetta, или «манна святого Николая», являет собою яд, не уловимый ни на вкус, ни на запах: тот и другой присущи ему не в большей мере, чем хорошей ключевой воде, — он так же чист и прозрачен. Таким образом, о приемах аквы тофаны может знать только тот, кто отравляет, а никак не тот, кого отравляют, — его дело умирать и ничего не понимать, потому что память решительно ничего не подсказывает ему, чтобы он съел или выпил что-либо зловредное. Вторая важная

* См. пер. на с. 23.

особенность аквы тофаны, что яд действовал одинаково убийственно, каким бы способом ни вводили его в организм: через пищу — в желудок, через порез или царапину — в кровь, через дыхание — в легкие. Его можно было дать отравляемому каплями в воде, вине или супе, порошком в соде или макаронах, в нюхательном табаке, в аромате цветов, в соке яблока, в горении свечи, через укол отравленным кольцом или ключом, а об одной французской принцессе существует легенда, будто ее отравили аквою тофаною в мощах, к которым она прикладывалась с надеждою исцелиться от старческих своих недугов. Третья особенность — что, по смерти отравленного, яд не оставляет обличающих признаков, за исключением, как говорят некоторые, чересчур быстрого разложения трупа, которое иногда будто бы начиналось даже еще заживо.

Это любопытная подробность. Вспомните моего негра. Поэтому полагают, что аквою тофаною усиленно пользовались для политических и корыстных целей своих разные злодеи в коронах и тиарах, которыми так богаты XV, XVI и XVII века. Думают, что аква тофана был ядом домов Борджиа и Медичей. Вместе с Екатериною Медичи она перебралась во Францию и здесь усердно служила злодействам и интригам последних Валуа, покуда не обратилась на них самих. Большинство из них умерло при подозрительных обстоятельствах, в которых отравление чувствовалось всеобщим убеждением, но не могло быть доказано. Король Карл IX, говорят, был отравлен листами книги, которую он читал и послюнивал пальцы, чтобы переворачивать страницы. Способ, известный еще из сказок «Тысяча и одной ночи». Франсуа Алансонский умер от румяного яблока, в сочном золоте которого даже такой прожженный политический жулик, как этот принц, не мог заподозрить отравы, а по другим рассказам, он вдохнул яд в боевой своей палатке из масла в ночнике. Любопытно, что люди, прибегавшие к акве тофане, в конце концов

непременно сами от нее погибали. Так было с несколькими Валуа, так было с папою Александром VI Борджиа, который, думая отравить сына, отравился сам. Об этом Александре VI есть легенда, будто он, желая воспользоваться богатствами кого-либо из своих кардиналов, посылал обреченного отпирать дверь с очень тугим замком. Когда кардинал нажимал ключ, кольцо его чуть-чуть кололо ему пальцы, аква тофана поступала из кольца в укол, и кардиналу будто бы оставалось времени жить на земле ровно столько, сколько надо, чтобы написать завещание в пользу папы и принять от него отпущение грехов. Поэт и художник Джулио Мости подарил своей неверной любовнице перстень, она надела кольцо на палец — и умерла в тот же час.

— Зачем вы рассказываете мне все это? — прервала Лала.

— Позвольте мне докончить...

— Я хотела бы знать, какое отношение…

Гичовский перебил:

— Четвертая способность яда аква тофана была та, что им можно было убивать и на скорую руку, как в приведенных мною случаях с Борджиа и Джулио Мости, и можно было рассчитать и регулировать прием так, что он, начав действовать дня через четыре, даже больше, затем растягивал действие свое, по востребованию, на недели, месяцы, даже будто бы годы. Французский король Карл IX, о котором я упоминал, проглотил умертвивший его яд Рене Флорентинца за два месяца перед тем, как слег в смертную постель... Этот второй вид отравления, с ядом, действующим, так сказать, на расстоянии, интересовал меня в особенности. Изучив десятки подозрительных смертей, описанных в истории, где можно предполагать отравление через акву тофану, я открыл в них известное единство признаков и пришел к такому заключению: что бы ни представлял собой этот таинственный яд и из каких бы составных частей он ни соединялся, действие аквы

тофаны, когда ее давали не в моментально убивающих дозах, состояло в том, что она развивала в отравленном организме с невероятною быстротою и силою припадки малярийного типа. Выражались они, как всегда в малярии, тем, что болезнь, работая по линии наименьшего сопротивления, жестоко обрушивалась на слабые, худо защищенные, так сказать, предрасположенные к ней органы и именно их разрушала с ужасающей быстротой. Известно, что малярия, помимо своих чисто лихорадочных проявлений, способна скрываться с одинаковым удобством в форме страданий желудка, кишок, печени, сердца, нервных и мозговых. И в последних двух случаях малярия — естественного ли, отравного ли происхождения — весьма обычно завершается безумием и смертью.

Лала сказала, закусив губу:

— Сколько я понимаю, вы ведете речь к тому, что раз на Корфу нет малярийной лихорадки, то, следовательно, есть аква тофана, о которой, должна сознаться в своем невежестве, я впервые слышу.

— Это неудивительно. Секрет ее считается потерянным уже более ста лет.

Лала искусственно засмеялась.

— И вы предполагаете, что Дебрянский отравлен потерянным ядом? Это смешно!

— Я не сказал, что яд потерян; я только сказал, что он считается потерянным. Яд был известен слишком многим, чтобы он исчез из мира бесследно, тем более что в таком яде, снимающем с убийцы всякую ответственность, людская злоба постоянно нуждается. Есть подозрение, что еще сто лет тому назад секрет аквы тофаны был хорошо знаком некоторым коронованным особам, прибегавшим к старой, быть может, усовершенствованной в новых веках, благодаря химии, отраве Медичей и Борджиа для своих государственных целей. Католические авторы, наоборот, утверждают, будто аква тофана искони была в ходу у тайных религиозных

обществ — у тамплиеров, розенкрейцеров, потому что некоторые жертвы, ими обреченные на смерть, умирали с признаками отравления, однородного с теми, когда в XV и XVI веке работала несомненная и откровенная аква тофана. Признаки эти: лихорадка того же типа, как при туберкулезе легких, с высокими градусами температуры, сопровождаемая неутолимою жаждою, непобедимое отвращение ко всякой пище, упадок духа и глубокое равнодушие, даже ненависть к жизни. Все это, к слову сказать, у нашего бедного Дебрянского налицо. Тайные религиозные общества никогда не умирали, следовательно, нет данных особенно настаивать на том, чтобы умирали и их секреты. Тем более что секрет аквы тофаны, быть может, и не так уж мудрен, как обещает историческая таинственность. Некоторые исследователи, в том числе венский ученый-медик Иосиф Франк, имевший возможность лично наблюдать случаи очень подозрительных отравлений, полагают, что основным элементом аквы тофаны был мышьяк. Дерптский профессор Драгендорф думает, что она извлекалась из шпанских мушек. Затем существуют мнения, представляющие ее соединением кантаридина с опиумом или, точнее, с каким-либо из алкалоидов, входящих в состав опиума — кодеином или наркотином. Наконец возможно, что аква тофана была происхождения животного: какая-нибудь обработка змеиного яда. Этой гипотезе соответствует время, когда в Европе возникла легенда об акве тофане: эпоха великих морских путешествий в змеиные царства — в Индию и на Дальний Восток, первые исследования Америки, появление европейцев в Мексике, Перу, на Амазонке, во Флориде...

— Я не знаю, где это, и мне все равно, — холодно остановила его Лала. — Это все пустые для меня имена. Я не училась географии.

— Виноват, увлекся, — извинился граф. — Впрочем, довольно... Мой анекдот кончен.

— Итак, Дебрянский отравлен, — сказала Лала с недоверчивою улыбкою. — Кого же вы подозреваете в этом странном отравлении?

— Вас, Лала, — просто и спокойно возразил Гичовский.

— Меня?

Лала вскочила со скалы и смотрела на графа широко раскрытыми глазами...

— Вас, — продолжал граф. — Неделю тому назад, сидя вон там на террасе, я слышал ваш разговор с Зоицей. Вы грозили Дебрянскому смертью. И вот он, здоровый человек, почти богатырь, вдруг, ни с того ни с сего начинает умирать, с очевидными признаками медленного отравления. Естественное первое предположение, что отравили его вы. Тем более что вы принадлежите к тайной и грозной секте, которая владеет ядами богато и, во враждах своих, пускает их в ход артистически.

Страшный крик вырвался из груди Лалы. Она схватилась за голову:

— Ты сам умрешь, если посмеешь разгласить это! — взвизгнула она, краснея от гнева.

— Лала!

Граф встал и принял оборонительное положение, потому что Лала инстинктивным движением взялась за шпильку, торчавшую в ее косе, и ему вспомнилась смерть Делиановича.

— Я ничего не намерен разглашать, Лала; я только предупреждаю вас, что вы легко можете подвергнуться подозрению в отравлении...

— Я ничего не давала вашему Дебрянскому!

— Однако — если бы вы слышали его бред...

— А он уже бредит? — быстро спросила Лала.

— Уже, — подчеркнул Гичовский. — И не только бредит — галлюцинирует. Он все видит одного своего московского приятеля... недавно умершего. И, со слов этого мертвого приятеля, уверяет, что он испорчен и испорчен вами.

Лала молчала.

— Ну, а если бы и так? — сказала она наконец, поднимая голову с гордым вызовом, и продолжала:

— Вы слышали наш разговор с Зоицей и знаете, что Дебрянский осужден на погибель не мною, а силами высшими, чем я...

— Эта проповедь будет не по адресу, Лала, — сухо возразил граф. — Я не верю в существование сил, высших человеческого разума и воли. А если вы в них верите, то поступок ваш с Дебрянским — плохое доказательство их могущества. Если сила — высшая, то она не должна, постыдно ей нуждаться в яде. Это преступное шарлатанство, Лала!

Лала протянула вперед обе руки с видом торжественным и вдохновенным.

— Будь они — эти силы, убивающие вашего друга, — свидетелями, что я не отравляла Дебрянского... До настоящего дня я даже не знала, что такое аква тофана, о которой вы говорили. Я не нуждаюсь в ней, чтобы его наказать. Он приехал сюда, уже осужденный ими... Они искали его, но были безвластны его схватить... Но я позвала их, и они приблизились к нему... Позову еще, и он будет весь в их власти... Моллок лжет, что он безнадежен. Пусть откажется от Зоицы, пусть бежит отсюда — я пощажу его. Мне будет очень трудно сделать это. Я сама рискую собой, но я сделаю так. Не для него — он ничтожество — но для Зоицы, которая имела безумие его полюбить, и я не хочу, чтобы она отравила свою жизнь слезами о его погибели...

— Скажите, Лала, — я имею право это спросить, — вы против брака Зоицы только с Дебрянским или против всякого?

— Всякий брак — могила для Зоицы и ее избранника, — мрачно отвечала Лала. — Она не имеет права выйти замуж. Она рождена для другой цели, высшей, чем обнимать мужа и родить детей.

Лала опомнилась от первого смущения и вызывающе глядела на графа.

— Да! Я — жрица Великого Змея, Арве Мирде, ибо таково имя его в народе его, тайна которого коснулась вас на гвинейском берегу. Жрица Великого Змея и царства мертвых, которыми повелевает он, изгнанный от живых не называемым Духом-Победителем. Я ношу знаки его на теле своем. Вы узнали в Шаби живой символ моего бога. Но есть другой символ его на земле — излюбленная им великая северная водная змея, могучая мать — Обь, родина вдохновенных шаманов, святая река, от которой мы, поклонники Змея, берем название своей веры, той веры, которую вы, русские, называете черною. Есть Змей — земной образ Змея, и есть Великий Змей, познаваемый духом. Есть образ Оби в Сибири, и есть незримая Обь — эфирный океан смерти, разлитой между землею и звездами. Да! Я верую в великую Обь и в силы, ей покорные. Верует в нее и Зоица. Когда я умру, она похоронит меня по обряду сибирских жрецов, мой дух войдет в нее, и я буду жить в нем, как во мне живет дух покойной моей тетки Дивы, которая спит в ущелье близ Дубровника. Ее могилою Зоица присягнула остаться девственной служительницей таинственного слияния любви и смерти, обожаемого нами в слове «Обь»... Теперь вы, граф Валерий, знаете, с кем имеете дело. Триста лет живет тайна Матери-Оби в недрах великого рода Дубовичей. Триста лет обрекают женщины нашего рода одну из среды своей девственному жречеству пред алтарем Великого Змея. Триста лет — от древней черной Лалы, которую некогда вывез Янко Дубович с тех самых африканских берегов, где были вы, и до меня, последней Лалы, — ждем мы исполнения обетований: нисшествия Великого Змея в возрожденной Еве... Черная Лала никогда не умирала: она здесь, в груди моей, она была — она, потом она была — другие, потом — тетка Дива, и теперь она — я. Мы ждали и ждем, но не могли и не можем дождаться, потому что

есть откровение, и раз вы знаете так много об Арва Мирде, то должны знать и его обетование: возрожденною Евою будет белая девушка без капли черной крови. Та очевидность, что я оставалась последняя в роде Дубовичей и некому — не то что в родне, но даже в свойстве — передать мне силы свои ближе, чем Зоице, это — не простой случай, но указание святой Оби. Мы, отслужившие срок свой черные жрицы, не нужны более Великому Змею. Времена исполняются. Он нашел свою избранницу. Вещие сны и гадания открыли мне его нареченную — эту белую девушку без капли черной крови, возрожденную Эвгу, радостную отречься от Адама для Самаэля — будущую мать нового Змея-Победителя, который победит зависть Духа и станет счастьем земли, и сделает людей — как боги.

— Особа, которой вы предсказываете столь блестящую карьеру, сколько я могу понять, Зоица Вучич?

— Да, Зоица Вучич.

— Я знаю это уже целую неделю, но, признаюсь, худо сам себе верил. Встретить культ Оби в Европе, среди цивилизованного общества — неожиданный и маловероятный сюрприз.

— Слуги Оби разбросаны всюду. Во льдах Азии, под пальмами Африки, в Америке за синим океаном. Всюду слышит детей своих могучая Обь и, покорная их зову, помогает им в беде. И теперь, когда ее будущая жрица, невеста Великого Змея, забыла свое призвание и собралась совершить великое преступление, Мать-Обь спасает свое заблудшее дитя и устраняет причину ее греха...

— Если Мать-Обь так сильна, — возразил граф, — зачем она допустила их встречу? Она могла бы поразить Дебрянского заранее, по предвидению, на севере...

— Она и поразила его,— гордо сказала Лала. — Обь — царица мертвых. Она послала к Дебрянскому прекрасную мертвую женщину, которая полюбила его и залюбила бы до

смерти, если бы он не бежал... Но он не уйдет от нее, не уйдет... Она — здесь; я чую ее, разлитую в воздухе над Корфу; и это она — малярия, убивающая вашего друга! А вы говорите об акве тофане!

Она приблизилась к графу и положила руку на его плечо.

— И ты погибнешь, если не сойдешь с нашей дороги... Берегись! Мне было бы жаль тебя... Не отнимай у Оби ее добычу; оставь мертвое мертвым: иначе они возьмут тебя самого... Прощай! Я извиняю тебе угрозы, которыми ты начал, потому что ты не знал силы той, с кем говоришь. Но искренно говорю тебе: отойди, не надо больше. Потому что слова, летая в воздухе, образуют формы, и силы, зрящие формы, не забывают слов. И оскорбляясь словами, мстят за них. Не накликай на себя мести сил. Они слепые и неудержные: только движут и не рассуждают. Свершиться должно — свершится! Прощай!

Она исчезла, как призрак. Гичовский рассердился, покраснел и топнул ногою.

— К черту все! — проворчал он. — С ума можно сойти! Далматские плутни и негритянские бредни. Гностическая отрыжка и путаница из Кабалы. Однако и соперника же удостоился бедный мой Алексей Леонидович. Если ему удастся выпутаться из когтей малярии, то посмеемся мы со временем... В самом деле, mésalliance* невообразимый, и я отчасти понимаю аристократическое негодование Лалицы Дубович. Девушке предстоит получить в мужья райского Змея-искусителя, то есть самого Сатану, и подарить миру что-то вроде Антихриста, а она упирается и желает замуж за москвича из какого-то Купеческого, что ли, или Волжско-Камского банка...

Он вошел в виллу с твердым намерением рассказать все Вучичу, но уже не нашел старика: во время разговора графа с Лалою Вучич, обеспокоенный болезнью нареченного зятя,

* Мезальянс, неравный брак *(фр.)*.

укатил со свойственной ему подвижностью проведать больного в отель.

Гичовский подумал и нашел, что оно, пожалуй, к лучшему:

— Ну как этот пират в отставке, узнав, в какую игру затянула Лала его любимую дочку, возьмет да и расшибет злополучной Лале череп? Я не согласен. Девка любопытная, фантастическая. Я должен ее изучить. Это клад мне в руки дается.

Он тоже направился в город. Пешая дорога дала ему время раздуматься и рядом одиноких мыслей разожгла в нем обычное любопытство к неизведанному. Он рассуждал:

— Лала говорила сейчас совершенно искренно. Если она обистка, то клятва Обью — для нее великая сила: под Обью слуги Оби не лгут. Поэтому словам ее, что она ничего не давала Дебрянскому, можно верить. В возможность погубить человека внушением «дурного глаза» я вполне верю, и если бы Дебрянский, подготовленный и предрасположенный к нервной болезни еще с Москвы, заболел или даже умер от злобного гипноза Лалы, как умирали суеверные люди от взгляда певца Массоля, я нисколько не удивился бы.

Внушение смерти не раз приводило смерть. Человеку объявляют, что он будет обезглавлен. Завязывают ему глаза, заставляют его положить голову на плаху и — с размаха бьют по шее мокрым полотенцем. «Вставай!» Но обезглавленный не шевелится: он покойник. В 1750 году в Копенгагене врачи уверили одного приговоренного к смерти, что он будет казнен через выпускание крови из артерии. Ему завязали глаза, прикрепили его к оперативному столу, сделали ему незначительный укол на шее, а затем поставили у головы его сифо́н с водою так, чтобы ему на шею непрерывно лилась струйка воды и с легким журчанием стекала в таз на полу. Осужденный слабел по мере того, как вытекала мнимая кровь и наконец лишился чувств, и — убежденный, что из него выпустили, по крайней мере, восемь фунтов крови —

умер от страха. Рише сообщает о больном, которому отец его должен был сделать операцию камнесечения, и больной на оперативном столе умер от страха в тот самый момент, когда хирург еще намечал ногтем на коже линию будущего разреза. Наконец, вот случай ложного яда, оглашенный в «Lancet». Молодая девушка, желая покончить с жизнью, съедает некоторое количество безвредного порошка в уверенности, что это стрихнин, ложится в постель, и, несколько минут спустя, ее находят мертвою. Но никаким внушением нельзя вызвать симптомов совершенно определенного и точного отравления в человеке, который не знает, каким именно ядом считать себя отравленным ему внушено. Разве что поверить Жюлю Буа, который уверяет, будто «злой маг» Станислав Гюайта, живя в Париже, отравил «доброго мага» аббата Иоанна Буллана, жившего в Лионе, через расстояние, «приведя яд в летучее состояние и направив его в пространство». Но ведь это же — магия из парижского кабаре, шарлатанство в маске угрюмого шутовства, наследие жулика Вентра. С другой стороны, если возможно перенести на расстояние мысль и электрическое действие, почему нельзя сделать того же с любою атомистическою силою? Я не верю тому, чтобы Гюайта и Пеладан колотили Гюисманса флюидическими кулаками и чтобы черные маги наносили Иоанну Буллану удары в сердце и печень из-за трехсот верст, потому что вся эта компания друзей-врагов — наполовину полоумные, наполовину плуты, задавшиеся целью переврать правды, которые они слышали одним краем уха, притом не весьма умного. Но принципиально я не решусь отказаться от возможности удара на расстоянии уже потому, что это значило бы отказаться от принципиальной возможности телеграфа без проволоки, который мы не сегодня-завтра иметь будем. Врач Рекамье, близ Бордо, видел кузнеца, умиравшего от бессонницы, потому что котельник, живший в полуверсте, за которого он отказался

выдать свою дочь, из мести мешал ему спать, колотя всю ночь по своим котлам. «Зачем ты колотишь ночью в котел?» — спрашивает Рекамье. «Чтобы не давать спать Николаю. — «Как может слышать тебя Николай на таком дальнем расстоянии?» — «Однако вы же знаете, что он слышит». — «Почему?» — «Потому, что я *хочу*, чтобы он слышал». Доктор Макарио лечил крестьянина, каждую ночь видевшего привидение, напущенное на него, по его убеждению, соседом по усадьбе, в километре расстояния. На допросе сосед сознался, что каждую ночь он у себя в доме одевается в белую простыню и ходит по комнате, говоря те самые страшные слова и делая движения, которые — у себя в доме — видит и слышит его гонимый враг. Видит и слышит тоже потому, что сосед *хочет*, чтобы он видел и слышал. Легенды об ударе на расстоянии были во все века, и крепко живут, и держатся у всех народов. Это — головня Мелеагра, это — магическое зеркало и выстрел в портрет, которым будто бы масоны убивали своих изменников, восковые фигурки Екатерины Медичи...

Он застал Вучича у постели Дебрянского. Последний прилег было, одетый, отдохнуть и тотчас забылся, стал бредить и с совершенно как будто разумным взглядом говорил непонятные фразы о Петрове, об Анне, о Зоице и Лале... Моллок — рыжий, длинный, зубастый Джон Буль — с холодным любопытством наблюдал больного.

— Его нельзя оставить одного, без присмотра, — волновался Вучич. — Какой здесь уход? Надо перевести его к нам... Не правда ли, мистер Моллок?

Англичанин кивнул головой:

— Отлично. У вас много моря. Если это малярия, он будет чувствовать себя легче.

Когда пароксизм кончился, Алексею Леонидовичу предложили перебраться на виллу. К удивлению доктора и Вучича, он заупрямился. Вучич даже рассердился.

— Почему же нет? Почему? — почти кричал он. — Чужой вы мне, что ли? Боитесь компрометировать Зоицу? Так ведь вы же жених ее. Сыграем свадьбу, как только поправитесь.

— Любезный тесть, — возразил Алексей Леонидович с тревожным блеском в глазах, — я знаю, что не могу противопоставить вашему желанию ни одной разумной причины. Но у меня есть свои доводы, нелепые, может быть, но очень сильные... Выйдите на минуту в коридор. Я посоветуюсь с графом Валерием: как он скажет, так тому и быть...

Моллок и Вучич вышли.

— Вы знаете, о чем я хочу говорить? — спросил Дебрянский.

Граф на его внимательный взгляд ответил таким же внимательным.

— Кажется, догадываюсь.

— Граф, меня никто не разуверит в том, что я гибну жертвою Лалы.

— Гибну — сильное слово, — возразил граф, — но госпожи этой, я не стану разуверять вас, вам, действительно, надо опасаться, так как — черт ее возьми совсем! — она бешено зла на вас и, по дикому невежеству и суеверию своему, в самом деле вполне способна устроить вам какую-нибудь большую гнусность.

— Вы говорили с ней? узнали что-нибудь? — быстро прервал его больной.

— Да... как вам сказать... Говорил, да. Она странная особа, очень опасная и вредная во всяком случае... Или фантастка дикая, фанатическая, или отчаянная и мрачная шарлатанка... Каюсь, я было заподозрил даже, что она подсыпала вам чего-нибудь в вино или воду.

Дебрянский качал головой:

— Нет, нет, нет... я испорчен, а не отравлен... я чувствую себя снова, как в Москве, под влиянием...

Он остановился, бросив на Гичовского подозрительный взгляд.

— Будьте откровенны, Дебрянский, — сказал Гичовский, — это очень важно.

Алексей Леонидович молчал и только смотрел жалко-жалко...

— Эта ведьма... Лала... — сказал он наконец, — я боюсь ее, Гичовский, до ужаса боюсь. Из-за нее не хочу переезжать на виллу. Пусть вся ее власть надо мною — один бред расстроенного воображения, пусть она такая же, как все мы, может быть, даже лучше нас. Но раз я уверен, что она приносит мне вред, неужели вы думаете, что вблизи ее я буду чувствовать себя спокойно и могу поправиться?

— О нет. Конечно, вы правы. Но какую же приличную причину отказа мы скажем Вучичу?

— Ах, да скажите прямо настоящую! Что тут церемониться? У меня смерть в груди! — с досадою утомления, задыхаясь, произнес больной и закрыл глаза.

Но Вучича было трудно переупрямить. Узнав, что вся остановка из-за Лалы, он только нахмурился косматыми бровями и головою кивнул:

— Ну мы все это оборудуем.

И не заходя обратно в номер к Дебрянскому, сел в свою коляску — и умчался.

Гичовский сел возле дремлющего больного, вынул из кармана газету и с полчаса читал о выборах во Франции.

— Граф, — услыхал он голос Дебрянского, — помните ли вы: при первой нашей встрече я обещал вам рассказать странную галлюцинацию, жертвою которой я был в Москве.

Гичовский кивнул головою.

— Если вы расположены слушать, я хотел бы исполнить свое обещание.

— Я-то, конечно, расположен, Алексей Леонидович, но вас-то, я боюсь, эти воспоминания утомят и взволнуют, не повредили бы вы себе...

— Нет, ничего. Да если бы и так, должен же я посоветоваться и разрешить свои сомнения... Наедине с ними в тоске болезни этой я хуже себя убиваю... Я очень боюсь сойти с ума, дорогой друг мой, а иногда мне кажется, что я уже сошел. Выслушайте меня, проверьте болезнь моего мозга — я доверяюсь вам, потому что вы можете тонко чувствовать и разберете в бреде моем, что было внутри меня, что — извне... Этот рыжий доктор туп и прямолинеен, он ничего не смыслит, кроме своей латинской кухни. Рассказать Вучичу я не решаюсь, потому что Зоица суеверна и я боюсь ее перепугать... Хотя... быть может... вот, выслушайте и дайте мне совет: возможно, что мозг мой уже в таком плачевном состоянии, что мне следует лучше отказаться от Зоицы? Не погублю ли я девушку за собою? Гожусь ли я для брака и потомства? Не создам ли я какую-либо чудовищную наследственность? Обрекать девушку быть женою сумасшедшего — преступление, плодить психических выродков — тоже... Помогите мне. Я постараюсь быть как можно спокойнее. Слушайте. Вот — тот секрет, который загнал меня на Корфу...

Долог был рассказ больного, и, когда он кончил, Гичовский долго сидел смущенный, молча. В уме встали — вызывающим совпадением — недавние слова Лалы о мертвой женщине, которой силы Оби будто бы отдали Дебрянского в жертву.

— Почему вы молчите? — задыхаясь, спросил больной.

— Потому что я должен обмыслить фантастику вашего рассказа в естественную систему и найти к нему логический ключ. Я не принадлежу к числу тех, кто отделывается от подобных историй легким словом «галлюцинация».

Больной со страхом уставился на него.

— Вы верите в реальность этой... Анны?

— Нисколько.

— Этого не могло быть?

— Никак.

— Тогда — почему же вас смущает, зачем не хотите вы определить ее появление моею галлюцинацией?

— Напротив. Я именно так ее определяю, но ложные представления имеют свою логику: это те же сновидения, только наяву. Приблизительные сновидения можно фабриковать по заказу. Альфред Мори делал по этой части опыты изумительные. Логика сновидения идет кривыми или даже зигзагами извращения мысли, но все-таки остается логикою, и если ее не всегда удается проследить, то лишь по лени нашей слишком внимательно и пристально рыться в бесчисленных мелочах нашей дробной бодрственной жизни, дающей нашим снам наводящие отражения. Что человек смутно чувствует в снах присутствие логической основы, тому доказательство — извечное существование сонников. Все они — не что иное, как попытки своего рода научной классификации, желание найти в зыбкости грез закономерность, устойчивость и предсказательное постоянство. Всякий сонник, начиная с «Oneirokritikon» * Артемидора Эфесского, делившего вещие сны на теорематические и аллегорические, даже, пожалуй, начиная с Гомера, в стихах которого о белых воротах слоновой кости для снов, не имеющих значения, и о других, роговых, для вещих сновидений, Шопенгауэр усматривал намек на белое и серое вещество мозга, — так всякий сонник, говорю я, есть изыскание бредовой причинности, только обращенное вперед, а не назад, от себя, а не к себе. Причинная связь вашей московской галлюцинации обнаруживается легко. Этот врач Прядильников был совершенно прав, предостерегая вас от визитов к Петрову. Его бред упал на подготовленную почву нервного расстройства, в вас назревавшего и которому навстречу вы сами шли с тем легким кокетством, что свойственно почти всем неврастеникам: пока нет невроза — почти обидно, зачем его нет, что, мол, я за

* «Толкование снов» *(др.-греч.)*.

грубая натура такая, что лишен его интересной чуткости? А нажил невроз — ан, и не знаешь, куда его деть, только дрожишь, как бы он не перешел в психоз? Не правда ли?

Дебрянский согласно склонил голову. Гичовский продолжал.

— Вы занимались оккультизмом. Скверно занимались. Любительски, дилетантски, в полувере, поисками «интересного», способного жутко пощекотать нервы и смутить чувства, такого, чтобы получить сильное ощущение и чтобы мороз подрал по коже. Это опять-таки кокетство с собственною нервною системою. Кто подходит к оккультическому ведению не во всеоружии «ума холодных наблюдений», кто не прочь соприкоснуться с ним чувством и полуверою фантазии и любопытства, тот никогда не будет господином оккультизма, но непременно станет его рабом или, по крайней мере, временно обязанным. Ваше мистическое чтение, ваши сеансы подготовили, так сказать, воздух для материализации бреда, который вы усвоили себе от Петрова, и достаточно было вам получить толчок от его безумного завещания, чтобы — на почве нервного расстройства и в воздухе поверхностной мистики — заразная галлюцинация вылепилась в самом деле, как какой-то «пузырь земли»... Знаете, о «лепком воздухе» — это у него, вашего Петрова, вышло выразительно. Это мне напоминает немца, который высчитал, что в пространство одной кубической мили может войти до ста тысяч миллионов умерших душ.

Дебрянский остановил его.

— Я нисколько не сомневаюсь, что вы правы в объяснении происхождения моей первой галлюцинации. Но не забудьте, что она была не минутная, но длящаяся, и повторилась несколько раз.

Гичовский пожал плечами.

— Относительно длительности галлюцинаций ни вы, ни я — не судьи. Знаете, почему бессмысленны на сцене и никогда не осмыслятся, как бы красиво их не ставили и хорошо ни

играли, явления Духа в «Гамлете»? Потому что надо пересказать «мгновение» — даже не столько, сколько надо, чтобы сосчитать до ста, как уверяет Марцелло, а именно-таки мгновение. Мгновение во сне может быть полно действия на часы и даже на дни, но рассказать и показать действие мгновения в течение часа — скука, неестественность, чепуха страшная. Поэтому-то рассказывать сны справедливо почитается занятием довольно праздным, потерею времени. Сон очень слабо считается с идеей пространства и вовсе не считается с идеей времени, которое он заставляет работать в истинно бешеном темпе, с быстротою молнии. Мори однажды, в лихорадке, как вы, видел во сне Великую французскую революцию: террор, уличные убийства, конвент, революционный трибунал, Робеспьера, Марата, Фукье-Тенвиля, вел с ними дебаты, был арестован, схвачен, судим, приговорен к смерти; вот его везут на колеснице при огромном стечении народа на площадь Революции, вот он входит на эшафот, палач привязывает его к роковой доске, раскачивает ее, и топор падает. Мори чувствует, что его голова отделилась от туловища, просыпается в страшной тоске и видит, что у него на шее стрелка от кровати, которая неожиданно оторвалась и упала ему на шейные позвонки, как нож гильотины. По словам его матери, это случилось в ту же минуту, как Мори проснулся, а между тем это внешнее впечатление послужило исходною точкою для сложнейшего сновидения, успевшего охватить целую историческую эпоху. Так точно один больной доктора Реха, приняв гашиш, прожил в течение одного часа три тысячи лет. Я наблюдал в России читальщиков псалтыря над покойниками. Эти усталые люди иногда охватываются быстро преходящим сном — на точке, на красной строке, на повороте страницы, причем засыпание и пробуждение так быстро следуют одно за другим, что, слушая их чтение, посторонний человек не замечает этих сонных ин-

тервалов. Между тем сам спящий чувствует их отлично — вдруг ни с того ни с сего обращается к вам со сконфуженным вопросом: «Я, кажется, вздремнул?» — и если вы начнете его расспрашивать, то окажется, что он успел видеть длинный и интересный сон. Сновидение — это вечность в мгновении. То же самое и с галлюцинациями. Вы не убедите меня, что видели эту Анну часами. Страшная галлюцинация Лавалета, когда мимо него прошла армия мертвецов, для него длилась пять часов, а для мира, по его же, Лавалета, потом счету, десять минут, в действительности же, ровно столько секунд, сколько скрипели, выпуская мнимых мертвецов, разбудившие Лаваллета крепостные ворота. Это вы переживали мгновение Анны часами, а самая галлюцинация длилась не долее, чем удар стрелки по шее Мори, чем сонный интервал на повороте страницы у читальщика псалтыря. Да, я докажу вам это. О первом вашем обмороке вы полагаете, что он длился часами. О втором — вам достоверно известно, что ваш человек стал приводить вас в чувство немедленно после того, как вы упали в обморок. Между тем ваши впечатления — видение и переживания — в обоих обмороках совершенно тождественны, одинаково подробны и, значит, одинаково длительны. Значит, часов обморока для галлюцинации вашей совсем не надо — она превосходно укладывается в минуты, а всего вероятнее, что минуты сводятся к секундам, и разница была не в длительности обмороков, а в глубине их: первый был глубже второго, почему и показался вам дольше. Согласны помириться на этом компромиссе? Ну вот! — обрадовался он, видя, что лицо больного как будто проясняется.

— Что касается повторности, то, к сожалению, милый мой Дебрянский, у галлюцинаций, вследствие сильного впечатления, которым они поражают наши чувства, есть способность развивать в нас чрез эмоцию страха самовнушение движений невольных и противоположных. Вы, конечно, на-

блюдали, что люди, страдающие tic douloureux *, тем более кривляются лицом, чем сильнее стараются не выказывать своей болезни? Достаточно мысли о зевоте и даже именно о том, как бы не зевнуть, чтобы захотелось зевать. Истерические женщины сплошь и рядом в припадках своих говорят и делают именно то, чего не хотят говорить и делать. Дама идет со свечою по длинному темному коридору. Ей приходит в голову: «Вот было бы страшно здесь, если бы свеча погасла, и я осталась в темноте». И едва эта мысль пришла ей в голову, как она задула свечу! Вот этакое-то противовольное самовнушение испуганного воображения и становится в нас орудием повторных галлюцинаций. Вальтер Скотт в своей «Демонологии» рассказывает, со слов знаменитого доктора Грегори, об одном больном, которого изо дня в день, аккуратно через час после обеда, посещал призрак старой колдуньи в красном платье и колотил его палкою так, что бедняга лишался чувств. Грегори предложил больному провести это опасное время вместе с ним. Они отлично пообедали вместе, и больной прозевал точный срок своего видения, но, несколько минут спустя, спохватился, противовольное внушение вошло в силу, и призрак оказался тут как тут — с криком: «Вот она, ведьма!» — больной упал в обморок. Это галлюцинация человека, расположенного к апоплексическому удару, который вскорости его и поразил. Ваше привидение, навеянное любовным бредом Петрова, «Коринфскою невестою», болтовнею о ламиях, было эротического характера: поделом вам, не сидите чуть не до сорока лет в старых холостяках. Памятуйте, мой друг, великого плута Парацельса, который иногда, шарлатаня, говорил преумные обиняки: «Магнит здоровых привлекается испорченным магнитом или хаосом больных; магнетическая сила женщин вся в матке, а мужчин — в семени». По-

* Нервное подергивание мышц *(фр., мед.)*

ловые аномалии и галлюцинаторное состояние — теснейшие соседи.

Ваш психиатр поступил очень умно, что отправил вас путешествовать. История привидений доказывает, что они более всего ненавидят расставаться с местом и обстановкою, среди которых однажды появились. Это такие лежебоки и увальни, что иногда им лень перейти даже в одном доме из комнаты в комнату. Доктор Лелю в Бисетре достигал прекращения галлюцинаций у своих больных уже только тем, что переводил их из одной палаты в другую, в общество все новых и новых товарищей. Наоборот, если галлюцинат остается все в той же обстановке и среде, где началась его галлюцинация, где все наводит его на воспоминание о ней и на ожидание ее, она укрепляется, приходит и ярче, чаще, становится, так сказать, фамильярнее и наконец может сделаться для больного более властною и действительною, чем явления реальной жизни. Тот же Вальтер Скотт рассказывает о больном, который все видел скелет в ногах своей постели. Медик, желавший убедить его в ошибке, стал между больным и тем местом, где было видение. Больной тогда начал утверждать, что, правда, скелета он более не видит, но череп еще торчит из-за плеча медика. Бывали примеры, что люди сживались со своими галлюцинациями именно фамильярно. Знаменитые духовидцы-спиритуалисты XVIII века, как Николаи либо Сведенборг, принимали ложные представления совершенно спокойно, как гостей из другого мира. Конечно, в спокойствии этом играло важную роль их мистическое миросозерцание, но если вы видали, как пьяница, не заботясь решительно ни о каком миросозерцании, гонит щелчком черта с рюмки, то вот вам пример, как галлюцинация привычкою может перейти из ужасного в обычное и даже комическое... Если бы вы остались в Москве, я нисколько не удивился бы, услыхав, что ваша прекрасная покойница принялась посещать вас каждую ночь. Но здесь, что хотите, надо вам о ней совершенно поза-

быть. И неоткуда ей взяться, и если бы что-нибудь даже померещилось, то владейте собою, черт возьми, не забывайте, что пред вами не существо, но ваша же ложная идея...

Дебрянский слушал его бодрую речь и все светлел лицом и глазами.

— И Лалицы не бойтесь. Признаюсь вам, сегодня утром я сам было струхнул за вас. Но с тех пор как она поклялась мне, что вы не отравлены, я спокоен. От малярии вас спасет путешествие, а в то, чтобы человек вашего сложения, образованный, с воспитанной волею, не устоял против самовнушения «дурного глаза» и был тяжко болен чрез воображение, в это я не верю, хотя вы и плачете, что испорчены. По крайней мере, такие болезни в России определяются как «не к смерти, но к славе Божией». Когда Флобер описывал отравление Эммы Бовари, он имел во рту такой ясный вкус мышьяка, он сам был так отравлен, что выдержал одно за другим два жестоких несварения желудка, со рвотою и прочими выразительными симптомами, однако, в конце концов, воображаемый мышьяк убил только действующее лицо, но автор остался цел, здоров и невредим... Воле враждебного влияния противопоставляется воля сознательной самообороны, и рассудок должен поправить здоровье, расшатанное чрезмерною чуткостью или самообманом инстинкта.

— Ну, а вопрос о моей женитьбе... вы его замолчали, граф.

— С точки зрения наследственности я не могу вам ответить и не считаю себя вправе быть судьею, потому что родословия вашего не знаю и болезни вашей не изучал... Думаю, однако, что если бы все, кто имел в жизни своей несчастье стать жертвою ложных представлений, перестали жениться и рожать детей, то род человеческий значительно сократился бы.

— Притом, — раздумчиво произнес больной, — если бы я сейчас отказался от Зоицы, то, не говоря уже о мучительности этого переворота для меня, об оскорблении, ко-

торое я наношу Зоице и Вучичу, негодяйка Лала могла бы вообразить, что я ее струсил... Ну нет. Этого торжества я ей не доставлю. Назло всем ее суеверным гадостям мы с Зоицей обвенчаемся в первый же день, когда я буду уверен, что смогу выстоять полчаса под венцом и ходить твердыми шагами вокруг аналоя... И вы будете моим шафером.

— И я буду вашим шафером.

В дверь постучали. Это вернулся Вучич — довольный, сияющий.

— Все устроено! — объявил он, потирая руки. — Я нанял для Лалы отдельную хижинку по другую сторону нашего залива, и она туда уже перебралась со своим Цмоком. А мы едем к нам, едем без разговоров и немедленно!.. Э, голубчик! Да вы молодцом смотрите. Гораздо лучше, чем когда я вас оставил...

Дебрянского уложили в коляску — и увезли. Граф Гичовский под предлогом, что должен написать несколько важных и спешных писем, остался в городе.

«Все это, чем я утешил его, весьма прекрасно и справедливо, — размышлял он, бродя по Эспланаде, — и я очень рад, что мог его подбодрить и успокоить. Но в успокоение самому себе желал бы я понять и объяснить: каким же все-таки образом Лала узнала об этой его галлюцинации, если он никому здесь о ней не рассказывал раньше меня? Выходит ведь так, будто некто видит сон, а третье лицо этот сон со стороны наблюдает. Положим, что Фламмарион — любовник мечты, и казусам его грош цена. Это логическая бессмыслица. Чужое ложное представление можно усвоить себе от субъекта под его влиянием и тогда разделить его с ним, что бывает при массовых галлюцинациях, но почувствовать ложное представление, которое субъект скрывает, угадать чужую галлюцинацию без наведения — такое чтение мыслей было бы, в самом деле, сверхъестественным. Уж скорее я допущу, что Лала — через расстояние — слышала те же бреды Дебрянского, которые слышал я, сидя у его постели. Эта женщина

сама живет в хроническом бредовом состоянии, которое весьма часто связывается с обострениями слуха, почти чудотворными, почти похожими на то, что рассказывают о втором зрении. О слухе золотушных детей, когда им угрожают мозговые болезни, о слухе будущих паралитиков и некоторых сумасшедших накануне полного открытого помешательства я читал, помнится, вещи удивительнейшие. Один слышит, из верхнего этажа в нижний, тиканье карманных часов. Другой дословно слышит разговор шепотом, происходящий за несколько комнат, в отдаленной части большого дома. Доктор Руш знал двух слепых братьев в Филадельфии, которые, переходя улицу, слышали, что они приближаются к столбу, вследствие того, что в соседстве столба для их слуха заметно менялся звук шага. Они называли по именам ручных голубей, с которыми играли в саду, узнавая их по звуку полета. Сензитивы Брэда под гипнозом слышали на 50 и даже 90 шагов дыхание человеческое, движение руки или веера... Больной доктора Шейна, будучи подвержен умственному помешательству в результате отравления, различал голоса на расстоянии километра».

IX

Окруженный заботливыми попечениями Вучичей, Алексей Леонидович как будто начал поправляться. Моллок торжествовал:

— Теперь ясное дело, что вы малярик. Вас удалили с почвы, переселили на камень, в соседство моря — и вы уже почти не лихорадите, совершенно не бредите, и галлюцинации от вас отступились.

Убежденный этими благоприятными переменами, Гичовский радовался про себя, что может окончательно отказаться от своих подозрений на Лалу.

Выбрав удобную минуту, он откровенно высказал это Зоице. Болезнь Дебрянского и постоянные совместные дежурства у его постели сблизили графа с девушкою. Он почел и неприличным, и неудобным, почти нечестным скрывать от Зоицы, что проник в ее секрет и знает о ее недавней принадлежности к культу Матери-Оби. Разговор вышел не из приятных, но после него как-то расчистилась атмосфера: обоим стало легче и смелее смотреть друг другу в глаза. А то девушка страшно изменилась в последние дни. Лицо ее стало нехорошо и дико. То выражение робкой и нечистой тайны, которое было и раньше ей присуще и так портило ее красивые черты, теперь еще осложнялось застылым ужасом.

— Вам, Зоица, надо взять себя в руки и смотреть веселее, — убеждал граф. — С такими фатальными глазами нельзя ухаживать за нервным больным. В каждом вашем взгляде даже не изрекает свой приговор, а кричит его самая безнадежная обреченность.

Зоица отвечала:

— Мой взгляд отражает то, что чувствует моя душа. Разве я не знаю, что все напрасно? Алексей не встанет.

— Однако ему лучше.

— Да, можно тянуть время: сегодня лучше, завтра хуже, но ведь я знаю: Лала непримирима, силы ее могущественны, мы виноваты пред нею... Алексей умрет, и я последую за ним.

— Я нимало тому не удивлюсь, если вы будете систематически настраивать себя на подобные мысли. Слушайте, Зоица, стыдно. Образованная вы девушка, в Вене учились, Гейне читали, а...

Зоица остановила его:

— Чему все это мешает? Вы думаете, в Вене Лала не нашла себе подруг? О! И еще таких, которые верили в нее гораздо более, чем я. Я ее любимица из всех, но далеко не единственная и не лучшая ученица. И при чем тут Гейне? Что же в том, что он скептик? Однако он так написал «Сти-

хийных духов», что и не разобрать: смеется он или верует, — и я читала их Лале вслух, и Лале нравилось... Вы, может быть, правы, убеждая меня выбросить бредни Лалы из головы, но я впитывала их восемь лет, с младенчества, и ум совершенно отравлен ими, отравлен навсегда. В меня вошло суеверие, сильнейшее рассудка. Я не верю больше в эту Обь, которую исповедует Лала, но боюсь ее. Ореол, которым была окружена в моих глазах Лала, погас, но я была свидетельницею грозных чудес ее психической силы, и когда я думаю, что теперь эта сила обращена против меня, сознание беззащитности гнет меня, как былинку.

— Что же именно показывала вам Лала? Скажите, Зоица, если можно знать.

Зоица задумалась.

— Знаете ли? Это — разно... Иногда, когда я вспоминаю, мне кажется, что было страшно много, а иногда — вот сейчас, например, — совсем пустая память, будто не было ничего... Когда Лала втянула меня в свои обряды, мне еще не исполнилось двенадцати лет, а ей тогда было уже близко двадцати, пожалуй, что и все двадцать. Она казалась мне самым совершенным существом на свете, да и в самом деле была она прекрасна: сильная, красивая, вдохновенная, с тысячами таинственных песен и дивных рассказов на языке — никто не умел сказать слова нежнее, никто не мог приласкать теплее. Я была совершенно порабощена ее влиянием, я следовала за нею — вот как теперь ее Цмок — всюду, куда она приказывала и хотела. И повторяю вам: я была не одна такая. Ее всегда почему-то ненавидели мужчины и замужние дамы, но обожали девицы, и так как она всем своим подругам и поклонницам предпочитала меня, то я была необыкновенно горда тем и готова за Лалицу и для Лалицы — хоть в огонь и воду. Когда я спрашивала ее: «Чем объяснить, кто дал тебе это, что ты такая прекрасная, умная и очаровательная?» Она отвечала: «Всем, что во мне есть, я обязана той силе, которой

службу. Ей служили в каждом поколении Дубовичей бабки и матери наши, и все они были — как я. Если ты хочешь быть, как я, посвяти себя той же силе, и ты будешь не только такою, как я, но в тысячу раз прекраснее, сильнее меня, я буду пред тобою, как навозная муха пред белой лебедью...» И она слегка приоткрыла передо мною секрет Матери-Оби... Сперва я испугалась. Тайна показалась мне кощунством, а сама Лала переодетою стригою. Вы знаете моего отца: он, как все образованные южные славяне, на словах большой вольнодумец, да и в самом деле, в конце концов, веротерпим и считает религиозные убеждения делом совести каждого. Но в глубине души он — такой же прочный и воинствующий христианин, как старинные крестовые рыцари. Неверный для него — собака, и самая большая гордость его родословной, что флаг Вучичей носил крест к Триполийским берегам и предки наши рубились там с мусульманами уже в такие далекие времена, когда ни один католический миссионер еще и носа туда не показывал. Но Лалица успокоила меня, будто необъятное могущество Матери-Оби не может быть оскорблено такою мелочью, что я наружно буду исполнять христианские обряды. Это даже хорошо и нужно, так как отвлекает подозрение и способствует тому, чтобы тайна Матери-Оби жила в обществе святою, нерушимою, под покрывалом безмолвия жриц. «Тому, кто принял крещение Великого Змея, — говорила она, — все позволено: весь мир для него становится лишь представлением внешности, которую он меняет, как хочет, потому что совсем не в ней существо жизни. Все государства, общества, идеи, религии, церкви, находимые тобою в этой внешности, не более как скользящий сон, исчезающий в недрах Матери-Оби быстрее и с меньшим влиянием, чем песчинка, брошенная в океан. Потому что песчинка падает ко дну и увеличивает собою твердую землю, в недрах же Матери-Оби нет дна. Она — вечный поток вещества, в непрерывном стремлении, без начала и конца, сам

из себя изливающийся, в самого себя впадающий. Ты можешь чтить крест или полумесяц, целовать туфлю папы или руку цареградского патриарха, посещать храмы латинов или греков, мечеть или синагогу — Мать-Обь такая великая сила, что в конце концов, как бы ты не молилась, ты — сама того не сознавая — все равно молишься ей». Этими словами она убедила меня. И вот в одну ночь, в августовское полнолуние, свершилось мое посвящение в жрицы Оби. Мы жили тогда в Дубровнике. Ночью Лала позвала меня, мы вылезли в окно и убежали садами в горы. Там, в неглубоком ущелье, Лала показала мне холм, над которым возвышался шест, обвитый сорочкою змеи, а на шесте — белый лошадиный череп.

— Это могила моей тетки Дивы, — сказала Лала. — Она была последнею жрицею Оби. Ею была я посвящена в познание истины, как теперь я посвящу тебя. Люди думают, что она умерла. Это неправда. Мы, верные Матери-Оби, не знаем смерти. Дух Дивы вошел в меня, и теперь, когда я стою пред Матерью-Обью, я не Лала, но Дива. Некогда и я отдам свое тело земле, но дух мой войдет в тебя, и тогда, становясь пред Матерью-Обью, ты тоже почувствуешь, что ты не Зоица, но Лала, и в Лале — Дива, и в Диве — все твои бабки и прабабки, святые девственницы Матери-Оби.

Она выбрала большой плоский камень, очертила его широким кругом, в который вписала пятиугольник, и разожгла на камне костер, распространявший прекрасный запах кипарисных дров. Пламя взвилось. Лалица время от времени то бросала в него порошок, то лила что-то из склянки — огонь странно менял свой цвет, был то голубой, то розовый, то красный, то желтый и дышал то цветами, то ладаном, то серою. Простирая руки к костру, Лала говорила и пела что-то на непонятном языке, грубом, с гортанными взвизгиваниями, в горле у нее что-то щелкало, точно кость о кость или игрушка кри-кри. Отдыхая, в перерывах, она спрашивала меня — дрожащую, изумленную, смятенную:

— Чувствуешь ли веяние? Вихри слышат меня, сила слышит меня, сила идет. Видишь ли деву, качаемую на языках вещего пламени? То тень Дивы — дрожит в огне, приветствуя тебя, видишь: она зовет, она благословляет... Поклонись ей! Скажи ей: «Радуйся, избранная из всех женщин земли, девственная мать моя!»

Я не видала никакой Дивы, не чувствовала никакого веяния, но ущелье было так таинственно, ночь так мрачна и холодна, седые туманы надвигались такими мрачными клубами, пламя мигало по скалам такими причудливыми пятнами, что мало-помалу настроение Лалы покорило меня себе и совершенно захватило. Мне стали чудиться дальние голоса, за чертою круга скользили смутные видения, в холоде ветра как будто веяло и скользило что-то живое. Я взглянула на Лалу: мне показалось, что она уже не Лала, у нее другое лицо, много старше, прекрасное, мудрое и жестокое, я взглянула на могилу Дивы: мне показалось, что лошадиный череп скалит зубы и двигает челюстями, а змеиная кожа налилась телом, лоснится, вьется, отрастила голову и светит изумрудными глазами. Лала выла, кричала совой, каркала вороною, мяукала кошкою, лаяла собакою — ужас объял меня, ночь ожила, толпы диких фигур, кривоносых уродов заструились пред глазами моими, куда бы я ни отвернулась — на восток, на север, на запад, на юг — всюду вставали черные великаны, порывающиеся войти в круг... Я закричала не своим голосом и потеряла чувства... Очнулась я уже в своей постели. Сильная Лала на руках принесла меня домой... Вот, собственно говоря, и все чудеса, которые я видела. И — что тут было, чего не было — мне ли, двенадцатилетнему ребенку, было разбирать?

Все дети любят тайну, все дети любят игру. Фантастические рассказы Лалы, ее галлюцинации, ее талант к поэтической импровизации переплелись с моими собственными мечтами — я чувствовала себя гордо, что я не как все смертные, но совсем особенная девочка, знакомая с существами

нездешнего мира. Было занимательно, жутко и весело участвовать в обрядах Матери-Оби, творя их, как таинственную игру, известную только нам с Лалою, было увлекательно воспринимать учение и легенды Матери-Оби, слушая их, как таинственную сказку, которой Лала, никому, кроме меня, не может рассказать. Когда игра утомила меня и стала мне надоедать, Лала снова подогрела меня откровением обо мне, будто бы ей бывшим, что я — избранница Великого Змея, будущая возрожденная Ева и мать таинственного нового бога из бездны, который возвратит блаженство земле и спасет вселенную. Мне в это время шел пятнадцатый год, я чувствовала себя взрослою, за мною уже начинали ухаживать, и я сама не без удовольствия мечтала, что вот еще года два-три — и я буду замужем, хозяйка дома, самостоятельная дама. Лала, поймав мечты мои, пришла в бешенство и в очень горячей сцене напомнила мне, что я дала обет остаться девицею до самой смерти и никогда не думать о супружестве. Я ей отвечала со смехом, что мало ли какие важные обязанности призывают на себя в играх своих дети, это была игра! Она страшно побледнела.

— Как игра?

И вот тут-то она и пустила в ход свое откровение... Ну и вы же знаете ее способность к импровизации и поэтическому захвату... Признаюсь, потрясла она меня страшно — и опять перед глазами моими как бы открылся новый какой-то, глубокий, бездонный мир.

Я спросила ее:

— Чем можешь ты уверить меня, что ты не ошибаешься, что Мать-Обь действительно удостоила тебя откровения, и я — истинная избранница Великого Змея, возрожденная Ева, надежда людей?

Она решительно отвечала:

— Проси у меня знамения, какого хочешь!

Я не знала, что спросить.

Тогда она сама предложила:

— Выбери любого из мертвых, кого хотела бы видеть живым: в знамение моей правды и твоей будущей великой власти он сейчас явится и пройдет пред тобою.

Мне было любопытно. Я согласилась. Тогда Лалица устремила мне в глаза свой блестящий взгляд, и мне, как тогда в ущелье, лицо ее показалось чужим и старым.

— Зови же, кого ты избираешь! — сказала она, и голос ее — хриплый и далекий — был не ее голос.

В трепете я не могла остановить мысли своей ни на одном из близких мертвецов. Между тем блестящие глаза Лалы как будто все расширялись, сделались, как звезды, как солнца, и вместе с тем сама Лала будто ушла от меня вдаль, и голос ее, который я услышала, прозвучал будто из-за многих стен, из глухого погреба:

— Зови же...

Тою зимою мы только что перебрались на постоянное жительство в Триест и несколько раз посещали соседний замок Мирамаре, сказочный дворец императора Максимилиана, расстрелянного в Мексике... Его имя всплыло в моей памяти, и я прошептала:

— Максимилиан Габсбургский, император Мексиканский...

Лицо Лалы подалось ко мне, и голос стал ближе.

— Еще!

— Максимилиан Габсбургский, император Мексиканский...

Еще ближе лицо Лалы, и в глазах уже человеческий свет.

— Еще!

— Максимилиан Габсбургский, император Мексиканский...

Лала была теперь совсем со мною и такая же, как всегда, только утомленная до того, что на нее было страшно смотреть. Я тоже чувствовала себя разбитою.

— Теперь ты поверишь, — сказала она свистящим голосом, обливаясь потом по лицу, — он уже здесь.

Я огляделась и пожала плечами.

— Комната пуста,— возразила я, — ты ошибаешься: я не вижу никакого Максимилиана...

— А это кто? — вдруг спросила она спокойно, тихо, почти шепотом, но опять с тем страшным, нечеловеческим звездным взором, показывая рукою на двери через террасу, в цветник...

Я взглянула, буквально чувствуя, что она ведет пальцем своим глаза мои, будто привязанные на веревке.

В аллее сада, между двух деревьев, стоял, как в раме, высокий австрийский офицер, в белом мундире, с большим блестящим палашом... Сердце мое закружилось и упало... в ушах загудело... Я узнала пристальный утомленный взгляд, рыжую бороду, нос и сутуловатую фигуру Габсбурга. Император Максимилиан был предо мною такой, как я только что видела его на портрете в фамильной галерее в Мирамаре... И в тот же миг ужасный крик человека, которого душат, погасил видение, и точно туман сплыл с меня, а на полу предо мною бесчувственная Лала билась и исходила пеною изо рта в жестоком припадке падучей.

Зоица умолкла, взволнованная, и бросала на Гичовского испытующие взгляды исподлобья. Он молчал.

— Что скажете вы, граф, об этом случае? Клянусь вам: я не преувеличила ни одного штриха, не прикрасила ни одной тени... Все было так, точно так... Я видела императора Максимилиана так же ясно, как теперь вас вижу.

— Охотно верю, — произнес граф.

— Значит...

Но Гичовский не дал ей продолжить.

— Вас не удивляет, однако, что император Максимилиан успел на том свете переодеться и приобрести скромность, которой ему несколько недоставало на этом?

— То есть?

— То, что он расстрелян и похоронен был в черном гражданском сюртуке, а к вам явился в австрийском белом мун-

дире, как вы видели его на портрете в Мирамаре? То, что вы звали мексиканского императора, а к вам, собственно говоря, явился лишь австрийский эрцгерцог и генерал, каким вы видели Максимилиана на портрете в Мирамаре?

— Что же из этого следует?.. Если духи могут являться вообще, то, мне кажется, они достаточно сильны, чтобы избрать тот вид, который им угоден.

Гичовский покачал головою.

— Не знаю, как духи, но картины, действительно, имеют способность оставаться в зрительной памяти такими, как вы их видели, и если Максимилиан явился к вам таким, как вы его видели, то видели вы, конечно, не тень Максимилиана, а тень его портрета, который произвел на вас впечатление в Мирамаре — и даже в тех же цветах. Могли бы увидать и, наоборот, — в дополнительных. Это, милая Зоица, пустяки, и решительно ничего сверхъестественного в себе не заключает. Один из друзей Дарвина — из имени этого можете заключить, что не святоша какой-нибудь, — однажды очень внимательно рассматривал маленькую гравюру Святой Девы и Младенца Иисуса. Подняв голову, он, к удивлению своему, заметил в глубине комнаты фигуру женщины в натуральную величину с ребенком на руках и, только вглядевшись, понял источник иллюзии: фигура точно соответствовала той, которую он видел на гравюре. Тут если что и замечательно, то только нервная сила Лалы, оказавшаяся достаточною, чтобы заставить вашу зрительную память выделить из себя портрет Максимилиана и фиксировать в видении, хотя, повидимому, бедной Лале это напряжение обошлось весьма недешево. Видите ли, с адептами Великой Оби я встречался в своих скитаниях немало. И на Конго, и в Ямайке, и у Ниагары, и у чукчей, и даже в таборах европейских кочевых цыган. Это — в диком ее состоянии — воистину «черная вера», как зовут ее сибиряки: шаманство, колдовская религия, сплетенная из экстатических самообманов, поддерживаемых и как

бы оправдываемых истерическими эпидемиями, необычайно частыми и сильными среди племен, у которых она в силе. Чисто спиритических явлений, хотя они ими очень хвастают, я у обистов не видал вовсе; материализация, например, при мне решительно не удавалась, а вертеть бубен и заставлять стол прыгать — и европейские медиумы немалые мастера. Магнетические опыты были не сильнее, чем среди обыкновенных смертных, практикующих фокусы чтения мыслей, разыскивания спрятанных вещей, передачи воли на расстояние. Зато способность к гипнозу в широтах полярных и экваториальных гораздо сильнее, чем в поясе умеренном, сензитивы встречаются чаще — и вот гипнотическими-то внушениями особенно щеголяют служители Оби, выдавая их за медиумические. Они усыпляли предо мною своих пациентов с невероятною быстротою и передавали им свою волю с неодолимою силою и настойчивостью. Но я замечал, что обисты-гипнотизеры работают так успешно только над своими собратьями, суеверными, невежественными неграми, которые и на сеанс-то приходят полуживые от страха перед жрецом и живущим в нем божеством мертвых — Великою Обью. Против европейцев — в том числе и против меня самого — колдуны Оби оказывались бессильными, потому что встречали отпор своему влиянию в твердом и сознательном намерении ему не поддаваться и внимательно наблюдать за обрядами шаманской мороки. Знаете ли, ведь если человек с крепкою волею хорошенько упрется на своем, то его не так-то легко обратить в куклу. Буиссон исследовал молодого солдата, притворявшегося больным, чтобы увернуться от военной службы. Чтобы обнаружить симуляцию, его хлороформировали, но и под хлороформом он настолько владел собою, что ничего не высказал, способного его компрометировать. Если бы чудо Лалы застало вас не в новом скептическом настроении противодействия, а, наоборот, в прежней готовности ей помочь, то, поверьте, ей не пришлось бы напрягаться до тако-

го страшного потрясения. Гете было достаточно наклонить голову, чтобы вызвать видение идеального цвета или спектра. Многие умеют вызывать свой двойник. Бриер де Буамон сообщает о живописце, который, окончив сеанс с натуры, продолжал видеть призрак модели с такою ясностью, что часто принимал воображаемую фигуру за действительную. Шахматные игроки a l'aveugle * таким образом видят пред собою невидимую доску, против которой ведут партию. Словом, примеров я вам приведу сколько угодно. Вообще, что касается сверхъестественных способностей Лалицы, они не возбуждают во мне никакого чувства, кроме глубочайшей к ней жалости как к трудной и опасной истеричке. А что я так опасался мести средствами естественными, скрытыми non in verbis sed in herbis et lapidibus **, то объясню вам, почему. Обизм — культ мрачный, жестокий. Его божество — совокупность мертвецов, эфирный океан, Великая Обь. Его символ — Великий Змей, низверженный черный бог, Сатана, Дьявол, Царь мертвых. Жизнь человеческая для обиста значит не много, потому что обист, считая себя трехсоставным, — тело, дух и то, что в новейшем оккультизме называется астральным телом, какой-то звездный, что ли, близнец души, — верует в свое и всеобщее, если не совсем физическое, то полуфизическое бессмертие. Таким образом, убийство для обиста является лишь насильственным перемещением человека как бы с одной квартиры, осязаемой, в другую, неосязаемую, но полную жизни столько же, как и первая. Обисты думают, что мертвый ест, пьет, даже женится и рождает детей, охотится, как живой, и может пребывать в обществе живых, сколько ему угодно, являясь им по первому их властному и умелому зову. Мертвый может поселиться в доме, в теле домашнего животного, перейти из

* Вслепую *(фр.)*.
** Не в словах, но в травах и камнях *(лат.)*.

своего тела в тело живого человека и распоряжаться им, как своим собственным. Смерти нет, а следовательно, нет и преступления в причинении смерти. Поэтому убийство и самоубийство — самые обычные явления в среде обистов. В особенности — именно посредством отравления. Они обладают множеством ядов, тонких, верных, еще не изученных, а потому не знающих противоядия. Обистка Лала могла отравить Дебрянского без всякого угрызения совести, даже с гордым сознанием выполненного долга и притом ядом, против которого в наших аптеках нет лекарств, как не было их против аквы тофаны, которая, должно быть, тоже была экзотического происхождения: не из Америки, так из Индии, не из Индии, так из Египта. Теперь, когда наш больной стал поправляться, я искренно доволен, что ошибся в своих предположениях. Я даже думаю посетить Лалу, извиниться пред нею за недавний неприятный разговор.

Зоица молчала.

— История вашего романа не кончена, — напомнил ей граф.

— Что же?— очнулась она. — Да... Вы хорошо понимаете, как должно было подействовать на меня видение Максимилиана. А Лала воспользовалась впечатлением и, подогревая его, довела меня самое до такой экзальтации, что я стала грезить наяву, воображая великие перспективы, которые она мне сулила... Года полтора потом, лет до шестнадцати, я была самою надменною и властною девчонкою, какую только можно себе вообразить, — и если бы кто мог угадать причину! Отец отправил меня учиться в Вену. Лала сопровождала меня и зорко следила, чтобы я не выбивалась из-под ее власти, не впала бы в ересь и бунт против Великой Оби. Но она не могла помешать мне читать и думать, и мало-помалу я, еще не теряя веры в культ, стала приходить в сомнения пред ним и в ужас... Притом... Вы мужчина и много не можете понять даже догадкою... Когда знакомство с культурною жизнью подняло во мне чув-

ство стыда, я стала краснеть за многие стороны нашего культа, обрядности, символы, слова... Поняла, что иметь их не только в действии или речи, но даже в голове — значит, в условиях цивилизованной жизни быть испорченною, грязною девчонкою... Лала чувствовала, что я опять заколебалась, и всячески старалась закрепить мои цепи, чтобы не было поворота. Последняя наша ссора вышла из-за того, что я наотрез отказалась принять на свое тело священную татуировку. Всякая татуировка делает тело стыдным в странах и народах, носящих платье. Но если бы вы знали рисунки, которые мне предстояли, вы бы пришли в ужас. Даже намекнуть на их содержание пред мужчиною у меня не поворотится язык.

— Вполне вас понимаю, — протяжно сказал граф. — Если те же штучки, что я видал на жрицах Шаби, то украшения — среднего достоинства и сомнительной добродетели.

— Вот видите, — говорила пылающая лицом Зоица, — я оттягивала эту операцию, как могла, а она нарочно спешила, потому что хорошо рассчитала, что, приняв татуировку, я тем самым закреплю свой обет остаться в девицах, так как стыд за свое позорно разрисованное тело никогда не позволит мне выйти замуж... Всего за месяц до знакомства с Дебрянским между мною и Лалою вышла страшная ссора из-за этого... Я едва выпросила отсрочку на три года, до моего гражданского совершеннолетия. Но она продолжает дуться и делать сцены... Слишком много сцен! Утомила меня она ими! Пророчит, что я должна быть госпожою мира, а обратила меня в какую-то рабу. Чем больше я отдаляюсь от Лалы и ее культа, тем Лала делается ревнивее, подозрительнее и требовательнее. Она отчуждает меня даже от отца, оттолкнула от меня теток, лишила меня подруг, становится между мною и каждым новым явлением в нашей жизни, она окружила меня собою со всех сторон; сделалось так, что у меня не осталось ни мыслей, ни поступков, ни жела-

ний, не известных Лале и ей не подчиненных. Пока встречные желания и стремления мои шли не слишком вразрез с волею Лалы, это нравственное рабство было иногда неприятно, но все же терпимо. Но пришла любовь и взбунтовала меня.

Зоица умолкла в волнении.

— Вы не видитесь больше? — спросил Гичовский.

— Нет. Она с тех пор, как выселилась, не показывается на вилле. Отец был в ее хижине, но не застал ее. Слуги, которые возят ей обед, редко ее видят и на самое короткое время: выглянет из-за дверей циновки, примет судок и скроется, а то и вовсе не выглянет — только высунет руку.

— Сами к ней вы не собираетесь?

— Нет... Еще, если бы знать, как она меня примет... Зачем? Не надо... Наша дружба умерла.

— Вам тяжело это?

Зоица замялась.

— Не знаю, как вам сказать... Конечно, я очень ее люблю... детская привычка... Но с другой стороны, она стала такая страшная и жестокая... В последнее время она внушала мне ужас.

Гичовский возразил:

— А я так часто наблюдаю за нею в бинокль, через залив, как она в своем красном платке бродит под жарким солнцем по раскаленным горам и, карабкаясь все выше и выше, наконец исчезает за желтым лысым гребнем... Да и теперь вон — смотрите — красный платок качается в челноке едва заметною точкою на далеких волнах...

— Горы и море — это две ее страсти, — тихо сказала Зоица.

Солнце кровавило залив трепетно-умирающими лучами. Потянуло прохладою с моря, и воздушным течением донесло до террасы пение Лалы, протяжное, заунывное...

— Что это она затянула? — спросил вполголоса граф.

Зоица и бледнела, и краснела.

— Это ее обрядовая песнь, — молвила она, нервно вздрагивая плечами.

— Известно вам ее значение?

— Да.

— Можно узнать?

Зоица колебалась, потом кивнула головой.

— Все равно теперь! Можно. Она зовет к себе силы, которым повинуется ее душа, чтобы они помогли ей победить усилившихся врагов...

Оба замолкли. Солнце окунулось в воду...

— Какой удушливый вечер! — тихо заметила Зоица, — дышать нечем.

— Сирокко в воздухе, — подтвердил граф. — Сегодня удушье, завтра — задует этот бич Божий. Да еще эта тоскливая песня уныние наводит на душу. Так что и удушье-то — словно от песни.

— От песни! — задумчиво повторила Зоица, устремляя взор на горы: оранжевый свет уже боролся на них с лиловыми тенями...

— Слышали вы это вытье когда-нибудь раньше? — спросил Гичовский.

— Да... при невеселых обстоятельствах... Когда Лалу оскорбил Делианович.

— И она проткнула ему бок своей проклятой шпилькой?

— Вот. Тогда она все пела совершенно так же, как сейчас.

— Что это за шпилька у нее?

— Из поколения в поколение в роде Дубовичей: восточная вещица.

— Вы не думаете, что она, может быть, отравлена? На Востоке — особенно в старину — это зауряд...

— Нет ничего невероятного...

Стало тихо и туманно, и замолчала задумавшаяся даль. Ночь ждала месяца. А Лала все пела.

X

Больной проснулся и позвал к себе Зоицу. Осведомившись, что он чувствует себя не хуже, Гичовский простился с ним и с Вучичами, вышел из виллы и нанял лодочника переправить его через залив. Он приказал лодочнику причалить много выше хижины Лалицы, в тени старых платанов, и здесь ждать его возвращения.

— Buona fortuna, signore! * — сказал лодочник, весело оскалив зубы, — он вообразил, что граф идет на любовное свидание. А ночь падала — как раз подходящая... румяные тени поблекли, море задумалось, точно девушка с голубыми глазами, небо медленно темнело и углублялось по мере того, как загорались в его вышине золотые звезды…

«Вот скоро выглянет месяц, и все станет серебряным», — подумал граф, оглядываясь. В памяти его зазвучали старые стихи Щербины о греческой ночи — как «дикой воли полна, заходила волна, жемчугом убирая залив»... А она в самом деле заходила — еще не высоко и слабо, но все нарастая.

Хижина Лалицы висела на подмытом берегу, над самым морем. Волна мерно шлепала под нею, точно вальком по белью, и, шурша, убегала назад, сопровождаемая скрежетом увлеченных в море камешков намыва...

В хижине было темно. Граф постучал: Лала не отозвалась. Он толкнул дверь, вошел — нет никого.

— Куда бы она могла деваться?

Гичовский хотел было возвратиться к своей лодке, но потом подумал, что не целую же ночь будет скитаться Лала, и решил подождать ее. Челнок Лалы лежал, опрокинутый, на берегу. Значит, Лала в горах, а не в море. Граф сел на камень у порога хижины и слушал море. Когда встала луна, она осветила ему узкую лощинку, убегавшую в горы. По стене

* Удачи, синьор! *(ит.)*

лощинки вилась серебряною ниткою тропа. Так как тропа была одна, ведущая к хижинке, то Гичовский сообразил, что иначе, как ею, Лале прийти неоткуда, и если он сам пойдет по ней, то непременно Лалу встретит; разминуться негде. Он встал и пошел. Но тропа, удобная вначале, вскоре запрыгала по головоломным крутизнам. Гичовскому пришлось перебраться, зашибая ноги о валуны, через русла нескольких ручьев, продираться сквозь вереск и шиповник, не раз обрываясь ногою со скользкой тропы. Так, уже порядком утомленный, добрался он до гребня, где тропа круто переламывалась вниз. Теперь Гичовский стоял на вершине невысокого, но крутого мыска, свиною мордою врезавшегося в море, которое, шумя все больше и больше над наплывом первых дуновений сирокко, налетало на гору, как на волнорез, высокою седою пеною. Глубоко внизу, у самого прибоя, Гичовский заметил яркую огненную точку... в то же время слуха его коснулось отдаленное пение: очевидно, Лала была там, у костра... Гичовский стал осторожно спускаться, трепеща, чтобы девушка не заметила его приближения, так как в уме его сверкнула надежда увидать какой-нибудь таинственный и, быть может, еще не знакомый ему обряд. Когда огненная точка выросла в пылающий костер и стало возможным различить с горы черную блуждающую около него тень, граф свернул в густую чащу кустарников, прилепившихся к последнему скату тропы, и пополз сквозь них бесшумно, как ящерица, пока не очутился на краю обрыва, повисшего прямо над костром. Когда граф осторожно выставил голову из стенки кустарников, он увидел Лалу, как зритель райка видит актрису на сцене: саженях в десяти ниже себя по отвесу и саженях в пяти от себя хордою по воздуху. И то, как он ее увидел, онемило его изумлением.

Костер Лалы был разведен на широком плоском камне, возвышенном над белым прибоем, который клокотал, меняя свой цвет соответственно цвету пламени, высоко извивав-

шегося острым и белым языком. Лала стояла на берегу совершенно нагая, если не считать ожерелий, браслетов, талисманов, обильно навешанных на тучную грудь — граф узнал в них гри-гри и ю-ю Антильских островов — и Цмока, перевивавшегося с плеча на плечо вокруг ее шеи свободным пестрым кольцом, с блестящею головкою под вспышками костра, будто золотым топазом в огромном перстне.

Графу показалось было, что вокруг бедер жрицы обвилась другая змея — темнее, больше и толще Цмока. Но, достав свой неразлучный маленький бинокль и вглядевшись, граф заметил, что эта змея не отражает света и недвижна на теле Лалы, между тем как Цмок волнуется, надувается, устремляет голову в воздух, шевелит и дрожит вилкообразным жалом. Он понял, что это — священная татуировка Лалы. Рисунок змеи, наколотый на коже ее, начинался с тонкого хвоста между лопатками, дважды обвивал тело и опускался головою с длинным жалом к низу живота. Рассматривая татуировку, Гичовский скоро заметил и другие символические изображения, виданные им у обистов Конго и Гаити. Особенно ярко бросались в глаза треугольник под правою грудью и круг под левою, а между грудями тот же треугольник был вписан в такой же круг, таинственным знаком соединения двух творческих начал человеческого рода... Гичовский вспомнил рассказ Зоицы о ссорах ее с Лалицею из-за отказов от татуировки и невольно улыбнулся:

— В самом деле, воображаю изумление супруга, получившего в брачную ночь молодую с такою зоологией и геометрией на теле!

Лала, свершая обряд свой, все время ходила по круговой линии — между костром и месяцем, остерегаясь стать спиною к которому-либо из них и потому держась и двигаясь, как скачет сорока, — боком; поэтому половина ее тела казалась, купаясь в лунных лучах, зеленовато-белою, а другая, под колеблющимся светом пламени, дрожала медно-крас-

ными, коричневыми тенями, будто тело индианки. В этом причудливом мерцании Лала стала как будто и выше ростом, и еще массивнее, чем обыкновенно. Она с силою простирала мускулистые руки то к месяцу, то к огню, и волосы ее черною гривою трепались в две космы по спине ниже поясницы и через левое плечо до живота. Что она пела, Гичовский понять не мог: слова долетали обрывками слогов, и язык ему был неизвестен. Но выражение звуков было сурово и грозно... Сурово и грозно было лицо жрицы.

Придавленный тяжелым веянием наплывавшего сирокко, дым от костра стлался по ветру туманною пеленою, затягивая черным флером пространство между глазами Гичовского и морем, которое мало-помалу закипало между серебра чернью, обещавшею волнение. Дым был пахуч и едок. Граф должен был часто протирать глаза, чтобы не слезились, и с трудом удерживался, как бы не чихнуть. Впрочем, если бы и случился такой грех, вряд ли бы Лала услыхала. Она представлялась Гичовскому в состоянии экстаза, близкого к каталепсии.

Гимн ее становился, чем больше она пела, все более хриплым, обрывистым и бессмысленным. Руки напрягались все с большею энергией, точно хотели сокрушить свои собственные мышцы, разорвать свои собственные жилы — уже инстинктивно, а не произвольно. Было что-то во всей ее фигуре, точно отрывавшее ее от земли. Глядя на Лалу, Гичовский понял, что значит в полной силе своего смысла выражение «выйти из себя». Тело Лалы было здесь, пред глазами графа, но энергия тела напрягалась, чтобы вырваться из физических оков и улететь куда-то в неведомую даль... Горное эхо глухо повторяло вопли Лалы; чудилось, будто кто-то перекликается с нею загадочным и диким разговором сквозь дважды шумящий прибой.

Огонь краснел, а дымная пелена становилась все гуще. Казалось, она создает над морем тучу — в ответ небу, кото-

рое между тем седело от облаков, нагоняемых сирокко, чтобы вместе с ними нагнать и погасить ныряющий месяц. Вдруг Лала упала навзничь — так неожиданно и быстро, с таким острым и мучительным криком, что Гичовский невольно вскочил на ноги, готовый, позабыв про обрыв, броситься ей на помощь. Лала лежала, широко разбросав крестом руки и ноги; она не была в обмороке, как предположил было Гичовский: из губ ее вырывались свистящие стоны вперемешку с глухим бормотанием, истерическим смехом и взвизгиванием. Грудь и живот поднимало тяжелым дыханием — словно у лошади, проскакавшей без отдыха многоверстную дистанцию. Ее подкидывало частой и дробной эпилептическою тряскою снизу вверх, как трясет сильно лихорадочных. Цмок, крутясь, вился, скользил и блестел по телу Лалы, как пестрая молния, и хвост его бил ее по бедрам, как плеть, между тем как голова была у рта, будто целуя отверстые губы. Ритуальную эпилепсию граф Гичовский видал не раз и в разных культах, но в припадке Лалы было что-то ему еще не знакомое: обрядовая симуляция на глазах его переходила в настоящий припадок, но «черная болезнь» еще не накатила всем своим ужасом, и несчастное тело корчилось еще в фазисе эротической бессознательности — и страшное, и противное; в самом деле, души вовсе уже не осталось в этом живом мясе: на земле бился дикий зверь в бессмысленном трепете инстинктивного, немого и глухого экстаза.

Ветер всколыхнул дымный полог и разорвал его надвое, показав в просветах длинный столб яркого месячного блеска. Лала, лежавшая, как труп, приподнялась со стоном, глубоким, как вздох Лазаря, когда он вышел из гробовой пещеры. Графа смущало то странное обстоятельство, что сейчас она как будто приблизилась к нему. Он видел ее гораздо яснее и подробнее, чем раньше, мог даже ясно различить глаза ее: ужасные, остекленевшие, не Лалицы, — мертвые и в то же время ярко блестящие глаза. Они казались больше лица, на котором по-

мещались. Она уставила их в лунный просвет, и Гичовский тоже невольно повел глазами по направлению ее взора. Она простерла руки, и он вдруг поймал себя на том, что и он тянет руки к лунному столбу.

— Нет! стой! врешь! — спохватился он, — это уже начинается гипноз... морока… подражательные движения... я уже мерячу, как якутская истеричка... не поддамся! ни за что!..

Месяц то исчезал, затемняемый проходящими облаками, то разгорался новым золотом, вдвое ярче после контраста недавнего сумрака. Лунный столб угасал и вновь светился чешуйчатым качанием вдаль, к горизонту. Лала впилась в даль его глазами, потянула ее к себе руками и бормотала, бормотала... Граф смотрел неотрывно, как она, и туда же, куда она. Ему замерещилась на светящемся горизонте темная точка, которая скользила по столбу и медленно росла по мере своего приближения.

— Лодка, что ли? — подумал он со странным содроганием где-то внутри мозга — и в ту же минуту сам себе суеверно возразил:

— Нет, брат, это не лодка!

И опять, спохватившись, рассердился на себя и даже топнул ногою.

— Как заразительно безумие!.. Вот оно, наваждение-то: вспомнилось-таки, как Лала внушала, что столб месяца на воде — это дорога в царство мертвых...

А точка все росла. Гичовский видел ее уже крупным темным облаком в промежутке земли и неба, причем к ней тянулись, как будто лапами, и облака, и волны. Граф впился глазами в ее неясные очертания: в них чудилось что-то живое, почти человеческое... Замерло сердце... Черное пятно коснулось облака и волн, соединилось с ними, будто обнялось и летело к берегу, гигантское, длинное, извилистое, крутящееся исполинскою спиралью темного змея...

Радостный крик бешеного торжества вырвался из груди Лалы, а Гичовский зажмурил глаза, охваченный паническим страхом. Нервы его не выдержали... он не решился взглянуть на встречу облачного змея с землею и, упав в кустарнике, долго лежал, как слепой, между тем как на обрыв быстро оседал странный не то туман, не то дождь, промчавшийся так же стремительно, как налетел, будто он разбился о скалу... Дыхание ночи сразу захолодало... Почувствовав влагу на руках и на лице, Гичовский понял, в чем дело, и ему стало стыдно за свою минутную слабость. Он открыл глаза: на берегу не было никого, песня Лалы слышна была снова и очень близко, но уже на горной тропинке... и только угли костра еще шипели, дотлевая. Гичовскому было и досадно, и смешно, что, заразившись галлюцинацией полоумной обистки, он пропустил редкую возможность наблюсти так близко и до конца одно из самых красивых и внушительных чудес моря.

— Ну как было не сообразить, что в Средиземном море редкий сирокко обходится без меленьких безвредных смерчей, которые, где возникли, тут же и рассыпаются пылью?.. Вот смотрим свысока на суеверия дикарей, а пришлось самому оказаться ничуть не умнее Синдбада Морехода, который искренно принимал смерчи за джиннов, морских дьяволов с змеиными хвостами и прочими адскими атрибутами!

* * *

Граф сидел у себя в номере и заносил свое приключение в записную книжку, когда к нему вошел доктор Моллок.

— Простите, что так поздно.

— Прошу вас, пожалуйста.

— Дело очень важное. Я сейчас от вашего приятеля, моего больного. Меня внезапно вызвали к нему. В здоровье его произошла самая ужасная перемена.

— Боже мой! Но ведь с вечера я оставил его в наилучшем состоянии?..

Моллок развел руками.

— Теперь я с уверенностью могу сказать: все надежды напрасны, он умрет.

— Да откуда же это ухудшение, доктор? Что случилось?

— Буквально ничего, граф... Расставшись с вами, больной опять прекрасно уснул. Вы понимаете, какое это счастье для него. Ни в каком состоянии организма не проявляет себя целительная сила природы, vis medicatrix naturae, действительнее, чем во сне. Я подал надежду. Вучичи в восторге были уверены, что сломан кризис болезни и с утра можно будет считать мистера Дебрянского в фазисе выздоровления. Вдруг среди ночи он начинает хрипеть, метаться, задыхаться, стонет раздирающим душу голосом — просыпается, вернее, приходит в чувство со страшным трудом, будто гору сбросил или из-под гробовой плиты вылез, никого не узнает: мисс Зою отталкивает от себя, кричит, что она хочет кровь его выпить... Старик Вучич сам прискакал ко мне верхом... Я застал больного уже несколько успокоившимся, но достаточно мне было взглянуть ему в глаза, чтобы понять, что дело кончено: болезнь вступила в мозг — он уже сумасшедший...

— Что вы говорите, мистер Моллок?!

— Он все жалуется мне, что внутри у него все ледяное, а кожу будто поливают кипятком. Я дал ему согревающее питье — он стал уверять, что оно замерзло у него в желудке... А потом вдруг вопит: «Ах, из меня выходит облако, и я обращаюсь в пар!..» И вот тут вскоре и началось это...

— Что это? Вы еще ничего не говорили мне, мистер Моллок!

Врач недоуменно пожимал плечами:

— Очень интересный и редкий больной ваш приятель, дорогой граф. Он продолжает озадачивать меня чудесами. Когда я оставил его, у него началось кровяное выпотение: одно из самых редких явлений, какие случается наблюдать врачу...

— Что же это значит?

— Значит-то понятно что! Вследствие бурного течения разрушительной болезни клетки эпидермы слишком раздрябли, потеряли свою сдерживающую энергию, и открылось кровотечение через поры. Остановить его — вне средств медицины. Если оно не прекратится само собою, больной медленно, капля по капле, потеряет всю свою кровь и умрет... Надо благодарить Бога за одно: это не слишком мучительная смерть, как раз та самая, что избирали стоики — Сенека, Тразея и другие, открывавшие себе жилы в ваннах.

Граф поспешил послать за фаэтоном и вместе с Моллоком помчался к Вучичам.

— Нехорошо, совсем нехорошо... — встретил их осунувшийся старый Вучич.

— Послать бы за священником? — предложил Моллок.

Больной услыхал.

— Разве я умираю? — тихо спросил он.

— Нет, но...

— В таком случае — оставьте меня в покое...

— Многие чувствуют себя легче, исполнив христианские обязанности.

Алексей Леонидович долго молчал. Потом сказал:

— Нет. Ей все равно — кто верит в крест или полумесяц, целует туфлю папы или руку цареградского патриарха, ходит в костел или в церковь, в мечеть или в синагогу... Мне это не поможет. Не хочу.

— Бредит, — шепнул Моллок.

Старый Вучич согласно кивнул глазами, но граф Гичовский переглянулся с Зоицей, и она, страшно бледная, вышла из комнаты, пошатнувшись в дверях...

Моллок приподнял одеяло и жестом пригласил графа Валерия взглянуть на постель больного. Гичовский едва стерпел, чтобы не ахнуть громко: на совершенно розовой простыне бессильно лежали исхудалые ноги Дебрянского, покрытые

ярко-красными пятнами крови, неустанно выступавшими из тела, подобно росе...

— Это уже четвертую простыню мы меняем! — тихо сказал Вучич, с глазами, полными слез.

Зоица возвратилась и стояла на коленях у кровати умирающего жениха, бессильно припав головою к железной перекладине...

— Все это ничего, — лепетал Алексей Леонидович, — но вот зачем она... она...

— Кто? — спрашивал, склонясь к больному, Гичовский.

— Она... Анна...

— Вы видите? — хмуро спрашивал Гичовский.

— Нет, я чувствую в воздухе... Мне душно от нее... Разве вы не слышите запаха трупа?.. Гичовский! Не позволяйте ей! Зачем она?. Петров... Петров... где ты? Ведь ты мне обещал...

— Плохо дело,— безнадежно отнесся граф к Моллоку. — Хоть бы поддержать его настолько, чтобы умер-то не в безумии.

— Я выписал мускус и послал своего ассистента за кислородом... Если в доме есть шампанское, будем поить его шампанским... Необходимо спасти деятельность сердца...

Зоица бросилась к жениху — он отвел ее руки и в то же время, безнадежно глядя в пространство, твердил:

— Петров!.. Петров!.. Петров!.. Его нет, а она здесь... разве вы не слышите запаха трупа?..

— Неудивительно, если мы его и почувствуем, — сказал Моллок Гичовскому. — Нагнитесь к нему, понюхайте его дыхание: конечно, он уже слышит внутри себя какой-то гангренозный процесс...

Простыню под больным опять переменили. Напившись шампанского, Дебрянский задремал. Полчаса спустя Моллок снова заглянул под одеяло и подошел к Вучичу с несколько более светлым лицом.

— Как будто, наконец, хороший признак, — сказал он, — хотя я ни капли не надеюсь и ни за что не ручаюсь... Простыни чисты. Кровавое выпотение остановилось. Может быть, укрепляющие средства подействуют, и он еще выдержит чудом каким-нибудь эту страшную слабость... Богатый, сильный организм. Другой на его месте давно был бы покойник.

Дебрянский заснул. Моллок потребовал, чтобы от больного удалились все, оставив при нем лишь одного человека сиделкою и стражем. Первую очередь взял на себя Гичовский. Моллок на всякий случай оставил в доме своего ассистента и уехал. Когда он сходил с крыльца виллы к своему экипажу, навстречу ему вверх по крыльцу быстро поднималась дама, одетая в черное, маленького роста, с наклоненною головою под траурным вуалем. Моллок вежливо дотронулся до своего цилиндра, но дама не обратила на поклон никакого внимания и прошла своей дорогой. Ее невежливость удивила доктора, но еще больше походка: она шла странными, шаткими, точно у нее были ватные ноги, и уверенными в то же время, будто механическими, шагами, точно она не видела, где и куда шагает, но не могла бы ошибиться ни одним шагом, ни короче, не шире, как живая машина, заведенная на определенное движение с рассчитанным расстоянием и ритмом.

— Любопытный образец ataxia locomotoris *, — подумал врач.

Выехав на марину, он спросил своего кучера:

— Спиро, не знаете ли вы, кто была эта незнакомая дама, которую мы встретили, отъезжая от Вучичей?

— Я не заметил никакой дамы, господин.

— Ну вот — я раскланялся с нею на крыльце... В черном, под вуалем?

---

* Атаксия моторная *(лат., мед.)* — нарушение двигательных функций.

— Ах, в черном? Тогда это, наверное, монахиня из монастыря св. Константина. Они, как вороны, летят к постели каждого больного...

— На нее нельзя не обратить внимания. Она идет — будто у нее согнуты колени и колесики вместо ступни.

— Приседает? Ага! В таком случае, это сестра Августа из евангелической общины. Она волочит ногу и вечно жалуется на ревматизм...

Гичовский, по уговору с Вучичами, должен был дежурить у постели Дебрянского два часа. Потом его сменяла Зоица.

Мерное шлепанье морского прибоя незаметно баюкало Гичовского: он устал, гоняясь за Лалою по горам, гораздо больше, чем думал сначала. Он долго боролся со сном и все-таки не одолел: его шатнуло раза два на стуле... перед глазами поплыла розовая мгла... мысли запрыгали в голове, не теряя еще связи с действительностью, но утратив всякую последовательность... всплыло два-три далеких воспоминания — настолько неожиданных, что Гичовский очень удивился, откуда они взялись, потому что он думал, что еще бодрствует, а на самом деле уже давно дремал...

Из дремотного тумана вышел и сел перед Гичовским незнакомый человек странной и печальной наружности: желтое комковатое лицо его было угрюмо, глаза — две блестящие коричневые точки — смотрели пристально и тревожно... Он качал головою и жалобно лепетал. Гичовский не слышал звуков голоса и тем не менее разбирал слова:

— Я предупреждал... я говорил... ах как дурно! как дурно!

И графу Валерию было почему-то и досадно, и страшно слушать, хотя он не понимал, о чем лепечет незнакомый господин, когда и кого он предупреждал, что дурно.

— Какой тяжелый и проклятый сон! — думал Гичовский, придя, наконец, к убеждению, что он спит, а сон между тем бормотал:

— Я предупреждал, что я мог... а многого я не могу... тень против явлений...

— Ага! — с удовольствием соображал сонный граф, — я тебя поймал: ты дезертир, ты Петров, ты забежал в мою голову из головы Дебрянского...

— Я дезертир! Я «Троватор»! Vive le désert! * Фелисьен Давид работы Микеланджело!

И вдруг он вытянулся и закружился дымною спиралью, на вершине которой беспорядочно шаталась его голова с испуганными глазами:

— Проснитесь, граф Манрико! — болтал он, шевеля далеко перед собою в воздухе необычайно длинным и тонким языком. — Я сон... только сон... сон пустыни... le désert, le désert...* Филистимляне близко... Вставай, Давид!

Но граф спал и думал:

— Вот чудак-дезертир... завел себе винт вместо тела?

— Близко... близко... здесь! — взвизгнул сон, шатаясь, точно маятник, саженными размахами.

Спираль переломилась, лицо неизвестного, сверзившись с высоты, очутилось у сапога Гичовского и быстро поползло в сторону глазастою сороконожкою...

— Она здесь, она здесь... а я — что же?.. Deserto suila terra...*** я сон, только сон, — слышалось Гичовскому, между тем как сороконожка медленно, лапка по лапке, превращалась в клубы дымчатых паров.

И все потемнело — и не стало больше никаких видений. Сон тяжелым свинцовым грузом навалился на грудь графа.

Его разбудил неистовый вопль... Оглядевшись мутными глазами, граф не сразу сообразил, где он и зачем... Вид по-

---

* Да здравствует пустыня! *(фр.)*

** Пустыня, пустыня... *(фр.)*

*** Вся земля — пустыня... *(ит.)*

стели с распростертым на ней больным возвратил Гичовского к действительности.

— Боже мой! — зашептал он в стыде и смущении, между тем как его еще шатало сном, и глаза его слипались, и предметы в зрении его смешивались и сливались очертаниями и красками. — Я проспал... Зоица! вы уже здесь... извините, ради Бога... зачем вы меня не разбудили?

Зоица, в платке, с черною косынкою на голове, стояла на коленях у постели, как давеча, опустив низко голову свою к лицу больного, и не шевельнулась, не отозвалась, когда Гичовский ее окликнул. А Дебрянский кричал, без слов, дикими короткими взываниями, громовою икотою, будто ревом ягуара из огромной, пещерно-пустой груди...

«Это — агония! последний смертный вопль!» — как молния озарило графа и стряхнуло с него шатающее опьянение сна.

Обойдя Зоицу, он стал на колени с другой стороны кровати и нагнулся к Алексею Леонидовичу: теперь больной только хрипел и вздрагивал, глаза его, мутные и ясные в то же время, как бутылочное стекло, были ужасны... они смотрели и не видели... Кровь лила ручьями... он тонул в крови.

— Но он кончается! Зоица! будьте здесь! Я побегу за Моллоком! — закричал Гичовский.

Ответа не было, а Гичовский, оглядевшись, увидел, что он ошибся: то, что со сна он принял за коленопреклоненную Зоицу, было тенью от вешалки с халатом, за которую поставлен был ночник, чтобы свет не беспокоил больного. В комнате, кроме него, никого не было, только хрипел, вздрагивал, как рыба на песке, и истекал кровью несчастный Дебрянский. Трупный запах внутренней гангрены невыносимо вырывался теперь с каждым его вздохом. Граф взял Алексея Леонидовича за руку и с ужасом увидал, что его пальцы оставили на вялой коже больного вдавленный зеленоватый след.

«Но это именно то, что было у того негра в Гвинее! — вспомнил он. — Тело, умирающее заживо... оно распадется хлопьями, едва он испустит дух...»

На крик графа Валерия сбежались все Вучичи и доктор. Алексей Леонидович никого не узнал и умер на их глазах.

Назавтра к вечеру его похоронили.

XI

Возвратясь с похорон, — тяжелых и жалких, потому что старый богатырь Вучич, не стыдясь, быком ревел, а Зоица, в пришибленном состоянии полуобморока, была страшнее самого покойника, мертво-прекрасного и как-то особенно гордо и грозно-хмурого в своем дорогом парчовом гробу, — граф Валерий медленно шел с кладбища домой в гостиницу с твердым намерением немедленно уложить свои вещи и с первым пароходом уплыть куда глаза глядя, от этих опечаленных мест, где судьба бросила его свидетелем в такую тяжелую трагедию.

Он шел вдоль околицы королевской образцовой фермы — к громадной дикой маслине, которая, зелено возвышаясь над седыми головами культивированных маслин, указывала ему поворот к дому. Когда граф поравнялся с дикою маслиною, от корявого ствола ее отделилась темная фигура, покрытая с головою красным платком, и тихий голос произнес:

— Не удивляйтесь... это я...

— Лала?!

— Да... что вы так смотрите на меня? Живая Лала, не тень...

Граф махнул рукою.

— А! я столько бредил и грезил в эти дни на Корфу, что тени вашей удивился бы, кажется, даже меньше, чем вам самой... Я чувствую себя в Петрониевых временах, когда на

дороге легче было встретить бога, чем порядочного человека.

— Мне надо говорить с вами, — тихо сказала Лала, оставляя без внимания его сердитые, насмешливые слова.

— К вашим услугам, — очень сухо ответил Гичовский, опускаясь на придорожный столбик.

— Вы видели сегодня Зоицу, — сказала Лалица после долгого молчания, в трудных усилиях спросить, так что кровавыми пятнами пошло ее лицо. — Какова она?

— Если ваша великая Мать-Обь добивалась непременно убить два невинные существа, то она может быть спокойна: месть ее удовлетворена. Зоица еще жива, но так же хорошо убита вами, как и похороненный Дебрянский.

Лала выслушала упрек Гичовского, не дрогнув ни одним мускулом бесстрастного, широкого, каменного лица — тяжелого, зловещего лица скифской богини на степном кургане или архаической жрицы тех веков, когда боги пили еще человеческую кровь и на алтарях их сжигались закланные пленники.

— Девичьи слезы — роса, — сказала она. — Взойдет новое солнце и высушит росу. Вы не знаете Зоицу, а я знаю давно. Всегда знала — теперь совсем узнала...

Горькая улыбка осветила ее суровые черты.

— Я не могу увидаться с Зоицей. Старик Вучич свирепствует против меня...

— Да, он страшно возбужден, и я не советую вам, Лала, попадаться ему на глаза. Он нравом бешен и на руку тяжел...

Лала отвечала с презрением:

— Я нисколько не боюсь его. Что он может мне сделать? Я дуну на его руку, и она упадет свинцом. Я не хочу встречаться с ним из страха не за себя, но за него. Он хороший человек, я его люблю и не хотела бы заплатить злом за его хлеб-соль и все добро ко мне. Если он меня увидит, то оскор-

бит, а оскорбить жрицу Оби — значит написать себе смертный приговор... Для нас, трехсоставных, — гордо говорила она, — не существует замков и запоров. Если бы я хотела, то послала бы к Зоице душу мою, и душа моя говорила бы с нею за меня. Если бы я хотела, то послала бы к Зоице звездного близнеца моего, и звездный близнец говорил бы за меня. Но Зоица сейчас вне себя. Если я или нечто мое заговорим с нею, она не выслушает, потому что огорчена, зачем я умертвила ее жениха. Что же? Пускай так. Вы знаете, я не отрицаю. Убила.

Вызывающе глядя на Гичовского, она смачивала языком пересохшие губы. Гичовский молчал.

— Но ее... ее, хотя она изменила мне и столько же достойна казни, как тот, ее сообщник, — ее я убить не могу... Я слишком ее любила и люблю... я вымолила ей пощаду у таинственных сил Матери-Оби. Пусть она живет. И пусть не заботится больше об истине, которую она должна была познать, но отвергла, о величии, которое должна была стяжать, но для которого оказалась слишком ничтожна, о любви и подвиге, который должна была свершить во спасение всех людей, но который променяла на взгляды и нравы белых дураков, живущих в проклятых городах, проклятою, не знающею радостных правд жизнью. Пусть забудет она все, что было между нами. Ей от этого не станет ни лучше, ни хуже. Мне... Да ей все равно, каково мне, и, стало быть, что же обо мне говорить? Не стоит. Не для нее, но для вас скажу я только одно: не дешево и тяжко досталось мне выкупить ее от мести мертвых богов... Смотрите.

Она сдернула красный платок с головы своей, и Гичовский с изумлением увидал, что волосы ее, еще три дня тому назад черные как смоль, стали совершенно седы.

— Это — печать горя и ужаса, которыми я наказана за ошибку свою в Зоице. Целые столетия дух девственниц рода Дубовичей повелевал силами стихий. Теперь, чрез меня, он

порабощен ими, как недостойный. Я — униженная жрица, разжалованный воин, вещая, с которой снято ее достоинство. Отныне я должна повиноваться тем, кому повелевала. Я поклялась, что больше никогда не увижу Зоицу. Силы посылают меня в долгое и страшное путешествие, в далекие, безвестные страны. Я обречена блуждать, пока я не найду другую белую девушку без капли черной крови, подобную Зоице, но мужественную, достойную и способную осениться восторгом и увенчаться подвигом возрожденной Евы... Я найду ее, и тогда вина моя отпустится мне. А Зоице скажите, что она свободна. Пусть выкинет память обо мне из жизни своей и забудет меня, как ночной бред. Прощайте.

Она встала.

— Зачем же не освободили вы ее раньше? — горько упрекнул Гичовский. — Зачем надо было умереть Дебрянскому?

Она холодно улыбнулась.

— Зачем сожигает огонь? Зачем разложение трупов отравляет людей заразою смерти? Зачем из отравленной людьми земли поднимаются ядовитые газы? Зачем тайна дышит смертью, и стремиться в тайну — значит спешить к смерти? Зачем человек отверг древо жизни, лишь бы отведать плодов древа познания добра и зла? Зачем Дух унизил Материю и заключил ее в темницу? Зачем мир так оскорблен и мрачен, и царь его — побежденный раб? Зачем на главе Великого Змея пятно от пяты, ее поправшей? Зачем мертвое и живое стало враждебно и розно? Чтобы соединить их, нужно новое творение; чтобы было новое творение, нужен новый бог-победитель; чтобы был новый бог-победитель, должна возродиться Ева, какова была она, когда ее, не оскверненную человеком, обнял кольцами добра и зла Великий Змей Саммаэль...

— Это и не ответ, и старые сказки, Лала.

— Думайте, как знаете, — мне все равно. Если вас не убедило все происшедшее, то не убедят и никакие чудеса.

Вас мне жаль, граф, очень жаль. Вы нечаянно замешались в тайны Оби и враждовали против нее. Я не сержусь на вас, потому что вы не понимали, что делаете, но придет и ваш черед поплатиться за неосторожность. Когда, как — не знаю и не могу предсказать. Я предвижу только тучу, но грома предсказать не могу. Остерегайтесь встреч с мертвым миром: он ловит вас. Берегитесь и — до свидания... хотела бы сказать: прощайте! — потому что свидание наше не может быть радостным. А между тем... Я вас очень люблю — вашу беспокойную душу, вашу пытливую голову, ваш сильный и холодный характер, ваши неугомонные поиски новизны, знания, истины. Вы нашли многое, и дастся вам еще больше, но — никогда все. Никогда — хотя вы могли бы и достойны найти и взять все. Но вы на ложной дороге, потому что сами положили себе предел в слабых силах человеческого ума, хотите работать только ими и без ключей от знания не приемлете ключей вдохновения и веры...

— Полно, Лала! — перебил граф. — Мы не поймем друг друга. Я убежден в вашей искренности, но убежден и в том, что вы несчастнейшая в мире женщина, погубившая фантастическою морокою, обращенною в хроническое, почти постоянное состояние организма, не только нескольких других горемычных, но и прежде всего самое себя. Я, действительно, человек пытливый, но, проверяя всю историю смерти Дебрянского, не вижу в ней теперь никакого намека на сверхъестественные тайны, знание которых и могущество вы себе приписываете. Болезнь моего друга записана Моллоком и мною с начала до конца. Ни один момент ее не нуждается в ином объяснении, кроме причин совершенно осязательных и физических. Сперва, как вы знаете, я думал, что Дебрянский был отравлен, — раскаиваюсь в этом и извиняюсь пред вами. Теперь я полагаю, что к нам в Корфу он приехал, уже нося в себе злокачественную лихорадку, при помощи которой развились в нем задатки скрытого безу-

мия. Ему здесь под влиянием морского климата стало как будто лучше и легче; обманутый ложным улучшением здоровья, он расхрабрился, стал небрежничать собою — и при первой же простуде болезнь схватила его в свои когти с утроенною силою. Ваше фантастическое поведение и вражда к нему повлияли на его расстроенное воображение, испорченное бреднями оккультистов, возбудили суеверную подозрительность, которой начало положила еще московская галлюцинация и тяжкая смерть Петрова. Согласитесь, Лала, что о Петрове, например, вы в первый раз слышите? Ну вот то-то! А он сыграл здесь роль и гораздо большую, чем мертвая любовница, которую вы так ловко отгадали вашим вторым зрением или вторым слухом. Сплелся узел гипнотизирующих совпадений. И все это отразилось в больном мозгу новыми галлюцинациями, настолько резкими и выразительными, что сила их отчасти заразила и нас самих, свидетелей его страданий... меня, Зоицу, даже Моллок смутился было... Вот и все.

Лала пожала плечами.

— Думайте, как хотите, — повторила она, — я пришла не убеждать вас, а проститься с вами и через вас с теми, кого я любила до сих пор больше, чем остальных людей мира. До свиданья. Будьте счастливы, если сможете. А я — ваш друг.

Часть вторая

ДРЕВО ЖИЗНИ

ДНЕВНИК ГРАФА ВАЛЕРИЯ ГИЧОВСКОГО

1 мая 1893 года

Вот я и на родине! Хороша моя дорогая Волынь! Тишь, гладь и Божья благодать. Сейчас бродил по парку... Темь, глушь... дорожки густо заросли травою... Скитался, как в лесу: напролом, целиной, сквозь непроглядную заросль сирени, жимолости, розовых кустов, одичавших в шиповник, барбариса, молодого орешника. Еле продираешься между ними, унося царапины на лице и прорехи на платье. Из-под ног скачут зайцы, над головою звенит тысячеголосый птичий хор. Войдешь в это певучее зеленое царство — и точно отнят у остального мира. Ступил два шага от нашего ветхого палаца — и его уже закрыл зеленый лиственный полог. Кое-где в кустах попадаются обломки статуй — безносые головы, безрукие и безногие торсы. Гипс размок и почернел, мрамор оброс мхами; на плечах обезглавленной Цереры из перегноя прелых листьев поднялся бодрый малютка-дубок. Наш предок магнат, вельможный пан грабя * Петш Вавжинец Ботва Гичовский, полтораста лет тому назад превративший

* Граф *(польск.)*

здановские рощи в парк, победил было лесную глушь. Но потомки зазевались — и глушь вырвалась из оков. Сперва она возвратила себе все, что люди у нее отняли, исправила по-своему все, чем мы ее — по-нашему — украсили, а по ее рассуждению, вероятно, обезобразили, и теперь идет войною уже на самый палац. Ступени террасы, подоконники, карнизы, балконы, черепичная крыша зелены, как и самый сад. На них растут мхи, травы, молодые древесные побеги. В моем кабинете нельзя отворить окна — мешают ветви старой сирени. От нее темно в комнате. Надо будет ее срубить, но — прежде пусть отцветет: а теперь она вся, как невеста под венцом, в кистях белых благоуханных звездочек... вчера вечером на ней пел соловей...

2 мая

Дышу... молчу... слушаю деревенскую тишь и сам себе не верю: неужели я, всесветный бродяга и авантюрист — наконец у пристани? В приюте тихом, прочном и долгом, откуда уже трудно убежать вдаль, опять на поиски нового, необыкновенного... Измаяли меня эти долгие поиски. Я начал их молодым, богатым, здоровым, а кончаю больным, полунищим, и хоть лет мне не так уж много — кто же назовет меня «еще молодым человеком»?

Прежде жажда новых ощущений увлекала меня в Южную Америку, в Среднюю Азию. Я видел пир людоедов в Африке и пускал бумеранг в казуара вместе с австралийскими дикарями. Теперь, если новому и необыкновенному угодно свести со мною знакомство, пусть оно само сюда пожалует: я не сделаю ни шага ему навстречу — мне и здесь хорошо.

Спасибо брату, счастливому владельцу этих мест (о, где вы, Гичов, Дырянка, Лайцевицы, Грабово и все прочее родовое и наследственное, чего я был счастливый владелец?),

что ему пришла в голову идея доверить мне управление Здановым, — идея довольно неосторожная, надо сознаться: в ней больше любви ко мне, чем практического благоразумия. Я ведь никогда ничем не управлял — ничем, не исключая самого себя... Между тем я прослыл за человека с сильным характером.

Почему? Вероятно, потому что я — изволите ли видеть — стрелял львов в Африке и ходил один на один, с ножом и рогатиною, на медведя в Олонецкой губернии. Великие заслуги — нечего сказать! Как часто принимают люди за характер отсутствие в натуре человека способности к физическому страху... Еще в детстве, читая у Гримма сказку об удальце, который бродил по свету, напрасно стараясь узнать, что такое страх, я думал: «Вот я тоже такой!» Всякая борьба дарила меня минутами высокого наслаждения; я не трусил никогда ни человека, ни зверя, ни черта. Я всегда делал только то, что мне хотелось, и чего мне хотелось — непременно достигал. Но я никогда не мог себя заставить сделать то, что было надо сделать, никогда не насиловал себя к отказу от того, чего не следовало делать. Разве это характер? Нет, упрямое прихотничество, не больше. Характер — в повиновении долгу. Сам хвастаюсь храбростью, да и никто не скажет, что я трус... а между тем семнадцать лет тому назад я заставил дядю купить мне рекрутскую квитанцию, чтобы избавиться от воинской повинности. Мне приятно драться с медведем, мне приятно стоять на дуэли под пулею бретера — вот почему я без страха шел на медведя, принимал и сам делал вызовы на поединок. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, блаженства, может быть, залог!» Я замешался волонтером в чилийскую революцию — и показал себя храбрым солдатом. А от воинской повинности все-таки сбежал — затем, что тут я должен был стать солдатом не по своей воле, но по приказанию закона. А хоть я и не дурак, закон для меня всю жизнь был

не писан. Удрал от солдатчины, чтобы сделать не по-людски, а по-своему. Где же тут характер?

4 мая

Четвертый день дождь... От скуки разбираю библиотеку... Все больше мистические книги: коллекция моего прапрадеда по матери Никиты Афанасьевича Ладьина. Довольно общий закон: матери по наследственности передают свои свойства чаще сыновьям, чем дочерям, отцы — наоборот. Мы, Гичовские, и брат, и я, почти ничего не унаследовали от отца, кроме его польского профиля, шляхетской удали и железного здоровья, но целиком восприняли в свои жилы кровь фантастической русской семьи Ладьиных, переданную нам матерью. Летопись ее фамилии — старинной, столбовой, с корнями родословного древа где-то во мраке баснословия, еще за Василием Темным, — полна чудес удивительных. Между моими предками по женской линии были странные люди. Вот, например, прадед Никита Афанасьевич, в чьей библиотеке я теперь роюсь. Чудак презамечательный! Богач-вельможа XVII века — и вольнодумец, и мистик: обычное смешение той эпохи! — он всю свою молодость возился с магами, заклинателями, дружил с Сен-Жерменом, Месмером, Калиостро, принадлежал к розенкрейцерской ложе, искал философского камня, думал делать золото и открыть жизненный эликсир. В самый разгар французской революции он, уже пожилой человек, очутился зачем-то в Париже, был принят за шпиона роялистов, попал в Консьержери и спасся от гильотины только чудом, освобожденный вместе с другими узниками благодаря никем не чаянному падению и смерти Робеспьера. В тюрьме он успел попасть под влияние одного созаключенника своего, аббата из Вандеи, едва ли не иезуита, который превратил его из вольномыслящего деиста в верующего католика. Видя в своем чудесном избавлении перст

Провидения, Никита Афанасьевич бросил свое розенкрейцерство и ударился «искать Бога»: сперва в католичестве, потом, когда аббат оказался изрядным мошенником и бессовестным эксплуататором неофита своего, в простонародном православном мистицизме. Побывал в скитах, возился с людьми старой веры, сектантами, хлыстами. Кончил же жизнь в какой-то своей одинокой вере, ни с чьей другой ни во вражде, ни в союзе, отшельником без клобука, вдвоем — с глазу на глаз — с государыней-пустыней. Моя мать смутно помнила, как ее, пятилетнюю, няня водила на лесной пчельник, где старый-старый и как лунь белый дед, в армяке, лаптях и с медным образом на груди, угощал ее огурцами с медом. И ей говорили, что старец этот — ее прадед, бывший миллионер и владелец многих тысяч душ Никита Афанасьевич Ладьин, что ему больше ста лет, что уже сорок лет как он не выходит из своего пчельника, живет один с пчелами, с Евангелием, с молитвою, всегда в веригах, всегда в труде. Он намного пережил своего единственного сына Ивана Никитича. Этот последний, ученый-ориенталист и страстный путешественник, провел свою молодость в скитаниях по азиатским землям. Ушел он в странствия свои, как беглец, от знатной, скучной и нелюбимой жены, с которою связало его не знавшее отказов сватовство императора Павла. А потом тайна мира обняла и захватила его и уже не выпустила из своих рук. Он вернулся в Россию полуфакиром, человеком не от мира сего — одаренный способностью ясновиденья и редкою магнетическою силою. Он умер 22 марта 1832 года в один день и час с Гете, которому был приятелем, и, говорят, предсказал это совпадение за день до кончины. Сын его, а мой дед, Димитрий Иванович, пошедший не в него, а в суровую, строго воспитанную и сдержанную умницу-мать из рода Апросимовых, человек с трезвым умом и положительным характером, имел, однако, важный психический изъян: он страдал галлюцинациями слуха и зрения. Приписывая свою болезнь

наследственности от фантастов-предков, дед прилагал все усилия, чтобы ослабить ее влияние на следующие за ним поколения. Мы с братом оба не помним своего отца: он умер, когда мне было три, а брату — два года, и всецело обязаны воспитанием деду Димитрию Ивановичу. Он устранил нас из-под влияния дочери своей, а нашей матери, женщины очень доброй, но суеверной, истерической, и растил нас истыми спартанцами. Я воспитался в строгой, рассудочной, положительной школе, в презрении к супернатурализму, в привычке считаться только с осязательными явлениями мира, покорными логике здравого смысла и трех измерений. И все-таки материнская кровь взяла свое. И все-таки мы с братом такие же мученики фантазии, как и прадед-ориенталист и прапрадед Никита Афанасьевич. Я не говорю уже о себе. Мое материалистическое воспитание пригодилось мне лишь к тому, что едва я стал самостоятельно думать, я начал интересоваться исключительно явлениями, которые представляются нам выше материи, стараясь подогнать их под рамки своего знания, найти для них лад и толк в системе положительных наук. Твердо веруя, что на свете нет ничего сверхъестественного и все объяснимо логическим путем физики, химии и математики, что хоть иного мы еще и не умеем объяснить, — не только не умеем, а и не можем, — я, однако, исколесил весь земной шар в жадной погоне именно вот за тем, чего мы еще объяснить не умеем. Недаром же один французский журналист после интервью со мною заключил свою статейку меткою фразою: «Это Фауст, сделавшийся авантюристом».

А пан грабя Винцент, мой гордый и холодный делец-брат, гроза московских и петербургских биржевиков? Его считают Наполеоном биржи, удивляются его финансовому гению, тонкости его расчетов, его всезнающий осведомленности, предвидению и провидению. Между тем наедине со мною он сам не раз смеялся над своею незаслуженною репутацией.

— Верь мне, Валер, я осведомлен о пружинах, двигающих биржу, не более любого из зайцев, толкущихся в ее подворотнях. Быть может, даже меньше, потому что они своею подворотнею интересуются и усердно ее изучают, а я свои «сферы» — нет. Слишком скучны они, чтобы тратить на них время и труд исследования — довольно чутья. И никто о них, об этих пружинах, не осведомлен, если хочешь знать. На моих глазах, мой друг, министры финансов проигрывались, потому что их заказы, данные, казалось бы, наверняка в одиннадцать часов, делались никуда не годными каким-то чудом к часу дня. Многие делают вид, будто они осведомлены, и даже сами тому верят, но они лгут или обманывают себя. Они сочиняют предположения и комбинации, а так как на бирже могут быть лишь две возможности: падение или повышение ценностей, — то, естественно, чьи-нибудь предположения непременно удаются. Не да, так нет, не пан, так пропал. И тогда те, чьи предположения принесли выгоду, прославляются глупою толпою, как финансовые мудрецы, а чьи предположения провалились, оказываются дурачками во мнении... дурачков же. На самом деле на бирже не бывает ничего ни умного, ни глупого, есть только «везет» и «не везет». Исключения — заведомое мошенничество, биржевое шулерство, когда человек, зная темный государственный секрет или сочиняя ложную телеграмму, искусственно производит панику и роняет верные ценности с тем, чтобы полчаса спустя, когда мираж жульничества рассеется, продать свой запас бумаг по настоящей или высшей цене. Но подобными делами, хотя они считаются законными, я всегда брезговал. Это — не шляхетская нажива. Я всегда играл честно. Меня считают биржевым мудрецом, тогда как я только биржевый счастливчик. Деньги, голубчик, — океан, степь бездорожная. Я играю, потому что верю в свою звезду, и иду, куда меня влечет вдохновение... инстинкт... чутье золотого запаха... Я фаталист, мой друг, безнадежный и неизлечимый фаталист!..

В сущности, Винцент такой же авантюрист, как и я, только в другой области... Оттого-то он и любит меня, хотя мы видимся много-много, если раз в пять лет. Я чувствую его симпатию через время и пространство. Я был в Японии, когда три года тому назад Винцент заболел дифтеритом. Он не телеграфировал мне, но я знал, что он болен... мне было нехорошо самому, и я догадывался, что мне нехорошо потому, что сейчас нехорошо и Винценту.

У него же, в смысле чутья по отношению ко мне, было в юности даже телепатическое приключение, о котором в свое время говорили и русский «Ребус», и заграничные спиритические журналы. У меня сохранилась вырезка из «Ребуса» с описанием этого странного случая в виде фантастического рассказа о «Белом охотнике» и под выдуманными именами. Николай — это брат Винцент, Берновка — Замостье, З.П. Бернова — пани Замойская, а усадьба Николая — тот самый Зданов, где я в настоящее время нахожусь.

* * *

Это случилось в июльское полнолуние 1873 года.

Я был в гостях у моей соседки по имению Зинаиды Петровны Берновой, праздновавшей в тот день свое рождение. Когда гости собрались прощаться, уже совсем свечерело. Кто, по настоянию хозяйки, остался ночевать, кто отправился восвояси. К числу последних присоединился и я.

До моей усадьбы считалось от Берновки что-то около трех верст; дорога шла полем и только близ самого дома пряталась сажен на сто в густой березняк — начало громадного казенного леса, покрывающего добрую четверть нашего уезда. В наших местах не шалили; про волков тоже не было слышно, да летом они и не опасны; у меня в кармане лежал револьвер. Сообразив все это, я отверг любезное предложение Берновой снабдить меня экипажем и пустился в путь пешком.

Ночь была дивная. Луна успела высоко взойти и все еще поднималась по небу. Берновка стояла на сухом холме, но за ее околицей я вступил в полусвет-полусумрак густого тумана, слегка посеребренного месяцем. Стало довольно свежо для июля. Впрочем, после ужина с достаточным количеством выпитого вина; после толкотни в душных, накуренных комнатах маленький холодок был даже приятен.

Я человек образа мыслей прозаического и рассудочного, воспитания материалистического, характера положительного и железного здоровья. Болезненная наследственность от матери, женщины весьма фантастической, последней представительницы древнего, угрюмого рода, давшего России целый ряд мистиков и религиозных искателей, сказалась во мне только в период возмужалости, когда меня ни с того ни с сего стали посещать припадки панического страха. Мне внезапно делалось жутко быть одному, перейти в другую комнату, стоять спиною к двери или к зеркалу; жутко до того, что я бледнел, дрожал, обливался холодным потом. А между тем я не знал трусости ни пред какой явной физической опасностью. Ни пред человеком, ни пред зверем, ни пред трудным приключением. Я пробовал бороться против страха: если меня пугала темнота, я нарочно шел в потемки; если мне чудился неопределенный шорох, я исследовал комнату, пока не убеждался, что сробел... пред мышами! Но как-то раз, в сумерки, я грелся у камина в старом, темном кабинете деда моего. Меня посетил страх, тот особый страх: «Ты не обернешься назад, ни за что не обернешься!» — шептал мне голос сердца моего. Верный своему репрессивному лечению, я обернулся — и дрожь пробежала по моему телу. Не подумайте, чтобы мне предстал какой-нибудь фантом; нет, я не видел ничего страшного, скажу даже: ничего явственного. Но (не знаю, точно ли я выражаюсь) я почуял в темном углу кабинета *движение* или, вернее, *содрогание чего-то живого, чужого мне*. Не было никого, а как будто кто-то

был в том месте. Я поясню примером — его легко могут проверить своим опытом все, кому в удел достались чуткие нервы: в большом темном зале сидит А.; Б. входит в зал без малейшего шороха, ни одним звуком, доступным человеческому слуху, не известив А. о своем приходе; тем не менее А., раз он нервно настроен, непременно почует хоть на одну секунду Б. и окликнет: «Кто здесь?». Если уверять А., что ему «представилось», он согласится; но попросите его показать место, где «представилось», и А. безошибочно укажет сторону, откуда появился Б. Близкое к подобной чуткости, только гораздо более волнующее ощущение испытал я при описанном случае.

С тех пор *движение* стало бичом моим. Стоило мне остаться одному, и я уже чувствовал его пред собой. В длинные зимние вечера я погибал от этого неутомимого мелькания. Даже общество не всегда спасало меня. Я считал и считаю свое *движение* болезнью, несомненно, основанной на чисто физиологических причинах: может быть, виной было временное поражение сетчатой оболочки, может быть, общее расстройство нервов, связанное с процессом возмужалости, привело в беспорядок и зрительный аппарат. Что главную роль в болезни играли глаза, я вывожу вот откуда: ни осязание, ни слух не участвовали в припадках; я ни одного звука не слыхал от движения, я ни разу не ощутил от него веяния. К семнадцати годам это неприятное недомогание покинуло меня совершенно, так что в пору, как я описываю свое приключение, я о «движении» забыл и думать.

Я скоро достиг леса. Здесь было так туманно, что, не знай я дороги, пришлось бы двигаться вперед ощупью. Медленная ходьба и однообразная белизна сырого воздуха странно повлияли на меня: я впал в задумчивость, глубокую и отвлеченную, как магнетическое усыпление. Когда навстречу мне попался какой-то мужик, я мог еще разглядеть его высокую фигуру, видел, что он мне поклонился, но не помню,

отдал ли я поклон, и положительно помню, что уже не слыхал шума его шагов. Долго ли я шел, не знаю; во всяком случае, больше получаса, то есть времени, совершенно достаточного, чтобы неспешным шагом добрести от Берновки до моего жилища.

Большая сова гукнула над самым моим ухом, тяжело поднялась с сука и проплыла над моей головою; мягкий шум ее полета заставил меня очнуться. Я огляделся: вокруг был лес, но не тот, знакомый мне вдоль и поперек березняк. Ноги мои тонули в росистой траве, поблизости не было видно ни проселка, ни даже тропинки. Я забрел в болотистую лощину, невдалеке журчал ручей. Гигантские сосны обступали края лощины и сквозь туман казались еще громаднее. Я терял голову в догадках, куда завела меня моя непонятная рассеянность и каким образом завела? По многим признакам мне казалось, что я — в так называемом Синдеевском Яру, хотя я очень желал обмануться, потому что Синдеевский Яр — скверное место. Год назад там едва не погиб мой брат Георгий. Загнавшись туда за раненой лисой, он незаметно очутился, как я теперь, между двумя извилистыми линиями высоких, почти отвесных обрывов; не трудно в двух-трех местах скатиться вниз по мягкой глине, как с ледяной горы, зато не так легко взобраться опять наверх: глина оползает громадными глыбами и того гляди похоронит под собой. Зеленые лужайки по дну лощины при ближайшем знакомстве оказываются обманчивым покровом сплошного топкого болота; в Яру нельзя шагу сделать без опасности завязть в зыбучей трясине, как и случилось с Жоржем. Обдумав свое положение, я понял, что даже в самом лучшем исходе должен провести ночь в лесу, так как, если бы даже мне удалось выбраться из Яра, я заплутался бы в чаще. На линии обрыва виднелось несколько просек; по какой из них я пришел, не было ни малейшего представления в голове моей. Я покорился своей участи и присел на первый попавшийся пенек. Было очень

тихо. Только пугачи перекликались где-то очень далеко и замечательно мерно: крикнет один — пауза, крикнет другой — опять такая же пауза — опять крик первого... Жутко было слушать их дикие вопли — сердце надрывалось.

Едва я принял спокойную позу, как внезапно ощутил близость давно забытого *движения*. Я вперил глаза в белую глубь тумана и скоро нашел в нем как бы содрогающуюся точку: *движение* распространилось от нее, как лучи от светильни, — кругом и, чем ближе к окружности, тем слабее; весь круг представлялся моему воображению аршина четыре в диаметре; он не перебегал с места на место, что случалось наблюдать мне раньше, а, напротив, устойчиво держался первоначального центра. Сосредоточенное внимание к точке быстро привело меня ко сну — по крайней мере, я не помню себя в течение довольно долгого времени до момента, когда голос, далекий, но резкий и ясный, назвал меня по имени. Я вскочил на ноги.

— Ау! Кто здесь жив человек? — закричал я.

Эхо прокатилось по просекам и смолкло. Пугач раздирающе ухнул и стих. Ответа не было. Минута, другая, третья — наконец с востока донесся до меня слабый раздельный оклик:

— Ни-ко-лай!

Очевидно, меня хватились дома брат и дядя и надумались учредить за мной поиски. Я несказанно обрадовался, крикнул еще раз, что было мочи, и пошел в сторону голоса. Мне посчастливилось сразу попасть на тропинку — узенькую, глубокую и вязкую, вероятно, протоптанную к водопою кабанами: их много в нашем уезде. Крупный зверь бросился с моего пути — белые полосы на спине обличили барсука. Я шагал неутомимо. Голос по временам звал меня и все с одной и той же стороны. Я громко аукал, однако мне не отвечали — значит, меня не слышали. Сперва я удивился, затем заключил, что попал в акустический фокус, весьма обыкновенный в лесных дебрях, если они разбросаны на хол-

мах: звук с полной ясностью долетает сверху вниз и весьма слабо распространяется снизу вверх; иногда бывает и наоборот.

Кабанья тропа кончилась. Почва стала крепче; мелкие голыши шуршали под ногой. Скоро я уперся в каменистую тропу, протоптанную к верху обрыва.

— Николай! — отчетливо раздалось надо мной.

Я был у цели. В две минуты, не больше, я вскарабкался в гору. Наверху никого не было. Значит, брат, не слыхав моих воплей, решился направить поиски в другую часть Яра. Как бы то ни было, он не мог уйти далеко. Я аукнул и свистнул особым манером, хорошо известным Жоржу. Тогда произошло нечто необычайное.

Я стоял на границе тумана. За мной, в лощине, было целое море паров; предо мной поднимался косогором темный сухой лес с широкой прогалиной, залитой лунным блеском. Оттуда, словно из отдушины, тянуло мне в лицо предрассветным ветром. Когда я свистком разбудил эхо, из-за плеч моих вырвались, отделяясь от тумана, два огромных белых клуба и полетели, как теперь я соображаю, *против ветра* — прямо в отверстие прогалины. В полете они словно таяли, уменьшались в объеме и все ниже, ниже приникали к земле...

— Николай! — дошло ко мне *по ветру*.

Я поспешил на зов и там, где прогалина кончалась, упираясь в лиственную стену, издали зазрил высокого человека в белом кителе, с ружьем за плечами и возле него сеттера, тоже белого.

— Это ты, Жорж? Я здесь! Долго вы меня искали? — заговорил я, но, приблизившись, убедился, что обращаю речь к молодой березке; оптический обман показал мне белого человека сажен на пятнадцать ближе, чем стоял он на самом деле, у поворота узкой тропинки, уходившей в глубь леса. Я налег на ноги и настиг охотника настолько, что мог слышать фырканье его собаки. Еще шаг вперед — и светлый

человек исчез в кустах, а когда опять появился на тропинке, оказался еще на большем расстоянии от меня, чем раньше! Я смутился. Мысль о сверхъестественном явлении мелькнула в моем уме.

— Жорж! довольно дурачиться! остановись! — сказал я.

Ответа не было. Страх зашевелил мои волосы.

— Жорж! — повторил я, и голос мой дрожал и прерывался. — Жорж! скажи, что это ты... Я боюсь...

Ответа не было. Мы шли теперь шагов на двадцать друг от друга... Я на ходу вынул револьвер.

— Стой, Жорж! Умоляю тебя — не продолжай шутки... я не могу больше терпеть: я выстрелю в тебя... я боюсь, боюсь... Отвечай!

Ответа не было. Тогда я навел револьвер в спину охотника. Он остановился, повернулся ко мне лицом и, как мне показалось, с упреком покачал головой. Револьвер дрогнул в моей руке... Призрак (я более не сомневался, что вижу призрак) опять тронулся вперед; я, весь дрожа, все-таки старался не отставать от него. Я не мог разглядеть странного вожатого: укрываясь в тени дерев, он и его сеттер двумя чуть светящимися пятнами скользили на темном фоне леса.

Чаща редела: меньше попадалось под ноги бурелома, гниющих колод, ветви реже хлестали в лицо. И вот — светящиеся пятна вдруг потухли, исчезли. Вместе с тем последний строй векового леса остался за мною. Я стоял на окопе — впереди расстилалась вниз по пригорку кудрявая опушка; при мерцании занимавшейся зорьки вдали чернели крыши моей усадьбы. Призрак не показывался более...

Красный шар солнца выкатился на горизонте, когда я был наконец дома.

Жорж спал в своей комнате, завалившись в постель с раннего вечера. Итак, меня вывел из леса не он.

«Кто же? Кто?» — мучительно думал я и с этим вопросом уснул, поборенный усталостью.

Наутро, если бы не синяки от ушибов, не царапина на лице, не ломота в разбитых членах, меня никто не уверил бы в действительности ночного приключения. Жорж вошел ко мне, когда я еще не вставал.

— Где ты вчера пропал? — заговорил он. — Я о тебе беспокоился. Даже во сне тебя видел — цени! — и как еще скверно видел: будто ты застрял в Синдеевской трясине, и мы с Милордкой тебя оттуда выручаем...

— Как?! — я поднялся с подушек.

— С Милордкой... Забыл разве покойника? Эх, славный сеттер был! чутье неподражаемое... Да что с тобой?! — вскрикнул вдруг Жорж и бросился ко мне на помощь. — Ты, кажется, собираешься падать в обморок? Эка! Побелел, как полотно...

5 *мая*

Двенадцать лет тому назад я, чтобы ознакомиться со средневековою демонологией, провел зиму в Париже и Риме... В Ватикане я изучал пергаментные фолианты, прикованные к полкам железными цепями: старинные суеверы воображали, что если на эти книги не надеть кандалов, то черти непременно унесут их, чтобы лишить людей возможности изучать формулы и знаки, посредством которых Соломон, Альберт Великий, Корнелий Агриппа, Парацельс и Фауст покоряли себе нечистую силу. Средство довольно благоразумное — если не против чертей, то против людей. Не знаю, сильно ли опасаются черти каббалистических сочинений, но между людьми, наверное, всегда найдется множество охотников стащить книгу, указывающую им дорогу к дьяволу.

Однако в библиотеке прадеда я нашел их без всяких цепей — и ничего, целехоньки. Люди здешние не понимают библиографической ценности этих редкостей, а черти на Волыни — либо безграмотны, либо зазевались, по хохлацкому

ротозейству, либо стали вольнодумцами и не нуждаются, по нынешнему времени, в магической литературе.

Я занимался этою литературою, потому что меня интересовал вопрос о галлюцинациях и автогипнотизме, взаимодействием которых современная наука объясняет средневековую чертовщину. Я перечитал томы невозможного бреда на невозможной латыни. Удивительно одуряют головы подобного рода произведения. В Парижской библиотеке мне рассказывали, что один немец, незадолго до меня принявшийся за изучение оккультизма, читал-читал «Malleum maleficarum» * Спренглера да вдруг — как вскрикнет... отскочил от стола, дрожит весь и ну креститься: ему почудилось, что на стол к нему вскочил черт в красных сапогах на петушьих ногах и насмешливо смотрит на него злобными глазами:

— Что, мол, почитываешь? Желаешь знать, каков я из себя? А я — вот он сам налицо: любуйся!

Н.С. Лесков рассказывал мне, как однажды он таким же образом дочитался требника Петра Могилы, где есть молитва для заклинания злых духов, до того, что ему стало мерещиться, будто черт уже в соседней комнате, и — вот только дочитай он заклинание до конца — нечистый сейчас же войдет к нему в кабинет in persona **, во всем адском мундире, с когтями, рогами, хвостом, ароматом жупела и серы... А ведь образованнейший человек! Владимир Соловьев тоже в чертей верит и видит их... А впрочем: чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться? Вспомним ночь на Корфу, когда обер-скептик граф Валерий Гичовский не посмел взглянуть на морской смерч, приняв его тоже за что-то вроде черта, вызванного заклинаниями Лалы Дубович.

---

* «Молот ведьм» *(лат.)*.

** Собственной персоной *(лат.)*.

Ах Лала! безумная, дикая Лала! Странно: когда я вспоминаю историю Дебрянского, мне больше всех, пострадавших в ней, жаль ее, виновницу — таинственную Лалу, бедную, злую, полусумасшедшую, полувдохновенную жрицу таинственной Оби... Она, кажется, тоже питала ко мне некоторую симпатию. По крайней мере, последний пред исчезновением визит ее был ко мне... она сулила мне какие-то бедствия и предостерегала меня от них... Где-то бродит она теперь, со своими внезапно седыми волосами, со своим таинственным ужом, несчастная, запоздавшая на тысячу лет сибилла, разбитое сердце, разложившийся ум? Нашла ли она новую ученицу, за которою пустилась в поиски, взамен этой тряпки — впрочем, надо сознаться, в высшей степени красивой и даже поэтичной тряпки — Зоицы? Сомневаюсь, чтобы ей удалось еще раз порадовать Великого Змея открытием возрожденной Евы, готовой вступить с ним в законный брак! Вернее, что уже давно ее самое поглотил обожаемый ею, вечно льющийся из самого себя сам в себя океан мертвых, единая, в смерти не умирающая, тлением жизнь продолжающая великая царица мира, мать настоящего, прошедшего и будущего — бездна Обь! Я желал бы повидать Лалу... Мое неугомонное стремление знать и видеть новое держало меня всегда в стороне от женщин. Кто связывается с бабами, кто им подчиняется, всегда останется невеждою во всяком познании, кроме, может быть, науки о них самих. Я никогда не был влюблен и не понимал потребности любить. Женщин я знал много, но они оставались для меня либо сестрами, либо только наложницами. Соединить свою судьбу с судьбой которой-нибудь из них я никогда не ощущал ни желания, ни возможности. С Лалою было приятно, в ней не надо было чувствовать женщину, зато чувствовался хороший товарищ. В ней сидит тот же демон фантастического авантюризма, что тревожит и носит по свету меня. Теперь Лала — преждевременная старуха, дикарка, погиб-

шая в ревнивом чаду суеверий, беспощадных и убийственных. Жаль, что я поздно ее встретил. Лет десять-двенадцать тому назад ее можно было бы еще перевоспитать. А если бы этакой вот Лале дать образование и выбить ее с дороги суеверия на тропу живых и практических изысканий — что бы только могли мы сделать с нашею-то двойною энергией!

Если бы я подозревал в библиотеке прадеда такие сокровища, то в Ватикан не за чем было путешествовать. Половина книг съедена мышами, но и оставшейся половины довольно, чтобы, продав ее любителю или Публичной библиотеке, выкупить Гичов или Лайцевицы... Но я сам любитель — и они останутся при мне. Все больше латынь. Славянские рукописи обратились в сор. Вчера попалась мне среди бумажного тлена одна уцелевшая страница-полуустав...

«Имаши ли зрети сродника твоего, подружника альбо знакомита, иже отшед от зде тлением персти, из нее же сотворен бысть, той подобен обратися, изыдый о полунощи, первым кочетом возглашающим, сяди на празе цментажовом, и сродника, его же зрети волишь, вяще содержи в памяти твоей токмо его единого, разве всякие прочие мысли. Очей павруцания опась паментуй, зрак же имей вознесен к Стожару, от Возчика к звезде, рекомой Глафир, тоя же из седьми нарочита яркостна, от ковша на рукоять гвоздное пронжение указует; моргания же скорого и дыхания наипаче стерегись елико возможешь, понеже праце вред и неспорь велия. Поколику вся реченная исполниши, желанный тобою придет к тебе, и сядет, и будет с тобою, аки бы и в живом естестве сущий...»

Должно быть, писано в конце семнадцатого либо в начале восемнадцатого века: язык путаный — ни русский, ни славянский, и полонизмы уже встречаются... Надо полагать, сочинение какого-нибудь чудачка, воспитанного в Греко-латинской академии братьев Лихудов.

6 мая

Наконец, любопытная находка — латинский in quarto *, в телячьей коже, анонимный, печатан в Кельне, год издания вырван... по печати и заставкам не старее первой половины XVII столетия. Название: «Natura Nutrix, aut Curiosa de Stellis, verbis, herbis, lapidibus, eorumque effectis et actionibus» **. Автор неизвестен... Мне еще не попадался в руки этот «физиолог», как звались подобные сочинения в средние века.

Читается трудно... варварская схоластическая латынь... И чушь страшная... Но меня занимает автор, а не книга. То-то был фанатик! Хоть бы одно слово сомнения в своих знаниях, недоверия к своим чудесам. У него нет гипотез — все аксиомы. Рубит прямо и повелительно: Misce, fac, divide ***.

Произнеси такие-то и такие-то заклинания — и готово: совершится такое-то чудо, такой-то и такой-то черт покажется тебе в решете.

Курьеза ради я проделал один из рецептов, произнес заветную формулу — однако дьявол in persona не соблаговолил ко мне пожаловать. Впрочем, может быть, ему помешали: как раз в эту минуту ко мне постучался мой старый Якуб, чтобы доложить, что приехал ко мне с визитом наш уездный врач. Зовут его Коронатом Станиславовичем Паклевецким. Он из смоленских дворян. Веселый человек.

— Знаете, — говорит, — нас, смоляков, дразнят: кость-то шляхетская, да собачьим мясом обросла... Это русские. А поляки говорят про нас другое: пул пса, пул козы — недоярок Божий...

---

* Фолиант в четверть листа *(лат.)*.

** «Колыбель природы, или Наблюдения звезд, слов, трав, камней и их дей ствий и влияний» *(лат.)*.

*** Смешай, сделай, раздели *(лат.)*.

Образованный, живой, довольно остроумный. Брюхо Гаргантюа, губы младенца. Но мне он все-таки не понравился. Что-то уж очень много развязности... Думается мне, что Паклевецкий совсем не такой душа-человек и рубаха-парень, каким хочет казаться. Черненькие глаза его щурятся в постоянную улыбку, но взгляд остается холодным и сторожким... Точно доктор всегда за тобою следит, а самого его — нет, дудки! — врасплох не поймаешь! А есть на душе у него что-то скверное, нечистое... есть! Впрочем, если только у него вообще есть душа, а не пар, как у кота Васьки.

А интересен. Хотя бы уже тем, что превосходно знает всех родственников моих с отцовской стороны, с которыми я очень мало знаком, так как не очень-то простили они отцу женитьбу на русской и то, что не сумел сохранить нас в католичестве. Кого лечил, с кем дружил. Отец в его воспоминаниях мало любопытен: обыкновенный молодчина-шляхтич, захудалый уездный аристократ, гоноровый гербовик, смолоду бравый армейский офицер в хорошем кавалерийском полку, потом отличный сельский хозяин. Поймал себе богатую жену-московку, при помощи которой не только возвратил себе старинные конфискованные богатства польских графов Гичовских, но еще и значительно их приумножил. Рано умер, потому что сильно расшибся на охоте с борзыми — упал в ров вместе с взбесившейся лошадью: шляхетский гонор не позволил выброситься из седла. Совсем молодым врачом, только что с университетской скамьи, Паклевецкий провожал за границу как ординатор психически больную тетку мою, графиню Ядвигу Гичовскую, несчастнейшую истеричку, страдавшую манией преследования и эротоманией в формах демонического бреда. Рассказал мне о ней много любопытного и обещал привезти либо прислать ее записки, которые она вела в лечебнице незадолго до смерти, в светлые промежутки своего недуга.

10 мая

Солнце выглянуло... Тепло, светло и аромат... Я пробыл целый день в парке... Ушел только с закатом солнца.

Проходя домой, вижу вдали, между двумя кустами жимолости, розовое пятно. Подхожу ближе — пятно оказывается дамою, и даже очень красивою. Надо полагать, страстная любительница природы: уставилась на закат и не сморгнет; а глаза огромные, прекрасные, голубые; волосы, как золото. Я поклонился. Дама оглядела меня с изумлением, отдала поклон и, сконфузясь, скрылась за деревьями так быстро, что я не успел ни слова ей сказать, ни последовать за нею. Только раза два мелькнуло в кустах розовое платье... Очаровательное создание! Я даже рад, что не удалось познакомиться. В этой немой мимолетной встрече было что-то поэтическое.

С «Natura Nutrix» наконец развязался. Любопытною показалась мне только следующая легенда:

«В стране диких монголов, где берут свое начало пять рек, изливающихся в Индийское море, растет папоротник, называемый Огненный Цвет, добываемый туземцами с великими трудностями, потому что гнездится он в глубине диких ущелий, между снежными горами, на неприступных топях и трясинах. Но туземцы не боятся ни трудностей, ни лишений, презирают опасность самой жизни своей, лишь бы достать куст Огненного Цвета. Владеющий же таким сокровищем не уступит его, ни даже если предложить золота в десять раз против его веса. Цвет этот имеет великую и чудесную силу. Кто владеет им, видит, как бы сквозь хрустальную стену, все золото в жилах и россыпях под землей. Подобно тому, как водоросли пронизывают собою воду и устилают дна морские, так золотые волокна тянутся и распластываются сквозь землю. Месторождения же золота суть в то же время и месторождения жизни. Ибо что иное есть золото, как

не ствол, корни, сучья, листья, цветы и плоды древа жизни, которое Бог предвечно возрастил для человека в раю? Но после того, как Адам и Ева, забыв завет послушания Создателю своему, вкусили плодов наущения змеиного от древа познания добра и зла, и вступила в мир, по греху их, наказующая смерть, древо жизни погрузилось в глубину земли и, смешавшись с элементами, рассыпалось и переродилось в золотые руды и самородки. Таким образом, Огненный Цвет, указуя владельцу своему глубочайшие золотые месторождения, открывает ему не только возможность обогатиться больше всех земных владык, но и найти великую тайну победы над смертью. Владея Огненным Цветом, легко достать из земли жизненные волокна, и тогда человеку тому не страшны угрозы смерти: он будет жив, пока сам не пожелает избавиться от тягостей земного бытия. Он может воскресить мертвых, соединять в существа телесные атомы и элементы, рассеянные в воздушных пространствах, вызывать чувство и голос в бездушных предметах. Но достать Огненный Цвет удается едва ли одному человеку в столетие; ибо, не считая естественных препятствий к его добыванию и крайней редкости самого растения, оно охраняется неусыпною ревностью злых духов, всегда враждебных человеку и закрывающих для него двери благополучия. Так как злые духи сами не могут, по Божественному милосердию, касаться Огненного Цвета, разящего их, как молнией, если он не был еще в руках человеческих, то, когда искатель подступает к таинственному растению, бесовская сила окружает его со всех сторон и, допустив человека сорвать цветок, затем стращает его зрелищем всяких чудовищ, пока человек от ужаса не умрет или не выронит драгоценного цветка, пламенеющего в руке его».

Похоже на наши славянские поверья. Не удивительно: легенда идет с Тибета, а вся славянская мистика — родом оттуда. Да. Это Жар-Цвет или Свети-Цвет русских сказок,

Перунов цвет хорватов, Солнечник хорутан. «Что цветет без цвету? Папорот». Когда Жар-Цвет цветет, то ночь бывает яснее дня и море колыхается. С громом раскрывается почка папоротника и распускается золотым цветком или красным, кровавым пламенем, но в тот же миг увядает, листочки его осыпаются и бывают расхватаны нечистыми духами. В старинных травниках цветок папоротника описывается почти в тех же чертах и почти с теми же свойствами:

«В то время приходит множество демонов и великие страхи творят, что уму человеческому непостижимо. Цвет папороти, когда отцветет, осыплется на то, что постлано, и ты тот цвет смети перышком в одно место бережно и залепи воском (от свечи, горевшей у запрестольного образа Богородицы); тот цвет завсегда цел будет. А если не залепишь, то нечистые унесут тебя; для того людям не дают его взять, что он очень им противен и всю их силу разрушает. Если кто его возьмет, то никакой дьявол, и ворожея, и грешник укрыться не может, и дьявольская сила вся ему будет видна и знатна, и ни с какой своей пакостию от него не укроется... Тот цвет носи на лбу: узнаешь и увидишь, где какая поклажа (клад) лежит и как что положено и сколько глубоко, и можешь взять без всякого вреда и остановки — для того, что ты уже демонов увидишь; а с ним тебя жестоко бояться станут, и когда ты куда не поедешь, если нечистые тут на месте есть, то они отходить с того места станут, и можешь всякие поклажи с тем цветочком получить — не заперто! Все узнаешь, что где есть, или лежит, или делается, и как, куда и в коем месте; просто сказать — все будешь знать, хотя и в чужие города и иные госуда́рства дороги и прописки. Тот цвет положи в рот за щеку и поди, куды хошь: никто тебя не увидит; что хошь — делай... Тот же цвет носить на голове — все видеть и знать станешь, и вельми счастлив будешь, и достоин всякому начальству, во всякой чести будешь. А сия трава самая наисильнейшая над кладами — царь над цветами, трава-папорот!»

Старинные стихийные мифологи школы братьев Гриммов думали, что Жар-Цвет — не что иное, как молния, вырастающая, подобно красным цветам, на дереве-туче. Но они давно провалились и забыты, эти стихийные мифологи... Requies-cant in pace *.

Взгляд на золото, как на перегной, что ли, древа жизни, впервые встречаю в такой определенной форме. Но о животворной силе золотых месторождений мне случалось читывать и догадываться по смутным намекам алхимических сочинений. В одном романы Бульвера заслуживают внимания: он хорошо изучал историю фантастических учений, которые описывал, да и, когда сочинял «Занони» и «Странную историю», предания розенкрейцерства, незадолго перед тем разложившегося, еще были у многих в памяти.

* * *

Спрашивал Якуба о розовой незнакомке.

Недоумевает:

— Мабуть, якась сусидска пани, бо блыжче нема...

Я пошутил:

— Уж не русалка ли это была?

Он очень спокойно возразил:

— Нет, теперь у нас русалок нет.

— А прежде были?

— Эге!

— Отчего же они перевелись?

— А от пана грабего Ксавера Тадеуша, дедушки вашего.

— Как же он их повывел?

— Известно как: стал ловить, а которых поймает — пороть.

— Русалок-то?

— Эге!

---

* В мире да почиют *(лат.)*.

— Да ты врешь, Якуб: как же можно русалку выпороть? Она — дух!

— Эге! Не знали вы, пане грабя, дедушки вашего. Он заседателей порол, не то что русалок. Попадись ему под сердитую руку сам лысый дидько, он и тому сумел бы всыпать... Он — что делал? Возьмет святой воды с девяти костелов и сварит на ней кисель — сейчас все ведьмы, сколько ни есть в околотке, начнут к нам в усадьбу проситься и того киселя промышлять, потому что он для них — большая сила. А граф велит хлопцам примечать, кто из баб к киселю лапу-то тянет, и, которая баба провинится, ту и дерет... Прежде наша сторона была самая колдовская, а после графа ни-ни...

Я люблю Якуба. Красивый остаток старой Волыни — замковой, шляхетной, рыцарской и рабской, полуказацкой-полухолопской. Он словоохотлив и, когда дернешь его за струнку воспоминаний, рассказывает прелюбопытные казацкие сказки. Одну из них я сегодня записал.

* * *

«А что, пане, бывали вы на Подоле? а знаете вы наш Браилов? Нет? Эге! так вы, може, и про каплицу нашу не слыхали, и про Пана Езуса Христуса в той каплице?..

Дивный-предивный стоит он в каплице — и нет такого человека, кто поглядел бы ему в лицо, и не заскребли бы кошки на сердце. Я человек не молодого веку: сивый волос в усу и плешь на голове от уха до уха. Но и то глаза свербят слезою, когда вижу его, великого Пана, как понуро и горестно стоит он со скрученными руками, в терновом венце... а лик-то, лик! Что было в мире горя и муки — все-то личико его прияло... Смотрит на тебя Господь эмалевыми глазами и точно говорит: «Видишь, какое горе терплю я за тебя, человече? а ты мне чем воздашь за мою тоску? Загляни-ка в свою душу, ужаснись своих грехов да и пади на землю крестом, кайся и плачь!..»

Добрый художник сработал ту статую, что на ней почил дух Божий! А волосы, пане, на той статуе не из сырца либо из пеньки, как бывает в других каплицах, нет: и на вид, и на ощупь — человечий волос... И може ты, пан, не из тех, что чудам верят, но верь или не верь, а растут те волосы из года в год, уже стали длинные, как женская коса, а все растут... и как дойдут они до пола — нивесть что случится; кто говорит, что будет светопреставление, кто — будто наша Жечь Посполита встанет из гроба и снова глянет на мир грозными очами... Расскажут тебе, вашмосць, как наш Христус прибыл в Браилов.

Давно то было, еще при стародавних крулях польских: може, еще за Яна Собесского, а, може, и того дальше... Ты меня, пан, извини: я старик темный, многим наукам не учился... что люди говорят, с того и моя речь, а не из книжек... Коли ты человек ученый, так знаешь, что наш Браилов не один стоит на свете, а есть еще где-то в Турещине другой Браилов, что поганцы пятой давят...

Гулял наш браиловский пан, гулял вольный гетман Потоцкий с удалой дружиной по Днестру, Дунаю и Черному морю, бил поганские корабли, шарпал по поганским берегам, села поганские дымом пожаров пускал по ветру. Много славы на земле достал Потоцкий: сам Султан в Стамбуле боялся его, как ночной мары! А того больше достал заслуги на небе, потому что сколько душ христианских вызволил он из мусульманской неволи, со скольких людей поснимал тяжкие кайданы — один Бог милосердный сосчитает; у нас же, грешных, и цифирю не хватит. Воюет Потоцкий Турещину, колотит освященным в Ченстохове корабелем по турским тюрбанам, темницы ломает, кайданы разбивает... Только в одну ночь спит он на коврах в своей легковесельной чайке и слышит во сне голос:

— Гей ты, гетмане, гетмане! Много ты, добрый лыцарь, поработал для Бога, а самой большой работы не исполнил;

много ты невольников выручил из турской обиды, а самый дорогой и лучший невольник еще в темнице... Как вызволишь ты его — так все тебе грехи простятся: и к папежу в Рим не надо ехать за отпущением.

Потоцкий чует, что сон неспроста, что говорит с ним ангел Божий, и отвечает:

— Аньелку! а где же тот невольник? Лишь бы знать, а сабли не жалко...

— Ступай, — говорит ангел, — до браиловского паши...

— Эге! — возражает Потоцкий. — Я вижу, ты, аньелку, не знаешь, что тот паша обещал за мою голову двадцать тысяч червонцев? не знаешь, видно, и того, что со мной дружина малая, а в Браилове сто тысяч турков, кроме янычаров? А видал ли ты, какие в Браилове муры да валы и на них пушки да гарматы?.. Я свой лоб не в поле нашел, чтобы подставлять его на верную смерть...

— Волка бояться — в лес не ходить! — говорит ангел. — А что я тебе говорил, то верно. Сделай, как советую: хорошо твоей душе будет.

Проснулся Потоцкий — задумался. И охота ему Господу Богу угодить, и знает он, что не такая Браилов крепость, чтобы ее осилить... Да и турки за мурами храбры, чертовы дети, не хуже нашего брата!..

Думает гетман, крепко думает. Видит это верный его гермек Длугош и спрашивает:

— Для чего ты, васьпан, ходишь такой замысленный?

— Молчи, Длугош! — не с твоим разумом разобрать мое замысленье.

— Вон оно что, мосьпане! — говорит Длугош. — Не так ты поговаривал, когда крымский хан держал тебя, малолетка, аманатом в Бахчисарае, как птицу в золотой клетке, а я глупым своим разумом промышлял, как тебя вызволить из неволи... Нех бендзе так! был Длугош в умных, зачем ему не бывать в дурнях...

Стыдно стало Потоцкому, поделился он с Длугошем своей думой, а Длугош сейчас и придумал:

— Или, вашмосць, мало у нас червонцев? Где сила не возьмет, там золото одолеет. Скидай лыцарский доспех, надевай жидовский кафтан... идем в Браилов торговать райю!

Долго ли, коротко ли, пришли богатыри в Браилов. Водит их паша по тюрьмам и застенкам, за мужчину берет по алтыну, за марушку — полушку, и такая уйма полоненного народа была в том Браилове, что, хоть и не велика цена, а у Потоцкого уже и денег не стало хватать... А тем часом ангел опять явился ему в ночи.

— Ну, — спрашивает Потоцкий, — вот сделал я по-твоему! Доволен?

— Ничего ты не сделал, — говорит ангел.

— От то добре! Да где же он кроется, твой христианский невольник? В городе теперь все тюрьмы настежь, потому что сидеть в них некому... я всех колодников выкупил...

— А заглядывал ты в подвал под домом паши?

— Нет, не заглядывал... да кому там быть? подвал сто лет как замурован...

— Хороший ты, пане ксенже, воин и христианин добрый, а много лишнего разговаривать любишь. Ты своим человеческим разумом не рассуждай, а слушайся, и если велю тебе заглянуть в подвал, то и загляни...

Пошел на другой день Потоцкий к паше просить отомкнуть подвал. Выслушал его паша, бороду гладит:

— Отомкнуть можно. Отчего не отомкнуть? За деньги все можно. Только что ты там, жид, искать будешь?

— Что найду, то и куплю, эффенди! не бойся: за ценою не постою.

Засмеялся паша:

— Видал я дураков, а таких, как ты, жид, не видывал! Золота ты истратил много, полон набрал великий, все тебе мало! Ты, должно быть, того и не знаешь, что не провести

тебе своего полона и на сто верст, а будешь ты уже и голый, и нищий, и благодари еще своего бога, ежели сам не попадешь в кайданы. Ты слыхал ли, что бродит по Дунаю такой пройдисвет и урван Потоцкий?.. Охоч он грабить и вешать вашего брата...

— Эге! а ты, эффенди, видно, и не знаешь, что вот уже месяц, как Потоцкий кормит своим вельможным телом морскую рыбу? Смел больно стал. Мало было ему разбивать местечки да городки по Дунаю: поплыл разорять Анатолийский берег. Да не повезло ему: встретил на море великую силу. Три дня бил его дружиною из пушек требизондский паша, разметал по синему морю легкие чайки, а княжескую ладью перешиб ядром пополам, и всем, кто, на горе свое, сидел в ней, и памяти не осталось.

Обрадовался паша. Невдомек ему, что лыцари его дурачат. Поверил, хоть и подивился, что не пригнали к нему с такой важной вестью гонцов из Стамбула. Ну да уж жиды такой народ, что всякую новость знают за сутки прежде, чем случиться самому делу. Мовша расскажет Ицке, Ицка — Срулю — глядь, гонец-то пока еще едет да доедет, а жидовская молва обогнала его на тысячу верст.

— Спасибо, жиды! утешили вы меня. Нет вам ни в чем отказа. Я пойду с муллами благодарить Аллаха за смерть Потоцкого: так ему и надо было потонуть, собаке! А вы откройте подвал и ройтесь в нем по всей своей доброй воле.

Спустились в подвал лыцари. Темно, сыро, нога скользит по плесени, селитра на стенах, со сводов каплет, жабы шлепают по плитам толстыми брюхами!.. Где здесь живому человеку быть? И недели не протянул бы, отдал бы Богу душу. Пожал плечами Потоцкий.

— Знать, то не ангел Божий говорит со мной во сне, а вводит в соблазн хитрое привидение. Айда до дому, Длугош, покуда целы да не надумался паша, что мы с тобою за птицы.

И уже повернул было к двери, а старый гермек хвать его за полу.

— Стой, пане ксенже! а то что за чудо светит в углу?

Взглянул Потоцкий — так и обомлел! На ногах не выстоял, повалился ничком на пол темницы. А за паном повалился и Длугош. Лежат и глаз поднять не смеют. А свет разгорается все ярче и ярче, точно солнце взошло в подвал... И шел тот свет от святой статуи Христовой, что, брошенная от неверных в подвал, многие годы лежала никому неведомо, в сору и в паутине.

Подхватили богатыри статую на плечи, вынесли из подвальных потемок под ясное небо. И молился, и радовался Потоцкий:

— Так вот какому невольнику пришлось послужить своей лыцарской удачей. Великою милостью взыскал ты меня, Боже, что поручил мне такое святое дело!

Увидал паша, какое диво нашли богатыри в подвале, — нахмурился.

— Оно, конечно, — говорит, — христианский бог мне не надобен: у меня Мухаммед. И то, правда, — говорит, — что лучше его вам, жидам, отдать, чем собакам-гяурам: они его еще в церковь поставят, молиться ему будут... Однако — вдруг в нем есть какое-нибудь чародейство?

— Вспомни, эффенди, — убеждал его Потоцкий, — ты нам дал свое светлое, великое слово! все, что мы найдем в подвале, наше.

— Что слово? Слово мое. Хочу — даю его, хочу — назад беру. Ну, так и быть — берите истукан. Только не даром.

— За деньгами не стоим. Заплатим, что хочешь.

— Хочу я не много, однако и не мало. Сколько вытянет истукан на весах, столько отсыпьте мне червонцев — золотник в золотник, ни одним червонцем меньше.

Вытаращил глаза Потоцкий: никак паша вовсе одурел от жадности? Не денег ему жаль, а негде ему взять золота.

Что было, паше же за райю отдал. Что теперь делать? Переглянулся с Длугошем — тот тоже стал в тупик, переминается с ноги на ногу, а совета не подает...

— Нет, эффенди, это не подойдет... — начал было Потоцкий, но в то же мгновение его обвеяло тихим ветром, и в том веянии он услышал знакомый голос:

— Соглашайся!

Махнул рукой богатырь.

— Э! Была не была! Ставь весы, эффенди. Хоть, не в обиду тебе сказать, и жаден ты, как волк степной сиромаха, а делать нечего: плачу — твое счастье! Жаль золота, да жаль и упустить из рук дорогую находку. Семь шкур сдеру я за нее с богатых гяуров нашей земли.

Поставили статую на весы: тяга страшная — полная чашка так и припала к земле.

Ухмыляется паша:

— Ну, жиды, раскошеливайтесь!

А незримый ангел шепчет Потоцкому:

— Не робей. Вынь из кармана первую монету, какая попадется в руку, и брось в пустую чашку.

Потоцкий вынул червонец, положил — и чашка с червонцем опустилась и стала в уровень с другой, на которой стояла статуя. Ошалел паша, видя такое чудо; а пока он бороду гладил и призывал на помощь Мухаммеда, Потоцкий и Длугош подхватили статую и были таковы со всею выкупленною райей.

— Разживайся, мол, эффенди, с нашего червонца да не поминай лихом.

И покрыла их, по воле Божьей, темная туча и вела под своим крылом до самого Дуная, где ждали удальцов их быстрые чайки.

Опамятовался паша, созвал к себе мудрых мулл и улемов.

— Гадайте, муллы, по Корану: что за диво такое приключилось? Унесли у меня жиды христианского бога, а в уплату оставили всего один червонец.

Гадали муллы по Корану и выгадали:

— Глупый ты, глупый паша! Лучше бы тебе, глупому, и на свет не родиться. Не жиды у тебя торговали райю, не Мордко с Ицком, не Шулем с Лейбой унесли христианского бога, а великий вольный гетман Николай Потоцкий со своим верным гермеком Длугошем. И еще мы тебе скажем: тою только статуей и держался наш Браилов. И если отдал ты ее в руки христианам, так уж заодно отдал бы им и ключи городские.

Зарыдал паша:

— Пропала теперь моя голова! Будьте милостивы, муллы, помолчите мало времени о нашей пропаже! Вырву я ее из гяурских рук, и будет все по-старому. А не то дойдет слух в Стамбул до султана, и пришлет он мне шнурок на мою белую шею.

Рябит попутный ветер Черное море, несут пузатые паруса ладью Потоцкого на Днестр к лиману, и родная земля уже недалеко. Статуя Господня стоит на корме, добрый путь уготовляет. Смотрит Длугош в седую морскую даль, и там, где небо сходится с водою, мерещатся ему вражьи паруса.

— Неладно, пане ксенже! спешит за нами браиловский паша сильною погоней на трех фрегатах! Навались на весла, панове! утекай, покуда еще не видят нас басурманы!

Куда там! И часу не прошло, как засвистали над чайками ядра с турецких фрегатов. Только — что ни выпалят — мимо да мимо. Все ядра через чайки переносит. Бухают в море, водяные столбы летят брызгами выше мачт с цветными вымпелами.

Стал паша кричать на пушкарей:

— Какие вы пушкари! бабы, а не солдаты! Ужо, как вернемся домой, никому из вас не миновать фаланги! И приказал своим аскерам садиться в легкие шлюпки. На что удал был Потоцкий, однако и его оторопь взяла, как поплыла на него с тылу несметной саранчой бусурманская сила. Сте-

ною с тылу валит, рожками с боков охватывает. Затрубил Потоцкий в рог, и сбились к его ладье чайки удалой дружины.

— Братья! не совладать нам с пашою: на каждого из нас выслал он по дюжине аскеров. Не уйти: быстрее нас плывут бесовы дети, паруса у них шире, гребцов больше. Видно, пришел час пострадать за веру Христову, сложить буйные головы на турецкие ятаганы. Нет у нас ни ксендза, ни попа — да есть сам Христос-Владыка. Кайтесь ему, кто в чем грешен, — и полно бежать от басурманов! примем их на острые сабли! дорого заплатит паша за наши головы. Одна мать заплачет по сыне на Подоле — десять матерей на Турещине! А свою ладью, панове, я не сдам туркам — ни живой, ни мертвый. Лучше пусть святая статуя разлетится в воздухе на тысячу кусков, лучше пусть потонет в морской глубине, чем опять попадет в полон к неверным.

Надели чистые рубахи, всякий помянул сам про себя свои грехи и сложил их к ногам Христовым, брат с братом распрощался... Уже наседают вражьи челны. Белеют чалмы, краснеют фески аскеров. Блестят мушкеты и ятаганы. Смуглые лица видать, черные глаза сверкают. Гул идет от челнов:

— Алла! Алла!..

— Стой! — приказал Потоцкий, — суши весла, панове! И стали чайки на месте, ощетинившись поднятыми веслами. А с турецких шлюпок уже тянутся багры и крючья, словно кошачьи когти. Затрещали мушкеты, огнем и дымом покрылось синее море. Не глядят басурманы, что аскер за аскером падают с челнов, кровавя вспененную воду: лезут сквозь огонь, схватились баграми за борты.

— Алла! Алла!

Молнией сверкает карабель в руках Потоцкого, как арбузы лопаются под ударами бритые головы. Грудью заслонил он изображение Христово. Сколько пуль уже расплющилось о его верный панцирь! Рубит сплеча, а сам возглашает великую песнь:

— Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный! помилуй нас!

Голосу его отозвалось на чайках все казачество, как один человек. И всколебалось от той песни синее море.

Повернул ветер; дунуло северняком с лимана. Наморщилось море, потемнело, заохало. Волна с волной перекинулась снежками. Зачуяли на фрегатах, что близится великая буря, и вывесили на реях флаг к отбою, чтобы челны отступили от чаек назад, к кораблям.

— Что тратить даром людей? — сказал паша. — Все равно теперь не спастись от нас гяурам. Фрегаты наши крепки, морская буря им нипочем, но гяурские челны она размечет, как щепки. Какой челн не потопят волны, догонят наши каленые ядра... Жарь в них со всех бортов!

Ад на море. Пушки грохочут, волны ревут. Сизые валы до облаков поднимают серебряные гребни. Рассыпались чайки по морю, глотают казаки соленую воду... А старый гермек Длугош крутит сивый ус:

— Это ничего. Море нас не обидит, не выдаст. Мы с морем старые приятели. Море не турка.

Навалился на руль — правит. Летит ладья, Христом осененная, торопятся за нею казачьи челны, черными тучами напирают сзади басурманские фрегаты, молниями брызжут с бортов каленые ядра...

— Постой! недолго вам палить, бисовы дети! — ворчит Длугош, а сам все крепче и крепче налегает на руль, гнет ладью к северо-востоку...

Земля! земля!.. Вот закипели уже впереди живым серебром седые буруны...

— Эй, Длугош! Куда ты правишь! вдребезги разнесут нас камни порогов...

— Помалкивай, пане ксенже! не тебе учить старого Длугоша, как ладить с сердитым морем... Навались на весла, братья-атаманы! чтобы стрелами летели вперед наши чайки!

Мчатся чайки — волну и ветер обгоняют. Не отстают от них турецкие фрегаты.

Взмыла волна и одним махом перенесла казацкую дружину через бурун. Только днища заскрежетали о камни.

Заметили турки, что зарвались в погоне и набежали на опасную мелизну, — да было уже поздно: не сдержать стало тяжелых фрегатов; со всего размаха ударились они о подводные камни и осели на них мертвыми грудами... По дощечкам расхлестала их сердитая волна, ко дну канули тяжелые пушки, ни один аскер не вышел живым на берег; потоп паша со всей силой, как фараон в Черном море.

А Потоцкий выждал за бурунами в спокойной бухте, пока улеглось волненье, и поплыл себе дальше, Днестровским лиманом, славя Бога за свое спасенье. Доехал он до родного Браилова и с великим почетом поставил Христа, выведенного из неволи, в своей часовне. Там стоит он и посейчас — в одинаковом почете и у панов, и у холопов, у католиков и православных — и будет стоять, пока есть на то Его святая воля».

* * *

Заезжал доктор, привез рукопись покойной тетки Ядвиги и целый ворох местных сплетен. У него по этой части талант замечательный. Я — в обмен — рассказал ему свою встречу в парке. Тоже руками развел.

— Гм... странно... Кто бы такая?.. Надо разузнать... Того даже мой гонор требует. Уездный врач должен быть всеведущим и вездесущим.

Он шутил, но острый, колючий взгляд его был серьезнее обыкновенного. С чего бы? Уж нет ли у него поблизости зазнобы, не ее ли подозревает он в загадочной гостье моего парка? А он, надо думать, преревнивый и в ревности злой. Такие толстяки, простодушные на вид и хитрые на самом деле, всегда злецы и тираны в своей домашней жизни.

Показал ему «Natura Nutrix». Заинтересовался страшно. Сперва издевался над невежеством средневековых естествоведов, хохотал, выхватывал из книги разные наивности и нелепости, а потом пристал:

— Подарите книгу.

Я отказал. Он немножко обиделся. Я извинился:

— Вам она ни к чему, годится только как курьез, а я много занимался историей тайных наук, у меня по ним хорошая библиотека, и я не хотел бы разрознить ее, извлекая из коллекции такой интересный ouvrage...*

Паклевецкий сказал — надо отдать ему справедливость, довольно добродушно, — что он это очень хорошо понимает, и заговорил на тему: как удивительно, что самые простые идеи даются человечеству позже всего.

— Вот хотя бы эта «Natura Nutrix». Смотрите: какая тщательность работы, кропотливость изысканий. Прямо дело целой жизни. И весь труд — впустую. Человек тысячу лет вертится около химии, электричества, магнетизма, держал много раз в руках их идеи — и все-таки не мог их найти... Точно в жмурки играл с наукою, ловил ее с завязанными глазами... А найти было так просто: стоило только отказаться от идеи о сверхъестественных вмешательствах в жизни человека и природы, стоило только условиться, что все существует и движется само по себе, своею собственною силою — и все нашлось: и химия Лавуазье и Бертоло, и электричество Гельмгольца и Эдисона, и гипнотизм Шарко...

Он долго ораторствовал, нападая на мистику и в особенности на современные сатанические и теософические культы с ожесточением, — точно бедняга-сатана был его личный грозный враг. Мне стала смешна горячность его полемики с пустым местом.

Я сказал:

---

* Труд... *(фр.)*

— Поздравляю вас: вы прекрасный оратор. Вы очень искусно разбили современную демономанию и вполне доказательно отрицаете дикости мистицизма. Но известно ли вам острое выражение Равиньяни, довольно популярного в своем роде теолога? Он говорит: «Le chef d'oeuvre de Satan est de s'être fait nier par notre siècle».

Паклевецкий насторожился, задумался, точно перевел про себя фразу, и закатился громким и искренне веселым смехом:

— Но послушайте... ведь это — превосходно! Это — черт знает как метко и верно!.. «Шедевр сатаны в том, что он заставил наш век отрицать его существование»... Очень, очень замысловато. Молодец француз! Ловко потрафил, собака!

Он смеялся до самого отъезда... Но в экипаже — я видел из окна — нахмурился... Нехорошее у него лицо, когда он хмурится, и нехорошую душу оно обличает. Я вижу Паклевецкого насквозь и никогда не доверюсь ему ни на мизинец! И он меня не любит. Не знаю, за что, но я чувствую, что не любит.

12 мая

Получил сегодня письмо от старого Вучича — он в Каире. Самое жизнерадостное письмо; Зоица совсем оправилась от болезни и... вот уж не ожидал-то: выходит замуж. Старик приложил к письму и карточку жениха: какой-то англичанин, бравый такой малый, выращенный на ростбифе, эле и гимнастике. Как вспомню я убивания этой Зоицы над гробом Дебрянского, делается и гадко, и смешно, что за жалкая тварь эта девица... Тряпка: командовала ею Лала — она шла за Лалою, как на поводу, хотя боялась ее и не любила; потом влюбилась в Дебрянского, стала командовать ею любовь — она взбунтовалась против Лалы и едва сама не умерла, ког-

да эта Лала спровадила бедного Алексея Леонидовича на тот свет. И вот: «башмаков еще не износила». Frailty is your name, women!..* На месте покойника я стал бы сниться Зоице каждую ночь, вроде того, как мраморная невеста преследовала Цампу. А Дебрянский, кстати, и в гробу-то лежал такой нахмуренный, строгий:

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна:
Ты мертвецу святыней слова
Обручена...

О Лале Вучич не пишет ни слова. Так, значит, и пропала без вести безумица эта!

13 мая

Тайна розовой дамы объяснилась. По произведенному Якубом следствию обнаружилось, что розовое платье, подходящее к моему описанию, имеется только у панны Ольгуси, кузынки пана ксендза Августа Лапоциньского из соседнего Заборья, заведующей домом и хозяйством его велебности. «Une demoiselle a tout faire»**, — называют эту должность французы; и что панна Ольгуся, сгорая Евиным любопытством видеть новоприезжего здановского графа, уже неоднократно делала в наш парк нашествия вместе со своею покоювкою, якобы за ягодами, хотя до ягод еще добрые две недели.

Приедет Паклевецкий — поздравлю его: всезнайка, а не догадался!

О панне Ольгусе Якуб говорит с самою коварною и злодейскою улыбкой, ясно намекая всею своею рожею старого, еще крепостного, Лепорелло:

* О женщины, ничтожество вам имя!.. *(англ.)*
** «Мастерица на все руки» *(фр.)*.

— Ежели пану графу угодно свести интрижку, пусть пан граф не зевает — тут клюнет!

Однако черт возьми велебного Августа! Даже не позволительно обзаводиться для хозяйства такою хорошенькою кузиною...

14 мая

Отправился вчера кататься верхом, и Карабеля угораздило расковаться как раз у Заборья... В результате я провел вечер у пана ксендза и ел варенец из белых ручек панны Ольгуси. Ольгуся очень красивый двуногий зверь.

Не понимаю, как показалась мне только что не за фею эта сытая и здоровая деревенская красавица с формами Цереры и широко раскрытыми васильковыми глазами? По первому впечатлению, я чуть было не усумнился:

— Да это не она... совсем другая фигура, гораздо грубее лицо...

Но потом лукавые улыбки и хитрые намеки панны Ольгуси убедили меня, что предо мною действительно моя незнакомка... Всю поэзию встречи надо, таким образом, поставить на счет зелени парка и красных лучей вечернего солнца...

У Лапоцинських весело, как почти всегда у католических ксендзов. Этот класс людей обладает тайной приятной, занимательной и комфортабельной общежительности едва ли не больше, чем всякий другой. Надо было обреченному сословию старых холостяков веками сочинять для себя приятный быт в суррогат недоступной для них семьи — ну и выработали в лучшем виде. Отец Август великолепно играет в шахматы, выписывает шахматные журналы из Лондона и Берлина и в свободное время — а такого времени у него часов двенадцать в сутки — витает мыслями в мире Морфи и Андерсена... Он, разумеется, шахматный старовер.

Цукерторт, застрелившийся оттого, что проиграл случайно партию, которую он играл по всем правилам искусства и должен был непременно выиграть, для ксендза Августа — последний могикан преданий, заповеданных арабами и раввинами... Денежные матчи для него — предмет презрения и издевательства; о Стейнице и Чигорине он выражает свое суждение одним коротким и высоковельможным «пфе!».

— То юж не граен, пане грабя, але тылько гроши робен...

Не знаю, в каких отношениях к нему стоит панна Ольгуся. По типу она-таки весьма и весьма напоминает «старческую утеху». Однако на кокетство ее со мной, весьма откровенное, чтобы не сказать — навязчивое, пан ксендз смотрел с самым стоическим равнодушием. Впрочем, на мой взгляд, он уже стоит на пороге того истинно философского периода в старчестве, когда хорошо изжаренная пулярка становится желаннее самой Елены Прекрасной, за килишек старки и пугар венгжины можно отказаться от романа даже с Венерой Медицейской, а чашка душистого кофе, шахматная доска и часок-другой сна после обеда заслоняют от человека весь остальной женский пол, да и вообще грешный наш мир со всеми его страстями и похотями... А гастроном и охотник поесть ксендз Август — великий; хоть сейчас в Ватикан метрдотелем к его святейшеству, да не к нынешнему сухоядцу и постнику Льву XIII, а к самому блаженной памяти папе Александру VI Борджиа. Вот уж именно: «Не пий з блазнем, не пий з французом, не пий з родным ойцем, не пий з коханкой, а з ксендзем выпей!»

Якуб ужасно заинтересован моим пребыванием у Лапоцињьских.

— Ну и как вам, мосьпане, показалась панна Ольгуся?

И покачав своею седою головою, прибавил:

— Она у нас — ай-ай-ай!

15 мая

Опять задождило... Дробные, мелкие и частые, словно сквозь сито, капли барабанят с утра по оконным стеклам… Холодно и сыро на дворе, в доме неприветливо. Тоска!

Хоть бы доктор завернул, что ли...

Нашел в библиотеке записную книжку прадеда Ивана Никитича. Вся исписана рецептами, давно вышедшими из употребления... да, надо думать, выходившими уже и в то время: три четверти записей снабжены вопросительными знаками или лаконическими отметками: dibitandum est...* Пять-шесть страниц заняты чем-то вроде дневника медицинского: прадед Иван Никитич принимал какое-то специальное сильное лекарство, отмечая его дозы и действие день за днем... но что это за лекарство, он не указывает. Может быть, женьшень, чудесный корень маньчжуров? Возможно, потому что и остальные средства — все возбуждающие жизнедеятельность: железные препараты, aphrodisiaca **. Почти половина книжки занята тайнописью. Ключ к шифру найти не трудно, вероятно, да лень и, наверное, не стоит. Знаю я тайны российских мистиков XVIII века! Убьешь три дня на пробы и догадки, а в результате расшифруешь какой-нибудь необыкновенно важный секрет — вроде того, что касторовое масло имеет особенно сильное действие при новолунии, а в полнолуние лучше прибегать к ревеню...

16 мая

Отдали визит Лапоциньский с панною Ольгусей. В разговоре я назвал Ольгусю панной Лапоциньской и ошибся: оказы-

---

* Непонятно; букв.: не пройдено (*лат.)*.

** Любовные снадобья; букв.: афродизийский, т.е. в честь богини Афродиты (Венеры) (*лат.*).

вается, она — Дубенич. Это литовская шляхетская фамилия, давно поселившаяся в нашем краю. У Дубеничей в гербе крыса, которая грызет золотой желудь. Панна Ольгуся толкует свой герб таким образом:

— Крыса — это я, последняя из Дубеничей, нищая, как костельная крыса, а желудь — единственная пища, которою я могла бы пробавляться, если бы его велебность не кормил меня хлебом.

Насмешливое отношение к своему гербу показалось мне странным в польке: родовой гонор и родовое хвастовство держатся в поляке против всякого отрицания. Я знавал поляков с совсем выветренною душою: уж на что сильны в них католические привычки и национальное чувство, но, глядишь, и с ксендзами на ножах, и свободный мыслитель, и даже патриотическую жилку заглушил в себе, социалистом и космополитом почитает себя, а гонора шляхетского, гордости происхождением своим «по мечу и прялке» — нет, не забыл.

Спрашиваю Ольгусю:

— Вы коренная полька?

— Почему вас это интересует?

— Потому что в вашем произношении есть что-то не польское.

Оказалось, что мать ее — русская, и она долго жила в русском обществе, кочуя по городам средней России вслед за полком своего отца, пехотного офицера, пока ксендз Лапоциньский не взял ее к себе.

— Таким образом, мы с вами можем подать друг другу руки, — пошутил я, — мы однокровки! Моя мать тоже русская.

— С радостью! — возразила она и протянула мне ребяческим жестом обе свои ручки — мягкие, белые, теплые ручки... Я приложился к ним с огромным удовольствием.

Но сам ксендз Август — родовой поляк с гонором, и насмешки Ольгуси над крысою и желудем, кажется, приходи-

лись ему не по вкусу. Он прочитал мне целую лекцию о Дубеничах, Дубовичах, Дембских, Дембовских, Дембинских, Дубах просто, Дубах Больших и Малых, вышедших во времена оны с Карпат, потомством от великого Само Дуба и разметавшихся по всему славянству, от Балтики до Адриатического моря.

Я вспомнил фамильную легенду Вучичей и рассказал ее. Ксендз Август с горячностью и даже с волнением подхватил, что с юности, от деда и отца, знает это предание, хотя и с вариантом, что графская дочь попала в руки совсем не лесного духа, как в красивой балладе Лалы, но грозного колдуна и разбойника, державшего в подземелье под дубом тайный притон свой. Как бы то ни было и кто бы ни был покойный Само Дубович — леший или разбойник — вот уже второй раз судьба меня сводит с родом его и все — при ликвидации: в Лале угасала последняя Дубовичка, в панне Ольгусе кончается ветвь Дубеничей.

Кокетничала со мною Ольгуся весь вечер и на все лады — даже исторически.

— Мне, пане грабя, — говорит, — собственно, не знакомиться с вами, а бежать от вас следует.

— Это почему?

— Потому что вы мне опасны.

— Много чести, панна Ольгуся! Уверяю вас, что я — самый смирный человек на свете...

— Не верю! Да хоть бы и так... Все же вы Гичовский, а я Дубенич...

— Так что же?

— Как? Разве вы не знаете, что между Гичовскими и Дубеничами есть роковая связь?

— Неужели? Очень приятно слышать!

— Да уж там — приятно ли, неприятно ли... Вы слыхали, конечно, про Зосю Здановку?

— Ну еще бы не слыхать!

Зося Здановка — героиня нашей фамильной легенды. Она жила лет полтораста тому назад, была простая шляхтянка с фольварка под Здановым. Грабя Петш Вавжинец Ботва-Гичовский, коронный атаман, наш предок, влюбился в Зосю, увез ее. Несколько лет они жили счастливо. Потом Зося умерла скоропостижно, как говорят, отравленная родными графа, струсившими за наследство. Для Зоси был выстроен палац и разбит парк в Зданове. Говорят, будто граф Петш похоронил Зосю где-то в парке, насыпал над нею курган и поставил ей чудесный памятник со статуей — такою прекрасною, точно в нее вошла душа Зоси, такою схожею, точно Зося ожила в ней. Но наследники уничтожили статую и приказали сровнять с землею могилу, оскорблявшую их аристократическую гордость. В народе же верят, будто эта дикая выходка имела ту причину, что невинно загубленной Зосе не лежалось спокойно в могиле: ее статуя стонала и плакала по ночам, бродила по парку и смущала черную совесть убийц.

— Так вот, — с торжеством продолжала панна Ольгуся. — Эта Зося была из Дубеничей, и я происхожу от нее по прямой линии.

Прецедент — нельзя сказать, чтобы неприятный. Признаюсь откровенно: я ничуть бы не прочь разыграть роль графа Петра при такой Зосе, как панна Дубенич.

У пана Августа, кроме шахмат, нашлась еще страстишка: он рьяный разбиратель ребусов, шарад, тайнописи и т.д. Очень рад: теперь я знаю, как занимать его и в то же время оставаться незанятым с ним самому. Я подсуну ему записную книжку Ивана Никитича Ладьина. В ней столько страниц написано шифром, что милейшему ксендзу хватит работы на месяц.

17 мая

Я очень смущен... Сегодня опять, на том же самом месте, в тот же самый час я встретил в парке... нет: вернее ска-

зать — не встретил, а только видел издали — розовую даму... и это не панна Ольгуся, хотя немножко похожа на нее. Вероятно, дама заметила меня, потому что видел я ее всего несколько секунд, а затем она — как и в прошлый раз — исчезла в зелени... Я пошел было за нею следом, но уже не догнал — и только слышал треск хвороста под ее ногами. Если бы не это, я принял бы всю встречу за галлюцинацию, за сон. Но сновидения не имеют тяжести, и хворост под ними хрустеть не может. Ну погоди же — изловлю я тебя, прекрасная незнакомка! Не сегодня, так завтра... Благо, ты повадилась в наши палестины!

18 мая

Ух, какую воробьиную ночь пережили мы, здановцы! С вечера было душно. Я рано лег спать и спал дурно, под кошмаром. Видел во сне Лалу, очень суровую и бледную. Она сказала мне:

— Помнишь Корфу? Берегись: *оно* нагнало тебя, *оно* начинается...

Она подняла руку, и вокруг нас разверзся целый ад огня и грохота...

Проснулся: дом трясется от грома, в щели ставен сверкает синяя молния. Я люблю грозу. Разбудил Якуба и приказал ему отворить ставни в кабинете. Чудное было зрелище. Когда небо вспыхивало голубым пламенем, в парке виден был каждый лист, трепещущий под каплями дождя, совсем бриллиантового в этом грозном освещении... Буря кончилась таким могучим ударом грома, что я вскочил в испуге с подоконника: молния блеснула прямо мне в глаза, вместе с нею все небо точно рухнуло на землю... Так, в беспрерывной молнии и громе, прошла вся ночь. Якуб уверяет, будто это потому, что черт воробьев мерял: которого убить, которого отпустить. Бедняги. Сегодня они сотнями тощих трупиков усеяли парк, и усердно суетятся и хлопочут вокруг них жуки-могильщики. Якуб

прошедшую грозовую ночь зовет рябиновою. По его мнению, таких бывает три в году: в конце весны — когда цветет рябина, в средине лета — когда начинают зреть на рябине ягоды, и в начале осени — когда рябиновые ягоды совершенно поспеют. Первую отбыли, будем ждать всех остальных.

Гроза уничтожила один из лучших старых дубов нашего парка. Но нет худа без добра: ливень размыл курган — неподалеку от того места, где имел я две встречи с розовою дамою, и в размыве нашлись обломки женской статуи замечательно художественной работы... Налицо: нога с коленом, плечо, грудь и обе ручные кисти. Удивительный мрамор — я такого еще не видывал: нежно-палевый, точно чайная роза. Должно быть, из каких-нибудь восточных ломок.

Цвет их напомнил мне заревую игру и румянец той статуи сна, в которую когда-то чуть не влюбился я на генуэзском Стальено. Пока что сложил обломки у себя в кабинете, а ручки поместил на письменном столе, как пресс-папье... прелестные ручки; большой скульптурный талант воплотился в эти две нежные кисти с тоненькими и длинными пальчиками. Счастлив был муж или любовник прекрасной женщины, которой они принадлежали. То-то, должно быть, нервное, кроткое, слабое, зыбкое, очаровательное существо была... В этих узких пальцах — целая рапсодия женственности.

Сегодня утром вся прислуга помирает со смеху, потешаясь над казачком, который отворял для меня ночью ставни. Он уверяет, что пробегая парком, видел чертей.

— Какие ж они, Тимош, из себя?

— А як пан и пани, в панской одежде, только с лица черны и муруги... Как молния блеснула, мне их и осветило... Стоят над травою вот этак от земли — и смотрят на палац во все глаза... А потом — кругом, кругом, закрутились вихрем и пропали в саду.

Мальчишку, конечно, смутили тени кустов — еще диво, как при блеске молнии дикие очертания и угольные пятна их

померещились Тимошу только за двух чертей: хватило бы на целый шабаш...

19 мая

Паклевецкий решительно не может равнодушно видеть мало-мальски порядочной вещи: сейчас начинает клянчить — подари да подари... То просил отдать ему «Natura Nutrix», теперь влюбился в откопанные вчера ручки... А еще, говорят, бессребреник: не берет денег с больных, кроме самых богатых панов... Странно, что, несмотря на бескорыстие, его не любят в народе. Я разговаривал с холопами. Говорят:

— Пан Паклевецкий — доктор, что греха на душу брать, каких и в Киеве нет: захочет — и мертвого из домовины поднимет. Только у него нехороший глаз и тяжелая рука. И всем, кого он лечил, потом не повезло; у Охрима Мокрогуза хата сгорела, у Панька дочь байструка родила, у кого злодей камору обчистил, у кого корова пала али коней свели... И бес его знает, какой он веры: не ходит ни в костел, ни в церковь, ни в жидовскую школу...

Я пересказал этот разговор Паклевецкому. Он хохочет по обыкновению.

— Ишь, хамы! Подметили-таки мои неудачи. В самом деле, меня преследует какой-то злой рок: со всеми моими больными приключаются неприятные сюрпризы и скандалы...

— Пока еще не испытываю на себе вашего вредного влияния, — пошутил я, — и со мною ничего сюрпризного не случилось...

— Да ведь вы у меня еще не лечились. А впрочем... ба-ба-ба!

Паклевецкий лукаво подмигнул.

— Как же ничего не случилось? А разве вы еще не влюблены в панну Ольгусю?

Вот тебе раз! О, провинция, всевидящая, всезнающая, вездесущая! а главное — всесплетничающая!

— Разумеется, нет... Да откуда вы знаете, что мы знакомы?

— Слухом земля полнится... Я даже знаю, что пан ксендз Август удостоился получить от вас в подарок какую-то старую рукопись и теперь по целым дням ломает над ней свою мудрую лысую голову...

— А помните, доктор, как мы с вами терялись в догадках о розовой даме, которую я встретил?

— Как же, как же... И конечно, оказалось, что это была панна Ольгуся?

— В том-то и дело, что нет. Я встретил ее опять…

Доктор выслушал меня с притворною рассеянностью, я очень хорошо заметил, как серьезно заинтересовали его мои слова.

— Таинства Удольфского замка, сударь вы мой! — сказал он.

— Уж именно таинства! — засмеялся я. — Вон мой Тимош клянется даже, будто третьего дня во время грозы у нас по парку гуляли черти...

— Гм... смотрите: не воры ли?

— Воровать-то в здановском палаце нечего: все ценности повывезены... а до книг, картин, статуй в нашей округе нет охотников.

— Не скажите: я, например, с наслаждением стянул бы у вас эти ручки...

Вот привязался-то!

А кстати отметим, благо к слову пришлось: ведь ксендз-то Август в самом деле молодец, недаром хвастался своим мастерством по тайнописи! Разобрал-таки кусочек рукописи — она оказалась французскою. Сегодня прислал мне перевод... Дикое что-то: «Цвел 23 июня 1823… цвел 23 июня 1830… оба раза не мог воспользоваться... глупо... страшно... больше не увижу... знаю, что скоро смерть — не дождусь... а мог бы... сын не верит... быть может, кто-нибудь из

потомк...» — дальше тайнопись ведется, вероятно, на каком-нибудь языке восточного происхождения: подставляя по найденному ключу французские буквы, ксендз получал лишь неуклюжие слова почти из одних согласных... И только на одной странице, с краю, четко написан ряд цифр: 1823, 1830, 1837, 1844, 1851, 1858, 1865, 1872, 1879, 1886, 1893, 1900... Последовательная разница между цифрами — 7... По всей вероятности, прадед предсказывает какое-нибудь событие, должное повторяться каждые семь лет... «Цвел 23 июня 1823 года»... Кто цвел? Кактусы, помнится, бывают семилетние...

Почти всю ночь не спал: читал записки тетки Ядвиги... Какое несчастное существо! Вплетаю этот любопытный документ в дневник мой, чтобы не потерялся, как другие летописи рода нашего, съеденные мышами и плесенью в сырых кладовках...

* * *

Постойте, дайте припомнить... Я вам все расскажу, все без утайки — только не торопите меня, дайте хорошенько припомнить, как это началось...

Простите, если мои слова покажутся вам странными и дикими. С меня нельзя много требовать; вы ведь знаете: мои родные объявили меня сумасшедшею и лечат меня, лечат... без конца лечат! Возили меня и к Кожевникову в Москву, и к Шарко в Париж, пользовали лекарствами, пользовали душами, инъекциями, гипнотизмом... чем только не пользовали! Наконец всем надоело возиться со мной, и вот посадили меня сюда — в эту скучную больницу, где вы меня теперь видите. Здесь ничего себе, довольно удобно; только зачем эти решетки на окнах? За границею лучше. Там — no restraint *. А у нас — тюрьма. Зачем? Я не убегу, мне все равно, где жить: здесь ли, на свободе ли — я всюду одинаково несчастна, а между тем вид этих бесполезных решеток так мучит меня, дразнит, угнетает...

* Нет ограничения в правах *(англ.)*.

Может быть, мои родные правы, и я в самом деле безумна — я не спорю. Мне даже хотелось бы, чтобы они были правы: то, что я переживаю, слишком тяжко... Я была бы счастлива сознавать, что моя жизнь — не действительность, а сплошная галлюцинация, вседневный бред, непрерывный ряд воплощений нелепой идеи, призраков больного воображения. Но, к несчастью, память моя тверда, и я мыслю связно и отчетливо. Меня испытывали в губернском правлении: чиновники задавали мне формальные вопросы, и я отвечала им здраво, как следует. Только когда губернский предводитель спросил меня: помню ли я, как меня зовут, — мне стало смешно. Я подумала: ему ужасно хочется, чтобы я ответила какой-нибудь глупостью, хоть в чем-нибудь проявила свое безумие, и на смех старику я сказала: «Меня зовут Марией Стюарт».

Разумеется, я не Мария Стюарт, а просто Ядвига Гичовская, младшая дочь графа Станислава Гичовского. Лета свои я затрудняюсь сказать. Видите ли, когда со мною началось это, мне было шестнадцать лет, но с тех пор дни и ночи летят таким порывистым беспорядочным вихрем... я совсем потеряла в них счет. Иногда мне кажется, будто мое безумие продолжается целую вечность, иногда — что оно началось вчера.

Мой отец — известный человек на Литве. Близ Ковна у нас есть имение — богатое, хотя и запущенное. Мы ездим туда на лето и проводим два месяца в ветхой башне, где родились, жили и умирали наши деды и прадеды. Холопы зовут нашу башню замком, и точно — последний остаток роскошного здания, построенного в XVI веке знаменитым нашим предком, литовским коронным гетманом. Оно простояло два века; пожар и пороховой взрыв в погребах разрушили его в начале XIX столетия почти до основания.

Гетман умел выбрать место для своего замка — у подножия высокой лесистой горы, в крутом колене светлой речки. Вдоль по берегу, вправо и влево, видны остатки древнего городища: низкие кирпичные стены с сохранившимися кое-где бой-

ницами... Они сплошь обросли мхом, а из иных щелей и расселин поднялись молодые красивые березы и елки. Я, сестра моя Франя и наша гувернантка пани Эмилия любили бродить между развалинами. Они поднимаются от берега высоко по горе и завершаются на ее вершине тремя черными толстыми стенами: на одной и теперь еще можно разглядеть сквозь грязь и копоть остаток фрески — ангела с мечом. Вблизи стены валяется много могильных плит с латинскими надписями. На некоторых видны иссеченные кресты, на других — короны и митры, а на иных — даже грубые рельефные изображения людей в церковном облачении. Когда-то здесь стоял бернардинский монастырь, зависимый от нашего рода, покровительствуемый нами. Он упразднен в прошлом веке. Во время второго повстанья руины служили приютом для небольшой банды: поэтому русские пушки помогли времени в разрушительной работе над осиротелым зданием и сразу его покончили.

Как вы уже слышали, мне минуло шестнадцать лет. Я была очень хороша собою — не то, что теперь. Давно ли, кажется, мой отец, когда бывал в духе, клал на мою русую голову свои белые руки и декламировал с важностью знаменитые стихи нашего бессмертного поэта:

...Nad wszystkich ziem branki, milsze Laszki kochanki,
Wesolutkie jak mlode koteczki,
Lice bielsze od mleka, z czarna rzesa powieka,
Oczi biyszcza sie jak dwie gwiazdeczki *

А как-то на днях я посмотрела в зеркало: я ли это? Костлявое, зеленое, словно обглоданное, лицо; под глазами и на

* **Нет на свете царицы краше польской девицы:**
Весела, что котенок у печки,
И, как роза, румяна, а бела, что сметана,
Очи светятся, будто две свечки.

(Пушкин и Мицкевич. «Три Будрыса». — ***Примеч. авт.)*****.**

висках провалы, челюсти выдались, уши стали большие и бледные. Как я гадка!

Он довел меня до этого. *Он* — странное, непонятное существо: ни человек, ни демон, ни зверь, ни призрак... *Он*, ежедневно налагающий на меня свою тяжелую руку; *Он*, в чьей губительной власти моя душа и тело; *Он*, кого я днем боюсь и ненавижу, а ночью люблю всею доступной моему существу страстью; *Он*, неумолимо ведущий меня к скорой ранней смерти... Ах! да что мне болезнь, безумие, смерть! Никакой ужас видимого мира не испугает меня. Все, что люди зовут несчастьем, кажется мне и слабым и ничтожным, когда я сравню с тайнами моей жизни... А все-таки порою я со стыдом уверяюсь, что тайны эти дороги мне, как сама я, и лучше мне с жизнью расстаться — только бы не с ними! Индусу мило погибать под тяжелыми колесами гордой повозки божественного Ягтернаута: моя беспощадная судьба катит на меня грохочущую колесницу смерти, управляемую *Им*, и у меня нет ни силы, ни воли посторониться, и я со сладострастным трепетом жду момента, когда пройдут по мне губительные колеса.

Зачем бишь я рассказывала про старое бернардинское кладбище? Да!.. ведь именно там-то я встретила его впервые, там и началось это... А как? Постойте... тут у меня темно в памяти...

Зачем я взошла на гору, чего там искала — право, не припомню, да это и не важно: так, нечаянно, без цели взошла. Наступил закат; большое, багровое солнце ползло вниз над западными холмами; под его лучами развалины нарумянили свои морщины и позолотили облепивший их седой мох. Я стояла между двумя молодыми тополями и думала: напрасно я отбилась на прогулке от Франи и гувернантки; пани Эмилия будет на меня сердиться, и мне надо поскорее их найти. Тут я заметила, что я не одна на горе; на разбитой плите у западной стены разрушенного костела сидел человек.

Он удивил меня: кругом, на несколько десятков верст, я знала всех, кто носил панское платье, а эту длинную фигуру, одетую в старомодный черный сюртук с долгими полами, я никогда не встречала; лицо незнакомца было затемнено надвинутой на брови шляпой — тоже устарелой моды, как узкий высокий цилиндр. Он сидел, далеко вытянув перед собой худые ноги в дорожных сапогах с отворотами; его руки, как плети, висели, бессильно опущенные на плиту. В позе незнакомца было нечто неустойчивое, непрочное, что неприятно действовало на глаз, но чем именно — объяснить не умею. Я решила, что это какой-нибудь турист, — они иногда заглядывают в наши края. И из любопытства стала следить за ним. Он не замечал меня — по крайней мере, несколько минут он ни одним движением не проявил признаков жизни. Солнце зашло. Когда красный шар растаял на границе неба и земли, незнакомец ожил. Он пошевелился, потянулся, как только что пробудившийся человек, глубоко вздохнул и хотел подняться с места, но не смог и снова опустился на плиту. Тогда он опять вздохнул и, опершись на камень руками, откинулся на спину, потом наклонил туловище обратно к коленям, качнулся вправо, качнулся влево — словно хотел размять затекшие от долгого неподвижного сидения члены и делал гимнастику. Эти упражнения выходили у незнакомца так легко, точно он совсем не имел костей. Качался он долго, и чем далее, тем быстрее. Неутомимость и чудовищная гибкость незнакомца сперва изумляли меня, потом стали смешить... Мне захотелось разглядеть чудака поближе. Я сделала несколько шагов и теперь стала уже прямо против него, но он все-таки не обратил на меня внимания. Когда же я сбоку заглянула в лицо его, то смех мой застыл: глаза незнакомца были закрыты, а на желтом, немолодом уже, но безбородом и безусом лице лежало выражение человека, спящего крепким, но мучительным сном, от которого хо-

чется всей душою, но нет сил пробудиться. Контраст сонного лица с подвижностью туловища незнакомца был странен и жуток. Страх обуял меня, я вскрикнула.

В то же мгновение незнакомец перестал, как будто остановленный невидимой рукой. Щеки его задрожали, глаза медленно открылись и вонзили в мое лицо внимательный, острый взгляд. Они были почти круглые, светло-карего, чуть не желтого цвета, как у совы или кошки, и горели тем же хищным и хитрым огнем. Под взглядом их я будто вросла в землю — ноги меня не слушались и не хотели бежать, хотя страх, внезапно внушенный мне пробуждением странного создания, громко требовал: беги! Бессознательно я уставила свои глаза прямо в глаза незнакомца, и тотчас же мне почудилось, будто своим неприятным взором он проник мне глубоко в душу, читает в ней, как по книге, и по праву властен над нею. Между тем проклятые глаза расширились, округлились еще больше, сделались яркими, как свечи... в них явилось что-то манящее, зовущее и повелительное; я инстинктивно чувствовала, как опасно мне подчиняться этому зову, как необходимо напрячь все силы души, чтоб отразить его влияние, и не находила сил: сознание возмущалось, а воля была — как скованная, не слушалась сознания.

Незнакомец медленно простер ко мне руки и трижды потряс ими в воздухе — и я, против воли, сделала то же.

Затем он стал приближаться ко мне, и с каждым его шагом я тоже делала шаг навстречу ему, так же, как он, с вытянутыми пред собою руками, подражая каждому его движению. Страх мой по мере приближения странного существа замирал, переходя в чувство нового для меня и мучительного, и сладкого беспокойства, томившего и счастьем, и тоскою. Мы шли, пока не встретились лицом к лицу, грудь к груди. Руки незнакомца опустились мне на плечи, голова моя упала ему на грудь — мне показалось, что кровь в моих жилах превратилась в кипяток и понеслась в теле разъяренным горячим

потоком, чтобы вырваться на волю, чтобы задушить меня. То был непостижимый прилив неведомой страсти, и если я любила кого-либо больше себя, больше света и жизни, так именно этого незнакомого человека в эти таинственные минуты сладостного безумия.

Я очнулась в своей комнате, окруженная хлопотами родных. За час пред тем меня нашли у ворот нашего дома без чувств.

Тот, в чью жизнь непрошено-негаданно врывается чудесное начало, всегда бывает подавлен и угнетен; быт его резко и грубо выбивается из русла своего наплывом совсем новых чувств, дум, ощущений и настроений. Показан вам уголок чужого мира, и столько непривычных впечатлений ворвалось из этого уголка в ум и душу, что за пестротою и роскошным разнообразием их не осталось ни охоты к серой, обыденной действительности, ни надобности в ней. Вы видели сон, убивший для вас правду жизни, охвачены грезой, сделавшейся для вас большею потребностью, чем есть, пить и спать; вам показано призрачное будущее, и стремление к нему давит в вашем сердце все желания и страсти настоящего и память прошлого. В неопределенности тоскливых стремлений вы будете безотчетно рваться к чему-то, а к чему — сами не знаете, но неведение цели не остановит вас, а еще больше подстрекнет, разгорячит и в упорной погоне за мечтой мало-помалу оторвет от жизни. Существование человека, ступившего одной ногой за порог естественного, превращается в сплошной экстаз, в безумную смесь хандры и пафоса, восторгов и отупения... Все становится презренным и излишним, нужною остается только овладевшая воображением тайна.

Так было со мною. Моя веселость пропала, моя жизнь погасла. Молча, запершись в самой себе, влачила я свое существование после вечера на горе, твердо веруя, что предо мною прошло существо иного мира... во сне или наяву? — что мне за дело?.. Повторяю: в часы мучительных разду-

мий мои желания так часто менялись, так часто от проклятий *Ему* я переходила к сладким мечтам о *Нем*; и мне хотелось, чтоб *Он* не существовал, был лишь причудливым призраком лихорадочного сна, то я жаждала видеть *Его* как действительное, способное являться очам живого человека, умеющее любить, могущее быть любимым. Когда приближался вечер, я делалась сама не своя. Мне надо было бороться с собою, как с лютым врагом, чтобы не покориться таинственному могучему зову, доносившемуся ко мне откуда-то издалека и манившему меня... я знала куда: на гору, к западной стене. Но я не шла. У меня еще была кое-какая воля и оставалось сознания настолько, чтобы чувствовать в роковом зове нечто чуждое человеку, волшебное и преступное. В такие часы я забивалась в какой-нибудь уединенный уголок и со страшно бьющимся сердцем, трясясь всем телом, стуча зубами, как в лихорадке, читала молитвы и ждала — авось отлягут, отхлынут от души смутные грезы мои.

Я не пошла на встречу к *Нему* — тогда *Он* пришел за мною. В одну ночь я проснулась, как будто от электрического удара, что я увидала, были два знакомые мне, огненные кошачьи глаза. Лица *Его* не было видно; глаза казались врезанными прямо в стену и долго смотрели на меня, не мерцая и не мигая. Я даже не успела испугаться: так быстро охватило меня уже испытанное оцепенение... Тогда *Он* отделился от стены, словно прошел сквозь нее, наклонился надо мною, и я снова впала в тот сладкий обморок, что охватил меня на горе.

Мне снились переливы торжественной музыки, похожие на громовые аккорды исполинских арф, перекликавшихся в необозримых пространствах. Звуки поднимали и уносили меня вверх, как крылья. Кругом все было голубое, и в безбрежной лазури колыхались предо мною не то птицы, не то ангелы — создания с громадными белыми крыльями, подвижные и легкие, как пушинки при ветре. Золотые метеоры сыпались вокруг меня. Сверху, помогая и отвечая арфам, гудел сереб-

ряный звон — и я купалась в море красок и звуков. То было недосягаемое, неземное блаженство — спокойное, теплое, светлое — и я подумала: «Как хорошо мне, и как я счастлива!». И — как только подумала — что-то больно укололо меня в сердце... Я вскрикнула, светлый мир покрылся черной тьмой, будто в нем сразу потушили солнце, и я очнулась.

Заря глядела ко мне в окно. Я была одна.

С тех пор каждую ночь я видела *Его*, и каждую ночь уносили меня куда-то далеко от земли *Его* объятья, и каждую ночь пробуждалась я одиноко от острого удара в сердце. Дико и мрачно проводила я свои дни, выжидая ночи. Вялая, скучная, молчаливая, я возбудила опасения отца. Доктора нашли у меня малокровие, начали поить железом, мышьяком, какими-то водами.

Мне стало жаль моей молодой жизни, и я хотела спасти себя. Однажды я преодолела влияние моего врага: не поддалась его оцепеняющим глазам...

— Сжалься, — простонала я, — кто бы ты ни был, сжалься и не губи меня... Твои ласки сжигают меня. Я счастлива ими, но они убийственны. Ты взял всю кровь из сердца. Взгляни, как я жалка и слаба. Пощади меня — я скоро умру.

И в ответ я услыхала впервые *Его* голос — шум, похожий на шелест сухих листьев, взметенных сухим вихрем:

— Не бойся умереть. Ты моя и соединена со мною. Ты не умрешь, как я, и будешь жить, как я. Ты поддержала мою жизнь ценою своей жизни, а потом ты, как я, пойдешь к другому живому существу и сама будешь жить его жизнью. Как я, узнаешь ты холодные, бесстрастные дни покоя и ничтожества; как мне, улыбнутся тебе полные наслаждения и безумных восторгов вечера. Золотая луна будет тебе солнцем и синяя ночь — белым днем... Люби меня и не бойся умереть!

И в первый раз я почувствовала на своих губах *Его* холодные губы, и в этом долгом поцелуе *Он* выпил мою душу.

Больше мне нечего рассказать вам, потому что на другой же день отец, поговорив со мной, со слезами вышел от меня...

а я поняла, что меня считают сумасшедшею. Меня увезли из замка, стали развлекать, показали мне Европу... Напрасно! ни путешествие, ни лекарства, ни молитвы мне не помогут!.. Никто не в силах прогнать *Его*, таинственного, неуловимого, никем, кроме меня, не видимого. И я погибну *Его* жертвой, и неземной страх охватывает меня, когда я припоминаю *Его* темные слова: «Ты будешь жить моею жизнью...» Что значит это? кто *Он*?.. У меня нет сил спросить у *Него* прямого ответа: глаза *Его* так жестоки, злобны и мстительны, когда хоть мысль о том мелькнет в моем запуганном уме...

Прощайте, однако. Солнце садится: *Он* приходит ко мне всегда, как только погасает последний луч на куполе вон той большой церкви, и сердится, если застает меня не одну. Уходите, пожалейте меня. Я уже чувствую дыхание ветра, предшествующего *Его* приближению, и привычная дрожь пробежала по моим членам. Сейчас вон там в углу засветятся *Его* ненавистные глаза... Уходите! время!..

Вот *Он*... идет... идет... идет...

24 мая

Приходится не то хвастаться, не то каяться и разбираться в угрызениях совести. Поехал к Лапоцинським на три часа, а прогостил три дня. Панна Ольгуся — моя. Мы не объяснялись в любви, не назначали друг другу свиданий, но вышло как-то, что оба очутились за полночь в вишневом саду ксендза Августа и не успел я спросить:

— Отчего вы не спите так поздно, панна Ольгуся? — как она уже трепетала в моих объятиях, пряча на моем плече свое жаркое лицо и лепеча бессвязные жалобы...

Мы разошлись, когда восток уже загорался зарею. На расставанье Ольгуся вдруг вздрогнула в моих объятиях и тревожно прислушалась.

— Это что?

В воздухе дрожал долгий стонущий звук... Должно быть, выпь кричала или тритоны расстонались в болоте...

Возвратясь в свою комнату, я, пока не заснул, все время слушал этот протяжный стон, и моей, не совсем-то чистой после неожиданного свидания, совести чудился в нем чей-то таинственный упрек:

— Зачем? Зачем?

— Отвяжись! — со злобою думал я. — Что пристал? Чем я виноват? Я не ухаживал за нею, не заманивал ее... сама — без оглядки — бросилась мне на шею!

Спал я как убитый и поутру едва вспомнил со сна, что мы натворили вчера. Как водится, пришел в сквернейшее настроение духа и вышел к утреннему кофе злой-презлой — полный страха, что сейчас встречу заплаканное лицо, красные глаза, полные сентиментальной укоризны, услышу плаксивый голос, вздохи, жалобные намеки — весь арсенал женского оружия на такой случай... Ничуть не бывало: панна Ольгуся улыбалась мне всеми ямочками своего розового лица, щебетала, как жаворонок, и ее синие глаза были полны такого веселого счастья, что у меня сразу камень с сердца долой, и даже завидно ей стало.

Ксендз Август был в костеле. Мы оставались одни все утро.

— Послушайте, Ольгуся, — сказал я, — вы знаете, что я не могу на вас жениться?

Она очень покраснела и — мы сидели рядом — прижалась ко мне.

— Я и не рассчитываю... Я просто люблю вас.

— Надолго?

— Пока вы будете меня любить.

— А потом?

— Не знаю...

Она засмеялась, глядя мне в глаза.

— Я никогда не знаю, что сделаю с собою. Вы думаете, я знала вчера, что приду ночью в сад? Бог весть, как это

случилось... В меня иногда вселяется какое-то безумие, я теряю голову и живу иногда, сама себя не чувствуя... И делаю тогда не то, что надо, но только то, чего я хочу...

— А я всю жизнь так прожил, Ольгуся!

В глазах ее мелькнул огонек, она взяла мое лицо в обе ладони, мягкие и душистые, и приблизила к своему:

— Ты меня не жалей, — сердечно сказала она, — пропаду, так пропаду... Должно быть, в самом деле, уж такая судьба наша, Дубеничек, пропадать от вас, графов Гичовских... Помнишь, мы говорили с тобою про Зосю Здановку?

— Еще бы не помнить!

— Ну, так ты — мой граф Петш, а я — твоя Зося!.. Кстати, говорят, будто я очень похожа на нее.

— Откуда же знать это? После Зоси не осталось портрета. Знаменитая статуя ее — если только существовала она в самом деле, если она не украшение народной легенды…

— Конечно, существовала! — перебила меня Ольгуся.

— Скажите, какая уверенность! Почем ты знаешь?

— Потому что я знала человека, который видел и статую, и как ее разбили.

— Олечка! ты мне сказки рассказываешь.

— Да нет же! Хоть дядю спроси!.. Видишь ли, лет пять тому назад у нас на фольварке умер закрыстьян Алоизий...

— Неужели только пять лет тому назад? Я помню его отлично: когда я был совсем мальчишкою, ему считали уже много за сто лет.

— Дядя говорит, что ему было верных сто пятьдесят, если не больше... Когда дядя был совсем молодой, Алоизию еще не изменяла память, и он рассказывал дяде о гайдамаках, точно это вчера было. Железняк в Умани посадил его отца на кол. Я застала Алоизия уже совсем живым трупом... высох, как мумия... в чем только душа держалась! Он всегда лежал на солнышке, покрытый рогожею, и спал... Однажды иду мимо — он смотрит на меня своими мерт-

выми глазами — страшно так их вытаращил! — точно я за чудовище ему показалась! И вдруг засуетился, силится встать...

«Лежите, лежите, Алоизий, — говорю я ему, — не беспокойте себя, вы человек старый, а мы с вами свои люди... обойдемся без церемоний!..» Он кивает головою, бормочет что-то... Вечером присылает парубка за дядею: «Напутствуйте меня, ваша велебность, я сегодня умру...» — «С чего ты взял, Алоизий?» — «Я сегодня видел привидение... Зося Здановка приходила за мною... как живая... говорила со мною...» — «Что же она тебе сказала?» — «Да ничего такого страшного: лежите, говорит, лежите, Алоизий! — только и всего... А все-таки я помру, потому что за кем приходит покойник, тому и самому за ним идти». А я уже рассказывала дяде, как видела Алоизия. Дядя рассмеялся: «Ах ты, старый, выдумал тоже! Какая же это Зося Здановка? Это моя племянница, панна Ольгуся Дубенич — сейчас я покажу ее тебе». И велел меня позвать. Алоизий, пока глядел на меня, только крестился: так я казалась ему чудна. Говорил, что я похожа на Зосю как две капли воды — голос в голос, волос в волос...

В таком случае романическое увлечение моего предка понятно для меня больше, чем когда-нибудь. Ну что же? Будем играть в графа Петша и Зосю Здановку!.. Не знаю только — почему, пока Ольгуся вела свой рассказ, у меня страшно ныло сердце каким-то суеверным, недобрым предчувствием, а в ушах снова болезненно зазвенело вчерашнее: «Зачем? Зачем?»

25 мая

Ругался и неистовствовал, как татарин. Уезжая к Лапоциньским, я запер свой кабинет, но ключ забыл в замочной скважине. Я запер — потому что спешил и не успел убрать

своих бумаг, разбросанных на столе. Разумеется, без меня кто-то похозяйничал в кабинете. Я очень хорошо помню, что ручки статуи лежали врозь, на двух концах стола, одна — на рукописи «Законы сновидений», которую я пишу уже пятнадцатый год — все желаю затмить старика Мори, да что-то не затмевается! — другая — на связке моих печатных трудов... Между тем сейчас обе ручки лежат вместе, одна на другой, точно сомкнувшись в умоляющем жесте на печатной связке, и связка перевернута. Прежде наверху была моя брошюрка «Спиритизм и дегенерация», теперь — хвост немецкой статьи из «Психологических анналов»: полемика с покойным Бутлеровым... Ненавижу, когда роются в моих бумагах, хотя и не имею никаких секретов. Прислуга клянется и божится, что она ни при чем, будто бы даже не входила в кабинет. Врут, конечно. А не врут — тем хуже. Уж лучше пусть безграмотные лакеи копаются в моей литературе, чем делать ее достоянием провинциального любопытства. Спрашиваю Якуба, кто был без меня. Говорит, будто, кроме пана Паклевецкого, никто не заезжал. Уж не он ли постарался? От этого и не то станется! Я уверен: имей он малейшую возможность, — мало что перечитал бы все бумаги на столе, но заглянул бы и в ящики, и ключик бы подобрал, и замочек бы сломал... Но Якуб уверяет, будто он, узнав, что меня нет дома, выпил, не раздеваясь, в столовой рюмку водки, закусил пирожком и уехал...

26 мая

Беседовал с Паклевецким о покойной тетке Ядвиге.

— Двести лет назад ее сожгли бы на костре как колдунью, посещаемую инкубом, — сказал я.

— Положим, — возразил он, — таинственный «Он» в записке графини Ядвиги является не столько инкубом, сколько вампиром.

— Ого? — удивился я. — Вот какие тонкости вы различать умеете?

В глазах его мелькнула насмешливая искорка.

— Что же тут тонкого? Скорее это с вашей стороны — как пневматолога и оккультиста великого — было слишком толсто смешать живого демона с обыкновенным человеческим мертвецом.

— Вы правы. Во всяком случае, бред не совсем обыкновенный.

— И с этим не согласен. В образованной среде привилегированных сословий, пожалуй, да. Но в простонародье — из десяти вдов по крайней мере одна искренно верит, что к ней по ночам ходит с того света покойный муж, никем, кроме нее, не зримый, а для нее — живой, плотью и кровью. Деревенские ловеласы, к слову сказать, иногда преподло этим суеверием пользуются. Еще недавно в вашем же бывшем Гичове одного такого живого покойника поймали au flagrant delit * и потом водили по селу в хомуте, обмазанного дегтем, вываленного в пуху и мякине... и уж били же! Кто чем, лишь бы не до смерти и без увечья. Особенно бабы старались: и коромыслами-то, и скалками-то, и ведрами... Так теперь и зовут этого парня злополучного: «бабий мертвяк». Надо полагать, с тем прозвищем и помрет и потомству своему его вместо фамилии оставит... Поезжайте белорусским Полесьем: много ли вы найдете деревень без одержимой бабы, к которой летает огненный змей? А в одном глухом сибирском поселке я однажды наткнулся...

— А вы и в Сибири бывали?

— Где я не был!.. Наткнулся на целую эпидемию в таком же роде — только уже наоборот: между мужчинами, страдавшими от нападений покойницы, в которой какими-то таин-

* На месте преступления *(фр.)*.

ственными судьбами не умерли земные страсти. Убили парни в пьяной драке старуху одну, деревенскую проститутку... Двоих в острог увезли, а остальным — одному за другим — стало мерещиться: чуть ночь, покойница лезет на полати или на печь, ложится под бок и любви требует... Кончилось-таки дело тем, что все — как следует и чин чином — миром выкопали тетку Арину из могилы, осиновым колом угостили и на костре огнем в пепел сожгли... Ну, не понравилось, перестала ходить. Да-с! Присутствовал, так сказать, при самом зарождении мифа... Кто ее знает? Может быть, лет через триста эта тетка Арина в сибирском фольклоре окажется героинею и вырастут из ее памяти сказки, песни, баллады, как у немцев о Леноре, которую мертвый жених похитил, либо как господин тайный советник Гете о «Коринфской невесте» сочинил...

Когда он упомянул о «Коринфской невесте», это совпадение с недавними приключениями, пережитыми мною на острове Корфу, поразило меня, и я чуть было не рассказал Паклевецкому о том, как умер Дебрянский — жертва вампирической галлюцинации, которою он — совсем как парни в сибирском случае Паклевецкого — заразился от несчастного своего приятеля Петрова. Но меня остановил взгляд доктора — внимательный и ждущий, точно, странно показалось мне, он был уверен, что я вот именно это и начну сейчас ему рассказывать. Со стыдом должен признаться, что я смутился и, проглотив готовый рассказ, ограничился достаточно бесцветным замечанием, что, мол, в конце концов, вы, доктор, совершенно правы: безумие вампиризма разлито в человечестве, как первобытный инстинкт, и пятится, и гаснет только под напором нашей все растущей, все новые и новые силы обретающей цивилизации. Он возразил мне не без насмешки и как будто с разочарованием:

— То-то вот и есть, что не совсем... Тетушка ваша на пяти языках говорила и в светлые свои промежутки пре-

умная была и преобразованная особа. А вот недавно в «Lancet» читал я отчет некоего доктора Моллока о болезни одного русского, которого он пользовал на острове Корфу.

Моллок! Таким образом смутившее меня всеведение Паклевецкого сразу объяснилось. Мне стало очень стыдно и досадно на себя за минутную слабость.

— Ага! Это напечатано? — сказал я. — Я знаю Моллока и случай, о котором он говорит. Пациент Моллока был мой друг.

— Вот видите, — торжествуя, захихикал Паклевецкий, — вы все со мной хитрите и осторожничаете, а между тем Моллок в отчете своем даже ссылку на вас делает, правда только с инициалами, но достаточно прозрачную, чтобы узнать вас по приметам…

— Я не знал, что история Дебрянского получила огласку, и не считал себя вправе говорить о ней.

— А меня она интересовала уже задолго до вашего приезда. Откровенно сказать, я и записочки-то тетеньки вашей привез вам в специальном расчете, не толкнут ли они вас, по аналогии, разговориться и посвятить меня в подробности ваших корфиотских приключений.

— Выходит, доктор, что не я «все» с вами хитрю и осторожничаю, как вы только что упрекнули меня, а, напротив, вы со мною хитрите и обходцы строите… Раз история оглашена, почему вы не спросили меня о ней прямо?

Паклевецкий виновато ухмыльнулся.

— Видите ли, есть вопросы любопытства, которые неловко предлагать человеку, когда питаешь к нему чувство столь глубокого уважения, как я — к вашему сиятельству…

— Оставьте мое сиятельство в покое, а каким щекотливым вопросом вы опасались оскорбить меня в данном случае, признаюсь, я не совсем понимаю?

— Можно говорить?

— Пожалуйста!

— Слово гонору, что не обидитесь?

— Даю слово.

— Ну, хорошо... только чур! слово дано! J'ai reçu le droit de l'insolence...* Так вот: когда вы были свидетелем и участником всех этих безумий и таинств, столпившихся вокруг семьи Вучичей, не приходило вам в голову подозрение, что ваша собственная нервная система пошатнулась под их влиянием, и мысль ваша работала тогда не слишком-то нормально, и волевое движение сбилось несколько с панталыка и пошло по кривой?

Я был изумлен. Так, что даже не рассердился на его, в самом деле, нахальство.

— Неужели Моллок, излагая казус Дебрянского, представил роль мою в таком виде, что вы могли вынести подобное заключение?

— О нет!.. — заторопился он. — Как можно!.. Меня только заинтересовала в болезни вашего покойного друга сторона открытой преемственности. Я, знаете ли, списался о нем с врачами, которые ранее пользовали его в Москве и услали поправиться на Корфу. Ведь удивительное дело оказывается, знаете ли: ваш Дебрянский заразился галлюцинацией этой Феклы или Анны — как бишь ее там звали? — от приятеля своего, некоего присяжного поверенного Петрова, буквально и точно в инфекционном порядке, как другие тиф или дифтерит схватывают...

— В доказательство, что эта инфекция обошла меня, и существовал я под нею в полном здравом уме и твердой памяти, мне остается предложить вам испытание: я расскажу вам все, что было с Дебрянским в сопровождении своих комментариев, как и что я в этой трагикомедии понимаю.

* Я получил право на дерзость. *(фр.)*

Мы проговорили до позднего вечера. Паклевецкий слушал с необыкновенным вниманием. Надо отдать ему справедливость: когда он серьезен и не строит шута, лицо его озаряется замечательно умным, но... все-таки, нет, не могу я этой антипатии внутренней перешагнуть: недобрым выражением. Из всех действующих лиц моей повести наибольше заняла его Лала.

— Вот кого, в особенности-то, запереть следовало бы! — произнес он, когда я кончил. — Лалицу эту вашу колдовскую!

— В особенности? — подчеркнул я.

— В особенности, — невозмутимо повторил он. — Первую.

— Ах, значит, усматриваете кандидатов и на последующие очереди?

— Да помилуйте: разве вы не видите? не чувствуете? Эта Лала — настоящий очаг эпидемического психоза. Галлюцинации и иллюзии наваждений гнездятся в ней, как микробы и бациллы... Она дышит заразою нервных расстройств и потрясений. В какую здоровую среду ни бросьте подобную больную, она найдет достаточное число субъектов, которые отразят ее влияние прямым или обратным подражанием... Сами же говорите, что чуть было не поколебались — насчет смерча-то...

Он захохотал своим неприятным, режущим смехом.

— Все-таки, доктор, — спросил я, — вы в награду за повесть признайтесь, что именно в истории ли этой, в поведении ли моем заставило вас сомневаться в моей психической нормальности, то есть, говоря низким слогом, считать меня маленько рехнувшимся?

Он пожал плечами.

— Решительно ничего... Кроме того, разве, что, переживая подобную сверхъестественную передрягу, свидетелю ее маленько рехнуться даже более нормально, чем сохранить нервную систему в полной целости и мысль в совершенном здоровье... А у вас же еще наследственность об-

ремененная... это вы лучше меня знаете, что же от вас скрывать?

— В этом отношении, доктор, я твердо уповаю на дедушку Дмитрия Ивановича...

— И совершенно напрасно! — перебил Паклевецкий с каким-то новым, злым воодушевлением. — Ваш дедушка и воспитатель Дмитрий Иванович Ладьин, действительно, выставлял себя позитивистом в науке, материалистом в философии, строгим логиком в жизни и педагогии, но знаете ли вы, что он тайком был беллетрист, сочинял повести, рассказы, стихи и печатал их под псевдонимами, которые тщательно скрывал даже от самых близких друзей и родных своих?

— Да, я слыхал это не раз, но никогда не читал ни одного из его произведений...

Паклевецкий усмехнулся.

— Вы найдете их несколько в журналах конца сороковых и начала пятидесятых годов. Мой отец служил вашему деду агентом по сношениям его с редакциями. Я знал от отца несколько псевдонимов Дмитрия Ивановича, но все позабыл. Помню только один: Софьин. Так подписывался он в память жены, которую страстно любил и потерял совсем молодою. Найдите какую-нибудь повестушку за этой подписью, прочитайте и тогда судите сами, велик ли корректив к фантастической наследственности представляет собою ваш, будто бы материалист, дед...

Слова Паклевецкого показались мне любопытными: я никогда не подозревал за суровым дедом Дмитрием подобной слабости и, по отъезде доктора, я долго ползал вдоль полок с «Московским телеграфом», «Московским наблюдателем», «Современником», «Библиотекою для чтения» и читал оглавления запыленных томов, пока не встретил в одном из них между стихами Бернета и полемическою статьею Николая Полевого заглавия:

СОН В КРЕЩЕНСКУЮ НОЧЬ
Фантазия Д.Ил. Софьина

Вырезаю эти строчки из ветхой, рассыпающейся желтыми листами, сотлевшей книги. Да станут и они фамильным документом в дневнике моем!

* * *

Мертвые только днем мертвы,
а ночи им принадлежат,
и эта луна, поднимающаяся
по небу,— их солнце.

Альфонс Карр

Васильев был один в мрачном кабинете своего старинного деревенского дома. За окнами царила бурная зимняя ночь; оголенные ветви садовых сиреней и акаций царапались в запертые ставни; снежная вьюга визжала, ревела, выла. Казалось, будто огромная стая полузамерзших, озлобленных псов ломилась в дом, просясь к теплу и свету. Васильев не слышал бури. Он сидел перед камином в глубоком дедовском кресле, неподвижно глядел на медленно угасающее пламя и думал. Печальны и зловещи были его мысли. В настоящую бурную ночь минуло два года с тех пор, как Васильев впервые переступил порог этого дома, своего отцовского наследия. Тогда он не был еще осунувшимся облыселым полустариком с преждевременной сединой на висках и с огромными впалыми глазами на худом желтом лице, каким видел он себя теперь в каминном зеркале. Он вошел в свой дом с гордо поднятой головой, здоровый, веселый, полный светлых надежд и, главное, рука в руку с прелестною молодою женою.

Жизнь много и тяжело трепала Васильева. Страстный, непостоянный характер, пытливый ум и непреодолимая жажда крупной деятельности и сильных ощущений долго мыкали

его по свету, бросая из одной страны в другую, от предприятия к предприятию, сводя его с тысячами новых лиц, обостряя его наблюдательность бесчисленными житейскими встречами и совпадениями. В порывистом вихре своей жизни Васильев видел больше зла и глупости, чем добра и ума, и с летами, под давлением опыта, по мере того, как охлаждался его пылкий темперамент, ум переполнялся все большим и большим недоверием к людям. К тридцати годам Васильев — обнищалый, разочарованный и разбитый на всех своих путях, без любви к кому бы то ни было, без уважения к обществу и его законам, не зная сам, верит ли он хоть во что-нибудь, влачил жалкое существование, и не раз мысль о самоубийстве проплывала грозною волною в его угрюмом уме. Но тайное предчувствие говорило Васильеву, что под охладевающим пеплом его души еще теплится какой-то огонек, способный неожиданным счастливым случаем разгореться в яркое пламя и тепло осветить конец его бытия. И огонек точно вспыхнул: Васильев полюбил дочь небогатого петербургского чиновника, Лидию Александровну Ленцову, красивую, кроткую и умную девушку, и скоро женился на ней. Брак принес счастье Васильеву: отец его, раньше чуть не проклинавший сына за его скитальческий быт, помирился с ним, когда он остепенился. После скорой смерти отца Васильев, как его наследник, снова стал состоятельным человеком. Молодые переехали в свою п-скую деревню. Для Васильева, обновленного и воскресшего духом, настали дни ясного счастья; он любил свою жену безумной страстью и дорожил ее взаимностью, как утопающий дорожит соломинкой, за которую хватается; женщина, воскресившая Васильева своей любовью, стала для него всем — его богом, его миром. К ней неслись его молитвы, ее желания были его законом, кроме нее он ничем не интересовался. Васильев никогда ни к кому не ревновал жену: в его глазах Лидия была непогрешима; он был счастлив тем, что душа его оказалась способною на такую детскую безусловную веру.

Лидия Александровна — маленькая бледная блондинка в ореоле золотых кудрей вокруг бледного личика, с внимательными, покорными глазами, принимала любовь мужа тихо, словно стыдясь поклонения, какое она вызывала в сильном, умном и богатом опытом мужчине. Она никогда ничего не требовала от Васильева лично для себя, но муж умел угадывать и исполнять ее самые заветные, едва задуманные желания. После трех месяцев счастливой жизни Лидия Александровна простудилась и умерла. С тех пор последний луч света погас в душе Васильева. Он заперся в своем деревенском доме, где отпели, откуда вынесли в фамильный склеп тело Лидии. Настоящее для него более не существовало, в будущее он не верил, и ум его жил лишь прошлым — воспоминаниями все той же золотой, синеглазой головки с младенчески-кротким, вдумчивым взглядом и бледными холодными губками, на которых всегда как будто застывали его страстные поцелуи. Васильеву грезилась эта головка всегда и везде, и — любя ее мертвую, как живую, — он засыпал с надеждою видеть ее во сне, просыпался, чтобы мечтательно вспоминать ее. Прислуга, соседи, знакомые — все были уверены, что со смертью жены Васильев тронулся в уме; к нему никто не ездил; он тоже ни к кому.

Уголья в камине догорали, бросая красный зловещий отблеск на стены, мебель и на утонувшую в креслах фигуру хозяина. Утомив глаза червонным блеском огня, Васильев опять поднял их на каминное зеркало и увидел в нем, кроме себя, отражение странной фигуры. Фигура была фантастична и необычайна, но Васильев не испугался, даже не вздрогнул — он привык к ней. Около восьми месяцев тому назад он впервые увидал ее в тот же самый час, на этом же самом месте, и с тех пор находил ее ежедневно об эту пору. От стоявшего насупротив камина шкафа, набитого мистической библиотекой масона — деда Васильева, отделялось что-то вроде серого облака; потом в облаке прояснялся как будто чей-то облик, освещенный умным, пристальным и недобрым взглядом. Если

бы заставили Васильева описать свою постоянную галлюцинацию, он затруднился бы — это была какая-то зыблющаяся, неясная стихийная тень со слабым намеком на лицо; она была серая; в ней чудилось нечто сильное, красивое и злое — вот все, что мог бы сказать Васильев. Иногда обличье видения выяснялось резче, иногда оно рисовалось бледным, едва заметным пятном на черном фоне шкафа, и резьба последнего явственно просвечивала сквозь фантастический туман. Дважды Васильев подметил в призраке странное движение, похожее на улыбку: это — когда он явился в первый раз и заставил Васильева невольно содрогнуться от неожиданности и испуга; во второй раз, когда при возобновлении видения Васильев, взяв ученую книгу знаменитого психиатра, посвященную вопросу о галлюцинациях, старался найти в ней объяснение своему призраку. Теперь Васильев настолько свыкся с его присутствием, что уже не старался даже понять его; когда призрак — покойный, сильный и молчаливый — вырастал за его спиной, Васильев часто даже не сразу замечал его появление, погруженный в свое тихое, унылое горе.

В эту ночь Васильеву снова и определеннее прежнего почудилось движение в призраке: по облаку бегала глубокая рябь, как по воде от сильного ветра, и смутный образ то ярко выступал из-под своей стихийной оболочки, то снова тускнел под нею.

— С...л...у...ш...а...й!.. — низко, медленно, тягуче и глухо раздалось в тиши кабинета — словно кто-то заговорил далеко, за двумя-тремя стенами, но все-таки явственно и внятно. Васильев вздрогнул от изумления и с невольным испугом посмотрел на свое привидение: в первый раз он слышал от этого непонятного существа голос и слово.

— Не бойся! — продолжала звучать странная речь.

Васильеву казалось, что с каждой согласной в устах призрака прибавлялся тупой самостоятельный звук вроде свистящего придыхания или того хриплого шипения, каким начинают свой бой старинные часы.

— Не бойся!

— Кто ты? — спросил Васильев, смело поднимаясь с кресел навстречу видению.

Облако заволновалось, и за секунду перед тем ярко определившиеся черты призрака снова покрылись мглою.

— Не знаю! — донесся к Васильеву ответ, как будто еще больше издалека, чем первые слова.

— Зачем ты здесь?

— Ты мне близок, и мне тебя жаль.

— Я давно вижу тебя. Я считал тебя за ложную мечту воображения, и даже теперь, когда ты говоришь со мной, я не уверен, не брежу ли я... Зачем молчал ты раньше?

— Я наблюдал за тобой и читал в твоей душе.

— Быть может, ты злой дух?

Призрак беспокойно заволновался. Две яркие точки в тумане — их Васильев принимал за глаза своего видения — засверкали острым блеском.

— Я сказал тебе, что не знаю, кто я. Не все ли мне равно? Да и тебе тоже? Я пролетаю мир, не ведая, откуда я взялся и давно ли я живу. Иногда мне кажется, что я — не существо, а чей-то сон, чья-то мечта... Я люблю тебя именно за то, что твои мысли находят во мне отголосок в то самое мгновение, как они зарождаются в твоей голове. Быть может, я сам не что иное, как твоя безумная, печальная, острая, злая дума, отделившаяся от тебя и представшая тебе полувоплощенною.

— Мудрено... не понимаю...

— Я не умею сказать яснее.

— Чего ты хочешь?

— Помочь тебе. Ты мне близок. Мне жаль тебя.

— Почему?

— Потому, что ты должен умереть, а боишься. Скажи мне свою лучшую мечту, и я объясню тебе, как ее осуществить. Ты молчишь?.. Тогда я сам скажу, чего ты хочешь. Ты жаждешь смерти, как соединения со своей женой, и не решаешь-

ся на самоубийство потому лишь, что люди — глупее тебя, но сильнее тебя — обучили тебя думать, будто жизнь твоя не принадлежит тебе, будто обратить волю свою к уничтожению себя — грех, отличающий преступного от праведных. Боишься попасть в ад, когда Лидия будет в раю. Боишься разлучиться с нею в будущей жизни...

Васильеву послышалось что-то похожее на едкий холодный смех.

— Ты смеешься над будущей жизнью?!

— Нет! Это ты смеешься. Говорю тебе, что я — ничто, я — лишь отражение твоего ума, я — тот инстинкт, которого лишился человек, когда перестал быть животным. Я смеюсь, если ты смеешься; плачу, если ты плачешь; хочу, чего ты хочешь... Вот теперь ты думаешь: если это видение, стоящее пред моими глазами, сверхъестественно, пусть оно скажет мне: увижусь ли я хоть в вечности с Лидией?! Странные умные люди! Как многому ненужному вы научились и как много необходимого забыли! Животное, лишенное слова, видит духовный мир так же, как мир телесный. Слышишь ли ты далекий вой своего пса? Он предвещает покойника... Кто им будет? Быть может, и ты. Сибирский шаман в пророческом исступлении говорит со своими предками, как с живыми людьми, дает им вопросы и получает ответы; а ты, одаренный развитым наукою умом, не в силах помочь себе в самом страстном своем стремлении!

— Смерть не возвращает своих жертв! — глухо сказал Васильев.

Призрак засмеялся.

— Разве есть *смерть* в природе? И ты, умный человек, решаешься произнести это слово в присутствии такого существа, как я?

— Чему же ты смеешься? Стоя на пороге конца, смотреть дальше, за него, не смешно.

— Конец — человеческий миф. Конца в мире не бывает. Ты видишь пред собою бесконечное и тревожишься боязнью конца?

— Ты бессмертен?

— Больше: я не понимаю смерти. Во мне нет ее идеи. Она — покой, а я в вечном движении; я ее отрицаю.

— Смерти нет?

— Нет.

— Значит, будущая жизнь...

— Ее тоже нет.

— Так что же есть?

— Есть вечное перемещение стихий, вечное движение атомов. Вглядись в меня: мой облачный покров дрожит, зыблется, волнуется переливами, готов принимать сотни разнообразных форм и красок. Я могу быть всем, что может представить себе твое воображение. Но мой час не пришел, и покуда я — лишь таинственное *Ничто*. Когда-нибудь мировые частицы, составляющие меня, силой своего сцепления переработаются из *Ничто* в *Нечто* и заставят меня сделаться существом телесного мира, как ты теперь, но ненадолго, как недолог здесь и ты. Исполнив срок того, что вы, люди, так узко принимаете за жизнь, я снова распадусь на бесчисленные частицы. Их миллиарды-миллиардов носятся в мировом пространстве, и они не умирают, не теряются, не изменяются. Часть себя я передам, быть может, вон той сирени, что стучится теперь в твое окно; часть разольется водою в ближнем ручье или с парами поднимется к облакам, чтобы дождем упасть снова на землю; часть я подарю ядру формирующейся кометы; часть запоет птичкой в небе; часть станет зародышем в чреве матери... И опять воплощусь. И опять распадусь. Так все и будет: сегодня распадение, завтра воплощение. Я вечен, как вечна природа и обмен ее вещества. А ты говоришь о какой-то смерти. Не бойся ее. Этот узел только туго развязывается, но нитка — все та же. Смерть не ужас. Жизнь — не радость. Всюду и всегда одно и то же: перемещение частиц, ничего, кроме перелива атомов.

— Значит, и я буду жить, как ты? И Лидия не... умерла? — трепеща от робкого предчувствия, вскричал Васильев.

— Разумеется, и если ты хочешь, ты можешь видеть ее.

— Как? Научи меня, и я буду благословлять тебя.

— Слушай. Все в мире состоит из вещества и формы. Ваша видимая смерть в том и состоит, что в уничтожающемся существе распадается связь начал, и они начинают жить отдельно. Но влечение их друг к другу остается неизменным, и, при известных условиях, на несколько мгновений можно вызвать их новое случайное слияние, доступное человеческому взору. Смотри сюда!

Васильев, следуя указанию призрака, обратил глаза на дедовский книжный шкаф и, к своему удивлению, легко проник взором в его внутренности. На верхней полке лежала старинная полууставная рукопись.

— Прочти! — сказал призрак.

Васильев начал читать. Это было мистическое, причудливое сочинение прошлого века. Когда Васильев прерывал чтение, призрак резко говорил ему:

— Дальше!

— «...А если хочешь видеть умершего сродника, друга или знакомого, — с волнением разбирал полустертую рукопись Васильев, — пойди в родительскую субботу, в Троицын день либо под Крещенье о полуночи один к своей приходской церкви и сядь на паперть; молчи и думай о том, кого ты желаешь видеть. Не оборачивайся, а смотри вперед пред собою, подняв глаза на Большую Медведицу. Моргай не сильно и дыханье задерживай. Если все сказанное выполнишь, желанный тобою придет к тебе и сядет рядом с тобою, и будет с тобою, как при жизни...»

— И это не ложь? — вскричал Васильев.

— Нет!

— Я увижу... тень Лидии?

— Теней нет. Ты увидишь самое Лидию.

— Призрак! — радостно заговорил Васильев, простирая руки к видению. — Призрак! За одну десятую долю блаженства, какое ты сулишь мне, я отдам тебе все, что ты хочешь — жизнь, душу...

— Мне ничего не надо от тебя. Вспомни: я назвал себя твоею мыслью. Мы врозь, но мы неразделимы, и, выполняя свои желания, ты, сам того не сознавая, удовлетворяешь мои. Итак, идешь ли ты?

— Иду!

— Желаю тебе счастья! Прощай!..

Серое облако потускнело и слилось со шкафом. Призрак исчез.

* * *

Прошло несколько минут с тех пор, как Васильев, перепрыгнув церковную ограду, утопая по колено в снегу, спотыкаясь о занесенные вьюгой скромные памятники деревенского кладбища, пробрался к паперти и сел на ее ступени. Вьюга улеглась, месяц плыл между гонимыми ветром, разорванными тучами, и их тени причудливо скользили по белой под снегом земле. Где-то далеко выл волк, и деревенские собаки отзывались ему сердитым, озабоченным лаем. Васильеву было не до волков и не до собак. Он спешил выполнить все указания рукописи. Большая Медведица стояла невысоко над горизонтом; Васильев впился в нее пристальным утомленным взором — и блестящее созвездие скоро слилось для него в одну громадную, сверкающую, как алмаз, звезду; она все росла и росла, словно приближалась к земле, и становилась все ярче и великолепнее. Еще мгновение — и целое море света окружило Васильева... Он стал терять сознание...

Легкий ветер, пробегая по кладбищу, сдувал с могил сухой снег и серебряными при лунном свете вихрями поднимал его на воздух. Один из вихрей клубком подкатился к паперти и осыпал ее ледяной мелкой пылью... Васильев очнулся:

у ног его сидела маленькая худенькая женщина — месяц ярко освещал ее золотые волосы и глубокие глаза — она сжимала его руку своими крошечными ручками и говорила ему:

— Милый мой!

— Лидия! — вскричал Васильев, но теплая ручка легла на его уста.

— Тише! тише! — услыхал он ласковый шепот. — Пусть молчаливо будет наше счастье! Слово гонит меня, я таю от звука. Целуй, ласкай меня, но молчи, молчи!..

И он почувствовал на своем лице жаркое дыхание, и нежные, тихие, как в прежние счастливые дни, поцелуи легли на его губы, глаза и щеки. Голова Васильева помутилась. Он молча сжимал в объятиях Лидию и не помнил ни времени, ни места — ничего на свете, кроме своего блаженства.

— Теперь говори! теперь все опасное минуло, теперь можно все говорить! Посмотри, как все изменилось вокруг нас!.. — звенел над его ухом серебряный лепет.

Васильев оглянулся — и точно: вокруг все изменилось. Не было ни церкви, ни могил, ни снега — из всей только что представившейся ему действительности оставалась одна Лидия. Высокие сосны шумели; жаркий душный день парил лучами июльского солнца; пахло хвоей и земляникой; под ногами, как ковер, расстилался высокий зеленый пышный мох; красноголовый дятел где-то долбил носом сосновый ствол, щегол заливался...

— Лидия! Где мы? Что со мной? — с восторженным волнением спросил Васильев.

— Ты не узнал? — ласково упрекнула Лидия.

— Постой... здесь, да, именно здесь я сказал, что люблю тебя, и ты дала мне свое слово... Мы в родных местах, местах нашего первого счастья!..

— И оно продолжится вечно, вечно! — ответила Лидия, обвивая мужа руками.

— Здесь, направо, — продолжал Васильев, оглядываясь, — шла тропинка к твоей даче. Мы тогда рука в руку поднялись по ней, и на полпути встретили твоего отца, и признались ему в нашей любви... Где же теперь эта тропинка?

— Вот она!

И, следя за рукою Лидии, Васильев увидал тропинку как раз под своими ногами, но в странном, изменившемся виде: прямая, широкая и светлая, как серебро, она поднималась почти отвесно, высоко-высоко, и чем выше, тем ослепительнее было ее сияние.

— Хочешь, пойдем по ней опять, как тогда? — прошептала Лидия, склоняя голову на плечо мужа.

— Пойдем!— твердо и решительно ответил Васильев.

* * *

Утром нашли его замерзшим на кладбищенской паперти. Лицо трупа было обращено к небу; блаженная улыбка застыла на спокойных чертах.

* * *

Да, Паклевецкий прав: изумил меня дедушка Дмитрий Иванович. Всю жизнь пред людьми ходил, как в панцире ледяном. Даже мы, близкие, всем ему обязанные, им любимые, его любившие, считали его изрядным-таки сухарем. А между тем наедине с самим собою, запершись в своем рабочем кабинете, у письменного стола, он оказывается плаксивейшим вдовцом, сентименталистом чистейшей воды и суеверно ищет медиума для общения с мертвою женою, Твардовского, который показал бы ему его золотоволосую Лидию, как королю Сигизмунду — Барбару Радзивилл. Потому что — ясное же дело: здесь автобиографии не меньше, чем в записках тетки Ядвиги. Изучал Фейербаха, клялся Дарвином, а требует помощи от оккультической литературы. Теперь я знаю, почему сохранился и кому принадлежал полууставный листок семнадцатого века с сове-

том, как гипнотизировать себя Большою Медведицею на встречу с любимым мертвецом: некромантический рецепт таинственного существа в повести дедушки Дмитрия Ивановича — почти дословный перевод! И «Natura Nutrix» была дедушке небезызвестна. Атомистическая философия повести — оттуда. Автор «Natura Nutrix» — яркий атомист. Особенно — в главе о стихийных духах. Я читал ее намедни с глубоким интересом современности. Эти стихийные духи для средних веков были совершенно точною заменою нынешних микроорганизмов: все физическое добро и зло — от них, князей воздушных. Вообще, видение дедушки — отчаянный плагиатор. Его «какой конец? конца в мире не бывает» — литературное воровство у старика Мефистофеля...

Vorbei! ein dummes Wort.
Warum vorbei?
Vorbei und reines Nichts —
Volkommnes Einerlei *.

27 мая

Я нехорошо засыпаю в последнее время — тяжело, смутно. Что-то душит за горло, подкатывает истерическим клубком к сердцу. В ушах сквозь сон чуть-чуть и уныло звенит, как далекий стон молодых лягушек, пока не убаюкает меня... Я уже сплю, уже сны вижу, а все-таки чувствую, будто кто-то реет надо мною, дышит на меня, и все звенит на меня, и все звенит: «Зачем? зачем? зачем?»

Не могу сказать, чтобы это ощущение чужого дыхания на коже доставляло мне удовольствие; оно похоже на эпилепти-

---

* Мефистофель:
Конец? Нелепое словцо!
Чему конец? Что, собственно, случилось?
(Гете. «Фауст». Ч. II. Пер. Б. Пастернака)

ческую ауру... Но мне уже тридцать семь лет. Падучая болезнь в эти годы не проявляется — разве у алкоголиков. Так ни я, никто другой из нашей семьи никогда пьяницами не были... Посоветовался с Паклевецким. Он насказал мне страстей. Спрашивает:

— У вас не было зрительных галлюцинаций?

— Нет... обманы зрения, иллюзорные явления, конечно, случались...

— И галлюцинации будут.

— Вот так обрадовали! На каких же основаниях вы пророчите мне этакую прелесть?

— На самых простых: вы слегка меланхолик; нервное расстройство пошло у вас по периферии, чувствительность всюду повышена, следовательно, передачи мозговых отправлений совершаются неправильно. То, что называется — психическая дистэзия... Ну-с, при всех этих условиях, да еще при вашем фантастическом настроении, к переходу от иллюзорных явлений до галлюцинаций очень недолго...

— Откуда вы взяли, что у меня фантастическое настроение? Напротив!

— А вы все разную чушь читаете да разные дива видите.

— Никаких див я не видал... Бог с вами! А что до дедовских книг, то полагаю, научный интерес к ним не имеет ничего общего с суеверием. Эта дрожь в воздухе, этот стонущий звук, это дыхание за моими плечами тревожат меня исключительно как физическое явление — доказательство моего недомогания. Я знаю очень хорошо, что все это происходит во мне самом, а вовсе не вне меня. Я, пан Коронат, бывал в таких фантастических переделках, что если уж тогда не сделался фантастом, то теперь и подавно не сделаюсь. Нет, голубчик, лекарствица для тела вы мне пропишите, пожалуй, а души не касайтесь: по этой части я сам себе доктор.

Глаза Паклевецкого блеснули.

— Тем лучше, тем лучше! — сказал он, потирая ладони, и принялся убеждать, чтобы я не оставался один, «сам с собою», как можно больше развлекался и бывал в обществе...

— Покорнейше благодарю за совет! Но где я в нашей глуши найду общество?

Он ухмыльнулся, подмигивая.

— А хоть бы у Лапоциньских... Кстати, как здоровье вашей панны Ольгуси?

— Знаете, доктор, — строго заметил я, — деревенская свобода допускает много лишнего в речах, однако и ей бывают границы.

Он залился своим обычным неискренним хохотом, хохотом без смеха при холодных и серьезных глазах:

— Ну, не буду, не буду! — слово гонору, в последний раз! Однако...

Он пристально посмотрел на меня.

— При первом нашем разговоре о панне Ольгусе вы не рассердились, а теперь вот как вспыхнули... Эге-ге-ге!

И он ударил себя ладонью по лбу: «Ах, мол, я телятина!».

Не уйми я его, он распространялся бы до бесконечности. Скалить зубы, кажется, он еще больший мастер, чем лечить. А относительно обмана зрения он прав: глаза мои работают неправильно. Сегодня, например, когда он подошел к моему письменному столу и оперся на него своими толстыми кривыми пальцами, я ясно видел, что мраморные ручки затрепетали, как живые, быстрою и мелкою дрожью, точно от испуга...

— Видите, как они ко мне привязаны... Уже одно приближение человека, который хотел их у меня отнять, заставляет их дрожать.

Когда доктор отшучивался, я понял, что напрасно сказал ему эти слова: тон его был неприятен... он, кажется, складывает всякую шутку в сердце своем, как колкость и злейшую обиду, и немало уже накопил злости против меня.

1 июня

Давно ничего не записывал... Ольгуся меня совсем завертела. То — кататься верхом, то пикники, то гулянья, то Лапоцинськие у меня, то я у них. Вчера прилетела ко мне верхом — одна, уже под вечер... Чтобы проводить Ольгусю до дома, я велел оседлать Карабеля. Возвращаюсь с крыльца в столовую — Ольгуся сидит бледная, в глазах испуг, а сама хохочет.

— Что с тобою?

— Представь... вот глупость-то!.. перепугалась сейчас до полусмерти... вот даже не могу успокоиться, как бьется сердце...

— Да чего же, чего?

— Хотела поправить шляпу, прошла в гостиную... Там уже сумеречно... И вдруг вижу, будто мне навстречу идет женщина... Приглядываюсь: эта женщина — я сама... я как взвизгну, да бежать в столовую... и только здесь, при свете, сообразила, что у тебя там трюмо во всю стену и, стало быть, я струсила собственного своего отражения!

Ольгусе тоже очень нравятся «ручки», я подарю их ей в день рождения. Только надо обломанные места обделать в металл... Любопытно, что руки Ольгуси похожи на «ручки», как две капли воды, разве немного пухлее. А то даже окраска кожи напоминает палевый мягкий мрамор моей находки.

2 июня

Вот уже несколько дней я живу под гнетом странного беспокойства, которое охватывает человека, когда кто-нибудь сосредоточенно и страстно о нем думает. В это я верю, потому что много раз испытывал на себе. Магнетические токи между людьми — сила, ждущая своего Вольта, Гальвани, Гельмгольца, чтобы выяснить законы ее так же логически просто, как те-

перь выяснены законы электричества. Телепсихоз ничуть не более невероятен, чем телеграф и телефон; а вот, говорят, теперь уже и телефоноскоп изобретен каким-то не то чехом, не то галичанином. Способность к нравственному общению человека с человеком на расстоянии свойственна, в большей или меньшей степени, всем нам: сейчас она стихийная и, как все стихийное, проявляется лишь пассивно и случайно. Надо, чтобы из смутной, инстинктивной она сделалась определенною, произвольною... и для такого превращения и требуются Гельмгольцы и Гальвани. Любопытно, однако, кто же это мучится — и где — участием ко мне и мучит меня вместе с собою?

Я послал телеграмму брату: нет, ничего... он здоров... и, занятый своими аферами, не сокрушался обо мне больше, чем обыкновенно. Странно!..

Я много раз замечал, что когда долго и напрасно ломаешь голову над трудным вопросом, пытаясь разрешить его в уме, и это не удается, — стоит написать этот вопрос на бумаге, чтобы он стал более легким, и память подсказала быстрый ответ...

Сейчас — пока я писал эти строки — в уме моем громко зазвучало искомое мною имя.

— Лала! Лала — и никто кроме нее.

Я тем более уверен в этом, что у меня и мысли о ней не было еще за минуту перед тем, как меня точно осенило ее именем.

Это Лала... Недавно она привиделась мне во сне... грозила, предостерегала... Положим, что «когда же складны сны бывают?», однако магнетическое влияние передается сонному человеку сильнее, чем бодрствующему, и если я теперь чувствую наяву на себе влияние моей далекой приятельницы, то и сон мой, быть может, был неспроста... Лала думает обо мне. Зачем? Почему ее «гений» так долго не сообщался с моим «гением» — и вдруг вспомнил, стучится, заговорил? Уж не умирает ли она? Не умерла ли? Все подобные телепатичес-

кие зовы, явления, пробуждения памяти, обыкновенно, сколько наблюдалось до сих пор, бывали неразлучными спутниками и результатами последних напряжений жизненной энергии, флюидов, обостренных и усиленных в предсмертной агонии или в великой, жизни угрожающей опасности.

Якуб клянется, что в мое отсутствие в кабинете происходят странные вещи: что-то двигается, шуршит бумагами; вчера он олышал из-за двери три слабых аккорда, взятых на старинной гитаре, что висит на стене — как украшение — ради своей редкостной инкрустации. Мыши, конечно, — если только Якубу не приснилось. Сам старик уверен, что это шалости кого-либо из челяди, и грозит:

— Нехай поймаю бисовых хлопцев! Як начну терты та мяты, будут воны мене поминаты!

5 июня

Пью cale bromatum *, обтираюсь холодною водою, а толку мало... Паклевецкий прав: мои иллюзорные ощущения начинают переходить в галлюцинации. Сегодня утром я работал фейерверк для дня рождения Ольгуси — пан ксендз Лапоциньский собирается справлять праздник на весь свет — и вдруг в уголке серебряного подноса, что лежал у меня на столе, заваленный всякою пиротехническою дрянью, я увидал, что сзади меня стоит, тихонько подкравшись, сама Ольгуся и смотрит через плечо на мою алхимию... Я, очень изумленный ее появлением в такую раннюю пору, оборачиваюсь с вопросом:

— Откуда ты? Какими судьбами?

Но вместо Ольгуси вижу лишь мутное розовое пятно, которое медленно расплывается кружками, как бывает, когда долго смотришь на солнце и потом отведешь глаза на темный предмет...

* Подогретый бром *(лат.)*

Ольгуся тоже недомогает сегодня. Всю ночь — жалуется — мучил ее тяжелый кошмар: мраморные ручки, лежащие на моем письменном столе, схватили будто бы ее за горло и душили, пока она, готовая задохнуться, не вскрикнула и не проснулась — на полу, свалившись с кровати. Сновидение было так живо, что, даже открыв уже глаза, она видела еще перед собою мелькание мраморных пальцев и слышала тихий голос:

— Отдай, отдай! Не смей брать мое!

Когда я сказал Ольгусе, что собирался подарить ей ручки, она даже перекрестилась:

— Чтобы я после такого сна взяла их к себе в комнату? Сохрани Боже! Да я ни одной ночи не усну спокойно...

Говорю ей:

— Это оттого, что ты много простокваши ешь на ночь.

— Что же мне из-за твоих ручек от простокваши отказаться? Да когда я ее люблю!

Рассказал ей анекдот о Сведенборге, как после плотного ужина узрел он комнату, полную света, а в ней человека в сиянии, который вопиял к нему: «Не ешь столь много!».

Но у женщин на все свои увертки. Говорит:

— А может быть, твой Сведенборг не простоквашей объелся?

И то резон.

Шум в ушах продолжался. Только вместо «зачем? зачем?» — я теперь слышу другое:

— Жар-Цвет... Жар-Цвет... Жар-Цвет...

Это еще откуда?

«...Qu'elle est belle! quèlle douce prière luit dans ses yeux bleus qui me regardent à travers la brume mystique! Puissais-je ne pas remplir sa prière muette? Puissent les forces et le savoir me manquer pour briser sa prison de marbre? Non, je jure sur les roses (стерто)... ntes à tes joues, fantôme chèri... (стерто)... la fleur fatale... (стерто)... à la vie, interrom... (стерто)... uellement».

«...Как она прекрасна! С такою нежною мольбой глядят на меня сквозь мистический туман ее синие глаза! Неужели я не исполню ее немой просьбы? Неужели у меня не хватит сил и знания разбить ее мраморную темницу? Нет, клянусь розами... на ланитах твоих, милый призрак... роковой цветок... к жизни — interrompu? прерванной...» А что значит... — uellement? Actuellement? cruellement? Вероятно, «interrompu cruellement — прерванной жестоко».

Этот странный отрывок, дешифрованный из книжки Ивана Никитича Ладьина, доставил мне сегодня ксендз Лапоциньский.

О чем говорит он? Почему меня взволновали темные, испорченные, безумные строки? Что за призрак с розами на щеках? Какой роковой цветок? Какая мраморная темница? Чья жизнь прервана жестоко?

Отчего — пока я, запершись в кабинете, читал записку ксендза, — мне казалось, что я не один в этой огромной комнате, что кто-то, незримый, движется и трепещет в ее — как будто сгущенном — воздухе? Перед глазами точно сетка колеблется — сетка из mouches volantes...* И этот постоянный стонущий звон, молящий и вопросительный, что гонится за мною с той весенней ночи под вишнями... откуда он?

8 июня

Одно из двух: либо я схожу с ума, либо я, наконец, действительно охвачен тем необыкновенным миром сверхчувственного, доступа в который скептически, но страстно искал я всю жизнь свою и — потому что не находил его — думал, что его нет вовсе. Первое, конечно, правдоподобнее, но... с другой стороны...

* Мошкара *(фр.)*.

Мой пульс, как твой, играет в стройном такте;
Его мелодия здорова, как в твоем.

Мы встретились — мы, то есть я и розовая незнакомка, — снова среди ясного полдня в вишневом садике Лапоцинського. Ольгуся сидела рядом со мною, смеялась, поила меня кофе и намазывала для меня на хлеб янтарное масло, о котором она так смешно говорит по-польски:

— То властне!

Ксендз поодаль полулежал на скамье, вытянув свои старые ноги, с записною книжкою моего прадедушки в руках: вчерашняя удача пришпорила моего неугомонного шарадомана опять приняться за расшифровку ее, и он без конца пробует над нею то один ключ, то другой. И в это время, когда, наклоняясь к уху Ольгуси, я шептал ей всевозможные нежные глупости и смешил ее до упаду, — в эту-то минуту из глубины вишневника выплыло розовое пятно, и предо мною встала другая Ольгуся — такая же прекрасная, как сидевшая рядом со мною, но лицо ее было худо и печально, а глаза смотрели прямо в лицо мне с тоскою, упреком, непонятною, но мучительною мольбою.

О, какое счастье, что я не трус и не фантаст!

«Вот оно! Начинается! — молнией мелькнуло в моем уме, — обещанная Паклевецким галлюцинация!»

Я не вскрикнул, даже не изменился в лице. А она, вторая Ольгуся, оперлась на наш стол своими нежными палевыми ручками. Я сразу узнал их: они — те самые, что нашел я в размытом кургане...

По спокойным лицам панны Ольгуси — той живой Ольгуси — и ксендза Августа я видел, что они ничего не видят... А «она» все стояла и смотрела, пронизывая меня своим трогательным взором, чаруя и покоряя. И я поддался силе галлюцинации, — она была так жива, настолько наглядна, что я бессознательно, невольно смотрел на это порождение оптического обмана, на этот «пузырь земли», как на реальное существо...

Тогда губы ее дрогнули, и воздух тоскливо зазвучал тем самым жалобным стоном, что неотвязно мучит меня по ночам.

— Кто вы? О чем вы просите? — невольно сорвалось с моих губ.

И в тот момент она пропала, растаяла в воздухе… А живая Ольгуся расхохоталась.

— Я решительно ни о чем не прошу вас, граф! Что с вами? О ком вы замечтались? Вы бредите наяву...

Я промолчал о своей галлюцинации. Ольгуся суеверна. А видеть чей-либо двойник — есть поверье — нехорошо: к смерти — тому, кого видят. А что... если не галлюцинация? Если...

Прав Паклевецкий, тысячу раз прав: надо вытрясти из головы фантастический вздор! Черт знает, что лезет в мысли... Я становлюсь суеверен, как деревенская баба!

9 июня

Вчерашнее видение не дает мне покоя.

Возвратясь от Лапоциньских, я долго сидел перед своим письменным столом, рассматривая таинственные ручки… Я взвесил их на ладони и был поражен, как они легки сравнительно с материалом, из которого сделаны. И мне чудилось, что они становятся все легче и легче, дрожат и трепещут, и холодный мрамор нагревается в моих горячих руках... Не надо иллюзий! не поддамся новой галлюцинации!.. Призову на помощь весь свой скептицизм, буду анализировать трезво, холодно и спокойно…

Но анализ-то получается неутешительный!

Что я видел?

Я видел прекрасный призрак с розами на щеках, с синими глазами, полными грустной мольбы — тот самый призрак, что описал — под шифром — прадед Иван Никитич. Что же? Внушил мне он эту галлюцинацию — из-за гроба, шестьдесят один год спустя после смерти, своею мистической болтовнею?

Или в самом деле у нас в доме есть свое родовое привидение, как белая дама у Гогенцоллернов, и за неимением другого богатства — оно именно и перешло мне в наследство? Так или иначе, но мы сошлись с прадедом или на одной и той же галлюцинации, или на одном и том же призраке.

Допустим невозможное, т.е. призрак. Если призрак — то чей? Он — двойник Ольгуси. Закрыстьян Алоизий свидетельствовал, умирая, что Ольгуся — живое воплощение Зоси Здановки. Прадед говорил что-то о la vie interrompue cruellement *.

Смерть Зоси Здановки была насильственная. La prison de marbre...** не намек ли это на статую и монумент Зоси, уничтоженные, быть может, еще на памяти деда, наследниками графа Петра? Эти ручки, так похожие на ручки Ольгуси...

Какой же я простак! Как было не догадаться сразу, что случай дал мне открыть забытую могилу Зоси Здановки и обломки ее знаменитой статуи — той самой таинственной статуи, что, если верить бредням холопов, стонала, плакала и бродила по ночам, как будто приняла в себя часть жизни безвременно погибшей красавицы?

Бредни? Бредни? Однако я не знал, по крайней мере, не помнил об этих бреднях, когда встретил розовую незнакомку — как раз там, где они заставляли бродить мертвую Зосю, как раз там, где оказалась потом ее могила.

Странный розовый призрак мелькнул мне именно у кургана, откуда майский ливень добыл для меня вот этот странный розоватый мрамор, такой необычайно легкий, прозрачный и будто мягкий в руке.

Эти ручки — ручки Зоси Здановки, полтораста лет спящей в Земле. Я сжимаю их и думаю о ней. Зачем приходила она к прадеду — такая же, как ходит теперь ко мне, с тем же выражением в лице, с тою же мукою в глазах?

---

* Жизни, прерванной жестоко *(фр.)*.

** Мраморная тюрьма... *(фр.)*

Что должен он сделать для нее? Чего не сумел сделать, чтобы успокоить ее страждущую тень? «Briser la prison de marbre»... разрушить темницу или освободить из темницы?.. Fantôme chéri... * Fleur fatale ...при чем тут fleur fatale? ** Она ли — роковой цветок, по поэтической метафоре прадеда, или... Ба!

А первый отрывок, дешифрованный ксендзом Августом? «Цвел 23 июня 1823... цвел 23 июня 1830... не мог воспользоваться... глупо... страшно...» Не об этом ли роковом цветке идет теперь речь? Что если восстановить испорченный текст хотя бы в такой форме: «Je jure sur le roses, fleurissantes à tes joues, fantôme chéri, qui je me procurerai de la fleur fatale et je te rendrai à la vie, interrompue si cruellement» ***.

Клятва безумная, но разве не безумно все, что совершается теперь вокруг меня?

«Цвел 23 июня 1823... 1830...» и через семилетний промежуток намечен периодически цвести до конца столетия. Текущий 1893 год в том числе. Таким образом, всего две недели отделяют меня от тайны de la fleur fatale...

«Может быть, кому-нибудь из потомков удастся, что не удалось мне», — пишет прадедушка, точно завещая мне, своему преемнику по мистической жажде, непонятную, но непременную миссию. Ах, Иван Никитич! Бог тебе судья, заморочил ты мою голову!

* * *

Вот уже вторая неделя, что я стою одной ногою в мире действительности, другою — где-то за границею возможного... и за границу эту тянет меня, тянет ступить другою ногою.

---

* Милый призрак... *(фр.)*

** Роковой цветок *(фр.)*.

*** «Я клянусь розами, которые цветут на твоих щеках, милый призрак, что я достану роковой цветок и верну тебя к жизни, так жестоко прерванной» *(фр.)*

Я заперся дома, нигде не бываю, никого не принимаю. Ольгуся пишет мне письма, полные упреков... Пускай! Не до нее...

Нет больше сомнений!

Я знаю теперь, кого я видел в саду, кто заглянул ко мне через плечо, когда я мастерил фейерверк для Ольгуси, кого встретила Ольгуся в гостиной, когда была у меня, — это Зося Здановка.

Пишу это имя твердою рукою, потому что если даже я помешан, то помешан на ней. Ее имя — та неподвижная идея, около которой вращаются мои мысли.

Вчера вечером, когда меня, одинокого, вновь окружил тот странный, густой, как будто полный незримой, но веской и тягучей материи воздух, что стал в последнее время неизменным спутником моих размышлений, — я вдруг, непостижимым экстазом, почувствовал, что какой-то могучий прилив небывалых сил словно захватил меня из земной среды и возвысил меня над нею таинственною, сверхчеловеческою властью. Взор мой упал на мраморные ручки Зоси... Я машинально поднял их со стола, крепко сжимая мрамор в бессознательном восторге.

Я чувствовал, что она, когда-то воплощенная в этом камне, здесь, возле меня, что стоит позвать ее — и она придет.

И я позвал ее...

Тогда от ручек пошли как будто лучи — бледные, белесовато-палевые... воздух пропитался тем мутным брожением, тою эфирною зыбью, которые до сих пор я считал обманом своего больного зрения... Казалось, предо мною происходила какая-то полузримая борьба: что-то рвалось ко мне и что-то другое не пускало... Я понял, что должен напрячь все силы воли — и я позвал Зосю: теперь я уже не сомневался, что это Зося! — еще... и еще...

И она появилась...

А! Теперь я понимаю прадеда!

Она так несчастна! Когда я слышу ее стон, лицо ее искажается таким тяжелым и долгим страданием, что сердце мое

разрывается на части, что я, вне себя, готов хоть в ад — лишь бы понять и прекратить ее горе... лишь бы возвратить ей счастье и покой, о которых она рыдает.

Зависит ли это от меня? О, да! Иначе — зачем бы именно ко мне явилась она? Зачем я, а не любой из мужчин, любая из женщин околотка стали жертвами ее грустного присутствия? Зависит. Я читаю это в ее голубых, отемненных слезами глазах. Она ищет в правнуке — чего не сумел дать ей прадед.

Так выскажись же, чего ты ждешь? Чего тебе надо? Не мучь и себя, и меня... Или не можешь? Не вольна? Тень, достигшая материализации, но лишенная слова? Астральное тело, неосязаемое и беззвучное? Но — бесстрастное ли?

Вчера, когда она явилась, я задумался об ее удивительном сходстве с Ольгусею и вдруг — не узнал ее: так гневно вспыхнули ее глаза... Что значит этот гнев? Чем мешает ей Ольгуся? Любит она меня, что ли, ревнует? Да разве «там» есть любовь и ревность? А почему нет? Если вместе с телом не умирают другие человеческие страдания, почему должны умереть эти?

Чтобы разбить «фантастическое настроение», как выражается Паклевецкий, я схватил первую попавшуюся под руку книгу из библиотеки и стал читать, где открылась страница. Оказалось, Лермонтов. А что попалось — не угодно ли?!

Коснется ль чуждое дыханье
Твоих ланит,
Моя душа в немом страданье
Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут, пылая,
По мне огнем.
Ты не должна любить другого,
Нет, не должна:
Ты мертвецу святыней слова
Обречена.

Словно загадал!.. Нечего сказать — утешительно!

* * *

Статуя... Мрамор... Мрамор не ходит, мрамор не движется... Да. Но легенда о Пигмалионе стара, как мир, и ровесница скульптуре. Мраморная Диана, на палец которой молодой римский патриций надел кольцо свое, почла себя невестою и не допустила жениха своего быть мужем другой... В средневековом монастыре статуя Мадонны ожила, чтобы спасти грешную игуменью, увлеченную любовью в бегство из обители... Каменный Гость...

Сказки, легенды, предания, выдумки поэтов... Но когда «это»... я не знаю, что «это»... стояло предо мною — немое, живое, прекрасное — в плаче и в движении? И ветер вил золото кудрей, и рука опиралась на стол, и ножки ступали по ковру...

Альберт Великий сделал когда-то автомат прекрасной женщины. Когда статуя заговорила, Фома Аквинский в ужасе принял ее за дьявола и разбил палкою. Вошел Альберт, увидал и воскликнул, отчаянный:

— Фома! Фома! Что ты сделал? Ты разбил тридцать лет моей работы — тридцать лет жизни моей уничтожил ты, Фома!

Он умер с горя по своей прекрасной движущейся статуе...

Я должен понять, должен догадаться, чего хочет от меня эта странная мертвая красавица, которая каждый день ходит ко мне в гости с того света, точно из соседнего имения, о чем молит меня ее скорбный, плачущий взор?..

Она нема... все еще нема... если губы ее шевелятся, в ушах моих, как и в первый день, когда я сознательно вызвал ее, раздаются лишь два слова:

— Жар-Цвет... Жар-Цвет...

И я по-прежнему не знаю, она ли это говорит или то звук не от нее самой, но воздух вокруг нее плачет и стонет? Жар-Цвет... Какое красивое слово Жар-Цвет... Как жизнь... Сколько тепла и красок...

17 июня

Дикий и страшный день!

Она чуть-чуть было не заговорила...

Но прежде чем с губ ее вырвался хоть один звук, лицо ее исказилось ужасом и отвращением, она потемнела, как земля, опрокинулась на спину, переломилась, как молодая березка, и расплылась серыми хлопьями, как дым в сырой осенний день. А я услыхал другой голос — противный и уже, несомненно, человеческий.

— Здравствуйте, граф... Что это за манипуляции вы здесь проделывали?

На пороге кабинета стоял Паклевецкий.

— Как вы взошли? Кто вас пустил? — крикнул я, будучи не в силах сдержать свое бешенство.

— Ого, как строго! — насмешливо сказал он, спокойно располагаясь в креслах. — Взошел через дверь — вольно же вам не запираться на ключ, когда вы заняты. А пустил меня к вам Якуб. Да вы не гневайтесь: я гость не до такой степени некстати, как вы думаете.

— Сомневаюсь! — грубо крикнул я ему.

— Сомнение есть мать познания, — возразил он и вдруг подошел ко мне близко-близко...

— Так как же, граф? — зашептал он, наклоняясь к моему уху и пронизывая меня своими лукавыми черными глазами. — Так как же? Все Зося? А? Все Зося?

Если бы потолок обрушился на меня, я был бы меньше удивлен и испуган. Я с ужасом смотрел на Паклевецкого и едва узнавал его: так было сурово и злобно его внезапно изменившееся, страшное, исхудалое лицо...

— Я не понимаю вас, — пролепетал я, стараясь отвернуться.

— Ну не притворяйтесь, ваше сиятельство? — холодно сказал Паклевецкий. — Будет нам играть в темную, откроем карты... Рыбак рыбака видит издалека!

— Кто вы такой?

— Как вам известно, уездный врач Паклевецкий.

— Откуда же вы знаете?

— А вот, представьте себе: знаю. А каким образом — не все ли равно вам?

— Вы подслушали меня или прочитали мои записки.

— Ну вот! Зачем не предположить возможности, более благородной и лестной для моего самолюбия? Зачем не предположить, что я — ваш собрат по занятиям тайными науками и, с гордостью могу сказать, собрат старший, хотя и менее вас откровенный, потому что ушел в них гораздо дальше вас и могу вам объяснить тайны, о каких не смеет даже грезить ваша мудрость.

Он важно взглянул на меня.

— В том числе и тайну Зоси... Вы напрасно ломали голову над хитрою механикою этого ларчика, открывается он очень просто. И вы же сами открыли его, но, по свойственному вам легкомыслию, позабыли, что открыли, и теперь ломитесь в дверь, не замечая, что она отворена настежь...

— Объяснитесь... я не понимаю...

— Очень просто. С помощью вашего друга, лысого ксендза Августа, вы разобрались в заглавной книжке Ивана Никитича Ладьина и, отдаю вам справедливость, очень искусно комбинировали разобранное. Когда вы добрались до идеи о Зосе, я вам аплодировал из моего прекрасного далека — даю вам честное слово.

Я молчал, совершенно раздавленный его властными словами: он знал все, видел и слышал все...

— Но вы немного забывчивы, — продолжал он. — Вас сбил с толку la fleur fatale... Как же было не припомнить той странички из «Natura Nutrix», которую вы даже выписали в свой дневник?

— Об Огненном Цвете?

— Ну да. О таинственном тибетском папоротнике, открывающем человеку тайну жизни. Именно он-то и есть la fleur fatale, которого искал ваш прадедушка, за которым ходила к нему Зося, а теперь ходит к вам...

— Но какое же отношение...

— Между Зосею и Огненным Цветом? Такое, что Зосю рано со света сжили, Зося хочет жить, в землю ей неохота, — с неприятною улыбкою возразил он, — а Огненный Цвет — в ваших руках — может вернуть ее к жизни.

— Так ли, Зося? — спросил он вдруг, насмешливо глядя в угол кабинета.

И я весь затрепетал, когда хорошо знакомый голос — тот самый, что так много дней уже звенел в ушах моих плакучею жалобою, — отозвался тягучим, точно против воли, стоном:

— Та...а...ак!..

— Вы слышали! — самодовольно засмеялся Паклевецкий, сделав рукою размашистый жест шарлатана, удачно показавшего новый фокус.

— А теперь, любезный граф, когда я, кажется, достаточно кредитовал себя в ваших глазах как представитель практического оккультизма, позвольте немножко пуститься в теорию... Что есть жизнь, граф? Наука отвечает нам: жизнь есть сцепление частиц космических в органическое тело, смерть — распадение этих частиц. Кто владеет Огненным Цветом, властен, по своему желанию, поддерживать телесные частицы в постоянном сцеплении, вызывать такое сцепление, когда ему угодно, то есть жить и позволять жить другим, пока не надоест, то есть вызывать к жизни мертвых в той плоти, как ходили они некогда по этой земле, то есть воскрешать и воскресать.

— Почему это? Какою силою?

Паклевецкий пожал плечами.

— Почему разбросанные опилки железа прилипают кистью к куску магнита? Почему семь планет держатся в равновесии притяжением солнечного шара? Разве мыслимо зада-

вать подобные вопросы? Вы признаете ведь магнетические явления в животном мире?

— Да.

— Вы знаете, что есть на земном шаре точки, есть в природе условия, при которых магнетические явления бывают особенно ярки и выразительны?

— Да.

— Ну-с, так место, где растет Огненный Цвет, — именно такое место, и условия его цветения — наиболее благоприятное условие для проявления животного, то есть атомистического, магнетизма. Вот и все.

— Но почему?

— А почему в какой-нибудь смиреннейшей Курской губернии вдруг ни с того ни с сего дурит магнитная стрелка? Почему искони держится морская легенда, будто полюсы земли — колоссальные скалы сильнейшего магнита, притягивающие к себе все железные части кораблей, а потому и на веки вечные недоступные для мореплавателей? Огненный Цвет тянет к себе реющие в мировом пространстве жизненные атомы, как магнит — железные опилки. Воля мастера, что сделать из железных опилок. Воля магика, что вылепить из попадающих в его распоряжение атомов. Больше я ничего не могу вам сказать. Будь я шарлатан или сказочник, я бы мог вам сообщить, что Огненный Цвет есть не что иное, как выродившиеся отпрыски древа жизни, ушедшего в землю, когда Адам и Ева внесли грехом своим смерть в мир... и тому подобные средневековые бредни.

— Да, — принужден был подтвердить я, — именно это утверждает и «Natura Nutrix».

— Вот видите. Это вам лишнее доказательство моих знаний. Вам известно, что я не читал этой книги и видел ее лишь раз из ваших рук.

— Если только в отсутствие мое не побывали в моем кабинете, — возразил я грубо и бесцеремонно.

Он хладнокровно возразил:

— Почему же в отсутствие? Ваше присутствие меня нисколько не стесняет. Если бы я хотел проникать в ваши секреты... угодно вам — я прочту вам от слова до слова письмо от панны Ольгуси, которое вы только что получили и нераспечатанным бросили в ящик письменного стола? Дерево и стены двойному зрению не помеха...

Я, пораженный, разбитый, отступил. А он говорил, будто ни в чем не бывало:

— Древо жизни, так древо жизни. Мне все равно. Пускай. Но я жрец науки, а потому откровенно говорю вам: не знаю. В лаборатории природы всегда остаются уголки, куда нашего брата ни с каким, даже Соломоновым, ключом в руках всетаки не пускают. Силу и закон Огненного Цвета я вам объяснил: довольствуйтесь этим для практики, без теоретических вопросов.

— Но почему же я должен вам верить? Мало ли каких волшебных историй и обобщений из них можно насоздать, имея фантастически настроенный ум! А, кажется, доктор, вы, который еще так недавно упрекали меня в фантастическом настроении ума, много опередили меня в этом направлении. Конечно, если только все ваше поведение сейчас не мистификация, если вы не морочите меня.

— Нет, я вас не морочу. Да я и не требую, чтобы вы мне верили на слово. Проверьте своим опытом, посмотрите своими глазами, осязайте своими руками — тогда и поверите!..

— Ну, это мудрено, — сердито усмехнулся я, — ехать в Тибет мне далеко не по средствам.

— Да и не надо. Зачем в Тибет? После теории позвольте немного истории. Вы можете наблюдать тайну Огненного Цвета, не выходя из Здановского парка.

— Как? Вы бредите, доктор!

— Ничуть. Слушайте меня внимательно. Ваш прадед Иван Никитич Ладьин был человек весьма крутой воли и весьма

пылкого воображения. Он был пожалован Здановским маёнтком, когда память Зоси Здановки была еще совершенно свежа в околотке. Заинтересованный рассказами о ее красоте и несчастной судьбе, о таинственном остатке жизни, который сохранила ее статуя, прежде чем уничтожили ее графы Гичовские, он влюбился в память Зоси со всею пылкостью, свойственной этому фантастическому суровому мистику... Влюбился, как Фауст в Елену. Он был человеком больших познаний и редкой магнетической силы. Властью науки, переданной ему азиатскими мудрецами, он вызвал к жизни внешнюю форму покойной Зоси, дал ей способность являться людям, но — лишь на короткие мгновения, как видите ее теперь и вы. Он не был в состоянии ни сделать ее призрак постоянным явлением, ни одухотворить его: для этого ему нужен был Огненный Цвет. Он отправился в Тибет. Опоздав к цветению Огненного Цвета на месте, он выкопал несколько кустов драгоценного папоротника и с величайшими предосторожностями перевез их в Россию, надеясь, через семилетний срок, овладеть цветом без новых трудов и испытаний.

Странная улыбка заиграла на губах Паклевецкого.

— Всю жизнь холил он это драгоценное растение. Он имел счастье дважды, в семилетние сроки, наблюдать цветение папоротника, но не сумел воспользоваться его чудесными свойствами и умер, не дождавшись третьего расцвета. По смерти его Зданов запустел, оранжерея разрушилась, а Огненный Цвет, по невежеству садовников, был выброшен в парк, как простой и никуда не годный папоротник. Но так как Огненный Цвет — неумирающее растение жизни, то он не пропал и... в полночь с 23 на 24 июня, как это было рассчитано вашим прадедом и недавно вам открыто ксендзом Августом, Огненный Цвет загорится в вашем Здановском саду.

— Не может быть.

— Если вы захотите видеть, если вы послушаетесь Зоси Здановки, то сами убедитесь, что может. Qui ne risque, ne gagne rien *, авось вам повезет больше, чем Ивану Ладьину. Подумайте: одно движение, одна минута могут сделать вас самым богатым, самым могучим человеком на земном шаре! Ни один мудрец, ни один властитель в мире не в силах дать людям крошечную долю счастья, которое вы получите: способность раздавать щедрою рукою восторги неисчерпаемых богатств и неумирающего бытия!

— Почему же прадед-то не воспользовался Огненным Цветом?

— Потому что между ним и цветком становились могучие силы, столько же дорожащие Огненным Цветом и столько же ищущие обладания им, как и человек...

— Господин доктор, вы, кажется, серьезно желаете заставить меня поверить в существование чертей и кикимор?

Дикая насмешка исказила черты Паклевецкого.

— Граф, за чем пойдешь, то и найдешь.

— То есть?

— Кто однажды увяз в тайные науки, тот — с какой бы стороны ни вошел в них — должен кончить верою в нечистую силу и непременно придет к ней.

— Я вожусь с оккультизмом двенадцать лет и ни разу по пути моих исследований не встретился с надобностью в вашей нечистой силе.

Паклевецкий состроил шутовскую гримасу.

— Да, но зато, быть может, нечистая-то сила за этот срок получила в вас большую надобность. Черт не самолюбив. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Вы не пришли к нечистой силе, так она пришла к вам.

— Что вы хотите сказать этим?

---

* Кто не рискует, тот ничего не добивается *(фр.)*.

— Как что? Вспомните Лалу и смерть Дебрянского. Посмеете ли вы сейчас приписывать это мщение великих темных сил естественным причинам? После того как вы сам свидетель и очевидец, что существует власть, поднимающая мертвых из земли?.. Если вы верите в кроткую Зосю, то должны верить и в грозную Анну. Мечтаете о страдающем ангеле — признавайте и вампира.

Я молчал, подавленный. Он, торжествующий, продолжал:

— Силы эти встретят и вас, когда вы пойдете искать Огненный Цвет, и предупреждаю вас: без моего участия с вами случится то же самое, что с вашим прадедом: вы утонете в океане диких, чудовищных галлюцинаций, физический страх подавит вашу волю, и вы, ошеломленный, испуганный, бросите цветок на жертву силам, которые станут оспаривать его у вас.

— Вы требуете доли в моем будущем открытии?

— Да, но доли скромной: удовлетворения моего научного любопытства — и только. Видите, я имел бы право быть более требовательным, но не могу. Если я не покажу вам, где растет Огненный Цвет, вам все равно покажут его другие силы. Таким образом, я, как первый заговоривший с вами откровенно об Огненном Цвете, просил бы у вас лишь двух милостей: одна — чтобы в поисках Огненного Цвета вы доверились одному мне и никому, никому другому... другая — чтобы вы позволили мне первому и — немедленно после того, как Огненный Цвет очутится в ваших руках, — произвести с ним несколько опытов...

— Почему вы лично не ищете Огненного Цвета? — спросил я по некотором размышлении. — Почему вы, зная, где это сокровище, и имея возможность овладеть им нераздельно, уступаете его мне? Признаюсь, ваше великодушие для меня малопонятно... Я бы не поделился...

Паклевецкий нахмурился.

— И я бы не поделился, если бы был в силах взять его один. Потому что я больше вас знаю, что не имею ни той

духовной силы, ни той воли, какие требуются для этого дела. Вы прославленный храбрец, натура властная, выработанная многими поколениями повелителей. Ваша нервная сила выросла, ваши магнетические флюиды развиваются на почве вековой наследственности. Вы, сами того не подозревая, природный маг-аристократ, а я — жалкая обывательщина, мещанский оккультист-любитель, да, откровенно вам признаюсь, и трусоват. Словом, я себя проверил — и подвиг мне не по силам. Вам, и только вам, можно докончить дело, начатое вашим прадедом... Согласны вы принять меня участником?

— Извольте...

— Честное слово?

— Хорошо, пожалуй, хоть и честное слово. К научным исследованиям я не ревнив, а если вы, повторяю, не мистифицируете меня, и действительно Огненный Цвет обладает такими удивительными золотоискательскими качествами, то и к богатству ревновать нечего: достанет на обоих!

— Клянусь вам: со времен царя Хирама человек не имел в руках своих столько богатств, сколько получите вы!

* * *

Когда Паклевецкий оставил меня, я зарылся в свои книги и восстановил в памяти все, что когда-либо читал или слышал о Жар-Цвете. Все те же угрозы, что по латыни твердит мне «Natura Nutrix» и внушал сейчас Паклевецкий:

— Нечистая сила всячески мешает человеку достать чудесный цветок; около папоротника в ночь, когда он должен цвести, лежат змеи и разные чудовища и жадно сторожат минуту его расцвета. На смельчака, который решается овладеть этим цветком, нечистая сила наводит непробудный сон или силится оковать его страхом; едва сорвет он цветок, как вдруг земля заколеблется под его ногами, раздадутся удары грома, заблистает молния, завоют ветры, послышатся неистовые крики, стрельба, дьявольский хохот и звуки хлыстов, кото-

рыми нечистые хлопают по земле; человека обдаст адским пламенем и удушливым серным запахом; перед ним явятся звероподобные чудища с высунутыми огненными языками, острые концы которых пронизывают до самого сердца. Пока не добудешь цвета папоротника — Боже избави выступить из круговой черты или оглядываться по сторонам: как повернешь голову — так она и останется навеки, а выступишь из круга — черти разорвут на части. Сорвавши цветок, надо сжать его в руке крепко-накрепко и бежать домой без оглядки; если оглянешься — весь труд пропал: цветок исчезнет.

Ну, если не больше того — не весьма же изобретательна в страхах и ужасах нечистая сила!.. Среди дикарей я живал и в кунсткамерах бывал. Землетрясения испытывал, на Этне в момент извержения был, на бизонов охотился, на мустангах среди воющих индейцев скакал. Страшными рожами и кошачьей музыкой меня не напугаешь. Выдержу.

23 июня

Сегодня ночью я буду обладать великою тайною жизни... если только тайна эта существует, если только мы оба — и я, и Паклевецкий — не сумасшедшие, странно пораженные одновременно одним и тем же бредом. Или — еще вероятнее — если он не шарлатан, не дурачит меня, как средневековый мистагог простака-неофита. Но я не позволю издеваться над собою. Если я замечу хоть тень мистификации, я его убью... Я сказал ему это. Он только рассмеялся. Значит, не боится, уверен в правде своего знания. Не о двух же он головах, чтобы шутить со мною! Кто и каков я, ему слишком хорошо известно.

Меня смущает одно. Вот уже три дня, как мы условились с ним о поисках Огненного Цвета, и с тех пор я, кроме Якуба и Паклевецкого, не вижу никого — ни живых, ни мертвых. Он точно ограду вокруг меня поставил. Я окружен его атмосферою, как недавно был окружен атмосферою Зоси.

Я чувствую, что я весь под его влиянием; что я уже никогда не остаюсь один; что он всегда следит за мною издалека — через расстояние, сквозь двери запертые, сквозь каменные стены, постоянно стережет меня напряженною и властною мыслью, точно боится, что я обману его, убегу, струшу, поссорюсь с ним... Это первое внушение, с которым я не в силах бороться.

Я потерял власть над духом Зоси. Я звал ее вчера, и она не пришла. Только где-то далеко-далеко раздался не то вздох, не то звон лопнувшей гитарной струны... скорбный... тяжелый... Она здесь, но не смеет показаться, точно запуганная. Отчего?.. Я чувствую в ней резкую антипатию к Паклевецкому, это он причиною, что она удаляется от меня. Откуда эта антипатия? Ведь без него я не знал бы, как помочь ей. Почему же она так печальна теперь, когда ее освобождение близко и непременно? Почему она так страшно переменилась в лице и исчезла, как дым, когда Паклевецкий застал ее в моем кабинете? Он принес мне секрет, как превратить ее из блуждающего призрака в материальное существо... Он — ее благодетель, а между тем вместо благодарности сколько ужаса и отвращения высказал ее умирающий взгляд!..

Не напрасно ли я дал ему свое слово? Не скрывается ли за помощью, им предложенной, какой-нибудь коварный умысел? Не может быть! Если бы он затевал что-нибудь против меня, какая выгода показать мне цветок жизни? Паклевецкий бывает у меня каждый день... По его рецептам я тренирую себя к поискам чудесного сериею магических обрядов, постом, заклинаниями. Когда что-нибудь кажется мне чересчур глупым, он неизменно повторяет мне одну и ту же фразу:

— Вспомните Фауста в кухне ведьмы. Что делать! Вы декламируете вздор, но без вздора этого нельзя! Должно быть, стихийные духи любят видеть людей дураками и в глупых положениях.

Вежлив он со мною, как никогда, до изысканности, услужлив до лакейства. А я, как нарочно, «в нервах» и то и дело говорю ему неприятные вещи. Он пропускает их мимо ушей с такою кроткою покорностью, что мне даже совестно становится, но я положительно не в силах владеть собою.

Присутствие этого человека для меня яд. Поскорее развязаться с ним и затем указать ему порог, чтобы не встречаться более никогда в жизни!

24 июня

Еще несколько минут — и я, быть может, буду сумасшедшим... Мозг мой горит, я собираю последнее мужество, последние мысли, последнее присутствие духа, чтобы набросать эти строки... кто найдет, пусть верит или не верит, как хочет... мне все равно!.. Признания ли мистика, признания ли сумасшедшего — для невера немного разницы!

Да! Он существует! Я видел его, этот Огненный Цвет... он был в моей руке… и я не удержал его... не сумел, не смог удержать!

Мы с этим... с тем, кто назывался Паклевецким, чье имя теперь я не в силах произнести без трепета, проникли в парк, к тому самому размытому кургану.

Когда на кусте бурого папоротника, как пламя, сверкнула золотая звездочка Огненного Цвета, я хотел протянуть к ней руку, но все члены моего тела стали как свинцовые, ноги не хотели оторваться от земли, руки повисли, как плети.

— Что же вы? — слышал я гневный шепот над моим ухом. — Рвите же! Рвите, пока не поздно. Ведь он и пяти секунд не цветет: сейчас осыплются листики, вы прозеваете свое счастье!

Я сделал над собою страшное усилие, но таинственные путы продолжали вязать меня по рукам и ногам! Мне чудился чей-то мрачный смех, какие-то безобразные рожи кивали мне

из сумрака. Я не боялся их — я только сознавал, что это они враждебным магнетизмом своих глаз парализуют мою волю и что мне не одолеть их влияния, — оно сильнее человека.

Тогда Паклевецкий, топнув ногою, с яростью пробормотал несколько слов — и рожи исчезли: по ту сторону цветка, озаренная его отблеском, выросла Зося... Ее взгляд, испуганный и ждущий, оживил меня... «Спаси! Дай мне жизнь! Не бойся никого и ничего! Ты господин этой минуты!» — прочел я в ее страдальческой улыбке. Я забыл страшные рожи, забыл Паклевецкого, недавняя свинцовая тяжесть свалилась с моих плеч. Я схватил цветок, земля затряслась под моими ногами, и я почувствовал вдруг, как некая непостижимая, сверхъестественная сила льется в меня, и я расту, расту, и нет уже могучее меня никого на свете!.. Я видел светло, как днем, в глубокую полночь. Земля и все предметы на ней стали прозрачными, как хрусталь. Зося радостно протягивала ко мне руки. Зося звала. Я шагнул к ней... Паклевецкий схватил меня за руку:

— Стойте! — повелительно сказал он. — Прежде всего исполните условие: вы дали слово уступить мне первый опыт над Огненным Цветом.

— Да, ваша правда, — сказал я и готов был уже передать ему цветок, когда взглянул нечаянно на Зосю: мгновение тому назад радостный, взор ее был снова полон ужасом и отчаянием. Казалось, она предостерегала меня. Я пристально посмотрел в глаза Паклевецкого и прочел в них тревожное и злобное ожидание — взгляд хитрого коршуна, готового ринуться на добычу. Он вдруг стал мне ясен…

— Я не дам вам цветка, — сказал я, отступая от него.

— Что это значит? Вы с ума сошли? — глухо отозвался он, следуя за мною.

— Я не дам цветка, пока вы не объясните мне, зачем он вам и кто вы такой, — продолжал я.

Он все бормотал:

— Это бесчестно!.. Разве так держат честное слово? — и тянулся к цветку.

Я спокойно отстранил его левою рукою, а правою высоко поднял цветок над головою, так что пламенный отблеск его упал на злобное лицо доктора.

— Я понял вас, — сказал я. — Я не знаю, кто вы именно, но вы причастны к той злой силе, что оспаривает у человека власть над Огненным Цветом, власть над жизнью и смертью. Вы знали, что меня нельзя запугать никакими страхами, и потому решились вырвать у меня цветок обманом... Вы помогали мне, чтобы предать меня и отнять у меня мою добычу!..

Он с хриплым криком ярости бросился на меня.

— Цветок! цветок! Отдай цветок! — рычал он. — Вот уж сорок девять лет, как я стерегу этот цветок и не уступлю тебе, мальчишке...

— Прочь, гадина!

Он лез на меня со свирепым лицом, в нем не было уже ничего человеческого. Но я не боялся. Я чувствовал себя сильнее этого безобразного существа, охватившего меня своими цепкими лапами... Он уже обессилевал... Я напрягся, чтобы последним усилием свалить его на землю...

И вдруг, в одно мгновение ока, он сделался в моих руках тонким и высоким, как шест. И когда, не встречая сопротивления в моем теле, я споткнулся и, едва удержавшись на ногах, в изумлении неожиданности глянул вверх — вместо знакомого лица моего врага на меня с шипением оскалились три змеиные головы с янтарными глазами...

Я позабыл о цветке, дрожащем в моих пальцах, и думал только о самозащите. Я схватил чудовище за его длинную шею, и в это время золотая звездочка мелькнула перед моими глазами: это упал на землю Огненный Цветок и рассыпался кучею золотых лепестков, вновь поколебав землю точно вулканическим ударом.

И в этот же миг все пропало: и чудовище, и звездочка, и Зося... Парк был темен и пуст... Бурый папоротник уныло качался под ночным ветром... Мне чудились далекие стоны и грубый язвительный хохот... Я понял, что все потеряно: я не выдержал испытания. И вот, возвратясь, я сижу теперь один со своими мыслями и спешу занести их на бумагу, потому что стыд, гнев сводят меня с ума. И, кроме стыда и гнева, еще сомнение: не сном ли сплошным, не рядом ли галлюцинаций была в последние дни моя жизнь. Я написал, что тороплюсь записать прежде, чем сойду с ума... а, может быть, я уже сошел давно? Но так или иначе, было или не было все, что я, казалось мне, пережил, — я переживал это настолько ярко, что яркостью этою заслонилась вся моя прежняя жизнь... И через семь лет... через семь лет... он, таинственный Огненный Цвет, опять засияет в Здановском парке своими радужными красками, подобный падучей звезде, скатившейся в темную ночь... О, если только я не умру, если только безумие не прикует меня к одинокой келье, мы еще поборемся!.. И уже в другой раз я не останусь побежденным!.. Прости, Зося! Прости и жди! — не отчаивайся: будет и на нашей улице праздник!.. И верь мне! он недалек, недалек, недалек...

* * *

Его сиятельству
Викентию Павловичу Гичовскому
В Москву

1893

27 июля З а б о р ь е

Ваше сиятельство! Спешу уведомить вас, что болезнь брата вашего, всеми нами обожаемого графа Валерия, приняла в последнее время вполне благоприятное течение. Воспаление мозговых оболочек, которое разрешилось уже известным вам острым припадком помешательства, прошло

бесследно благодаря могучей натуре его сиятельства графа Валерия и искусству вызванных нами из Киева врачей. В настоящее время граф еще очень слаб, но рассуждает уже совершенно разумно. Болезнь свою он объясняет тем, что — уже заранее предрасположенный к ней нервным переутомлением в результате беспокойной жизни своей, полной бесплодными трудами и приключениями, — поддался опасному обаянию мистических сочинений и некоторых увлеченных ими людей. Как «никто безнаказанно не гуляет под пальмами», так не проходит никому даром странствие в дремучие леса тайных наук, воспрещенных не только божественною волею, но и здравым смыслом человеческим.

Придя к убеждению в болезненности своих недавних мечтаний, граф Валерий на днях просил меня передать нашему уважаемому уездному врачу, пану Коронату Паклевецкому, вам небезызвестному, свое искреннейшее извинение в том, что долгое время был несправедлив к этому почтенному и мудрому человеку и в анормальной подозрительности своей даже почитал его, прости Господи, за диавола, врага душ человеческих, почему и совершил на жизнь его уже известное вам прискорбное покушение в здановском парке в ночь с 23 на 24 июня. К прискорбию моему, волю графа я исполнить не могу, так как на той же самой неделе, как заболел граф Валерий, и едва оправившись от нанесенных ему последним в припадке побоев, Паклевецкий уехал из нашего повета по делам своим в город Астрахань и где сейчас находится — неизвестно. Но слышно, что в наши края он, ко всеобщему большому сожалению, не возвратится, прислал прошение об отставке, и на его место уже назначают к нам другого врача. Смею вас уверить, что пан Паклевецкий не сохранил против графа Валерия никакого зла и даже очень горевал, что дела, отзывающие его, не позволяют ему лично наблюдать за лечением нашего дорогого больного. По его мнению, болезнь графа началась уже очень давно. В последнее же время перед решительным припадком, как по-

лагает пан Паклевецкий, граф Валерий, сохраняя наружность нормального человека, на самом деле был совершенно невменяем, ибо жил и чувствовал себя не в действительном мире, но в искаженном иллюзиями и галлюцинациями, которые создавал обуянный назревающим недугом мозг. Граф видел и слышал уже не то, что проходило пред ним в действительности и что ему говорили, а только что хотел и позволял видеть и слышать больной мозг, совершенно закрывшийся для прямых внешних впечатлений и принимавший их лишь в диких извращениях. Все его видения и звуки рождались в нем самом из воспоминаний и старых впечатлений и приобретали над ним власть и силу страшной повелительности. Так что, в ложных представлениях графа, Паклевецкий стал, с нами будь крестная сила, чертом, а мою племянницу, панну Ольгусю Дубенич, граф начал в один печальный день совершенно серьезно принимать за Зосю Здановку, известную вам, конечно, героиню фамильной легенды вашего, графов Гичовских, дома. Хуже всего, что все мы долго не умели рассмотреть в странностях графа серьезного заболевания, предполагали просто, что он шутит и играет фантастическую роль забавы ради, и потакали ему в его настроениях. Пан Паклевецкий, несмотря на то, что пострадал в схватке с графом, считает очень счастливым случаем, что в момент решительного припадка был с графом именно он, уже более или менее приготовленный к возможности катастрофы предварительным наблюдением, а не какой-либо ничего не ожидавший и не подозревавший человек, хотя бы я, например, который, в ошеломлении пред внезапным безумием графа, не успел бы и защититься. Ведь бешеная вспышка графа началась внезапно и всего лишь с того, что пан Паклевецкий, гуляя с ним ночью в здановском парке, заметил, как он срывает и нюхает белые цветы, и позволил себе предостеречь его:

— А вот этого, граф, кажется, не следовало бы делать. Дайте-ка мне сюда взглянуть, какие у вас цветы. Едва ли это не беладонна, дурман...

Едва доктор произнес эти слова, как граф набросился на него с бешеным криком и стал наносить ему жестокие удары. Он, наверное, задушил бы доктора, если бы Паклевецкий, на мгновение вырвавшись из его рук, не догадался скрыться в темный ров, где и просидел до тех пор, пока безумный, потеряв его, не убежал с плачем и воплями, голося о каких-то змеях, огненном цвете, дьяволах, Зосе Здановке, назад в палац... Несчастный доктор, сильно избитый и ошеломленный падением, пролежал более часа, будучи не в силах выбраться из балки и призывая криком себе на помощь. Лишь с рассветом удалось ему выползти, добраться до палаца и оповестить старого Якуба обо всем, что произошло. Тогда люди бросились в кабинет и нашли графа Валерия на полу, лежащим без чувств рядом с дневником, который вам препровожден ранее. Не могу не прибавить с гордостью о пользе, принесенной графу в болезни его уходом и заботами племянницы моей панны Ольги Дубенич, находившейся неотлучно при одре страданий его сиятельства. Граф просил меня разрешить Ольгусе сопровождать его в качестве сестры милосердия в предстоящем ему путешествии на итальянские купания. Если вы, ваше сиятельство, не усмотрите в этом ничего неугодного или предосудительного, то и я, со своей стороны, почту долгом исполнить желание больного, горячо поддерживаемое и племянницею моею, к графу Валерию искренно привязанною...

За сим, ожидая милостивых распоряжений ваших, поручаю себя благосклонности вашего сиятельства и, любя вас во Христе, пребываю смиренным молитвенником вашим и вашего сиятельства покорнейшим слугою.

Нижайший Август Лапоциньский, викарий здановский и заборский

1895

ОТРАВЛЕННАЯ СОВЕСТЬ

ПАМЯТИ
двух хороших друзей:
Евгения Романовича
РИНКА,
который дал мне сюжет этого романа,
и
Александра Дмитриевича
КУРЕПИНА,
который был его первым редактором,
посвящаю это издание.

Александр Амфитеатров

Fezzano
18/X 1910

I

Людмиле Александровне Верховской исполнилось тридцать шесть лет. Восемнадцать лет как она замужем. Обе ее дочки — Лида и Леля — погодки, учатся в солидной частной гимназии; Леля идет классом ниже старшей сестры. Сын Митя, классик, только что перешел в седьмой класс. Людмила Александровна слывет очень нежною матерью, а в особенности любит сына. Она сознается:

— Пристрастна я к нему, сама знаю... но что же делать? Митя — мой Вениамин.

В московском обществе, не в самом большом, но, что называется, порядочном: среди не вовсе еще оскуделого дворянства Собачьей площадки, Арбатских и Пречистенских переулков, среди гоняющейся за ним и подражающей ему солидной буржуазии, — опять-таки только солидной, старинной, а не с шалыми миллионами, невесть откуда выросшими, чтобы вскоре и невесть куда исчезнуть, — Людмила Александровна пользуется завидным почетом. Ее ставят в образец светской женщины хорошего тона. Злополучнейший из московских мужей, Яков Асафович, или, как любит он, чтобы его звали, Иаков Иосафович Ратисов, — всякий раз, когда переполняется чаша его супружеских горестей, колет своей дражайшей, но легкомысленной половине глаза примером Людмилы Александровны:

— Олимпиада Алексеевна! побойтесь Бога! ведь у нас с вами — не жизнь, а канареечное прыганье какое-то: с веточки на веточку, с жердочки на жердочку — порх, порх!.. Я не

говорю вам: откажитесь от общества, от удовольствий, забудьте свет, превратитесь в матрону, дома сидящую и шерсть прядущую. Сделайте одолжение: вертитесь в вашем обществе, сколько вам угодно, — не препятствовал, не препятствую! и не могу, и не хочу препятствовать!.. Но всему же есть мера: даже птица, наконец, и та свое гнездо помнит. Вам же — дом, дети, я, слуга ваш покорнейший, — все трынтрава. Мы для вас — точно за тридевять земель живем, в Полинезии какой-нибудь. Если у вас не сердце, а камень, если вам не жаль нас, — по крайней мере, посовеститесь людей!

— Каких еще людей? — огрызалась Олимпиада Алексеевна — рыжеволосая, белотелая «король-баба», беспечности и беспутства которой не унимали ни порядочные уже годы, ни видное общественное положение мужа.

— Да хоть падчерицы вашей, Людмилы Александровны Верховской. Уж, кажется, никто не скажет, что не светская женщина. И живет не монахиней: всюду бывает, все видит, со всеми знакома. А при всем том, посмотрите: в доме у нее порядок, в семье — мир, тишина, согласие; муж — не вдовец при живой жене, дети — не сироты от живой матери...

— Нашли кем попрекать! — равнодушно возражала Олимпиада Алексеевна, — Людмилою!.. Вы бы еще статую какую-нибудь мраморную припомнили... Людмил разве много на свете? Она у нас одна в империи. Я и то удивляюсь, что ее еще держат на свободе, а не заперли в музей под стекло, в поучение потомству... Знаете, как Козьма Прутков говорил: «Друг мой, удивляйся, но не подражай!..» Людмила уже и в институте была «парфеткою».

— Но ведь и вы же, сказывают, — сколько это ни невероятно, — в институте были из парфеток? — язвил Ратисов.

— Была, да, слава Богу, вовремя опомнилась. А Милочка — так в парфетках на всю жизнь и застряла...

Между тем Людмила Александровна была замужем за человеком и старше ее на целых двадцать лет, и далеко не

блестящим ни по уму, ни по внешности. Только сердце для Степана Ильича Верховского Господь Бог выковал из червонного золота, да честен он был — «возмутительно», как смеялись над ним товарищи по службе. Он обладал недурным состоянием, но далеко меньшим, чем оставил его жене покойный отец ее — известный «человек сороковых годов», Александр Григорьевич Рахманов, разделивший по завещанию все свое движимое и недвижимое пополам между единственною своею дочерью Людмилою Александровною и второю женою, Олимпиадою Алексеевною, урожденной Станищевою: о ней именно — во втором браке Ратисовой — только что шла речь. Капитал Людмилы Александровны считался неприкосновенным — «детским». Жили Верховские на довольно крупное жалованье Степана Ильича из солидного московского банка, где он искони директорствовал и справил уже двадцатипятилетний юбилей своего директорства.

За Людмилою Александровною, как за молодою женою пожилого мужа, много ухаживали. Однако Степану Ильичу не приходилось ревновать жену: она была верна ему безусловно. Эта женщина имела счастливый талант — как-то незаметно переделывать своих поклонников просто в друзей, полных самой горячей к ней привязанности, но чуждых любовного о ней помышления. Один из поклонников, возвращенных Людмилою Александровною — как сам он острил — «с пути бессмысленных мечтаний на путь общественных добродетелей», двоюродный ее брат, судебный следователь Синёв, спросил ее однажды:

— Скажите, кузина: как это вы — такая молодая, красивая, умная, живая — ухитряетесь оставаться верною человеку, которого не любите?

— Кто же вам сказал, что я не люблю Степана Ильича?

— Логика. Он немолод, некрасив; нельзя сказать, чтобы хватал звезды с неба...

— Лжет ваша логика. Если хотите знать правду, замуж я шла действительно не любя. Но я слишком уважала Степана Ильича, чтобы показать ему свое равнодушие в первые годы нашего брака. А там, за детьми — трое ведь у нас, да двое умерли! — я, право, до того свыклась со своим положением, что теперь даже и представить себе не могу, как бы я жила не в этом доме, не женою Степана Ильича, без Мити, Лиды и Лели...

— Неужели ни один мужчина не интересовал тебя за эти восемнадцать лет? — пытала Людмилу Александровну в интимной беседе Олимпиада Алексеевна Ратисова.

— После замужества? Ни один.

— Гм... Не очень-то я тебе верю. Сама за старым мужем жила: ученая... А Сердецкий, Аркадий Николаевич? Его-то в каком качестве ты при себе консервируешь?

— Как тебе не стыдно, Липа? — вспыхивала Верховская. — Неужели если мужчина и женщина не любовники, то между ними уж и хороших отношений быть не может?

— Да я — ничего... Болтали про вас много в свое время... Ну и предан он тебе, как пудель... Весь век прожил при семье вашей сбоку припекою, остался старым холостяком: Тургенев этакий при Полине Виардо... Собою почти красавец, а без романа живет... даже любовницы у него нет постоянной... я знаю... Спроста этак не бывает. До пятидесяти годов старым гимназистом вековать этакому человеку — легко ли? И под пару тебе: ты у нас образованная, читалка, а он литератор, философ... целовались бы да спорили о том, что было, когда ничего не было...

— Аркадий Николаевич был мне верным другом и остался. Между нами даже разговора никогда не было — такого, как ты намекаешь, — романического.

— Вам же хуже: чего время теряли? Сердецкий — и умница, и знаменитость... чего тебе еще надо? Ну да ваше дело: кто любит сухую клубнику, кто со сливками, — зависит от вкуса... Итак, ни один?

— Ни один.

Ратисова разводила руками.

— Ну, тебе и книги в руки... А меня, грешную, кажется, только двое и не интересовали: покойный мой супруг — твой родитель...

— Очень приятно слышать дочери!

— Да уж приятно ли, нет ли, а не солгу. «Амикю Плято, сед мажи амикю верита!»

— Господи! Что это? на каком языке?

— По-латыни. Значит: «Платон мне друг, но истина друг еще больше». Петька Синёв обучил. Тебе, что ли, одной образованностью блистать?

— Зачем же ты латинские-то слова по-французски произносишь?

— Словно не все равно? На все языки произношения не напасешься!.. Но с отцом твоим хоть и скучненько жить было, все же на человека походил, уважать его можно было. А уж мой нынешний дурак... отдала бы знакомому черту, да совестно: назад приведет!

— Липа, не болтай же вздора!

— Не могу, это выше сил моих. Как вышла из института, распустила язык, так и до старости дожила, а сдержать его не умею. А впрочем, в самом деле, что это я завела — все о мужьях да о мужьях? Веселенький сюжетец, нечего сказать! Только что для фамилии нужны, и общество требует, а то — самая бесполезная на земле порода. Землю топчут, небо коптят, в винт играют, детей делают... тьфу! Еще и верности требуют, козлы рогатые... Как же! черта с два! Теперь в нашем кругу верных жен-то, пожалуй, на всю Москву ты одна осталась... в качестве запасной праведницы, на случай небесной ревизии, чтобы было кого показать Господу Богу в доказательство, что у нас еще не сплошь Содом. А знаешь, не думала я, что из тебя выйдет недотрога. В девках ты была огонь. Я ждала, что ты будешь — ой-ой-ой!

Три года тому назад, когда исполнилось пятнадцатилетие брака Людмилы Александровны и Степана Ильича, тетка и воспитательница ее, Елена Львовна Алимова, — которой настоянием и сладилось когда-то это супружество, — говорила племяннице:

— Когда ты выходила замуж, я думала, что делаю тебе благодеяние, устроив тебя за Степана Ильича. Но потом... ты — молодая, он — старик... Признаюсь, я много раз упрекала себя, часто думала, что загубила твою жизнь, что не такого бы мужа надо тебе. А с другой стороны, ты всегда такая ровная, спокойная — как будто и довольна своим бытом... Признайся откровенно, по душе: не маска это? Действительно ты счастлива?

Людмила отвечала:

— Я спокойна, тетя.

Тетя подумала и сказала:

— Что же? И то не худо! в наше время это, пожалуй, почти то же, что счастлива. «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Верь Пушкину, Людмила. Умный был поэт.

II

Зимний сезон 188* года был в разгаре. Верховские, пополам с Ратисовыми, имели абонемент в итальянской опере.

Олимпиада Алексеевна Ратисова принадлежала к числу тех страстных театралок, из хаоса которых развились впоследствии мазинистки, фигнеристки, тартаковистки и прочие за- и предкулисные «истки», объединенные ходячим остроумием в общем типе и общей кличке «психопаток». Впрочем, ухаживание ее за артистами было гораздо менее платонического характера, чем влюбленные экстазы большинства ее компаньонок по оперному и драматическому беснованию. Все еще эффектная наружность и задорная бойкость обращения выгодно выделяли Ратисову из этой полоумной толпы, и не один

итальянский тенор, не один трагик уезжал на родину, по уши влюбленный в московскую «Vénus rousse» *, готовый для нее на тысячи глупостей, между тем как сама «Vénus rousse», проводив минутного друга горькими слезами, осушала глаза, едва исчезал из виду уносивший его вагон, и, покорствуя своему необузданному темпераменту, спешила завести новый роман: «Глядя по сезону» — дразнил ее Синёв.

— Вам бы, тетушка, в Риме жить, при Нероне или Коммоде, — трунил он.

— А что? — добродушно недоумевала Олимпиада Алексеевна.

— Да так: натура у вас уж очень римская.

— Ври еще!

— Клянусь вам.

— Не обманешь, брат. Я ведь тоже скиталась за границею по музеям-то — нагляделась на этих римлянок: долгоносые какие-то, Бог с ними... и, небось, черномазые были, как сапог — а?

— Да я, тетушка, не о наружности: помилуйте! «Кто может сравниться с Матильдой моей?!» А настроение у вас подходящее... Там, видите ли, были дамы, которые считали своих мужей по консулам. Новое консульство, — ну и в отставку старого мужа, подавай нового... Хорошие были нравы! правда, тетушка?

— Дурак! — разражалась Олимпиада Алексеевна, и оба хохотали.

— Ведь вы, тетушка, — уверял Синёв в другой раз, — знаете в жизни только три ремесла: любить, мечтать о любви и писать любовные письма.

— Верно, — соглашалась Олимпиада Алексеевна. — Обожаю эту корреспонденцию. Всю жизнь писала и теперь пишу.

— Вот как! Кому же, тетушка?

— Мазини, Хохлову, Тартакову, — всем, кто на горизонте...

---

* «Русская Венера» *(ит.)*.

— Это значит: «Звезда вечерняя моя, тебе привет шлю сердцем я!» Бей сороку и ворону — попадешь на ясного сокола. Логично, тетушка. И получаете ответы?

— Иностранцы отвечают: они, во-первых, вежливы, не чета русским неотёсам, а во-вторых, у них на этот предмет имеются специальные секретари.

— И все poste restante...* под псевдонимами?

— Разумеется.

— То-то, я думаю, вы почтамту надоели!

— Вот еще! а на что же он и учрежден? Пусть работает! небось правительство деньги платит.

Когда «на горизонте» не виднелось никакого театрального светила, Олимпиада Алексеевна обращала свою интересную корреспонденцию и в другие области. Так, она тянула года полтора романическую переписку с одним модным беллетристом.

— Ведь вот, — удивлялась она, доверяя свою тайну Людмиле Александровне, — в институте, помнишь, я училась плохо, слыла тупицею... сколько раз ходила без передника — именно за литературу эту глупую... А тут, знаешь, откуда что берется: просто сама себя не постигаю.

— Специальность особого рода!

— Должно быть. Оно и точно: я замечала, — так, вообще, в делах, в разговоре, я не очень; а когда дело дойдет до любви, становлюсь преумная. Куда же до меня этой Надсоновой... как бишь ее? — графине Лиде, что ли? Мой сочинитель изумляется: откуда, пишет, у вас, баронесса Клара, — я баронессой Кларой подписываюсь, — берется такая тонкость в анализе страстей? Анализ страстей! Недурно сказано? А?

— Чего же лучше? Но как смотрит на твои подвиги муж?

— Очень мне нужно, как он смотрит. Состояние мое и воля моя.

---

* До востребования... *(фр.)*

Зачем Олимпиада Алексеевна, едва отбыв траур по первом старом муже, поторопилась выйти за Ратисова, тоже уже немолодого и скучнейшего в мире холостяка, притом не чувствуя к нему ни любви, ни уважения (да и нельзя было их чувствовать к этой смешной фигуре, самою природою предназначенной к роли Менелая), — она сама недоумевала.

— Бес попутал, — объясняла она. — Кто ж его знал, что он такой? С виду был как будто и порядочный человек, и мужчина, а на деле вышел размазня, тряпка, жеваная бумага, Мижуев противный...

— Я так полагаю, тетушка: вы это из предосторожности, — смеялся Синёв.

— То есть, из какой же, Петя?

— Из предосторожности, чтобы не выйти замуж за когонибудь еще хуже.

— А что ты думаешь? Ведь, пожалуй, правда!

— Разумеется, правда. Темперамент ваш мне хорошо известен. Не будь у вас премудрого Иакова, вы давно бы обвенчались с каким-нибудь синьором Аморозо.

— Меня и то один баритон уговаривал развестись с Иаковом.

— Вот видите. И обобрал бы вас, тетушка, этот баритон до последней копейки, и колотил бы он вас четырнадцать раз в неделю... ух, как эти шарманщики колотить умеют! Кулачищи у них — вот какие! Народ музыкальный: бьют в такт, sforzando * и rinforzando **. А Иаков — человек безобидный. Ему лишь бы винт был, английский клуб, да печатали бы юмористические журналы его стишонки и шарады, — а затем хоть трава не расти. Я думаю, тетушка, он уже позабыл, как дверь открывается на вашу половину...

— А зачем ему шляться, куда его не спрашивают?

---

* Сильно выделяя *(ит.)*.

** Усиливаясь *(ит.)*.

— Да-с тетушка! вы мало цените своего Иакова. В мужья он, конечно, не годится, но презерватив великолепный.

— Что это — презерватив?

— Маленькая штучка в револьвере. Захлопнул ее, — и щелкай курком сколько хочешь: выстрела не будет. Так и вы, тетушка, при Иакове влюбляться в своих шарманщиков и «романсовать», — как выражаются поляки, — можете с ними сколько угодно, но выпалить замужеством — ни-ни! презерватив не позволяет.

Между Людмилою Александровною и Олимпиадою Алексеевною — при всем несходстве их характеров и образа жизни — существовала нежнейшая дружба, еще с институтских времен. Впрочем, в институте обожание Липы Станищевой было чуть не повальною болезнью. Чем тянула она к себе подруг, ни она сама, ни они не понимали; но когда Олимпиада Алексеевна и Людмила Александровна вдвоем вспоминали ученические годы, их разбирал невольный смех: столько глупостей делал класс во имя своего кумира...

— Помнишь, как Нина Чаагадзе вытравила на плече твой вензель?

— А Ольга Худая клялась, что если я не буду ей «отвечать», выпьет целую бутылку уксусу и наживет чахотку...

— А Юленька Крахт вставала по ночам молиться за твои грехи.

— И Леопольдина Васильевна оставила ее за это на целый месяц «без родных».

По окончании курса Липа Станищева, прямо из института, вошла в семью Милочки Рахмановой: сперва полугостьею, полукомпаньонкой богатой подруги, а там — влюбила в себя самого Александра Григорьевича Рахманова, и семья оглянуться не успела, как в среде ее возликовал Исайя и в доме появилась новая хозяйка. Перемена эта ничуть не испортила отношений между молоденькими мачехою и падчерицею: разница в возрасте между ними была всего на три года. Напро-

тив, они даже как будто еще больше сдружились, — к великому неудовольствию старой хозяйки дома, Елены Львовны Алимовой, пожилой, упорно-девственной тетки Людмилы Александровны. Привыкнув со смерти своей сестры, первой жены Рахманова, полновластно править и его имуществом, и воспитанием Милочки, Алимова крайне неохотно уступила Олимпиаде Алексеевне свое место и влияние.

— Чем очаровала Александра Григорьевича эта женщина? — изумлялась Алимова, жалуясь на свою судьбу приятельницам. — Поэт, эстетик, гегелианец, с Грановским был дружен, Фауста переводил, о Винкельмане сочинил что-то, и вдруг — с великой-то эстетики — женился на вульгарнейшей буржуазке... Это после сестры Лидии — после красавицы, которой Глинка посвящал романсы, которой умирающий Гейне целовал руки... И хоть бы эта мещаночка была хороша собою! А то просто roussotte *. В любом уездном городе таких рыжих и толстощеких белянок — по четырнадцати на дюжину. Только они не щеголяют вортовскими платьями и шляпками из Парижа, а ходят в платочках и кацавейках...

Маленькая черная кошка пробежала между приятельницами лишь в год свадьбы Людмилы Александровны. Брак ее с Верховским был неожиданностью для общества. Москва единогласно прочила молодую девушку за некоего Андрея Яковлевича Ревизанова, изящнейшего молодого человека, весьма небогатого, но с вероятною большою карьерою. Ревизанов бывал у Рахмановых чуть не каждый день, показывался с ними в театре и на балах как свой человек... Потом вдруг точно отрезало. Ревизанов уехал из Москвы на Урал управлять делами одной золотопромышленницы, и слух о нем пропал, а Людмила Александровна, даже с какою-то необычайною быстротой, вышла замуж за ближайшего друга своего отца — Степана Ильича Верховского. Молва обвиняла

* Русачка *(искаж. фр.)*.

в разрыве молодых людей Олимпиаду Алексеевну, предполагая, что Ревизанов, имевший в Москве довольно определенную репутацию Дон-Жуана, обращал на свою будущую тещу больше внимания, чем могло понравиться Людмиле Александровне... Так или иначе, но года два молодые дамы оставались в натянутых отношениях. И только когда у Людмилы Александровны родилась дочь Лидия — второй ее ребенок, — Олимпиада Алексеевна внезапно приехала к бывшей подруге за примирением и назвалась в крестные матери. Произошло очень трогательное свидание и объяснение. Обе женщины много плакали, и дружба восстановилась. В обществе замечали только, что роли приятельниц в их дружеском союзе переменились: до ссоры главенствовала Олимпиада Алексеевна, а Людмила Александровна шла за нею «в хвосте»; после же ссоры перевес влияния и авторитета весьма чувствительно оказался за Людмилою Александровною... Олимпиада Алексеевна стала даже как будто побаиваться подруги.

III

В третье представление абонемента Верховских и Ратисовых давали «Риголетто». Пели Зембрих и Мазини. Театр был полон. В антракте Синёв, — он сидел в партере, — зашел в ложу родных.

— Здравствуйте, тетушка, здравствуйте, кузина... Ну-с, что вы мне дадите, если я сейчас покажу вам самого интересного человека в Москве?

— Мы его и без тебя видим, — возразила Олимпиада Алексеевна.

— Кто же это, по-вашему?

— Разумеется, кто: он! божественный! Мазини!.. Как поет-то сегодня? А? Не человек, а музыка! соловей, порхающий с ветки на ветку!

— Поет хорошо, — тем не менее, тетушка, вы ошибаетесь. Если вам будет угодно взять в руки бинокль и посмотреть в первый ряд, — вон туда, глядите: третье кресло от прохода, — вы увидите человека, пред которым ваш Мазини — мальчишка и щенок... не по голосу, но в смысле романической интересности, разумеется.

Дамы вооружились биноклями.

— Блондин?

— Да... длинная борода с проседью... смокинг... Да вы его сразу заметите: он выдается из целого ряда — недюжинная фигура!..

— Гм... действительно, хорош... и — знаешь, Милочка, — лицо как будто знакомое... не припомню, где я его видала?

Людмила Александровна не ответила. Стянутая черною перчаткою рука ее с биноклем, крепко прижатым к глазам, заслоняла ее лицо: иначе Синёв и Ратисова заметили бы, что Верховская сильно побледнела.

— Матушки! — вскрикнула Олимпиада Алексеевна так, что на нее оглянулись из соседней ложи. — Милочка... да ведь это он! неужели ты не узнаешь? это он!

— Кто? — глухо отозвалась Людмила Александровна, продолжая смотреть в бинокль.

— Ревизанов — вот кто!

— Совершенно верно, тетушка: он самый, — подтвердил удивленный Синёв, — но откуда вы его знаете?

Олимпиада Алексеевна расхохоталась:

— Вот вопрос! кому же и знать Ревизанова, как не нам с Людмилою? Правда, Милочка?

Она хитро прищурилась.

— Он старый наш знакомый, Петр Дмитриевич, — тихо сказала Людмила Александровна, опуская бинокль, — мой отец вывел его в люди.

Синёв покачал головою.

— Не думаю, чтобы благодарная Россия поставила вашему батюшке монумент за эту услугу.

— Да, — вмешалась Олимпиада Алексеевна, — и я слыхала что-то... говорят, из него вышел ужасный мерзавец.

— Это — как взглянуть, тетушка. Ежели судить по человечеству, хорошего в господине Ревизанове действительно мало. А если стать на общественную точку зрения, — душа-человек и преполезнейший деятель: такой, скажу вам, культур-трегер, что ой-ой-ой! Мне, когда я был прикомандирован к сенатору Лисицыну в его сибирской ревизии, рассказывали туземцы про подвиги этого барина: просто Фернандо Кортец какой-то. Где ступила нога Ревизанова, — дикарю капут: цивилизация и кабак, кабак и цивилизация... Кто не обрусеет, тот сопьется и вымрет; кто не вымрет, сопьется, но обрусеет...

—Ты с чего же злишься-то? — насмешливо прервала Синёва Олимпиада Алексеевна.

— Бог с вами, тетушка! не злюсь, а славословлю... При том же Ревизанов этот, в некотором роде, Алкивиад новейшей формации: к публичности у него прямо болезненная страсть. Помилуйте! Давно ли он прибыл в Москву? А она уже полна шумом его побед и одолений. Кто скупил чуть ли не все акции Черепановской железной дороги? Ревизанов. Кто съел ученую свинью из цирка? Ревизанов. Кто пожертвовал пятьдесят тысяч рублей на голодающих черногорцев? Ревизанов. Чей рысак взял первый приз на бегах? Ревизанова. Чей миллионный процесс выиграл Плевако? Ревизановский. У кого на содержании наездница Léonie — самая шикарная в Москве кокотка? У Ревизанова. Он теперь всюду. Просто уши болят от вечного склонения со всех сторон: Ревизанов, Ревизанова, Ревизанову... Хорошо еще, что он не имеет множественного числа!.. Да, позвольте! вот вам вещественное доказательство его величия.

Синёв вынул из кармана номер юмористического журнала.

— Видите? — он сам. Большая голова на маленьких ножках, как водится, но, заметьте, лицо вырисовано не по-карикатурному: не дерзнули наши Ювеналы... а лести-то, лести-то в подписи!..

— Чем он, собственно, занимается? — спросила Людмила Александровна.

— Это, кузина, опять — как взглянуть. Для всех он — капиталист, миллионер, стоящий во главе дюжины самых разнообразных предприятий; а для меня, в качестве скромного представителя прокурорского надзора, он пока состоит в звании интересного незнакомца, с которым очень хотелось бы познакомиться.

— А я было думала, — разочарованно сказала Олимпиада Алексеевна, — что ты с ним приятель...

— Нет, до приятельства далеко, а так встречаемся, шутим, раза два-три ужинали вместе... Он даже как будто благоволит ко мне. По крайней мере, всегда любезнее, чем с другими.

— А мне послышалось, будто ты сейчас сказал, что незнаком?

— Вы не поняли, тетушка: знаком, да не так, как мне надо...

— Ну, мне все равно как, — это твое дело. Но — раз знаком хоть как-нибудь — изволь его нам представить.

Людмила Александровна взглянула на Ратисову с изумлением и испугом.

— Что ты? — возразила на этот взгляд Олимпиада Александровна, — да отчего же нет?

Верховская пожала плечами и ничего не сказала.

— Ты — как хочешь, — продолжала Ратисова, — а я непременно возобновлю знакомство. Ишь Петя рассказывает, — какой он стал интересный человек...

— Прямо герой романа, тетушка.

— Во вкусе Зола? Мопассана?

— Нет. Скорее вроде «Графа Монте-Кристо», а пожалуй, и «Рауля Синей Бороды» — только не того, тетушка, которого, к утешению вашему, изображает у Лентовского Саша Давыдов, а гораздо серьезнее...

— Ух, страсти какие!

— Да-с! с ядом, мертвыми телами и прочими судебно-медицинскими атрибутами.

Олимпиада Алексеевна перекрестилась под веером.

— Ты меня не пугай! — серьезно сказала она. — Я твоей судебной медицины недолюбливаю...

— Вы, конечно, шутите? — спросила Верховская.

Синёв пожал плечами.

— И да, и нет. Я хотел бы рассказать вам биографию Ревизанова, но у него нет биографии. Есть легенда. Но московские легенды всегда слишком близко граничат со сплетнею. Факты вот: Ревизанов был дважды женат на богатейших купчихах и, счастливо вдовея, получил в оба раза миллионные наследства. Вторая жена его — золотопромышленница Лабуш — умерла при подозрительных обстоятельствах, так что произведено было следствие. Однако Ревизанов вышел из воды не только сух, но даже с блеском — как бы заново полированный и лакированный... Сейчас он владелец богатейших золотых россыпей в Нерчинском и Алтайском округах. Он строил Северскую дорогу. Он директор-распорядитель, то есть, в сущности, бесконтрольный повелитель Северо-восточного банка. На Волге, Каме, Вятке у него свои пароходства. Вот и все. Затем — истории конец, и начинается легенда, то есть слухи недовольства и сплетни зависти. Прикажете сплетничать?..

— Нет, уж в другой раз, — перебила Ратисова. — Бевиньяни вышел в оркестр... Сейчас поднимут занавес. Не обидься, пожалуйста, но — «La donna e mobile» *, — когда поет Мазини, все-таки интереснее твоих рассказов...

* Женщина непостоянная, изменчивая *(ит.)*.

Синёв откланялся и ушел. Женщины обменялись многозначительным взором.

— Вот — что называется — сюрприз! — сказала Ратисова.

Людмила Александровна молчала.

— Мне не нравится, что ты так взволновалась, — продолжала Олимпиада Алексеевна. — Неужели из тебя еще не выветрилась наша старина? Ведь восемнадцать лет, Людмила! Воды-то, воды что утекло!.. Веришь ли: что касается до меня, — я точно все то время во сне видела. И вот тебе крест: ведь предо мною он больше виноват, чем пред тобою... А между тем смотрю я на него и — ничего: нет во мне ни злобы, ни обиды... Все равно — как будто никогда и не знавала его: чужой человек... А на тебе лица нет. Неужели ты до сих пор помнишь и не простила?

Людмила Александровна сосредоточенно посмотрела в партер.

— Не то! — задумчиво возразила она. — А просто неожиданность. Я никогда не вспоминала этой проклятой старины и думала, что уже и вспоминать ее не придется... И вот, когда я совсем о ней позабыла, она тут как тут, нечаянная, негаданная... ужасно неприятно! Ты знаешь, я немножко верю предчувствиям: встреча эта не к добру.

— Вот глупости! Знаешь, Милочка, — начала Ратисова после продолжительного молчания, — я сегодня в первый раз перестала раскаиваться, что из-за меня когда-то расстроилась твоя свадьба с Ревизановым... Если хоть десятая доля того, что рассказывал Петька, правда, — хорош он гусь, нечего сказать... Да и тогда-то, в нашей-то суматохе, красиво вел себя мальчик, нечего сказать: хоть удавить, и то, пожалуй, не жалко. Хотя ты и злилась на меня в то время, зачем я стала между вами, а по-настоящему-то рассуждая, ты должна меня записать за то в поминание — о здравии рабы Божьей Олимпиады. Не вскружи я тогда Андрею Яковлевичу голову, быть бы тебе за ним.

— Ах, да перестань же, наконец, Липа! — почти прикрикнула Людмила Александровна. — Неужели так весело вспоминать, что когда-то мы были глупы и не имели никакого уважения к самим себе?

— Ну-ну, не злись: я ведь так только, — для разговора...

Но, обводя биноклем публику, сбиравшуюся в партер после антракта, Олимпиада Алексеевна не утерпела и снова направила стекла на Ревизанова.

— А надо отдать ему справедливость, — вздохнула она, — до сих пор молодец... Даже как будто стал красивее, чем в молодости... А манеры-то, манеры!.. Всегда был джентльмен, но теперь — просто принц Уэльский!

В устах Олимпиады Алексеевны это была высшая похвала мужчине. Как-то раз, не то в Биаррице, не то в Монте-Карло, ей удалось быть представленною «первому джентльмену Европы», и принц навсегда покорил ее воображение до обожания — почти суеверного...

Дверь ложи скрипнула; вошли, возвращаясь из «курилки», мужья обеих дам.

— Представь, Милочка, кого я сейчас встретил, — радостно заговорил Степан Ильич, подсаживаясь к жене, — Ревизанова, Андрея Яковлевича... Вот уж сто лет, сто зим!.. Хоть он теперь и туз из тузов — рукою его не достанешь! — а все такой же милый, как был. Очень сожалел, что мы встретились лишь в последнем антракте, и он уже не может зайти к нам в ложу поздороваться с тобою и с вами, Олимпиада Алексеевна... Я зазвал его к нам обедать — в воскресенье... Обещал непременно.

На лицо Людмилы Александровны легла тень сильного неудовольствия.

Олимпиада Алексеевна, комически вздохнув, прошептала:

— Fatalité!*

Запел Мазини.

---

* Судьба! *(фр.)*

IV

Ратисовы довезли Людмилу Александровну из театра домой в своей карете. Степану Ильичу надо было заехать в Купеческий клуб, где его ждал какой-то одесский коммерсант с партией пикета и деловым разговором между партией. Сменив вечерний туалет на блузу, Верховская прошла по дому хозяйским дозором. Дети уже спали. Людмила Александровна заглянула к ним в комнаты и перекрестила их, сонных, в постели. В столовой был накрытый холодный ужин, но Людмила Александровна приказала снимать со стола: она не хотела есть.

Она была очень не в духе. На гладком лбу ее, над тонкими бровями, легли две беспокойные морщины; омраченные глаза смотрели гневно и тревожно. Дом затих. До возвращения Степана Ильича из клуба было еще далеко. Людмила Александровна прошла в свой будуар и, присев к письменному столу, долго рылась в его ящиках, пока не нашла, чего искала: толстую тетрадь в тисненном красном сафьяне. Тетрадь была исписана мелким бисерным почерком. Чернила уже поблекли, бумага тоже пожелтела местами. Людмила Александровна углубилась в рукопись... Вот что она читала.

* * *

«В 186* году мой отец, богатый калужский помещик, Александр Григорьевич Рахманов, вступил во второй брак с моею институтскою подругою, Олимпиадою Алексеевною Станищевой, и, по настоянию молодой жены, переехал на житье из деревни в Москву. То было самое счастливое и веселое время моей жизни; мне только что исполнилось семнадцать лет: два года тому назад я оставила институт, не кончив в нем курса, и теперь была свободна и беззаботна, как птица.

Сначала, в деревне, отец и Елена Львовна Алимова, сестра моей покойной матери, принялись было довершать мое

воспитание; но я была слаба здоровьем и пред тем как оставить институт, перенесла тяжкую нервную болезнь, после которой медленно и трудно поправлялась, так что мои воспитатели остерегались слишком утруждать меня умственною работой. Потом, когда ради моего развлечения, тетя Елена выписала гостить к нам Липу Станищеву, Липа скоро влюбила в себя папа́, и он, занятый сердечными делами, первый стал небрежничать своими наставническими обязанностями. После началась предсвадебная суета; Липа была бедная, и все ее приданое было сделано в нашем доме, на счет папа́. Тетя Елена вела занятия со мною, пока не заметила, что передала мне все, что знала сама. Да и ей стало не до меня. Очень не по сердцу пришелся ей поздний роман моего отца. Аристократка в слове, мысли и деле, строго нравственная, немного даже prude*, искренно и сознательно религиозная, Елена Львовна являлась резкою противоположностью Липе — с ее умом, ленивым и взбалмошным, с ее сердцем, расположенным легко привыкать к людям, но еще легче отвыкать, любя их лишь до первой размолвки; охотно принимающим жертвы, но неспособным на них; на показ — чувствительным, на деле — распущенно-себялюбивым, избалованным, эгоистическим. Липа была образована слабо, по-институтски, да забыла и то, что знала, через месяц после выпуска. В институте она была общею любимицею, слыла примерною скромницею, но едва вырвалась на свободу, как набралась какой-то цыганской удали, обзавелась развязною речью, смелыми взглядами, довольно вульгарными манерами, бывала весьма довольна, если при ней говорили двусмысленности, которых я еще не понимала, а тетя не выносила. В обществе всегда находили меня и красивее, и умнее Липы, да я и моложе ее на три года; однако мужчины интересовались ею гораздо более, чем мною. Между тем со

---

* Недотрога *(фр.)*.

своими золотыми волосами, бело-розовой кожей и пухлым русским лицом, она была разве лишь недурна собою. Правда, она сложена, как статуя, и даже самый уродливый из покроев того времени, — когда во главе моды стояла французская императрица Евгения, покровительница пресловутого кринолина, — не мог скрыть роскошь ее тела. В каждом жесте Липы, всегда ленивом, медлительном, но сильном, было что-то дразнящее, сказывалась тайная чувственность, разлитая в ее молодой крови.

Тетя Елена инстинктивно невзлюбила Липу, когда та, по ее же зову, приехала ко мне в гости, и вступила с нею в упорную борьбу, когда Липа стала членом нашей семьи. И чем дальше шла эта мелочная борьба в косвенных нападках, едва понятных намеках, шпильках, преднамеренных обмолвках и «нечаянностях», тем непримиримее разгоралась вражда обеих женщин. Опираясь на защиту безоглядно влюбленного мужа, Липа, конечно, была сильнее тети, и — странно — гораздо находчивее, искуснее и хитрее ее, — такой умной и развитой, — на то, чтобы сделать своей неприятельнице маленькую гадость, поставить ее в неловкое и смешное положение. Липа выжила бы тетю из дому, но весь порядок нашего житья-бытья, дававший комфорт каждому из членов семьи, был делом рук Елены Львовны: удалить ее — значило бы выдернуть главную пружину из хорошо заведенной и правильно идущей хозяйственной машины; для того же, чтобы заменить тетю, Липа была слишком ленива, а я — чересчур молода, да сверх того, всякое посягательство на права тети являлось в моих глазах чуть не святотатством. Однако должна сознаться: как ни ясно понимала я, что огорчаю тетю, которую всегда любила и уважала, — как друга и наставницу, заменившую мне, ранней сироте, родную мать, — но молодость сильнее тянула меня к Липе; а чем теснее сближалась я с нею, тем дальше становилась от тети.

В Москве мы зажили открыто, на широкую ногу. У нас бывало много молодых людей. В одного из них, Андрея Яков-

левича Ревизанова, я влюбилась, как только может влюбиться семнадцатилетняя девочка, ничего не видавшая, кроме деревни да институтских стен. Ревизанов обладал всеми данными, чтобы нравиться женщинам: был хорош собою, умен и ловок в обращении. Я стала его любовницею. Как это случилось, я и теперь не отдаю себе отчета. Было безумие, туман какой-то... Минута наглости с его стороны, минута страстного забытья с моей, полуобморочные объятия... После этой беды я очутилась совсем во власти Ревизанова; он повелевал мною, как рабынею; собака не может быть преданною своему господину вернее и беззаветнее, чем я была предана ему. Я не размышляла о том, что делаю, да и могла ли размышлять, влюбленная до безумия, занятая мечтами только о нем одном, моем герое, полубоге? — тем более, когда не нынче-завтра Ревизанов должен был сделать мне официальное предложение и стать моим мужем? Я твердо верила в его обещания. Он и в самом деле не думал обмануть меня: брак со мною, — дочерью богатого и уважаемого человека с большими связями, — был для него, в то время почти нищего, золотым кладом. Случай открыл мне глаза и перевернул всю мою судьбу.

У меня была горничная Раиса — замечательно хорошенькая и почти еще девочка. Все мы в доме очень любили ее, — я в особенности. Верила я ей, как самой себе. Раиса не знала, как далеко зашли мои отношения с Ревизановым, но знала, что я люблю его, что он ухаживает за мною и собирается на мне жениться. Случалось, — довольно часто, — что она носила Ревизанову мои письма. С некоторого времени Раиса переменилась ко мне: стала мрачна, избегала смотреть мне в лицо; я часто замечала ее с наплаканными докрасна глазами... И вот однажды она бросилась мне в ноги и со слезами покаялась, что Андрей Яковлевич соблазнил ее, обещая взять к себе в дом, когда женится на барышне, т.е. на мне, и любить больше, чем жену; что все это, говорит она, жалея меня,

потому что «Андрей Яковлевич самый подлый человек на свете, и мне не следует выходить за него замуж: у него только интерес на уме, а чувств ни к кому нету».

— Ты лжешь!

— Вот же ей-Богу, барышня! хоть икону снять! Горькая я, несчастная! — заголосила девушка, но взглянула на меня и умолкла.

Должно быть, я страшно изменилась, потому что на лице Раисы отразился безумный испуг; она быстро поднялась на ноги и попятилась к дверям.

Оставшись одна, я была как в столбняке. «Что же теперь делать?» — безостановочно кружилась мысль в моей голове, но мозг отказывался работать над нею, отвечая бессмысленною фразою: «Какое глупое положение!» Я хотела заплакать — не вышло; хотела засмеяться горьким смехом — горло не издавало звука; а в голове стучало, стучало: «Что же теперь делать? Какое глупое положение!» И больно было мне от монотонного, как чиканье маятника, и ничего не разрешающего стука... Кое-как, наружно, я овладела собою и позвала Раису. Она пришла, заплаканная, трепещущая и хорошенькая больше, чем когда-нибудь. Я видела ее красоту и — странно! — не чувствовала к ней ни малейшей ревности...

— Рассказывай мне все!

Всхлипывая и взвизгивая, она передала мне свою печальную историю. Слушая Раису, я краснела и бледнела — опять-таки не от ревности к своей счастливой сопернице, но от оскорбленной гордости, от стыда за сходство нашего позора: ее история была моею историей — историей слабовольной девчонки, ошалевшей в объятиях опытного, дерзкого, грубого Дон-Жуана.

— Зачем ты призналась мне? — прервала я Раису. — Ведь ты знаешь, какая я доверчивая; не скажи ты сама, — я бы ничего не подозревала... Что тебя толкнуло?

Девушка хмуро смотрела в сторону:

— Да говорю же: жаль вас, барышня, стало...

— Только это?..

Раиса молчала. Потом махнула рукою и сверкнула глазами:

— Да что мне их миловать-то! Извольте, барышня, вот вам вся правда. Со злобы большой призналась. Потому что Андрей Яковлевич не одну вас — и меня тоже провел. Он теперь с молодою барынею связался.

— С какою молодою барынею?

— С нашею, с Олимпиадою Алексеевною.

Свет исчез из моих глаз... Моя мачеха, мой лучший друг, моя Липа!.. А Раиса шептала мне:

— Вот и сейчас она к нему поехала... Сказалась, будто в ряды; а я знаю, какие это ряды! Каждый день так-то видятся где-нибудь да потешаются над нами, дурами...

— Вон! — прохрипела я.

И опять — этот прежний тяжелый столбняк. Потом... я хорошо помню себя лишь с тех пор, как швейцар Василий распахнул предо мною двери подъезда и я очутилась на улице. Воздух освежил меня. Самосознание понемногу возвращалось. Как видно, женский инстинкт красоты работает, если даже все чувства поражены. В зеркальных окнах магазинов я видела себя, одетую тщательно, как всегда. Прохожие провожали меня, как хорошенькую нарядную барышню, обычными взглядами одобрения, не замечая во мне, по-видимому, никакой странности. Я улыбалась глазами, хотя чувствовала в горле приступы истерического удушья. Только мыслей по-прежнему не было в тяжелой, как свинцом налитой, голове, и явственно звенело в ушах моих нахальное щебетанье: «Какое глупое положение... какое глупое положение!»

— Апельсины хороши! — крикнул возле меня разносчик.

Этот крик был первым внешним звуком, проникшим в летаргию моей мысли. До того я только видела улицу, но не слыхала ее. Я вздрогнула и остановилась.

— Купили бы, барышня!

Не знаю, как в руках моих очутился сверток с пятью апельсинами. Я очистила один, не снимая перчаток, и на ходу начала жевать его, пластинку за пластинкой. Какая-то элегантная дама с удивлением оглядела меня; ее презрительная улыбка напомнила мне, что кто-нибудь из нашего общества может встретить меня с этими неприличными апельсинами, и мне стало стыдно и досадно. Я бросила их на мостовую.

— Извозчик! — на Третью Мещанскую! — приказывал чей-то бас.

«Третья Мещанская! это где-то далеко!» — подумала я и тут вспомнила, что иду очень давно и должна была пройти большое расстояние. Я огляделась: мое бессознательное странствие завело меня с Пречистенки к Триумфальным воротам. Куда же теперь? И — я не успела еще ответить себе, — как уже опять шла скорыми шагами, считая зачем-то плиты тротуара. Так я пришла к Ревизанову. Он жил на Бронной, занимая две небольшие комнаты в тихих студенческих нумерах. Дверь оказалась незапертою. Я вошла, встреченная криком испуга. Женщина в белой юбке, без корсета, спрыгнула с колен Ревизанова и повернулась ко мне спиною. Золотые волосы волною рассыпались до поясницы. Раиса не солгала: я узнала Липу! Ревизанов встал с места, бледный до синевы. Он ломал руки; я слышала, как хрустели его пальцы. Мы все трое молчали. Мне стало как-то легко, словно пусто, в груди. Точно позор Липы снял с меня тягость моего собственного позора. Мне даже любопытно было слышать, что скажет Ревизанов, как выпутается он из безобразного положения. Но этот самоуверенный, ловкий человек потерялся до жалости и то бледнел, то краснел пятнами да хрустел пальцами. Тогда дикий смех начал подниматься и клокотать в моей груди. Я засмеялась тихо, но явственно... потом мне захотелось плакать, и я вышла из номера.

Мне было очень дурно, но я уже совсем овладела собою и, чувствуя приближение истерики, понимала необходимость скрыть ее от своих домашних. Я взяла извозчика и приказала везти себя в Петровскую академию. Я сдерживалась, как могла, а все-таки возница не раз оглядывался на меня с большим беспокойством, когда нервный смех или рыдание, вопреки моим усилиям, вырывались из крепко стиснутых губ. В академии я прошла в глухую, безлюдную часть парка, что за прудом, и легла там на землю, в густой купе бузины и сирени. День был чудесный — тихий и ясный; парк благоухал цветами, звенел птичьими песнями, а я плакала, плакала, плакала, уткнув лицо в молодую траву и царапая ногтями ладони в сжатых кулаках.

Я вернулась домой с тем спокойствием отчаяния, которое овладевает людьми после непоправимых потерь, когда уже истощены все громкие порывы горя. Дома я казалась спокойною, как всегда, а у меня была смерть в сердце. Мне было жаль не любви Ревизанова: я изнемогала от острой, почти физической боли презрения к нему и сознания, что я поругала сама себя, бросила свое сердце в помойную яму!

Липа уже несколько раз спрашивала обо мне и, едва я, после обеда, вошла в свою комнату, — явилась для объяснений. Она успела возвратить себе обычную самоуверенность и напала на меня с упреками: она никак не ожидала, чтобы я была настолько низка — подсматривать за нею; мне, конечно, досадно предпочтение, оказанное ей Андреем Яковлевичем, но ревновать до решимости шпионить за молодым человеком, даже на его собственной квартире, гадко и безнравственно; без сомнения, я постараюсь отомстить, все расскажу папе; но это ничего не значит: Александр Григорьевич слишком ее любит, не поверит ни одному слову, и мне же достанется; к тому же у меня нет никаких доказательств. Я догадалась, что, опасаясь взбалмошного нрава Липы, Ревизанов не открыл ей ни раньше, ни теперь настоящей близости наших отношений, и по-

думала: «Хоть за это спасибо!» Я ничего не отвечала Липе. Она, поняв мое молчание в том смысле, будто уговорила меня и склонила на свою сторону, бросилась целовать меня и осыпать ласками. Мне были неприятны ее нежности, но я сознавала себя преступною больше Липы и не смела брезгать ею.

— Ревизанов делал тебе предложение? — шептала Липа.

— Делал.

— Что же, ты выйдешь за него?

Глупость ее вопроса болезненно отдалась в моем обиженном сердце. Я не могла удержаться от резкой фразы:

— Нет, Липа! зачем? Предоставляю тебе делить твоего любовника с Раисою.

Липа широко открыла глаза.

— Что такое? при чем тут Раиса?

Я передала Липе, как Раиса, признанием в своем несчастье, побудила меня идти к Ревизанову за отчетом в его отношениях ко мне. Жестокое побуждение — заставить и Липу перечувствовать все, что я выжила в этот тяжелый день, — вызвало на мои уста короткий и тем более резкий и беспощадный рассказ. Она привыкла верить мне и теперь ни на минуту не усомнилась в справедливости моих слов; колыхаясь от рыданий, она шептала:

— Ах, подлец! подлец! С горничной!

При виде слез мое озлобление стихло. Я напоила Липу водою, и мало-помалу она утешилась и даже принялась обдумывать планы, как бы отмстить Ревизанову. Все, что она говорила, было нелепо, но, занятая своими скорбными мыслями, я не возражала.

— А я-то, дура, любила его! — словно сквозь сон слышала я. — Помнишь, Милочка, ты спрашивала меня: отчего я не ношу своих бриллиантов? — я еще покраснела тогда... Ревизанову в то время надо было заказывать платье, а денег у него не случилось... Он спросил у меня. Я взяла и заложила свои бриллианты, а Александру Григорьевичу ска-

зала, что отдала переделать оправу. Я Ревизанова и после много раз выручала.

Только этого не доставало в моем позоре? Быть любовницей негодяя, бравшего от другой женщины деньги, и считать его героем чести, идеалом мужской доблести... И этот человек был царем моего воображения, и этот человек полновластно распоряжался моим телом!

Липа собралась уходить от меня, но на пороге остановилась и, с некоторым колебанием, видимо смутившись, произнесла:

— Милочка! я хочу предложить тебе один вопрос... глупый, лишний, конечно, а все-таки... Я знаю: ты такая нравственная, чистая, но... ты вот была сегодня у Ревизанова... Раньше — извини пожалуйста! — ты не бывала у него?

У меня потемнело в глазах, но хватило силы не выдать себя и выдержать пытливый взор Липы...

— Нет!

Липа оставила меня, совсем успокоенная и даже веселая.

V

Вечером у нас были гости; я сказалась нездоровою и не вышла к ним. Поздно, часов в одиннадцать ночи, в мою комнату вошла тетя Елена Львовна.

— Можно посидеть у тебя немного? Корицкие уже уехали, Александр Григорьевич заперся в кабинете, пишет что-то, Липа легла спать, а мне не спится. Да и тебе, кажется, тоже? Я не помешаю тебе? Кстати, мне надо спросить тебя кое о чем...

Она присела на кровать, у моих ног.

— Скажи, пожалуйста: какие секреты завелись у тебя с Раисой? Я знаю, — ты никогда прежде не допускала интимностей со своими фрейлинами, а тут вдруг запираешься с горничной на ключ, шепчешься, после разговора — ходишь сама

не своя, пропадаешь на полдня, неизвестно где, сказываешься больною!..

Я много любила тетю, и она меня много любила; обе мы сознавали теплоту этой любви и дорожили взаимным чувством. Что тетя осудит и будет презирать меня, мне было страшнее, чем если бы все близкие прокляли меня и навсегда отреклись от моего общества. Но еще страшнее было остаться вдвоем со своею уродливою тайною — в самоистязующем одиночестве, полном гневной обиды, оскорбительных воспоминаний, презрения к себе, ненависти ко всем им — отравителям моей молодой души... И я выдала себя тете. Пока я говорила, тетя стала совсем белая, а глаза ее, полные внезапно налетевшего ужаса, словно потеряли свой цвет и безумно смотрели на меня расширенными зрачками. Я кончила. Елена Львовна осторожными шагами подошла к двери, выглянула в коридор, послушала в темноте: мы были совсем одни. Тетя заперла дверь на ключ, задернула тяжелую портьеру и, прислонившись спиною к стене, простерла ко мне дрожащие руки. Не стон, не плач, не крик вырвался тогда из ее груди — то был странный вздох, всхлипывание бесслезного рыдания. Мне стало страшно. Я вскочила с кровати.

— Тетя! золотая моя, милая!

Я упала возле нее на колени и в порыве жалости и любви целовала ее руки и платье. Тетя почувствовала меня близ себя, склонилась ко мне и схватила мою голову в тесное объятие. Слезы ее полились горячим дождем на мою голову. Наконец она сделала попытку успокоиться, выпустила меня из своих рук, налила себе из графина воды, но расплескала половину стакана, прежде чем донесла до рта; она пила, а зубы ее стучали о стекло.

— Боже мой, Боже мой! — шептала она, и вдруг, заметив, что я, босая и полуобнаженная, стою на холодном паркете, приказала голосом, уже старавшимся принять обычную строгую интонацию:

— Ты простудишься. Поди — ляг.

Машинально, по привычке слушаться, я повиновалась ей. Тетя быстрыми шагами ходила по комнате.

— Погибла, поругана! — слышала я ее отрывистые фразы. — Ох, я слепая, старая девка! Куда же я-то, я смотрела?! Я одна виновата! Что мог понимать этот бедный ребенок в своем падении? Я одна преступна, с моим эгоизмом, с моим равнодушием. Девочка моя, жизнь моя! простишь ли ты меня? Я должна была уберечь тебя, а не уберегла! Я отстранилась от тебя, потому что ты стала другом той... гадине! Мне казалось, ты любишь ее больше, чем меня... А ее я ненавидела всей душою, ненавидела с той самой минуты, как решен был ее проклятый брак... Она сделалась госпожою в семье; я заключилась в своем углу. Меня забыли, меня не хотели знать. А я чувствовала, что она фальшивая. Больно было мне уступать ей. И я оскорбилась, сама не захотела никого знать, ушла в самое себя. И вот плоды! О Господи! За что же послал Ты на меня ослепление? За что покарал Ты меня не на мне самой, а в этой несчастной... неразумной... Ах, голубка моя, голубка!

Елена Львовна села у кровати. Мы долго молчали.

— Что же теперь делать? — произнесла она.

— Папе ни слова... ради Бога! мне страшно... стыдно!..

— Да, да! конечно! Зачем говорить ему? Только одним несчастным будет больше!.. Скрыть надо, от всех скрыть!.. Но как же? Что же делать?

И мы опять умолкли в мрачном недоумении. «Умереть хорошо бы!» — прошла мысль в моей голове, и тетя едва ли не подумала того же: взгляд ее был угрюм и решителен. Но вот она встрепенулась, словно стряхнула с себя бремя назойливой думы, и прошептала быстро и отрывисто:

— Нет... нет... ни за что!

— Тетя! — воскликнула я, схватив ее руки, — тетя! помогите мне!.. Советуйте, приказывайте! распоряжайтесь

мною, как вещью, только помогите, осветите мою душу! Мрак царит в моем сердце: все, что было там живого, взял и убил злой человек. Ожесточение только осталось. Ведь я вас любила, папу любила, весь мир от звездочки до самой мелкой пылинки любила. А теперь мне стало все равно: и никто мне не дорог, и я сама себе не дорога. И про кого я сейчас думаю, что люблю их, тех люблю не душою, как вчера, как всегда, а словно по обязанности, по привычке. Ушла от меня любовь, и вера ушла с нею... Пусто, холодно, темно вокруг меня! Дайте мне света, тетя!

— Света!.. Дитя! где же взять мне этого света? Много во мне любви к тебе, девочка; чуть не задушила она меня, когда поднялась навстречу твоему горю. Но, бедная, любовь моя сумет только горевать с тобою; утешать она — боюсь — не может... Свет! Люди говорили в старину, будто свет — в покаянии, в искуплении вины.

— Как же, чем я искуплю ее? Я на все готова.

— Не знаю как, Милочка... Нет на это правил. Разным людям — разное и покаяние. Жди! — авось жизнь подскажет.

— А если нет, тетя?

— Тогда молись, Людмила, чтобы Бог дал тебе дождаться хоть забвения.

— Забвения не будет, тетя!

— Оно должно быть и будет. Жизнь все сглаживает. Теперь ты рада пойти босиком в Иерусалим, лишь бы заглушить свои нравственные страдания; через десять лет грех будет казаться тебе тяжелым сном. Ты выйдешь замуж...

— Я?! Никогда, тетя!

— Как же ты собираешься жить?

— Я не знаю, тетя. Но вы прожили же без замужества.

— Ах, Людмила! Нашла пример!

— Вы дали воспитание мне, я тоже посвящу себя детям... да, детям Липы! Она не занимается своим мальчиком, да и никогда не будет заниматься. Где ей!

— Молчи, дорогая! ты не знаешь, что говоришь! — остановила меня тетя.

Она опять была в крайнем волнении, и я не могла понять, чем дала ей повод к новому взрыву отчаяния.

— Идти по моим следам! — посвятить себя воспитанию детей той женщины, которая отняла у тебя любимого человека! Остаться старою девою! Дитя мое, да понимаешь ли ты, что это за страшное слово: «старая дева»?!

— Я слов не боюсь, тетя.

— Нет, милая! надо бояться... Верь моему свидетельству — признанию старой девы, проклинающей свою участь! Страшное, тяжелое слово!

— Как, тетя? Вы? вы клянете свою судьбу? Вы — всегда такая спокойная, холодная, рассудительная, не знающая ни страстей, ни...

— Все знаю я, Людмила, все! И слушай: в моей молодости был день, когда я колебалась, что мне делать — убить себя или осудить на вечное девство. Я выбрала второе... и худо выбрала!

— Но, тетя... вам много раз делали предложения; вы сами не хотели...

— Да, потому что не могла, не считала себя вправе, не считала себя свободною.

— Вы любили?

— Да, я любила твоего отца.

VI

Елене Львовне было шестнадцать лет, когда старшая сестра ее Лидия, яркая звезда петербургского большого света сороковых годов, вышла замуж за Александра Григорьевича Рахманова, молодого неслужащего дворянина с опасною репутацией «заграничного умника» и «красного». Так как мой

отец пользовался своей репутацией не совсем незаслуженно, то вскоре после свадьбы ему пришлось надолго поселиться в деревне на положении, близком к ссылке. Из уездной глуши стали доходить к родным слухи о неладном житье молодых супругов. Моя мать, гордая, страстная женщина, кляла в своих письмах судьбу, связавшую ее неосмотрительным браком с неподходящим человеком. Она не уставала взводить на мужа разнообразные обвинения, и вот среди родни и друзей дома Алимовых начало слагаться представление об Александре Рахманове, как о чудовище вроде Рауля Синей Бороды: он терзает жену непомерной ревностью, держит ее взаперти, препятствует ей в самых невинных развлечениях и т.д. Поэтому, когда года через три Елена Львовна ехала гостить к сестре, она смотрела на свое путешествие, как на подвиг, мечтала облегчить своим приездом участь Лидии, доставить ей, в своем лице, подругу и наперсницу тяжелого семейного горя.

Но вместо деспота-мужа Елена Львовна, к крайнему своему удивлению, нашла в моем отце добродушного, кроткого, немного вялого человека, вполне покорного жене, глубоко несчастного в браке и все-таки не возроптавшего на свое несчастье. Вместо угнетенной жены — нашла капризную самовластную женщину, в которой трудно было узнать прежнюю живую, эксцентричную, вспыльчивую, но ласковую Лидию Алимову. В доме и именье шла полная неурядица. «Не раздражать барыню!» было единственным твердым правилом в быту Рахмановых, и барыню точно не раздражали, угождая ей с рабской покорностью во всех ее выдумках и затеях. А выдумки часто выходили за пределы всякого разума и приличия. Рахмановская усадьба была каким-то постоялым двором для губернской молодежи: гости не переводились в доме — дневали и ночевали, ели, пили, вели игру, ухаживали за красавицей-хозяйкой, которой, по-видимому, очень нравилось это бесшабашное житье. Странность се-

мейного склада Рахмановых заставила Елену Львовну объясниться с зятем начистоту. Она была возмущена и сильно горячилась:

— Как вам не стыдно?! Как вы допускаете и терпите такую сумятицу в своему быту? Что это? равнодушие? — так нет же! Вы любите Лидию: по вашему лицу видно, как вы страдаете...

— Допускаю и терплю, потому что прекратить не в моей, да и не в ее воле! — возразил мой отец.

— Как?! Я вас не понимаю... Подумайте: чем же кончится все это?

— А вот чем: пройдет припадок разгула, и Лидия сама положит конец этому безобразию, впадет в покаянный стих, станет молиться по целым дням, плакать, истязать себя веригами... Какой припадок хуже — этот или покаянный — уж и не знаю! Судите сами.

— Боже мой! Значит, Лидия...

— Душевнобольная! К сожалению, это несомненно, Елена Львовна, — сознался отец и заплакал.

Елену Львовну как громом ударило. Она не могла не поверить: душевнобольные встречались почти в каждом поколении рода Алимовых, а Лидия была не без странностей уже в детстве. Александр Григорьевич рассказал, как мог, историю недуга жены, созревшего в невольном провинциальном уединении. Однообразие жизни возбудило в молодой женщине жажду новых ощущений, заставило броситься очертя голову в омут первых представившихся незатейливых развлечений; почти невольно она изменила мужу, раскаявшись, сама рассказала ему свой грех и молила о прощении, а прощенная, стала презирать мужа за великодушие, показавшееся ей либо отсутствием любви, либо неприличною для мужчины слабостью. Презирая мужа, ненавидя себя, она искала забвения то в разгульных пирушках, то в преувеличенно-усердной молитве и чуть не аскетических подвигах. Сперва папа жесто-

ко негодовал на жену, позорившую его имя, но мало-помалу убедился в полной непроизвольности ее поступков, примирился с роковым ударом, начал ее лечить... повез за границу, развлекал... О широкой жизни их в Париже ходили громкие легенды. В свои светлые промежутки мама блистала остроумием, образованием; о ней говорили, как о выдающейся звездочке среди парижских ésprits forts *; тогда-то и целовал ей руки Гейне, и — проездом — написал романс Глинка... Но светлые промежутки видели только посторонние, а весь ужас припадков неизлечимой болезни падал свинцовою тяжестью на моего отца. Он нес эту тяжесть втихомолку, один-одинешенек — и впервые не вытерпел, поделился ею с Еленою Львовною... И вот, вместе с ужасом пред его горьким признанием, в душе Елены Львовны зародилась первая искра любви к моему отцу. Ей стало жаль нежного, честного сердца, истерзанного поруганною любовью, своим позором, горькою смесью презрения и сострадания к виновнице своего несчастья, все еще страстно любимой, вопреки всему, и — главное — состоянием полной безвыходности положения.

Когда скончался мой дед, Лев Андреевич Алимов, папа назначен был опекуном Елены Львовны, и с тех пор она не расставалась с нашим домом. Мама немногим пережила дедушку. Отец, убитый потерею жены, словно обезумел и, равнодушный ко всему на свете, не жил, а вяло влачил едва сознательное существование.

Уходу и заботам Елены Львовны папа был обязан своим возрождением. Тетя полюбила моего отца, неся целебную помощь его больному сердцу; он полюбил ее, принимая ее сострадание. «Она его за муки полюбила, а он ее — за состраданье к ним». Они объяснились... Вдовец от одной сестры, папа не имел права жениться на другой. Тогда-то тетя Елена разбила свою жизнь коротким приговором: «Покорим-

* Ярких умов *(фр.)*.

ся необходимости. Нельзя идти против Бога». Напрасно папа доказывал, что закон можно обойти. Елена Львовна стояла на своем.

— Что мне в том, если вы сделаете наш брак законным в глазах людей, когда он останется не признанным церковью и нами самими?

— Но ведь церковь даст нам свое благословение. Я найду священника...

— Да я-то не приму благословения от священника, который способен обманывать свою церковь, подделывать ее обряды... Не возражайте, Александр Григорьевич, вы не поймете меня: вам все равно, верите ли вы в Бога и церковь, а для нас, Алимовых, наша вера — наша совесть. Раскаемся, Александр Григорьевич, и — прочь от греха! Я не могу быть вашею женою... а ничем другим не хочу быть: гордость не позволяет... Простите меня!

Папа отвечал упреками:

— Вы не любите меня и никогда не любили. Вы просто развлекались от скуки платоническим романом. Вы обманули меня!

Елена Львовна смертельно побледнела, но — слишком гордая для оправданий — повторила:

— Я виновата, Александр Григорьевич. Простите меня!

А в ночь после этого разговора над прудом нашего деревенского сада долго стояла темная женская фигура. И люди, и природа давно спали крепким сном, убаюканные теплою лаской светлой весенней ночи, а женщина, одинокая, неподвижная и безмолвная, все стояла, сурово глядя в темное ложе пруда, слушала порывистый стук сердца в своей груди и думала, что это сердце разбито, и ей надо умереть. Но младенческий образ девочки-сиротки пролетел пред ее глазами и остановил ее в роковом шаге... тетя Елена посвятила свою жизнь мне. Никогда после не напоминала она Александру Григорьевичу о былой заглушенной страсти. Что каса-

ется самого отца, все его попытки вернуться к вопросу неудавшейся любви разбивались о холодное молчание Елены Львовны. Года через два папа уже не делал и попыток: он привык видеть в Елене Львовне только добрую родственницу и, махнув рукою на недавнее прошлое, был уверен, разумеется, что и тетя поступила так же.

VII

— Да, — говорила тетя Елена, — волнение улеглось, страдание притупилось; любовь не забылась, но перелилась в дружбу... нет, дружба — это мало... во что-то теплее, участливее. Ах, не легко далось мне это, но все-таки далось!.. Моя привязанность к тебе все росла и помогала мне в моем грустном пути. Пытка старого девства началась уже много позже.

Александр Григорьевич — увлекающийся человек. Он любил меня; потом, не встречая явного сочувствия, стал холоднее. Случалось ему на моих глазах влюбляться в других женщин. Сперва он конфузился этих неожиданных «измен» мне — своей «вечной любви», как неосторожно поклялся он когда-то и сам было поверил невозможной клятве. Он совестился меня, страдал, скрывался, обманывал... но ты знаешь своего отца: он не в состоянии провести и ребенка, — где же ему обмануть любящую женщину? Потом, — уверясь, что я если не знаю его «измен» в точности, то, однако, догадываюсь о них и все-таки не возмущаюсь, и он сделался откровеннее... Суди сама, легко ли было мне оставаться спокойною свидетельницею целого ряда мелких увлечений любимого человека. Ах, эти идеалисты! С ними женщине горе — не лучше, чем с развратниками. У них — вот какие большие глаза на нас. Всякая смазливая рожица, которая им улыбается, — уже Психея; каждая не совсем глупая, не вовсе злая девчонка — уже небесная душа... Ну, да что распростра-

няться! Дело говорит лучше слов: уж если Александр Григорьевич умудрился идеализировать даже Липу, — Филину из «Вильгельма Мейстера» она ему напоминала, видишь ли... радость, нечего сказать! — ты понимаешь, сколько подобных идеализаций пришлось мне перестрадать, прежде чем Бог наказал нас этим проклятым браком... Но я не считала себя вправе возражать и вмешиваться в ход жизни Александра Григорьевича. Что же? Раз я отказалась от его любви, — он человек свободный, обязанностей ко мне у него нет. Я только отвела свое сердце от него, — такого, каков он есть, — и стала любить его вдвое больше таким, каким раньше создало его мое воображение, каким — по моему идеалу — следовало ему быть. А я тем сильнее любила свой идеал, чем больше исполнялась, про себя, ревнивою обидою к его носителю... обидою, может быть, недостойною и неправою: грешно требовать, чтобы человек, во имя одной неудавшейся любви, отказался воскресить свое сердце другою! Только *эту* — Липу — я была не в силах извинить ему, потому что она — животное, и кто любит ее, сам обращается в животное. Видеть же, как любимый человек оскотинивается и как торжествующая самка попирает его ногами... не дай Бог никому — самой худшей женщине, даже Липе этой, не пожелаю я такого горя, Мила!

Итак, я стала одинокою. Никому не было дела до меня, ни мне ни до кого. Я заключилась в своем больном чувстве... да в тебе, чужая дочка, дитя мое милое! Не будь тебя, не по силам было бы мне помириться с отказом от брака. Я рождена быть матерью и воспитательницей! Да и есть ли женщина — нормальная телом и духом, женщина, — которая искренно чувствовала бы себя рожденною для других задач и целей? Это — главное в женщине, это — вечное; все остальное — постороннее, временное, преходящее, как век мира сего. Бог создал нас, чтобы мы обновляли земные поколения. Женщина может забывать о том, отстранять от

себя и брак, и материнство, может заглушать, маскировать и заслонять от себя истинное свое назначение другими человеческими целями; но уйти от него не может и никогда не уйдет: некуда. Ты изумилась, выслушав проклятие девству от меня, гордой, целомудренной Елены Алимовой... О, Боже мой! Когда бы ты знала эту, ужасную в своей бесцельной неправоте, борьбу духа с телом. Могла ли бы ты верить, что под моей маской бесстрастия поднимались порывы такой дикой чувственности, что временами мне казалось — лишь самоубийством я могу спасти себя от падения, позорного, унизительного падения без любви... падения ради падения? Поверишь ли ты в бессонные ночи, полные жгучей тоски полупонятных желаний, в страстные сны, откликавшиеся своими призраками на все — и духовное, и плотское, — что книги и воображение подсказывали мне в слове «любовь»? Оценишь ли ты горе видеть бесплодно отцветающим свое тело? Сказать ли тебе, что бывали дни, когда я ненавидела память покойной Лиды, от зависти, зачем ты — ее, а не моя родная дочь? А годы, когда я решилась сознаться, что напрасно исказнила себя? когда, в досадах на обидную действительность, стал меркнуть мой идеал? когда я со стыдом убедилась, что если Александр Григорьевич равнодушен ко мне, то время сделало свое дело и надо мною, и моя любовь из упорства неудовлетворенной страсти обратилась в упорство самолюбия, оскорбленного ранним охлаждением взаимного чувства в любимом человеке?.. Холодность — там, самолюбие — здесь... казалось бы, все кончено. Но нет: а обида-то? Во имя чего же я принесла свою бесплодную жертву, если она, еще недавно принимаемая мною за подвиг, теперь, простою силою давности, обратилась в жестокую бессмыслицу в моем же собственном мнении? Трудно, Милочка, обвинять себя в своем же несчастье, да еще несчастье целой жизни. Кажется, вот и сердце, и ум согласились уже: «Ты сама отказалась от счастья и добровольно обрекла себя за-

чем-то на пытку. Себя и вини! Никто другой не становился тебе поперек пути, напротив, были добрые люди, еще указывали тебе дорогу к счастью!» А червь себялюбивый все-таки копошится в глубине души, и так и хочется подыскать источник своего зла во внешнем мире, оправдать себя насчет других... Тебя не поняли, тебя обидели; мир зол, глуп, отвратителен... Начинаешь понимать удовольствие сорвать зло, втягиваешься в эту жестокую самозабаву; временами является даже жажда быть оскорбленною, чтобы иметь право злиться: ведь если без повода-то бывает, потом так совестно пред самою собою! Сколько друзей я представляла врагами себе, сколько дружб растеряла, сколько врагов нажила. Ты знаешь, я не глупа. Но я мало занималась своим «я»: в юности нас учили — Бог знает, к добру или к худу! — больше интересоваться своими отношениями к людям нашего общества, чем рыться в своей душе. Но горе углубляет человека в себя, и в моей девической трагикомедии не укрылась от моего разбора ни одна черта. Сколько дурного, темного — такого, за что мне делалось стыдно в следующее же мгновение, — передумала и перечувствовала я в эти годы! Сколько я завидовала, ненавидела, презирала, сколько терзалась и злобилась! Я достаточно честна, чтобы стыдиться таких движений больного духа, и достаточно сильна, чтобы скрывать их. Выдержка-то есть: на то я и Алимова. Мы, Алимовы, люди долга, а не прихотей. Все считали и считают меня живым опровержением на ходячее представление о старой деве. Ложь! Когда бы люди знали, каким египетским трудом выработана моя маска доброты, спокойствия! Я добра, потому что должна и могу заставить себя быть доброю, а не потому, что я хочу.

Теперь мне лучше. Сорок лет — бабий век. Женщина во мне умирает... тело вянет... дух стал свободнее, мысль чище... Но до этого!.. Боже мой!..

Ах, Людмила, не ругайся над плотью! Она покоряется, но и в порабощении жестоко мстит за себя. Если ты любишь

себя, если ты хочешь испытать в жизни хоть несколько мгновений чего-то похожего на счастье, — будь женою и матерью! Выходи замуж. Ты заранее преступница пред своим будущим мужем, кто бы он ни был. Он уже обманут тобою, и ты заранее осуждена тянуть этот старый обман всю жизнь, до могилы. Стыдно это, подло, ужасно... тяжело и мучительно дастся оно тебе! Дурно, позорно с моей стороны убеждать тебя к этому, — да что мне теперь до позора! Мой позор со мною и останется; мой позор — мое и покаяние. Я так люблю тебя, я должна спасти тебя — спасти именно от того, чтобы ты не прошла сквозь унылые мытарства моей «завидной» жизни... Мне жаль, мне жаль тебя!.. Выходи замуж. Обманывай и страдай от обмана, но — лучше десять обидных тайн, десять обманов на совести, чем тоска и каторга старого девства!»

* * *

Дочитав рукопись до конца, Людмила Александровна откинулась в глубь кресла и, прижавшись затылком к холодной кожаной спинке, глубоко задумалась. В ровном матовом свете лампы, неподвижная, с бледным лицом и широко открытыми черными глазами, она казалась скорее картиною какого-нибудь меланхолического мечтателя-художника, чем живым человеком... Часы пробили два... Людмила Александровна встрепенулась, вздохнула, провела рукою по лбу и, придвинув к себе рукопись, взялась за перо... На последнем оставшемся чистым в тетради листке она написала следующее:

«Пятнадцать лет тому назад, я, уже замужняя женщина, в минуту очень тяжелого настроения, полная угрызений совести пред мужем, неповинно мною обманутым, спросила моего друга, литератора Сердецкого:

— Аркадий Николаевич! что делать человеку, если у него на душе есть тайна, которую нельзя сказать людям, а между тем она душит его, сводит с ума, отравляет ему каждую мысль, каждый кусок хлеба?..

— Парикмахер доблестного царя Мидаса, — шутливо отвечал Сердецкий, — в таком казусном положении доверил свой секрет ямке, вырытой в болоте. Но на болоте вырос тростник, и шепот его рассказал всему миру, что у царя Мидаса — ослиные уши. Тайна, — если есть потребность ее рассказать, — уже не тайна, Людмила Александровна.

— Но что сделали бы вы на месте такого человека?

— Вероятно, заперся бы в своем кабинете, взял лист бумаги, написал на нем все, что меня давит, и потом запер бы написанное в самый потайной ящик своего письменного стола... Бумага менее разговорчива, чем тростник в царстве Мидаса... Недаром же про нее говорят, будто она все терпит. А поделиться своею бедою, хоть с бумагою, — конечно, большое облегчение. «В минуты жизни трудные» я перечитывал бы свою рукопись, вносил бы в нее новые подробности, поправки, и, вероятно, в конце концов из нее вышла бы весьма недурная вещичка во вкусе входящих теперь в моду психологических этюдов.

Я приняла совет Сердецкого и написала тогда эту рукопись. Пятнадцать лет пролежала она в бюро, и ни разу не потянуло меня пересмотреть ее, ничто не вызывало меня снова пережить и перечувствовать ее содержание. Прочитала сейчас и вижу, что мне нечего добавить к своему рассказу, а что было после, — уже не тайна, и укладывается в два слова. Тетя Елена настояла, чтобы я вышла замуж за Степана Ильича Верховского. Он сумел сделать наше супружество счастливым и обратить в привязанность мое уважение к нему... Я употребила все усилия воли, чтобы быть достойною женою своего мужа — и, кажется, успела в этом. За восемнадцать лет брака мы не имели ни крупных ссор, ни обидных недоразумений и сомнений друг в друге. Дети наши — прекрасные дети. Тайна моего девичьего стыда умерла в этом браке. Тетя и Ревизанов были единственными свидетелями, которые знали все. Липа и Раиса могли лишь догадываться,

но не смели обвинять с уверенностью. К тому же Липа — из тех, которые любят сами грешить, так и в других грех за беду не считают. Она — пустельга, но не доносчица. Да по ветрености своей она уже и забыла все: подробности нашего столкновения бесследно выдохлись из ее памяти; я не раз убеждалась в этом. Раисы вскоре не стало в нашем доме: ее кто-то сманил... В семидесятых годах Аркадий Николаевич Сердецкий, возвратясь из Петербурга, со смехом рассказывал мне, что признал Раису в одной известной опереточной звезде... Выйдя в люди, не особенно охотно вспоминают о времени, когда были горничными, и не затевают историй, связанных с такими воспоминаниями. Итак — остаются только тетя и Ревизанов. Но не тете было предавать меня. А Ревизанов надолго исчез из Москвы, и лишь сегодня я опять видела его. К большой моей досаде, Степан Ильич пригласил его к нам обедать. Придется любезно встречаться с человеком, к которому — и хотела бы, а не могу относиться равнодушно; не простила ему ничего, презираю и ненавижу, как восемнадцать лет тому назад. Мне не хотелось бы, чтобы он заметил это: слишком много чести! — а скрыть будет трудно. Сегодня в театре, увидав этого негодяя, я взволновалась, как не волновалась с тех проклятых дней. Надеюсь, что это было последнее мое волнение по этому поводу и что больше мне не придется ни перечитывать моей старой тетради, ни вносить в нее новых строк».

VIII

Воскресные обеды «своих» у Верховских были старым обычаем их дома. Собирались: Ратисовы, Синёв и Елена Львовна Алимова, если бывала в Москве; из посторонних приглашалось не более двух-трех человек. Обедали в маленькой столовой, с обычным сервизом, без церемоний, по-

родственному. Поэтому приехавший первым в воскресенье Синёв даже руками развел: настолько праздничным блеском отличались приготовления к обеду...

— Сестричка! — завопил он, — превращаюсь в статую восторга и изумления! Серебра-то, хрусталя-то... Господи Боже мой! «Богат и славен Кочубей, его луга необозримы!»

— Ради Бога, не так шумно, Петр Дмитриевич, — с досадой отозвалась Верховская.

У нее с утра болела голова и, не вмешиваясь в приготовления к обеду, она весь день пролежала на кушетке у себя в будуаре...

— Позвольте! Но чьи же сегодня именины?! Ваши? Лели? Лиды? Надо же мне знать, для кого посылать за конфетами.

— Пошлите для Ревизанова: он сегодня у нас обедает, и ради него Степан Ильич, как видите, поднял весь дом на ноги.

Лицо Синёва омрачилось. Он смирно сел на стул возле Верховской.

— Людмила Александровна, — сказал он с укором в глазах, — зачем вы принимаете такую дрянь?

Верховская пожала плечами.

— Желание Степана Ильича! Вы знаете: у него благоговение к старинным знакомствам — недуг какой-то... Не видался с человеком двадцать лет, встретился, — вот, на радостях, и фестиваль... Я очень спорила, но Степан Ильич даже немножко рассердился. Не ссориться же мне с мужем из-за г. Ревизанова! Верьте, голубчик: появление этого человека в нашем доме, мне неприятнее, чем кому-либо...

Она помолчала.

— Да еще, как нарочно, нездоровится. В висках кузница, а изволь его занимать...

— Вот еще! очень надо! — сердито воскликнул Синёв, — охота церемониться! Подкиньте его неувядаемой Олимпиаде, вот и вся недолга. И она будет счастлива, и ему не будет скучно: он ведь ферлакур известный... Что вы морщитесь?

— Боже мой! говорю же вам: мигрень... Помнится, вы в театре собирались рассказать мне что-то о Ревизанове?..

— Виноват, кузина: не рассказать, а посплетничать. Рассказывать можно лишь то, в чем уверен. А — будь я хоть капельку уверен хоть в одном эпизоде из московской Ревизаниады — хо-хо! не обедать бы ему у вас, а сидеть бы, другу милому, в Бутырской академии, на цепуре... Ведь я уже говорил вам, что в ревизановской легенде вы найдете все, что угодно: и убийство, и шантаж, и грабеж, и подделку документов.

— Славный гость для порядочного дома! — заметила Верховская с жестом отвращения.

— Э! кузина! — утешил ее на этот раз Синёв, — таких ли господ приходится знать и подавать им руку... Общество неразборчиво... О Ревизанове мы, по крайней мере, ничего верного не знаем. А вон я ездил с сенатором Лисицыным в Сибирь на ревизию, — так прямо диву давался: наши господа червонные валеты, сосланные за растраты, кражи, мошенничества, всюду — первые гости, если, конечно, они сберегли что-либо из украденного. А раз мы так добры, что не отказываем в любезном приеме даже шельмованным молодцам, какое нам дело до прошлого человека с какою угодно легендою? Особенно, когда человек этот очаровательный мужчина и — главное — первоклассный капиталист? Кто старое помянет, тому глаз вон.

— Не философствуйте, а рассказывайте легенду.

— Э! однако я вас заинтересовал. Вот уверяют, например, будто обе жены Ревизанова — и мануфактурщица Ахова, и золотопромышленница Лабуш — умерли не своей смертью; будто приисковый врач Штерн, который пользовал Лабуш пред ее кончиной и которого молва считает тоже не без греха в этом деле, вскоре был уволен Ревизановым за какие-то дерзкие намеки, поехал в Екатеринбург и, не доехав, пропал по дороге без вести, в тайге... Ну и еще десятки тому подобных сказок.

— Скажите откровенно: вы лично им верите хоть сколько-нибудь?

— Нет! — с некоторым колебанием ответил Синёв. — Нет! Что-нибудь есть за ним темное и скверное, — только не такое, а в другом роде. Видите ли: во-первых, подозрительные обстоятельства, при которых умерла вторая жена Ревизанова, вызвали, — как я уже говорил вам, — тайное дознание. Производил его человек в высшей степени добросовестный и самым тщательным образом. Однако он не открыл ни тени не то что преступления, но даже некорректных каких-либо поступков со стороны Ревизанова. Наоборот, сам Ревизанов скорее был в этом браке страдательным лицом, угнетенным несчастным мужем, потому что золотопромышленница его, как выражался Козьма Прутков, — «следуя обычаям своей страны», — пила мертвую чашу, допивалась до белой горячки и скандалила на весь Урал, пока благополучно не умерла от цирроза печени. Говорили, правда, что пить она стала с выучки и благословения возлюбленного супруга, но таких преступлений российские законы не предвидели и наказания за них не предусмотрели. Да и правда ли? Мало ли с чего вдруг возьмет да и сопьется русская купчиха: чему другому, а пьянству учить ихнюю сестру нечего, — горазда и без наставников. Во-вторых, трудно допустить в интеллигентном человеке возможность такого последовательно отрицательного характера. Цезари Борджиа исчезли во мраке веков. Нынче систематическими преступлениями занимаются только дегенераты, дикари цивилизации. И, наконец, в-третьих, преступление — дело копотливое; своими отголосками оно отнимает у человека много времени, а Ревизанову, — этому вечно, как в котле, кипящему дельцу, — навязывают на шею такую пропасть вопиющей об отмщении уголовщины, что трех жизней мало, чтобы успевать играть в прятки с законом при столь стеснительной обстановке. Все обвинения на него, разумеется, раздуты, искажены, переверну-

ты с лица на изнанку. Тут и зависть, и довольно общая страстишка позлословить насчет выдающегося человека, и выдумки ненависти: у Ревизанова масса врагов — и за дело, и просто по антипатии... Ведь он очарователен только когда хочет, а вообще, пренадменная скотина... Но — с другой стороны — повторяю, и дыма без огня не бывает: какая-нибудь искорка правды сверкает и в этих рассказах; да вот — поди! поймай эту искорку!..

Он задумался.

— Что Ревизанов — человек огромной силы воли и не трус, — начал он снова, — я лично могу вам засвидетельствовать. Я — совсем юным кандидатом на судебные должности — был причислен к суду в Северске, как раз когда бунтовали рабочие на железной дороге, тогда еще только начатой. Я сам видел, как Ревизанов, один, без оружия, вошел в самую средину толпы, озлобленной справедливым негодованием — кормили их убийственно! — и водкою. Рабочие только что зашвыряли камнями станового и изувечили двух урядников. В воздухе висели крики: «Подавай нам самого Ревизанова! Что на него смотреть? Бей его, ребята!» Он осмотрелся, выглядел крикуна погорластее, собственноручно взял его за шиворот и приказал связать.

— И связали?

— Да. Уж очень хорошо приказал. У меня вчуже пошли по спине мурашки. Прикажи он мне так внушительно связать даже отца родного, — кажется, и я бы тоже оробел и машинально повиновался. А *сознательно* действовать на толпу — это, я вам скажу, не шутка. Тут много надо и характера, и презрения к человеку — уменья смотреть на него, как на скот, обязанный беспрекословно повиноваться. Люди, снабженные таким даром и умением, далеко не часто встречаются и обыкновенно сортируются по двум категориям: либо это великие народные вожди и деятели, либо большой руки канальи и хладнокровные, сознательные преступники... И так

как Ревизанов не великий человек, да уже и выходит из лет, когда формируются великие люди, то я позволяю себе считать его во втором разряде «героев толпы» — то есть сопричислить его «со тати и разбойники».

Синёв встал и прошелся по комнате: он соображал и припоминал.

— Вообще, бороться и враждовать с Ревизановым я не желал бы... Вы не слыхали про некоего Блюма?

— Нет. Кто это?

— Петербургский банкир, компаньон Ревизанова по постройке Северской дороги. Видите ли: известно, что Ревизанов ведет отчаянную биржевую игру, хотя лично он очень редкий гость на бирже и имеет странность притворяться совсем непричастным к ее жизни; нескольких завзятых биржевиков — к слову сказать, господ с весьма сомнительным прошлым — считают его уполномоченными агентами. Весьма часто, при необъяснимых колебаниях русских частных бумаг, наши — в особенности петербургские — дельцы, опасливо придерживая карманы, восклицают: «Ох, не Ревизановым ли тут пахнет?» и стараются сбыть с рук начавшую подозрительно танцевать бумагу. Но возвратимся к Блюму. Этот господин — зазнавшийся немец из тех, которые, наживаясь русским потом и кровью, памятуют твердо только одно: что русский — «свин», а у них есть «свой король в Германии». Однажды он сказал Ревизанову крупную дерзость. Ревизанов смолчал, но с этого дня на Блюма посыпались непонятные невзгоды: купит он какие-нибудь акции в повышении — глядь, назавтра курс на них падает до minimum'а; продаст что-либо в minimum'е — глядь, курс начинает подниматься; значит, покупай обратно с большим убытком... а завтра опять скачок вниз! Скоро прошли слухи, что Блюму приходится плохо, и он ненадежен. Вкладчики его конторы единодушно потребовали свои деньги, и Блюм позорно крахнул. На бирже все соглашались, что Блюма убрал Ревизанов. Если

это правда, то, ради мести, он позволил себе большую роскошь: биржевые скачки, погубившие Блюма, балансировали, по меньшсй мере, на полумиллионе... Да и всем, кто ссорится с Ревизановым, начинает как-то не везти: одни разоряются, другие теряют службу, третьи, наконец, пропадают без вести, даже умирают.

— Что вы говорите?

— Да, право, так. По смерти Лабуш, ее единственный родственник, известный сибирский делец Тотьмин, вздумал было оспаривать завещание, оставленное покойною в пользу мужа, и... в одночасье умер от удара.

— Что же? в этой истории нет ничего неестественного.

— А я разве утверждаю противное? Я только привожу пример, что ревизановским врагам бабушка не ворожит.

Приехала Олимпиада Алексеевна с мужем, разодетая, как на раут, и — точно лейденская банка — заряженная кокетством.

— Фу ты, ну ты! — встретил ее Синёв, — не женщина, а Святослав в юбке! «Иду на вы» — и шабаш! Держись теперь, Андрей Ревизанов!

— А тебе завидно?

— Куда уж мне завидовать! Где нам, дуракам, чай пить? Наше место — на заднем столе, с музыкантами.

Ратисова осмотрела туалет Людмилы Александровны.

— Ты не будешь переодеваться к обеду? так, вот в этом и останешься?

— Конечно, — с досадою возразила Верховская. — С какой стати мне рядиться? Не именины же у нас в самом деле, как уже посмеялся Петр Дмитриевич...

— Да нет, кузина, я ведь ничего... — сконфузился молодой человек.

— Пожалуйста, не оправдывайтесь: вы совершенно правы, и весь этот фестиваль по случаю знакомства, — как в афишах пишут — «в первый раз по возобновлении», ужасно глуп...

Ратисова продолжала критиковать ее взглядом.

— Впрочем, — сказала она, — черное удивительно идет к тебе... Испанка какая-то... Ты очень интересна сегодня.

Она расхохоталась и ударила Синёва веером по плечу:

— Ну ты, молокосос! признавайся: восхищен нами?

— Если бы вы еще не дрались!.. — жалобно простонал Синёв, почесывая плечо.

— Есть в вашем тщедушном поколении женщины, как мы? Ну — кто нам даст наши тридцать шесть лет?

Людмила Александровна невольно рассмеялась.

— Липа, побойся Бога! ты воруешь целых три года... Мне-то, действительно, тридцать шесть, а ведь ты старше меня.

— Да? Ну, значит, с нынешнего дня будет тебе тридцать три, потому что я больше тридцати шести иметь не желаю. А, впрочем, не все ли равно? Э! тридцать шесть, тридцать девять — невелика разница. Разве года делают женщину? Лета — c'est moi! * Были бы душа и тело молоды!

— О теле не осведомлен, — уязвил Синёв, — но уж души моложе вашей, кажется, и не бывает.

— Еще бы! Про меня сам Мазини сказал третьего дня, что я jolie personne... ** Кто мне даст больше тридцати? А уж о тебе, Людмила, и речи нет. Помню тебя девочкой: красавица была; помню барышней — тоже хоть куда; вышла замуж, пошли дети — подурнела, стала так себе; а теперь опять — прелесть как расцвела, — давай-ка, душка, справлять вторую молодость?.. а?

Людмила Александровна и Синёв смеялись, но рыжая красавица победительно потрясала кудрявою прическою своею.

— Совсем нечего зубы скалить, — я правду говорю. А если не веришь на слово, что мы еще можем постоять за себя, — вот тебе документ.

---

* Это я! *(фр.)*

** Красавица... *(фр.)*

Она бросила Людмиле Александровне розовую бумажку.

— Что такое?

— Billet doux *. Так это называется. «Обожаемая Олимпиада Алексеевна! Давно скрываемое пламя любви...», и прочая, и прочая. Сегодня получила. И ему всего двадцать два года. Нет, старая гвардия умирает, но не сдается!

Людмила Александровна прочитала, расхохоталась и передала записку Синёву.

— Глупо-то, глупо как!

Олимпиада Алексеевна возразила хладнокровно:

— Это тебе с непривычки. А мне ничего, даже очень аппетитно.

Синёв прочитал и сказал язвительно:

— Слог «Собрания переводных романов». Должно быть, приказчик из Пассажа писал.

Олимпиада Алексеевна, с тем же непобедимым хладнокровием, отразила и этот удар.

— Это уж известно, что когда молодой человек читает письмо другого молодого человека, написанное к красивой женщине, то автор письма непременно оказывается либо приказчиком, либо военным писарем, либо еще того хуже.

— Получили? — улыбнулась Людмила Александровна.

— Тетушка! Вы неподражаемы.

— А ты не кусайся!

Подъехали Реде и Кларский — подчиненные Степана Ильича по банку, молодые люди, почтительные, тихие, незначащие и незаметные — в периоде делания карьеры... Не хватало лишь Ревизанова. Наконец задребезжал в передней и его звонок.

— А вот и сам великий маг Калиостро! — возгласил Синёв.

---

* Любовная записка *(фр.)*.

IX

Сверх общего ожидания, обед прошел живо и весело. Казалось, Ревизанов чувствовал, что в доме есть враждебный ему лагерь, и, употребляя все средства, чтобы добиться от этого лагеря если не мира, то перемирия, был действительно очарователен. Сидеть ему пришлось между хозяином и Олимпиадою Алексеевною. К великому удовольствию Людмилы Александровны, к обеду приехал давно уже не бывший у Верховских Аркадий Николаевич Сердецкий; знаменитый литератор был гостем почетнее Ревизанова, и ему, по праву, досталось место рядом с хозяйкою. В своих серебряных кудрях вокруг далеко еще не старого лица, оживленного блестящими карими глазами, Сердецкий представлял собою фигуру внушительную и картинную.

— Ума не приложу, Аркадий Николаевич, — говорила ему Олимпиада Алексеевна, — как это мы пропустили с вами время влюбиться друг в друга?..

— Это, вероятно, оттого произошло, что я тогда слишком много писал, а вы слишком мало читали, — отшучивался литератор.

— А когда стала читать, то уже оказалась героинею не вашего романа?

— Все мы из героев вышли! — вздыхал Сердецкий.

Обыкновенно очень живой и разговорчивый, сегодня за обедом он приумолк и лишь все поглядывал яркими, внимательными глазами на Ревизанова, которого — между десертом и фруктами — Синёв втянул в довольно обостренный спор. Дело шло о крахе некрупного коммерсанта — клиента банка, где директорствовал Верховский. Банкротство было явно злостное. Банкрот скрылся за границу, и поймать его было мало надежды...

— Да и какая польза ловить? — заметил Ревизанов. — Истратят чуть не столько же, сколько он украл, на поимку. В конце

концов — один результат: обокраденным дан приятный — да еще и приятный ли? — спектакль: «Чужое добро впрок нейдет»... Удивительно целесообразное зрелище: на скамье подсудимых, между двумя жандармами с саблями наголо, сидит нищий, сумевший сделать нищими сотню людей глупее себя... Кому тут польза?

— Что же? значит, так и не ловить господ денежных воров? — задорно отозвался Синёв, — так и оставлять их? Грабьте, мол, милые люди, сколько душеньке угодно: своя рука владыка...

— Нет, отчего не ловить при случае? Ловите, — не без легкой насмешки возразил Ревизанов, — но только, прежде чем ловить вора, надо ловить похищенные им деньги. Потому что — верьте мне — вор сам по себе, без украденной им суммы, решительно никому не нужен — даже тем, кого он обездолил. Деньги — вещь деловая-с, и в денежных вопросах vendetta catalana * — вещь весьма редкая и второстепенная... Сами посудите, какая мне радость, что закон отмстит за меня и ушлет Ивана Ивановича в Сибирь, когда Иван Иванович перед этим до копейки проиграл мой капитал в Монте-Карло? Ну Иван Иванович будет в Сибири, деньги в Монте-Карло, а я — в Москве и без денег, и без Ивана Ивановича, который, хотя и немножко — виноват, mesdames **, — мазурик, но в общем милейший человек... Только и всего!

— Но как же это сделать — ловить украденные деньги? — вмешался Верховский.

— А уж это — вне моей компетенции. Это — по части Петра Дмитриевича. На то он и судебный следователь.

— Вы как будто не очень высокого мнения о нашем институте, Андрей Яковлевич? — спросил Синёв.

* **Месть, расправа** ***(ит.).***

** **Милые дамы** ***(фр.).***

— Сохрани Боже! Напротив, обожаю его... Помилуйте! Да не будь вашего брата на свете, никто бы и ночи одной не уснул спокойно, все бы думалось: нет ни правды, ни управы на зло в свете, — не зевай, значит, человече, а то зарежут. Ну, а когда вы, господа судейские, сошлете сотню-другую Божьего народца в компанию к макаровым телятам, — все поспокойнее. Вот, дескать, одну миллионную долю мирового зла уже искоренили... всего девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять долей осталось... на приплод, вместо искорененной!

Синёв закусил губу.

— Однако у вас статистика!

— Какая есть — практическая.

— Наша, научная, добрее: она не такая страшная.

— Зато и не такая точная: считает только пойманных.

— А не пойманный-то — не вор, говорит пословица, — закатился добродушным смехом Степан Ильич.

Ревизанов улыбнулся.

— Я то же думаю, потому что иначе, если рассуждать по всей строгости законов, — даже мы с вами вряд ли ходили бы на воле.

— Ну-с, это уже парадокс, — возразил Синёв, — и даже нельзя сказать, чтобы особенно новый...

— Вы совершенно правы. Еще Гамлет говорил что-то в этом роде... Вот Аркадий Николаевич должен помнить.

Сердецкий, тихо беседовавший в это время с Людмилою Александровною, поднял на Ревизанова смеющиеся глаза.

— Нет, — сказал он звонким, густым голосом, — Гамлет сказал не то. Гамлет сказал, что «если бы с каждым обращаться по достоинству, то немногие избавились бы от пощечины»... Это совсем другое... А вот покойник Монахов, действительно, певал с эстрады:

Или нет виноватых кругом,
Или все мы кругом виноваты

Ревизанов почуял в невинном тоне литератора скрытую насмешку.

— Это довольно зло, Аркадий Николаевич, — рассмеялся он, — и, сверх того, несправедливо. Нет, все не виноваты. А просто: есть люди, которые бьют и которых бьют, волки и овцы, преступники и жертвы...

— Вы в какой же лагерь себя зачисляете? — спросил Синёв.

Ревизанов посмотрел на него с удивлением: «Вот, мол, бессмысленный вопрос!» — и даже плечами пожал.

— Что за охота быть овцою?

— Любопытный типик! — тихо заметил хозяйке Сердецкий, — из новых... я еще не встречал таких откровенных...

— Он не противен вам? — отрывисто спросила Людмила Александровна.

— Мне? Бог с вами, душа моя! Люди давно перестали быть мне милы, противны, симпатичны, антипатичны... Для меня общество — лаборатория; новый знакомый — объект для наблюдений; новое слово — человеческий документ. И только. Затем — «не ведая ни жалости, ни гнева, спокойно зрю на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно»... Я, дорогая моя Людмила Александровна, в обществе держу себя — как приятель мой, зоолог Свешников, у себя на станции в Неаполе. Притащил ему рыбак какую-то слизь морскую. Меня — passez le mot* — от одного вида ее с души воротит, а Свешников прыгает от радости: всего, видите ли, два раза в XIX столетии ученые наблюдали эту пакость!.. Как-то раз приезжает он ко мне в Москве, а у меня сидит профессор Косозраков, — знаете, дрянь, доносчик, чуть ли не шпионишка. Не помню, по какому случаю он сделал мне визит. Свешников — на дыбы: можно ли знаться с подобными господами? А я ему: а неаполитанскую слизь помнишь?

* Простите за выражение *(фр.)*.

Она, брат, все же трижды в столетие показалась, а такие подлецы, как Косозраков, раз в три столетия родятся. Как же мне упустить случай наблюсти столь редкостный экземпляр?

X

К концу обеда у Людмилы Александровны действительно не на шутку разболелась голова. Воспользовавшись временем, пока мужчины отправились курить в кабинет Степана Ильича, она прилегла у себя в будуаре. Олимпиада Алексеевна повертелась возле нее несколько минут — и не вытерпела, убежала к мужчинам. Ревизанов решительно влюбил ее в себя, как говорится, «на старые дрожжи»... Сердецкий и Синёв — некурящие — пошли по дому отыскивать хозяйку.

— Вы что же это уединились, кузина? да еще в потемках?

— Мне совсем нехорошо... от болтовни и смеха мигрень усилилась... голова — ну просто лопнуть хочет...

— Так мы не будем вам мешать; вы, может быть, уснете?

— Нет, оставайтесь, пожалуйста. Вы забываете, что я хозяйка и не имею права болеть...

— От какого, однако, смеха разболелась у вас голова, Людмила Александровна? — сказал Сердецкий, — я следил за вами: в течение всего обеда вы ни разу не улыбнулись... Я даже сложил это в сердце своем и собирался, по праву старой дружбы, спросить вас после обеда: не случилось ли чего неприятного, что вы так озабочены?

— Решительно ничего, милый Аркадий Николаевич... Мне стало хуже не от своего, а от чужого смеха: его было слишком много.

— Мы тут не при чем, — жалобно возразил Синёв, — благодарите Ревизанова... Сегодня он герой: без умолку ораторствовал и потешал почтеннейшую публику.

— Не за что благодарить: мигрень — не большое удовольствие... Что же, Аркадий Николаевич? какое впечатление произвел на вас в конце концов этот господин?

Литератор развел руками.

— Как вам сказать? Я вспоминаю его в молодости и должен сказать, что, конечно, он выработался в гораздо более интересный тип, чем можно было ожидать... Когда он был вхож в дом вашего покойного отца, признаюсь, я не думал, что из него выйдет что-либо больше смазливого мужа богатой жены или — как впоследствии стали выражаться — альфонсика.

— У господина Ревизанова, — прервал Синёв, — надо полагать, имеется приворотный корень. Мы с вами, Людмила Александровна, одни в отрытой оппозиции. Вы слышали, что сказал Аркадий Николаевич? Как хитрый Талейран, он объявляет себя в нейтралитете. А Степан Ильич, Кларский, Реде, даже этот болван Иаков — прямо влюблены: глядят в глаза, поддакивают, льстят, хохочут на каждое слово... черт знает что такое! Об Олимпиаде Великолепной я уж не говорю: Сия Vénus rousse прямо потопила Ревизанова волнами своей симпатии... Только напрасно! дудки! этот не клюнет, не по носу табак, как говорят мои клиенты...

— Какие клиенты?

Синёв засмеялся.

— У меня клиенты — народ хороший: все эдак лет на двенадцать рудников.

Сердецкий тонко посмотрел на судебного следователя и погрозил ему пальцем.

— Вы смеетесь над другими, а сами, кажется, больше всех заинтересованы своим таинственным незнакомцем, как вы его называете.

Синёв засмеялся.

— Мое дело особое.

— Почему же?

— Потому что есть пословица: сколько вору ни воровать, а острога не миновать. У меня — смейтесь надо мной, если хотите, — но есть предчувствие, что мне еще придется со временем возиться с г. Ревизановым в следственной камере. Знаете, зачем я сейчас ушел из кабинета? Не стерпел: ругаться захотелось. Он там свои убеждения развивал... Ну-ну! Не желал бы я попасть в его лапы!

— Что же? — слабо спросила Людмила Александровна.

— Хорошие убеждения. У него, как у Ивана Карамазова: все позволено. Только Ивану Карамазову «все позволено» жутко довелось: черт пригрезился и капут-кранкен пришел, а г. Ревизанов чувствует себя в своих принципах как рыба в воде. Да что слова? Слова можно взводить и клепать на себя. Вы посмотрите на его физиономию: маска! Нежность, скромность, благообразие — не лицо, а «руководство хорошего тона». Губы с улыбкой, точно у опереточной примадонны, а в глазах — сталь... не зевай, мол, человече, слопаю!

Явилась Олимпиада Алексеевна и увела за собою всех к обществу. В зале были уже раскрыты карточные столы, но мужчины еще не спешили к ним, разгоряченные общим разговором.

— Как угодно, Андрей Яковлевич, — кричал Степан Ильич, — а все это софизмы!

— Как для кого, — возражал Ревизанов.

— Вы меня в свою веру не обратите.

— Я и не пытаюсь. Помилуйте.

— Больше того: я даже позволю себе думать, что это и не ваша вера.

— Напрасно. Почему же? — возражал Ревизанов со снисходительной улыбкой.

— Потому что вера без дел мертва, а у вас слова гораздо хуже ваших дел.

— Спасибо за лестное мнение.

— На словах вы мизантроп и властолюбец.

Ревизанов, в знак согласия, наклонил голову.

— Я, действительно, люблю власть и — в огромном большинстве — не уважаю людей.

— Однако вы постоянно делаете им добро?

— Людям? — как бы с удивлением воскликнул Ревизанов. — Нет!

— Как нет? Вы строите больницы, учреждаете училища, тратите десятки тысяч рублей на разные общеполезные заведения... Если это не добро, то что же по-вашему?

Ревизанов пожал плечами.

— Кто вам сказал, что я делаю все это для людей и что делаю с удовольствием?

— Но...

— Мало ли что приходится делать, чего не хочешь, чтобы получить за это право делать, что хочешь! Жизнь взяток требует. Только и всего. Теория теорией, а практика практикой.

— Вы клевещете на себя, Андрей Яковлевич! — сказал Верховский, дружески хлопая Ревизанова по плечу. — Вы делаете добро инстинктивно. Вы хотите, сами того не сознавая, отслужить свой долг пред обществом, которое вас возвысило...

Ревизанов двинул бровями, как бы смеясь над легковерием собеседника и в то же время жалея его.

— Долг!.. отслужить!..

— Вы смеетесь? — слегка краснея, изумился Верховский.

— О нет. Над чем же тут смеяться? Я только нахожу эти слова неестественными. Зачем человек будет служить обществу, если он в состоянии заставить общество служить на себя? К чему обязываться чувством долга, имея достаточно смелости, чтобы покоряться лишь голосу своей господствующей страсти, и достаточно силы, чтобы исполнять волю этого голоса?

Наступила минута молчания. Степан Ильич бормотал что-то, смущенно разводя руками.

— Сколько вам лет, Андрей Яковлевич? — простите нескромный вопрос! — спросил он наконец.

— Сорок четыре.

— Странно! Мне пятьдесят шесть; разница не так уж велика. Я ближе к вам по годам, чем вон та молодежь... мой Митя, даже Петя Синёв... а — извините меня! — не понимаю вас: мы словно говорим на разных языках.

— Да так оно и есть. Я говорю на языке природы, а вы — на языке культуры. Вы толкуете о господстве долга, а я — о господстве страсти. Вы стоите на исторической, условной точке зрения, а я — на зоологической, абсолютной истине. Вам нравится, чтобы ваша личность исчезала в обществе, чтобы ваша частная воля покорялась воле общественной; я же измышляю всякие средства и напрягаю все свои силы, чтобы, наоборот, поставить свою волю выше общей.

— Вот как! — отозвался Синёв из дальнего угла, откуда он, вместе с Людмилою Александровною и Сердецким, прислушивался к спору.

— Вы что-то сказали?

Ревизанов вежливо обратился в его сторону. Синёв подошел ближе.

— Простите, пожалуйста, но вы мне напомнили... впрочем, неудобно рассказывать: не совсем ловкое сближение...

— Не стесняйтесь! — Ревизанов сделал бровью чуть уловимое движение надменного безразличия, которое взбесило Синёва.

— Я слышал, — очень зло сказал Петр Дмитриевич, — вашу фразу на допросе одного интеллигентного... убийцы. Мы философствовали немножко, и он, между прочим, тоже определял преступление как попытку выделить свою личную волю из воли общей, поставить свое «я» выше общества.

Ревизанов одобрительно кивнул головою.

— Да, в сознательном преступлении, несомненно, есть этот оттенок.

— И преступление — обычная дорога к вашему излюбленному царству страсти! — горячо воскликнул Верховский.

Ревизанов равнодушно пожал плечами:

— Бывает.

— Хорошая дорога, скажете?

— По крайней мере, хоть куда-нибудь приводит.

— Да всякая дорога ведет куда-нибудь!

— Ну нет. Перейти, например, с тропинки на проселок, а с проселка на большак — еще не значит прийти куда-нибудь... Вы *пришли* — когда вы на месте, *куда шли*; раньше вы только *бродите*.

— Знаете ли, Андрей Яковлевич? — перебил его Синёв, — ваша теория — золотая для Жаков Лантье, Карамазовых...

Ревизанов опять, в знак согласия, склонил голову.

— И Наполеонов, — спокойно добавил он.

— Ого! — вырвалось у молчавшего до тех пор Сердецкого.

Все попримолкли.

— Помилуйте! — даже каким-то плачущим звуком возвысил голос Степан Ильич, — такая компания пожрет друг друга!

Ревизанов рассмеялся откровенным смехом мистификатора, которому надоело морочить свою публику:

— Так что же? горе побежденным.

XI

Провожая Ревизанова до подъезда, Степан Ильич хвалился:

— Теперь вы к нам зачастите. У нас уж дом такой: кто узнал к нам дорожку, наш будет.

Однако пророчество его не оправдалось. Правда, Ревизанов, на другой же день после обеда у Верховских, сделал визиты, т.е. забросил карточки и Людмиле Александровне,

и Ратисовой, но заехал к обеим в такое раннее время, что — видимое дело — рассчитывал не быть принятым. А затем недели три о нем не было и помину.

Он объявился к Людмиле Александровне в одно «после завтрака», прямо с какого-то заседания, где, как сейчас же похвалился, одержал крупную победу. Победа была, должно быть, действительно, очень крупная, потому что Ревизанов был заметно возбужден, и в синих глазах его еще не угасли огоньки, зажженные удовольствием борьбы и злорадством успеха. Он был и зол, и весел, и очень красив. Холеное лицо его разгорелось, ноздри вздувались...

— Простите, что я приехал к вам немножко сумасшедший, — воскликнул он, входя, — но это было презанимательно... я спорил и увлекался, как мальчишка...

Людмила Александровна оставалась дома совершенно одна. Дети были в гимназиях, Степан Ильич — в банке. Когда звякнул звонок, Верховской и в голову не пришло, что это Ревизанов, и она разрешила принимать... Увидав, какого гостя послала ей судьба для разговора tête-á-tête *, Людмила Александровна растерялась. Она сидела пред Ревизановым как в воду опущенная, упорно смотрела на ковер и почти не находила ему ответов. Ревизанов сидел недолго. Прощаясь, он, как бы в рассеянности, задержал руку Верховской в своей руке и посмотрел ей в глаза странным взором... Людмила Александровна почувствовала, что кровь бросилась ей в голову. Оставшись одна, она поспешила к зеркалу. Стекло показало ей лицо, сплошь залитое румянцем...

— Какой нахал! — шептала она, покрывая пудрою разгоревшиеся щеки.

Опять звякнул звонок. Людмила Александровна поспешила в гостиную навстречу новому гостю — и широко открыла глаза от изумления и негодования: пред нею стоял

* Наедине *(фр.)*.

только что уехавший и Бог весть зачем возвратившийся Ревизанов. Он не дал хозяйке времени высказать свое удивление.

— Простите, Людмила Александровна, — озабоченно и быстро заговорил он, — я прихожу вторично надоедать вам... Но — изволите ли видеть — сейчас на улице я сообразил, что в другой раз вряд ли мне выпадет такой счастливый случай говорить с вами наедине, как сегодня. А поговорить нам решительно необходимо. Э! думаю, — была не была! пойду напролом...

— О чем нам говорить? — пробормотала смущенная Верховская, — я, право, не понимаю... Между нами нет ничего общего.

— Вы позволите мне сесть? — перебил Ревизанов.

— Разве разговор будет длинный? — возразила Людмила Александровна.

— Глядя по обстоятельствам, — невозмутимо сказал Ревизанов.— Нет ничего общего, — начал он, — вы правы, может быть; по крайней мере, правы за себя... Но ведь было же общее, Людмила Александровна, — было! против этого вы спорить не станете... Нет, нет! не вставайте с места и не делайте жестов негодования: выгнать меня вы всегда успеете, — так сперва выслушайте, а потом уже гоните... Ей-Богу, так будет лучше — для вас же. Да — когда будет надо — я и сам уйду. Вы позволите мне курить?

— Если вам непременно нужно какое-то дикое объяснение, — гневно сказала Верховская, — то, по крайней мере, нельзя ли поскорее к делу?

Ревизанов покачал головой.

— Как вы спешите! какой резкий тон! — заметил он с любезною улыбкою, — знаете ли, это даже нехорошо в отношении старого приятеля. Тем более, что приятель приходит к вам с самыми дружескими чувствами, полный искреннейшего расположения и раскаяния.

Людмила Александровна презрительно усмехнулась.

— К чему слова? Мы старые приятели? Ваше расположение? ваше раскаянье? Смешно слушать!

— Почему же? — спросил Ревизанов, сделав удивленные глаза.

— Да помилуйте! Ведь это же курьез: повинная человека в грехе восемнадцатилетней давности! Уж очень вы опоздали, Андрей Яковлевич. Вам следовало затеять этот разговор, по крайней мере, лет пятнадцать назад. Тогда было другое дело: я могла поверить вашему раскаянию и обрадоваться ему. Могла не поверить и проклинать вас за новое коварство, за новую ложь. Теперь же... да это оперетка! это пародия! Неужели вы не понимаете, что теперь странно было бы даже взять труд задуматься над вашим нежданным объяснением?

— Это — презрение? — спросил Ревизанов, слегка меняясь в лице.

— Нет... просто действие давности.

— Есть, Людмила Александровна, слова и дела, не знающие давности, — значительно возразил Ревизанов.

Верховская взглянула ему прямо в глаза.

— Вот что я вам скажу, Андрей Яковлевич. Если вы в самом деле затеяли этот разговор под вдохновением какого-то раскаяния и нуждаетесь в моем прощении, то — будьте спокойны: вы его давно имеете. Я забыла о вас и вашем дурном поступке со мною. Вы мне чужой. Такой чужой, как будто я вас никогда и не встречала. Людмила Рахманова, которую вы когда-то знали и оскорбили, умерла. Людмила Верховская судит ее, как судила бы любую из своих знакомых девочек, случись с ней такое же несчастье. Мне жаль ее, но нет до нее дела.

— Очень приятно слышать, — улыбнулся Ревизанов, — это дает мне надежду...

Людмила Александровна прервала его голосом, дрожащим от волнения:

— Но, если мне не надо вашего раскаяния, это, конечно, еще не значит, что я не презираю вас. Мое общество — не для людей, запятнанных подлостью. А с Людмилой Рахмановой вы поступили подло!

Она умолкла. Ревизанов был спокоен.

— Ваша гневная речь, — начал он, — меня не удивляет: я ждал ее. Но, признаюсь, она звучит немного странно после панегирика благодетельному действию времени: настолько странно, что я даже не особенно убедился в целительной сил давности, которую вы так одобряете... Позволите вам предложить один вопрос — конечно, совершенно теоретический?..

В игривом тоне речи Ревизанова, в его учтивой полуулыбке, в почтительном, но самоуверенном взоре, в изысканно-вежливой позе — Верховская прочла, под красиво разыгрываемою ролью, серьезную угрозу.

— Раз я допустила этот ненужный и неосторожный разговор, вы вольны спрашивать, что вам угодно.

— Благодарю вас. Итак, у нас имеется prae-sumptio *: Людмила Верховская и Людмила Рахманова — два разных лица. Людмиле Верховской до похождений Людмилы Рахмановой и пятнышек на жизни этой милой девочки — нет никакого дела. Хорошо-с. Теперь ответьте мне по чистой совести: если бы кто-нибудь взял да и рассказал всему свету историю любви Людмилы Рахмановой и Андрея Ревизанова, как отнесется к этому Людмила Верховская?

— Что это? шантаж?

Людмила Александровна смело взглянула в лицо Ревизанову. Он более не улыбался: щеки его были бледны, взор сверкал сталью.

— Шантаж! — угрюмо произнес он, — обидное слово... но пусть будет даже шантаж! Зовите, как хотите, я не боюсь слов. Ах, Людмила Александровна, пустые речи говорили

* Предположение *(лат.)*

вы мне о давности, о лечении старых ран благодетельным временем. Полно вам притворяться! Прошлое — власть, и горе тому, кто чувствует ее над собою, чье прошлое — тайная угроза, да еще и в чужих руках.

— Вы хотите показать мне свою власть надо мною?

— Я не говорил пока ничего подобного.

— Слишком ясно и без слов!

— Хорошо, допустим.

— Я не верю в вашу силу.

— Не обманывайте себя: верите!

— Нет и нет. Что можете вы сделать мне? Рассказать наш забытый роман свету? — кто же вам поверит? Да если и поверят, кто придаст значение такой старой истории? Вы даже не испортите мне моего семейного счастья: мой муж слепо верит в меня.

— Тем грустнее было бы ему узнать, что верить не следует, что вы обманули его еще до свадьбы, и — надо отдать вам справедливость — с поразительным искусством продолжали обман целые восемнадцать лет... Верьте мне: чем дольше человек был дураком, — простите за резкое слово, — тем неприятнее ему убедиться в своей... скажем хоть, недогадливости. Что касается света, конечно, вы правы: девический грешок не будет в состоянии совершенно уничтожить ваше положение в обществе. Много-много если посмеются задним числом, подивятся, как это холодная целомудренная Людмила Верховская умела отыскивать в своей душе страстные звуки, когда писала к Андрею Ревизанову.

— Ах, эти письма!

— Они все целы, Людмила Александровна, — холодно и веско сказал Ревизанов. — И — раз уже в нашем откровенном разговоре скользнуло такое милое словцо, как шантаж, — то быть по сему: я предлагаю вам выкупить их у меня.

Людмила Александровна широко открыла глаза.

— Я очень рада вашему предложению... — медленно вымолвила она, смягчая голос. — Но чего вы хотите от меня за них?

— Много.

— Не денег же?— вы неизмеримо богаче меня.

— Конечно, не денег. Нет, любви.

— Как?!

XII

Верховская, ошеломленная изумлением, даже привстала с места. Ревизанов продолжал тихим и ровным голосом:

— Сядьте, успокойтесь... Да, я прошу вашей любви, я влюблен в вас — и самым глупейшим образом, как мальчишка. Послушайте, Людмила...

— Как вы смеете! — вспыхнула она.

— Виноват: Людмила Александровна. Я часто бываю в Москве, но все проездом: у меня дела больше за границею и в Петербурге. Удивляюсь все-таки, как мы с вами не встретились до сих пор. Я много слышал о вас, и все — хорошее. Верховская — красавица, Верховская — умница, Верховская — воплощенная добродетель. И признаюсь: каждый раз, как слышал, что-то щипало меня за сердце. Красавица, да не твоя! Умница, да ты ее потерял, как дурак, бросил, как петух — жемчужину! Добродетель, да ты надругался над нею, — и она тебя ненавидит и презирает. Наконец я увидел вас в опере, в ложе с Ратисовою. Вы сильно переменились, и я не сразу узнал вас, но влюбился еще прежде, чем узнал. Увидел и тогда же решил в уме своем: эта женщина должна быть снова моею, или я возненавижу ее и сделаю ей все зло, какое только может сделать человек человеку. Это у меня всегда так: кого я очень сильно люблю, того и ненавижу. Ха-ха! что-то мужицкое: кого люблю, того и бью.

Людмила Александровна слушала и терялась, что думать, чего еще ждать, как отвечать. Дело приняло совсем необыкновенный оборот; странность положения была бы почти смешною, если бы не чересчур страстный и сильный тон слов Ревизанова.

— Это бред какой-то... Вы с ума сошли! — воскликнула она. — Вот уж всего я ждала, только не этого!

— Да? — Ревизанов засмеялся, — значит, так и запишем в книжку: Андрей Ревизанов объяснился в любви Людмиле Верховской, а она прогнала его прочь. Но я не послушаю вас и не пойду прочь, потому что вы прогнали меня необдуманно и в конце концов полюбите меня.

— Никогда!

— Переменим выражение: будете принадлежать мне.

— А!.. негодяй! — вырвалось у Верховской.

Она дрожала от бешенства. Лицо ее пылало красными пятнами. Глаза метали молнии.

Ревизанова передернуло, но он совладел с собою.

— Опять резкое слово. Ну, хорошо, негодяй! Так что же? И негодяй может быть влюбленным. Скажу даже больше: влюбленный негодяй — зверь весьма интересный, Людмила Александровна, — займитесь изучением: я познакомлю вас с этим типом. Влюбленный негодяй, например, просит любви только один раз, но, отвергнутый, не отступает, а требует ее, берет хитростью, силой, покупает, наконец...

— И вы зовете это любовью!

— Что же делать, Людмила? Будь я не негодяй, как вы обозвали меня, может быть, и любовь моя была бы иною, но я — негодяй — значит, мне и не к лицу любить иначе. Ваша честь в моей власти. Если хотите, я продам вам вашу честь.

— Боже мой! есть ли в вас стыд, Ревизанов?!

— Одно свидание, один час у меня, наедине со мною, по-старому, как восемнадцать лет назад — и вы получите все

ваши письма. А без этой улики я бессилен против вас: бездоказательное обвинение разобьется о вашу репутацию. Меня примут либо за подлейшего из клеветников, либо за сумасшедшего... Один час, один только час...Что же?

Людмила Александровна глядела на него безумными, почти суеверно-испуганными глазами.

— Дьявол вы или человек? — прошептала она, — я не знаю... мужчина не решился бы предлагать такую отвратительную подлость женщине, которую любил когда-то...

— Когда-то я не любил вас, Людмила, но лишь забавлялся вами; а вот теперь люблю! Да, люблю... Вот! вот! — взгляните на меня еще раз таким мрачным взглядом!.. Люблю вас за это гневное лицо оскорбленной Юноны, за этот огненный презрительный взгляд, за это тело, рожденное для сладострастия и не знающее его, за вашу ненависть ко мне. Конечно, я не Тогенбург, я не стану вздыхать под вашими окнами или писать вам стихи... Платонизм — не по моей части, да и вы не девочка, чтобы верить в его фальшь. Но я никогда не верил в силу мечты, а теперь познаю ее. Мои думы, мои сны полны вами. Вы ненавидите меня, а мне приятно быть с вами; каждое ваше слово — дерзость, а для меня оно — музыка. Но полно распространяться о любви: каким соловьем я ни пой, вы уже не влюбитесь в меня, а принадлежать мне вы и без того будете!..

По щекам Людмилы Александровны давно катились горькие слезы. С тех пор как она сознала себя беззащитною в руках Ревизанова, гнев на оскорбление исчез: его сменили стыд, страх и беспомощная обида.

— Сжальтесь надо мною! — прервала она Ревизанова, задушив рыдания, — я с трудом сдерживаю себя: если вы продолжите свои объяснения, я кончу истерикой. Неужели это также входит в ваши расчеты?

Ревизанов встал.

— О нет, никак! Я не смею задерживать вас. Но надо же выяснить наши отношения. Последний вопрос — отвечайте на него без лишних слов и оскорблений: согласны ли вы быть моею?

— Нет!

— Это окончательный ответ? Подумайте!

— Нет, нет и нет!

— Тогда выслушайте и мое последнее слово. Я даю вам неделю срока. Сегодня воскресенье, — если в следующую субботу я не увижу вас у себя, то ваши письма получат огласку.

Людмила Александровна взялась за голову: смертельная тоска схватила в клещи ее сердце...

— В какую пропасть я попала! — стонала она.

Ревизанов продолжал холодно и беспощадно:

— Сперва над этими письмами посмеется кружок веселой золотой молодежи, потом они дойдут до Степана Ильича. Хотя он и верует в вас, как в Бога, но вещественным доказательствам — вашим письмам, чувствительным надписям вашею рукою на фотографических карточках он тоже поверит. Пусть простит он вам ваш обман. Я знаю вашего мужа: он мягок, слишком мягок... Но вряд ли уверенность, что вы надругались над его именем, прежде чем получили право носить это имя, будет способствовать продолжению вашего супружеского счастья.

— Да, вы сильны, вы очень сильны, — шептала Верховская, бессмысленно смотря перед собою окаменелыми глазами, — я вас боюсь...

— Затем: у вас есть сын. Родился он в половине года, следующего за тем, как мы расстались столь драматически... Что если я явлюсь с вашими письмами к вашему сыну и скажу ему: «Я твой отец»? Пусть я не докажу своих слов, но ведь и вам нечем опровергнуть мое обвинение до полной доказательности. Значит, сомнение-то я все-таки брошу в вашу семью: и отец, и сын должны будут одинаково прислушаться

к моему голосу... Говорят, у вас в семье рай земной. Ну тогда, конечно, раю конец: ад начнется! Ах, Людмила Александровна! остерегитесь! пожалейте мальчика! поверьте мне: словцо «незаконнорожденный» достаточно длинно, чтобы одним подозрением отравить человеку целую жизнь.

— Я вас боюсь, я вас боюсь... — шептала она.

— Так как же? — тихо спросил он, после долгого молчания.

Она смотрела, точно только что проснувшись.

— Не знаю... я совсем сбилась с толку... право, не знаю, что вам отвечать...

— Я буду считать ваши слова за согласие, — холодно сказал Ревизанов.

— Нет! нет! — с ужасом воскликнула Верховская, — ради Бога, нет... Я должна подумать... Не отнимайте у меня хоть этого права.

— Как угодно. Неделя срока — в вашем распоряжении. В субботу я буду ждать до двенадцати часов ночи. Карточку с моим адресом позвольте вам вручить... До свидания...

Он поклонился и вышел.

XIII

Если человеку завязать глаза, ввести его в темную комнату и, покрутив его вокруг себя за руки, потом снять с него повязку, он, хотя бы комната была его собственным кабинетом, теряет представление об ее пространстве и, думая идти к письменному столу, упирается в зеркало; воображая переступить порог, больно ушибает колено о книжный шкаф и т.п. Тьма одуряет его, сбивает с толку. В такую сбивчивую, полную ошибочных представлений и досадных призраков тьму поверг Людмилу Александровну разговор с Ревизановым. В уме ее быстрым потоком бежали мысли самозащиты, но все пугливые, неясные, спутанные, и на сердце лежал камень.

— Этот человек — точно колдун, — думала она с содроганием, — он вынул у меня что-то из головы, и все пошло в ней кругом, без порядка, без самоотчета...

Главное, она никак не могла разобраться: насколько действительно и опасно обвинение, повисшее над ее головою. То казалось, что она совсем пропала, безвыходно и безнадежно, то — что и бояться нечего, и опасности никакой нет и не было, и угрозы Ревизанова — не более, как дерзкое хвастовство нахального человека, рассчитанное на впечатлительные женские нервы.

— Я женщина, — соображала она, — Ревизанов запугал меня, — вот воображение и разгулялось, и пошло строить Бог весть какие мрачные воздушные замки, а на самом деле они — карточные домики!.. Чего бояться?.. Как искусно ни представит Ревизанов обществу свой гадкий план, он все-таки остается шантажом. Шантаж — орудие страшное, но обоюдоострое. Общественное презрение клеймит шантажиста еще глубже, чем его жертву. Есть ли расчет Ревизанову, в его блестящем, видном положении, замарать вместе с моим и свое имя? Ведь не думает же он, что — доведенная до позора и отчаяния, когда мне нечего будет терять — я все-таки пощажу его и не обличу, в свою очередь, в глазах света всей его подлости, всех его наглых вымогательств?!

Во вторник Иаков Иосафович Ратисов справлял день своего рождения. Верховская чувствовала себя совсем нездоровою, однако надо было ехать к Ратисовым и встретиться у них с Ревизановым, — как знала Людмила Александровна, — приглашенным Олимпиадою Алексеевною к обеду.

— Непременно приедет! — злобно соображала Верховская, — не пощадит... С тем и приедет, чтобы посмотреть, в каком я настроении, — вовсе покорена или еще сопротивляюсь?

Ревизанов, действительно, обедал у Ратисовых и остался на вечер. Однако Людмила Александровна ошиблась: на этот

раз он не хотел ее мучить — раскланялся и затем мало что не замечал ее весь вечер, но даже сам как будто уклонялся попадаться ей на глаза, старался как можно меньше утомлять собою ее внимание. У Ратисовых было очень шумно. Синёв был в духе и все дразнил юношу-сына Людмилы Александровны. Митя переваливал из подростков в молодые люди, — и комическая смесь в этом хорошеньком мальчике детской наивности и уже мужских манер смешила до упаду Петра Дмитриевича и Олимпиаду Алексеевну, которую Митя втайне обожал, как только может обожать семнадцатилетний мальчик красивую родственницу бальзаковских лет.

— Знаешь ли, Митя, что я тебе, в некотором роде, бабушка? — изумлялась сама на себя Ратисова.

Синёв комически запел:

Жил был у бабушки
Серенький козлик...
Остались у козлика
Рожки да ножки!

— К чему это ты?!

— К просвещению юношества, — трунил Синёв, — надо же предостеречь молодого человека, что бывает с козликами, у которых есть такая бабушка!

Митя конфузился и краснел: юное воображение, давно уже и сильно занятое великолепною Олимпиадою, привело его в последние дни к тому трагикомическому переходному состоянию влюбленности, что знакомо только совсем зеленым мальчикам, — когда не знаешь: не то уж очень любишь женщину, не то терпеть ее не можешь, мечтаешь о ней и дичишься ее, видишь ее каждую ночь во сне, а наяву, завидев ее издали, переходишь на другую сторону улицы, чтобы только не раскланяться с нею... Синев видел состояние юноши и — по страсти к зубоскальству, которым был хронически одержим — издевался над ним неистово, когда мог рассчитывать,

что Людмила Александровна не услышит. Она не любила, если Митю дразнили вообще, а уж в особенности на любовные темы.

— Вбиваете Бог знает что в голову семнадцатилетнему мальчику! Ему рано и думать о таких пошлостях, — сердилась она. — Вам с Липою смешки, а он волнуется... Я вот перестану его пускать к Ратисовым! Я заметила: как он побывает у Липы, — на другой день обязательно принесет двойку из гимназии... И, главное, кто бы дразнил!.. Сами-то вы, Петенька, давно ли обсушили молоко на губах? Я еще не забыла, как вы воровали у меня ленты на память... да и у Липы тоже!

— Было! — сокрушенно восклицал Синёв и оставлял Митю в покое, до первого нового искушения.

Олимпиада Алексеевна была уже в том возрасте, когда подобное полудетское ухаживанье особенно льстит и нравится.

— Тетушка, — шептал ей Синёв, — Митяй смотрит на вас исподтишка. Ну-ка, поддайте ему жару!.. Метните парфянскую стрелу!..

— Ах, какой ты дурак! — смеялась Олимпиада Алексеевна, но, тем не менее, бросала на юношу такой томный взгляд, что Митя не знал, куда ему деваться, и искренно жалел, что паркет не разверзается под его ногами и не поглощает его, как оперного Демона.

А Синёв хохотал:

— Тетушка! Вы не Олимпиада! Вы Иродиада!

— Это почему?

— Младенцев избивать стали!

— Да отстань же ты от меня! — кричал Митя на своего мучителя, доведенный до полного исступления, — все твои выдумки и насмешки! Я и знать-то ее не хочу, и совсем она мне не нравится... Ты все врешь на меня! врешь! врешь! врешь!

Синёв с невозмутимостью поучал:

— Во-первых, ты невежлив со своим добрым, старым дядею, — замечаешь ли ты это, о школьник? А во-вторых,

врешь-то ты, а не я. Нас, брат, на мякине не проведешь: мы старые воробьи. И от судьбы своей также не уйдешь. И верь мне, как турка Магомету: никто другой, как Липа, и есть твоя судьба. Вы, молокососы, самой природой устроены и предназначены для развлечения таких сорокалетних пожирательниц мужчин, в промежутке, когда у них день прошел, а вечер не наступил. Поэтому советую приготовиться к капитуляции: пиши в честь ее стихи, воруй ее ленты и носовые платки, выпроси на память прядь ее золотых... гм, гм! с серебрецом кудрей и прочая, и прочая, и да будет над тобою благословение любящего тебя дяди!

Сегодня мальчик что-то хмурился, и Синёв пристал к нему, уверяя, будто он не в духе от того, что Олимпиада Алексеевна слишком ухаживает за Ревизановым...

— А на тебя, Митька, — нуль внимания...

— Ну и отлично! ну и очень рад! и оставь меня... — бормотал юноша, — тебе только бы дразниться!

— Однако сознайся, ты не в духе.

— Хотя бы и не в духе!

— Отчего?

— Что тебе за дело?

— Не отстану, пока не скажешь...

— Ах, Господи! да просто так!

Синёв с важною грустью качал головою.

— Мне «так» мало. Это не ответ, но абракадабра. В твои годы слово *так* переводится на русский язык двояко: или кол за Цицерона, или огорчение в нежных чувствах. Ну! кто виноват: Марк Туллий или тетя Липа?

— Ах, дядя! — вырвалось у Мити, — как можно надо всем смеяться? есть же, наконец, чувства...

— Ага, уже *есть чувства*! Браво, Митя! мне только того и надо было... Тетушка, пожалуйте сюда: у Мити завелись чувства, которые он желает вам изъяснить...

— Дядя Петя! Я тебя убью!

— Не стоит, Митяй. Убивать, так уж кого-нибудь другого. Замечаешь? Я зову, а она даже не слышит. Прицепилась репейником к своему Ревизанову...

— И что она в нем нашла? — горестно вздыхал Митя. — Только, что капиталист.

— Да. А ты — только, что гимназист. В том главным образом между вами и разница. И вот что скверно: замечено учеными, что женщины гораздо чаще предпочитают капиталистов гимназистам, чем наоборот. Знаешь что? Вызовем-ка его на дуэль?

Митя смотрел маленьким Наполеоном и отвечал:

— А ты думаешь, я не способен?

Втайне Синёв находил, что — вполне способен. Мальчик был романтический и яркий. Еще в третьем класс гимназии он убежал было из дома в Америку, к индейцам. Ушел недалеко: нагнали и сцапали его, раба Божия, за Тверской заставою, но он встретил погоню как врага, защищался, как тигренок, и даже пустил было в ход оружие: пырнул товарища, выдавшего план бегства, перочинным ножом.

— Вот ты все надо мной смеешься, — изъяснял он как-то раз Синёву, в дружескую минуту, когда тот был в кротком настроении духа и не очень травил его. А я... я даже Добролюбова читал. Ей-Богу. И все понял. Хоть весь класс спроси. Уж я — такой. Я могу понимать: у меня серьезное направление ума. Ты дразнишь меня, что я влюблен там и прочие глупости. А я — такой: любовь для меня величайшая надежда и сила. Я не умею — шутить любовью. У меня чувства. Я не понимаю легких отношений к женщине.

— То-то ты смотришь на тетушку Липу таким сконфуженным быком.

Но Митя не слушал, задумчиво смотрел в пространство и твердил:

— Я ведь в маму родился... Люблю папу, но я не в него, а в маму... Я, коли что, — на всю жизнь. У меня это просто. Весь класс знает...

— Ты что же — Олимпиаду-то — на необитаемый остров увлечь, что ли, собрался? Так не поедет, поди... А любопытно бы посмотреть тебя Робинзоном, а ее Пятницею. Впрочем, какая же она Пятница, — целая Суббота!

Юноша горько улыбался, презрительно пожимал плечами и декламировал из «Горя от ума»:

— «Шутить и век шутить — как вас на это станет?»

Другою постоянною жертвою, отданною на произвол Синёва, являлся супруг Олимпиады Алексеевны — Иаков Иоасафович, с его почти маниакальною страстью к истинно стенобитным каламбурам, шарадам, юмористическим стихам...

— Поедемте, Иаков Иоасафович, пообедать в новый ресторан: говорят, хорошо кормят, — приглашает Ратисова приятель, а Иаков Иоасафович ошеломляет его в ответ:

— Почему же в ре-сто-ран, а не в до-двестиязв?!

Однажды, Синёв, заспорив о чем-то с Олимпиадою Алексеевною, воскликнул:

— Бог с вами, тетушка! «Переклюкала ты меня, премудрая Ольга», — как говорил, попав впросак, один греческий царь... Я уступаю и отступаю...

Он попятился и отдавил ногу стоявшему прямо за ним Ратисову.

— Ох, — застонал этот, — если это называется у вас отступать, то каково же вы наступаете?

— Виноват, дядюшка.

— Бог простит, — со снисходительным величием извинил добряк и таинственно подмигнул, — а каламбурчик заметили?

— Прелесть! — восторженно воскликнул Синёв, — вы всегда такие родите или только когда вам наступают на мозоль?

— У меня юмор брызжет!

— Вы бы в юмористические журналы писали? а?

Ратисов замигал еще таинственнее.

— Пишу.

— Ой ли? — восхитился Петр Дмитриевич, — и ничего, печатают?

Иаков Иоасафович самодовольно подбоченился.

— С благодарностью.

— Скажите!

— Ценят. Вы, говорят, ваше превосходительство, юморист pur sang *, а нравственности у вас — что у весталки. Вы не какой-нибудь борзописец с улицы, а патриций-с, аристократ сатиры. Эдакого чего-нибудь резкого, с густыми красками, слишком смешного, не семейного, у вас — ни-ни!

— Под псевдонимцем качаете?

— Разумеется. «Действительный юморист» — это я. Я было хотел подписываться: действительный статский юморист, эдак слегка намекнуть публике, что я не кто-нибудь, не праздношатающий бумагомаратель, но цензура воспретила, оставила меня без статского... Знаете: детей оставляют без сладкого, а меня без статского... Мысль! позвольте карандашик: запишу, чтобы не забыть, и разработаю на досуге.

Синёв, конечно, не замедлил разболтать этот разговор Олимпиаде Алексеевне, и с тех пор бедному каламбуристу не было житья от жены: она походя дразнила его то действительным статским юмористом, то действительною статскою весталкою.

XIV

Степан Ильич Верховский принадлежал к числу тех добрых, но ограниченных людей, кому, если западет в ум какаянибудь идея — хорошая, дурная ли — то становится истинным их несчастием: они никак не могут выбить ее из головы

* Чистокровная лошадь *(фр.)*

и носятся с нею, как курица с яйцом. Ревизанов очень нравился Степану Ильичу, и в то же время, по честности и доброте своей, старик был возмущен до глубины души убеждениями, высказанными блистательным капиталистом в разговоре их на обеде у Верховских. Разговор этот не давал покоя Степану Ильичу, и он не раз с тех пор возвращался к этим темам в своем семейном кружке.

— Нет-с, каков век! каковы стали субъекты появляться! — воскликнул он, — симпатичный, порядочный человек, корректный общественный деятель, благодетель громадного рабочего округа, — и совершенно разбойничьи убеждения!.. Царство страсти! Страсть — главный императив человеческого существования! Да ведь это — хаос, это — конец цивилизации-с... Ци-ви-ли-за-ции!!! Митька! если ты когда-нибудь заразишься подобными взглядами, я... я лучше в могилу сойду, чтобы глаза мои тебя не видали!.. Долга не признавать, общественных начал не чувствовать... Господи, да как же жить-то без этого?.. В отчаяние придти можно: неужели мы жили, работали, идеальничали для того лишь, чтобы народились на свете такие страшные люди и принесли в мир такое звериное учение?

Когда Ревизанов остался у Ратисовых на вечер, Верховский так в него и вцепился. Андрей Яковлевич защищал свое «царство страсти» шутя и, по обыкновению, немножко свысока... Синёв вмешался. Он с начала вечера косился на Ревизанова.

— Все это прекрасно, Андрей Яковлевич, — протяжно сказал он, — теории можно разводить всякие, и, на мой взгляд, Степан Ильич напрасно столько горячится из-за ваших шуток...

Ревизанов поднял брови.

— Шуток? — возразил он.

— Разумеется, шуток. В *ваших* устах анархические теории звучат шуткою больше, чем в чьих-либо других...

— Ах, вы вот куда метите! — Ревизанов засмеялся, — а знаете ли, Петр Дмитриевич, я уже не раз задумывался над этим странным для вас совпадением взглядов.

— И?

— И пришел к убеждению, что оно вовсе не странно. Взгляды совпадают, потому что совпадают цели. Только средства разные, а в сущности, и капиталист, как я, и анархисты заняты одним и тем же делом: разрушают ваше общество и уничтожают вашу цивилизацию.

— Ого!

— Да, да! Анархист работает во имя отвлеченных идеалов уравнения человечества; капиталист работает на свой собственный карман, а толк-то один и тот же. Если не в идейных целях, — это я вам уступаю, — то в практических конечных результатах. Они же выражаются в короткой теореме: «Чтобы сравнять общество, надо уничтожить его современный строй, возвратить его к первобытным образцам». Затем, разница лишь в способах доказательства теоремы: в средствах. Анархист хочет уравнять всех, опрокинув мир к первобытной дикой свободе. А на взгляд капиталиста, удобнее уравнять людей, возвращая их понемногу в первобытное же состояние рабства. И так как полной свободы и равенства никогда нигде нет, не было и не будет, то всегда тот, который будет равнять общество, будет и его повелителем. Если он станет на первое, повелевающее место во имя анархических теорий свободы, — он повелитель-обманщик; если он равняет общество, порабощая его для себя, он лишь последовательный деспот. Вот и все.

— Софизмы! софизмы! и слушать не хочу: изношенные софизмы! — закричал Степан Ильич.

Синёв молчал.

— Пока ваше царство страсти, — начал он, — остается в мире теории, еще куда ни шло, нам, обыкновенным смертным, можно с грехом пополам жить на свете. Но скверно,

что из этой теоретической области то и дело проскальзывают фантомы в действительную жизнь...

— А вы их ловите и отправляйте в места не столь и столь отдаленные, — возразил Ревизанов. — Это ваше право.

— Сами вы говорили давеча, что всех не переловишь.

— А не поддаваться — это их право.

— Иного и схватишь, — нет, скользок, как угорь, вывернется, уйдет в мутную воду. Закон — дело рук человеческих, а преступление, как изволите вы совершенно правильно выражаться, — дело природы. Закон имеет, следовательно, рамки, а преступление нет. Закон гонится за преступлением, да не всегда его догоняет.

Он задумался и бросил на Ревизанова странный взгляд.

— Да вот вам пример: вчера я слышал одну историю... попробуйте-ка преследовать ее героя по закону.

— Если что-нибудь страшное, — крикнула через комнату Олимпиада Алексеевна, отрываясь от разговора с Митей, — не рассказывай: я покойников боюсь.

— Дело на Урале, — начал Синёв.

— Знакомые места, — отозвался Ревизанов.

— Герой — местный Крез, скучающий, хотя и благополучный россиянин... из любимого вами, Андрей Яковлевич, типа людей страсти и личного произвола.

— Проще сказать: самодур, — вставил Верховский.

— Только образованный, заметьте, — поправил Петр Дмитриевич.

Ревизанов насмешливо смотрел на них обоих.

— Есть там такие. Ну-с!

— Скучал этот Крез, скучал, да и надумался, развлечения ради, влюбиться в некоторую барыньку, — заметьте! жену довольно влиятельного в тех местах лица... Барынька оказалась не из податливых. Крез поклялся, что возьмет ее во что бы то ни стало, и начал орудовать, — да ведь как! Супруг упрямой красавицы до тех пор отлично шел по службе, а теперь вдруг,

ни с того ни с сего, запутался в каких-то «упущениях», попал под суд и вылетел в отставку с запачканным формуляром; в обществе пошли гадкие слухи о поведении молодой женщины, и, что всего страннее, произошло несколько случаев, подтасовавших как бы некоторое подтверждение грязным толкам. Репутация несчастной была убита, семейная жизнь ее превратилась в ад, знакомые от нее отвернулись, муж вколачивал жену в гроб несправедливой ревностью, родные дети презирали мать, как развратную тварь...

— Ах! — раздалось болезненным стоном из полутемного — за трельяжем — угла, где в качалке приютилась Людмила Александровна.

— А?.. что?.. — встрепенулся Синёв, — это вы, кузина?

Людмилу Александровну окружили. Но она почти с досадою, что сделалась предметом общего внимания, просила оставить ее в покое.

— Это ничего... не обращайте на меня внимания: так... приступ мигрени... мигрени...

— Ну, а конец-то? — торопила Синёва Олимпиада Алексеевна, — конец-то твоего романа? Начало — хоть бы Габорио.

— А конец, тетушка, хоть бы Зола. В один прекрасный вечер горемычная барынька, после ужасной семейной сцены, ушла, в чем была, из дома и постучалась-таки... к Крезу!

— Что и требовалось доказать, — вполголоса закончил Ревизанов, как бы и с дружелюбною даже насмешкой.

Прошла полоса молчания.

— Вот видите, Андрей Яковлевич... — поучительно и торжествуя, заговорил Степан Ильич.

Ревизанов перебил его:

— Виноват. Позвольте, господа! чего вы от меня хотите? Чтоб я осудил этот поступок? Осуждаю... Но ведь я и не утверждал, что люди страсти — хорошие люди. Я только говорил, что это люди, которые хотят быть счастливыми, умеют брать с бою свое счастье и ради его на все готовы...

— На все?

Людмила Александровна поднялась с места с болезненным и растерянным видом, точно хотела заговорить и не решалась.

— Я раньше слыхал вашу историю, Петр Дмитриевич, — продолжал спокойно Ревизанов, бросая впервые за весь вечер внимательный взор на Верховскую, — и хорошо знаю ее неназванного вами героя...

— Медный лоб! — прошептал Синёв, против воли опуская глаза.

— Это, действительно, упрямый и страстный человек... Виноват! вы что-то хотели сказать, Людмила Александровна, и я помешал вам?

— Я хотела спросить, — слабо сказала она, — а совесть?.. совесть упрекает его хоть когда-нибудь?..

Ревизанов задумался; потом, отразив ее печальный и ему одному понятно моливший о пощаде взгляд блестящим и решительным взглядом, коротко ответил:

— Не думаю.

Всем было не по себе. Все чувствовали, что нельзя продолжать разговора. Атмосфера насыщена электричеством, почва общих рассуждений и примеров истощена, назревает экзамен личностей, стычка, злоба и ссора. Олимпиада Алексеевна, золотой человек в таких трудных случаях, выручила.

— Скучная твоя история, Петя, — воскликнула она. — Я думала, он ее убьет, или она его, или муж их обоих.

Синёв отозвался:

— Да вы же покойников боитесь?

— Я только утопленников, да и то, если в воде долго пробыл, а когда револьвером — ничего, даже интересно.

— Жест красив?

— Вот именно!

Мужчины подхватили, и буря разошлась без молнии и грома — сперва безразличною болтовнею, потом винтом.

XV

Если бы Петр Дмитриевич знал, что он делает своими рассказами! Весь панический ужас, с таким трудом вытесненный было Людмилою Александровною из своего сердца, теперь возвратился и стал за ее плечами грозным и повелительным призраком.

— В чьих я руках! в чьих руках! — думала она, — кончено! я побеждена заранее — прежде чем начать борьбу!

Ревизанов вырос в ее воображении, как грозный, почти фантастический колосс житейского зла, пред которым сама она казалась себе маленькой и бессильною, как карлица. «Повиноваться! повиноваться, не рассуждая!» — стучало в ее мозгу, когда, возвратясь от Ратисовых, она осталась одна и, с пылающим лбом и ледяными руками, ходила взад и вперед по своей темной спальне, — а рядом с нею как будто ходил невидимый образ ее врага и тихо шептал ей:

— Выбирай: повиновение и вечная тайна или моя беспощадная месть! Ты слышала, как я говорил: теперь ты знаешь, как я действую. Хочешь ты испытать, как разгневанный муж в бешенстве отталкивает развратную жену; а она, обнимая его колени, напрасно плачет и молит о пощаде? Хочешь ты услыхать позорную брань из уст твоих же собственных детей? Они придут к тебе и, негодуя, спросят: «Чьи мы дети?» — Что ты им скажешь? чем их разуверишь? Твоя правда будет ложью для них... и они проклянут тебя. Дома честных и воображающих себя честными людей закроются для тебя, и тогда — все равно: у тебя не будет прибежища, кроме смерти или моей спальни!

— Дети мои!.. Я так вас любила! — шептала Верховская, ломая руки.

В ее уже немолодые годы у нее почти не оставалось ни забот, ни интересов вне детской жизни. Им принадлежали все ее мысли, все время. По всей Москве говорили:

— Вот Людмила Александровна Верховская — это мать. Умела вырастить деток. Прелесть что за молодежь: здоровые, красивые, умные, честные...

Она с гордостью могла сказать, что, действительно, воспитанием своим дети обязаны исключительно ей, неразрывно прожившей с ними душа в душу каждый день их — от самой колыбели. Она торжествовала, наблюдая, как ее влияние постепенно отражалось на их характерах. И теперь бросить этих детей на полдороге? И *как* бросить! — показав им, что та, кто учила их добру, чести, истине и долгу, сама была лицемеркою и прятала под искусною личиною живое противоречие своим громким красивым словам! Она учила добру и не делала, как учила. Значит, она лгала. Если лгала учительница, разве не покажется детям ложью и само учение? Разберут ли они, что у правого божества может быть грешный служитель?

Мать лицемерка и лгунья! — какая отрава вливается в детское воображение этими четырьмя словами! Нет порока, более противного детям, чем лицемерие. Людмила Александровна вспомнила, как Лида и Леля негодовали недавно на Олимпиаду Алексеевну, когда она, встретясь у Верховских с Еленою Львовною Алимовой, осыпала последнюю лестью, ласками и поцелуями, между тем как накануне честила ее за глаза и «ханжой», и «злюкой» и уверяла, будто при жизни покойного Александра Григорьевича Рахманова Елена Львовна заедала ее век. Вспомнила сверкающие глаза и гневный голос Мити, когда он, возвратясь из гимназии, рассказывает о какой-нибудь несправедливости инспектора или классного наставника, о фискалах-товарищах, о подлизах к начальству. Вспомнила, как его — хорошего ученика — чуть не исключили за то, что — при одном гонении на курильщиков, он, сам некурящий, отказался назвать, кто курил.

— Но, Верховский, берегитесь! — пригрозил инспектор, — я уверен, что вы знаете, кто курил! Ведь знаете: говорите правду!

— Знаю, — откровенно отвечал мальчик. — Знаю, да не скажу.

Пошел в карцер, добыл сбавку балла за поведение, но — «знал, да не сказал!»

Кто так храбро и самоотверженно ненавидит ложь и обман, — наученный этой ненависти тайною лгуньею и обманщицей, — какое страшное разочарование ждет его, когда она снимет маску!.. Как должен он будет разувериться в правде света, как станет презирать и ненавидеть наставницу-фарисейку... презирать и ненавидеть родную мать!

— Нет! я должна спасти себя от презрения детей! — размышляла Людмила Александровна под невыносимую стукотню своих висков. — Должна спасти их от ненависти ко мне. Если человеку противна родная мать, что же уважать остается ему на свете?!

— Я повинуюсь Ревизанову. Пусть я стану еще порочнее и хуже, но зато лишь пред самой собой. Моя семья останется приютом явной добродетели и семейного счастья, а за мои тайные грехи ответит моя душа. Будь что будет! Пусть хоть убьет меня мой стыд, лишь бы втихомолку, чтобы не вырвалось ни жалобы, ни даже одного подозрительного слова, чтобы я ушла от людей чистою, как слыла между ними, чтобы дети мои поминали мое имя с гордостью, а не с отвращением. Мною держится мой домашний очаг. Он дает тепло и свет слишком многим. Я не имею права его разрушать. Я повинуюсь.

XVI

Андрей Яковлевич Ревизанов получил по городской почте письмо — на тонкой голубой бумаге, без подписи, но почерк, хотя измененный годами, был ему знаком. Едва взглянув на конверт, он радостно изменился в лице...

— От кого это голубое письмо? — ревниво спросила сидевшая с ним за завтраком красивая черноволосая женщина.

— Деловое, Леони, — небрежно бросил ей Ревизанов.

— Да? Покажи!

Она протянула руку. Ревизанов слегка ударил ее бумагою по пальцам и спрятал голубое письмо в карман. Леони залилась румянцем.

— Ах, извините! Я не знала...

— Так знай.

— Буду знать.

Ревизанов взглянул на часы.

— Тебе не пора ли в цирк?

— Я тебе мешаю? — возразила Леони ревнивым вопросом вместо ответа.

— Нисколько... Я рассчитывал провести с тобою часок-другой после завтрака, потому что совершенно свободен. Могли бы прокатиться в Парк, что ли, или в Сокольники. Погода чудная. Путь — как скатерть, снег — серебро. Но ты сама говоришь, что у тебя дневное представление. Что тебе за охота — баловать своего директора, соглашаться на два номера в сутки? Довольно с этого итальяшки и вечеров...

— Сборы плохи. Я все-таки привлекаю немножко публику, а без меня — совсем швах.

Ревизанов презрительно улыбнулся.

— Правило товарищества?

— Да, знаешь, мы, цирковые, дружный народ.

— Ну и платись за дружбу: половина второго... Даже кофе не успеешь напиться.

— Нет, ничего. Я скачу в третьем отделении, предпоследним номером... Имею, по крайней мере, двадцать минут в запасе.

— Как знаешь.

— А ведь я было думала, — начала Леони с заискивающей и фальшивой улыбкой усмиренной ревности, — ты го-

нишь меня потому, что это голубое письмо назначает тебе свидание с какою-нибудь дамой.

— Очень мне надо знать все глупости, которые ты думаешь! — пробормотал Ревизанов.

Она продолжала:

— Этот деловой документ необыкновенно похож на письмо от женщины.

— Ты находишь?

— От кого эта записка?

— Это не твое дело, Leonie! — коротко отрезал Ревизанов.

Наездница вспыхнула и прикусила губу.

— Знаете, мой милый, — насмешливо протянула она, — вы становитесь не слишком-то любезны в последнее время.

— Может быть! — последовал равнодушный ответ.

Под матовою кожею Леони гневно заиграли мускулы.

— Я не знаю, чем это милое настроение вызывается у вас, — сдерживаясь, продолжала она тем же насмешливым тоном, — может быть, у вас дела не хороши, может быть, вы влюблены неудачно... Но, во всяком случае, я не желаю быть предметом, на котором срывают дурное расположение духа. Я к этому не привыкла.

Ревизанов зевнул с холодною скукою.

— Не трещи... надоела!

Леони вскочила, сверкая глазами.

— Я запрещаю вам говорить со мною в таком тоне! Леони никто еще не говорил, что она надоела.

— Ну, а я говорю.

Наездница топнула ногою, хотела разразиться градом брани и, вместо того, залилась слезами.

— Это гнусно, гнусно так обращаться с женщиной! — рыдала она.

— Да — полно, пожалуйста! что за трагедия? Я никак с тобою не обращаюсь: ты беснуешься и ругаешься, а я нахожу, что это скучно, — вот и все.

— Если вам скучно со мною, — всхлипывала Leonie, — отпустите меня, разойдемся... Не вы один любите меня, я найду свое счастье с другим...

— С другими, Leonie, с другими, — надо быть точнее в выражениях, — засмеялся Ревизанов.

Leonie горько покачала головою.

— Вы никогда не любили меня, если можете шутить со мною так обидно!

— Разумеется, никогда, Леони. Кажется, у нас, когда мы сходились, и разговора об этом не было... И не могло быть: откуда? А ты разве любила меня и любишь? Вот была бы новость!..

Наездница все качала головою.

— Нет, нет, нет... этой новости вы не услышите, — говорила она, с гневною иронией смертельной обиды, — я вас, конечно, и не люблю, и не уважаю... вы для меня просто денежный мешок, откуда можно брать горстями золото... не так ли?

Ревизанов пожал плечами.

— Не знаю, как по-твоему; по-моему: так. Да я ни на что больше и претензий не имею. Какая там любовь? Зачем? Я плачу и не жалуюсь. Ты очень красивая и занимательная женщина...

— А главное, в моде, — насмешливо перебила Леони. — Так приятно ведь, чтобы обе столицы русские кричали о вас: вот Ревизанов, который отбил знаменитую Леони у князя Носатова...

— Не скрываю: и это не без приятности, — согласился Ревизанов.

Леони злобно засмеялась.

— Вот этой-то славы у вас и не будет больше! и не будет! как не будет самой Леони... Кусайте себе тогда локти и утешайтесь вон с этою, которая пишет вам письма... виновата, деловые документы — на голубой бумаге.

Ревизанов устремил на нее ленивый взгляд.

— Будет другая слава, — сказал он, — и гораздо более пикантная... Станут говорить: вот Ревизанов — знаете, тот самый, который выгнал от себя знаменитую Леони...

Наездница выпрямилась, как стрела, готовая сорваться с тетивы.

— Lache!.. * — крикнула она.

— Пошла вон!.. — раздался тихий ответ, и синие глаза Андрея Яковлевича приняли такое выражение, что Леони попятилась, как львица от укротителя. Она, бормоча невнятные угрозы, вышла в спальню Ревизанова, но скоро возвратилась, уже одетая к выходу, в шапочке, с хлыстом в руке. У дверей она обернулась — с искаженным темным лицом, на котором, как два яркие пятна, сверкали глаза и оскаленные зубы...

— Вас следовало бы вот этим! — сказала она, грозя Ревизанову хлыстом.

Андрей Яковлевич поднялся с места и шагнул к Леони. Она струсила и съежилась, ожидая удара... Но он не бил, а только смотрел на нее с презрительным любопытством, как будто говорил взглядом: «Ах, дура, дура!»

Леони поняла этот взгляд — и страшно ей было, и бешенство брало ее. Нерешительно, как не смеющий напасть зверь, она топталась на пороге, — потом вдруг швырнула в Ревизанова своим хлыстом, не попала, и быстрее молнии выскользнула за дверь.

— Идиотка! — уже громко послал ей вслед Андрей Яковлевич.

Он поднял хлыст, осмотрел его, подавил пружинку: ручка — серебряная головка левретки — отскочила, вытянув за собою тонкое трехгранное лезвие блестящей темно-синей стали.

«Изящная вещичка, — подумал он. — Сохраним ее на память об освобождении от иноплеменницы».

---

* Пусти!.. *(фр.)*

Он отнес хлыст в свою спальню и положил на туалетный столик. Потом позвонил.

— Иоган, — приказал он явившемуся слуге, — заметили вы эту даму, которая от меня вышла?

— Мадам Леони?

— Да. Меня для нее никогда нет дома. Передайте это швейцару.

— Слушаю-с.

XVII

Оставшись один, Ревизанов долго и внимательно читал полученное письмо:

Очень может быть, что письмом этим я делаю новую ошибку и даю вам новое оружие против меня. Но все равно. У вас столько оружий, что одним больше, одним меньше не сделает разницы. Если вы хотите меня погубить, то погубите и без этих жалких строк. Я в последний раз пытаюсь умилостивить вас, смягчить ваше сердце. Сжальтесь надо мною, оставьте меня в покое. Что вам во мне? на что я вам? Мало ли женщин красивее меня! Я уже немолода, я мать семейства, у меня взрослые дети. Пощадите мою совесть... как я буду смотреть им в глаза? Отпустите меня на волю! Клянусь: я буду благодарна вам, как благодетелю. Вместо врага, вы приобретете друга, верного и преданного, какого у вас еще не бывало.

Ревизанов долго думал. По лицу его ходили тени. Он сел к письменному столу, несколько раз брался за перо и снова опускал его... Ему — против воли — стало жаль женщины, писавшей это робкое, униженное письмо.

— Да... но отказаться от нее — невозможно, — размышлял он. — Она зацепила меня слишком крепко. Если я отпущу ее, это отравит мне жизнь, будет грызть меня целые годы... «Немолода»... «есть красивее меня»... странные эти женщины!.. живут, живут — доживают до конца бабьего века — и все еще думают, что любят их за молодость, за красоту...

Любят — потому что любится; любят не женщину, но свою прихоть к ней.

Он еще раз перечитал письмо, хмурясь все больше и больше... Память уносила его к далекому, но не забытому времени, когда он, смущенный, растерянный, уничтоженный, стоял пред этою самою женщиною, которая теперь ползает у его ног с мольбами о пощаде, и не знал, что ответить на ее негодующий взгляд, обличавший его лицемерие, — взгляд ангела в день судный... И, как тогда, он теперь снова то краснел, то бледнел под этим воображаемым взглядом...

— Как я был тогда побежден! как раздавлен! — думал он, — о, больше уже никто никогда в жизни не одерживал надо мною такой победы... Нет, нам надо поквитаться. Есть моменты, которые остаются жить в сердце навсегда, как зудящие кровоточивые ранки. Этот момент, когда она застала нас с Олимпиадою, — из таких. Мне стыдно себя в ту минуту, стыдно... вот чего я ей не прощу, вот ради чего она мне нужна теперь! Я хотел бы забыть, что она была сильнее меня, и тогда легко отпустил бы ее на свободу... Но над памятью своею никто не властен... я все помню и ничего не простил... Может быть, я и люблю-то ее потому, что она — одна из всех женщин, каких бросала судьба в мои объятья, — сумела однажды смутить меня и унизить, умеет теперь презирать и ненавидеть; потому что с нею надо бороться, надо покорить ее, завоевать... Уступить ей сейчас — значит быть побежденным ею во второй раз... Ни за что!

И на полученном письме Андрей Яковлевич написал решительным и твердым почерком:

У меня, суббота, 12 часов ночи.

Он запечатал письмо в конверт со своим вензелем и, часом позже, проезжая мимо квартиры Верховских, сам отдал его горничной для передачи Людмиле Александровне.

— Не потеряй, милая, — предупредил он, — здесь билет в театр.

— Теперь я уверен, что моя взяла! — улыбался Андрей Яковлевич, летя в своих санках по Пречистенке, — и надеюсь, что, возвратив письмо, я поступил, хотя настойчиво, но по-рыцарски... Никогда не надо натягивать струну до последнего: оставь свободным хоть один колок. А в этой скрипке струны натянуты уже сильно, очень сильно.

Утром, в субботу, Ревизанов встретил на улице Синёва и зазвал его к себе завтракать. Странно: молодой следователь ему нравился. Может быть даже, что нравился именно тою скрытою антипатиею, тем задором, какие он неизменно встречал и чувствовал в Петре Дмитриевиче. Синёв, всегда обласканный при встрече с Ревизановым, не знал, чему это приписать. Он не уклонялся от Ревизанова, потому что слишком интересовался им, но — в глубине души — ощущал некоторое угрызение совести: «Вот, мол, человек ко мне — всею душою, всегда внимателен, ласков, любезен, а я против него все на дыбы да на дыбы...»

На этот раз он не выдержал и в конце завтрака откровенно спросил:

— Скажите, Андрей Яковлевич: зачем вы затащили меня к себе?

— Разве вам было скучно? — удивился Ревизанов.

— Нет. Помилуйте! Вы отлично кормите, еще лучше поите, у вас несравненные сигары, и болтать с вами занимательно.

— На что же вы жалуетесь? как говорится в какой-то оперетке.

— Я и не думаю жаловаться, напротив, счастлив и благодарен. Вам-то что за охота со мною возиться?

Ревизанов сделал комический поклон.

— Всегда рад вам, Петр Дмитриевич, душевно рад.

— Вот этого именно я не понимаю: с чего вам радоваться-то? Что я для вас представляю? Так, грубиян-мальчишка, моська — «знать, она сильна, что лает на слона!»

Ревизанов засмеялся.

— Батюшки! Что за унижение паче гордости? Кажется, всего лишь третью бутылку клико пьем, а уже...

— Покаянный стих? — подхватил Синёв. — Ничего. Так и надо. Он мною в отношении вас уже с третьего дня владеет... Это правда, что я слышал: будто вы за всех наших студентов недостаточных, к исключению предназначенных, плату в университет внесли?

— Предположим, что правда, — нехотя протянул Ревизанов. — Так что же?

Синёв встал и поклонился в пояс:

— Великолепно, батенька! Поклон вам! Поклон до земли!

Но Ревизанов возразил даже как бы с некоторой досадой:

— Что тут великолепного? Вы же знаете мой взгляд на благотворительность. Еще одна неизбежная взятка обществу. Только и всего.

Но Синёв грозил ему пальцем.

— Э, батенька! дудки! Теперь не обморочите. Знаем мы, как вас понимать надо, притворщик вы. Руку вам жму за студентов наших... благородно поступлено... руку жму!

— Что ж на сухую-то жать?

Ревизанов позвонил и приказал подать еще вина. Синёв, уже несколько грузный, ужаснулся было, но Ревизанов усадил его, смеясь:

— Уж позвольте вас немножко подпоить. Задабриваю вас, мой друг. Помните наши пылкие дебаты у Верховских?

— Это о непойманных преступниках-то?

— Да. Вы следователь. Почем знать? Может быть, вы — моя судьба. Следовательские инстинкты не разыгрываются у вас в моем присутствии? а?

Синёв ответил на шутку довольно натянутым смехом.

— Тогда бы я не сидел с вами за одним столом.

— Напрасно. Следователю не резон быть пуристом. Якшайтесь с преступником, если хотите добиться от него толка.

— А скажите серьезно, Андрей Яковлевич, — сказал Синёв, — как вы сами относитесь к этой вечной диффамации вас из-за угла?

Ревизанов усмехнулся.

— Точно так же, как если меня ругают в открытую... вроде вас, например.

— Ме-е-еня?!

Синёв даже руками развел.

— Довольно невинно спрошено. А историйку об уральском Крезе забыли?

— Это у Ратисовой-то?

— Именно у Ратисовой.

Синёв сконфузился.

— Андрей Яковлевич... Фу! какое это было мальчишество!.. Послушайте, Андрей Яковлевич...

— Да нет: вы не беспокойтесь и не трудитесь извиняться, — остановил его Ревизанов, — я на вас не сержусь.

Синёв мялся, красный, как мак.

— Меня стоило за уши выдрать, а вы великодушно промолчали.

— Я в таких случаях всегда молчу.

— Всегда?

— Обязательно.

— Опасная система, Андрей Яковлевич.

— Почему?

— Молчание могут принять за знак согласия.

Ревизанов презрительно повел губами.

— А мне какое дело? пусть принимают.

Синёв смотрел на него с любопытством, почти жалостливым.

— Андрей Яковлевич, да ведь нехорошо... И как только в вас совмещается все это... ну, ведь сознаете же вы... Ну, признайтесь, поймите, скажите вслух, громко, что было нехорошо?

Ревизанов ответил ему без улыбки, с серьезным, почти угрюмым взглядом:

— Хорошо или не хорошо, а не переменишь, если было. Хвалиться нечем, а отрекаться — горд.

— Смелый же вы человек! — вздохнул Петр Дмитриевич, глядя на него с любопытством.

— Да, робеть и труса праздновать не в моих правилах. Дело в том, Петр Дмитриевич, — продолжал он, подумав, — что если человек сам сознает в себе преступника и не боится им остаться, так трусить посторонней пустопорожней болтовни и считаться с нею — ему нечего.

— Послушайте! это... — начал было смущенный Синёв.

Ревизанов захохотал.

— Нет, вы погодите хватать меня за шиворот. Я не дамся: я если и преступник, то на легальных основаниях.

Синёв покраснел.

— Черт знает что такое! — проворчал он. — С вами разговаривать — что по канату ходить.

— Лет пять тому назад, — медленно говорил Ревизанов, — я поссорился с одним банкиром... Блюмом его звали...

— Я знаю эту историю.

— Он меня оскорбил, а я его уничтожил. Сперва подразнил и помучил на биржевых качелях: de la baisse, à la hausse* — а потом просто-напросто взял из его конторы свой вклад, крупный-таки куш, в минуту самых трудных платежей. Что называется, взорвал банкира на воздух. Блюм лопнул и бежал. Теперь где-то в Америке околачивается. То ли фокусы белой магии показывает, то ли сапо-

* Вверх, вниз *(фр.)*.

ги на улицах чистит. Десятки семейств разорились, были случаи и самоубийств, и сумасшествий...

— Что же из этого следует?

— Позвольте!.. Далее: недавно я сыграл на понижение черепановских акций и в неделю заработал, — если только подходит сюда такое слово, — пятьсот тысяч рублей; но в результате этой операции опять десятки семейств должны были пойти по миру и, конечно, пошли. Не идиот же я, чтобы не предвидеть трагического конца, когда начинал Блюмову кампанию, когда ввязался в черепановскую игру, — однако и в игру ввязался, и кампанию начал... На вашем юридическом языке это, кажется, называется — «по предварительно обдуманному намерению»? Так, что ли?

Он смотрел на следователя с горькою и холодною насмешкою.

— Ну что же... конечно... — бормотал сбитый с толку Петр Дмитриевич, не зная, что отвечать. — Но это уже — в области морали, вне нашей компетенции... а так — по общежитию, то есть, и юридическому смыслу — вы действовали в пределах своего права.

Ревизанов строго возразил:

— Если вы считаете меня вправе убить сотню человек крахом банка, почему мне не убить одного человека ударом ножа или известною дозою мышьяку?

Синёв махнул рукою.

— Отвечу вам любимыми словами милейшего Степана Ильича Верховского: «Софизмы, батюшка, старые софизмы!» — да еще с прескверным ароматом вдобавок: Сибирью пахнут.

Ревизанов возразил отрицательным движением руки, полным самоуверенного сознания своей силы:

— «Что Сибирь! далеко Сибирь!» Шпекин и не подозревал, голубчик, какую гениальную фразу он сказал, Сибирь — учреждение для дураков и нищих. Ну, вообразите-ка, для примера, преступником меня, вашего покорнейшего слугу?

Неужели я буду так глуп — дамся вам отправить меня в Сибирь?

— Вот тебе на! отчего же нет?

— Оттого, что между мною и Сибирью, — принимая Сибирь как общий образ уголовного наказания, — всегда останутся три барьера: ловкость, смелость и богатство.

— Деньгами от уголовщины не отвертитесь!

— Будто?

— Замять уголовное дело? да ни за сто тысяч!

— За иные дела платят и больше, — поддразнивал Андрей Яковлевич,

— Порядочному человеку это безразлично.

— Порядочному... — протянул Ревизанов. — А вы имели когда-нибудь в своем распоряжении сто тысяч?

— Конечно, нет.

— Хорошая сумма. Круглая.

— Какая бы ни была!

Ревизанов мелодраматически склонил пред ним свою голову.

— Вы бескорыстны. Это делает вам честь!

— Подкуп! — размышлял Петр Дмитриевич. — Ну хорошо: сегодня вы откупитесь, завтра, послезавтра... но не монетный же вы двор, чтобы постоянно выбрасывать из кармана по сто тысяч...

— Да ведь и не каторга же я воплощенная, чтобы постоянно нуждаться в подкупе.

Прощаясь с Синёвым, Ревизанов звал его на завтра обедать.

— Не могу, Андрей Яковлевич, простите. Завтра воскресенье: я искони абонирован Верховскими.

— Ага! тогда в понедельник. Кланяйтесь Верховским.

— Верховскому solo * — поправил Синёв. — Людмила Александровна уехала.

* Одному *(ит.)*.

— Да? — удивился Ревизанов, глядя в сторону. — Куда это она?

— В деревню, к тетке... помните Алимову, Елену Львовну?

— Еще бы! Почтенная старушка. Когда же?..

— Сегодня рано утром. Я провожал. Она вчера сразу надумала и собралась поехать.

— Елена Львовна! — меланхолически произнес Ревизанов. — Сколько лет я ее не видал!.. друзьями были... Скажите: давно она стала помещицею? Я что-то не помню, чтобы у нее было именье...

— Помилуйте! Родовое, чудное именье в Рязанской губернии.

— А! там земли вздорожали с тех пор, как прошла железная дорога. Я прицenялся в прошлом году: приступа нет.

— В таком случае, именье Елены Львовны — Эльдорадо. Ее земля в двух верстах от Осиновки. Знаете — большой буфет?

— Как же, езжал... Лекок тоже! — рассмеялся Ревизанов, проводив Петра Дмитриевича. — Хочет читать в сердцах, а из самого качай вести, как воду из колодца... Итак — уехала! Гм... признаюсь, это довольно неожиданно... Придет или не придет? Что означает этот отъезд? Бегство или лишь, так сказать, антисемейный маневр?

Он взял с этажерки красный томик Фрума. «Рязанская дорога... Осиновка... так, так... Ха-ха-ха! а встречный-то поезд в Малиновых зорях? Я и забыл!..»

XVIII

Ревизанов ждал. Стол был накрыт на двоих, сверкал серебром и хрусталем, благоухал цветами и дорогими фруктами. Слугу, который сервировал стол, Андрей Яковлевич давно отослал с наказом:

— Иоган, я жду даму. Предупредите швейцара; не надо, чтобы ее видели; пусть проведет как-нибудь поосторожнее. Завтра вы разбудите меня в одиннадцать. Если разбудите позже, прибью; если разбудите раньше, убью! Впрочем, вы знаете мои привычки: не впервой... вас учить нечего.

Андрей Яковлевич не стыдился сознаться, наедине с самим собою, что он волнуется.

— Что если этот отказ не маневр, не маска, — думал он, стоя у каминных часов и пристально следя за движением стрелок по циферблату, — но бегство? самое настоящее бегство... заячье, опрометью, куда глаза глядят — лишь бы спрятаться, как страус прячет в песок голову и воображает, будто спрятал все тело? Да нет, быть не может... не посмеет!.. Но если?.. Берегись тогда, красавица! и посильнее тебя людей скручивал я в бараний рог!.. Странно, однако, как крепко она меня зацепила... Подумаешь, — жду первого свидания!.. Вон — даже руки дрожат... Нервы — что струны в расстроенном фортепьяно.

Не раз, чуя легкий шорох за дверью, он выглядывал в коридор и уверялся, что обманут слухом... Наконец, вслед за коротким порывистым стуком, дверь распахнулась, и на пороге выросла стройная фигура Верховской. Ревизанов даже схватился рукою за сердце: так быстро — до боли — и радостно заколотилось оно.

— А! наконец-то...

Он помог Людмиле Александровне снять шубку.

— Бог мой! черный вуаль, черное платье, — по ком вы в трауре?

Из-под густого вуаля Людмилы Александровны отозвался голос, который — будто весь остался за зубами, оттолкнутый и задохнувшийся встречным воздухом, как подушкою.

— Виноват... не понял... что? — внимательно, хмурясь, переспросил Ревизанов.

Голос повторил:

— Я сказала: по своей совести.

Ревизанов сделал гримасу.

— Как громко и... как печально! Неужели и личико ваше сегодня такое же траурное? Откройте его, дорогая, дайте полюбоваться.

Верховская откинула вуаль. Ревизанов взглянул ей в лицо и отступил в изумлении.

— Ах, хороша! — тихо сказал он, — что вы сегодня сделали с собою, Людмила? Вы богиней смотрите! Говорят, страсть делает женщин красивыми. Уж не влюбились ли вы в меня за эти дни?

— Ненависть — тоже страсть, — возразила она, глядя в лицо Ревизанову.

— А вы ненавидите меня? — спокойно спросил он.

Она отвечала без гнева, просто, точно он ее о погоде спросил:

— Да... я вас ненавижу!

— Честное слово?

Верховская пожала плечами. Ревизанов отвернулся — не то гнев, не то тоска отразилась на его красивом лице. Несколько секунд длилось молчание. Потом он быстро подошел к столу и выпил, один за другим, два стакана шампанского.

— Ха-ха-ха! Это любопытно! — воскликнул он с деланным смехом, — третьего дня утром я выгнал из этой комнаты мою Леони, женщину, страстно влюбленную в меня, за то лишь, что надоела она мне своею любовью до отвращения. И вот быстрое возмездие: сегодня я сам такой же страстно влюбленный, принимаю на том же месте другую женщину, и эта женщина меня ненавидит до отвращения. Долг платежом красен. Странные контрасты случаются в жизни.

— И страшные!.. — отозвалась Верховская.

— Да, и страшные... Но, sasristi *, зачем же вы так мрачны? Ненавидьте меня, сколько хотите, пожалуй даже, в зак-

* Черт возьми *(ит.)*.

лючение вечера, попробуем разыграть сцену из «Лукреции Борджиа». Разрешаю вам подсыпать мне яду в шампанское и отправить меня ad patres *: надо же умирать когда-нибудь, а приятнее умереть от вашей руки и в такой жизнерадостной обстановке, чем «скончаться посреди детей, плаксивых баб и лекарей»! Но до тех пор уговор: ради Бога, не портите мне минуты долгожданного счастья унылым лицом, печальными взглядами. Сядем к столу. Вы любите мандарины? дюшессы? Выпейте стакан вина и не горюйте: что горевать! Жизнь хорошая штука, я добрый малый, — гораздо добрее, чем вы думаете — и вы не будете в убытке, повинуясь мне... За ваше здоровье! Пейте и вы, — я хочу этого... я прошу вас...

Ревизанов выпил еще стакан, потом встал с места и зашагал по комнате. Он остановился. Верховская чувствовала его дыхание на своей шее, но не отстранялась... Он поцеловал ее около уха. Она не пошевелилась.

— Вы оскорбились? — спросил Ревизанов, помолчав.

— Я пришла сюда продаться... я ваша невольница... вы властны распоряжаться мною...

Он нервно потряс спинку стула и отошел прочь.

— Проклятье! — сказал он, — что вы мне напомнили? зачем?! Купить вас? Отнестись к вам, как к какой-нибудь Леони, как к любой из продажных самок общества? А если я не способен на это? если я вас слишком уважаю? Если мне больно владеть вами и быть вам ненавистным? если я люблю вас?

Людмила Александровна молчала, опустив голову.

— Если я люблю вас? — вскриком повторил он.

Людмила Александровна скользнула беглым взглядом по его возбужденному лицу.

— Я не могу вам запретить говорить о любви, — сказала она, — не могу и запретить любить меня, если вы не лжете.

---

* К праотцам *(лат.)*.

Но если вы меня действительно любите, вы выбрали дурной и позорный путь искать взаимности.

Ревизанов повернулся к ней, озадаченный, с любопытством.

— Вот?.. Как же я должен был поступить?

Она возразила, — угрюмая, с нетерпеливым презрением гордой пленницы, беззащитно оскорбляемой дикарем:

— Не мне учить вас, я не даю уроков любви.

— Однако? — хмуро настаивал Ревизанов.

Тем же равнодушным голосом, которым она призналась ему в своей ненависти, она сказала и теперь спокойно, будто отвечая урок:

— Нельзя порабощать, кого любишь.

Лицо Ревизанова дрогнуло оскорблением и насмешкою.

— Ага! вот что! — промычал он.

— Сперва дайте мне свободу, а потом говорите о любви. Вы держите меня в застенке, на дыбе — и клянетесь: это от любви, от страстной любви... Стыдно, Ревизанов!

— Дать вам свободу?

Взоры их встретились. Ревизанов не опустил своих глаз и упорно рассматривал Людмилу Александровну, — словно впервые видел, — с восторгом, удивлением. Смутная надежда на спасение, зарожденная было в душе Верховской его последними словами, растаяла под этим алчным взглядом...

— Дать вам свободу?

Она отвернулась. Ревизанов заговорил медленно и четко:

— Нет, я не дам вам свободы!

— Ваша воля.

— Да, не дам... ха-ха-ха!.. Отпустить вас домой, возвратить вам письма? Знаете ли: пожалуй, это было бы даже не глупо! Держу пари: вы были бы способны — и в самом деле — почувствовать ко мне — как вы пишете — некоторое расположение, вздумай я разыграть с вами комедию столь рыцарского свойства. Но, во-первых, я не люблю

повторений, а читал уже про подобное великодушие в каком-то романе. А во-вторых, я вообще не охотник до комедий. Если я негодяй, как вы меня зовете и почитаете, то, по крайней мере, не лицемерный негодяй и не ловлю ни любви, ни дружбы на приманку поддельного благородства. Вот — я, каков есть. Таким и возьмите меня со всем моим негодяйством, таким и любите, с таким и дружите, если можете. А любви к вымышленному Ревизанову, Ревизанову благородному, мне и не надо! Что в ней? Полюби нас черненькими — беленькими-то нас всякий полюбит.

Он выпил.

— А мы могли бы сойтись! Мало того: нам следовало бы сойтись... Дайте мне вашу руку!.. Белая, мягкая ручка, а ведь и крупная, и сильная... Ах, моя красавица! мое божество!.. И неужели мы с вами, раз столкнувшись, разойдемся и не оценим друг друга?

— Разошлись уже однажды... давно... и, кажется, взаимная оценка была сделана справедливо, по заслугам.

— Тогда! Да кто были мы тогда?! Вы — сентиментальная девочка, я — человек без положения, дрянь, трус, как всякий, кто висит между небом и землею! ха-ха-ха! Помните, как это у Гете:

С богами
Меряться смертный
Да не дерзнет.
Если подымется он и коснется
Теменем звезд,
Негде тогда опереться
Шатким подошвам,
И им играют
Тучи и ветер!

Видите: вы сделали меня поэтом; я припоминаю заученные в гимназии стихи и декламирую... правда, недурно декламирую?.. Теперь вы — чуть не царица своего общества;

я же... полагаю, вы слыхали про мое положение, про мою деятельность?

— Мало хорошего!

— Да, меня сильно бранят. Но не в брани и похвалах дело: дураки хвалят, трусы и лицемеры ругают, — а в том, что оба мы авторитеты для своего общества, для своего круга...

— Говорите за себя, Ревизанов, что за параллели!

— Извольте. Но мне-то уж позвольте немного пооткровенничать: я не боюсь заявить свою авторитетность в глазах, по меньшей мере, десятков тысяч людей, потому что знаю, а еще больше чувствую ее за собою. Я теперь в таком положении, что скажу глупость — ее найдут необыкновенно умною и оригинальною мыслью; сделаю мерзость — меня оправдают необычайно широким размахом гениальной натуры, непостижимым для обыкновенных смертных. Шире дорогу — туз идет! Настежь ворота перед финансовым гением! Да! Деньги и твердая воля делают человека гением. Я имею деньги и неуклонно тверд в своих целях. Я — авторитет, потому что я капиталист; я — капиталист, потому что за каждым шагом моим неизменно идет удача; удача — моя постоянная спутница, потому что я всегда знаю, чего хочу, в деталях и всегда хочу одного и того же в общем. Власть — мой идеа́л, и много ее у меня, и будет еще больше! Я не знал ни иных страстей, ни иных увлечений. Женщины любили меня, — я сделал из них орудие своих целей, и много раз их нежные руки подымали меня от ступени к ступени, а то и через ступень, вверх по качающимся лестницам общественных положений. У меня бывали друзья, приятели; но если друг мешал мне или загораживал мне дорогу, я хватал его за горло, как врага. Я даже денег не люблю: они для меня только средство, я никогда не жалел их терять. Так я иду и буду идти все выше и выше, пока смерть не остановит меня, не сшибет с земли, как бойца с арены. Но, Людмила! в последнее время со мной творится что-то недоброе. Чувство неудов-

летворения прокралось в мою душу и отравило ее. Я полон им, я весь — недовольство; скучно мне одному и властвовать, и стремиться к власти. Я полюбил вас, и любовь победила упорство моей воли, она стала выше моих стремлений. Вы мне дороже, желаннее. Я люблю вас! я хочу теперь не властвовать, а принадлежать, моя душа ищет вашей души...

— Довольно, Ревизанов.

Он не слушал.

— О нет! оставьте меня пьянеть от вина и любви и высказываться; я еще никогда никому не высказывался... А! если бы вы захотели идти рука в руку со мною! А! как бы могучи вы были! Смотрите, — вот бумажник: тысячи людей зажаты в нем. Выкладываю я из него — радость, смех, ликование тысячам; кладу в него — у десятков тысяч слезы льются. Разожму ладонь — дыши, толпа! согну кулак — задыхайся, кровью исходи!.. Хотите, — я подниму рубль на берлинской бирже? Хотите, — уроню его? Я все могу, а передавая в ваши руки самого себя, делаю вас госпожой и над своей властью. Лев будет у ваших ног! Не думайте, Людмила, чтобы я рисовался или обманывался в своем могуществе. Я не дутый истукан и стою не на глиняных ногах; мой пьедестал — мешки с золотом. Вы скажете: много людей богаче меня. Да, но миллион в руках человека, как я, без иного закона, кроме своей воли, деятельнее и победоноснее миллиарда в распоряжении узаконенной добродетели. Да у добродетели и вовсе нет денег. Люди богаче меня, — Ротшильды, Вандербильты, Гульды, Макеи — моего поля ягоды, только тех же щей, да пожиже влей. Как, извините, мужики говорят: кишка тонка и рылом не вышли. В руках их больше денег, больше средств быть властными, чем у меня, но они хотят быть не властными, а богатыми. Для них деньги не средство, но цель, и потому им нужна охрана закона; а кому необходима дружба с человеческими постановлениями, тот уже обязан общепринятой нравственностью, тот уже связан страхом об-

щества. Кто нуждается в том, чтобы его сторожили, тот уже сам слуга сторожа, который ему служит. А я свободен. Они — номинальные властелины — в сущности, рабы своих капиталов; я — неограниченный повелитель своего; потому что в то время, как все действуют, чтобы иметь деньги, я имею деньги, чтобы действовать. Капиталы Вандербильтов — благоустроенные лены, тесно связанные взаимным благополучием и охранением со своими баронами; мой — беспощадная и не ждущая пощады кочевая орда, дикая шайка кондотьеров, пущенная искусным вождем в ход на «пан или пропал». Чего Сфорца искал железом, Ревизанов ищет золотом. Ста миллионов рублей достаточно умному человеку, чтобы стать счастьем или горем своей страны; обладатель миллиарда отражает свое влияние на всех частях света. Я уже считаюсь одним из крупных капиталистов, но я много богаче, чем обо мне думают. Через три года у меня будет сто миллионов, через пять — триста, через десять — миллиард! А тогда...

XIX

Верховская, против воли, была заинтересована безумным красноречием Ревизанова, и он заметил это.

— Ну ведь вам хочется спросить: что тогда? Отчего же вы не спрашиваете?

— Я вижу и без вашего ответа, что вы мечтаете о какой-то необъятной тирании... серьезно или шутя — Бог вас знает.

— Серьезно, Людмила, совершенно серьезно! — в восторге завопил он. — Вы отлично сказали: «необъятная тирания». Современная власть меня не удовлетворяет: она слаба и мягка. Я не хотел бы родиться договорным государем; мой идеал — царь не подданных, но рабов, царь бича и крови, царь гнева, царь-бог, Навуходоносор, Камбиз, Ксеркс! Нам

выставляют, как что-то необычайно смешное, что Ксеркс велел высечь Геллеспонт... а я так думаю, что никогда его бесчисленные рати не верили в величие своего деспота сильнее, чем в тот момент, когда он выдрал морское божество, как провинившегося школьника! Вот это власть! Родись я в древние, даже в средние века, я не успокоился бы, пока не добыл бы ее для себя. Я опоздал, ужасно опоздал родиться... Слушайте! Я не мечтатель, но есть фантастические образы, опьяняющие мое воображение. Вы, конечно, слыхали про Стэнли? Это высокоталантливый, героический человек, с железною бесповоротною волею, с холодным прямолинейным умом, с неистощимым запасом сознательной энергии, человек плана, путешествующий Бисмарк в приспособлении к африканским пустыням: жестокий, бессовестный, ничего не боящийся, выше всего на свете ставящий себя самого и свои цели. Я глубоко уважаю Стэнли, как голову и характер, хотя и презираю его деятельность. Теперь он — не более, как старший брат разных Беккеров, Фогелей, Юнкеров и им подобных ученых бродяг, именующих себя пионерами цивилизации... очень там нужна их цивилизация!.. а ведь он мог бы поставить на реальную почву «Воздушные замки» Альнаскара. Представьте этого Стэнли не агентом «New-Jork Herald'а» или Леопольда Бельгийского на посылках за какими-нибудь Ливингстонами и Эмин-беями, но самостоятельным агитатором — властолюбцем, богатым, как я, и, подобно мне же, презирающим свое богатство вне той власти, какую оно ему дает. Представьте его ренегатом, магометанином... Стэнли-махди! Вы только вникните, что это за колоссальный образ! Шайка ничтожных феллахов, без денег и оружия, оказалась в состоянии, силою своего энтузиазма, потрясти авторитет могущественнейшей европейской державы, от востока до запада африканского материка. А Стэнли-махди! — богатый, вооруженный митральезами и динамитом, с миллионами фанатиков под знаменем священной войны, с миллионами сол-

дат, лучших солдат в свете, потому что им все равно, жить или умереть. Фаталисты, живущие экстазами, они сами обрекли себя, как пушечное мясо, на смерть во славу пророка и погибают без ропота, покоряясь смерти, как желанной и должной, а если битва щадит их, принимают это лишь как отсрочку, временное помилование до следующего случая. В миллионной рати махди нет даже тени недовольства; она творит святое дело истребления неверных, сытая, обутая, одетая; махди экзальтирует ее своими вещими снами, указаниями с неба, творит чудеса именем Магомета и силою современного естествознания. Это — воздушные замки, это — жюль-верновская сказка, но это власть. Вот вам еще другой соблазнительно-властный образ: царя анархии, вождя всемирной смуты. О, не думайте, что я сочувствую ее идеям! Они — озленный, озверенный, но все-таки детский бред, не больше. Но — какое орудие! какое орудие! Она — нищая эта смута — и должна быть нищею. Сейчас это стадо — злое и нелепое, но бессильное, — кроме как на мелкие пакости, вроде убийства женщины из-за угла и трусливого швыряния бомб по кафе и церквам в беззащитную, ничем не повинную толпу. Почему? Потому что пастухи стада — тоже злые и нелепые нищие, творящие свои дикие преступления по инстинкту нищей злобы, по философии голода и голодной ненависти к сытым. Их преступления — стихийные: без средств и без фантазии. А вообразите себе пастухом стада полузверей, полудемонов человека с фантазией, — хоть Нерона, что ли; то есть — виртуоза истребления, и со средствами, позволяющими ему эту виртуозность носить не только в своей голове, но и проявлять на деле... Фраза о ста миллионах голов станет делом, старец Горы с его ассасинами воскреснет в апофеозе и воцарится над новою великою державою убийц, тем более ужасною, что она будет державою в державах. Да. Державою в державах, государством в государствах — вот как теперь антисемиты воображают и обви-

няют «жидов». Только — сдуру. Куда же им. Еврей — семейная сила. Позади у него традиция на три тысячи лет — род отцов его до Авраама, Исаака и Иакова, впереди идеал — продолжение рода, неистощимое семя Израиля. На таких прочных привязках в анархию не ускачешь: где еврей торговец, там он либеральный буржуа, где еврей рабочий, там он социалист. А я социалистов ненавижу. Социализм — это мне нож острый, камень под ноги. Он строить собирается, а надо ломать. С миллиардом, превращенным в динамит, можно сломать все, что наслоилось на земле веками истории человеческой. Цивилизация дрогнет, два света потрясутся в основах, государства перевернутся вверх дном и застынут в хаосе: внизу будет перепуганное, трепещущее человечество, вверху — торжествующая шайка бандитов, выше всего — их атаман!

— Боже мой, что говорите вы?!. Каким ядом надо отравить свою душу, чтоб выносить в ней бред таких чудовищных идеалов — еще, к счастью, неисполнимый бред!

— Неисполнимый? Вы так думаете? Напрасно! И старец Горы, и махди — не мифы! Не мифы — Кази-Мулла, Иоанн Лейденский, Мазаньэлло, два Наполеона. Вы скажете: то были гении. А почему бы мне не считать себя гением? Вы скажете: то были энтузиасты. И я энтузиаст. Только безумная дерзость и увенчивалась историческим успехом. Гений безумен... Царь Сиона — трактирщик. Мазаньэлло — рыбак, Наполеон — артиллерийский поручик, Лжедмитрий — монастырский служка. Эти ли люди не сделали безумных скачков из одного положения к другому?! Ну, хорошо, пусть будет по-вашему! Все это было, да прошло; говорю же вам — я опоздал родиться; и, пока мы стоим на реальной почве, мои идеалы, конечно, неисполнимы. Но и в этом сознании меня уже удовлетворяет гордая мысль, что лишь подобная перемена декорации может поставить меня еще выше положения, в каком я уже стою теперь — обыкновенно гордый и повелевающий, а нынче

коленопреклоненный и молящий: Людмила, жизнь моя, счастье мое! раздели мою власть, прими мою любовь!

— Не надо мне ни вашей грязной любви, ни вашей безумной власти.

Он отвернулся с тоскою и возразил глухо, раздумчиво:

— Да, не надо... Я не понимаю, как может быть этого не надо, но знаю, — слишком я чувствую это, — что тебе действительно не надо. И оттого-то так страдаю в эти минуты мнимого торжества над вами... Ваша добродетель, ваша репутация в моих руках; захочу я — и богиня станет простою самкой. Но я не хочу. Мой Бог!.. как унизить вас? унизить ту, кого я поставил в своих мечтах выше себя, выше своих задач и надежд?.. Не хочу, не хочу!

— Тогда отпустите меня, будьте честны хоть раз в жизни, — сурово сказала Верховская, поднимаясь с места.

— Оскорбляет, опять оскорбляет! — крикнул Ревизанов и уронил голову на грудь; он был заметно и сильно пьян. — Всегда, всегда только оскорбляет!

— Послушай! — начал он после минутного размышления, — послушай... не сердись, что я говорю тебе «ты»... Я очень люблю тебя, и мне больно, что мы враги. Я не хотел бы сделать тебе зло... Я очень несчастен, что не умею взять любовь твою... Да, очень... Пожалей же и ты меня. Если ты уже не в силах полюбить меня, то, по крайней мере, не мучь меня беспощадной правдою, не показывай мне своего отвращения! Это мальчишество, это глупо, это пошло, но — пусть будет так! — солги мне, обмани меня сегодня, что ты можешь полюбить меня... И Бог с тобой! иди, куда хочешь; я отдам тебе твои письма.

— Нет, Андрей Яковлевич, я не стану лгать.

— Людмила! пользуйся, пользуйся случаем! Я пьян; сегодня вино что-то слишком быстро ошеломило меня; я размяк... Солги, обмани меня скорее! Завтра я буду снова трезв, холоден и жесток. Мысль возьмет верх над страстью. Я уже не захочу

обманываться; я буду я, и самое воспоминание о нынешнем унижении моем покажется мне смешною сплетнею о каком-то чужом чудаке. Теперь я жажду сделать тебя своею госпожою, завтра рассудок велит мне унизить тебя, как рабыню. Людмила, пользуйся случаем!

Покрасневшее лицо Ревизанова было и страстно, и грозно вместе. Под градом его унизительных просьб Людмила Александровна дрожала, как в лихорадке. Она ненавидела его в каждом звуке его голоса, в каждом жесте! Он был так противен ей, что ложь не могла сойти с ее языка. Даже самая мысль, выгодная мысль солгать, на которую он сам усердно наталкивал ее, не нашла отзыва в ее уме; злобное отвращение к этому человеку слишком переполнило ее душу, чтобы ум повиновался иным побуждениям, кроме ненависти. В это мгновение даже грядущий позор представлялся ей и легче, и достойнее, чем предлагаемая ей ложь в два слова, ни к чему не обязывающая, как заведомый обман.

— Я ненавижу вас! — почти крикнула она в ответ, — слышите вы это? Владейте моим телом и будьте прокляты!.. подлец! вы можете унизить меня, растоптать, обесславить, но не заставите меня покривить моим чувством. Это одно у меня осталось, остальное все ваше! Владейте, пользуйтесь! но этого-то не отнимете: останется мое! Владейте моим телом; тем ненавистнее вы будете мне. Кончим этот фарс! Вы требовали, чтобы я пришла. Я здесь. Где мои письма!

Голос ее захрипел и оборвался. Ревизанов выливал остатки шампанского из бутылки в стакан и невнятно бормотал:

— Да, ты... вы правы. Кончим! Время кончить... Ха-ха. Ну, не хотите, так и не надо... тем лучше... или тем хуже — не разберешь. К черту любовь! к черту! к черту!

Он допил вино и бросил стакан в камин. Потом взглянул на Людмилу воспаленными, злыми глазами... Лицо его дергали судороги, губы дрожали... Ей показалось, что вот-вот он бросится и убьет ее, и она была рада этому...

— Я совершенно пьян, — заключил он с внезапным спокойствием. — Тем лучше... Идем!

XX

Зимнее утро проглядывало узкими полосками бледного света сквозь тяжелые занавеси окон. Людмила Александровна сидела на кровати, угрюмая, как привидение, неподвижная, как статуя. Она смотрела широко раскрытыми глазами на все ярче и ярче белевшие просветы утра, не отрываясь от них, точно околдованная их нарастающим сиянием.

«И вот я выйду на этот свет, и он увидит меня, и я увижу его...» — бессмысленно думала она, чувствуя, что в груди ее залег, точно кусок льда, какой-то удушающий холод... Ревизанов коснулся ее плеча. Она вздрогнула и перевела на него тот же тяжелый, немигающий взгляд — без гнева, без отвращения, полный страшной усталости, молящий лишь о физической пощаде.

— Я хочу уйти... отпустите меня... — прошептала она.

Мимолетное выражение участия, налетевшее было на лицо Ревизанова, сразу померкло.

— Идите, я вас не задерживаю, — сказал он с гневом в голосе.

Людмила Александровна встала и, тяжело волоча ноги, направилась к своему платью...

— Письма мои? — сказала она, вполоборота протягивая руку к Ревизанову.

Андрей Яковлевич прошел к письменному столу и вынул из ящика тонкую пачку листков, перевязанных пестрою лентою.

— Вот они... — протяжно молвил он, окидывая стоявшую перед ним женщину задумчивым, странным взглядом.

— Дайте же!..

Она все протягивала руку. Ревизанов улыбнулся. Вчерашнее нервное настроение сошло с него вместе с хмелем; он сделался спокоен, как всегда.

— А... если я не отдам вам писем? — услыхала Людмила Александровна ровный металлический голос и по глазам Ревизанова увидала, что слова его не шутка.

— Как не отдадите? — пробормотала она.

— Так, просто — возьму да не отдам! — и он спрятал руку с письмами за спину.

Мысли Верховской помутились; пред глазами запрыгали огоньки...

— Что это? что это? — бессильно лепетала она, схватясь за ручку кресла...

А Ревизанов продолжал:

— Если я отдам вам письма, придете ли вы ко мне в другой раз по доброй воле?.. Нет? Вот видите: какой же мне расчет выпускать их из своих рук? Не беспокойтесь: я сдержу обещание и не оглашу их; они у меня — как в могиле; но останутся у меня.

— Ох, был ли обман подлее этого? — горьким стоном вырвалось у Людмилы Александровны.

«Господи! что же это? — полетели в ее голове мысли. — Убить в себе навеки уважение к себе самой, обречь себя, как жертву, на тайный позор, на ласки ненавистного человека, лишь бы вырваться у него на волю, продаться за обещанную свободу и все-таки остаться рабою?!»

Полились упреки, горькие слова, проклятия... Ревизанов был неумолим и все твердил:

— Нет, нет!

Потом прибавил:

— Вы напрасно говорите, будто я обманул вас. Я предупреждал вас. Вчера я был в ваших руках, — вы не воспользовались случаем. Сегодня снова вы в моих, и я своего не упущу. Самому дороже, Людмила Александровна,

самому дороже... Я, дорогая моя, купец, и дело мое купеческое.

Он шутил, а она упала на колени и молила его, целовала его руки. Он, присев на край письменного стола, смотрел на валяющуюся у ног его женщину, и во взоре его Верховская не читала ничего, кроме наслаждения торжествующим произволом да любопытства, чем она кончить. Она еще молила, но бешенство уже кипело в ее груди... И вот из уст его раздалось оскорбление, лишившее ее последней капли самообладания:

— Вы слишком красивая женщина, чтобы лишиться вас после одного свидания…

Ревизанов не кончил: Людмила Александровна прыгнула к нему, как кошка, и ухватила его за горло. Красный туман вступил ей в глаза. Но Ревизанов был силен; через мгновение она уже лежала на ковре, отброшенная далеко от врага своего, а в ушах ее звенел его тихий, язвительный смех. Она встала, шатаясь. Возле нее стоял туалетный столик, заваленный безделушками. Она схватила с него что-то блестящее и, одним скачком перепрыгнув разделявшее их пространство, два раза ударила Ревизанова.

Он упал без слова, без крика, а она с проклятием плюнула ему в лицо, и ей стало легко; камень свалился с ее сердца, как будто она исполнила свой долг, как будто то, что свершилось, так и должно было свершиться, как будто зло ее жизни превратилось в добро с тех пор, как он, орудие зла, лег трупом к ее ногам.

Но вслед затем силы оставили ее. Счастье мести исчезло. Сознание прояснилось, но лишь настолько, чтобы подыскать название происшедшему, грозным словом «убийство» осветить совершенное дело и, наполнив душу ужасом, снова оставить ее, как в потемках, испуганную, потрясенную. То не был страх самосохранения: ни возможность заслуженного наказания, ни даже представление о наказании еще не ус-

пели прийти Людмиле Александровне на память, а она уже была вне себя от мысли, что ею *совершена смерть*, что она осмелилась и смогла вырвать своей рукой из жизни разумное, мощное, полное гордых надежд существо, что у ног ее — труп.

Обманываясь тщетною надеждою, она несколько раз наклонялась к Ревизанову; но он был мертв. Он лежал навзничь, упав головою под стол; рука его замерла в судорожном движении к сердцу, куда она нанесла свой первый удар.

Лицо убитого не успело окоченеть в маску спокойствия, свойственную большинству внезапно умерших. Смерть положила на него выражение странного недоумения. Казалось, Ревизанов не узнал смерти, когда она, неожиданная, мгновенная, схватила его. «Что это?.. неужели?..» — вспыхнул вопрос в его уме, и на вопрос он перестал мыслить, не успев ни ответить себе ужасом, ни отразить свой ужас на лице.

Где-то далеко пробили часы... Раздался электрический звонок... Гостиница пробуждалась и словно предостерегала убийцу первыми звуками своего бодрствования о скором открытии преступления, о приближающемся отмщении за пролитую кровь. Мысль бежать тупо прошла в уме Людмилы Александровны и сперва не нашла в нем отзыва: самосуд над собою, свершавшийся в ее душе, еще заглушал в ней представление людей и боязнь их суда; ей казалось, что хуже, чем случилось, не может уже ничего случиться над нею, и не отчего больше спасаться, некуда уже уйти.

Но звонки повторялись, и, с каждым из них, голос самосохранения говорил все громче и громче, — и вот ее отвращение к трупу перешло в стремление уйти прочь от него, в боязнь быть схваченной на месте преступления.

Глядя на полуодетого мертвеца, она вспомнила о беспорядке в своей одежде и приблизилась к кровати, чтобы взять свое платье, валявшееся на полу, вперемешку с платьем Ревизанова. Что-то звякнуло под ее каблуком. То был потай-

ной стилет Леони с серебряною головкой левретки вместо ручки... Сталь облипла кровью. Людмила Александровна с отвращением оттолкнула ее ногою.

«Стоит мне уйти незамеченною, и не останется ни одной прямой улики на меня, — бродила в уме ее напряженная мысль. — Письма в моих руках, *он* уже ничего не расскажет, остается только самой быть осторожною и не оставить по себе никаких следов».

В каких-нибудь пять минут она оделась и, окутав лицо вуалем, как пришла черным призраком, так и вышла. Она заперла за собою дверь и положила ключ в карман. В коридорах она не встретила никого до самого подъезда. Швейцар на подъезде молча окинул ее безразличным взглядом: он помнил, что это — «ревизановская дама», а какая — ему было все равно: мало ли их бывало у Андрея Яковлевича! Людмила сунула швейцару рублевую бумажку. Он поблагодарил и с поклоном отворил дверь.

XXI

Елена Львовна Алимова нисколько не удивилась внезапному приезду Верховской: племянница гостила у нее раза по два, по три в год, оставаясь обыкновенно по неделе и больше.

— Отлично сделала, что приехала! — хвалила она Людмилу Александровну, — по крайней мере, отдохнешь на деревенском приволье. У тебя глаза что-то нехороши и, вообще, усталый вид. Должно быть, сезон-то выдался из веселых? запрыгалась? завертелась?

— Слишком, тетя!

— Значит, надоели люди, захотелось посидеть одной в уголке, монастыркою, и помолчать? Что же? Бог с тобою! Я не буду мешать тебе: по себе знаю, как это нужно и хорошо иной раз. Жизнь-то стала бестолковая, мысли быстрые, непосле-

довательные, спутанные, — вот и надо время от времени сказать своим мозгам «тпру!» — упорядочить весь этот головной шум, разобраться в нем, ограничить его в систему. А уж лучше, чем у меня, заниматься таким делом нигде нельзя. Тихо. Ты посмотри в окно: какие ковры!.. «Снега белые, пушистые, вы покрыли поле все!..» Скучно станет — возьми бинокль: вон там на опушке по утрам зайцы скачут; лисица, случается, сверкнет красная, а то и серого волка Бог пошлет для развлечения. Они у нас тут, как собаки, бегают, — просто беда. Еще вчера — среди белого дня — увели свинью у мужика. Презабавно! особенно, пока не привыкла, по новости впечатления, — никакого балета не захочешь!.. Ну, вот тебе комната, вода, весь туалетный прибор... мойся, переодевайся и приходи обедать: стол накрыт. Ведь у нас рано едят: в полдень, по-деревенскому. Удобно и полезно. Всем бы советовала. Ах, — вообще, отдать бы тебя на месяц-другой опять в мои руки, — как бы я тебя выправила! Ты посмотри на меня, какой я здоровяк. А мне, Милочка, скоро шестьдесят. И еще говорят, что старые девки быстро дряхлеют!.. вот оно — что значит деревня-то — мои снега да зайцы...

Она удалилась, напевая на ходу:

Снега белые, пушистые,
Вы покрыли поле все...
Одного лишь не покрыли вы
Горя чернаго мого... —

зазвенело в ответ в памяти Людмилы Александровны продолжение старинных стихов, и она пугливо отмахнулась от грустной их мелодии, точно от опасного пророчества. Проходил день за днем. Застывшая, тяжелая унылость Верховской сильно тревожила Елену Львовну.

— Что с тобой? Здорова ли ты?

— Благодарю вас, тетя, не беспокойтесь, я совершенно здорова...

— Беда, что ли, какая-нибудь в доме? Зачем скрываешь?

— Все благополучно.

— Ах, Боже мой! здорова, все благополучно, а лицо — краше в гроб кладут. Нельзя так хандрить. Состаришься прежде времени. Я вот вчера у тебя на виске седой волос заметила. Посмотри в зеркало: на что похожа? желтая, вокруг глаз синева, pattes d'oie...* Когда это с тобою бывало?

— Годы, тетя.

— А! и не говори глупостей... какие твои годы! Просто распустилась и сама себя старишь.

— Не для кого молодиться-то...

— Для самой себя надо. Распустившая себя женщина никуда не годится. Красота — это женское здоровье. А ты знаешь: «здоровая душа в здоровом теле». Если женщина запустила без ухода свою красоту, у нее скоро и душа будет запущена...

— Мораль: если хочешь быть образцом добродетели, не отходи по целым дням от зеркала! — улыбнулась Людмила Александровна.

— Ну, вот хоть засмеялась, — и за то спасибо. А то я сама, глядя на тебя, чуть было не захандрила. Ты хоть на зайцев, в самом деле, смотрела бы: авось развеселят...

— Ох, тетя! «не милы мне ваши зайцы», — насильственно отшучивалась Людмила Александровна.

Втайне вопросы Елены Львовны заставляли ее трепетать.

Она размышляла:

— Если я даже от тети, в ее уединении, свободная от всяких подозрений, не в состоянии скрыть своего волнения, что же будет со мною в Москве? среди общества, возбужденного убийством одного из самых видных своих членов, страстно толкующего о подробностях преступления, жадно ожидающего поимки убийцы? Тетя, слепо преданная мне и менее всяких

* Морщинки у глаз... *(фр.)*

способная предположить на моей совести черное дело, и та замечает, что я не такая, как прежде! Моя вина написана у меня на лице, и каждый прочтет ее. Должен прочесть, не может не прочесть!

Так, мало-помалу, она дошла до боязни, что бегство ее было напрасно, что ей все равно не спастись от гибели, потому что она — хочет не хочет — выдаст себя, выдаст непременно... чем хитрее будет прятаться, тем легче попадется. Вот появится подозрение у кого-либо из знакомых, вот оно распространится в обществе, дойдет до следователя; вот сыщики шаг за шагом раскроют ее alibi... вот полиция придет к ней в дом, застанет ее среди семьи, возьмет, увезет... Позор! Позор!

Воображая подобные картины, Людмила Александровна чувствовала себя близко к сумасшествию. Говорят, будто убийц преследуют призраки погибших жертв, будто им слышится предсмертное хрипение, чудится кровь, текущая из свежих ран. С Людмилою не было так... Было проще и хуже. Она не испытала галлюцинаций, не видела и не слышала никаких пугающих чудес. Ее воображение не было расстроено. Голова работала нормально, рассудок не изменял. Но убийство Ревизанова стало теперь для Людмилы Александровны главным событием жизни, целиком заполнило и навсегда отравило ее память. Словно непроницаемая стена поднялась между нею и прошлым; что ни делала Людмила Александровна, что ни думала она, преступление неизбежно стояло рядом, на все бросая свою грозную тень — ядовитую тень анчара. Когда Верховская искала в прошлом каких-либо давних событий, слов, мыслей, — воспоминание давало желанные образы не прежде, чем мимоходом, заново осветив пред нею, как молниею, картину убийства. И только эта картина жила в ее памяти безвыходно и прочно. Все остальные лишь гостили в ней — скользили, пролетали и исчезали; а эта держалась и жила, ясная, назойливая, суровая, как проклятие, черная, как тюрьма. И когда уже не надо было вспоми-

нать, когда все воскресшие было образы опять уходили в даль, бледнели и угасали — одно лишь воспоминание... одно, ненужное, незваное, ненавистное чудовище — образ преступления — все не выходило из головы. Точно неумолимый ангел незримого мщения обвевал убийцу ледяными крылами, точно мертвый Ревизанов, невидимкою, неотступно следил за нею и, глядя прямо в ее душу, тихо, но внятно и беспрерывно звал ее к ответу... И Людмила Александровна, внимая беспощадно настойчивому зову, бледнела, путалась в мыслях и словах. А едва ей удавалось совладать с собою, являлась новая потребность воспоминания, — и вот опять блуждай в области недавнего ужаса, опять сталкивайся с роковою стеной, опять — в тысячный раз — переживай в одном мгновении все проклятие той ночи отчаяния!

«Так жить нельзя! это не жизнь и не смерть... Я умерла заживо и уже терплю загробные муки. Это чистилище какое-то! — терзалась Людмила Александровна в одиночестве своем, ломая холодный руки. — А между тем придется жить так, да, именно так, долго, долго... Зачем же затягивать срок невыносимой пытки, зачем не прекратить ее в самом начале? Стоит ли мне теперь жить? Человек, вздернутый палачом на дыбу, уже не думает о счастье жизни; его счастье — умереть, перестать чувствовать жизнь, потому что это значит перестать чувствовать боль. Ну вот и я на дыбе, и останусь висеть на ней, пока жива, пока сознаю себя... И ни в жизни, ни в самосознании мне больше нет просвета: самоистязание, боязнь самой себя, стыд, вечный трепет, вечная ложь, — вот вся моя будущность. Стоит ли, стоит ли жить ради подобного существовали, задыхаться и метаться в такой агонии? Не лучше ли, не проще ли, вместо долгого, медленного умирания по частям, изо дня в день, сразу убрать себя со света и, прежде чем заморит меня нравственная каторга стыда и страха, в какую теперь превратилось мое существование, умереть по своей воле?..»

Убить себя?.. Но слишком страшно было недавнее зрелище насильственной смерти, слишком тяжелою раною запечатлелось оно в сердце Людмилы Александровны: раньше ей не случалось видеть близко, как умирают, и процесс смерти исполнил ее ужасом, когда она убедилась на деле, как легко осуществляется, как близко стоит смерть к человеку, точно выжидая у судьбы дозволения и сигнала на него наброситься. Взмах руки, и нет живого существа, остается труп... И все кончено!

Кончено ли?.. А там... дальше? Темно там. Что будет в грозной темноте? Пустота? Уничтожение? Ни движения, ни мысли?.. А если нет? Если и точно — Бог? в самом деле — суд и новая жизнь души, без тела, но с земною памятью, со всеми, успевшими отразиться в ней, земными страстями и впечатлениями, жизнь проклятой среди проклятых, жизнь призрака среди призраков, в обществе того — убитого ею и отверженного, как она? Людмила Александровна — всегда верующая — в первый раз, однако, поняла вполне, всею душою, насколько сильна в ней вера в Бога, теперь — когда вообразила себя перед Его судом и ужаснулась его.

И жить страшно, и страшно умереть. Смерть кажется то избавлением от страданий, забвением земли, то, наоборот, лишь первым шагом к истинным мукам, лишь началом наказания за прожитое земное, не более как порогом настоящего, высшего возмездия, — а теперь еще, здесь, по сю сторону порога, тянется пока подготовка к нему, здесь только преддверие... И если так мучительно стоять в этом преддверии, каких же грозных тайн ждать, когда откроются пред нею самые двери?

Колеблясь в волнениях — то готовая и счастливая умереть, то боясь смерти, как непостижимого прожорливого чудовища с черною, широко разверстою в жадном ожидании пастью, Людмила Александровна сама не знала, вставая утром с постели, будет ли она жива к вечеру; ложилась в постель ввечеру, не уверенная, что «одр не станет ей гро-

бом». Жажда смерти подсказывала ей десятки планов, как легче, хитрее, искуснее убить себя, а жажда жизни горячо и насмешливо оспаривала все планы, доказывая их нелепую прозрачность: как все догадаются, из-за чего она покончила с собою, как выяснится связь между смертью ее и Ревизанова, и будет опозорена ее память, и на семью ее все-таки ляжет то самое пятно, от которого с таким самоотвержением защищала ее Людмила Александровна, чтобы избежать которого она и убила Ревизанова... И все-таки чем дальше длилась борьба, тем чаще и яснее победа оставалась за приманкою смерти. Так в зверинце, кролик, брошенный в клетку боа, цепенеет под его взглядом и — любя жизнь — против воли тянется, однако, весь дрожащий, к чарующему его змею, упирается, но идет к нему — с отчаянием, шаг за шагом, пока не исчезает в его голодной пасти. Из всех планов воображение Людмилы Александровны приковалось сильнее всего к одному: возвращаясь в Москву, она постарается, на ходу поезда, упасть под колеса так, чтобы все приняли ее падение за несчастный случай, чтобы не возникло никаких толков о самоубийстве. До отъезда оставалось двое суток. Страх смерти не смягчался в сердце Верховской: оно было стеснено, словно совсем перестало разжиматься. Но решимость умереть держалась твердо. Загробная бездна и пугала, и манила — но уже больше манила, чем пугала...

XXII

Поздно вечером, в канун отъезда Людмилы Александровны из деревни, Елена Львовна получила залежавшиеся на станции московские газеты.

— Ах, какой ужас! Чем кончил! Чем кончил! — воскликнула она, едва развернув «Русские ведомости» и просматривая первую же заметку московской хроники.

— В чем ужас? Кто кончил? — хрипло отозвалась Верховская, едва шевеля побелевшими губами: она поняла, что тетка нашла что-нибудь о смерти Ревизанова...

Елена Львовна прочла вслух довольно подробный отчет... У Верховской застучало в висках: отчет показался ей — подробно знающей, как в действительности было дело, — вдвое обстоятельнее, чем составил его репортер. Преступление считалось несомненно преднамеренным — газета называла его «тонко обдуманным делом ума и рук, закаленных в привычке к преступлению».

«Я пропала! Как много они уже знают! столько нитей оставлено, чтобы узнать все остальное!» — думала Верховская, страдальчески хмуря темные, мрачно сведенные одна к другой брови.

— Как ты бледна! — заметила Елена Львовна, передавая племяннице газету, — да и как не побледнеть?! Словно призрак из старого, забытого прошлого пронесся перед глазами. И в какой обстановке! Это страшно, Людмила! Дурной он был человек, а все же жаль... Упокой Господь его грешную душу! А земле он больше ничего не должен: за все расплатился своею кровью...

Верховская не слушала, приковавшись глазами к postscriptum'у отчета:

> Подозрение лиц, близких покойному, предугадывает виновницу этого, небывалого по дерзости, убийства в особе, довольно известной кругу наших спортсменов, как звездочке, одновременно освещающей горизонты местного цирка и demi monde'a...* Особа эта пользовалась до последнего времени благосклонностью покойного, но за несколько дней до убийства между ними произошла крупная ссора, завершившаяся полным разрывом. Таким образом, мы, по-видимому, имеем в перспективе дело с интересною романической подкладкой. Подозреваемая узнана швейцаром отеля и уже арестована.

Итак, за нее может ответить другая женщина? Стоит ей промолчать, и эта... кто она? Верховская даже имени

* Полусвета... *(фр.)*

не знала, кого судьба бросает, вместо нее, под меч закона! — и эта незнакомка займет ее место на скамье подсудимых. Как все удобно и хорошо слагается! И снова, впервые после ночи убийства — несчастной, безумной, преступной женщине вздохнулось широко и легко, точно волна в нее хлынула!.. Но вздохнула, — и задохнулась вздохом... Молчать? Но ведь теперь молчать будет новым преступлением и хуже, в тысячу раз хуже первого. Ревизанова она убила по праву... нет, не по праву: права убивать ближнего нет у человека... Но если не по праву, то по естественному инстинкту — в отмщение за злую вину — и какую! Больше, чем он, не может быть виноват мужчина перед женщиною.

«Он нападал — я защищалась. Он сулил сделать мне всякое зло, на какое способна любовь, обратившаяся в ненависть, и сделал. Он осквернил меня, поработил, оторвал от семьи, от детей... Его стоило убить, да и то я убила лишь выведенная из себя до последнего, лишенная всякого самообладания, не помня себя, в отчаянии, потеряв самосознание, почти озверенная... А тут... сознательно предать на суд, позор и, может быть, осуждение невинную! Я даже не знаю, я никогда не видала ее, я даже имени, имени ее не знаю! Послать на страдание первую встречную — хладнокровно, без всякой вражды и злобы... Только потому, что пусть лучше другая страдает, чем я... Какая гадость! Какой жестокий звериный эгоизм!»

И то стыд делался в ней сильнее страха, то страх сильнее стыда. Она, как герой скандинавской сказки, стояла в бессильном раздумье, слушая, как две птицы — черная и белая — поют ей песни — одна злую, другая добрую; одна — учит самосохранению, другая — долгу и человеколюбию. Черная птица ей пела:

— Завтра ты умрешь... Страшнее смерти нет ничего на свете, но и у нее есть доброе качество: она все заглаживает

и искупает. Кто умер, тот прав. Ты умрешь и тоже будешь права: ты расплатилась за себя. Неужели ты думаешь — твоя смерть недостаточная цена для выкупа и прежнего, и нового позора? Ведь не убьют же ее, эту незнакомку: ну, накажут, сошлют, да и то еще объяснят убийство ревностью, аффектом, смягчат приговор, пожалуй, еще совсем оправдают... Да если и осудят, все-таки жизнь-то, жизнь ей останется, жизнь, что всего дороже; а ведь ты умрешь. Неужели этого мало? Полно! это самоискушение! это бред!

Белая птица возражала:

— Все так. Но зачем же ты сама-то предпочитаешь даже смерть той жизни, какая ждет эту несчастную? Зачем тогда умирать: живи, как придется жить ей, и наслаждайся этою жизнью. Или, по-твоему суждению, жизнь — бесчестная для тебя — годится для нее? Ведь она — пишут газеты — падшая: камелия, самка, тварь... И вот ты, счастливая преступница, ты умрешь «от случая», оплакиваемая, уважаемая, тебя похоронят с честью, незаслуженные похвалы и лесть раздадутся над могилой. А вся грязь, весь позор и ужас твоего дела, должные поразить тебя и только неправым счастьем, случайной, фальшивой подтасовкой обстоятельств, отвлеченные от твоей головы, обрушатся на ту — невинную! Ну что же? спасай себя и убивай ее! ей ведь все равно — не привыкать к позору. Она камелия, самка, тварь, — что ей? уж заодно пусть идет и в каторгу... так ведь? не правда ли? И ты еще судишь! ты, продажная, как и она! ты... убийца.

XXIII

Людмила Александровна изменила свой план. Она села в вагон с твердым решением: «Я убью себя, но сперва объявлю свое преступление».

«Куда же идти мне? — размышляла Верховская, стоя в ожидании своих вещей, попавших в руки довольно неповоротливого артельщика, на платформе московского вокзала. — К судебному следователю. Кто он и где он живет?»

Она не знала.

Просто взять и подойти к первому городовому или вот хоть к этому бравому жандарму в медалях, который так важно и сурово расхаживает по платформе, и объявить ему: «Я убийца». Он, конечно, отведет ее в участок, но прежде поднимется шум, сберется народ.

Каин сказал Богу: «От имени Твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». В Людмиле Александровне проснулось наследие Каина: родился обычный недуг преступников — страх людей. Она живо вообразила: народ, при слове «убийца», озлобится, бросится на нее, станет бить — как знать, — пожалуй, истерзает, разорвет в куски... А то другое: ни городовой, ни народ не поверят ей, сочтут ее пьяною или сумасшедшею, будут глумиться, хохотать. Нет! все, кроме уличной сцены; все, кроме толпы-свидетельницы! Еще она боялась, что, если ей не поверят по первому признанию, у нее не достанет духа повторить его еще раз, — кроме личного признания, у нее нет улик на себя, и ее отпустят со срамом и советами лечиться. Ведь каждый раз, когда оглашается громкое преступление, находится столько мнимых преступников, воображающих, будто именно они-то его и совершили. Затем: если ей поверят и арестуют ее, как избегнуть суда? Как исполнить задуманное самоубийство? Ее посадят в одиночную, под караул: там не добыть ни ножа, ни револьвера, ни яду, ни веревки. Голодом разве покончить с собою? А хватит ли энергии на такую пытку? Эта желанная смерть так грозна: мигом, закрыв глаза, очертя голову, можно — хоть и с отчаянием в сердце — броситься в ее объятия. Но смотреть ей в лицо день за днем, из часа в час, из минуты в минуту... нет, не достанет сил!

Артельщик привел Верховской извозчика. Она нерешительно села в сани и задумалась,

— Куда прикажете ехать? — нетерпеливо спросил извозчик.

Людмила Александровна сообразила, что он спрашивает ее уже не в первый раз, а она, в рассеянности, не отвечает, сконфузилась и заторопилась, — с губ ее сорвался адрес ее квартиры.

Дома никого не было, кроме прислуги. Степан Ильич еще не приходил из банка, дети учились.

Верховская одиноко бродила по пустой квартире, и все страшнее и страшнее становилась ей судьба ее, и жалость утратить дар жизни кралась в ее сердце тоскующею и ласковою змейкою. Она вошла в детскую; здесь каждая вещь наводила ее на воспоминания. Вот эту чернильницу подарила она Лиде, когда та перешла из седьмого класса в шестой, эту куклу — Леле, на именины. Как девочка была рада! Забыла, что уже хочет казаться взрослою барышней, — ей тогда исполнилось тринадцать лет, — кричала, прыгала, как коза...

Кабинет мужа, изящная, уютная комната... Восемнадцать лет тому назад Людмила Александровна, войдя в дом молодою хозяйкою, сама распорядилась здесь размещением мебели, книжных полок, картин, и Степану Ильичу так понравились устроенные женою уют и порядок, что ни одна вещь в этом красивом гнездышке не переменила своего места с того времени; что ветшало, — поправлялось или заменялось новым, но порядок оставался тот же. Все те же декорации счастья, а самое счастье разбито; все то же тело, все те же формы домашнего кумира, хотя одушевлявшая его добрая сила угасла и померкла, ласковый гений любви и покоя отлетел.

Привычная атмосфера семейной тишины, довольства и мира охватила Верховскую и своею мягкою прелестью гнала из души суровую решимость.

«Восемнадцать лет создавать себе счастье, создать и самой разрушить его! Ужасно!.. Ужасно!.. За что?!»

Часы указали Людмиле Александровне близость возвращения мужа и детей.

«Господи! Вот они вбегут в комнаты... обрадуются, зашумят, а я первым словом в ответ на их ласки: прости меня, Степан! простите, дети! Я опозорила вас, я — убийца Ревизанова!.. Побледнеют розовые личики детей, умолкнет резвый смех. «Мама! мама! что ты с собою, что ты с нами сделала?!.» И опять — за что? за что?»

Закрыв глаза, она все-таки продолжала мысленными очами видеть перед собою их — свою семью; они разбежались от нее, прижались по углам, и она стоит одна среди кабинета, бессильная, покинутая, жалкая.

«Но ведь будет всего один миг страдания: выстрел вот из этого револьвера, что лежит на столе у Степана Ильича, и я еще не успею оценить своего несчастья и сиротства, а пуля уже пробьет мое сердце: я не промахнусь...

А если промахнусь? Если затем последует не смерть, а только болезнь? Преступная и больная! Разбитая душа в разбитом теле... Отравленная совесть в израненной груди! Нет, лучше покончить теперь, без детей; спокойно, не торопясь, написать записку Степану Ильичу и...»

Она взялась за перо и снова оставила его, обуянная новым сомнением. Сомнения нарождались так быстро, в такой частой смене и овладевали ею так повелительно, что она терялась, — которое из них слушать. Едва нарастало одно, как из-за него уже выдвигалось черною тучею другое — и закрывало первое, заставляя забыть о нем своею новою внушительною важностью.

«А если они не поверят мне? У меня нет доказательств на себя. Теперь в ходу объяснять всякую странность аффектом, внезапным острым помешательством. Наконец, если и поверят, кто поручится мне — даст ли Степан Ильич ход

записке, захочет ли он принять позор на свое имя? Он человек гуманный, честный, но — разве я не скрыла бы его преступления, будь он на моем месте? А ведь и про меня говорили, что я гуманная и честная!.. Уничтожить клочок бумаги недолго и нетрудно, и тогда та несчастная...»

Дети пришли.

Они ворвались, как и ожидала Людмила Александровна, шумно, радостно. Леля кричала: «Мама! Мама! Милая! солнышко!» и висла у матери на шее. И мать инстинктивно прижимала ее к своему сердцу.

«Я мараю ее своим прикосновением! — скользнула ядовитая мысль в ее уме, но другая ответила: ну и пусть мараю, но я слишком ее люблю, я не властна не ласкать ее».

И она не оттолкнула девочку от себя и, осыпая ее ласками, одно мгновение ничего не помнила, кроме этих детей и долгого счастья, какое до сих пор давали они ей, а она им. А когда она опомнилась от восторгов первой встречи, было уже поздно. Она снова испытала на одну минуту, чем сладка жизнь, и радость семьи заглушила в ней голос справедливости. Долг смерти ушел куда-то далеко — во мрак, его породивший. Жизнь победила.

XXIV

Леони доказала свое alibi, и ее оставили в покое. Это отчасти умиротворило совесть Людмилы Александровны. Оставалось жить.

Жить — для семейного счастья, едва не ускользнувшего от нее. Она успела удержаться за край его — успела ценою малодушия, подлости, едва не перешедшей в новое преступление. Теперь надо было сберечь его. Оно могло рухнуть только с раскрытием тайны убийства. В относительно спокойные, рассудочные минуты, взвешивая свое

положение, Верховская обстоятельно доказывала себе, что, если она сама не выдаст себя, убийство Ревизанова останется навсегда загадкою. А между тем тайная боязнь быть выслеженною всегда жила в ней, и охранение себя от этой опасности стало господствующей идеей всей ее жизни. Не судили люди — она судила себя сама. Не уличал суд — сама себя уличала и казнила. Кто-то сказал: если человек хочет сделать свою жизнь постылою, пусть наполнит ее, вместо всякого другого содержания, трепетом за свое существование и заботами самосохранения. Людмила Александровна тяжелым опытом проверяла справедливость этой мысли.

Подобно тому, как раньше преступление отравило ей прошлое и лишило ее воспоминаний, теперь оно мстило ей уже и в настоящем, просочившись незримым ядом в каждую подробность ее жизни. Вначале она ни словом не заикалась об убийстве, ставшем надолго и прочно предметом толков всей столицы; но когда она бралась за газету она думала: «Нет ли новых известий по моему делу?» Когда спрашивала гостя: «Что нового?» — она и боялась, и ждала слышать новый акт или хоть явление следственной драмы. И если ей удавалось разузнать что-либо, ее воображение начинало работать над дальнейшими шагами следствия, вкрадчиво лепя сцену за сценой, подробность за подробностью. Так как она знала весь ход дела с начала до конца, то инстинктивно подсказывала себе эти шаги и терялась при сознании кажущейся легкости, с какою, по-видимому, раскрывалось преступление. Она забывала, что следователь, если даже попадет на прямой путь, как она сама вела розыск в своем воображении, все-таки будет идти по нем с закрытыми глазами, на ощупь, и — сто шансов против одного, что ничего не добьется.

Она почти не спала. «Макбет зарезал сон, души отраду, но с этих пор не спать уже Гламису, не спать убийце». Целые

ночи пролеживала она навзничь, с широко открытыми во тьме глазами, и перед нею мелькали то призраки кровавого прошлого, то неутешительные образы будущего. К утру она доходила до такого возбуждения, что, проснись Степан Ильич и спроси жену: «Отчего ты не спишь?» — Людмила Александровна рассказала бы ему все. Но он не спрашивал, а только жалел ее за бессонницу да советовал лечиться.

Она начала интересоваться чужими преступлениями, потому что хотела знать, как вели себя другие в ее положении. Она перечитала десятки уголовных процессов. Везде и всегда убийцы запутывали свои следы, как могли и умели, и все-таки их выслеживали, судили, карали. Она читала дела, обставленные настолько ловко, что ее преступление казалось детски-простым в сравнении с ними, а все-таки герои этих дел шли на эшафот, на галеры, в каторгу — и чем больше читала, тем более уверялась она, что и ее рано или поздно откроют.

Елена Львовна, в бытность Людмилы Александровны в деревне, заметила своим материнским оком, что с племянницею творится что-то недоброе. Замечали это и домашние. В письмах от Верховских Елена Львовна читала неясное недовольство чем-то — словно все смущенно скрывают нечто непривычное и неприятное.

— Перессорились они там, что ли, все? да из-за чего им? — недоумевала старуха, — или, сохрани Бог, не худо ли пошли дела у Степана Ильича?

Не желая мучиться беспокойством за близких и любимых людей, она собралась — кстати, надо было и по делам — в Москву.

Дом Верховских она застала действительно в полном расстройстве — точно обезматочивший улей. Поведение Людмилы Александровны в последние дни было настолько необычно, слова ее и действия носили неизменный отпеча-

ток такой раздражительной и беспричинной нервности, что муж и дети начали подозревать в ней серьезную, если не психическую, то нервную болезнь.

— И давно, Лидочка, началось это? — пытала Елена Львовна старшую дочку Верховской.

— С того самого дня, как мама вернулась от вас, бабушка. Она приехала с вокзала и никого не застала дома: мы с Лелей были в гимназии, Митя тоже, папа на службе, в банке. Приходим, — обрадовались, стали ее целовать, обнимать, тормошить, и она тоже рада, целует нас, а потом бух!.. упала на ковер: истерика! Хохочет, плачет, говорит бессвязно... Больше двух часов не приходила в себя... Раньше этого никогда не было.

— В детстве случалось, — задумчиво заметила Елена Львовна, очень удивленная тем, что слышала: так мало было это в характере Верховской.

Ей случалось много раз видать Людмилу Александровну в трудные и печальные минуты ее жизни? когда опасно болели дети, когда, после одного колебания бумаг на бирже, Степан Ильич едва не потерял всего состояния, и всегда она поражалась самообладанием племянницы.

— Ты, Людмила, прелесть, когда беда над головою, — говорила она Верховской, — молодец-женщина. У тебя не нервы, а веревки! Жаль, что женщинам не дают орденов, а то уж выхлопотала бы я тебе «георгия» за храбрость.

Лида продолжала:

— Вот с этого дня и нашло на маму. Ничем не можем угодить на нее: такая стала непостоянная. Приласкаешься к ней, — недовольна: оставь, не надоедай; ты меня утомляешь!.. Оставишь ее в покое, — обижается: ты меня не любишь, ты неблагодарная!.. Вы все неблагодарные! Если бы вы понимали все, что я для вас делаю... Неблагодарностью она всего чаще нас попрекает, — а разве мы неблагодарные? Мы на маму только что не молимся... Истери-

ки у мамы каждый день... Но уж вчера было хуже всех дней: досталось от мамы и нам, и папе... И ведь из-за каких пустяков! Митя без спросу ушел в гости к Петру Дмитриевичу. Ах! разлюбила мама, совсем разлюбила Петра Дмитриевича! И в чем только он мог провиниться, — не понимаю!.. Встречает его холодно, молчит при нем, едва отвечает на вопросы. А нам без него скучно: он веселый, смешной, добрый...

Митя жаловался:

— Намедни, на именины, Петр Дмитриевич подарил мне револьвер, — тоже что было шума!

Елена Львовна улыбнулась.

— Ну, револьвер-то тебе и в самом деле лишний. Еще застрелишь себя нечаянно.

— Помилуйте, бабушка! Маленький я, что ли? Да я в тире пулю на пулю сажаю... Весь класс спросите. И маме известно. Совсем не потому!

— Раньше мама сама обещала ему подарить, — вставила Лида.

Митя подхватил:

— А тут рассердилась, что от Петра Дмитриевича, и отняла.

— В стол к себе заперла, — пояснила Лида. — Тоже говорит, что он себя застрелит.

— А я пулю на пулю... Вы, бабушка, попросите, чтобы отдала. А то я всему классу рассказал, что у меня револьвер... дразнить станут, что хвастаю. Да, наконец, не век мне быть гимназистом... Какой же я буду студент, если без револьвера?

XXV

Антипатия Людмилы Александровны к Синёву развилась с того дня, как умер следователь по особо важным

делам, который первоначально вел дело об убийстве Ревизанова, и оно перешло к веселому родственнику Верховских. Он взялся за следствие горячо и рьяно, но вскоре — бесполезно прогулявшись по нескольким ложным следам — впал в уныние.

— Иссушило меня это проклятое следствие! — жаловался он у Верховских. — Скажу вам: просто фантастическое дело! Ничего с ним не поделаешь: глупо, просто и, именно благодаря простоте и глупости, непроницаемо. Когда убийца хитрит и мудрит, он хоть какие-нибудь следы оставит, хоть в чем-нибудь прорвется. А тут — ничего! какая-то mademoiselle X. Y. Z. пришла, переночевала, воткнула человеку нож между ребер и затем преспокойно ушла. Не только не пряталась, но еще остановилась — дала рубль серебра швейцару. Нашли извозчика, с которым она уехала из гостиницы. И швейцар, и извозчик одинаково описывают ее наружность: Леони, вылитая Леони... И, однако, это была не она! Кто же? Черт знает что такое! Какой-то сатана в юбке или — чтобы быть вежливым с дамами, так как она хоть и прирезала Ревизанова, а все же дама, — скажем: Азраил, ангел смерти, в модной шляпке под вуалем...

— И вы точно потеряли всякую надежду открыть убийцу?

— Решительно. А славный бы случай отличиться. Выслужился бы!

Слова эти больно укололи Людмилу Александровну.

— Выслужиться чужою гибелью, чужим позором! Я считала вас добрее, Петр Дмитриевич! — сказала она, а думала про себя: «Не чужою — моею гибелью, не чужим — моим позором собираешься ты выслуживаться, мальчишка!»

Синёв оправдывался:

— Что же мне прикажете делать, если мое рукомесло такое — чтобы «ташшить и не пушшать»... Да где там? не выслужишься! это дело — такая путаница, что сам Вельзевул ногу сломит. Вы поймите: ушла она из гостиницы...

Людмила Александровна гневно остановила его:

— Петр Дмитриевич! вы уже двадцать раз терзали мои нервы этою трагедией... пощадите от двадцать первого...

— Вот! слышите, тетушка, как она меня піявит? — пожаловался следователь Елене Львовне, сконфуженно разводя руками.

Старуха вступилась за Петра Дмитриевича.

— Милочка! потерпи, сделай милость: пусть расскажет... я-то ведь еще ничего не слыхала, мне интересно.

Синёв весело вскочил с места.

— Людмила Александровна! высшая инстанция разрешает: я начинаю. Итак, mesdames, сообразите: ушла она из гостиницы...

Но Людмила Александровна с гневом встала с места.

— Как вы скучны! — и, резко двинув стулом, порывисто вышла из комнаты.

— Теперь уж, тетушка, не я, а вы виноваты... — пробормотал, смущенный этою выходкою, следователь.

Но Елена Львовна заставила его продолжать рассказ.

— Да!.. Ну-с, так вот: ушла она из гостиницы, — точно стакан воды выпила, села в сани — и поминай как звали! Извозчика мы замучили допросами, а толку нет. «Довез, — говорит, — барышню до дома Лазарика на Петровке». Вошла в ворота, и — как в воду канула! Двор-то проходной, в нем тысячи три народа живет, и народ все неважный: пролетарии, проститутки. Извозчик так и объясняет. Мы его спрашивали: «Не показалась ли, мол, тебе эта барышня странною — испуганною, взволнованною, что ли?» — «Нет, — говорит, — ничего, я — как дело было по раннему, то есть, времени — так полагал, что гулящая... домой от полюбовника едет». Черт знает! иной раз мне становится досадно, что мы так легко отпустили эту Леони. Положим, она-то лично невиновна, но, может быть, есть за нею все-таки хоть какая-нибудь ни-

точка прикосновенности — малюсенькая, малюсенькая... А мне только бы за что-нибудь уцепиться.

— Леони... Вы часто поминаете это имя... это кто же такая?

— Француженка, содержанка покойного. Он сам говорил мне в тот вечер, что ждет ее ужинать tête-á-tête... «Мы, — говорит, — в ссоре, надо помириться...» Вот тебе и помирились!

— В чем же вы затрудняетесь? Ваши подозрения...

— Гроша медного не стоят. Леони, как дважды два — четыре, доказала свое alibi. Она и не думала быть у Ревизанова, — он тут наврал что-то. Леони кутила всю ночь напролет в Стрельне с развеселой компанией — пальмы рубили, зеркала били, лошадей шампанским поили, — все, как водится. Потом... ну, да, одним словом, мне известен весь ее curriculum vitae * до двенадцати часов утра шестого октября, когда Ревизанова нашли... готовым...

— Шестого? Это когда Людмила ко мне приехала? — раздумчиво спросила Алимова.

Петр Дмитриевич поправил:

— Виноват: она приехала к вам накануне — пятого.

— Шестого, Петр Дмитриевич! я отлично помню.

— Уверяю вас: ошибаетесь! Я сам провожал Людмилу Александровну на вокзал, оттуда поехал в «Эрмитаж», встретил Ревизанова и запутался с ним на целый вечер... А ночью вся эта штука и случилась!

Елена Львовна долго молчала. Она отлично знала, что права, но природная осторожность инстинктивно удержала ее от спора.

— Может быть... — согласилась она. — Да, да! конечно, вы правы. Память иногда мне изменяет. Старость — не радость.

А сама думала:

---

* Бег жизни *(лат.)*, здесь: распорядок дня.

«Никогда мне не изменяет память, и Людмила приехала ко мне шестого, а не пятого... Странно, странно!.. Надо выяснить, что это значит и где, — если не у меня, — могла она быть? Неужели у нее — бес вступил в ребро, и Людмила, моя Людмила, стала пошаливать от старого мужа? Не может быть... А впрочем — что мудреного? Женщина еще молодая, здоровая... Да еще Липка вечно при ней вертится... хороший пример для замужней женщины, нечего сказать. Ох, эта Липка! Много крови испортила она мне в моей жизни...»

XXVI

Встречи с Синёвым сделались для Людмилы Александровны тяжелою пыткою. Она и ненавидела его, и тянуло ее к разговорам с ним. Так тянет человека ходить по краю пропасти, хотя оборваться в нее для него страшнее всего на свете. И между ними лежала, действительно, пропасть, хотя знала о ее существовании одна Людмила Александровна, а Синёву и в голову не приходило ее подозревать. Уже при одном виде, при первом появлении Петра Дмитриевича в ее гостиной, бешенство загоралось где-то в глубине сердца Людмилы Александровны. Ей стоило больших усилий сдерживать себя и улыбаться Синёву, между тем как она вся пылала желанием броситься, вцепиться ногтями в его лицо и крикнуть:

— Выслуживайся, негодяй! Это я, я убила твоего Ревизанова!

И чем больше она замечала, что ненавидит Петра Дмитриевича несправедливо, чем больше стыдилась своей несправедливости, тем грознее разрасталось в ней, вопреки собственному ее желанию, чувство обиды и неприязни, инстинктивная антипатия преследуемой к преследую-

щему, волка к гончей. Синёв ничего не замечал. Честный малый по-прежнему дружески относился к кузине, и они не раз еще беседовали, в числе других эпизодов его службы, и о ревизановском деле. Верховская выслушивала предположения Синёва, и все они представлялись ей нелепыми, натянутыми, потому что она слишком хорошо знала истину. Однажды ее охватила безумная дерзость. Она сказала Синёву:

— Вы, Петр Дмитриевич, говорите, будто это дело трудно именно потому, что просто и глупо. А вы попробуйте взглянуть на него, как не на вовсе дурацкое и случайное.

— То есть ввести в дело фантастического убийцу, чуть не по профессии, bravo* в юбке, Спарафучиле женского пола? Мой предшественник уже потерпел фиаско на этом предположении. Нет, нет. Вообще, я чем больше вглядываюсь в обстоятельства убийства, тем дальше отстраняю от себя предположение преднамеренности, которого держался раньше. Это убийство внезапное, случайное — из ревности, из мести, по самозащите... ведь — извините! — свинья был покойник, не тем будь помянут!.. но не подготовленное. Не знаю, зачем шла эта дама к Ревизанову, — для свидания или для разрыва, — но, несомненно, не с тем, чтобы убивать, и убила неожиданно для себя. Она и оружия-то с собою не принесла. Заколола его стилетом, который забыла в его спальне Леони.

— Я с вами согласна, — глухо отозвалась Людмила Александровна, потупив глаза, чтобы не выдать себя их диким блеском, — мне тоже кажется, что убийство это было делом, скорее, случая... может быть, необходимого, фатального, но все же случая, а не злого намерения... У вас, Петр Дмитриевич, нет твердой почвы под ногами, — вам все равно прихо-

---

* Наемный убийца, килер *(фр.)*.

дится бродить в тумане предположений. Хотите, — вместе? Хотите, я расскажу вам, как я предполагаю это убийство?

— Сделайте одолжение... это очень интересно...

— Тогда слушайте. Вы знаете, что за человек был Ревизанов, — сами сейчас сказали. Знаете, как оскорблял и унижал он людей — и больше всех именно женщин... он относился к ним, как к рабыням, как к самкам, как укротитель к своему зверинцу, — опять же вы сами это говорите. Представьте теперь, что одна из его жертв бунтует. Она переутомлена изысканностью его издевательств, довольно их с нее. Но он неумолим, — именно потому, что она бунтует, что она смеет бороться против его власти. И он — не по любви... о нет! а просто по скверному чувству: ты моя раба, я твой царь и Бог, — гнет ее к земле, душит, отравляет ей каждую минуту жизни, держит ее под постоянным страхом... ну, хоть своих разоблачений, что ли. Представьте себе, что она — женщина семейная, уважаемая... и вот ей приходится при этом негодяе быть наложницею... хуже уличной женщины... ненавидеть и принадлежать... поймите, оцените это! И она хитрит с ним, покоряется ему, назначает свидание... и на свидании чаша ее терпения переполняется... и она убила его, а обстоятельства помогли ей скрыться. Что же, по-вашему, — когда вы знаете Ревизанова, — не могло так быть? не могла убить Ревизанова такая женщина? — женщина хотя бы вроде той несчастной, о которой когда-то вы сами рассказывали нам — при самом же Ревизанове — подобную же печальную историю?

Необычайно страстный тон Людмилы Александровны заинтересовал Синёва.

«Что с нею? — подумал он, и сам же себе ответил: — Эко развинтила себе нервы барыня! Ни о чем не может говорить спокойно».

— Что же? — настаивала Людмила Александровна.

Синёв пожал плечами.

— Это невозможно!

— Почему же?

— Да потому, что это французский роман... Какой же убийца — не профессиональный, конечно...

Верховская улыбнулась с сомнением.

— Как будто есть профессиональные убийцы!

— Есть, Людмила Александровна, в этом вы не сомневайтесь... Редко, но есть. Свет, голубушка, винегрет, составленный из весьма разнообразной гадости. Какой же убийца сумеет так хладнокровно рассуждать и действовать в виду своей окровавленной жертвы? Эх, Людмила Александровна! злодейства легки только у Ксавье де Монтепена, а на самом деле, — вы понимаете: я могу быть судьей по этой части, у меня в переделке, ух какие соколы бывали! — а на самом деле редкий злодей, свершив убийство, не теряется хоть на несколько мгновений до панического страха. Мне многие признавались, что первое побуждение после убийства — бежать. Бежать без оглядки, без смысла, без цели, лишь бы бежать! И с этим побуждением приходится серьезно считаться, даже бороться.

Верховская устремила на Петра Дмитриевича загадочный взгляд.

— Ну, а Раскольников? — сказала она. — Думаю, что Достоевский не хуже вас знал душу преступника... Что же? преступление Раскольникова, по-вашему, было дурно задумано и исполнено? и... и скрыто?

— А чем же хорошо-то, если человек в конце концов сам пришел с повинною и, заметьте, не по доброй воле, а загнанный, как волк, по пятам — хорошим следователем-психологом? Нет, Людмила Александровна! Русские интеллигентные убийцы еще умеют иногда обдумать и ловко исполнить преступление, но укрыватели они совсем плохие. Совестливы уж очень. Следствие их не съест — сами себя съедят.

Людмила Александровна уже не слушала его. Она думала: «А я скрыла... ловко, рассудочно, расчетливо скрыла... и ни за что никогда себя не выдам... Ищи, ищи! за то тебе жалованье платят, чтобы ловить ветер в поле».

Но рядом с этою — торжествующею — ее томила другая, болезненная мысль: «Да что же значит это мое проклятое или благословенное, — уж сама не знаю, — самообладание? Как? неужели он прав? неужели я холоднее — значит, хуже, безнравственнее, подле всех убийц? Я? А!..»

И взгляд ее делался все острее и холоднее. И, презрительно усмехаясь, она прервала следователя язвительными словами:

— У вас мало фантазии; в вашем деле это большой порок. Вы никогда не выслужитесь, Петр Дмитриевич.

— Боюсь, что так, — печально сказал он.

XXVII

У Верховских были гости. В числе их Сердецкий. Писательским чутьем своим он угадал напряженную нервную атмосферу, сгустившуюся в их отравленном тайным ядом доме, и ему стало душно, как всегда душно здоровому, беспечальному человеку среди больных — жертв эпидемии, все равно: телесной или душевной. Он печально приглядывался своими орлиными глазами к хозяйке дома: давно знакомое, милое лицо Людмилы Александровны казалось ему новым, словно он впервые ее видел.

«Как ее перевернуло! — думал он, — что с нею? о, сколько в ней горя и обиды! И откуда взялось оно? кажется, все в порядке... а между тем — Боже мой, ведь это живая покойница. И это она, именно она — никто другой — очаг заразы уныния, которую я чувствую здесь в воздухе...»

— Здорова ли мама? — шепотом спросил он проходившего мимо Митю, притягивая его к себе за руку.

— Кажется, здорова... — возразил мальчик нерешительно.

— Да? А по-моему, дружок, нет и даже очень нет.

Митя замялся.

— Да и мы так думаем, Аркадий Николаевич, — шепнул он, — только ничего не можем поделать с мамою. Она и слышать не хочет, что больна. До того дошло, что — спросишь: здорова ты? — сердится, вся вспыхнет... Вчера даже прикрикнула на меня: «Нечего мною заниматься! умру, — успеете похоронить...» Эх!.. меня так и перевернуло: второй день забыть не могу...

Сердецкий выпустил руку юноши и обратился к женскому обществу, привлеченный частым упоминанием его имени.

— Ты не читала последнего роман Аркадия Николаевича? — удивлялась Олимпиада Алексеевна. — О, чудное чудо! о, дивное диво! Как же это сделалось? Прежде ты знала все его произведения еще в корректуре... за полчаса до пожара, что называется. Уж на что я лентяйка, а как только увидала в газетах имя Аркадия Николаевича, сейчас же послала в библиотеку за журналом.

— Не успела, — защищалась Людмила Александровна, — я в последнее время почти ничего не читаю... времени нет.

— Помилуй! — уличила ее Ратисова, — в твоем будуаре целые горы книг. И знаешь ли? Я удивляюсь твоему вкусу. Дело Ласенера, дело Тропмана, Ландсберга, Сарры Беккер, — что тебе за охота волновать свое воображение такими ужасами? Брр... брр... брр... меня бы все эти покойники по ночам кусать приходили!

— Вот начитаетесь всяких страстей, а потом и не спите по ночам, — нравоучительно вставил Синёв.

Верховская резко обернулась к нему.

— Кто вам сказал, что я не сплю по ночам?

— Степан Ильич, конечно.

Людмила Александровна закусила губу; щеки ее разгорались, глаза забегали...

— Степан Ильич сам не знает, что говорит. Ему нравится воображать меня больной, и в своих заботах о моем здоровье он так скучен, так надоедлив...

— Но зачем же горячиться, Милочка? — остановила ее Елена Львовна.

Синёв, который нахмурился было, расправил брови, махнул рукою и засмеялся.

— Вот-с, не угодно ли вам полюбоваться? — пожаловался он полушепотом Сердецкому, — теперь она со мною всегда этак-то, в таком милом тоне.

Людмила Александровна услыхала и подошла к ним.

— Что вы сочиняете? — искусственно удивилась она.

Синёв даже руками всплеснул.

— Сочиняю? Нет, извините. Жаловаться так жаловаться. Мне от вас житья нет. Вы на меня смотрите, как строфокамил на мышь пустыни: ам! — и нет меня!.. Главное, ума не приложу: за что?.. Ведь я невинен, как новорожденный кролик! Думал сперва: за Митю. Каюсь, Аркадий Николаевич, — виноват: поддразнивал Вениамина Людмилы Александровны. Липочка вздумала, видите ли, строить ему глазки... ну как же было мне не распустить язык по такому соблазнительному случаю?

Людмила Александровна обрадовалась, что он сам подсказывает ей путь, как выйти из затруднения.

— А мне было неприятно, — мальчик впечатлительный, с мягким сердцем, увлекающийся... — уже кротче заметила она. — Зачем портить его? волновать его воображение, вбивать в голову Бог знает что...

— Кузина! Вы имеете резон. Но я вам давным-давно принес публичное покаяние по этой части и вот уже два месяца, как держу свой язык на привязи. Больше того: сам же усове-

щивал Липу, чтобы она не совращала юношу с тропы классического благоразумия... Олимпиада Алексеевна! неувядаемая тетушка! — вскричал он, — пожалуйте сюда. Засвидетельствуйте, какими филиппиками громил я вас в последний раз, за завтраком...

— И сколько красного вина при этом выпил! ужас! — откликнулась Ратисова.

— Ага! Вы слышали, афиняне?! Помилуйте! До того ли мне теперь? Что мне Гекуба и что я Гекубе? Ревизановское дело поглотило меня целиком, как кит Иону.

Олимпиада Алексеевна зажала уши.

— Ах, ради Бога, не надо об этом деле... его слишком, слишком много в этом доме.

Людмила Александровна ответила ей мертвым, потерянным взглядом:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Олимпиада Алексеевна права, — вмешалась Елена Львовна. — Я вполне понимаю, что смерть человека издавна знакомого, да еще такая внезапная... ведь, кажется — он еще накануне обедал у вас, господа? — может на некоторое время выбить круг его друзей и знакомых из обычной колеи. Но всякому интересу бывает предел; иначе он переходит уже в болезненную нервность...

— И ее-то вы находите во мне? — засмеялась Верховская, — успокойтесь: дело меня интересует, но не до такой степени, как вы воображаете.

— Ну, это — как тебе сказать? — усомнилась Ратисова. — Оглянись: твой дом полон этим делом; я видела твои газеты; ты отметила в них красным карандашом все, что касается ревизановского убийства. Знакомые приезжают к вам словно для того только, чтобы говорить о Ревизанове; о чем бы ни начался разговор, ты в конце концов сводишь его к этой ужасной теме.

Людмила Александровна спокойно возразила:

— Однако сейчас свела его ты, а не я. А интересом к этому делу меня заразил Петр Дмитриевич. Сам же он, на первых шагах, все советовался со мною.

— Что правда, то правда, — слегка смутился Синёв.

«Эта толстая Олимпиада, в сущности, права, — размышлял Сердецкий, едучи от Верховских к себе на Девичье поле. — Ревизановского убийства слишком много в доме моих славных Верховских. Не знаю, какое отношение могут они иметь к этому грустному событию, но какое-то есть. Так подробно и постоянно не интересуются совершенно чужим делом. Людмила Александровна как будто что-то знает и скрывает... Что же, однако?»

И Сердецкий, наедине с самим собою, расхохотался:

— Уж не она ли, эта таинственная незнакомка, этот bravo в юбке, как пишут в газетах?.. Ха-ха-ха!.. Вот была бы история!.. и — главное — как это на нее, прелестную мою, похоже! Придет же в голову такая нелепость... хотя бы даже и в шутку. Но что-то она прячет в себе — прячет от всех, даже... даже от меня. И что-то тяжелое, скверное, ядовитое... Жаль ее, бедную, жаль!.. Эх, судьба, судьба!.. В подобные минуты мне как-то особенно грустно, что она развела нас с такою обидною бестолковостью. Как-то кажется: вот была бы Людмила моею, — ничего бы дурного и грустного и не было... А ведь — как знать? Может быть, и еще хуже было бы. Самоуверенничать-то нечего... Молчи, старик, притихни!.. Эх-эх-эх! когда же я, старый черт, любить-то ее перестану?

XXVIII

Дни бежали. Елена Львовна уехала обратно в деревню, не добившись толку от племянницы и простясь с нею за это довольно холодно. Людмила Александровна чувствовала

за собою вину — видела, что тетка ждет от нее откровенности, но правды открыть, конечно, не могла, а солгать не умела.

«Что мне выдумать на себя? что ей сказать? — металась она. — Любовь, что ли, какую-нибудь сочинить... Да ведь не выйдет ничего: она всю жизнь читала в моей душе, как в книге, — сразу заметит, что я обманываю».

Провожая Елену Львовну на вокзал, Верховская все как будто порывалась заговорить с нею о чем-то, но всякий раз смущенно осекалась на первом же слове, так что старуха, утомленная ее нервною суетливостью, под конец прикрикнула на нее:

— Да будет тебе корчиться, как береста на огне! Ну — не удостоена твоим доверием, прячешь от меня что-то, и не надо мне твоих секретов. Молчи! и — главное — не терзайся, пожалуйста, из-за этого угрызениями совести... Этакая мнительная женщина: просто смотреть досадно!

— Да нет, я ничего, я ничего... — забормотала Верховская.

— Только смотри, Людмила, — строго продолжала Елена Львовна, — в тайны твои лезть я не хочу — секретничай, пожалуй. Но — раз ты прячешь их от меня, не хороши, должно быть, твои тайны! Так помни: если я, помимо тебя, узнаю что-нибудь темное, нехорошее, — помни, не прощу. Ты что-то дуришь! Опомнись, возьми себя в руки, — не для себя ведь живешь... уже не молоденькая... уже у тебя муж, дети.

Верховская отвечала тетке какою-то жалкою улыбкою.

— Да, да... муж, дети... не беспокойтесь за меня, тетя: это я помню хорошо, всегда помню. А что вы думаете, будто я не откровенна с вами, — не стану спорить: может быть, сознаюсь, есть немножко... Но теперь еще рано, а когда будет можно, я вам все сама скажу — как в детстве... помните?

«Так и есть: любовник и собирается расходиться с мужем», — мелькнуло в голове Елены Львовны.

Взгляд ее стал еще строже. Она пожевала губами и сухо сказала:

— Хорошо, я буду ждать. Что же? Ведь не в последний раз видимся...

«Нет, нет, — думала Людмила Александровна, возвращаясь домой. — Мы именно в последний раз виделись. Веревка лопнула — ее не связать без узла. Прощай, моя дорогая тетя! Я тебя потеряла... и так, человека за человеком, растеряю всех, всех...»

Когда Аркадию Николаевичу Сердецкому хотелось хорошо и много работать, он уезжал из Москвы к кому-либо из своих деревенских друзей и там — «вдали от шума городского и от вседневной суеты» — писал по целым дням, пока не сходил с него трудовой стих. Теперь ему оказывала гостеприимство старуха Алимова. Он жил в ее имении уже третью неделю. Первый вопрос его возвратившейся хозяйке был о Людмиле Александровне. Алимова только рукою махнула. Аркадий Николаевич омрачился.

— И по-прежнему этот неестественный интерес к ревизановскому делу?

— Представьте, да.

— Раздражение против Петра Дмитриевича, ссоры с детьми и мужем?

— Да, да, да.

— Гм...

Аркадий Николаевич долго ходил по комнате, теребя свои густые седины. А Елена Львовна говорила:

— Уж позвольте быть с вами откровенною. Покаюсь вам: никогда я не имела о Людмиле дурных мыслей, а сейчас начинаю подозревать, — не закружил ли ее какой-нибудь франт? Знаете, — седина в голову, бес в ребро.

Сердецкий молчал.

— Только — при чем тут ревизановское дело? — продолжала Алимова, — ума не приложу. А есть у нее какой-то оса-

док в душе от этой проклятой истории, — это вы правы: есть. И много тут странностей. Представьте вы себе: когда она гостила у меня в деревне, — хоть бы словом обмолвилась, что Ревизанов возобновил с ними знакомство, обедал у них и у Ратисовой... Затем... не следовало бы рассказывать, — ну, да вы свой человек, вы, после меня, любите Милочку больше всех... Так уж я вам все, как попу на духу... Синёв Петя уверяет, будто Людмила выехала ко мне пятого числа, то есть накануне дня, как был убит тот несчастный; между тем у меня в календаре приезд ее записан под шестым... я отлично помню.

— Все врут календари! — насильственно улыбнулся Сердецкий.

Совпадение этого обстоятельства с его подозрениями озадачило его. Старуха энергически потрясла головою.

— Нет, мой не врет. Вы знаете, как я аккуратна.

— Но — в таком случае... Людмила Александровна либо почему-то ехала к вам, вместо четырех часов, целые сутки, либо провела эти сутки неизвестно где?

— Выходит, что так...

— Вы не пробовали спрашивать ее об этом?

— Нет.

— Почему?

Елена Львовна опустила глаза.

— Страшно, Аркадий Николаевич, — сказала же я вам. А вдруг она ответит что-нибудь такое... Каково будет слушать мне, старухе? Ведь она мне не чужая.

Сердецкий вздохнул и почесал себе переносье.

— В делах, подобных ревизановскому, — начал он, — мне всегда страшно одно: судебная ошибка... чтобы не пострадал невинный человек. Эта Леони... камелия эта, арестованная сначала... какой опасности она подвергалась!

Елена Львовна зорко смотрела на него.

— Но ведь ее выпустили, — сухо сказала она, — что же ее жалеть?

— Дело не кончено. Не Леони, так другую заподозрят...

— Аркадий Николаевич! Да ведь надо же найти, наконец, кто виноват?!

Сердецкий долго молчал и наконец, глядя в другую сторону, отозвался глухим голосом:

— Да, Елена Львовна! надо найти, кто виноват! И меня изумляет и огорчает: зачем Людмила Александровна не хочет помочь этим поискам?

Елена Львовна шумно поднялась с места.

— Людмила?!

— Да, да, Людмила, десять, сто, тысячу раз Людмила, — раздраженно заторопился Сердецкий.

— Вы... вы думаете...

— Я ничего не думаю, — остановил ее литератор, — я только пробую разные предположения, строю хоть сколько-нибудь возможные системы... Ревизанов когда-то считался женихом Людмилы Александровны... Скажите, Елена Львовна, не обижаясь напрасно за нашу общую любимицу: вы не думаете, что старая любовь не ржавеет? и что... тьфу, черт! как трудно говорить о подобных вещах, когда дело касается близкого человека...

— Я понимаю вас, Аркадий Николаевич, — печально сказала Елена Львовна. — Но — нет! Ревизанов был слишком противен Людмиле, она его ненавидела...

— Вот именно, как вы изволили выразиться, он был ей уж как-то *слишком* противен, точно напоказ... Под такою откровенною ненавистью очень часто таится скрытая влюбленность... А ведь покойный был — надо же признаться — мужчина обаятельный и, кроме того, нахал великий: обстоятельство весьма важное. Дон-Жуаны его типа видят женщину насквозь и показных ненавистей не боятся. Они умеют ловить момент. Сейчас — негодяй! мерзавец! презренный! А через минуту — случился чувственный порыв, да подвернулись своевременно мужские объятия, дерзкие, безу-

держные, — глядь, вот тебе на! и уже не негодяй, а милый, хороший, прекрасный...

— Следовательно, по вашему мнению...

— По моему мнению, Ревизанов увлек Людмилу Александровну; между ними, вероятно, были свидания; и... и тогда объясняется, где провела она свои таинственные сутки, когда ее не было ни дома, ни у вас в деревне...

Елена Львовна сурово молчала.

— Не похоже все это на Людмилу, — сказала она наконец тихо, с сомнением в голосе.

Литератор пожал плечами.

— А между тем все данные говорят за мое предположение. И ее таинственное исчезновение, и этот посмертный интерес к человеку, которого она будто бы ненавидела, и удрученное состояние, небывалая замкнутость в самой себе, очень похожая на раскаяние, на поздние угрызения совести...

Елена Львовна вздрогнула.

— В чем? — быстро вскрикнула она, бледнея.

Сердецкий, не глядя, ответил странным, протяжным голосом:

— Как в чем? Да разве может легко отозваться падение на такой женщине, как Людмила Александровна?

У Елены Львовны отлегло от сердца, и краска возвратилась на лицо ее.

— Да... вы вот о чем, — пролепетала она.

А он говорил, делая вид, что не замечает ее волнения.

— Сдается мне, что они — Ревизанов и Людмила Александровна — виделись в ночь пред тем, как этот несчастный был зарезан...

— Но ведь в таком случае... — вскричала Елена Львовна.

— Что? — холодно спросил Сердецкий.

— В таком случае, — пролепетала Алимова, — ее могут... тоже... подозревать...

Длилось долгое молчание, прежде чем Сердецкий заговорил снова.

— Подозревать Людмилу Александровну в убийстве Ревизанова, — сказал он решительно, — конечно, бессмысленно. Я думаю проще. В вечер перед убийством она имела с ним свидание...

— Когда? Официант Иоган служил ему, и он был один еще в двенадцатом часу ночи.

— Разве не приезжают на свидания и позже двенадцати часов? Они расстались, Людмила поехала в деревню к вам, а Ревизанов был тою же ночью зарезан.

— Кем, Аркадий Николаевич? кем? Ведь уже установлено, что убийца — дама!

— Господи помилуй! Установлено... Да кто же это установил? Непогрешимые какие!.. Потому что дама была у Ревизанова в ночь его смерти, — так дама и зарезала его непременно? А если дама эта ушла, да не затворила за собою дверей, да вместо нее вошел первый попавшийся лакей или жилец гостиницы и покончил с Андреем Яковлевичем?.. Ведь даже трудно установить, был он ограблен или нет... Почем знать, сколько было у него денег с собою?.. А разве уж обязательно: если убийство с грабежом, то вор должен обобрать с жертвы все деньги, часы, цепочку, перстни? Зачем? Цапнул из бумажника несколько пачек кредиток, — и готово: обеспечен на всю жизнь, только беги да не попадайся. Нет, что Людмила Александровна причастна к смерти Ревизанова, — этому я не верю и этого не предполагаю. Но что она была с ним в близких отношениях и могла бы лучше, чем кто-либо, *одна* она могла бы дать сведения о его предсмертных часах и, таким образом, бросить хоть слабый луч света на это темное дело, — вот в чем я, наоборот, почти уверен.

Елена Львовна сидела, нерешительно разводя руками.

— Не могу поверить, не могу вообразить... Связь, возобновленная после восемнадцати лет... и если бы вы знали, как резко была она порвана, при каких тяжелых обстоятельствах! Если Людмила когда-либо кого ненавидела, так это именно

покойного, и имела основание: он стоил ненависти, потому что поступил с нею очень гнусно...

— «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей...» Забыли?

— Да и ему-то что за неволя была за нею гоняться? Он — избалованный Дон-Жуан, а она уже не первой молодости...

— А прихоть? Да и что вы говорите: избалованный... не первой молодости. Людмила до сих пор красавица — на какой угодно избалованный вкус. А этих пресыщенных прихотников я знаю. Подобный господин способен преследовать женщину даже без всякой любви, а просто потому, что вот оригинально: потому, что она Верховская, что у нее чудная репутация, прекрасные взрослые дети, что она не имеет и никогда не имела любовника, и есть свинское блаженство осквернить все это, растоптать, залить грязью...

— Не верю, Аркадий Николаевич... Представить себе не могу.

Оба замолчали.

— А, впрочем, — тяжело вздохнула Алимова, — все бывает... все! враг горами качает. У меня-то, пожалуй, больше, чем у всех других, оснований поверить вашему объяснению. Может быть, и так в самом деле: и впрямь согрешила, а теперь казнится... Эх, горе, горе, горе — слабость наша женская!

XXIX

Олимпиада Александровна Ратисова сильно закружилась в зимнем сезоне. Судьба ниспослала веселой грешнице в дар какого-то необыкновенно лохматого пианиста, одаренного, как говорили знатоки, великим музыкальным талантом, но еще большим — пить шампанское, по востребованию, когда и сколько угодно, оставаясь, что называется, ни в одном глазу. Как ни вынослив был злополучный Иосаф, однако на этот раз

не выдержал: супруга афишировала свой новый роман уж слишком откровенно. Он сделал Олимпиаде Алексеевне страшную сцену, на которую в ответ, кроме хохота, ничего получить не удостоился — и уехал в самарское имение дуться на жену... По отъезде мужа Олимпиада совсем сорвалась с цепи: к пианисту она скоро охладела, но его заменил скрипач; скрипача — присяжный поверенный; поверенного — молодой, входящий в моду, женский врач...

— Как хотите, тетушка, а это уж слишком! — возмущался ее подвигами Синёв, с которым она откровенничала попрежнему. — Ну пошалили, — и будет! Надо же когда-нибудь и честь знать.

Ратисова лукаво смотрела на него:

— А зачем?

— Как зачем?..

— Да так: вот ответь мне, пожалуйста, прямо и определенно: зачем мне твою честь знать?

—Да не мою, а вашу — свою собственную!

— Эва! А ты слыхал Пашу-цыганку?

— Ну-с?

— Так у нее песенка была:

Кому какое дело,
Что с кумом я сидела?
Ну, кому какое дело
До чужого тела?!

— Но, помилуйте... ведь про вас весь город кричит...

— И пусть кричит. Если кричит, значит, у него есть голос. Ему же лучше.

— Да ведь Мессалиною вас ругают.

— «Лавры Мессалины не давали ей спать!» — комически декламировала Олимпиада Алексеевна.

— Черт знает что такое, — рассердился Синёв, — эдакого прямолинейного беспутства я и не видывал!

— А ты моралист, моралист, моралист! — хохотала Ратисова, — и это идет к тебе, как к корове седло... Пей-ка лучше вино да благодари своего ангела, что я тебя еще не запутала, аскет ты лицемерный, самозванный святой!

— Ну уж это вы — ах, оставьте! Я не из вашей оперы...

— Ой-ли?

— Верно-с.

— Ах, Петька, Петька!..

— Нечего дразнить. Не воображайте себя всемирною победительницею.

— Ишь самомненьище-то какое! думает, что надо быть всемирною победительницею, чтобы увлечь его — великого и остроумнейшего в мире следователя Синёва. Ну, а вот такую другую руку ты видел когда-нибудь?

— Ммм...

— Хороша?

— Сами знаете, что хороша, — лучше не бывает. Чего же спрашивать?

— Ага! А у меня, по милости Божией, их две!.. И красивее их — ты верно говоришь — нет во всей Москве. И — вот, если придет мне фантазия, да сейчас, на этом самом месте, я брошусь тебе на шею и обойму тебя этими руками, — что же, ты Иосифа Прекрасного будешь разыгрывать?..

— Ммм...

— То-то «ммм»... Помычи, помычи! это иногда у вас, мужчин, выходит умнее и выразительнее, чем все ваши мудрые речи... Следовательно, не смей читать мне нотации и молись всем угодникам, чтобы в меня не влюбиться... Si tu ne m'aimes ras, je t'aite; mais si je t'aime, prends gard à toi! *. Так и знай: влюбишься — измучу!

---

* Даже если ты меня не любишь, тебя люблю я, и, если я люблю тебя, берегись! *(фр.)*

Людмила Александровна тоже пробовала выговаривать разнуздавшейся красавице, но Олимпиада Алексеевна с умоляющим видом сложила руки.

— Милочка! Не суди, да не судима будешь...

Верховская вздрогнула, а Олимпиада продолжала:

— Ну, — что? Кому надо? Ведь это последнее пламя: доживаю свой век. Доживу — и кончено. Уйду в благотворительность, что ли, стану дамою-патронессою, в монастыри буду вклады делать, воздýхи вышивать. Такое лицемерие на себя напущу, — чертям тошно будет. Знаешь поговорку: «Когда черт стареет, он идет в монахи». Так и я. И — среди святой жизни — много-много, что припасу себе где-нибудь за границею какого-нибудь тореадора! Одного — всего одного! Экономического по состоянию: тогда ведь это будет уже денег стоить...

После столь бесплодного разговора, к общему удивлению, Людмила Александровна, обыкновенно крайне строгая к похождениям своей подруги, теперь, когда похождения эти превысили последнюю меру терпимости, не осуждала ее ни одним словом и даже останавливала, когда на Ратисову принимались негодовать Синёв или Степан Ильич.

— Оставьте Липу в покое. Ведь не переделаете вы ее. Не врождено ей быть — как это у Пушкина-то? — «мужу верною супругою и добродетельною матерью». А раз не врождено — не научите. Против натуры не пойдешь.

— Милочка! да ведь безобразно, скверно, бессовестно... Совесть в ней, совесть пробудить надо! — волновался Степан Ильич.

— Совесть? — тоскливо возразила Людмила Александровна. — А какая польза будет, если в ней проснется совесть? Теперь она весела, счастлива, довольна, а тогда — одною унылою и печальною Магдалиною будет больше в Москве, — только и всего...

— Людмила Александровна! — воскликнул удивленный Синёв, — что это вы? с подобными парадоксами можно, извините меня, черт знает, куда уйти... Если сегодня хорошо, чтобы совесть спала, то завтра, пожалуй, покажется еще лучше, чтобы ее вовсе не было.

Людмила Александровна гневно оборвала его:

— Не мне отрицать совесть, Петр Дмитриевич. Я всю жизнь прожила по совести. Вы приписываете мне мысли, которых я не имела. Я сказала только, что когда у кого совесть не чиста, то счастлив он, если ее не чувствует. Вот что. И если совесть грызет душу, я... не знаю... мне кажется... можно пуститься на что хотите — на пьянство, на разврат, только бы не слыхать ее, только бы забыться. Липа — счастливица. Она грешит, даже не подозревая, что она грешница. Ну и оставьте ее. Это ей надо для ее счастья, — пусть будет счастлива...

— Помилуйте, Людмила Александровна. По вашей логике — другому понадобится для того, чтобы чувствовать себя счастливым, людей убивать... что же? пусть убивает?

Людмила Александровна, с гневною морщинкою на лбу, сделала резкое движение.

— Убивать, убивать — все убивать!.. — пренебрежительно сказала она. — Как вы скучны с вашими убийствами, Петр Дмитриевич!.. Вы не умеете спорить иначе, как ударяясь в крайности, на которые сразу не найдешься, что отвечать...

XXX

Аркадий Николаевич, у себя в домике на Девичьем поле, читал присланную ему из типографии корректуру... Было уже около полуночи, когда ему послышался звонок. Он отворил дверь кабинета:

— Телеграмма?

И отступил в удивлении: пред ним стояла Людмила Александровна.

— Простите... я на минутку... — отрывисто сказала она, — я... не буду мешать... сейчас уйду...

— Бог с вами, Людмила Александровна! — вскричал Сердецкий, — как вы можете мне мешать?! Я Бог знает как рад, что вам пришло в голову навестить меня, отшельника. Я только не ждал вас в такую позднюю пору — оттого, может быть, и сделал большие глаза... Присаживайтесь к столику, я угощу вас чаем... Ну-с? как ребята, Степан Ильич? все благополучно?

Людмила Александровна не отвечала. Она глядела на Сердецкого в упор, но как будто не на него, а дальше его, сквозь него. На ней лица не было. Сердецкий пригляделся к ней и замолк. Сердце у него ёкнуло: он понял, что Людмила Александровна пришла к нему неспроста... И оба они молчали — одна бессильная начать речь, другой и выжидая, и боясь: что-то она ему скажет?

И вот Людмила Александровна решительно подняла голову и — уставясь в Сердецкого блестящими глазами, ярко засверкавшими на белом, как мел, лице, — произнесла тихо, ясно и отчетливо :

— Я пришла к вам, потому что мне больше не к кому было идти, а оставаться одной стало не под силу. Поискала кругом: всех либо ненавижу, либо боюсь... Всех растеряла, все — далеки. И Степан, и дети, и тетя Елена — все... Вы один остались как-то не чужой мне... Вот и пришла... Послушайте...

Она задохнулась и долго боролась с удушьем, стиснувшим ей горло. Потом, с новым усилием, выговорила:

— Послушайте... это я убила Ревизанова... тогда... в ночь с пятого на шестое... Да... Дайте мне воды!.. ради Бога, скорее!..

Расплескивая воду, она поднесла стакан к губам. Сердецкий, побледнев больше ее самой, скорбно стоял перед нею, сложив руки, точно на молитву, тряся своею серебряною сединою.

— Я знал это, — шептал он. — Я чувствовал, предполагал что-нибудь в этом роде... Ах, несчастная, несчастная!

Верховская продолжала:

— Он... мучил меня... издевался надо мною... грозил мне нашею прошлою любовью. Ведь я, Аркадий Николаевич, была его, совсем его!.. Помните, как я спрашивала вас, что делать человеку, когда заведется у него мучительная тайна?.. Вот какая моя тайна была!.. Он хотел, чтоб я его опять любила... была рабой... он Ми... Митю своим сыном хотел об... объявить... у него письма были... доказательства. Я не стерпела... вот... убила... вот... вот... и... и не знаю, что теперь делать с собою?

— Несчастная, несчастная! — полусознательно повторял Аркадий Николаевич.

— Не знаю, что делать, не знаю... Думаю и ничего не могу придумать... Ах! — она схватилась за голову. — Что тут выдумаешь, когда, рядом с каждой мыслью, поднимаются образы этой ночи... Там... красная комната, и он на ковре, бледный, холодный, а на лице — вопрос... Не узнал смерти... не понял, что умирает... О, подлец, подлец! Как он меня позорил!

Испуганный ее безумным взором, Сердецкий порывисто взял ее за руки и усадил в кресло.

— Не смотрите так, Людмила. Что вы видите? Что вам чудится?

— Нет, вы не бойтесь, — искусственно улыбнулась она, и страшна вышла ее улыбка. — Я не галлюцинатка... до этого еще не дошла, — Бог милует... У меня только мысль больная, память больная... Помнится, думается, — ни на минуту не отпускает меня...

— Чуяло мое сердце недоброе, — сказал Аркадий Николаевич голосом, в котором трепетали слезы, — ждал я беды, только все же не такой!.. Господи! Что же это? гром на голову! с ясного неба гром... Милочка! Милочка! что вы, бедная, с собою сделали?!

Она его не слушала. Порыв долго замкнутого чувства не знал удержу и выливался в быстрой, отрывистой речи, как река, сломавшая плотину.

— Я убить себя хотела... Хотела пойти к Синёву, во всем признаться... жалко! детей жалко... я их от позора спасти хотела, а вместо того вдвое опозорила! Дети убийцы!.. Когда я стояла там — у трупа... О, друг мой... последний друг! Если бы я могла ценой своей жизни возвратить жизнь ему... моему врагу... я не отступила бы перед жертвой. Страшен был позор, но лучше бы мне перенести десять новых посмеяний, лишь бы не убивать: вы — художник, писатель — вы даже не подозреваете, как это ужасно — убить человека. Я поняла проклятие Каина, я несу его на себе... я... я всех людей боюсь, Аркадий Николаевич! Я... даже вас боюсь в эту минуту.

И она бросилась к нему, хватая его за руки.

— Друг мой! я вам все сказала честно как брату... Помните же! Я вам верю — и вы будьте мне верны до конца. Не выдавайте меня!

Она металась, как плотица на крючке, выброшенная на береговой песок.

— Бог с вами, несчастная! — успокаивал Сердецкий, тронутый, расстроенный, силясь снова усадить ее, — мне ли выдавать вас — мое дитя, мое сокровище?.. мою единую, единую любимую за всю жизнь? Ох, горько, страшно горько мне, Людмила!

— Этот Синёв... — шептала Людмила Александровна, — вы замечаете? он недаром так много разговаривает со мною о ревизановском деле, он что-нибудь пронюхал... ищейка... Я его ненавижу, Аркадий Николаевич!

— Ничего он не знает и не узнает... вы вне подозрений, Людмила! Кроме совести и Бога, у вас не будет судей...

— Я его ненавижу, — решительно возразила она. — Он слишком близок к этому делу. Я знаю, что он ничем не виноват предо мною, но он — моя судьба, слепая, неумолимая, и я его ненавижу. Когда он бывает умен, красноречив, я холодею от ужаса перед ним: он кажется мне слишком светлою головою, чтобы не разобраться в моем деле. Порою, особенно если он заводит речь о своих следственных хитростях, он падает в моих глазах, представляется мне близоруким, тупым, пошлым, смешно самоуверенным человеком, и я презираю его, а все-таки боюсь!

— Вы, как вошли, сейчас же сказали мне, — начал Аркадий Николаевич после долгого размышления, — что все вам чужие, всех вы либо ненавидите, либо боитесь, то есть, значит, опять-таки ненавидите... Господи! как это развилось у вас, прежде такой многолюбивой? когда успело? откуда взялось?!

— Откуда? — Людмила Александровна болезненно улыбнулась, точно на детский вопрос.

— Относительно Синёва — куда ни шло, я, пожалуй, еще понимаю ваши чувства. Он, хоть и невольно, и слепо, все же держит в своих руках вашу судьбу... Но ваши домашние? дети? Неужели и к ним у вас то же печальное отношение? Они все жалуются, что вы страшно изменились к ним.

— Дети... — горько отозвалась Верховская, — дети! Ах, Аркадий Николаевич! дети — горе мое. Для них я все это сделала. Хотела оставить им чистое, как хрусталь, имя... а теперь, после этого дела... я разлюбила детей, друг мой!

— Разлюбили детей? да как же? за что?

— Ах, друг мой! больно мне... Ведь я для них больше чем кусок живого мяса из груди вырезала, я всю себя, как ножом, испластала, душа болит, сердце болит, тело болит... мочи нет терпеть!.. Тоска, страх, боль эта — свет мне застят. Я вижу то, чего нет, а того, что есть, не вижу... Переста-

ла удовлетворять меня семья; жалко найденное в ней счастье. А ведь спасая это мизерное счастье, я и погубила себя... Стоило, нечего сказать!

— Вы несправедливы к семье, Людмила.

— Может быть. Они здоровы, я больная... Когда же больные бывают справедливы к здоровым? Я завидую им, завидую Степану Ильичу, завидую Синёву, вам... Счастливые, спокойные люди с чистой совестью! Вы хорошо спите ночью, вы не подозреваете врага в каждом человеке, не ищете полицейских крючков в каждом вопросе... Злюсь — говорят: «У тебя характер испортился... Ты несносна...» Да, и злюсь, и испортился характер, и несносна! Но ведь... если бы они знали и поняли мою жертву — они бы должны были ноги целовать у меня!..

— А вы решились бы сказать им? — холодно и строго спросил Аркадий Николаевич.

Она поспешно и испуганно вскрикнула:

— Никогда!

— На что же вы жалуетесь в таком случае?

— Я знаю, что не имею права жаловаться, — но разве измученный человек заботится о правах? Одна я, Аркадий Николаевич, — одна в то время как мне много любви надо, чтобы хоть как-нибудь жить — одна я пропаду без любви. Я привыкла много любить и быть любимой; в том и жизнь свою полагала. А вот теперь, когда мне нужна любовь, я одна... Тяжко, горько, обидно!

XXXI

Она поникла головою; потом встрепенулась и снова заговорила:

— Слушайте!.. может быть, ужасно, что мне так тяжелы люди, но ведь я начала ненависть свою не с них, а с себя

самой. Я возненавидела себя уже пред убийством, потому что пошла на сделку с Ревизановым — все равно, что стала продажною женщиной; возненавидела еще больше после убийства, потому что стала подлою: струсила, не решилась понести за свой грех заслуженную кару, личным благополучием заплатить за свое искупление. Под этим двойным упреком я невыносимо страдала. Бывали минуты, когда мои нравственные терзания — казалось мне — превышали меру заслуженного возмездия, и мне становилось жаль себя, и моя ненависть к себе незаметно переходила на других. Первым ее предметом — вы знаете почему — оказался Синёв. Мало-помалу я стала так же враждебно относиться почти ко всем. Помимо моей все возраставшей подозрительности, мне сделалось уже недостаточным мое «семейное счастье». Лишь во имя его я совершила грех и приняла на себя казнь. Раз оно — вся награда моих страданий, оно должно быть полною наградой. Каждый недочет в семейных отношениях, которого прежде я и не заметила бы, теперь ножом вонзается в мое сердце. Если муж приходит домой не в духе, дети менее ласковы, чем обыкновенно, — моя болезненная чувствительность подсказывает мне в таких случаях крайне тонкие, иной раз, может быть, и небывалые оттенки, — меня осаждают беспокойные мысли: что же это? Как все скучно, грязно, неблагодарно... И такою-то я должна принимать жизнь? и это-то я предпочла всеискупляющей смерти? Нечего сказать, стоило! Сперва я сдерживалась. Потом стала высказываться. Но... я не смею выяснить вслух общую причину моего раздражения, поводы же, конечно, всегда пустяковые — какие подскажет хозяйство, неудачная отметка в бальнике Мити или дочерей... Гнев по домашним поводам — всегда гнев из-за придирок. Я вам расскажу... Неделю тому назад — я сделала дома сцену... самую резкую из всех, какие были. Началось по ничтожному случаю: Митя без спросу налил себе стакан

вина за ужином и довольно резко ответил мне, — когда я ему заметила это, — что он уж, видите ли, не маленький. Синёв у нас ужинал, стал заступаться за Митю... Я вспыхнула... чего я не наговорила, чего не накричала?.. Ужас, отвратительно!

Она закрыла лицо руками.

— Ну да что уж... Горькие слова, сказанные мною Синёву, мужу и детям, до сих пор в моей памяти. Обыкновенно, после каждой вспышки, мною овладевал стыд за свое поведение. В этот же раз — нет; озлобление не улеглось. С ним легла я в постель, с ним проснулась на другой день, с ним, как с тяжелым камнем на сердце, прожила целую неделю. Сегодня вечером Синёв рассматривал, от нечего делать, альбом с нашими семейными фотографиями. «Славная эта ваша группа с детками!» — заметил он. Я взглянула, сказала «да» — и вдруг... в то самое время, Аркадий Николаевич, в то самое время, как я с материнской нежностью в глазах, с ласковой улыбкою на губах, — любящею мамашею напоказ, — произносила это «да», — в то время, как в соседней комнате раздавались смех и говор детей, которые улыбались мне с портрета, — в душе моей вихрем пронеслась мысль: «А! они счастливы, неблагодарные! они болтают, смеются, они — чужие мукам моей совести... А за них-то я и осудила себя на муки, для них и живу хуже, чем в каторге. Неблагодарные! будь они прокляты!» И, вслед за этим позорным проклятием моим, у меня оборвалось сердце. Я поняла, что для меня все кончено, что я изжила свою жизнь. Раз я узнала ненависть даже к детям, — к ним, которые недавно были мне неизмеримо дороже самой себя, — незачем и бременить собою землю. Надо уйти с нее... А умирать не хочется, Аркадий Николаевич! Жизнь, хоть жизнь раздавленного червяка, все же лучше могильного мрака... О, как темно там, холодно, страшно... полно неизвестности!

Она умолкла. Потом пристально, с вызовом, взглянула на Сердецкого:

— Теперь вы знаете все... судите меня... кляните!..

— Полно вам, Людмила Александровна, — грустно отозвался Сердецкий, — где мне судить, за что клясть? Дело ваше ужасно, но судьею вашим я быть не могу. Я вас слишком давно и слишком крепко люблю! Жалеть да молчать — вот что мне осталось.

— А мне?

Он молчал, безнадежно разводя руками.

— Да не умирать же мне... не умирать же, в самом деле! — раздирающим криком вырвалось у нее.

Он молчал. Верховская с горечью отвернулась от него.

— Я пришла к вам... к другу, сердцеведу, писателю, потому что сама не знаю, что мне с собою сделать. Я на вас надеялась, что вы мне подскажете... А вы...

Она гневно закусила губу.

— Молитесь! — глухо сказал Сердецкий.

Людмила Александровна отчаянно мотнула головою.

— А! молилась я!.. Еще страшнее стало... «Не убий!» — забыли вы, Аркадий Николаевич?

Она опустила вуаль — потом опять его подняла и подошла к Сердецкому.

— Больше вы ничего мне не скажете?

— Ах, Людмила!..

— Послушайте... — глаза ее чудно блистали, — пускай я буду гадкая, ужасная, но ведь имела я, имела право убить его? ведь...

Аркадий Николаевич прямо взглянул ей в глаза и твердо ответил:

— Да, имели.

Она — как под внезапною волною счастья — пошатнулась, выпрямилась, согнулась, выпрямилась, вертела пред собою беспорядочными руками, красная лицом, сверкающая восторгом нечаянной радости:

— А... Благодарю вас... благодарю...

Сердецкий шептал:

— Одним вы виноваты предо мною: зачем молчали? Об одном жалею, что вы это сделали, а не я за вас.

Она приблизилась к нему — грустная, робкая, нежная, стыдливая.

— Я, может быть, противна вам?.. А, не перебивайте, я понимаю это... Это не от вас зависит, это инстинктивно бывает... ведь кровь на мне... Но вы не презираете меня — нет? не правда ли?

Он просто ответил:

— Я вас люблю, как любил всю жизнь.

Люмила Александровна печально усмехнулась:

— Да, всю жизнь... А знаете ли? ведь и я вас любила когда-то... Да!.. О, глупая, глупая! Может быть, — если бы... а! что толковать! Снявши голову, по волосам не плачут.

Она взяла Сердецкого за голову и поцеловала его в губы.

— Это в первый и последний раз между нами, голубчик, — сказала она и смеясь, и плача. — Прощайте. Это вам — от покойницы. И больше меня не любите: не стою!

Встревоженный Сердецкий бросился вслед за Людмилой Александровной.

— Что вы хотите сделать с собою?

Она остановилась:

— Не бойтесь за меня. Говорят вам: я не хочу умирать — боюсь. Я буду цепляться за жизнь, пока можно... А какими средствами? — не все ли равно, не все ли равно?

XXXII

Степан Ильич Верховский просто не знал, что думать о своей жене. Его всегдашняя антипатия к Олимпиаде Алексеевне Ратисовой выросла более, чем когда-либо. Между тем

Людмила Александровна, словно назло, сходилась с нею — день ото дня — все теснее и теснее. Точно повторялись детские годы, когда Липа Станищева безраздельно командовала Милочкой Рахмановой. Степан Ильич хмурился, дулся, готовился вмешаться, однако его останавливало пока одно обстоятельство: в постоянном обществе жизнерадостной грешницы Людмила Александровна как будто ожила и повеселела... Стоило ей нахмуриться, Липа тормошила ее:

— «Что так задумчива, что так печальна?» Опять киснешь? Жаль. Право, мне тебя жаль. Годы наши не девичьи, летят быстро. Чуточку еще — и старость. А ты теряешь золотое время на хандру... есть ли смысл? С самого утра хоть бы разок улыбнулась! Что это? Кого собираешься хоронить?

— Себя, Липа, — мрачно возразила Верховская.

Олимпиада Алексеевна залилась хохотом.

— Ой, как страшно! Что же? тебе в нощи видение было? Это случается.

Верховская вздохнула.

— Да, видение... тяжелый, ужасный сон...

— Объелась на ночь, вот и все, — практически решила Ратисова. — Я тяжелые сны только на масленице вижу, после блинов, а то все веселые. Будто я Перикола, а Пикилло — Мазини. Будто в меня Пушкинский монумент влюблен, — что-нибудь эдакое. Тебя проветрить надо. Ты дома засиделась. Я из тебя живо вытрясу хандру. Ты на жизнь-то полегче гляди. Что серьезиться? Все трын-трава.

— Трын-трава? — качая головою, улыбалась Людмила Александровна.

— Уж поверь мне. Видала ты меня печальною? Никогда. Злая бываю, а грустить — была охота! С какой стати? Разве у нас какие-нибудь Удольфские тайны на душе, змеи за сердце сосут?

— А если бы... тайны и змеи?

— Я бы их — под сюркуп. Я бы так закружилась, чтобы и подумать о них было некогда. Мало ли веселого дела на свете? Утром — к Мюру и Мерилизу: раз! Потом смотри в афишу: есть в манеже гулянье? На гулянье! Нет? — к Ноеву на каток. За обедом часа три просидела в веселом обществе — глядь, восемь часов! пора в оперетку либо в оперу. Оттуда на тройке ужинать в Стрельну. Вернулась домой: какие тут тайны и змеи? устала до смерти, стоя спишь, только бы добраться до подушки; от шампанского в голове шумит... Если бы и это не помогло, я бы нового любовника завела, за границу бы поехала с милым дружком, — да! Змеи подождали бы, подождали, пока я дамся им на съеденье, а потом плюнули бы на меня и уползли...

— Оставив тебя оплеванной? — горько усмехнулась Людмила Александровна.

— Ах, матушка! На всякое чихание не наздравствуешься. Либо жить человеком, либо самоедом... вот как ты теперь на себя напустила. Я уж и то смеялась давеча Петьке Синёву: что он ищет рукавицы, когда они за пазухой? Приглядись, говорю, к Людмиле: какой тебе еще надо убийцы? Лицо — точно она вот-вот сейчас в семи душах повинится...

Людмила Александровна остановила ее с побелевшим лицом.

— Не шути этим! не шути! не смей шутить!

— Э! от слова не станется! — захохотала веселая дама, но та твердила, как дурочка:

— Не шути! Это... это страшно... Ты не знаешь!

Посмотрела на нее Олимпиада Алексеевна, — только головой покачала.

— Эка трагедию ты на себя напустила! Даже по Москве разговор о тебе пошел. Намедни встречаю княгиню Настю Латвину... ну, знаешь ее язычок! Бритва! А что, спрашивает, Липочка: правда это, что ваша приятельница Верховская была

влюблена в покойного Ревизанова и теперь облеклась по нем в траур?

Людмилу Александровну так и шатнуло. Искры закружились пред глазами. В ушах зазвенело.

— Я в него? — крикнула она, так что отзвякнули хрустальные подвески на люстре и канделябрах. — В этого... изверга?.. Да как она смела?! Как ты смеешь?!

— Пожалуйста, не кричи, — обиделась Ратисова. — Во-первых, я ничего не смею, а во-вторых... я все смею! не закажешь! Княгине я за тебя отпела, конечно. Ну, а влюбиться в Ревизанова — что тут особенного? Да мне о нем Леони такое порассказала... ну-ну! Я чуть не растаяла, — честное слово. И этакого-то милого человека укокошила какая-то дура!.. Не понимаю я этих романических убийств. За что? кому какая корысть? Мужчины, хоть и подлецы немножко, а народ хороший. Не будь их на свете, я бы, пожалуй, в монастырь пошла.

XXXIII

На Святках Олимпиада Алексеевна пригласила гостить к себе в подмосковную всю семью Верховских и Синёва, — в последнее время неразлучного своего спутника.

— Отчего это у Петра Дмитриевича такой сконфуженный вид? — тревожно расспрашивала Людмила Александровна Олимпиаду Алексеевну, летя с нею в быстрых санках по укатанной дороге от железнодорожной станции к имению Ратисовых.

— А что?

— Да — он почему-то сторонится от меня, смотрит как-то смущенно: не то дуется, не то боится.

— И впрямь боится, — весело возразила Олимпиада Алексеевна. — Я тебе скажу, в чем дело. Откровенно го-

воря, я его, глупого, завертела — вот до сих пор. Он и сторонится от тебя, — боится, что ты догадаешься и намылишь ему хорошенько голову. Уж он просил меня — просил: «Главное, осторожнее с Людмилою Александровною! главное, она не догадалась бы! Если она узнает, — другие мне безразличны, — но если она — я сгорю от стыда на месте...» А я ему в ответ чувствительную реплику из «Отелло», — à la Баттистини:

О, ангел Дездемона,
Любовь мы нашу скроем...

Бесится: «Вам все шутки и смешки, а для меня уважение этой женщины — все равно, что собственная совесть». — «Ах, милый друг, — говорю, — все это прекрасно, уважай ее, сколько хочешь, но зачем же от нее — в знак уважения — под куст-то прятаться?»

— Боже мой! И бедный Петя туда же. Да это эпидемия какая-то! — невольно рассмеялась Верховская. — Ты не женщина, Липа, а любовная зараза.

— Поголовная мобилизация, душенька! Пожалуйте, господа мужчины, к отправлению воинской повинности! — самодовольно возразила Ратисова.

— Бедный, бедный Петя! Зачем он тебе понадобился, Липа?

— А так — здорово живешь. Главное: в наказание. Уж очень любит мораль читать... Вот и пусть теперь — что ругал, тому и поработает!.. Знаем мы этих моралистов! Вчера весь вечер валялся в ногах — умолял сказать, что у меня к нему: каприз или страсть до гроба... Ну, как не до гроба! Если бы всех до гроба любить, я уж и не знаю, сколько мне гробов понадобится.

— И весело тебе с ним?

— Когда же мне бывает скучно? Он — ничего, довольно забавный! Хотя ведь это ненадолго: скоро скиснет, — черес-

чур серьезно берет... Удивительный народ русские мужчины! совсем не умеют поддерживать легких отношений. Чуть интрига затянулась на две недели, уже и бесконечная любовь, и унылое лицо, и ревность, и револьверные разговоры...

— Счастливица ты, Липа!

— А тебе кто мешает быть счастливою? Живи, как я, — и будешь, как я.

— И снов не буду видеть?

— Уж это, матушка, не от нас зависит. Кому как дано.

— А — если я именно от снов бегу? Именно снов не хочу больше? То-то вот и есть, Липа... Молчишь? Снов только мертвые не видят.

— Не к ночи будь сказано, — недовольно кивнула ей подруга. — Охота тебе.

— Чем дольше я живу, — рассуждала Людмила Александровна, — тем больше убеждаюсь, что люди клевещут на смерть, когда представляют ее ужасною, жестокою, врагом человека. Жизнь страшна, жизнь свирепа, а смерть — ласковый ангел. Она исцеляет раны и болезни... Она защищает от жизни... Жизнь обвиняет, а она придет — обнимет и простит...

— Ну что уж! — вздохнула Олимпиада. — Известное дело: мертвым телом хоть забор подпирай. Да все-таки что радости? Брось, пожалуйста! Терпеть не могу! Для меня все эти философии в одну песенку укладываются:

Мы пить будем,
Мы гулять будем,
Когда смерть придет,
Помирать будем!

Гуляем, Людмила!

Людмила Александровна засмеялась. Липа зорко взглянула на нее.

— Нечего смеяться. Говорю тебе: вся хандра от черной думы, и, стало быть, надо жить так, чтобы времени не было ни для черной, ни для белой думы — и будешь спокойна и довольна... Я не знаю, что с тобою делается, но ты мне не нравишься. Будь моя воля, я бы взяла тебя в руки, смахнула бы с тебя дурь.

— По твоей программе? да, Липа? — перебила Людмила Александровна. — Вечный праздник? — оперетка, Стрельна...

— Да хоть и Стрельна... Вечный праздник, милая, занятнее вечных похорон.

— Электричество, пальмы, цыгане... Ха-ха-ха! С кем же мы будем исполнять твою программу? не вдвоем же, Липа?

— Мало ли знакомых... Петька вон есть налицо... Олина прихватим. Знаешь, приват-доцента этого. Он ведь только притворяется ученым и серьезным, а в душе — ух какой вивер... и ты ему — между нами будь сказано — очень нравишься. А у него есть вкус, у черта. Его три недели Отеро любила.

— Польщена и благодарю. Значит, пожалуй, и роман завести? да, Липа?

— Отчего и романа не завести? При старом муже... разве это грех?

Людмила Александровна перебила ее, все смеясь.

— И за границу уехать с любовником? на воды... или уже прямо в Монте-Карло, к игорному столу? Там впечатления как будто острее, — правда?

Олимпиада Алексеевна подозрительно покосилась на нее.

— То есть, — убей ты меня, а я ничего не понимаю, что с тобой творится. Так всю и дергает.

Людмила Александровна продолжала с диким экстазом:

— И все забудется? да, Липа? Все? Как водой смоет?

— Чему забываться-то?

— Уж там чему бы ни было!

— Разумеется, забудется. Средство верное, испробованное.

— Ха-ха-ха! Тогда о чем же рассуждать? Руку, Липа! Я твоя по гроб! — как требует от тебя Петя Синёв.

— Дуришь ты, Мила. Впрочем, на здоровье: все же лучше дурить, чем киснуть.

Сани летели.

— Липа! — окликнула Людмила Александровна подругу — странным изменившимся голосом.

— Что?

— Тебе никогда не приходило в голову, что все это мерзость?

— Что?

— Что ты мне советуешь.

— Нет... зачем? — искренно удивилась Ратисова.

— Что, может быть, смерть, и та лучше такого забвения?

— Очень мне нужно расстраивать себя пустяками! Мне свое спокойствие и здоровье всего дороже.

— Правда, правда, Липа!.. не думая, лучше... Ха-ха-ха!

Людмила Александровна смеялась всю дорогу, но Олимпиада Алексеевна не вторила ей. Она думала: «Скажите, как развеселилась! жаль только, веселье-то твое на истерику похоже... Чудновато что-то! Ох уж эти мне нервные натуры! Напустят на себя неопределенность чувств и казнятся. Зачем? Кому надо? Терпеть не могу!»

И вдруг, внезапным вдохновением, осенила ее бабья догадка.

— Мила!

— Ну?

— Ты, может быть, в самом деле, уже... того?

— Что?

— Что! Что! Известно что! Спуталась, что ли, с кем? Так скажи, чем в одиночку казниться-то...

Людмила Александровна долго смотрела на нее, не понимая и стараясь понять, а та говорила:

— Слава Богу, подруги... Ты скажи! Я и посоветую, и помогу. Дело женское... Если и ребенок...

Людмила Александровна наконец поняла ее и захохотала в лицо ей звуком, который смутил бы всякого человека, хоть немного более чуткого, чем Олимпиада: так пусто и дико звенел этот бессознательный, лишенный разума смех:

— Это еще не доставало! — вырвалось у нее. — Ах, ничтожество!

Олимпиада же самодовольно твердила:

— Все будет шито и крыто. Двух своих мужей водила за нос и чужого могу. Я на секреты не женщина — могила.

Хохот Людмилы Александровны переходил в истерику. Она душила его, уткнувшись в муфту. И сквозь дикие, как икота, вскрики скользили безумные слова.

— Нет, Липа... Ох, насмешила!.. Нет... Нет... Нет... Спасибо!.. Ты — могила не для меня... Я найду себе другую!.. Ох!.. другую!

В деревне было весело всем, кроме Людмилы Александровны, но она показывала вид, будто ей веселее всех. Много деревенских развлечений перепробовали гости, наконец устроили катанье на коньках. Река Пахра, на которой стоит именье Ратисовых, благодаря запруде, довольно широка и глубока в этом месте. Катались в прекрасный солнечный день. Накануне сильный ветер сдул сухой мелкий снег с поверхности реки, и на далекое пространство легла блестящая ледяная скатерть между белых берегов.

— Направо не забирайте, господа — там есть полынья! — предупредила Липа, — видите? елочки поставлены.

Саженях в десяти от господ, стояла, опершись на коромысло, худая подщипанная бабенка в синей кофте. Набрав воды в железные ведра, она, с унылым любопытством, глазела на барскую потеху.

— Где это — полынья? там, где баба с ведрами? — спросил кто-то.

— Нет, то прорубь.

И вот Людмила Александровна летит по катку. Давно уже опередила она всю свою компанию, далеко за нею слышатся крики и смех безуспешно догоняющих ее друзей. Ей хорошо... В уме нет ни воспоминаний, ни иных представлений, кроме впечатлений минуты: сухой морозный воздух, блеск солнца и сияние льда, захватывающая быстрота бега.

— Людмила Александровна! Людмила Александровна! — долетел к ней тревожный оклик Синёва, и она увидала у своих ног черную дыру, осененную тощей еловой веткой. На секунду она остановилась... осела, покачнулась назад. Потом словно невидимая сила толкнула ее вперед... Глупое от испуга бабье лицо мелькнуло в ее глазах, руки в синих штопанных рукавах замахали в воздухе, кто-то взвизгнул... Серебряный всплеск ледяной воды, страшный холод — как обжог во всем теле...

Но сильные мужские руки уже схватили ее за плечи и выхватили в обморок из проруби.

К вечеру у нее открылось воспаление в легких.

XXXIV

*Firenze, Fiesole**,*
188 апрель*

«Милый, дорогой, хороший Аркадий Николаевич! Дорогой, последний, единственный друг — единственный, с кем тянет меня поговорить в мои предсмертные часы.

Да, милый, умираю. И — скоро, скоро. Доктор утешает и ободряет — но я по глазам его вижу, что он лжет. А —

---

* Флоренция, Фьезоле *(ит.)*.

главное — сама чувствую, что выкашляла свои легкие. Я почти не кашляю уже — я как будто здорова. Я знаю, что это значит: это здоровье смерти. Умру одна... далеко от своих, от родины, на чужой стороне.

Вокруг меня — юг, прекрасный, цветущий, всеисцеляющий юг. Все здесь дышит жизнью: убогие поправляются, больные выздоравливают, здоровые еще больше расцветают. Я одна слабею с каждым днем... Моя хозяйка, добрая синьора Лючия, уже перестала и спрашивать меня о здоровье: видно, боится встретиться со словом «смерть» и вчуже испугаться. Они такие жизнелюбивые, эти тосканки! Умираю... а за окном весна: солнце блещет, магнолии цветут, песни слышатся, мандолины бренчат... Ах, тяжко!

Но все же — спасибо ему, спасибо югу! Он вырвал мою душу из грозного, ожесточенного одиночества и поставил меня лицом к лицу с дивным собеседником — своею могучею природою. И силой, и миром наполняют мою душу ее немые речи, и призраки мрачного прошлого бледнеют в присутствии ее вечной красоты. Я полюбила юг, и с тех пор, как у меня снова есть что любить, мне легче. Я по-прежнему презираю себя, по-прежнему боюсь людей — лишь в твоих объятиях мне не обидно за себя и не страшно никого, о святая, всепримиряющая мать-природа! Ты — великая, ты — бесстрастная; пред тобою нет ни дурного, ни хорошего! Зло и добро ты одинаково спокойно высылаешь в мир из своих таинственных недр и равнодушно принимаешь их, слепо исполнивших задачу своего бытия, обратно. Я твоя! прими же меня, отжившую!

Из окон моей виллы я вижу гору. Высоко поднимается по террасам ее, словно с неба упавший, городок Fiesole, но гора, в могучем порыве к небу, обгоняет его веселые строения и, отдав людским жилищам свои уступы, царит над ними зеленою вершиною. Темные кипарисные рощи и белые полосы тропинок испестрили ее скаты. На крутом греб-

не горы добрый человек поставил каменную скамью и начертал на ней: «Путник-англичанин — братьям-путникам всех стран». Сколько раз я отдыхала на этой скамье, задумчиво вглядываясь в широкую даль. Небо синее, спокойное, глубоко прозрачное — надо мною и вокруг меня. Горы Каррары, Пизы, белая полоса ливорнского побережья неясными намеками рисуются сквозь голубоватый туман на далеком горизонте, а внизу почти у моих ног кипит жизнью Флоренция, тянется изрезанная мостами зеленая лента Арно; красные лучи заходящего солнца играют на гигантском куполе Cattedrale *, кладут золото и румяна на его черную тучу. Там я бываю наедине с небом — наедине с Богом. Ave Maria... ** звон колокольчика и рокот органа в нагорной обители францисканцев... Я чувствую близость Бога и трепещу, но не страшусь ее: суди меня, Всесильный! — меня, много грешившую и много терпевшую! Я готова и спокойна... Жизнь изжита; пора, — хочу смерти! И там — на этой заоблачной вышке, где мне бывало так хорошо, — там желала бы я уснуть навеки!

Прощайте, голубчик, Аркадий Николаевич! Спасибо вам — за все, за все! Если на том свете встретимся, нам не в чем упрекнуть друг друга... не о многих я могу сказать то же самое, не многие и обо мне это скажут, когда и для них, — как завтра или послезавтра для меня, — смерть сделает явным все тайное. Обо мне будут плакать... Бедный Степан! бедные дети!.. Но мне не надо слез: не стою. За детей я не боюсь и не страдаю: они остаются в лучших руках, чем были бы для них мои — такой, как я стала. Бедные, бедные! стыдно мне: много они из-за меня натерпелись. Да, слез мне не надо... и вы не плачьте обо мне — вы, знавший меня лучше всех людей! Все к лучшему на свете. Человек приходит в мир и уходит из мира,

* Кафедральный собор *(ит.)*.

** Радуйся Мария... *(лат.)*.

слепо исполняя темное предопределение, и все, что творит он между рождением и смертью, решено и сотворено раньше его.

Опять звон, опять орган... может быть, я слышу их в последний раз.... последние земные звуки... Ave Maria, gratiae, plena! * — радуйся, Милосердная! — милосердная Мать — Мать-природа. Радуйся, Мария, Благодать Земли боготворимая... Я люблю Тебя — я верую в любовь... Прекрасна земля, прекрасны люди, прекрасно небо надо мною... Все люблю — во все верую — верую — и умираю... Прощайте, дорогой друг, прощайте!»

1882 — 1893

*Радуйся, благодатная Мария! *(лат.)*

ПРИМЕЧАНИЯ

КНЯЖНА

Печ. по изд.: Собр. соч. А.В. Амфитеатрова. Т. 1. СПб.: Книгоиздательское т-во «Просвещение», 1911.

С. **18.** *Ивашка — главарь стрелецкого бунта...* — Иван Андреевич Хованский (? — 1682) — князь, боярин, воевода, поддерживавший старообрядцев; в 1682 г. во время Московского восстания — начальник Стрелецкого приказа. Казнен вместе с сыном Андреем.

...на дыбе у князя-кесаря Ромодановского. — Федор Юрьевич Ромодановский (ок. 1640 — 1717) — князь, сподвижник Петра I, начальник Преображенского приказа, ведавшего расследованиями политических дел.

С. **19.** *Меншикову изменили для Долгоруких...* — Александр Данилович Меншиков (1673 — 1729) — сын придворного конюха, ставший сподвижником Петра I, светлейшим князем, генералиссимусом. При Екатерине I фактически правил государством. Петром II отправлен в ссылку. Противники Меншикова князья Долгоруковы (Долгорукие): Василий Владимирович (1667 — 1746) — генерал-аншеф, с 1728 г. — член Верховного тайного совета, в 1731 г. арестован и заточен в Соловецкий монастырь; с 1741 г. — президент Военной коллегии; Василий Лукич (ок. 1670 — 1739) — дипломат, с 1727 г. — член Верховного тайного совета; в 1730 г. заточен в Соловецкий монастырь, а затем казнен.

...купленные «Анной, нам Богом данной», с Волынским рассорились... — Вторая дочь царя Ивана Алексеевича, в замужестве герцогиня курляндская Анна Иоанновна (1693 — 1740) была возведена на русский престол в 1730 г. высшим духовенством и Верховным тайным советом («верховниками»). Противником «верховников», ограничивавших права императрицы, выступил видный государственный деятель Артемий Петрович Волынский (1689 — 1740), обвиненный

позднее в политическом заговоре и казненный вместе с единомышленниками Еропкиным и Хрущовым.

С. 19. *...вместе с Бестужевым.. возведя курляндского конюха в регенты Российской империи...* — Алексей Петрович Бестужев (1693 — 1767) — кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны, канцлер при императрице Елизавете Петровне; один из тех, кто привел к власти Эрнста Иоганна Бирона (1690 — 1772), давнего фаворита Анны Иоанновны, установившего в России режим засилья иностранцев, всеобщей подозрительности и доносов. После дворцового переворота 1740 г. отправлен в ссылку; помилован Петром III (1728 — 1762).

...припасть к стопам Анны Леопольдовны, как скоро Миних и Манштейн скрутили Бирона — Анна Леопольдовна (1718 — 1746) — правительница России в 1740 — 1741 гг. при малолетнем сыне — императоре Иване VI (1740 — 1764). Бурхард Кристоф Миних (1683 — 1767) — при Анне Иоанновне президент Военной коллегии; в 1742 г. отправлен в ссылку и возвращен в 1762 г. Петром III. Кристоф Герман Манштейн (1711 — 1757) — на русской военной службе с 1736 г.; участник свержения Бирона; автор «Записок о России. 1727 — 1744».

...позвякивало золото де ла Шетарди и шуршали векселя Лестока... — Маркиз Иоахим Жак Тротти де ла Шетарди (1705 — 1758) — посол Франции в России, содействовавший (вместе с Лестоком) вступлению на престол Елизаветы Петровны; в 1743 г. выслан из России. Иоганн Герман Лесток (1692 — 1767) — граф, лейб-хирург Елизаветы Петровны; отправлен в ссылку в Углич и затем помилован Петром III.

В «Петербургском действе» 1761 года... — 23 июня 1762 г. с помощью гвардии был свергнут с престола Петр III и к власти пришла его жена Екатерина II Алексеевна (1729 — 1796).

...стеною стали широкие спины богатырей Орловых. — Братья Орловы, организаторы дворцового переворота 1762 г.: граф, фаворит Екатерины II Григорий Григорьевич (1734 — 1783), впоследствии генерал-фельдцейхмейстер русской армии; Алексей Григорьевич (1737 — 1807/08) — граф, впоследствии генерал-аншеф, за победы у Наварина и Чесмы (1770) получил титул Чесменского.

Шпынь — «колкий насмешник, резкий и дерзкий остряк» (В.И. Даль).

С. **20.** *...их звали Этеоклом и Полиником.* — В греческой мифологии Этеокл и Полиник — сыновья царя Фив Эдипа, вражда которых из-за отцовского престола кончилась гибелью обоих.

...почитавший Вольтера и энциклопедистов... — Вольтер (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруэ; 1694 — 1778) — французский писатель и философ-просветитель, с которым в России связывалось распространение духа свободомыслия (вольтерьянства). Энциклопедисты — французские просветители, которые во главе с Дени Дидро издавали в 1751 — 1780 гг. «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (35 т.).

С. **21.** *...премудрая Фелица.* — «Фелица» (от лат. felicitas — счастье) — ода Гаврилы Романовича Державина (1743 — 1816), посвященная Екатерине II; имя заимствовано из ее «Сказки о царевиче Хлоре».

Ирритация — возбуждение, волнение, раздражение.

С. **22.** *...очень не полюбился Аракчееву...* — Алексей Андреевич Аракчеев (1769 — 1834) — граф, генерал от артиллерии; с 1808 г. — военный министр, в 1815 — 1825 гг. — фактический руководитель государства; всесильный временщик в годы царствования Александра I; организатор военных поселений, в которых установил жестокий режим и муштру, вызвавшие несколько восстаний.

...вертится около истории в Семеновском полку... — В 1820 г. лейб-гвардии Семеновский полк, квартировавший в Петербурге, восстал против бесчеловечного обращения командира полка с солдатами. Восстание было жестоко подавлено, полк расформировали.

...в переписке с Николаем Тургеневым... — Николай Иванович Тургенев (1789 — 1871) — экономист, основоположник финансовой науки в России; один из учредителей декабристских организаций «Союз благоденствия» и «Северное общество». С 1824 г. — за границей. После восстания декабристов в 1825 г. — политэмигрант, приговоренный заочно к вечной каторге.

Знаменитый декабрист Лунин... — Михаил Сергеевич Лунин (1787/88 — 1845) — подполковник, герой Отечественной войны 1812 г.; один из учредителей декабристских организаций «Союз спасения» и «Союз благоденствия». После восстания декабристов в 1825 г. осужден на 20 лет каторги.

А переводчик Расина... вольтерьянец... Катенин... — Павел Александрович Катенин (1792 — 1853) — поэт, переводчик, критик,

театральный деятель; состоял в декабристском «Союзе спасения». С 1841 г. — почетный член Петербургской Академии наук.

С. **23.** *Ему бы жить в Италии при Цезаре Борджиа или во Франции при Карле IX.* — Цезарь (Чезаре) Борджиа (1478 — 1507) прославился интригами, которые он организовывал вместе с отцом — папой римским Александром VI и сестрой Лукрецией. Карл IX (1550 — 1574).— французский король из династии Валуа; под влиянием матери Екатерины Медичи дал согласие на кровавую расправу над гугенотами (Варфоломеевская ночь 1572 г.).

...польется чистейшая aqua tofana. — Вода Тофаны — сильно действующий яд неизвестного состава, которым пользовалась знаменитая отравительница с о. Сицилия Теофания ди Адамо (1659 — 1709).

С. **26.** *Если бы при царе Алексее Михайловиче, ее бы надо в срубе сжечь!* — Алексей Михайлович (1629 — 1676) — второй царь дома Романовых; в его царствование патриарх Никон провел церковные реформы, вызвавшие раскол и открывшие жестокие расправы над старообрядцами.

«Орлеанскую пюсельку», поганец, наизусть читаешь! — От фр. «La pucelle d' Orlèans» — «Орлеанская девственница» (1735), поэма Вольтера, читать которую значило слыть вольнодумцем (вольтерьянцем).

...афея Сашки Пушкина кощунственные стихи... — Афей (от греч. atheos — отрицание Бога) — богохульник.

...любимец великого князя Михаила Павловича... — Михаил Павлович (1798 — 1848) — четвертый сын императора Павла I, генерал-фельдцейхмейстер со дня рождения; с 1819 г. управлял артиллерийским ведомством, с 1825 — член следственной комиссии по делу о декабристах.

С. **27.** *Цицианов* Павел Дмитриевич (1754 — 1806) — князь, генерал от инфантерии; участник Персидского похода 1796 г., с 1892 г. — главноначальствующий в Грузии. Убит во время переговоров с бакинским ханом.

Ермолов Алексей Петрович (1777 — 1861) — генерал от инфантерии, отличившийся во многих войнах, в том числе Отечественной 1812 г. В 1816 — 1827 гг. — командир Кавказского корпуса и главнокомандующий в Грузии; за покровительство сосланным декабристам уволен в отставку.

С. **27.** *Котляревский* Петр Семенович (1782 — 1851) — генерал от инфантерии; в 14 лет — участник Персидской войны, где прославился громкими подвигами и был произведен в офицеры.

Курбский Андрей Михайлович (1528 — 1583) — князь, государственный деятель, писатель; проявил выдающуюся храбрость во время осады Казани и в Ливонской войне Ивана Грозного. Опасаясь опалы царя, бежал в Литву.

С. **28.** *Кавказский наместник, полудержавный князь М С Воронцов...* — Наместником (с неограниченными правами) и главнокомандующим войск на Кавказе Михаил Семенович Воронцов (1782 — 1856) назначен в 1844 г., а до этого генерал-фельдмаршал и светлейший князь был новороссийским и бессарабским генерал-губернатором.

...под командою известного Граббе — Павел Христофорович Граббе (1787 — 1875) — участник Отечественной 1812 — 1815 гг., Турецкой, Кавказской и Венгерской военных кампаний.

...«кавказского Мюрата», Засса... — Григорий Христофорович Засс (1753 — 1815) — генерал от кавалерии, участник Кавказской войны, командовавший всей Кубанской линией. Иоахим Мюрат (1711 — 1815) — французский маршал, которого Наполеон поставил королем Неаполитанским.

Знаменитый Толстой — «Американец».. — Федор Иванович Толстой (1782 — 1846) — граф, гвардейский офицер, путешественник и писатель; человек, по характеристике Л.Н. Толстого, его внучатого племянника, «необыкновенный, преступный и привлекательный». Прославился как «нечистый» картежник и дуэлянт, убивший одиннадцать человек. Участвовал в первом кругосветном плавании (1803 — 1806) в эскадре Крузенштерна, но за недостойное поведение был высажен на Алеутских островах (отсюда прозвища «Американец» и «Алеут»). В 1820 — 1821 гг. — «герой» эпиграмм Пушкина после того, как был заподозрен в клевете. После примирения стал посредником в сватовстве поэта к Н.Н. Гончаровой.

...«в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист»... — Из комедии Грибоедова «Горе от ума».

С. **29.** *Дамы, напитанные Марлинским...* — Марлинский — псевдоним Александра Александровича Бестужева (1797 — 1837), прозаика, поэта, критика, участника восстания декабристов 14 де-

кабря 1825 г. Его романтическими повестями в 1830-е годы зачитывались все. Сосланный сперва в Якутию, а затем рядовым на Кавказ, Бестужев погиб в бою при высадке десанта у мыса Адлер.

С. **29.** *Не хватало лишь Лепорелло, чтобы подсчитывать за новейшим Дон-Жуаном его победы.* — Лепорелло — слуга Дон Жуана, легендарного испанского героя-обольстителя, о котором написаны десятки произведений, в том числе Мольером, Корнелем, Гольдони, Байроном, Гофманом, Дюма; в России — Пушкиным, А.К. Толстым и др.

С. **31.** *Слыхали вы «Роберта-Дьявола»?* — «Роберт-Дьявол» (1830) — опера композитора, пианиста и дирижера Джакомо Мейербера (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер; 1791 — 1864), первая в жанре «большой» оперы, определившая появление романтического музыкального театра во Франции.

С. **32.** *...после 1831 г. напрасно было и жаловаться!* — Имеется в виду польское восстание 1830 — 1831 гг., после подавления которого была отменена конституция 1815 г.

...выкупать ли штафирку в дегтярной бочке... — штафирка — подхалим (от «трафить» — угождать).

С. **35.** *...воспользоваться «вольностью дворянства».* — Манифест «О даровании вольности всему российскому дворянству», изданный 18 февраля 1762 г. Петром III, освободил дворян от обязательной государственной и военной службы, но во время войн они должны были служить в армии.

С. **37.** *...глядела настоящею Бобелиной...* — Прав.: Боболина — героиня войны за независимость Греции 1821 — 1829 гг.; в одном из сражений приняла командование кораблем. В 1825 г. стала жертвой убийцы. В лубочных картинах изображалась рослой богатыршей.

...оправдывала собою известную характеристику графа В.А. Соллогуба... — Далее цитата из повести «Тарантас» Владимира Александровича Соллогуба (1813 — 1882).

С. **43.** *...встретился с знаменитым Фотием...* — Архимандрит, настоятель Новгородского монастыря Фотий (в миру Петр Никитич Спасский; 1792 — 1838) славился резкими обличениями; дни завершил в Деревяницком монастыре Новгородской епархии, где изнурил себя тяжким аскетизмом.

С. **43.** *...укланивать самого неодолимого Филарета Московского...* — *Филарет* (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1783 — 1867) — один из влиятельнейших митрополитов Московских, переводчик Библии на русский язык, автор многих богословских трудов.

С. **44.** *...Сперанским мог быть...* — Михаил Михайлович Сперанский (1772 — 1839) — государственный деятель эпохи Александра I, инициатор либеральных преобразований.

С. **45.** *Страстная неделя* — последняя неделя Великого поста перед Пасхой, которую христианская церковь посвящает мученической смерти Иисуса Христа.

...известная ханжа графиня Анна Алексеевна Орлова (та самая «благочестивая жена», о которой Пушкин острит...) — А.А. Орлова-Чесменская (1785 — 1848) — дочь адмирала А.Г. Орлова-Чесменского, командовавшего флотом в Турецкой войне 1770 г. Пушкину приписывают две дерзкие эпиграммы о графине, которая оказывала покровительство архимандриту Фотию (см. о нем на стр. 808). Первая — «Разговор Фотия с гр. Орловой»:

«Внимай, что я тебе вещаю
Я телом евнух, муж душой».
— Но что ж ты делаешь со мной?
«Я тело в душу превращаю».

В романе цитируется вторая эпиграмма:

Благочестивая жена
Душою Богу предана,
А грешной плотию
Архимандриту Фотию.

...повлияла на всесильного Бенкендорфа... — Александр Христофорович Бенкендорф (1781 или 1783 — 1844) — граф, государственный деятель, участник войн с Наполеоном; с 1826 г. — шеф жандармов и глава Третьего отделения, ведавшего полицией.

С. **49.** *Об Успеньи рожа разбита, а суда у Николы проси!* — Смысл пословицы — в чрезмерности временного разрыва между свершенным проступком и наказанием за него. Праздник Успения Богородицы православные отмечают летом, 15(28) августа, а день памяти Николая Чудотворца празднуется зимой 6 (19) декабря (Никола «зимний»).

С. **52.** *...собеседовали об «Экклезиасте».* — Екклезиаст (от греч. — проповедник) — одна из важнейших канонических книг Ветхого завета Библии, приписываемая царю Соломону.

С. **58.** *....марш из Спонтиниевой «Весталки».* — «Весталка» (1807) — одна из опер (их около 20) итальянского композитора Гаспаре Спонтини (1774 — 1851).

С **69.** *...необуздан, как Тамерлан.* — Тамерлан (Тимур; 1336 — 1405) — среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир с 1370 г.

...с этого сановника, говорят, были списаны А.Ф. Писемским свирепые губернаторы в его романах. . — Имеется в виду прежде всего роман «Тысяча душ» (1858) Алексея Феофилактовича Писемского (1820 — 1881).

С. **70.** *Я не Сидрах, не Мисах, не Авденаго, чтобы лезть в пещь огненную...* — Авденаго — так халдеи звали Азарию, пленника из Иудеи, который прославился тем, что отказался поклониться истукану пред ликом всесильного царя Вавилонии Навуходоносора. За это смельчак вместе с товарищами по плену Сидрахом и Мисахом был брошен в печь огненную, но Божьим чудом все трое были спасены.

С. **72.** *...в шутку звал его своим Аракчеевым.* — А. А. Аракчеев см. примеч. к с. 805.

С. **73.** *...«и Ферситом коль назвать...»* — Ферсит (Терсит) — в «Илиаде» Гомер изображает этого врага Одиссея безобразным уродцем.

С. **74.** *...галерею... украсила Леда, а цветник сада — белая Церера...* — По одной из версий древнегреческого мифа, царская дочь Леда — мать близнецов-Диоскуров, Клитемнестры и Елены Прекрасной. Елена считалась дочерью Зевса, который соединился с Ледой в образе лебедя. Церера — древнейшая италийская крестьянская (плебейская) богиня злаков и урожая, а также материнства и брака.

С. **75.** *...в Содом-Гоморре подобных игр не видно...* — В переносном значении Содом и Гоморра означают: хаос, разврат. Эти два города в устье р. Иордан (их жители погрязли в распутстве) подверглись жестокой каре: Содом и Гоморра были испепелены огнем, посланным с небес. Бог пощадил только праведника Лота с семьей.

С. **77.** *...по плану и рисункам Растрелли... с поправками и вариантами Баженова.* — Варфоломей Варфоломеевич Растрелли (1700 — 1771) — русский архитектор (итальянского происхождения), создавший Смольный монастырь, Зимний дворец и другие постройки в Петербурге, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе. Василий Иванович Баженов (1737 или 1738 — 1799) — архитектор-классицист, создатель романтического дворцово-паркового ансамбля Царицыно и дома Пашкова (ныне одно из зданий Российской государственной библиотеки) в Москве, Михайловского замка в Петербурге.

С. **80.** *Гляжу, как безумный на черную шаль...* — Из стихотворения Пушкина «Черная шаль».

Я и Наталью Николаевну знал... — Н.Н. Пушкина (урожд. Гончарова, во втором браке Ланская; 1812 — 1863) — жена А.С. Пушкина.

С. **82.** *Приветствую тебя, пустынный уголок...* — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Деревня».

С. **100.** *...поистине, Саулову тоску* — Саул — первый царь еврейского государства, возведенный правящим судьей Самуилом по желанию народа на престол в XI в. до н.э. Однако надежд он не оправдал, и Самуил тайно помазал на царство другого — Давида, что ввергло Саула в мрачную меланхолию. Он погиб от собственного меча (Библия. Первая Книга Царств, гл. 9 — 31).

С. **103.** *.. «Сон Богородицы», — без ужаса читать невозможно...* — Апокриф «Сон Пресвятой Богородицы» (27 прозаических и стихотворных пересказов в пятом сборнике «Калики перехожие») повествует о пророческом сне Богородицы, из которого она узнала о страданиях и крестной смерти Иисуса.

...выписал из Англии первые брошюрки Юма и с головою утонул в мире духов... — Дэвид Юм (1711 — 1776) — английский философ, историк, экономист.

С. **108.** *...кончает... Демидовское училище в Ярославле...* — Имеется в виду Демидовский юридический лицей (с 1833) в Ярославле, основанный в 1805 г. на средства Павла Григорьевича Демидова (1738 — 1821) под названием: Ярославское Демидовское высших наук училище.

С. **124.** *...Марьиной рощи, от которой теперь остались: две березы, повесть Жуковского ..* — Марьина роща — известный с се-

редины XVIII в. район на севере Москвы, где некогда проводились народные гуляния. Роща была вырублена в 1880-х гг. Поэт Василий Андреевич Жуковский (1783 — 1852) — автор прозаического произведения «Марьина роща. Старинное предание» (1809).

С. **124.** *Ванька-Каин* (Иван Осипович;1718 — после 1755) — знаменитый разбойник, разудалый «добрый молодец», ставший сыщиком и погибший на каторге, герой многих очерков (Д.Л. Мордовцев и др.), исследований (Г.В. Есипов и др.), а также бульварных романов и повестей (например, самые популярные «Жизнь и похождения российского Картуша, именуемого Каином» (1785 и 1859); «История Ваньки-Каина со всеми его сысками, розысками и сумасбродною свадьбою» (1815 и 1830).

С. **138.** *Гнуснецы* — гнусные, гадкие, мерзкие, скверные, подлые.

С. **146.** *...кувырком, будто турманы.* — Турманы — порода голубей.

С. **149**. *...пусть бы Михайло Иванович Глинка из него второго Петрова обучил.* — Композитор М.И. Глинка (1804 — 1857) написал басовые партии Сусанина в опере «Иван Сусанин» и Руслана в «Руслане и Людмиле» специально для выдающегося певца Осипа Афанасьевича Петрова (1807 — 1878).

С. **159.** *...живопись Кипренского!* — Орест Адамович Кипренский (1782 — 1836) — живописец и график; автор знаменитого прижизненного портрета А.С. Пушкина (1827).

С. **161.** *...приставь хоть Аргуса стоглазого...* — Аргус (Аргос) — в греческой мифологии неусыпный великан с бесчисленным множеством глаз.

С. **164.** *...голая Леда бесстыдно обнимается с лебедем.* — См. примеч. на с. 810.

С. **165.** *...работа большого мастера — чуть ли не самого Майкова.* — Николай Аполлонович Майков (1794 — 1873) — исторический живописец, академик; автор известного полотна «Отдыхающая купальщица».

...Церерами заставлял позировать... — См. примеч. на с. 810.

С. **167.** *Умер царь Николай. Все умы были прикованы к Севастополю...* — Император Николай I скончался 18 февраля 1855 г., а Севастополь, героически оборонявшийся в ходе Крымской войны 349 дней, пал 27 августа 1855 г.

С. **173.** *Экий... Люцифер гордый!* — Люцифер (лат. «утренняя звезда») — в христианстве одно из имен сатаны, обуреваемого гордыней.

С. **182.** *...излюбленный фантазией староверов Китежград...* — В русских легендах (особенно у староверов) город Китеж в XIII в. чудесно спасся от монголо-татарских завоевателей: он стал невидимым и опустился на дно озера Светлояр.

С. **209.** *Стожары* — название разных (по местностям) созвездий: Плеяд, Тельца, но чаще всего Большой и Малой Медведицы с Полярной звездой (она и есть Стожар).

С. **226.** *...известной картины Боровиковского «Бог Саваоф...»* — Владимир Лукич Боровиковский (1757 — 1825) — художник-портретист и иконописец.

С. **242.** *Прасол* (устар.) — торговец, скупающий оптом рыбу, мясо.

С. **257.** *...приятеля графа Канкрина...* — Егор Францевич Канкрин (1774 — 1845) — писатель и государственный деятель; министр финансов при Николае I.

С. **258.** *Почти сто лет минуло с Пугача...* — Емельян Иванович Пугачёв (1740 или 1742 — 1775) — донской казак (хорунжий), участник войн Семилетней 1756 — 1763 и русско-турецкой 1768 — 1774 гг.; в августе 1773 под именем Петра III поднял восстание казаков, вылившееся в Крестьянскую войну. Казнен в Москве на Болотной площади.

С. **261.** *...перешел через Рубикон.* — «Перейти Рубикон» — начать войну, принять важное решение. В 49 г. н.э. Цезарь, нарушив закон, форсировал с войском пограничную реку Рубикон и начал гражданскую войну.

С. **262.** *Память взятия Казани...* — Иван IV Грозный (1530 — 1584), взяв Казань в 1552 г., покорил Казанское ханство.

С. **263.** *...слушают знаменитого... цивилиста Мейера... вдохновенного богослова архимандрита Гавриила...* — Дмитрий Иванович Мейер (1819 — 1894) — юрист, автор многих трудов, в том числе по гражданскому (цивильному) праву. Гавриил (в миру Василий Иванович Воскресенский; 1795 — 1868) — настоятель монастыря в Казани и профессор церковного права и философии в Казанском университете; автор многих книг.

С. **266.** *...чиновник-волкодав, как литератор П.И. Мельников.* — Павел Иванович Мельников (псевд. Андрей Печерский; 1818 — 1883) — прозаик, историк; автор прославивших его романов «В лесах» и «На горах». Выдающийся бытописатель был, однако, и печально знаменитым гонителем старообрядцев, «язвы государственной», по его мнению. Н.С. Лесков назвал его «волком» за то, что он, будучи руководителем министерской Статистической комиссии по изучению раскола, закрывал скиты и часовни, отбирал иконы. В фольклорных преданиях старообрядцев рассказывается, как при Мельникове «свет дневной померк, и лики икон потемнели и скрылись». Эту свою деятельность писатель позднее осудил и сам.

...погром старообрядчества, произведенный.. по инструкциям генерал-адъютанта Бибикова... — Дмитрий Гаврилович Бибиков (1792 — 1870) — министр внутренних дел в 1852 — 1855 гг.

«Был Павел, а стал Савел» .. — Савл — еврейское имя апостола Павла до его обращения в христианство. Смысл поговорки: был христианин, а стал снова язычником.

Лжица — ложечка для церковного причастия.

ЖАР-ЦВЕТ

Впервые — в еженедельнике «Север». СПб. 1895. № 2 — 12, 15 — 16, 18, 23 — 24, 41 — 47. Первое книжное издание — СПб.: Просвещение, 1910. Печ. по 2-му, перераб. и доп. изд.: Собр. соч. А.В. Амфитеатрова. Т. 2. СПб., 1911. «Прочитал «Жар-цвет», — пишет Горький Амфитеатрову с Капри в 1911 г., — интересно, хорошо! Вот желал бы этой книге широкого распространения! Скольких она может вылечить и скольких заставила бы поумнеть. Такой вы хороший леший и так много знаете — завидно мне!» Этот, по авторскому определению, «фантастический» роман заинтересовал Горького прежде всего потому, что в нем дано убедительное объяснение причин той чрезмерной увлеченности мистицизмом, гипнотизмом, передачей мыслей на расстоянии, магией и т.п., которая охватила русскую интеллигенцию на рубеже веков.

С. **302.** *А в шляпе я прочел: «Лемерсье»...* — Г.А. Лемерсье — владелец фабрики модных шляп в Москве.

С. **303.** *...путешествует по Бедекеру.* — Карл Бедекер (1801 — 1859) — основатель немецкой книгоиздательской фирмы, до сих пор выпускающей известные во всем мире путеводители по странам.

С. **304.** *...у Алексея Толстого зелень рощ сквозила...* — Алексей Константинович Толстой (1817 — 1875) — поэт, прозаик, драматург.

Купер когда-то природу хорошо описывал... — Джеймс Фенимор Купер (1789 — 1851) — американский писатель, автор знаменитых приключенческих романов.

Остатки сантиментализма, обломки от Руссо. — Жан Жак Руссо (1712 — 1778) — французский писатель и философ, представитель сентиментализма.

Я из русских описателей природы одного Сергея Аксакова люблю. — Сергей Тимофеевич Аксаков (1791 — 1859) — автор известных книг «Семейная хроника», «Детские годы Багрова внука», «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», воспевающих поэзию природы.

С. **305.** *Читали... роман Арсена Гуссе?* — Арсен Гуссе (1815 — 1896) — французский поэт-романтик, прозаик, художественный критик; начинал как автор популярных и в России романов.

С. **308.** *...как Крукс, когда совсем ошалел от спиритических фокусов...* — Уильям Крукс (1832 — 1919) — известный английский физик и химик; в зените славы увлекся спиритизмом и выступил с серией статей в защиту реальной возможности общаться с душами умерших.

С. **312.** *...золотая стрела скифа Абариса...* — Абарис — выходец из гипербореев, жителей северной страны («за Бореем»), особо чтимой богом греческого Олимпа Аполлоном. Чудодейственная золотая стрела мудреца Абариса стала одним из фетишных знаков Аполлона.

Крылья Дедала — в греческой мифологии афинский изобретатель, архитектор и скульптор, построивший лабиринт для Минотавра, в который чудовище заключило его самого с сыном Икаром. Однако им удалось выбраться с помощью сооруженных Дедалом крыльев. Но Икар, взлетевший слишком высоко, упал в море: солнце растопило воск, которым были скреплены его крылья.

Фаэтон — сын бога Солнца Гелиоса и нимфы Климены; управляя солнечной колесницей отца, он слишком близко подъехал к зем-

ле, едва не погубив ее в испепеляющем пламени. Зевс, спасая мир от гибели, поразил Фаэтона молнией.

С. **312.** *Симон-маг* (Симон Волхв) — в христианских преданиях чародей из Самарии, вздумавший соперничать не только с апостолами, но и с самим Христом. Изобличен апостолом Петром, что явило миру торжество веры над суеверием (Библия. Деяния святых апостолов, гл. 8).

...Фауст и Мефистофель на бочке ауэрбахова погреба... — Имеется в виду сцена «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге» из трагедии Гете «Фауст».

...новгородский угодник Иоанн, которого черт... вынужден был возить к обедне в Иерусалим... — Имеется в виду легенда, описанная Пахомием Логофетом (XV в.) в «Житии», о том, как архиепископ Новгородский Иоанн (ум. 1185) совершил путешествие в Иерусалим на бесе.

Кузнец Вакула — герой повести Гоголя «Ночь перед Рождеством».

...чудотворные россказни теософов, хотя бы, скажем, Блаватской... — Имеются в виду знаменитые книги писательницы и теософки Елены Петровны Блаватской (1831 — 1891) «Разоблаченная Исида» (1877), «Из пещер и дебрей Индостана» (1883), «Тайная доктрина» (1888 — 1897) и др.

С. **313.** *..летописи присваивают эту способность .. Гаутаме ..* — Сиддхартха Гаутама (623 — 544 до н.э.), получивший имя Будда, — основатель буддизма, одной из трех мировых религий, в основе которой учение о «четырех благородных истинах»: страдание, его причина, состояние освобождения и путь к нему.

...третье искушение Христа дьяволом в пустыне . — Здесь Амфитеатров неточно цитирует Евангелие от Луки (гл. 4, ст. 10 и 11).

Аполлоний Тианский в романе Филострата... — Филострат II Флавий (род. ок. 160 — 170 — ум. ок. 244 — 249) — греческий писатель и софист, автор жизнеописания Аполлония Тианского, философа и аскета, жившего в I в. и обретшего славу чудотворца.

То же самое чудо рассказывает Лукиан... — О гиперборейце, носящемся по воздуху, не снимая башмаков из воловьей кожи, рассказывается в диалоге-памфлете «Любитель лжи, или Невер» древнегреческого сатирика Лукиана из Самосаты (ок. 120 — ок. 190).

С. **313.** *Приписывают способность парения и неоплатонику Ямвлиху...* — Ямфлих (ок. 280 — ок. 330) — греческий философ из сирийской Халкиды, создавший религиозно-философское учение с сильными элементами восточного магизма.

Св. Эдмунд Кентерберийский, Св Дунстан, Св Филипп Нери, Св Игнатий Лойола, Св Доминик, Св Тереза — святые католической церкви: Эдмунд и Дунстан — архиепископы англиканской церкви; Филиппо Нери (1515 — 1595) — священник, основавший в Риме духовные собрания, на которых впервые начали исполняться священные песнопения (будущие оратории). Игнатий Лойола (1491 — 1556) — основатель иезуитского ордена (ему приписывается изречение «Цель оправдывает средства»); Доминик (1170 — 1221) — основатель ордена странствующих братьев-проповедников доминиканцев; Терезия (1515 — 1582) — испанская писательница-монахиня, святая покровительница Испании.

Кальмет Августин (1672 — 1757) — французский богослов, монах ордена бенедиктинцев; комментатор Библии и автор многих трудов по истории религии.

С. **314.** *...то же самое рассказывают о Серафиме Саровском...* — Преподобный Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин; 1759 — 1833) — старец-пустынножитель и затворник; один из самых почитаемых святых в русской православной церкви.

..быстрый лизис общего и длящегося кризиса... — Лизис (греч. lysis — растворение) — медицинский термин, означающий ослабление, угасание проявлений болезни.

...о графе де Местре, авторе «Петербургских вечеров»? — Жозеф Мари де Местр (1753 — 1821) — французский публицист, религиозный философ; в 1802 — 1817 гг. был посланником короля Сардинии в России, где написал свое главное сочинение в двух томах «Санкт-петербургские вечера, или Беседы о временном правительстве провидения» (1821).

Самый экстатический художник Возрождения Бенвенуто Челлини (1500 — 1571) — итальянский скульптор и ювелир, автор знаменитой автобиографической книги «Жизнь Бенвенуто Челлини».

С. **315.** *...саги о скандинавских берсеркерах.* — Берсеркер — у древних скандинавов воин-герой, наделенный сверхчеловеческой силой, дикарской жаждой кровавых битв.

С. **315.** *Вазари* Джорджо (1511 — 1574) — итальянский живописец и архитектор эпохи Возрождения, вошедший в историю прежде всего как автор пятитомника «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».

...половой экстаз называется сатириазисом и нимфоманией... — Сатириазис (у мужчин) и нимфомания (у женщин) — болезненное психопатическое половое перевозбуждение.

Боянус Людвиг Генрих (1776 — 1827) — анатом и зоолог, профессор, член-корреспондент Петербургской Академии наук, автор многих трудов по зоологии и ветеринарии.

...гоняться за «сензитивами», как их Рейхенбах определяет... — Немецкий натуралист и технолог Карл фон Рейхенбах (1788 — 1827) разработал учение об излучаемых человеком биотоках, которые могут восприниматься только сензитивами (обладающими повышенной чувствительностью).

С. **316.** *...уготовить себе эвфаназию древних...* — Эвфаназия (эвтаназия) — у древних — без принуждения, самостоятельно выбранная «хорошая (легкая) смерть».

С. **317.** *Литтре* Эмиль (1801 — 1881) — французский философ-позитивист, филолог и врач.

Альберт Великий (граф фон Больштедт; ок. 1193 — 1280) — немецкий философ-схоласт и богослов; монах нищенствующего ордена доминиканцев.

.*«есть много, друг Горацио»...* — Из трагедии Шекспира «Гамлет» (1601).

С. **318.** *Я это все сам умею делать не хуже мисс Фай и Евсебии Палладино.* — На рубеже веков в периодических изданиях много писали о спиритических (медиумических и телепатических) сеансах американки мисс Фай и итальянки Евсебии (Евзапии) Палладино.

Фламмарион Камиль (1842 — 1925) — французский астроном, автор популярных книг по астрономии, переведенных на многие языки.

С. **319.** *Араго* Доминик Франсуа (1786–1853) — французский физик и астроном, открывший магнетизм электрического тока.

Фехнер Густав Теодор (1801 — 1887) — немецкий физик, психолог, философ и писатель-сатирик; основатель психофизики, сторонник учения о панпсихизме (всеобщей одушевленности природы).

С. **320.** *Уоллес* Альфред Рассел (1823 — 1913) — английский естествоиспытатель.

Рише Шарль (1850 — 1935) — французский физиолог.

Остроградский Михаил Васильевич (1801 — 1861/62) — математик и механик.

Морган Томас Хант (1866 — 1945) — американский биолог, один из основоположников генетики.

Гартман Эдуард (1842 — 1906) — немецкий философ, сторонник учения о всеобщей одушевленности природы.

Галилей Галилео (1564 — 1642) — итальянский ученый, один из основателей точного естествознания.

Фультон — Фултон Роберт (1765 — 1815) — американский механик-изобретатель, построивший первый в мире колесный пароход (1807) и подводную лодку.

Эдисон Томас Алва (1847 — 1931) — американский изобретатель, автор более 1000 изобретений, в том числе усовершенствовал телефон и телеграф, лампу накаливания (1879), изобрел фонограф, построил первую в мире электростанцию общественного пользования (1882).

Институт Бульо — физико-астрономический институт в Париже.

Кеплер Иоганн (1571 — 1630) — немецкий астроном, открывший три закона движения планет относительно Солнца, изобретатель телескопа.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770 — 1831) — классик немецкой философии, создатель систематической теории диалектики.

С. **321.** *Пьяцци* (Пиацци) Джузеппе (1746 — 1826) — итальянский астроном, открывший первую малую планету Цереру (1801) и составивший два звездных каталога.

Хладни Эрнст Флоренс Фридрих (1756 — 1827) — немецкий физик, основатель экспериментальной акустики, автор подтвердившейся гипотезы о космическом происхождении метеоритов.

Гассенди Пьер (1592 — 1655) — французский математик, астроном, философ.

Лавуазье Антуан Лоран (1743 — 794) — французский химик, один из основоположников современной химии.

Лаплас Пьер Симон (1749 — 1827) — французский астроном, физик, математик; автор классических трудов по теории вероятнос-

тей и небесной механике; его именем названы физический закон, дифференциальный оператор, теорема и уравнение в математике.

С. **321.** *Лихтенберг* Георг Кристоф (1742 — 1799) — немецкий физик, прославившийся как писатель-сатирик, литературный, художественный и театральный критик, автор книги «Афоризмы».

Конт Огюст (1798 — 1857) — французский философ, один из основоположников позитивизма.

Тьер Адольф (1797 — 1877) — историк, в 1871 — 1873 гг. — президент Франции, подавивший Парижскую коммуну.

Прудон Пьер Жозеф (1809 — 1865) — французский социалист, теоретик анархизма.

Майер Юлиус Роберт (1814 — 1878) — немецкий естествоиспытатель, врач; первым сформулировал закон сохранения энергии, теоретически рассчитал механический эквивалент теплоты.

Ионг Томас (Юнг; 1773 — 1829) — английский физик, астроном, врач; один из основоположников волновой теории света.

Френель Огюстен Жан (1788 — 1828) — французский физик, основоположник волновой оптики.

Лорд Брум Генри Питер (1778 — 1868) — знаменитый английский адвокат, оратор и парламентский деятель.

Гарвей Уильям (1578 — 1657) — английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии («все живое происходит из яйца»); при жизни подвергся гонениям ученых и церковников.

...«лягушачий танцмейстер»... Гальвани... — Гальвани Луиджи (1737 — 1798) — итальянский анатом и физиолог, один из основателей учения об электричестве, основоположник экспериментальной электрофизиологии. Первым исследовал (на лягушках) электрические явления при мышечном сокращении.

С. **322.** *Лобачевский* Николай Иванович (1792 — 1856) — математик, создатель неевклидовой геометрии, совершившей переворот в представлении о природе пространства.

Гаусс Карл Фридрих (1777 — 1855) — немецкий математик, физик, астроном; его именем названы единица магнитной индукции, симметричная система единиц и основная теорема электростатики.

Риман Бернхард (1926 — 1866) — немецкий математик, положивший начало геометрическому направлению в теории аналитических функций (риманова геометрия).

С. **323.** *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646 — 1716) — немецкий философ, математик, физик, языковед.

Ньютон Исаак (1643 — 1727) — английский физик и математик, открывший закон всемирного тяготения.

Гюйгенс Христиан (1629 — 1695) — нидерландский ученый; создал волновую теорию света, усовершенствовал телескоп, сконструировал маятниковые часы и окуляр, открыл кольцо Сатурна и его спутник Титан; автор одного из первых трудов по теории вероятностей.

Швейггард — очевидно, Швейггер Иоганн Соломон Христофор (1779 — 1857), немецкий физик, изобретатель электромагнитного мультипликатора.

Кант Иммануил (1724 — 1804) — родоначальник немецкой классической философии.

Берклей — Беркли Джордж (1685 — 1753) — английский философ, епископ, утверждавший, что бытие внешнего мира состоит только в его восприятии человеком.

Шопенгауэр Артур (1788 — 1860) — немецкий философ.

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821 — 1894) — немецкий ученый, автор фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии, психологии; математически обосновал всеобщий закон сохранения энергии, разработал термодинамическую теорию химических процессов.

С. **325.** *Лоти* Пьер (1850 — 1923) — французский писатель, автор популярных романов об экзотике Востока (в том числе эротических).

Мопассан Гюи (Ги) *де* (1850 — 1893) — французский прозаик, создатель произведений об интимных человеческих чувствах.

С. **326.** *Психоз... на люэтической почве...* — От люэса — латинского названия сифилиса.

С. **329.** *...читала «Коринфскую невесту» Гете в переводе Алексея Толстого.* — Перевод А.К. Толстого (1870) античной баллады Гете «Коринфская невеста» (в ней противопоставлены жизнелюбие верований язычников и аскетизм древнего христианства) до сих пор считается лучшим. По словам Толстого, эта баллада Гете «принадлежит к его первоклассным произведениям по силе стиха, изящности картин и той объективности, с которой он становится на точку зрения язычества в его тогдашней борьбе с торжествующим христианством».

С. **330.** *...нагрузили сочинениями Элифаса Леви и прочих мистагогов...* — Сочинения французского спирита Элифаса *Леви* читал и Амфитеатров, работая над романом. Мистагог — жрец.

С. **331.** *..ламия, эмпуза, говоря языком древней демонологии...* — В греческих сказаниях ламия — привидение, которым пугали детей; нарицательное от Ламии — царицы Ливии, любимой Зевсом и за эту любовь понесшей наказание: верховная олимпийская богиня и жена Зевса Гера лишила ее детей. С той поры Ламия из мести стала отнимать детей у других матерей. Эмпуза — мифическое существо с ослиными ногами, напоминающее вампира, упыря; злой дух из свиты богини ночи Гекаты, повелевающей демонами.

С. **333.** *Вытирайся одеколоном... опопонакс, корилопсис...* — Опопанакс средиземноморский и кореопсис американский — растения, используемые в парфюмерии.

С. **334.** *Сар Пеладан Жозефен* (наст. имя и фам. Жозеф Эмэ; 1859 — 1918) — французский прозаик, драматург и художественный критик, представитель символизма с претензией на роль мирового вождя — называл себя «сар» (вавилонский владыка).

С. **347.** *Поэ* Эдгар (По Эдгар Аллан; 1809 — 1849) — американский поэт, прозаик, критик; основоположник детективного жанра; автор «страшных» новелл, пронизанных сверхъестественным, мистическим, иррациональным.

С. **349.** *...на оккультизме свихнулся, после Гюисмансова «Là-Bas».* — Шарль Мари Жорж Гюисманс (1848 — 1907) — французский писатель; герой его спиритуалистического романа «Там, внизу» («Là-Bas»; 1891) в поисках необычных ощущений увлеченно посещал оргии сектантов-сатанистов.

Мы ведь киммеряне. — Киммерийцы — в «Одиссее» Гомера мифический народ на краю океана; исторически — это племена, населявшие Северное Причерноморье в VIII — VII вв. до н.э.

С. **350.** *Ставили* «Лоэнгрина». — *«Лоэнгрин»* (1848) — опера-драма немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813 — 1883).

...как в Дельфах, с пифией... — Дельфы — древнегреческий город, где располагались храм и оракул (место предсказаний) бога Аполлона. Предсказания свершались возле расщелины, из которой вырывались удушливые испарения. Вдыхая их и впадая в экстаз, жрица Пифия выкрикивала пророчества Аполлона.

С. 351. *Во всех этих хтонических святилищах...* — Хтонические (подземные) святилища — в честь богов царства мертвых Аида и его супруги Персефоны, ее матери — богини земли и плодородия Деметры и др.

...как будто побывал в пещере Трофония... — Трофоний — в греческой мифологии беотийский герой, прославившийся прорицаниями в Лейбадейской пещере, которые ввергали людей в ужас.

С. 352. *Элиан, описывая один индийский харониум...* — Клавдий Элиан (ок. 170 — ок. 230) — римский грекоязычный писатель; из его сочинений до наших дней дошли «О природе животных» (в 17 книгах), «Пестрые рассказы» и «Письма поселян».

В Гierополисе в храме Сирийской богини... — Гиераполь (греч. Hierapolis — священный город) — древний город Сирии у берегов Евфрата с храмом в честь богини плодородия Атаргатис; ныне — г. Менбидж.

...по свидетельству Страбона и Диона Кассия... — Страбон (ок. 64 — 63 до н.э. — ок. 23/24 н.э.) — древнегреческий географ и историк; автор знаменитой «Географии» в 17 книгах. Кассий Дион Коккеян (ок. 160 — 235) — греческий историк и римский сенатор; автор сочинений о последнем периоде Римской республики и первых столетиях Римской империи.

...чудесной истории Марка Курция... — Легендарный римский юноша Марк Курций в 362 г. до н.э. совершил подвиг самопожертвования во имя спасения своего города и сограждан.

...у кратера... вроде Стромболи или поццуоланской Зольфатары... — Стромболи — действующий вулкан на одноименном острове у берегов Италии. Поццуоли — город в Италии, в окрестностях которого много серных кратеров (сольфатаров) вулканического происхождения.

Начинаешь понимать Эмпедокла, радостно прыгнувшего в Этну... — Древнегреческий философ, поэт, врач и политический деятель Эмпедокл из Агригента (ок. 490 — ок. 430 до н.э.) погиб, как гласит легенда, совершив прыжок в кратер вулкана Этна (в действительности же умер на Пелопоннесе).

С. 353. *...подобно Данту, оставившему свою улыбку на дне девятиярусного своего ада.* — Имеется в виду «Божественная Комедия» Данте, в первой части которой («Ад») повествуется о зловещих девяти кругах ада, уготованных для грешников.

С. **354.** *.как тоскуют опиофаги по опиуму и гашишу.* — Опиофаги (от греч. phagos — пожиратель) — наркоманы, курящие и жующие опий и другие наркотические вещества.

...проскользнуло имя покойной Блаватской... о разоблачении ее тайн Всеволодом Соловьевым .. — Имеется в виду привлекшая всеобщее внимание мемуарно-публицистическая книга исторического романиста Всеволода Сергеевича Соловьева (1849— 1903) «Современная жрица Изиды: Мое знакомство с Е.П. Блаватской», которая печаталась в 1892 г. в шести номерах журнала «Русское обозрение».

С. **355.** *...такого заклятого врага спиритуалистов, как физиолог Карпентер.* — Вильям Бенджамин Карпентер (1813 — 1885) — английский естествоиспытатель, издавший в 1877 г. разоблачительную книгу «Месмеризм и спиритуализм в историческом освещении» (рус. перевод — 1891).

С. **356.** *Престидижитатор* — фокусник.

С. **358.** *Аэндорская волшебница обезумела от страха...* — По библейскому преданию, волшебница из Аэндоры предсказала первому царю Израильско-Иудейского государства Саулу поражение в войне с филистимлянами и его гибель вместе с сыновьями (Библия. Первая Книга Царств, гл. 28 — 31).

С. **359.** *Мадзини* Джузеппе (1805 — 1872) — вождь (наряду с Гарибальди) республиканско-демократического крыла Рисорджименто — национально-освободительного движения Италии; основатель подпольной патриотической организации «Молодая Италия».

С. **361.** *...фраза Альфонса Карра из его «Клотильды»...* — Альфонс Жан Карр (1808 — 1890) — французский писатель; роман «Клотильда» в русском переводе вышел в свет в 1858 г.

С. **363.** *Во «Флорентийских ночах» Гейне рассказывает, как он... влюбился в разбитую статую...* — Влюблявшийся то в мраморные статуи, то в живописные изображения Мадонны, то в умершую красавицу — Максимилиан, герой романтической новеллы «Флорентийские ночи» (1836) немецкого поэта, прозаика и публициста Генриха Гейне (1797 — 1856).

С. **366.** *Это — «Сумерки богов»...* — В другом переводе «Гибель богов» (1874), четвертая философская опера-драма Р. Вагнера из его знаменитой тетралогии «Кольцо нибелунга». Своеобразным антиподом вагнеровской оперы с ее сложнейшей оркестровкой ста-

ла «легкая» книга философско-поэтических афоризмов Фридриха Ницше (1844 — 1900) «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом» (1888).

С. **366.** *Чермак* Ярослав (1831-1878) — чешский живописец.

Семирадский Хенрык (Генрих Ипполитович; 1843 — 1902) — польский и русский живописец.

Матейко Ян (1838 — 1893) — польский живописец.

Хельминский (Хелмоньский) Юзеф (1849 — 1914) — польский живописец.

С. **369.** *...излечили нервное расстройство... императрицы Елизаветы Австрийской.* — Жена австрийского императора Франца Иосифа I Елизавета Амалия Евгения (1837 — 1898) — одна из самых блистательных женщин XIX столетия, признанная самой красивой императрицей Европы. Однако на ее долю выпало пережить одно за другим тяжелые потрясения: потеряла двухлетнюю дочь, любимого кузена — короля Баварии Людовика II, был убит революционерами свояк Максимилиан Мексиканский, при загадочных обстоятельствах в 1889 г. покончил с собой ее единственный сын, наследник престола Рудольф... Все это привело ее к острому нервному истощению. Всеобщая любимица сограждан нашла утешение в путешествиях, в поэзии, в изучении языков и древностей. Но и ее жизнь закончилась трагично: в Женеве императрица стала жертвой убийцы-маньяка. В европейских столицах в ее честь названы десятки улиц и учреждений, о ней написаны романы, пьесы, поэмы, созданы мюзиклы и фильмы.

Мария Александровна (1824 — 1880) — жена императора России Александра II; в историю вошла как учредительница всесословных женских гимназий и российского Красного Креста.

С. **371.** *...знаменитое заклинание цветов из «Фауста»...* — Имеется в виду эпизод из оперы «Фауст» французского композитора Шарля Гуно (1818 — 1893): Зибель, влюбленный в Маргариту, собирает для нее цветы, но они вянут от его прикосновения — сбывается зловещее предсказание Мефистофеля.

С. **372.** *Одиссей, царь Алкиной, вещий Демодок, Навзикая* — персонажи поэмы Гомера «Одиссей».

Беклин... вообразил свой «Остров мертвых». — Знаменитая символическая картина-фантазия «Остров мертвых» (1880) Арноль-

да Бёклина (1827 — 1901) существует в пяти вариантах, что свидетельствует о глубоком увлечении выдающегося швейцарского живописца философской темой смерти (в эту же пору он создает и свой известный «Автопортрет со смертью»).

С. **375.** *...запел он из «Маскотты».* — «Маскотта» (в России шла под названием «Красное солнышко») — оперетта французского композитора и органиста Эдмона Одрана (1840 — 1901).

«Не дай мне Бог сойти с ума!» — Из стихотворения Пушкина, начинающегося этой строкой (1833).

С. **384.** *Это — «Участь»*. . — В исполнительский репертуар песня «Участь» вошла в переработке известного литературоведа и автора «цыганских романсов» Степана Петровича Шевырева (1806 — 1864) под названием «Участь моя горькая...»

Бенгальские розы, // Свет южных лучей... — Цитата из стихотворения А.К. Толстого «Цыганские песни».

С. **386.** *Харон* — в древнегреческой мифологии перевозчик мертвых в Аиде (подземном царстве).

С. **387.** *Эдем* (Едем) — синоним рая; в библейской мифологии — страна, в которой Бог создал чудесный сад и поселил в нем первых людей, Адама и Еву, до их грехопадения.

С. **390.** *Пифия* — пророчица бога Аполлона из его Дельфийского оракула.

С. **392.** *...не посетил еще ни Монрепо, ни Ахилейона...* — Монрепо (от фр. mon repo — мой отдых) и Ахилейон (сады в честь Ахилла, величайшего героя Троянской войны) — так назывались уединенные уголки, места покоя и отдохновения от житейских забот.

С. **393.** *...прекрасного, безумного Людвига II Баварского.* — Король Людвиг (Людовик) II Баварский (1845 — 1886) вошел в историю как меценат композитора Р. Вагнера, известен также своими фантастическими архитектурными проектами, за которые прозван был Безумным Людвигом. В частности, он пытался создать в Баварии точную копию Версаля. В 80-е годы жил почти в полной изоляции от общества. 10 июня 1886 г. консилиум признал короля психически нездоровым, а через три дня Людвиг утонул в озере.

...чувствительным, как Эолова арфа... — Эолова арфа — струнный инструмент, издающий звуки при малейшем дуновении ветерка (назван в честь Эола, владыки ветров). Воздушные арфы (в виде

ящика-резонатора) устанавливались на крышах, в гротах, беседках. Особенно популярны были с конца XVIII в. (в том числе и в России).

С. **393.** *Эсхил* (ок. 525 — 456 до н. э) — «отец трагедии», великий драматург Древней Греции; автор трилогии «Орестея», трагедий «Семеро против Фив», «Прикованный Прометей».

Софокл (ок. 496 — 406 до н. э.) — великий древнегреческий драматург; автор знаменитых трагедий «Эдип-царь», «Антигона», «Электра» и др., входящих в репертуар многих современных театров мира.

Франц Иосиф I (1830 — 1916) — император Австрии, король Венгрии из династии Габсбургов.

С. **394.** *...вот римская претория, где бичуют Христа, вот Голгофа.* — Иисуса Христа судили римские преторы (представители высшей судебной власти); по их приговору он был распят на кресте на горе Голгофа и в ее скале погребен.

Мойры — в греческой мифологии богини судьбы.

С. **395.** *Карл V* (1500 — 1558) — император «Священной Римской империи», король Испании; в 1556 г. отрекся от престола и ушел в монастырь.

С. **396.** *Лишь розы отцветают...* — Стихотворение Пушкина (без названия).

Элизий (Элизиум, Елисейские поля) — у древних греков обитель праведников, блаженных душ после смерти; впервые упомянут в «Одиссее» Гомера.

Лета — река забвения в подземном царстве: испившие воды из Леты забывали прошлое.

Поэт Щербина... описал Элладу... — «Эллада» (1846) — одно из антологических (античных) стихотворений поэта-лирика Николая Федоровича Щербины (1821 — 1869).

С. **405.** *Михайловский — из позитивистов позитивист...* — Николай Константинович Михайловский (1842 — 1904) — социолог (сторонник субъективного метода), публицист, критик.

«Моноидеизм» Брэда — не фантастика... — Джемс Брэд (1795 — 1860) — английский врач, прославившийся изучением гипнотизма («брэдизма»). Моноидеизм — психическое (гипнотическое) наваждение, завлеченность чьей-то волей.

С. **429.** *Сивилла* (Сибилла) — древнегреческая пророчица, предрекавшая будущее (обычно бедственное).

С. **429.** *Геката* — в греческой мифологии богиня мрака, ночных видений и чародейства, повелительница демонов, пугающая людей призраками.

С. **431.** *...Сергей Аксаков поймал однажды близ Казани бабочку...* — Об этом своем увлечении в годы студенчества С.Т. Аксаков рассказал в очерке «Собирание бабочек» (1858).

С. **432.** *В Радуницу и Семик они вешали на ветви дуба венки и полотенца...* — Радуница — «навий день; родительская, день поминовения усопших на кладбище, на Фоминой неделе (первой после Пасхи. — *Т.П.*); тут пьют, едят, угощают покойников, призывая их на радость пресветлого воскресенья» (В.И. Даль). «Семик, сёмуха или сёмка — Троицын и Духов день, Пятидесятница; это седьмой от Пасхи четверг, рядят березку, водят хороводы; встреча весны, местами (Устюг) в Семик бывают поминки покойным» (В.И. Даль).

С. **438.** *...в самый разгар ускочества...* — Ускоки (серб.-хорв. — перебежчики) — военные поселенцы в Хорватии XVI — XVII вв., бежавшие из югославянских земель, которые были под властью турок.

С. **439.** *...была она цвета чуть ли не эбенового дерева.* — Растущее в тропиках эбеновое дерево черного или (чаще) темно-зеленого цвета.

...к ней сватались нобили. — Нобили (принадлежащие к нобилитету; от лат. nobilitas — знать) — в Древнем Риме представители патрицианских семейств, имевшие право занимать высшие государственные посты (в отличие от «черни», «народа»).

Весталки — шесть жриц, поддерживавшие священный огонь в святилище римской богини семейного очага Весты. Весталки были девы, которые за нарушение обета целомудрия подвергались погребению заживо.

С. **450.** *Екатерина Медичи* (1519 — 1589) — дочь герцога Урбинского Лоренцо Медичи, жена короля Франции Генриха II (1519 — 1559), после смерти которого захватила власть; многоопытная интриганка, устроившая кровавую Варфоломеевскую ночь (1572) против гугенотов. Мать и опекунша королей Франциска II (1544 — 1560), Карла IX (1550 — 1574) и Генриха III (1551 — 1589).

Франсуа Алансонский — младший брат Карла IX, погибший при загадочных обстоятельствах.

С. **451.** *Александр VI Борджиа* (1431 — 1503) — римский папа с 1492 г., уничтожавший своих политических противников с помощью яда и кинжала.

С. **453.** *Тамплиеры* — члены духовно-католического ордена (ок. 1118 или 1119 — 1312), основанного в Иерусалиме; занимались торговлей и ростовщичеством (к XIII в. стали крупнейшими в Европе банкирами).

Розенкрейцеры — члены тайных (преимущественно религиозно-мистических) обществ в Германии, России, Нидерландах; их эмблемой были роза и крест.

С. **458.** *Кабала* (каббала; др.-евр.: предание) — мистическое течение в иудаизме. Теоретическая каббала — это учение о Боге, о множестве им созданных миров, а также о таинственных смыслах цифр и букв. Прикладная каббала содержит формулы, с помощью которых угадывается сокровенное, предсказывается будущее, творятся чудеса.

С. **461.** *Это — головня Мелеагра...* — Миф о роковой головне излагается в «Эпиникиях» («Победных песнях») Вакхилида и в «Метаморфозах» Овидия. На Калидонской охоте у Аталанты, возлюбленной древнегреческого героя Мелеагра, его дядья отнимают почетные охотничьи трофеи. Разгневанный Мелеагр убивает их сыновей. Его мать Алфея, возмущенная этим преступлением сына, бросает в огонь головню, от которой зависела жизнь Мелеагра, и он погибает. Мать, осознав, какое зло содеяла, кончает жизнь самоубийством.

С. **465.** *Всякий сонник, начиная с «Oneirokritikon» Артемидора Эфесского...* — Артемидор (ок. 100 г. до н.э.) — греческий политический деятель и географ из Эфеса; автор дошедшего до наших дней «Сонника» («Онейрокритикон») в 5 книгах — важного источника сведений об античных поверьях.

С. **467.** *Робеспьер* Максимильен (1758 — 1794) — один из якобинских вождей в годы Великой Французской революции.

Марат Жан Поль (1743 — 1793) — один из якобинских вождей в годы Великой Французской революции.

Фукье-Тенвиль Антуан (1747 — 1795) — французский революционер, шпион полиции, официальный обвинитель революционного трибунала в Париже, отличавшийся жестокостью; казнен.

С. **468.** *Страшная галлюцинация Лавалета...* — Антуан Мари Лавалет (1769 — 1830) — сторонник Наполеона; после реставрации

Бурбонов приговорен к смертной казни, но спасен женой Эмилией Луизой Богарне, устроившей переодевание платьями. Лавалетт бежал в ее платье, а Эмилия надолго осталась узницей и сошла с ума.

С. **469.** *Вальтер Скотт в своей «Демонологии»...* — Имеются в виду «Письма о демонологии и черной магии» английского исторического романиста Вальтера Скотта (1771 — 1832).

...великого плута Парацельса... — Парацельс (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493 — 1541) — врач и естествоиспытатель; один из основателей ятрохимии — направления в медицине XVI — XVIII вв., рассматривавшего болезни как нарушения химических процессов в организме.

С. **470.** *Николаи* Кристоф Фридрих (1733 — 1811) — немецкий писатель, автор романа «Жизнь и мнения господина магистра Зебальдуса Нотанкера» — сатиры на лютеранское правоверие и нетерпимость к иноверцам.

Сведенборг Эмануэль (1688 — 1772) — шведский ученый и теософ-духовидец.

С. **471.** *...Флобер описывал отравление Эммы Бовари...* — Имеется в виду финал романа Гюстава Флобера (1821 — 1880) «Госпожа Бовари» (1857).

С. **474.** *...он так написал «Стихийных духов»...* — «Духи стихий» — третья книга «Салона» Г. Гейне.

С. **476.** *...показалась... переодетою стригою.* — Стриги (постриженники) — сторонники новгородско-псковской ереси стригольников, выступавших во второй половине XIV — начале XV вв. против стяжательства церковников, против храмов, считая праведной только церковь времен апостольских.

С. **489.** *.. «дикой воли полна, заходила волна, жемчугом убирая залив».* — Из стихотворения Н.Ф. Щербины «Южная ночь» (1843).

С. **495.** *Синдбад Мореход* — герой из сказок «Тысяча и одна ночь».

С. **497.** *...Сенека, Тразея и другие, открывавшие себе жилы в ваннах.* — Луций Анней Сенека (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.) — римский политический деятель, писатель и философ-стоик; воспитатель императора Нерона, по приказу которого покончил жизнь самоубийством. Луций Тразея Пет — римский император, вождь оппозиции при Нероне. Приговоренный к смерти, сам вскрыл себе вены.

С. **501.** *Фелисьен Давид работы Микеланджело!* — В ночном бреде героя романа соединились в одну фразу имя автора знаменитой оды-симфонии «Пустыня» французского композитора Фелисьена Давида (1810 — 1876) и Микеланджело Буонарроти (1475 — 1564), итальянского скульптора, живописца, архитектора и поэта, создателя монументальной статуи «Давид».

С. **503.** *Я чувствую себя в Петрониевых временах...* — т.е. в I в., когда жил Петроний, римский писатель и придворный императора Нерона, по принуждению которого в 66 г. покончил жизнь самоубийством.

С. **510.** *...пускал бумеранг в казуара...* — Казуар — птица из семейства австралийских страусов.

С. **511.** *Я замешался волонтером в чилийскую революцию...* — Очевидно, имеется в виду война 1865 — 1866 гг., в которой Чили в союзе с Перу, Эквадором и Боливией воевала против испанских колонизаторов.

С. **512.** *Летопись ее фамилии... еще за Василием Темным...* — Василий II Темный (1415 — 1462), великий князь московский.

...дружил с Сен-Жерменом, Месмером, Калиостро... — Граф Сен-Жермен (ум. 1784 или 1795) — алхимик, знаменитый авантюрист, по одной из легенд — участник переворота 1762 г., приведшего на престол Екатерину II. Франц Антон Месмер (1734 — 1814) — австрийский врач, предложивший медицинскую концепцию о «животном магнетизме» (месмеризм), посредством которого можно излечивать болезни. Алессандро Калиостро (наст. имя Джузеппе Бальзамо; 1743 — 1795) — наиболее известное из многих имен знаменитого авантюриста, мага и демонолога. В Петербурге появился в 1780 г. под именем графа Феникса.

...попал в Консьержери... — т.е. в знаменитую старую парижскую тюрьму.

...превратил его из вольномыслящего деиста в верующего католика. — Деисты — сторонники религиозно-философской доктрины, признающей, с одной стороны, Бога как творца мира, но с другой — считающей реальными разум в познании Бога и в самодвижении природы, саморазвитии материи. Деизм во многом определил свободомыслие просветителей в XVII — XVIII вв.

С. **513.** *Ориенталист* — востоковед.

С. **523.** *Соломон* — славившийся необычайной мудростью царь Израильско-Иудейского царства в 965 — 928 гг. до н.э.; ему приписывается авторство знаменитых библейских книг Притчи Соломоновы, Екклезиаст, Премудрости Соломона, Песнь Песней.

Альберт Великий — Альберт фон Больштедт (ок. 1193 — 1280) — немецкий философ и теолог, монах ордена доминиканцев; зачинатель энциклопедической систематизации католического богословия, завершенной его учеником Фомой Аквинским. Автор трактатов о растениях, животных и минералах.

Корнелий Агриппа — Генрих Корнелий Агриппа из Неттесгеймса (1486 — 1535), один из ученейших людей своего времени, видный представитель немецкого Возрождения, философ, медик, историк, юрист, теолог, однако прославился более всего как чернокнижник и маг (несмотря на то, что в зрелом возрасте осудил это свое увлечение). Автор многих трудов, в том числе «О сокровенной философии», «О недостоверности и суетности наук» и др.

С. **524.** *«Malleum maleficarum» Спренглера* — «Молот ведьм» — книга, изданная в 1489 г. в Страсбурге папскими инквизиторами Якобом Шпренгером и Генрихом Крамерсом; наставление для судей, ведших процессы над обвиняемыми в колдовстве.

Н.С. Лесков... дочитался требника Петра Могилы.. — В книгах прозаика и публициста Николая Семеновича Лескова (1831 — 1895) неоднократно упоминается имя киевского митрополита и богослова Петра Могилы (1596/97 — 1647), издавшего в числе многих книг также богослужебный требник «Евхологион, альбо молитвослов» (1646).

С. **526.** *...воспитанного в Греко-латинской академии братьев Лихудов.* — Братья Лихуды: Иоанникий (1633 — 1717) и Софроний (1652 — 1730) — греческие учителя и проповедники; по приглашению царя Федора в 1685 г. прибыли в Россию как самые искусные преподаватели для задуманной им Эллино-греческой (при Петре I Славяно-латинской) академии в Москве (1687) и Новгороде (1706) — первых здесь высших учебных заведениях. Братья преподавали грамматику, пиитику, риторику, логику, математику и физику. Из их учеников составилось первое поколение русских ученых и образованных государственных деятелей. Родоначальники общего образования в России издавали учебники и словари, переводили на русский исторические и военные сочинения, писали философские проповеди.

С. **532.** *...мифологи школы братьев Гриммов...* — Братья Гримм: Якоб (1785 — 1863) и Вильгельм (1786 — 1859) — немецкие филологи, основоположники германистики как науки о языке и литературе, а также так называемой мифологической школы, доказывавшей главную роль мифа в развитии фольклора.

...романы Бульвера заслуживают внимания: он хорошо изучал историю фантастических учений... — Эдуард Джордж Булвер-Литтон (1803 — 1873) — английский писатель, министр колоний, член палаты лордов; автор популярных во всем мире романов, в том числе исторических и фантастических.

С. **534.** *Кайданы* — кандалы, цепи, оковы.

...колотит.. корабелем по турским тюрбанам... — Корабель — сабля.

Чацка (чайка) — казацкий струг (корабль).

С. **535.** *Мур* — каменная (крепостная) стена.

Герматы — пушки.

Гермек — оруженосец.

Васьпан — ваше благородие.

Аманат — заложник.

С. **536.** *Райя* (араб. стадо) — в Турции и других мусульманских странах так называют «неверных», не мусульман.

С. **540.** *Аскер* — турецкий солдат.

С. **546.** *Цампа* — персонаж одноименной романтической оперы французского композитора Фердинана Герольда (1791 — 1833).

Покоювка — горничная.

Лепорелло — слуга Дон Жуана из одноименной оперы австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756 — 1791); стало нарицательным прозвищем угодливых ловкачей.

С. **547.** *Морфи* Пол Чарлз (1837 — 1884) — американский шахматист, один из сильнейших в мире.

Андерсен Адольф (1818 — 1879) и *Цукерторт* Иоганнес Герман (1842 — 1888) — немецкие шахматисты, входившие в число сильнейших в мире во второй половине XIX в.

С. **548.** *Стейниц* Вильгельм (1836— 1900)— первый в истории шахмат чемпион мира, основоположник позиционной школы шахматной игры.

Чигорин Михаил Иванович (1850 — 1908) — основоположник русской шахматной школы, один из сильнейших мастеров мира.

С. **548.** *Лев XIII* (1810 — 1903) — римский папа с 1878 г.; автор знаменитой энциклики «Рерум новарум...» («Новых вещей...» — первые слова латинского текста послания 1891 г.), провозгласившей извечность частной собственности и осудившей социализм.

С. **559.** *Бернардинцы* (иначе — цистерцианцы) — члены католического монашеского ордена (1098), получившие свое название по имени Бернарда Клервоского (1090 — 1153), знаменитого деятеля католической церкви, основателя и аббата монастыря аскетов в Клерво.

С. **560.** *Яггернаут* (Джаггернаут, Джаганнатха — др.-инд. «владыка мира») — в индуистской мифологии наиболее чтимая форма божеств Вишну и Кришны.

С. **570.** *Мори* Альфред (1817 — 1892) — французский историк, автор работ по магии и астрологии, в том числе книги «Сон и сновидения».

...полемика с покойным Бутлеровым... — Александр Михайлович Бутлеров (1828 — 1886) — химик-органик, создавший теорию химического строения веществ, свойства которых зависят от порядка связей атомов в молекулах.

С. **576.** *...между стихами Бернета и полемическою статьею Николая Полевого...* — Е. Бернет (наст. имя и фам. Александр Кириллович Жуковский; 1810 — 1864) — поэт-романтик, прозаик. Николай Алексеевич Полевой (1796 — 1846) — прозаик, историк, публицист, переводчик; автор популярных исторических романов, шеститомной «Истории русского народа» и острополемических статей в защиту русской национальной культуры, торговли и промышленности.

С. **587.** *...ищет медиума... Твардовского...* — Твардовский — герой легенды о «польском Фаусте», продавшем душу дьяволу. На этот сюжет созданы произведения многих польских писателей (наиболее известен роман Ю.И. Крашевского «Пан Твардовский»).

...показал бы... как королю Сигизмунду — Барбару Радзивилл. — Барбара Радзивилл (1522 — 1551) — королева польская; в 1545 г. с нею тайно обвенчался Сигизмунд II Август (1520 — 1572), последний из династии Ягеллонов. Подозревали, что мать Сигизмунда королева Бона (1493 — 1557), властолюбивая интриганка, отравила двух его жен, в том числе и Барбару.

Фейербах Людвиг (1804 — 1872) — немецкий философ-материалист.

С. **587.** *Дарвин* Чарлз Роберт (1809 — 1882) — английский естествоиспытатель, обосновавший гипотезу происхождения человека от обезьяны; автор трудов «Происхождение видов путем естественного отбора», «Происхождение человека и половой отбор» и др.

...полууставный листок семнадцатого века... — Полуустав — тип почерка древних славянских рукописей, написанных кириллицей (первой славянской азбукой, созданной в 863 г. монахом Кириллом); по сравнению с уставом, начертания полууставных букв лишены каллиграфической строгости.

С. **588.** *...некромантический рецепт...* — Некромантия (греч.) — вид древнего гадания; вызывание теней умерших. Так, по просьбе царя Саула, Эндорская волшебница вызывала тень пророка Самуила.

«Natura Nutrix» — «Сущность воспитания» (л а т.).

С. **591.** *Вольта* Алессандро (1745 — 1827) — итальянский физик и физиолог; один из основоположников учения об электричестве.

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821 — 1894) — немецкий физик, физиолог, психолог, обосновавший закон сохранения энергии.

С. **601.** *«Коснется ль чуждое дыханье...»* — Из стихотворения Лермонтова «Любовь мертвеца».

С. **602.** *...легенда о Пигмалионе стара, как мир.* — В греческой мифологии Пигмалион — легендарный царь Кипра, сделавший из слоновой кости статую прекрасной женщины и влюбившийся в нее. Внявшая его мольбе, богиня Афродита оживила статую и дала ей имя Галатея, которую Пигмалион взял в жены.

Мраморная Диана — статуя римской богини растительного мира, а также родовспомогательницы и покровительницы латинян. Царь Сервий Туллий, правивший в 578 — 534 гг. до н.э., основал в ее честь культовый храм на Авентинском холме в Риме, с которым связано немало легенд.

Каменный Гость — образ ожившей статуи командора из легенды о Дон Жуане, послужившей сюжетом для многих произведений мировой драматургии, в том числе и для «маленькой трагедии» Пушкина «Каменный гость» (1830).

Фома Аквинский (1225 или 1226 — 1274) — монах ордена нищенствующих братьев-доминиканцев, философ и богослов, разграничивший сферы науки и веры. Наука объясняет закономерности

мира, а над царством научного познания — область таинств христианской веры, которая вне возможностей разума.

С. **608.** *Маёнток* — имение, поместье, владение.

С. **611.** *...со времен царя Хирама...* — т.е. с незапамятных времен. Царь Тирский Хирам — современник царей Иудеи Давида и Соломона (XI — X вв. до н.э.).

ОТРАВЛЕННАЯ СОВЕСТЬ

Печ. по изд.: Собр. соч. А.В. Амфитеатрова. Т. 3. СПб., 1911. В первых вариантах роман публиковался под названиями «Алимовская кровь» (этюды в газ. «Русские ведомости», 1884, 24, 25 и 27 октября), «Людмила Верховская» (1889), «Отравленная совесть» (журнал «Наблюдатель»; 1895), «Обожание» и др. Амфитеатров сделал также сценический вариант романа, опубликованный в его сборнике «Пять пьес» (СПб.: Общественная польза, 1908). Наряду с «Отравленной совестью» в книгу вошли пьесы «Полоцкое разорение», «Virtus antique» («Оруженосец»), «Волны» (инсценировка повести «В стране любви») и «Чертушка».

С. **623.** *Митя — мой Вениамин.* — Вениамин — младший и любимый сын библейского патриарха Иакова, «сын скорби», потому что его мать Рахиль умерла при родах.

С. **624.** *Козьма Прутков* — под этим псевдонимом в журналах «Современник», «Искра» и др. в 1850 — 1860-е гг. печатали афоризмы, сатирические стихи, пародии, басни поэты Алексей Константинович Толстой и его двоюродные братья Жемчужниковы — Алексей, Владимир и Александр Михайловичи.

...уже и в институте была «парфеткою». — Парфетка — красотка (от фр. parfait — совершенный, прекрасный, безукоризненный).

С. **625.** *...известный «человек сороковых годов»...* — Выражение «Люди сороковых годов» восходит к одноименному роману А.Ф. Писемского, ставшему нарицательным. 1840-е годы были действительно эпохой поворотной в духовной истории России: они дали яркое созвездие писателей, мыслителей, ученых. На эту пору пришелся расцвет талантов Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского, Ф.М. Достоевского, И.С. Турге-

нева. «Замечательное десятилетие» — справедливо назвал свою мемуарную книгу об этой славной поре П.В. Анненков.

С. **627.** *«Амикю Плято, сед мажи амикю верита!»* (лат.: «amicus Plato, sed magis amica veritas») — «Платон мне друг, но истина дороже» — эта латинская поговорка восходит к сочинениям древнегреческих философов: диалогу «Федон» Платона (428 или 427 — 348 или 347 до н.э.) и «Никомаховой этике» Аристотеля (384 — 322 до н.э.). «Ради соблюдения истины, — говорит Аристотель, имея в виду учение об идеях Платона, — мы должны отклонить и то, что близко нашему сердцу: нам дорого то и другое, но наш долг — отдать предпочтение истине».

С. **628.** *«На свете счастья нет, а есть покой и воля».* — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834).

...страстных театралок, из хаоса которых развились впоследствии мазинистки, фигнеристки, тартаковистки... — Имеются в виду поклонницы знаменитых оперных певцов: итальянца Анджело Мазини (1844 — 1926), Николая Николаевича Фигнера (1857 — 1918) и Иоакима Викторовича Тартакова (1860 — 1923).

С. **629.** *...в Риме жить, при Нероне или Коммоде.* — Нерон (37 — 68) — римский император из династии Юлиев-Клавдиев, вошедший в историю как самовлюбленный, развратный, жестокосердый тиран. Амфитеатров написал о нем четырехтомное повествование-исследование «Зверь из бездны». Коммод (161 — 192) — римский император из династии Антонинов, требовавший почестей для себя, как для бога; восстановил против себя сенаторов конфискациями их имущества и был убит.

«Кто может сравниться с Матильдой моей!» — Ария Робера из оперы «Иоланта» (1891) Петра Ильича Чайковского (1840 — 1893).

С. **630.** *...этой Надсоновой... графине Лиде, что ли?* — В 1915 г. Литфонд издал однотомник «Проза. Дневники. Письма» поэта Семена Яковлевича Надсона (1862 — 1887), в который вошли его письма к NN — незнакомке, подписывавшей свои письма только именем и начальной буквой фамилии. После смерти поэта стало известно, что это была графиня Лидия Владимировна Фадеева-Волгина.

С. **631.** *...этой смешной фигуре... предназначенной к роли Менелая.* — В древнегреческой мифологии Менелай — супруг спартанской царицы Прекрасной Елены, избранный в мужья из нескольких десятков знатнейших героев Эллады. О злоключениях его судьбы рассказывается в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея».

...Мижуев противный. — Мижуев — персонаж из «Мертвых душ» Гоголя.

С. **632.** *...в среде ее возликовал Исайя...* — «Исайя, ликуй!» — литургический гимн, исполняемый во время бракосочетания. Исайя (евр. «спасение Господне») — знаменитый библейский пророк, которого называли божественнейшим и мудрейшим; автор «Книги пророка Исайи» — одной из самых поэтичных в Ветхом завете (считается пятым Евангелием). Пророк погиб мученической смертью: за обличения царского двора был перепилен деревянной пилой. Память Исайи церковь отмечает 9 (22) мая.

С. **633.** *...с Грановским был дружен...* — Тимофей Николаевич Грановский (1813 — 1855) — историк-медиевист, общественный деятель; вождь московских «западников».

...о Винкельмане сочинил что-то... — Иоганн Вильгельм Винкельман (1717 — 1768) — немецкий историк искусства, основоположник эстетики классицизма.

С. **634.** *«Риголетто»* (1851) — опера итальянского композитора Джузеппе Верди (1913 — 1901).

Пели Зембрих и Мазини. — Польская певица (колоратурное сопрано) Марчелла Зембрих (1858 — 1935) и итальянский тенор (бельканто) Анджело Мазини (см. о нем на с. 837) в 1880 — 1890-е гг. триумфально гастролировали в Петербурге.

С. **636.** *...просто Фернандо Кортец какой-то.* — Эрнан Кортес (1485 — 1547) — испанский конкистадор, возглавивший завоевательный поход в Мексику.

Алкивиад (ок. 450 — 404 до н.э.) — афинский стратег (полководец).

Чей миллионный процесс выиграл Плевако? — Федор Никифорович Плевако (1842 — 1908/1909) — знаменитый адвокат.

С. **637.** *...не дерзнули наши Ювеналы.* — Децим Юний Ювенал (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик.

С. **638.** *...вроде «Графа Монте-Кристо»... и «Рауля Синей Бороды»...* — «Граф Монте-Кристо» — знаменитый роман А. Дюма.

Герцог Рауль Синяя Борода — герой-убийца, умертвивший своих жен, из французской сказки Шарля Перро (1628 — 1703). На ее сюжет создали свои произведения писатели А. Франс, М. Метерлинк, композиторы Поль Дюка, Бела Барток и др.

С. **638.** *...которого... изображает у Лентовского Саша Давыдов...* — Михаил Валентинович Лентовский (1843 — 1906) — актер и крупный театральный предприниматель, владелец двух театров в московском саду «Эрмитаж» — для постановок оперетт и для феерий («Антей»). Александр Давыдович Давыдов (наст. фам. Карапетян; 1850 — 1911) — знаменитый опереточный актер (тенор) в театре Лентовского, любимец публики, прославившийся исполнением цыганских романсов.

...«La donna e mobile», — когда поет Мазини... — Начальные слова арии Герцога («Сердце красавицы склонно к измене...») из оперы Верди «Риголетто», входившей в репертуар Мазини.

С. **643.** *...во главе моды стояла французская императрица Евгения...* — Испанка Мария Евгения, графиня Монтихо-и-Теба (1826 — ?), ставшая в 1853 г. женой французского императора Наполеона III.

С. **648.** *Петровская академия* — основана в Москве в 1865 г.; 1923 г. — Сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева;

С. **657.** *«Она его за муки полюбила, а он ее — за сострадание к ним».* — Из трагедии Шекспира «Отелло».

С. **660.** *...Филину из «Вильгельма Мейстера» она ему напоминала...* — Филина — одаренная актриса и изящная кокетка из романа И.В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

С. **666.** *«Богат и славен Кочубей, его луга необозримы!»* — Из поэмы Пушкина «Полтава» (1828).

...он ведь ферлакур известный. — Ферлакур — делец (от фр. fair'valoir — букв.: извлечение дохода).

С. **668.** *Цезари Борджиа исчезли во мраке веков.* — Борджиа (Борджа) — знатный род испанского происхождения, видные политики и интриганы, игравшие в Италии XV — XVI вв. значительную роль. Цезарь (Чезаре) Борджа (ок. 1475 — 1507) — правитель Романьи, его отец Александр VI — римский папа, создавший в Средней Италии обширное государство со своей неограниченной властью.

С. **671.** *...не женщина, а Святослав в юбке! «Иду на вы»..* — Великий князь киевский Святослав I Игоревич (? — 972), совер-

шивший многочисленные походы, перед каждым из них отправлял недругам весть: «Хочу на вас идти!» («Иду на вы!»).

С. **676.** *Монахов Ипполит Иванович* (1842 — 1877) — драматический актер, известен так же, как исполнитель песен и куплетов.

С. **677.** *...«не ведая ни жалости, ни гнева, спокойно зрю на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно»...* — Из трагедии Пушкина «Борис Годунов».

С. **679.** *Как хитрый Талейран...* — Шарль Морис Талейран (1754 — 1838) — один из выдающихся французских дипломатов, отличавшийся лукавой изворотливостью и беспринципностью.

С. **680.** *...как у Ивана Карамазова: все позволено.* — Герои романа Достоевского «Братья Карамазовы» не раз возвращаются к спору, вызванному фразой из статьи Ивана Федоровича Карамазова: «Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, все позволено», в которой, по его мнению, выразила себя «сила низости карамазовской».

С. **683.** *...ваша теория — золотая для Жаков Лантье...* — Семейство Лантье — из многотомной серии романов Эмиля Золя «Ругон-Маккары». Жак Лантье — герой романа из этой серии «Человек-зверь», у которого наследственный алкоголизм сформировал «преступный склад» личности.

С. **691.** *...гневное лицо оскорбленной Юноны...* — В римской мифологии Юнона — богиня брака и материнства; богиню женщин изображали также воинственной — на боевой колеснице, в козьей шкуре, с щитом и копьем.

Тогенбург — герой романтической баллады Фридриха Шиллера (1759 — 1805) об идеальной любви «Рыцарь Тогенбург», переведенной В.А. Жуковским в 1818 г. Эту же тему развил А.С. Пушкин в стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).

С. **696.** *Иродиада* — племянница Ирода Филиппа, ставшая его женой и вступившая в преступную связь с другим своим дядей, Иродом Антипой. Обличившего ее Иоанна Крестителя тайно казнили: в темнице ему отсекли голову.

С. **697.** *...верь мне, как турка Магомету...* — Мухаммед (Магомет, Магомед, Мохаммед; ок. 570 — 632) — основатель ислама и глава первого мусульманского теократического государства; почитается как пророк.

С. **697.** *...кол за Цицерона...* — Марк Туллий Цицерон (106 — 43 до н.э.) — римский политический деятель, оратор и писатель; сохранилось 58 его речей, 19 трактатов и более 800 писем, которые до сих пор изучаются в вузах, так как являются достоверными свидетельствами об эпохе гражданских войн в древнем Риме.

С. **699.** *«Шутить и век шутить — как вас на это станет?»* — Из комедии Грибоедова «Горе от ума».

С. **703.** *Герой — местный Крез...* — Нарицательное: Крез — богач, по имени последнего царя Лидии, обладавшего несметными богатствами.

С. **704.** *Габорио* Эмиль (1832 — 1873) — французский писатель, автор романов о сыщике Лекоке, принесших ему славу одного из зачинателей детективного жанра.

С. **712.** *Левретка* — маленькая комнатно-декоративная собачка.

С. **716.** *Клико* — марка шампанских вин.

С. **717.** *...не резон быть пуристом.* — Пурист (от лат. purus — чистый) — строгий нравом; иногда эта строгость показная.

...к этой вечной диффамации вас... — Диффамация (от лат. diffamo — порочу) — распространение порочащих сведений.

С. **721.** *Эльдорадо* (исп. el dorado — золотой) — мифическая страна сокровищ, которую искали испанские завоеватели в Латинской Америке.

С. **724.** *...разыграть сцену из «Лукреции Борджиа».* — «Лукреция Борджиа» (1833) — опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797 — 1848).

...«скончаться посреди детей, плаксивых баб и лекарей!» — Неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина.

С. **729.** *Лены* — в средневековой Европе земельные владения, пожалованные вассалу королем или иным крупным феодалом как плата за службу.

...шайка кондотьеров... — Кондотьеры — наемники, готовые ради выгоды защищать любое дело. В Италии в XIV — XVI вв. кондотьер — предводитель наемного военного отряда.

...Сфорца искал железом... — Сфорца (ит. Sforza — сила) — знаменитый род итальянских герцогов, правивших Римом; потомки кондотьера Муццио Аттендоло, прозванного за силу Сфорца.

С. **729.** *Навуходоносор* — царь Вавилонии в 605 — 562 до н.э., захвативший территорию Сирии и Палестины, разрушивший восставший Иерусалим; при нем возведены легендарные Вавилонская башня и висячие сады.

Камбиз — второй царь (в 529 — 522 до н.э.) древней Персии, ведший, как и его знаменитый отец Кир, завоевательные войны в Африке.

С. **730.** *..Ксеркс велел высечь Геллеспонт...* — По легенде, это сделал персидский царь Ксеркс I после того, как в 481 г. до н.э. сам повел свои войска через Геллеспонт на Грецию и потерпел сокрушительное поражение в морских сражениях при Саламине, Платеях и Микале. Погиб в 465 г. до н.э. от рук заговорщиков.

Стэнли Генри Мортон (наст. имя Джон Роулендс; 1841 — 1904) — исследователь и первооткрыватель новых территорий в Африке; будучи корреспондентом газеты «Нью-Йорк геральд», участвовал в поисках другого путешественника — Д. Ливингстона, с которым затем исследовал озеро Танганьика.

Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815 — 1898) — князь, первый рейхсканцлер германской империи в 1871 — 1890 гг.

Беккер Самуэль Уайт (1821 — 1893) — английский путешественник по Африке.

Фогель Эдуард (1829 — 1856) — немецкий путешественник, участвовавший в экспедиции во внутреннюю Африку, где погиб.

Юнкер Василий Васильевич (1840 — 1892) — русский исследователь Африки, совершивший туда путешествия в1876 — 1878 и 1879 — 1886 гг.

Леопольд Бельгийский — Леопольд II (1835 — 1909), король Бельгии, в годы правления которого были захвачены обширные территории в Центральной Африке.

Ливингстон Давид (1813 — 1873) — шотландский путешественник, исследователь Африки.

Эмин-бей (Эмин-паша) — турецкое имя Эдуарда Шнитцера (1840 — 1892), немецкого путешественника по Африке.

Махди́ (араб.: мусульманский мессия, спаситель) — Мухаммед Ахмед Махди Суданский (ок. 1848 — 1885), вождь освободительного движения в Судане и основатель Махдистского государства.

С. **730.** *Митральеза* — картечница, старинное многоствольное ружье для непрерывной стрельбы картечью.

С. **731.** *...старец Горы с его ассасинами...* — «Старец с горы» — шейх уль Джебель, живший в замке на Ливанском хребте; глава ассасинов — политико-религиозной секты мусульман-шиитов, основанной Гассаном из Хорасана ок. 1090 г. Ассасины воевали с крестоносцами, наводя ужас жестокими убийствами (отсюда у французов и итальянцев слово «ассасин» — синоним убийцы).

С. **732.** *...род отцов его до Авраама, Исаака и Иакова...* — т.е. до появления библейских родоначальников евреев: Авраама, его сына Исаака и его внука Иакова.

Кази-Мулла (Гази-Магомед; 1795 — 1832) — первый имам Дагестана и Чечни; погиб в бою.

Иоанн Лейденский (Ян Бокелзон; ок. 1509 — 1536) — портной из Лейдена, ставший вождем голландских анабаптистов (перекрещенцев) и их Мюнстерской коммуны; провозгласил себя апокалипсическим царем Нового Израиля, ввел многоженство. После страшных пыток казнен.

Мазаньэлло (Мазаньелло; 1620 — 1647) — неаполитанский рыбак, возглавивший в 1647 г. антииспанское восстание; впал в безумие и был убит.

Два Наполеона — имеются в виду императоры Франции Наполеон I Бонапарт (1769 — 1821) и Наполеон III (1808 — 1873).

...Лжедмитрий — монастырский служка. — В грамотах Бориса Годунова самозванец Лжедмитрий I (? — 1606) назван беглым монахом Гришкой Отрепьевым.

С. **753.** *«Макбет зарезал сон, души отраду, но с этих пор не спать уже Гламису, не спать убийце».* — Из сцены 2-й трагедии Шекспира «Макбет».

С. **755.** *...тебе «георгия» за храбрость.* — Орденом св. Георгия, учрежденным в 1769 г. Екатериной II, награждались совершившие военные подвиги.

С. **763.** *...злодейства легки только у Ксавье де Монтепена...* — Имеются в виду популярные в России XIX в. романы (их более 60) с убийствами, отравлениями, катастрофами французского прозаика Ксавье де Монтепена (1824 — 1902).

С. **767.** *Что мне Гекуба и что я Гекубе?* — Из монолога Гамлета в одноименной трагедии Шекспира; героиня «Илиады» Гомера и трагедий Еврипида Гекуба — жена троянского царя Приама, оплакивающая убитого сына, за которого она мстит убийце: убивает его детей и ослепляет его самого.

...дело поглотило меня целиком, как кит Иону. — Иона — ветхозаветный пророк, персонаж Книги Иова. Нарушив повеление бога Язве, был брошен в бушующее море, где его поглотил кит. Через три дня раскаялся и был прощен: извергнут из чрева кита.

С. **770.** *«. .вдали от шума городского.. »* — Неточно цитируется «Песня узника» («Не слышно шума городского...»; 1826) Федора Николаевича Глинки (1786 — 1880). В сборниках песен варианты романса приписывают К.Ф. Рылееву (1795 — 1826) и А.И. Полежаеву (1805 — 1838).

С. **771.** *Все врут календари!* — Из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Камелия — дама полусвета; название произошло от романа «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына (1824 — 1895).

С. **775.** *«Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей...»* — Неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина.

С. **776.** *Да ведь Мессалиною вас ругают.* — Третья жена римского императора Клавдия — Мессалина (ок. 25 — 48 н.э.) — прославилась своим бесстыдным распутством и коварством. В отсутствие Клавдия вышла замуж за Силия, чтобы провозгласить его императором. Заговор был раскрыт и Мессалину казнили.

С. **777.** *...ты Иосифа Прекрасного будешь разыгрывать?..* — Иосиф Прекрасный — младший и самый любимый из двенадцати сыновей патриарха Иакова и Рахили, прародитель двух колен Израилевых.

С. **778.** *Возду́хи* — в церкви больший из двух покровов на сосуды для святых даров. Украшен шитыми золотом изображениями креста и серафимов.

...как это у Пушкина-то? — «мужу верною супругою и добродетельною матерью». — Неточная цитата из «Евгения Онегин» Пушкина (Письмо Татьяны к Онегину).

...унылою и печальною Магдалиною... — Мария *Магдалина* — раскаявшаяся блудница, ставшая истовой проповедницей учения Христа.

С. **789.** *Будто я Перикола, а Пикилло — Мазини.* — Имеются в виду персонажи оперетты «Перикола» (1868) французского композитора Жака Оффенбаха (1819 — 1880).

...Удольфские тайны на душе... — «Удольфские тайны» (1794) — известный роман ужасов английской писательницы Анны Радклиф (1764 — 1823), одной из зачинателей готического романа в мировой литературе.

С. **790.** *Утром — к Мюру и Мерилизу...* — «Мюр и Мерилиз» — английский торговый дом, которому принадлежал в дореволюционной Москве универмаг на Петровке (нынешний ЦУМ).

С. **791.** *Святки* («святые дни») — 12 дней с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января, установленные церковью в память рождения и крещения Иисуса Христа.

С. **792.** *Баттистини* Маттиа (1859 — 1928) — выдающийся итальянский оперный певец (баритон), гастролировавший в России.

С. **799.** *...рокот органа в нагорной обители францисканцев...* — Имеется в виду один из монастырей проповедников «бедного житья как идеала христианского совершенства» — францисканцев, нищенствующего ордена последователей Франциска Ассизского (1182 — 1226).

С. **800.** *Ave Maria, gratiae, plena!* («Радуйся, благодатная Мария!») — Этими словами (ими начинается католическая молитва) архангел Гавриил возвестил Марии о зачатии сына (Евангелие от Матфея, гл. 1, ст. 28).

СОДЕРЖАНИЕ

Амфитеатров А.В.
А 63 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 1. Романы / Сост., вступ статья, примеч. Т.Ф. Прокопова. — М.: «Интелвак», 2000. — 848 с.

ISBN5-93264-020-0 (т. 1)

Впервые издается собрание сочинений самого читаемого романиста Серебряного века Александра Валентиновича Амфитеатрова (1862 — 1938). Из огромного творческого наследия писателя-эмигранта, не публиковавшегося на родине около 70 лет, в собрание включены его лучшие романы, повести и рассказы. Отдельные тома составит мемуарно-публицистическая проза, в которой читатель найдет ответ на вопрос, почему Амфитеатров, так явно вместе со своим другом М Горьким симпотизировавший социал-демократии, бежал от нее в изгнание, когда она пришла к власти. В первом томе представлены романы «Княжна», «Жар-Цвет» и «Отравленная совесть», с которых началась слава блистательного беллетриста.

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос-Рус) 1

Амфитеатров Александр Валентинович

Собрание сочинений в 10 томах
Том 1
РОМАНЫ

Редактор *Татьяна Горькова*
Корректор *Наталья Шипилова*
Макет и верстка *Ирина Ануфриева*

Подписано в печать 10 05 2000
Формат 84x108/32 Бумага офсетная № 1 Гарнитура Таймс
Печать офсетная Усл -печ л 44,52 Уч -изд л 36,3
Тираж 3000 экз Заказ № 2145

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г

Издательство НПК «Интелвак»
113105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847 Тел 127 3846
E-mail iv @ deltacom ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122